

БЛАГОРОДНОЕ СОСЛОВИЕ В ЗОЛОТОЙ ВЕК ЕКАТЕРИНЫ



ЖИВАЯ ИСТОРИЯ

Ольга Елисеева  
**ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ**

БЛАГОРОДНОГО СОСЛОВИЯ В ЗОЛОТОЙ ВЕК ЕКАТЕРИНЫ



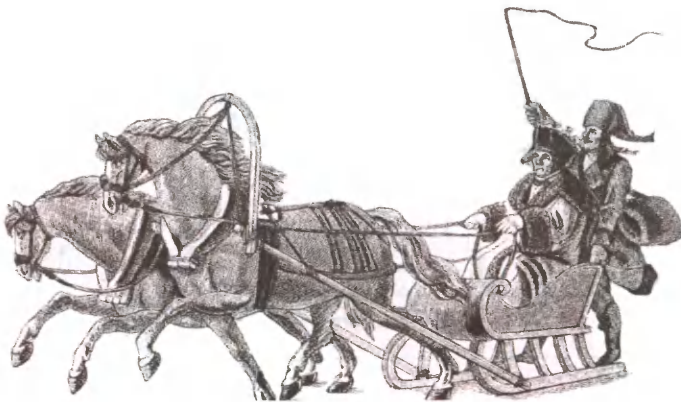




ЖИВАЯ ИСТОРИЯ

---

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

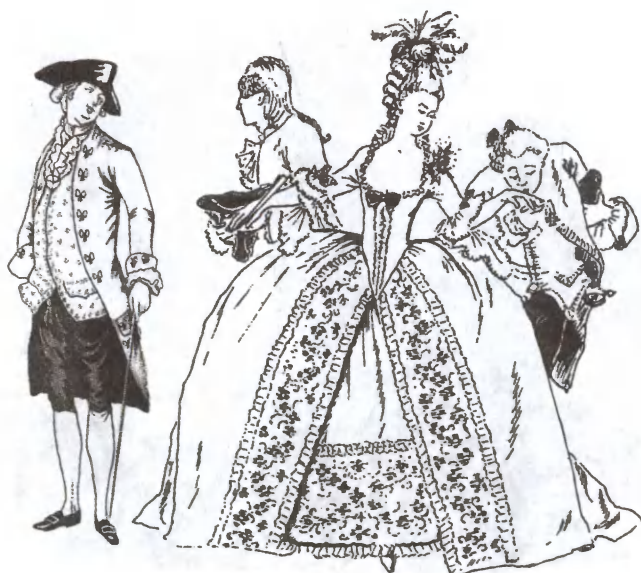


# ПОВСЕДНЕВНАЯ

---

Ольга Елисеева

---



---

МОСКВА

# ЖИЗНЬ

БЛАГОРОДНОГО  
СОСЛОВИЯ  
В ЗОЛОТОЙ ВЕК  
ЕКАТЕРИНЫ

---



УДК 94(092)(47)“18”  
ББК 63.3(2)513  
Е 51



*Серийное оформление*  
*Сергея ЛЮБАЕВА*

**ISBN 978-5-235-03048-0**

© Елисеева О. И., 2008  
© Издательство АО «Молодая гвардия»,  
художественное оформление, 2008





Екатерининское царствование — слишком важный этап в истории России, чтобы его однозначная трактовка могла бы удовлетворить исследователя. Чем сложнее культура — а современная русская культура исключительно сложна, — тем многограннее и противоречивее оценка прошлого. Вряд ли этого стоит опасаться.

Жизнь России два с половиной столетия назад ничем не напоминает современную. Расширение территории путем завоеваний и путем освоения новых земель, быстрое увеличение населения, в том числе и за счет роста рождаемости (за вторую половину XVIII века численность жителей удвоилась — с 18 миллионов до 36 миллионов человек). Каскад удачных реформ, изменивших жизнь целых сословий. Преобразования государственного аппарата, позволившие ввести всю территорию страны от столицы до самых отдаленных окраин в сферу жесткого контроля правительственных органов. Исключительно успешная внешняя политика: две выигранные войны с Турцией, одна — со Швецией, разделы Польши, заметно округлившие границы империи. Наконец, неоспоримый прорыв в области просвещения: открытие новых учебных заведений, появление широкого круга европейски образованного дворянства и представителей третьего сословия. Смягчение нравов, богатое законотворчество, первые проблески будущего расцвета

живописи, музыки, литературы, яркая журналистика... Все это — Россия под скипетром Екатерины II.

Однако процесс развития шел не без издержек. Сколько бы лично императрица ни высказывала своего отвращения к «рабству», крепостное право продолжало расширяться, давало высокий экономический эффект, и об отмене его помышляли очень немногие. В сущности Екатерина II первой среди русских правителей серьезно задумалась о неизбежности такой перспективы и сделала шаг в данном направлении, осуществив секуляризацию церковных земель. Огромный спуд нерешенных социальных проблем привел в 70-х годах XVIII века к Крестьянской войне под предводительством Е. И. Пугачева — самому страшному потрясению в жизни Российского государства до революции 1917 года. Правительство справилось с угрозой, но полученный урок повлек за собой новую цепь реформ.

Во всех начинаниях Екатерина II сознавала себя наследницей и продолжательницей дел Петра Великого. Модернизация России была главной целью ее царствования. Надпись на пьедестале Медного всадника «Петру Первому — Екатерина Вторая» — отражает самую суть взгляда императрицы на свое место в истории. Но приемы, которые применяла государыня для осуществления намеченных планов, были несравненно более гибкими и мягкими, чем у ее предшественника. А общество, с которым Екатерине пришлось иметь дело, заметно повзрослело за полвека со времен стрельческих бунтов и Полтавской баталии. Оно уже осознавало движение в сторону Европы насущной необходимостью.

Это одновременно и облегчало, и осложняло задачу. Неостановимый процесс заимствования приносил в Россию не только «угодное» государыне. Вслед за либеральными просветительскими теориями, которые она приветствовала и сама насаждала, шли революционные, якобинские идеи или масонская мистика, одинаково враждебные Екатерине. В этом корени ее столкновения с такими деятелями культуры, как Д. И. Фонвизин, Н. И. Новиков, А. Н. Радищев, Я. Б. Княжнин.

Кроме того, была и дворянская оппозиция в лице очень по-разному мысливших М. М. Щербатова, Н. И. Панина, А. Р. и С. Р. Воронцовых, объединенная лишь общим недовольством. Сам факт ее мирного существования многое говорит о степени свободы в тогдашнем русском обществе. А спектр от консервативного до конституционного позволяет сказать, что правительство, выбирая промежуточный курс, старалось удовлетворить основную массу дворянства, не склонную к крайностям.

Каждое поколение исследователей оценивает ту или иную эпоху заново: расширяются источники, появляются незнакомые прежде методы работы с ними, открываются целые научные направления, позволяющие увидеть картину былого под иным углом. Одним из таких направлений стала история повседневности, прежде проходившая по ведомству «быт и нравы», но далеко не исчерпывавшаяся этим простым названием.

Ткань прошлого состоит не только из политических побед и поражений, развития хозяйства, взлетов культуры. Картина человеческой жизни: что ели и пили, во что одевались, когда вставали и ложились спать, какие книги читали и в конечном счете *как думали* — с некоторых пор начала занимать не только исследователей-одиночек, но и массу читателей. Этот осознанный интерес общества к обыденности вчерашнего дня говорит о качественном изменении культуры. Стремление собрать полихромную мозаику ушедшего — показатель закатной зрелости.

Эта книга посвящена повседневности русского дворянства золотого века Екатерины II. Затронутая тема огромна, и данный труд менее всего претендует на полноту. Тысячи аспектов бытия могут стать предметом исследования. Мы всего лишь выдернули из ткани прошлого несколько нитей. Каждый из очерков, вошедших в книгу, самостоятелен. Они повествуют о нравах двора, праздниках и развлечениях, семье, отношениях господ и слуг, впечатлениях иностранцев, столкнувшихся с русским бытом. Читателю судить, как много еще осталось за бортом — целый океан.

Однако автор берет на себя смелость пригласить в плавание. Лицо эпохи можно представить по-разному. Целая энциклопедия бытовых мелочей порой даст меньше, чем мемуарная страница, письмо, долговая расписка... Рассказывая о повседневности вельмож и старосветских помещиков, самой императрицы и заезжих путешественников, мы старались показать не только их носовые платки, свечи и грязные колеса дорожных карет. Главное, на наш взгляд, то, как дышали, чувствовали, любили наши предки, строй их мыслей, ментальность, если хотите. Влезть в шкуру человека второй половины XVIII столетия — вот что необходимо.

Ничто не позволит сделать этого лучше, чем знакомство с историческими источниками. Вот почему автор сознательно старался выпустить на первый план тексты, созданные два столетия назад: воспоминания, корреспонденцию, политические памфлеты, донесения и т. д. В них живет и дышит реальная личность той далекой поры. Свои же необходимые комментарии мы постарались сделать как можно менее навязчивыми и как можно более информативными, чтобы читатель имел право, не согласившись с нами в трактовке, сделать собственные выводы.

«ДОБРАЯ ЖЕНЩИНА» И ЕЕ ДВОР

Летом 1795 года в Петербург приехала французская художница-эмигрантка Элизабет Луиза Виже-Лебрён. Она уже была знаменита у себя на родине, незадолго до революции писала портреты королевской четы и могла рассчитывать на внимание русского аристократического общества. Так и случилось. Всего через сутки путешественницу, еще не оправившуюся от тягот дороги, посетил французский посланник граф Валентин Ладислав Эстергази, который намеревался представить ее ко двору. А вслед за ним с визитом явился другой соотечественник — граф Мари Габриель Шуазель-Гуфье, старый знакомый художницы по Парижу.

«В разговоре с ним, — писала Виже-Лебрён, — я выразила восхищение предстоящей возможностью видеть великую Екатерину, но не скрыла боязни и чувства неловкости, каковых опасалась при представлении сей великой государыне. “Успокойтесь, — отвечивал он, — вы будете поражены ее благожелательностью, она ведь воистину добрая женщина”.

Признаюсь, таковое выражение удивило меня, — продолжала художница. — Я никак не могла поверить, что это действительно так, судя по тому, что до сих пор о ней слышала. Правда, принц де Линь, рассказывая... о ее путешествии в Крым, поведал о некоторых случаях,

кои показывали любезность и простоту ее обращения; но, согласитесь, “добрая женщина” — это совсем не подходящее для нее выражение»<sup>1</sup>.

И тем не менее при встрече путешественница убедилась в справедливости слов посла. Властительница огромной империи, хозяйка блестящего двора, законодательница, чей гений прославляли Вольтер и Дидро, держалась просто и ласково, будто между нею и скромной художницей не существовало непреодолимой пропасти. Такое поведение было результатом обдуманной и многолетней «политики», которую Екатерина II проводила при личных контактах с окружающими.

Рассматривая жизнь двора, невозможно обойти вопрос о том, какие отношения связывали монарха и его приближенных. Они могли быть очень различны: от деспотического подавления императором всякой индивидуальности, как при Павле I, до презрения и холодной конфронтации, которые существовали между Николаем II и его придворными. Гармония не всегда достижима. Многое зависит от личных качеств государя.

Как планеты вращаются вокруг Солнца, так двор вращался вокруг своего сюзерена. Император был центром маленькой вселенной. Этот мирок пронизывали сложнейшие связи, от прочности которых во многом зависела стабильность престола. Одно неловкое движение, и сановные «светила» сходили с орбит, сталкивались друг с другом, а то и с государем.

Конфликт с двором мог привести к перевороту. В России неумение ладить с ближайшим окружением лишило власти молоденькую и нелюдимую правительницу Анну Леопольдовну, стоило жизни взбалмошному Петру III и вспыльчивому Павлу I. Поэтому большинство монархов очень осторожно обращались с таким сложным и опасным механизмом, как двор. Каждый выбирал свой стиль поведения, свой образ, свою маску, под которой показывался приближенным.

Людовик XIV — «король-солнце» для всех французов — в кругу придворных становился любезным арбитром элегантности, законодателем моды и так влиял на ок-

ружающих. Петр I — то грозным Отцом Отечества, то простодушным шкипером. Фридрих Великий — дя-дюшкой Фрицем, по-свойски беседовавшим с солдатами и философами. Мария Терезия — живым воплощением семейных и религиозных добродетелей...

У такой талантливой актрисы, как Екатерина II, имелось множество ролей. И каждая была уместна в разных обстоятельствах. Премудрая Мать Отечества, представавшая перед подданными в торжественных случаях, на приемах, выходах и официальных праздниках, превращалась в чиновницу первого ранга на заседаниях совета или при работе кабинета статс-секретарей. В частной жизни, с которой так тесно связан и о которой так хорошо осведомлен двор, императрица предпочитала выглядеть просто и непритязательно.

Сохранился характерный анекдот. Однажды Екатерине II был представлен старый генерал, которого она благосклонно «пожаловала к руке». «А я ведь вас до сих пор не знала», — посетовала императрица. «Да и я, матушка, не знал вас до сего дня», — простодушно отвечал вояка. «Охотно верю, — кивнула та. — Где и знать-то меня, бедную вдову!»<sup>2</sup>

За достоверность подобных историй ручаться нельзя. Ими полны мемуары тех лет. Для нашего сюжета они важны потому, что живо передают восприятие государыни подданными. Она сердечна, склонна подтрунить над собой, любит казаться проще, чем есть на самом деле, с ней не страшно разговаривать. Над созданием такого образа Екатерина трудилась долго и тщательно. Он помогал ей наладить ровные, доверительные отношения с многочисленными служащими двора от камергеров и статс-дам до истопников.

Нигде столь тонко не проявлялось умение императрицы «властвовать сердцами», как в сложных и подчас драматичных контактах с ближайшим окружением. Со стороны могло показаться, что альянс государыни и ее вельмож безоблачен, власть непререкаема, двор избавлен от кипения интриг. На деле же Екатерина с неустанной заботой оберегала хрупкое равновесие сил, которое позволяло царствовать при внешней поддержке большинства группировок. Наиболее действенным ин-

струментом для достижения этой цели являлись личные связи государыни, ее стиль, манера поведения, привычки в повседневной жизни.

### *«Бедная вдова»*

У графа Шуазель-Гуфье были причины назвать Екатерину II «доброй женщиной». Брат французского министра иностранных дел герцога Этьена Франсуа Шуазель-Амбоаза, он и сам сделал дипломатическую карьеру. В 1784—1791 годах граф служил посланником в Стамбуле и активно противодействовал политике Петербурга. Парижский кабинет того времени всемерно поддерживал Оттоманскую Порту против России. Версаль видел в усилении последней на Черном море угрозу своей левантской торговле. Франция выделяла Турции денежные субсидии для войны с северной соседкой, участвовала в перевооружении ее армии, направляла офицеров для обучения османских войск, инженеров для перестройки на европейский лад крепостей, в том числе Очакова и Измаила, а также перевозила военные грузы на своих судах под флагом нейтральной страны. В 1787 году Версаль через Шуазель-Гуфье оказал на престарелого султана Абдул-Гамида I давление и фактически спровоцировал начало второй Русско-турецкой войны.

Сам граф относился к России и ее монархине весьма враждебно не только по политическим причинам, но и в силу идеологических воззрений. Ученый-археолог, член Парижской академии наук, он разделял идеи «русской угрозы», укоренившиеся в XVIII веке во Франции. Его книга «Живописное путешествие по Греции» содержала немало выпадов против «северных варваров» в духе рассуждений аббата Шаппа д'Отроша и Жан Жака Руссо о необходимости «загнать русских обратно в леса и болота, откуда они так опрометчиво выбрались при Петре I»<sup>3</sup>.

После революции Шуазель вынужден был покинуть родину. Как многие его соотечественники, скитался по Европе. Англия не дала ему крова, и по иронии судьбы



он нашел прибежище именно в России. Позднее Павел I даже назначил «Гавриила Августовича» директором Академии художеств. А при жизни Екатерины II французская эмиграция пользовалась в Петербурге покровительством и поддержкой государыни. Зная о роли Шуазеля в развязывании Русско-турецкой войны, императрица могла бы отнестись к нему далеко не так радушно, как к другим беженцам. Однако она предпочла «забыть» о «заслугах» посла, поступая по пословице: кто старое помянет, тому глаз вон. Конечно, для подобного поведения имелись политические мотивы — Шуазель являлся видной фигурой в эмигрантской среде, через него можно было влиять на ее настроения. Однако нельзя сбрасывать со счетов и личное мягкосердечие Екатерины, ее человеческую жалость и сострадание. Полжизни граф считал императрицу Северной Мессалиной, а, прибыв в Петербург, встретился с «доброй женщиной».

Та же картина ждала и Виже-Лебрён. Вечером Эстергази сообщил художнице, что на следующий день в час она будет принята императрицей в Царском Селе. Это известие вызвало у дамы панику: «Я всегда носила только простые муслиновые платья, и даже в Петербурге было невозможно сшить парадное платье за один день». Визит к графине Эстергази еще больше расстроил путешественницу. «При всей своей вежливости не смогла она удержаться, чтобы не сказать мне: “Сударыня, неужели вы не могли приехать в другом платье?” Ее недовольный вид только усилил мою озабоченность».

Однако августейшая аудиенция изгладилла все следы робости и неуверенности. «Я предстала перед императрицей с некоторым страхом, — вспоминала художница, — и оказалась наедине с сей самодержицей Всероссийской. Граф Эстергази предупредил меня, что надо поцеловать у нее руку, и для исполнения сего традиционного обряда она сняла одну перчатку, что должно было послужить мне напоминанием, но все-таки я совершенно о сем забыла, ведь один только вид сей замечательной женщины произвел на меня такое впечатление, что я всецело отдалась ее созерцанию. Меня крайне удивил весьма малый ее рост, ведь я представля-

ла ее столь же большой, как и ее слава. К тому же она была очень полной, но лицо ее сохраняло следы красоты, и высокая прическа из седых волос прекрасно его обрамляла. По высокому и широкому лбу в ней сразу угадывалось присутствие гения. Глаза ее были мягкими и весьма изящной формы, нос совершенно греческий, лицо цвета весьма яркого, а его выражение чрезвычайно подвижное.

Она сразу же обратилась ко мне своим мягким, но довольно глубоким голосом: “Сударыня, я весьма рада видеть вас здесь. Но репутация ваша уже ранее сего дошла до нас. Хоть я и не слишком тонкий ценитель, но все-таки поклоняюсь всем искусствам”. Все, что она говорила в продолжение нашей довольно долгой беседы о желании, чтобы Россия понравилась мне и я оставалась бы здесь долгое время, — все это было сказано с такой доброжелательностью, что робость моя исчезла, и когда я откланивалась, у меня не оставалось уже ни малейших опасений. Я только не могла простить себе свою забывчивость, из-за которой так и не поцеловала ее руку, белоснежную и отменно красивую, тем более что граф Эстергази не преминул упрекнуть меня за это. Касательно же моего туалета я отнюдь не заметила, чтобы она обратила на него хоть малейшее внимание, а быть может, она вообще не столь строга в этом отношении, как, например, госпожа посольша»<sup>4</sup>.

Конечно, Екатерина заметила оба нарушения этикета: и простое платье, и отказ поцеловать монаршую длань. Но как человек воспитанный сделала вид, будто ничего не произошло. Ведь перед ней была не придворная дама, обязанная знать все тонкости дворцового обхождения, а приезжая художница, интересная своими талантливыми работами. Ее манеры могли оставаться весьма свободными и при этом никого не оскорблять. Императрица и к промахам официальных лиц относилась очень снисходительно. Враг всякой неестественности, она не любила ставить окружающих в неловкое положение и старалась помочь им выбраться из скользкой ситуации. Именно такой случай рассказал французский посол граф Луи Филипп де Сегюр.

Он прибыл в Петербург в марте 1785 года и был несколько подавлен величием двора Екатерины. «Двор ее был местом свидания всех государей и всех знаменитых лиц ее века, — писал он. — До нее Петербург, построенный в пределах стужи и льдов, оставался почти незамеченным и, казалось, находился в Азии. В ее царствование Россия стала державою европейскою. Петербург занял видное место между столицами образованного мира, и царский престол возвысился на чреду престолов самых могущественных и значительных».

На первой же аудиенции с Сегюром случился конфуз. Как и положено, он представил приветственную речь на имя монархини в Коллегию иностранных дел вице-канцлеру Ивану Андреевичу Остерману. Императрица ознакомилась с ней и заготовила ответ. Но когда дипломат приехал во дворец, в приемной его встретил австрийский посланник граф Людвиг Кобенцель, чей живой, интересный разговор отвлек Сегюра от затверженной речи. Двери в зал распахнулись, дипломату объявили, что Екатерина II ждет его, и тут он понял, что все вычурные официальные любезности вылетели у него из головы. Напрасно он старался вспомнить их, проходя через анфиладу комнат, роскошное убранство парадных помещений еще больше рассеяло его внимание. Еще минута, и к своему ужасу граф предстал перед императрицей.

«В богатой одежде стояла она, облокотясь на колонну; ее величественный вид, важность и благородство осанки, гордость ее взгляда, ее несколько искусственная поза — все это поразило меня, и я окончательно все позабыл. К счастью, не стараясь напрасно понуждать свою память, я решил тут же сочинить речь, но в ней уже не было ни слова, заимствованного из той, которая была сообщена императрице и на которую она приготовила свой ответ. Это ее несколько удивило, но не помешало тотчас же ответить мне чрезвычайно приветливо и ласково и высказать несколько слов, лестных для меня лично». Чтобы сгладить официальность ситуации, Екатерина упомянула о письмах к ней барона Фридриха Мельхиора Гримма, которого знал и Сегюр. Она подчеркнула, что, благодаря похвалам своего ста-

рого корреспондента, заочно составила о графе благоприятное впечатление. Общее знакомство помогло справиться с первоначальной неловкостью. Не прошло и нескольких минут, как императрица и посол общались уже совершенно свободно.

Позднее, когда их отношения стали более коротки, Екатерина спросила: «Что такое случилось с вами, граф, когда вы представлялись мне в первый раз, и почему вы вдруг изменили речь?» Сегюру пришлось сознаться в своей забывчивости. «Но я подумал, что это смущение, позволительное частному человеку, неприлично представителю Франции, — оправдывался он. — И потому решился высказать в первых попавшихся мне на ум выражениях чувства моего монарха к вашему величеству». Императрица заверила посла, что дипломаты сплошь и рядом попадают впросак. «Вы очень хорошо сделали, — сказала она. — Всякий имеет свои недостатки, и я склонна к предубеждению. Я помню, что один из ваших предшественников, представляясь мне, до того смутился, что мог только произнести: “Король, государь мой...” Я ожидала продолжения. Он снова начал: “Король, государь мой...” — и дальше ничего не было. Наконец, после третьего приступа я решила ему помочь и сказала, что всегда была уверена в дружественном расположении его государя ко мне. Все уверяли меня, что этот посланник был ученый человек, но его робость навсегда поселила во мне несправедливое предубеждение против него»<sup>5</sup>.

Итак, Екатерина ценила людей находчивых, которые не лезли за словом в карман. В первые годы царствования нашу героиню чрезвычайно раздражала манера придворных умолкать и трепетать в ее присутствии. Никакого живого разговора с сановниками и дамами «старой закалки» не получалось. «Когда я вхожу в комнату, можно подумать, что я медузина голова, — в 1764 году жаловалась государыня парижской корреспондентке госпоже М. Т. Жоффрен. — Все столбенеют, все принимают напыщенный вид; я часто кричу, как орел, против этого обычая, но криками не остановишь их, и чем более я сержусь, тем менее они непринужденны со мною, так что приходится прибегать к другим средст-

вам»<sup>6</sup>. «Другим средством» и было доброжелательное, мягкое поведение императрицы, годами отучавшей приближенных «столбенеть» при одном своем появлении.

Порой с иностранцами ей бывало проще. Ради поддержания непринужденной беседы Екатерина готова была закрыть глаза даже на невольную бестактность. Фрейлина Варвара Николаевна Головина рассказала в мемуарах забавный случай. Во время путешествия в Крым в 1787 году Екатерину сопровождали иностранные дипломаты, попеременно подсаживавшиеся в шестиместный царский экипаж. Австрийский посол Кобенцель восторгался бархатной шубой императрицы. «Моим гардеробом заведует один из моих лакеев, — сказала государыня. — Он слишком глуп для другого занятия». Сегюр не расслышал конец фразы и поспешил вставить французскую поговорку: «Каков господин, таков и слуга». Это вызвало общий смех. Чуть позже императрица шутя справилась у Кобенцеля, не утомляет ли его ее компания. «Соседей не выбирают», — буркнул тот. И снова ответом был смех собравшихся. Тем временем английский посол Фитц Герберт лорд Сент-Элен присоединился к обществу. Он не знал о причине веселья, и Екатерина взялась повторить ему последние остроты. Но не успела она сказать и двух слов, как флегматичный британец задремал. «Только этого и недоставало для завершения ваших любезностей, господа, — сказала императрица. — Я совершенно удовлетворена»<sup>7</sup>.

Любопытно, как повели бы себя в подобной ситуации царственная свекровь Екатерины — Елизавета Петровна, чей вспльчивый нрав был известен, или сын нашей героини Павел Петрович? Возможно, дипломатам, допустившим неуместные вольности, пришлось бы упаковывать багаж. Но Екатерина сама провоцировала собеседников на некоторую развязность.

Во время путешествия по Днепру в 1787 году императрица предложила заменить в узком дружественном кругу вежливое «вы» на более фамильярное «ты». Все согласились, и принц Шарль Жозеф де Линь в шутку называл монархиню «Твое величество», чем смешил ее до слез<sup>8</sup>. Екатерине нравилось общаться с окружающими

ми на равных — только в таких условиях была возможна живая беседа, за пределы которой изгонялся страх. В пьесе «Обольщенный» Екатерина вложила в уста одной из героинь слова, под которыми могла бы подписаться: «Хоть печали и много было смолоду, но мне под старость видеть бы лица веселые»<sup>9</sup>.

Один из близких друзей Екатерины философ-просветитель барон Гримм описал прелесть беседы государыни. Он дважды побывал в России, в 1773—1774 и в 1776—1777 годах. По его признанию, разговоры с императрицей обычно продолжались два-три часа, случалось четыре, а однажды семь часов, «не прерываясь ни на минуту». Такие долгие диалоги возможны были только в поездках, когда спутники Северной Минервы развлекали друг друга то глубоким философским диспутом, то светской салонной болтовней.

«Талант императрицы заключался в том, что она всегда верно схватывала мысль своего собеседника, — писал Гримм, — так что неточное или смелое выражение никогда не вводило ее в заблуждение... Надо было видеть в такие минуты эту необычайную голову, эту смесь гения с грацией! ...Как она своеобразно понимала суть, какие остроты, пронизательные замечания падали в изобилии, как светлые блески природного водопада. Отчего не в силах моих воспроизвести на письме эти беседы! ... Да возможно ли было уловить на лету ту толпу светлых движений ума, гибких, мимолетных! Как перевести их на бумагу? Расставаясь с императрицей, я бывал обыкновенно до того взволнован, наэлектризован, что половину ночи большими шагами разгуливал по комнате»<sup>10</sup>.

Сегюр подчеркивал, что русская государыня старалась держаться как частное лицо, гостеприимная хозяйка и удивительно любезная дама. Но, возможно, императрица была столь снисходительна только к иностранцам? Их письма и мемуары создавали ее репутацию за границей. Перед европейскими путешественниками она умела подать себя в самом выгодном свете. С подданными же государыня была вправе не церемониться. Отнюдь. Русские воспоминания тоже полны свидетельств ее такта.

Сохранился чуть солоноватый анекдот о беседе Екатерины с адмиралом Василием Яковлевичем Чичаговым, в 1789—1790 годах одержавшим громкие победы над шведским флотом. «Императрица приняла его милостиво и изъявила желание, чтобы он рассказал ей о своих походах. Для этого она пригласила его к себе на следующее утро. Государыню предупреждали, что адмирал почти не бывал в хороших обществах, иногда употребляет неприличные выражения и может не угодить ей. Но императрица осталась при своем желании». Описывая сражение, старик не на шутку разошелся, размахивал руками и даже вставил несколько крепких словечек. «Дойдя до того, когда неприятельский флот обратился в полное бегство, адмирал все забыл, ругал трусов-шведов... “Я их... я их...” — кричал он». Потом опомнился, прикусил язык и побледнел. Но императрица и бровью не повела. «Ах, как вы интересно рассказываете, Василий Яковлевич, — молвила она. — Жаль, я ваших морских терминов не понимаю»<sup>11</sup>.

Терпение и доброжелательность Екатерины распространялись на истопников, трубочистов, караульных, пажей... Раз проснувшись ночью и заметив, что лампадка перед иконой в ее комнате погасла, императрица пошла в соседнюю. Дремавший у дверей солдат с перепугу вскочил, отдал ей честь ружьем, но от удара приклада об пол оно выстрелило. Раздался грохот, пороховой дым повис в воздухе, пуля ударила в потолок и испортила расписной плафон. Государыня не стала ни поднимать тревогу, ни наказывать часового, только упрекнула его твердым голосом: «Зачем у тебя ружье было не в порядке?»

Граф Николай Петрович Румянцев рассказывал и другой случай. Как-то во время праздничного обеда один из пажей, служа императрице, наступил на кружевную оборку ее платья и разорвал. Екатерина сделала досадливое движение, мальчик испугался и опрокинул тарелку супа, залив наряд государыни. Вместо того чтобы выбранить ребенка, императрица засмеялась и ободрила его словами: «Ты меня наказал за мою живость»<sup>12</sup>.

Подобных случаев в мемуарах набирается немало. Они свидетельствуют о том, что с Екатериной было ис-

ключительно легко общаться. Это чувствовали и министры на приеме, и простолюдины на проселочной дороге. Сегюр описывал, как во время путешествия Екатерина выходила из кареты и разговаривала с народом. «Толпы крестьян падали перед нею на колени, вопреки ее запрещению, потом поспешно вставали, подходили к ней и, называя ее матушкой, радушно говорили с ней. Чувство страха в них исчезало, и они видели в ней свою покровительницу и защитницу»<sup>13</sup>. Умение разговаривать с людьми любого ранга, с первых слов располагая их к себе и вызывая доверие, — качество, которое императрица пестовала в себе. Недаром пушкинская Маша Миронова в «Капитанской дочке» сама не заметила, как вступила в беседу с незнакомкой из парка и поделилась с ней своим горем.

«Марья Ивановна пошла около прекрасного луга, где только что поставлен был памятник в честь недавних побед графа Петра Александровича Румянцева. Вдруг белая собачка английской породы залаяла и побежала ей навстречу. Марья Ивановна испугалась и остановилась. В эту самую минуту раздался приятный женский голос: “Не бойтесь, она не укусит”. И Марья Ивановна увидела даму, сидевшую на скамейке противу памятника... Она была в белом утреннем платье, в ночном чепце и в душегрейке. Ей казалось лет сорок. Лицо ее полное и румяное, выражало важность и спокойствие, а голубые глаза и легкая улыбка имели прелесть неизъяснимую».

Для большинства современных читателей эта сцена — не просто описание знакомства Маши Мироновой с императрицей в Царском Селе. Это первая и подчас единственная встреча с Екатериной II. А первое впечатление — самое важное. И что бы ни было прочитано позднее, государыня навсегда останется дамой из парка, откровенный разговор с которой спас Петра Гринева.

Давно замечено, что образ Екатерины в «Капитанской дочке» — литературное переложение знаменитого портрета В. Л. Боровиковского «Императрица Екатерина II на прогулке в Царскосельском парке» 1790 года (Здесь и ночной чепец, и свободное утреннее платье, и собачка, и памятник...) Справедливо и то, что А. С. Пуш-



кин оживил традиции классицизма, совсем по-мольеровски выведя на сцену в конце действия монарха, без суда которого главные герои не в силах справиться с давлением обстоятельств.

Однако следует обратить внимание на сюжетное сходство пушкинской сцены с множеством устных анекдотов и мемуарных свидетельств о Екатерине, бытовавших в то время среди старшего поколения русского дворянства. Простота, мягкость, внимание к собеседнику, умение сдерживать холодность и выслушать неприятные доводы — общие места многих сочинений об императрице. И наоборот — вспыльчивость, мстительность, желание наводить страх на подданных — кажется, совсем не присущи Екатерине. Пребывание при ее дворе — райское наслаждение, ибо государыня ничем не стесняет окружающих.

Именно такой образ диктовался культом Екатерины II, который возник еще при жизни императрицы. В годы царствования Павла I он существовал подспудно, в форме скрытого сопротивления политике нового монарха. А в начале XIX столетия при Александре I вспыхнул с прежней силой. В дворянских усадьбах было принято иметь портреты государыни, гобелены и вазы с ее изображениями. Считалось достойным хвалить минувшие дни и «черпать суждения» из «забытых газет времен очаковских и покоренья Крыма», что так раздражало А. С. Грибоедова. Уйдя в прошлое, золотой век еще долго отбрасывал блеск на новые дни. И самым притягательным в нем оставался образ Екатерины.

### *Уроки «Царь-девицы»*

Рассматривая вопрос об отношениях Екатерины II с двором, мы не сможем избежать сравнения ее стиля со стилем непосредственных предшественников и ближайших преемников. На первый взгляд в описанном поведении императрицы не было ничего необычного. Она держалась с окружающими как доброжелательный и жизнерадостный человек, сокращая дистанцию лишь постольку, поскольку ей самой этого хотелось.

Однако все познается в сравнении. Приехав в Россию, Екатерина не получила положительного примера того, как монарху следует строить отношения с двором, вельможами, иностранными дипломатами, путешественниками и просто со слугами. Очутившись в Петербурге 15-летней девочкой, она встретила в лице Елизаветы Петровны скорее отрицательный образчик и в дальнейшем действовала от противного, исключая из обихода все, что когда-то оскорбляло и злило ее саму.

Справедливости ради надо сказать, что Елизавета обладала добрым сердцем и много сделала для смягчения нравов в России. Накануне переворота она дала обет перед образом Спасителя никого не казнить и сдержала слово. За ее царствование не был подписан ни один смертный приговор. Однако кнут все еще мог «коснуться благородного» даже в ближнем окружении императрицы. Так, добродушный фаворит Елизаветы граф Алексей Григорьевич Разумовский, хватив лишку, становился буен и бивал гостей. Поэтому наперсница государыни Мавра Егоровна Шувалова всякий раз заказывала благодарственный молебен, если муж, один из первых сановников и богачей, граф Петр Иванович Шувалов возвращался с охоты от Разумовского невредимым.

«Доходило до того, — писал в мемуарах сын известного адмирала и сам адмирал П. В. Чичагов, — что вельможи, давая аудиенцию, в особенности иностранцам, обыкновенно старались принимать их во время туалета, когда они сменяли сорочки, дабы те видели, что на плечах знатного барина не было никаких рубцов от телесного наказания»<sup>14</sup>.

Современники сравнивали царствование Елизаветы с куда более суровыми временами Анны Иоанновны и естественно находили разительные перемены к лучшему. Прежде кровавые расправы с князьями Долгорукими или казнь А. П. Волынского наводили страх. Теперь откровенное злословие на весьма болезненную для государыни тему — ее незаконнорожденность и низкое происхождение матери — каралось весьма сдержанно: битьем кнута, урезанием языка и ссылкой в Сибирь. Именно так в 1743 году Елизавета поступила

со своей старой соперницей придворной дамой Натальей Лопухиной, взятой по делу ее сына Ивана Лопухина, якобы утверждавшего, что несчастный младенец Иван Антонович предпочтительнее нынешней императрицы<sup>15</sup>.

Искренне православная и русская по складу характера Елизавета была любима подданными. Тем не менее в повседневной жизни государыня нередко вела себя как домашний деспот. Коль скоро она носила корону, то от семейного самодурства страдали не только родные, но и все, кто не вовремя подвернулся под горячую руку. «Петрова дочь» во многом напоминала покойного родителя, она держала двор, как дворню, была страшна в гневе и не терпела возражений. Не получив хорошего воспитания, государыня не имела внутреннего стержня, заставившего бы ее контролировать свой беспокойный нрав. Внешних же сдерживающих факторов в лице уважающего себя общества у самодержавной монархини в тот момент не было. Жаловаться на царскую волю казалось не только бесполезным, но и неприличным. Придворные втихомолку роптали, но подчинялись.

«Было множество тем для разговора, — вспоминала Екатерина, — которые она (Елизавета. — *О. Е.*) не любила: например, не следовало совсем говорить ни о короле прусском, ни о Вольтере, ни о болезнях, ни о покойниках, ни о красивых женщинах, ни о французских манерах, ни о науках — все эти предметы разговора ей не нравились. Кроме того, у нее было множество суеверий, которых не следовало оскорблять; она также была настроена против некоторых лиц и склонна перетолковывать в дурную сторону все, что бы ни говорили, а так как окружающие охотно восстанавливали ее против очень многих, то никто не мог быть уверен в том, не имеет ли она чего-либо против него. Вследствие этого разговор был очень щекотливым». Вот и сидели гости за столом большей частью молча, что тоже вызывало гнев государыни, и она нередко удалялась, рассерженная отсутствием оживленной беседы.

Одна из красивейших женщин своего времени, Елизавета Петровна не терпела соперничества, не выноси-

ла успеха других дам, болезненно переживала натиск времени и неизбежное увядание. Часто Елизавете в вину ставят ее «тиранию» в области моды: она запрещала высокие прически, длинные шлейфы, горностаевый мех, именными указами диктовала фасоны платьев и расцветки тканей. Современного человека обычно возмущает сам факт подобной бесцеремонности: какое государю дело, во что одет и как завит подданный?

В этом видят некое коренное свойство русского самодержавия — стремление контролировать не только поступки, но и мысли людей, их вкусы и духовные запросы. Перед нами явное вторжение в частную жизнь и посягательство на права личности. Но эпоха абсолютизма еще только начинала задумываться над такими понятиями. В повседневном быту даже очень образованных и знатных господ они оставались отвлеченными и бесплотными, никак не связанными с реальностью.

Мода, диктовавшаяся сверху, от лица монарха, была в порядке вещей и пришла в Россию из Европы. Величайшим и весьма требовательным законодателем изящного вкуса являлся Людовик XIV, которому позднее подражали все просвещенные государи. Он ввел в наряд своего времени множество новшеств (например, знаменитые красные каблуки — символ благородного происхождения) и жестко регламентировал придворный костюм посредством весьма чувствительных запретов. Так, только сам король имел право носить парик-инфолио из натуральных белокурых волос или длинный кафтан-жюстокор из пурпурной парчи с золотым шитьем<sup>16</sup>. Суровым диктатором в области одежды не брезговал ни один двор, и следует признать, что Елизавета Петровна была в этом ряду скорее правилом, чем исключением.

Однако приказной тон, бестактность и даже жестокость, с которыми государыня внедряла свои вкусы, действительно заставляют вспомнить о тирании. Привлекать взоры могла только сама императрица — нестареющая богиня, хозяйка сказочной страны и ее счастливых обитателей. Когда Елизавета неудачно покрасила волосы и их пришлось обрить, последовал не-

медленный приказ всем петербургским дамам сделать то же самое. С плачем русские Венеры стригли косы и надевали присланные из дворца «черные, плохо расчесанные парики». Ни одна гостья не могла чувствовать себя при дворе спокойно. Если наряд шел ей, она рисковала получить выговор от государыни и приказание никогда впредь не надевать «этого платья». Как-то на балу Елизавета срезала золотыми ножницами с головы графини Нарышкиной прелестное украшение из лент. «В другой раз она лично сама остригла половину завитых спереди волос у своих двух фрейлин под тем предлогом, что не любит фасон прически, какой у них был... Обе девицы уверяли, что Ее Величество с волосами содрала и немножко кожи»<sup>17</sup>.

Вряд ли подобные поступки красили государыню. Но Елизавете и в голову не приходило, что ее слуги обладают личными правами, могут обидеться, страдать. Барыня бывала то милостивой, то вздорной, но она в любом случае оставалась хозяйкой своих холопов. В этом коренное отличие Елизаветы от Екатерины. Последняя родилась слишком деликатной, чтобы не замечать вокруг себя людей. Однажды в беседе с Дени Дидро она обмолвилась, что, в отличие от философов, работающих на бумаге, которая «все терпит», ей, «бедной императрице, приходится писать на шкуре своих подданных, которые весьма щепетильны»<sup>18</sup>. Привлекательная черта Екатерины состояла как раз в том, что она давала себе труд заметить эту «щепетильность».

По словам супруги Александра I Елизаветы Алексеевны, Екатерина умела удивительно подстраиваться под других. В 1811 году она писала матери в Германию: «Врожденная способность ее применяться ко всем, понять и поддержать преобладающее чувство каждого придавало ей великое очарование»<sup>19</sup>. И именно это, а не жесткий диктат, становилось основой ее власти над окружающими.

Бывший начальник канцелярии светлейшего князя Потемкина, а позднее статс-секретарь императрицы Василий Степанович Попов вспоминал один примечательный разговор: «Дело зашло о неограниченной власти ее не только внутри России, но и в чужих землях. Я

говорил ей с изумлением о том слепом повиновении, с которым воля ее везде была исполняема, и о том усердии и ревности, с какими старались все ей угождать. “Это не так легко, как ты думаешь, — сказала она. — Во-первых, повеления мои не исполнялись бы с точностью, если бы не были удобны к исполнению. Ты сам знаешь, с какою осмотрительностью, с какою осторожностью поступаю я в издании моих узаконений. Я разбираю обстоятельства, изведываю мысли просвещенной части народа и по ним заключаю, какое действие указ мой произвести должен. Когда уже наперед я уверена об общем одобрении, тогда выпускаю я мое повеление и имею удовольствие видеть то, что ты называешь слепым повиновением. Вот основание власти неограниченной.

Но будь уверен, что слепо не повинуются, когда приказание не приурочено к обычаям, к мнению народному, и когда в оном я бы последовала одной своей воле, не размышляя о следствиях. Во-вторых, ты ошибаешься, когда думаешь, что вокруг меня все делается, только мне угодное. Напротив того, это я, принуждая себя, стараюсь угождать каждому, сообразно с заслугами, достоинствами, склонностями и привычками. И поверь мне, что гораздо легче делать приятное для всех, нежели, чтобы все тебе угождали. Напрасно сего будешь ожидать и будешь огорчаться. Но я сего огорчения не имею, ибо не ожидаю, чтобы все без изъятия моему делалось. Может быть, сначала и трудно было себя к тому приучить, но теперь с удовольствием я чувствую, что, не имея прихотей, капризов и вспыльчивости, не могу я быть в тягость и беседа моя всем нравится”»<sup>20</sup>.

В этих словах столько же кокетства и похвалы себе, сколько житейской мудрости. Слепо не повинуются, старайся подстроиться подо всех, и тогда люди с радостью исполнят то, чего не стали бы делать по приказу — вот опыт почти сорокалетнего царствования. И это не только личный опыт Екатерины. Наблюдая за своей предшественницей, она многому научилась.

Было бы неправильно сказать, что великая императрица полностью отвергла уроки своей свекрови. Судя

по «Запискам», она внимательнейшим образом остановилась именно на темных, негативных сторонах елизаветинской манеры общения с двором и сделала для себя далеко идущие выводы. Причем стиль дочери Петра навсегда укоренился в ее представлениях как «царский». Свое поведение вполне царским Екатерина не считала. В 1774 году, когда Никита Иванович Панин затеял весьма опасную интригу, грозившую продвинуть на престол цесаревича Павла, императрица писала Г. А. Потемкину: «Дай по-царски поступить; хвост отшибу»<sup>21</sup>. Имелось в виду, что заговорщикам пора показать, кто в доме хозяин. А сделать это можно было, только отказавшись от роли «доброй женщины» и выступив во всей силе самодержавной государыни. Однако такие ситуации складывались не каждый день, а монарший гнев, или лучше сказать недовольство, обрушивался на головы провинившихся весьма избирательно. Большинство придворных он не задевал.

Следует иметь в виду, что русское общество того времени отнюдь не требовало от монарха столь уважительного отношения, которое было свойственно Екатерине. Напротив, ему казалось привычнее августейшее хамство ее предшественницы. Г. Р. Державин, описывая Елизавету в поэме «Царь-девица», едва ли не с умилением рассказывал, как та била «бояр» башмачком за провинности.

Царь жила-была девица, —  
Шепчет русска старина, —  
Будто солнце светлолица,  
Будто тихая весна.

И вливала чувство тайно  
С страхом чтить ее, дивясь;  
К ней прийти необычайно  
Было, не перекрестясь.

Статно стоя, няньки, мамки  
Одаль смели чуть дышать  
И бояр к ней спозаранки  
В спальню с делом допускать.

С ними так она вещала,  
Как из облак божество;  
Лежа царством управляла,  
Их журия за шаловство.

Иногда же и тазала  
Не одним уж языком,  
Если больно рассерчала,  
То по кудрям башмачком...

При этом образ главной героини остается возвышенным и достойным преклонения вельмож. «Все они царя-девицы / Так боялись, как огня», «И без памяти любили». Страх и любовь — два чувства, которые по понятиям того времени должен был внушать государь. Екатерина попыталась заменить их в личном общении на более привычные нам — доверие и любовь. Следует заметить, что битые слуг туфлей тогда считалось в порядке вещей. Если царица «учит» вельмож, то почему бы барыне не делать этого с сенными девушками?

В мемуарах Е. П. Яньковой есть рассказ о ее бабушке по отцовской линии, дочери известного историка В. Н. Татищева, переданный со слов няньки: «Генеральша была очень строга и строптива; бывало, как изволят на кого из нас гневаться, тотчас и изволят снять с ножки башмачок и живо отшлепают. Как накажут, так и поклонисься в ножки и скажешь: “Простите, государыня, виновата, не гневайтесь”. А она-то: “Ну пошла, дура, вперед не делай”. А коли кто не повинится, она и еще побьет. Уж настоящая была барыня: высоко себя держала, никто при ней и пикнуть не смей; только взглянет грозно, так тебя варом и обдаст. Подлинно барыня. Упокой ее Господи. Не то что нынешние господа»<sup>22</sup>.

В 40—60-х годах XVIII века такое поведение никого не удивляло, а Евпраксия Васильевна Татищева слыла «очень хорошо воспитанной и ученой», раз «говорила по-немецки». Однако уже к 90-м годам внучка вспоминает поступки родни не без осуждения. За вторую половину столетия русское общество проделало заметный путь и морально повзросло. Немалая заслуга в этом принадлежит екатерининскому царствованию с его нарочитой, насаждаемой сверху «мягкостью нравов». Пассаж деревенской няньки с упреком



«нынешним господам», де поизмельчали, порастеряли барство, можно было бы обратиться и к императрице, подававшей подданным «дурной пример».

Любопытно, что стремление императрицы «церемониться» с русскими дворянами осуждалось некоторыми европейскими наблюдателями как неуместное и даже вредное для нации дикарей. Так, французский дипломат Мари Даниэль де Корберон, посетив в 1775 году Сенат, сравнивал нравы Петровской эпохи с современными ему не в пользу Екатерины II. «На столе указы Петра I, — писал он, — как вести себя на собраниях, не ругаться и т. п., правила приблизительно такие же, как в парижских бильярдных; но Петр I, великий человек по своему гению, управлял варварами, и было необходимо преподать правила приличия мужикам, из которых он хотел сделать государственных людей. Конечно, следовало иногда бить их палками, что он отлично проделывал собственноручно. Если бы государыня последовала его примеру, она совершила бы лучшие дела и больше, нежели с ее нежным и романтическим духом, который здесь не годится»<sup>23</sup>.

Впрочем, был и за Екатериной грех. Молоденькая великая княгиня, пожив в московских и петербургских дворцах, переняла не лучшие манеры и как-то отхлестала своего камердинера Василия Шкурина по щекам. Случай был чисто женский. Екатерина хотела подарить императрице Елизавете два отреза красивых тканей и обмолвилась об этом камердинеру. Тот сообщил надзиравшей за царевной графине Марье Чоглоковой, а последняя, опередив великую княгиню, передала ткани. Произошедшее обидело Екатерину. «Я отправилась в маленькую переднюю, где Шкурин обыкновенно находился по утрам и где были мои платья; застав его там, я влепила ему изо всех сил здоровую пощечину и сказала, что он предатель и самый неблагодарный из людей... что я осыпала его благодеяниями, а он выдал меня... что я его прогоню и велю отодрать. ...Мой Шкурин упал на колени, заливаясь горячими слезами, и просил у меня прощения с искренним, как мне показалось, раскаянием»<sup>24</sup>.

Это единственный известный за Екатериной случай рукоприкладства, и она не без умысла поместила его в

свои «Записки». Он очень характерен для атмосферы наушничества, царившей при дворе Елизаветы. Великая княгиня пощечинами вколотила Шкуруину понимание, кто его истинная хозяйка, и после уже оба были абсолютно довольны друг другом. Преданность Василия не имела границ. Когда 10 апреля 1762 года его госпожа тайно рожала сына от Григория Орлова, камердинер поджег свой дом, чтобы толпа придворных ринулась смотреть пожар и на время покинула дворец. Позднее маленький бастард Алексей Бобринский первые годы жизни воспитывался в семье Шкурина. Такова оказалась цена разбитого носа.

### *Неприятное происшествие с девицей Эльмпт*

Припомним случай с Натальей Лопухиной, злословившей Елизавету Петровну в 1743 году и потерявшей за это язык. Похожая ситуация сложилась через сорок с лишним лет. В 1785 году группа придворной молодежи — две фрейлины: баронесса София Эльмпт и Елизавета Дивова, супруг последней Адриан Дивов и ее брат граф Дмитрий Бутурлин, флигель-адъютант князя Потемкина «сделали на многих знатных людей сатиру в рисунках, с острыми, язвительными и оскорбительными надписями, в которых не пощажена и сама императрица». Пасквиль разошелся при дворе, вызвал скандал и «в удовольствие многих потерпевших... сожжен был на эшафоте палачом».

Случай открыл его составителей. Парикмахер, завивая волосы девицы Эльмпт, в поисках бумаги для папилюток «взглянул в угол и увидел разорванные лоскутки». Взяв их, он заметил рисунки, которые и передал обер-гофмаршалу. Сатира оказалась написана рукой Эльмпт, под страхом наказания она назвала соучастников. Конечно, никакого публичного сечения кнутом, урезания языка и ссылки в Сибирь к злым шутникам не применили. Но они были наказаны за оскорбление величества. Девицы лишились фрейлинского шифра. Обер-гофмейстерина, по слухам, выпорола Эльмпт розгами. Затем ее выслали к отцу в Лифляндию. Дивова

и ее муж были удалены из столицы. Граф Бутурлин отставлен с запрещением въезжать в «местопребывание государыни»<sup>25</sup>.

Приведенные адъютантом Потемкина Львом Энгельгардтом подписи к рисункам выглядели довольно невинно: «Всех острее изображен был Безбородко, недавно пожалованный графом; он держал книгу с надписью: “Новый граф, обернутый телячьей кожей”». Понятно, что воспитанный молодой человек не процитировал особо хлестких высказываний.

А вот французский памфлетист Шарль Массон, некоторое время служивший при дворе в качестве учителя математики великих князей Александра и Константина, услужливо выказал свою осведомленность в скабрёзных тайнах. Его описание не оставляет сомнений: государыня имела причины рассердиться. Среди карикатур «была одна, на которой Екатерина, изображенная в неприличной сладострастной позе, заставляла своего сердечного друга, графиню Брюс, делать перед собой разные телодвижения. На другой, столь же непристойной для восемнадцатилетней барышни, был изображен лежащий на софе Потемкин, а перед ним три его племянницы, тогда девицы Энгельгардт, а теперь графиня Браницкая, княгиня Юсупова и графиня Скавронская: казалось, что эти три полуголые богини, жестаи и выразительными позами выставляли напоказ свои особые прелести, оспаривали друг у друга победу над своим дядюшкой, этим новым пастухом Парисом»<sup>26</sup>.

Драматизируя картину, автор добавлял, что обеих девиц высеки до крови да еще в присутствии остальных фрейлин — в назидание. Однако после его слов удивительно не то, что ретивых Эльмпт и Дивову наказали, а то, что обе спустя несколько лет вернулись ко двору. Правда, нельзя сказать, насколько сведения Массона точны. Его книга изобилует передержками и откровенной ложью, на которой автора не раз ловили историки.

Характерно, что, говоря об участи Лопухиной, современники старались смягчить описание кары, ведь язык даме не вырвали, а лишь урезали. А вот наказа-

ние Эльмпт представлялось слишком суровым. Энгельгардт, описавший этот случай, считал, что, если бы сатира молодых шалопаев не касалась «обруганных в нравственности лиц, то, конечно, поступлено было бы более нежели снисходительно». Однако даже он сомневался, в действительности ли фрейлина была высечена. Английская исследовательница Исабель де Мадариага, автор крупнейшей на сегодняшний день монографии о России в царствование Екатерины II, с большим скепсисом высказывается о самой возможности наказания розгами при тогдaшнем дворе<sup>27</sup>.

Тот факт, что через пару лет обе проштрафившиеся дамы приехали в столицу, а Дивова даже стала содержательницей модного салона, где собиралась изысканная публика из числа французских аристократов-эмигрантов, говорит не в пользу истории с поркой. После подобного унижения трудно было показаться в свете, тем более блистать в качестве хозяйки «маленького Кобленца», как называли ее дом. Что касается Эльмпт, то она вышла замуж за генерал-поручика П. И. Турчанинова, статс-секретаря императрицы по военным делам. Перевив невеста такое бесчестье, как наказание розгами, и выгодный брак был бы невозможен из-за чисто светских условностей.

Нас в данном случае должна заинтересовать реакция общества. Даже неподтвержденные слухи о том, что молодую дворянку могли высечь, пусть и за дело, были уже крайне неприятны современникам. Личная мягкость Екатерины с двором сыграла роль нравственного примера. Перенимая манеру государыни, ее взгляд на окружающих, русское дворянское общество сделало значительный шаг вперед. Оно усвоило урок уважения к самому себе. Заставить людей позабыть о нем оказалось не так-то просто.

Особую пикантность случившемуся придавал тот факт, что Дивова, в девичестве Бутурлина, и ее брат были детьми Марии Романовны Воронцовой. После ранней смерти матери их воспитал дядя Александр Романович Воронцов, один из крупнейших вельмож и виднейший оппозиционер, чье критичное отношение

к императрице было известно. Екатерина понимала, что вольных настроений и неприязни к ней молодые люди набрались в его доме. Однако опала племянников не отразилась на Воронцове. Он мог и дальше бравировать независимой от государыни позицией. Екатерина намеренно позволяла это.

Тот же Державин, славивший драчливую «царь-девицу», не смущался во время докладов Екатерине говорить заведомо неприятные вещи и даже настаивать на своем мнении, игнорируя ее реакцию.

Он считал себя *обязанным* поступать так, иначе страдала его совесть. Дочь архитектора Николая Александровича Львова и племянница Державина — Елизавета Николаевна — передавала случай, когда сенаторы, знакомые со вспыльчивым характером Гаврилы Романовича, уговорили его как-то не ехать в Сенат, когда там разбиралось одно щекотливое дело. Державин не знал, как на это согласиться, «желчь его расходилась», он почувствовал себя нехорошо, лег на диван и попросил одну из родственниц почитать ему что-нибудь для успокоения. Та взяла с полки книгу его сочинений, открыла первую попавшуюся страницу и начала оду «Вельможа». «Но как выговорила стихи:

Змеей пред троном не сгибаться,  
Стоять — и правду говорить...

Державин вдруг вскочил с дивана, схватил себя за поседлые волосы, закричав:

— Что написал я и что делаю сегодня! Подлец!

Не выдержал больше, оделся»<sup>28</sup> и отправился в Сенат.

Не желая ронять чести, Державин-сенатор, как и Державин-поэт, был в своем праве. А Екатерина уважала это право и личным поведением не подавляла, а развивала в окружающих чувство собственного достоинства.

За 34 года царствования подданные благородного происхождения настолько привыкли считать себя людьми, европейцами и дворянами, что резкий поворот Павла I в сторону самодержавной манеры поведения шокировал и покоробил русское общество.

## «Два разительных примера»

Считается, что Павел I многое в характере и манерах унаследовал от своего отца Петра III. Двое убитых мужчин, две жертвы неумения ладить с приближенными, точно держат под конвоем царствование Екатерины. За обоих исследователи предъявляют к императрице высокий счет. Винят в уничтожении первого и в похищении власти у второго. Винят и в длительной изоляции наследника, мелочном надзоре, постоянной угрозе жизни, которые и воспитали из Павла нервного, деспотичного, неуравновешенного человека. А это в конечном счете предопределило печальный исход.

Принято думать, что перечисленные качества перешли к сыну императрицы от отца — человека крайностей — и лишь развились в неблагоприятной обстановке. Рассмотрим этот вопрос подробнее. Так же как и Екатерине, Петру III не у кого было поучиться обращению с людьми. Иностранцы дипломаты не раз подчеркивали в донесениях, что у молодого двора нет ни одного надежного советчика, который подсказал бы великим князю и княгине правильный, осторожный образ действий. На свой страх и риск они выбрали совершенно разные пути, которые и привели их к разным результатам.

Поведение Петра III давало жене богатую пищу для размышлений. Недаром в начале своих мемуаров Екатерина поместила важный силлогизм: «...Счастье отдельных личностей бывает следствием их качеств, характера и поведения... Вот два разительных примера: Екатерина II, Петр III»<sup>29</sup>. По ее мнению, именно образ жизни привел ее супруга к потере короны.

Мы не будем касаться политических причин, вызвавших переворот 1762 года, поскольку это выходит за рамки нашего повествования. Обратим лишь внимание на вопрос взаимоотношений преемника Елизаветы Петровны с двором — немаловажный для удержания власти. Романтизация фигуры несчастного императора, проявившаяся в последние десятилетия, во многом строится на утверждении, что негативный образ Петра — плод недоброжелательной мемуаристики и в пер-

вую очередь записок Екатерины II и Е. Р. Дашковой. Поэтому мы прибегнем к другим источникам, в частности, к мнениям иностранных дипломатов.

В 1746 году бывший прусский посланник Аксель фон Мардефельд составил для своего преемника в Петербурге графа Карла фон Финкенштейна «Записку о важнейших персонах при русском дворе». Казалось бы, великий князь, по-детски влюбленный во Фридриха II, должен был вызывать симпатию берлинского дипломата. Однако тон документа в отношении Петра Федоровича заметно пренебрежителен: «Великому князю девятнадцать лет, и он еще дитя, чей характер покамест не определился. Порой он говорит вещи дельные и даже острые. А спустя мгновение примешь его легко за десятилетнего ребенка, который шалит и ослушаться норовит... Он уступает всем своим дурным склонностям. Он упрям, неподатлив, не чужд жестокости, любитель выпивки и любовных походов, а с некоторых пор стал вести себя как грубый мужлан. Не скрывает он отвращение, кое питает к российской нации, каковая, в свой черед, его ненавидит, и над религией греческой насмеяется... Всем видом своим показывает он, что любит ремесло военное и за образец почитает короля (Фридриха II. — *О. Е.*)... Однако ж покамест сей воинский пыл ни в чем другом не проявляется, кроме как в забавах детских, так что отверг он роту кадетов и составил себе взамен роту из лакеев... В покоях своих часто играет он в куклы. Супругу не любит, так что иные предвидят, по признакам некоторым: детей от него у нее не будет. Однако ж он ее ревнует»<sup>30</sup>. Как видим, описание Мардефельда в принципе не разнится с расхожей характеристикой Петра III, основанной на мемуарах Екатерины II и княгини Дашковой.

Преемник дипломата в Петербурге Карл фон Финкенштейн, составивший в 1748 году «Общий отчет о русском дворе», высказывался еще резче: «На великого князя большой надежды нет. Лицо его мало к нему располагает... Не блещет он ни умом, ни характером; ребячится без меры, говорит без умолку, и разговор его детский, великого государя недостойный, а зачастую и

весьма неосторожный; привержен он решительно делу военному, но знает из одного лишь мелочи; охотно разглагольствует против обычаев российских, а порой и на счет обрядов Церкви Греческой отпускает шутки; беспрестанно поминает свое герцогство Голштинское, к коему явное питает предпочтение; есть в нем живость, но не дерзну назвать ее живостью ума; резок, нетерпелив, к дурачествам склонен, но ни учтивости, ни обходительности, важной персоне столь потребных, не имеет... Те, кто к нему приставлен, надеются, что с возрастом проникнется он идеями более основательными, однако кажется мне, что слишком долго надеждами себя обольщают. Слушает он первого же, кто с доносом к нему является, и доносу верит... Слывет он лживым и скрытным, однако ж, если судить по вольности его речей, пороками сими обязан он более сердцу, нежели уму. Если когда-либо взойдет на престол, похоже, что правителем будет жестоким и безжалостным; недаром толкует он порой о переменах, кои произведет, и о головах, кои отрубит»<sup>31</sup>.

Вновь обратим внимание на совпадение слов прусского дипломата о жестокости Петра с эпизодом из «Записок» Дашковой, где молодой император буквально в паре комнат от тела покойной тетки разглагольствует о пользе смертной казни и о желании вернуть ее в Россию<sup>32</sup>. Столь серьезное намерение мало соотнобразуется с общей шутовской манерой поведения государя и на ее фоне кажется особенно пугающим.

Ребячливость — черта, которую у Петра III отмечали практически все наблюдатели. Причем подчас «ребячества» государя переходили границы, становились опасны или оскорбительны для окружающих, выставляли его самого в смешном и карикатурном виде. Как, например, шуточные похороны негра-профоса по имени Нарцисс, описанные Дашковой.

В 1746 году, когда великому князю исполнилось 18 лет, канцлер А. П. Бестужев-Рюмин составил инструкцию для обер-гофмаршала малого двора. Согласно этому документу следовало всячески препятствовать наследнику проявлять во время богослужения «небрежение, холодность и индифферентность (чем в церкви



находящиеся явно озлоблены бывают)». Кроме того, Петру запрещалось заниматься «игранием на инструментах, егерями и солдатами и иными игрушками и всякие штуки с пажами, лакеями или иными негодными и к наставлению неспособными людьми». Наследнику возбранялась «всякая пагубная фамильярность с комнатными и иными подлыми служителями», а им — «податливость в непристойных требованиях», под которыми подразумевалось «притаскивание в комнаты разных бездельных вещей». Петр должен был поступать, «не являя ничего смешного, притворного, подлого в словах и минах... чужим учтивства и приветливость оказывать, более слушать, нежели говорить... поверенность свою предосторожно, а не ко всякому поставлять». Но самый примечательный пункт касался поведения великовозрастного наследника за столом. Обер-гофмаршал должен был следить, чтобы Петр не позволял себе «негодных и за столом великих господ непристойных шуток и резвости», воздерживался «от шалостей над служащими при столе, а именно от залития платей и лиц и подобных тому неистовых издеваний»<sup>33</sup>.

Из инструкции создается впечатление, что великий князь вообще не умел себя вести в обществе, и приставленные к нему придворные не знали, как с ним справиться на людях. Он был для них вечным стыдом и огорчением. Когда же Петр III занял престол, то стал таким стыдом для всей России. И если далеко не все подданные это понимали, поскольку не видели государя вблизи, то двор, гвардия и высшее чиновничество, постоянно пребывавшие в Петербурге, насмотрелись на выходки «голландского уroda» достаточно. Именно неумение себя держать погубило племянника Елизаветы Петровны, а политические следствия не замедлили явиться.

Уважая других, монарх в первую очередь должен был вызывать в людях уважение к себе. Не будучи личностью, очень трудно заметить личностей вокруг. Не испытывая должного почтения перед собственной персоной или хотя бы перед тем высоким положением, на которое вознесла тебя судьба, нет причин чтить оставшихся внизу. От них можно требовать повиновения, но не преданности. На примере мужа Екатерина хорошо усвоила эти истины.

Елизавете Петровне часто ставят в вину изоляцию малого двора. Замкнутый, удаленный образ жизни великокняжеской четы под неусыпным, прямо-таки полицейским надзором графини Марьи Чоглоковой объясняют обычно политическими причинами. Елизавета боялась соперничества с наследником и тех заговоров, которые постоянно заваривались в его пользу при дворе. К этому правильному утверждению стоит добавить одну бытовую подробность. Императрица, видимо, стеснялась Петра, избегала приглашать на большие собрания, показывать иностранцам. Вместе с мужем оказалась заперта в четырех стенах и великая княгиня. Затворническая жизнь, необходимость испрашивать августейшее разрешение на все вплоть до прогулок по парку только ухудшили состояние Петра Федоровича, от безделья он зверел и дичал. Екатерина же сумела с пользой употребить бесконечные часы одиночества. С детства пристрастившись к чтению, она знала, чем себя занять.

Уже тогда ее характеристики в депешах иностранных дипломатов резко контрастируют с описанием мужа. «Великая княгиня достойна супруга более любезного и участи более счастливой, — писал Финкенштейн. — Лицо благородное и интересное предвещает в ней свойства самые приятные, характер же сии предвещая подтверждает. Нрав у нее кроткий, ум тонкий, речь льется легко; сознает она весь ужас своего положения, и душа ее страждет; как она ни крепится, появляется порою на ее лице выражение меланхолическое — плод размышлений... Порою молодость и живость берут свое, однако же осмотрительности у нее довольно, и великому князю пожелал бы я держаться столь же осторожно... Нация любит великую княгиню и уважает, ибо добродетелям ее должное воздает»<sup>34</sup>.

### *«Бедный деспот»*

Казалось бы, такая мать должна была позаботиться о воспитании сына. Слепить его по своему образу и подобию. Однако жизнь сложилась иначе. Было бы не-

верно считать, что Павел получил столь же дурное воспитание, как и его отец. Напротив, об образовании наследника очень пеклись с первых шагов. Елизавета Петровна стала для него доброй и нежной бабушкой. В качестве наставника к нему был прикомандирован один из умнейших и образованнейших людей своего времени — Никита Иванович Панин, будущий знаменитый дипломат и составитель первого проекта конституции России. Мягкий, либеральный, служивший за границей, знавший цену куртуазному обхождению и хорошим манерам, он должен был благотворно влиять на мальчика. Мать, взойдя на престол, пригласила к Павлу лучших учителей, она даже просила Даламбера занять место педагога при царевице, но знаменитый философ отказался.

Мемуаристы отмечали большие способности наследника к точным наукам, военному делу, интерес к искусству, мистической философии... и тяжелый характер. Последний не удалось исправить воспитанием. Напротив, с годами, по мере того как Павел все нетерпеливее ожидал короны, в нем развились ипохондрия, желчность, мстительность, злопамятность, неумение прощать обиды. Людей он воспринимал как заводных марионеток и был ровен с ними лишь до тех пор, пока они неукоснительно исполняли его приказания.

Получив власть, новый император обнаружил стремление «перешагнуть» через екатерининское царствование, сделать вид, будто прошедших 34 лет не существовало, отменить законы матери, начать жизнь с чистого листа. Это желание особенно хорошо видно в деле лейтенанта Акимова, которого за эпиграмму на постройку Исаакиевского собора приговорили к вырезанию языка и ссылке в Сибирь<sup>35</sup>. Мы точно возвращаемся к началу елизаветинского царствования и приснопамятному делу Лопухиной. Еще недавно придворные шептались, правда ли обер-гофмейстерина отстегала розгами девицу Эльмпт. Теперь все в страхе застыли перед новым суровым хозяином.

Любопытно, что те самые люди, которые еще недавно открыто возражали Екатерине, не стеснялись обнаруживать перед Павлом откровенный страх. Пока-

зательна история с Державиным. М. А. Дмитриев сообщал, что поэту было поручено рассмотреть бумаги одного банкира, скорее всего, барона Ричарда Сутерланда, ведшего дела с Кабинетом. Державин зачитывал государыне счета и дошел до долга банкиру одного не слишком любимого ею вельможи, вероятно А. Р. Воронцова. «Вот как мотает!» — возмутилась императрица. Державин заметил, что князь Потемкин занимал еще больше и указал по счетам, какие суммы. Некоторое время разбор бумаг шел мирно, пока дело вновь не коснулось нелюбимого вельможи. «Вот опять, — сказала Екатерина. — Мудрено ли после этого сделаться банкротом!» Державин почел долгом сообщить, что Зубов занял еще больше. Императрица вышла из терпения и пригласила из соседней комнаты В. С. Попова. «Сядьте тут, Василий Степанович, — попросила она. — Этот господин, мне кажется, меня прибить хочет». Горячность поэта действительно была известна.

Однако при общении с Павлом она улетучилась в мгновение ока. Новому императору было угодно назначить Гаврилу Романовича своим докладчиком. Педантичный поэт захотел получить инструкцию новой должности. Дважды он обращался к государю с просьбой о ней, наконец надоел ему, и Павел гаркнул на старого сановника: «Вон!» Несостоявшийся докладчик побежал из кабинета, а император с криком и бранью пустился вслед за ним<sup>36</sup>.

Поневоле на память приходят нелицеприятные слова адмирала П. В. Чичагова о вельможах времен его молодости: «Сколько я знал из этих высокомерных дворян, которые при Екатерине ничем не были довольны, считали себя недостаточно свободными, то и дело роптали на правительство, а при Павле — только дрожали. То надменные и дерзкие, то подлые и трусливые, они были всегда невежественны и раболепны»<sup>37</sup>.

Возможно, возвращение во времена блаженной памяти Елизаветы Петровны психологически очень устраивало самого Павла. Но оно не могло устроить общество, неготовое выкинуть из своего развития целых четыре десятилетия реформ и культурного продвижения вперед. За время царствования Екатерины II подня-

лось новое поколение, воспитанное на уважении к правам, закрепленным Жалованной грамотой дворянству 1785 года. Оно совершенно иначе, чем отцы, реагировало на попытки государя подменять закон своей волей. Права личности и частная жизнь сделались ценностями, посягательства на которые воспринимались очень болезненно.

Достаточно ознакомиться с эпистолярными источниками последних лет XVIII века, чтобы убедиться в этом. «Трудно описать Вам, в каком вечном страхе мы живем, — жаловался другу граф В. П. Кочубей. — Боишься своей собственной тени. Все дрожат, так как доносы следуют за доносами, и им верят, не справляясь, насколько они соответствуют действительности. Все тюрьмы переполнены заключенными. Какой-то ужасный кошмар душит всех. Об удовольствиях никто и не помышляет... Тот, кто получает какую-нибудь должность, не рассчитывает оставаться на ней больше трех или четырех дней... Теперь появилось распоряжение, чтобы всякая корреспонденция шла только через почту. Отправлять письма через курьеров, слуг или оказией воспрещается. Император думает, что каждый почтмейстер может вскрыть и прочесть любое письмо. Хотят раскрыть заговор, но ничего подобного не существует. Ради бога, обращайтесь внимание на все, что Вы пишете. Я не сохраняю писем, я их жгу... Нужно бояться, что доверенные лица, на головы которых обрушиваются самые жестокие кары, готовятся к какому-нибудь отчаянному шагу... Для меня, как и для всех других, заготовлена на всякий случай карета, чтобы при первом же сигнале можно было бежать»<sup>38</sup>.

«Доверенные лица» из письма Кочубей — это как раз и есть придворные, ближний круг, терроризируемые непредсказуемым поведением императора. «Благосостояние государства не играет никакой роли в управлении делами, существует только неограниченная власть, которая все творит шиворот-навыворот»<sup>39</sup>, — признавался в письме к своему старому воспитателю Фредерикю Лагарпу цесаревич Александр Павлович.

В пристрастном внимании Павла к мелочам уже проявлялось нечто нездоровое. Преувеличенное зна-

чение, которое он придавал деталям военной формы и точнейшему выполнению всех сторон строевой службы, порождало частые наказания офицеров, жестокость которых никак не соразмерялась с провинностью. За три первые дня царствования в отставку были отправлены 16 генерал-лейтенантов, 57 генерал-майоров и 3 полных генерала. А за четыре года — 333 генерала и 2261 офицер<sup>40</sup>. Следует учитывать, что чины эти были не списочными, недавно отгремели вторая Русско-турецкая война, война со Швецией и походы в Польшу. Павел знал, что офицерский корпус его не любит, и стремился обезглавить войско, боясь заговора в армейской среде. Опасения эти были небеспочвенными. Подчиненные делали А. В. Суворову предложение поднять армию и идти на Петербург, чтобы свергнуть императора. Но Александр Васильевич отказался, пугая заговорщиков «кровью сограждан»<sup>41</sup>.

Двор тоже был охвачен не самыми лояльными по отношению к новому государю настроениями. «Всеобщая тревога постоянно нарастала, — пишет Виже-Лебрён о событиях 1796 года, — поскольку было не только сожаление о Екатерине, но и безумная боязнь воцарения Павла... Все говорили, что воспоследует возмущение против него»<sup>42</sup>. Однако двор сам действовать не отваживался, ожидали решительных шагов армии, но их не было. И все же Павел видел реальную угрозу именно в войсках, пропитанных, как ему казалось, «потемкинским духом». Чистка офицерского корпуса, осуществленная новым императором, имела целью ослабить возможное сопротивление.

В «Записках» А. М. Тургенева нарисована неприглядная картина: «В несколько часов был потрясен весь государственный порядок, все правовые устои, все пружины государственной машины были сдвинуты со своих мест... Лакей генерала Апраксина — Клейнмихель был уполномочен обучать военному искусству фельдмаршалов. Шесть или семь фельдмаршалов, находившихся тогда в Петербурге, сидели за столом под председательством бывшего лакея, который объяснял так называемую тактику посевшим в военных похо-

дах полководцам. Вся его премудрость состояла из чисто внешних приемов строевой и караульной службы, разных уловок и других подобного рода пустяков».

Тургенев служил в Кирасирском полку, к которому у императора был особый счет. Прежде полк назывался Екатеринославским, был любим Потемкиным, а после смерти светлейшего князя носил его имя. При Павле многие офицеры-кирасиры оказались разжалованы, лишены орденов и высланы из столицы. Во время коронации нового государя 231 офицер полка был нарочно заперт в одну из Кремлевских башен, чтобы полк не мог принять участия в торжествах. Ни один парад не обходился без арестов офицеров именно этого полка. «В один прекрасный день все дежурные офицеры штаба и адъютанты получили приказ собраться в зале перед рабочим кабинетом государя, — писал Тургенев. — Когда все явились, Павел вышел и громким, хриплым голосом закричал: “Адъютант Екатеринославского полка, вперед”. Я подошел к императору. Он подступил очень близко ко мне и начал меня щипать: справа от него стоял весь бледный великий князь Александр, слева — Аракчеев. Это щипание продолжалось, и у меня появились слезы на глазах от боли. Глаза Павла Петровича сверкали от гнева. “Расскажите, — воскликнул он, наконец, — в своем полку, а там уж и дальше передайте, что я выблю из вас потемкинский дух, и сошлю вас туда, куда и ворон ваших костей не занес бы”»<sup>43</sup>.

После подобной сцены у молодого офицера не было оснований симпатизировать императору. У его товарищей тоже. За четыре года царствования Павла только из числа военнослужащих и чиновников в ссылку отправилось более 12 тысяч человек. То есть в среднем ежедневно опале подвергалось восемь неудобных лиц<sup>44</sup>. Понятно, почему сравнительно небольшой по современным меркам двор (около 300 представителей благородного сословия, имевших придворные чины) жил в вечном страхе.

Император, хоть и не отменил прав, зафиксированных в Жалованной грамоте дворянству, однако на практике с ними не считался. Лиц благородного происхождения снова стали бить за провинности, правда

предварительно разжаловав и лишив дворянского звания. Так, в 1800 году штабс-капитан Кирпичников был прогнан сквозь строй с тысячью шпицрутенгов, лейтенант П. О. Грузинов наказан плетью, а его брат Е. О. Грузинов засечен насмерть. Все они были лишены чинов и дворянства, а имущество отобрано в пользу казны<sup>45</sup>.

Чтобы подданные сразу поняли, как резко изменилась их жизнь, Павел в мгновение ока попытался преобразить облик дворца и столицы. «Все через сутки приняло совсем новый вид, — вспоминал князь Ф. Н. Голицын. — Перемена мундиров в полках гвардии, вахтпарады, новые правила в военном учении; одним словом, кто бы за неделю до того уехал, по возвращении ничего бы не узнал... Дворец как будто обратился весь в казармы: внутри пикеты, беспрестанно входящие и выходящие офицеры с повелениями, с приказами. Стук их сапогов, шпор и тростей»<sup>46</sup>. Все это напугало придворных и не зря. Знаменитые павловские запретительные меры были впереди.

В течение четырех лет круг дозволенного все более сжимался. Нельзя было танцевать вальс, носить фраки и жилеты, башмаки с бантами, низкие сапоги, высокие галстуки, дамам надевать через плечо пестрые ленты, щеголять в белых блузках с открытым воротом и синих юбках. Словом, гонениям подверглось все, что диктовала французская «революционная» мода. Лакеям и кучерам запрещалось втыкать в шляпы перья, офицерам нежиться в шубах и шапках со стеганой подкладкой. Особое внимание было уделено прическам. Запрещались челки, коротко остриженные локоны, бакенбарды, офицерам надлежало обрезать конец косицы, чтобы он не висел. Все обязаны были пудрить волосы.

«Первым геройским деянием нового царствования была жестокая и беспощадная борьба против злейших врагов русского государства, против круглых шляп, фраков и жилетов, — писал Тургенев. — Уже на следующий день 200 полицейских драгунов бегали по улицам и по особому указу срывали у всех прохожих шляпы, которые тут же уничтожались; у фраков отрезали воротники, а жилеты, по усмотрению капралов и унтер-офицеров, разрывались на части. В 12 часов на



улицах не видно было уже ни одной круглой шляпы; фракки и жилеты были совершенно обезврежены; тысячи обывателей Петрополиса разбежались по домам с непокрытыми головами, в изодранном платье, полунагие»<sup>47</sup>.

Виже-Лебрён признавалась, что пережила в царствование Павла сильнейший в своей жизни страх. Однажды она со знакомыми отправилась на загородный пикник. От костра, который они разложили, нечаянно занялась ель. Иностранцы вообразили, что пожар заметят из столицы, их накажут за поджог и сошлют в Сибирь. Ужас перед гневом императора был так велик, что художница бросилась забивать огонь голыми ладонями, от чего ее руки очень пострадали и она не могла некоторое время держать кисть.

Новый император решил в корне изменить ритм жизни столицы. К этому времени горожане из благородного сословия привыкли поздно ложиться и поздно вставать. По требованию Павла пробуждаться и являться в присутственные места следовало к шести утра, обедать одновременно с государем в час пополудни, о чем Петербург извещал выстрел пушки, а отходить ко сну не позднее десяти вечера. Причем еще с девяти, чтобы жители могли заблаговременно приготовиться, по улицам ходили специальные «нахт-вахтеры», били в колотушки и кричали: «Гасите огонь, запирайте ворота, ложитесь спать!»<sup>48</sup> Если учесть, что прежде веселились далеко за полночь, то и теперь никто старые привычки не бросил, хозяева закупили плотные шторы и не зажигали свечей в окнах, выходивших на улицу. Нарушая закон, все, однако, жили в вечном трепете.

Не понравился петербуржцам и приказ, согласно которому всем без различия возраста и положения проходя мимо дворца, полагалось снимать шапки и кланяться. При встрече с императором следовало выходить из экипажа. «За исполнением этого повеления наблюдали с высочайшей строгостью, — писал Август-Фридрих фон Коцебу, немецкий драматург, служивший в это время в России. — И, несмотря на глубокую грязь, разряженные дамы должны были вылезать из своих карет». В мемуарах описана пара случаев, когда Павел галантно воспрепятствовал той или иной встре-

ченной даме покинуть возок, чтобы приветствовать его. «Зато сотни других дам, когда они или их кучера не были достаточно проворны, подвергались сильным неприятностям. Так, г-жа Демут, жена содержателя гостиницы, должна была из-за этого отправиться на несколько дней в смирительный дом»<sup>49</sup>.

В 1800 году Павел подписал характерный указ об аплодисментах. «Его Императорское Величество с крайним негодованием усмотреть изволил во время последнего в Гатчине бывшего представления, что некоторые из зрителей принимали вольность плескать руками, когда Его Величеству одобрения своего изъявлять было неудобно, и, напротив того, воздерживались от плескания, когда Его Величество своим примером показывал желание одобрить игру актеров»<sup>50</sup>. Такой всеобъемлющий контроль за вкусами выглядел в глазах императора нормальным. Но подданные уже едва выдерживали, что выразилось во множестве карикатур на императора. «Один из подобных рисунков изображал его с листом бумаги в каждой руке с надписями “порядок” и “противупорядок”, а на лбу было начертано “беспорядок”»<sup>51</sup>.

Не удивительно, что долго существовать в столь стесненных обстоятельствах большой город не мог. В памяти петербуржцев еще свежи были картины либерального быта при матушке-государыне. Еще не забылись триумфальные шествия в ознаменование громких побед, когда трофейные турецкие и шведские знамена препровождались в Петропавловскую крепость.

С наибольшей ясностью конфликт между государем и обществом обнажился во время похорон А. В. Суворова. После знаменитых Итальянского и Швейцарского походов полководец вернулся в столицу уже тяжело больным. Город ждал торжественной встречи, ее не последовало. Недавно пожалованный чином генералиссимуса, Александр Васильевич попал в новую опалу, чуть только ступил на родную землю. В дом его друга Д. И. Хвостова на Крюковом канале, где умирал герой, никто не смел показаться. 6 мая 1799 года Суворов скончался. А уже 12 мая почти весь Петербург вышел на улицы, чтобы проводить его в последний путь<sup>52</sup>. Много-

тысячные толпы запрудили площади и набережные. Это была скорее демонстрация, чем похоронная процессия. Император не вышел к гробу. (По другой версии, он столкнулся с катафалком на улице, но повернул.) Своим высочайшим отсутствием Павел подчеркнул недозволённость скорби по человеку, лично ему неприятному.

А город, в свою очередь, демонстрировал государю недовольство его политикой, равнодушие к августейшему мнению и, наконец, презрение к нему самому. Ещё вчера люди неохотно стягивали шапки перед дворцом, а сегодня с непокрытыми головами шли за гробом опального победителя французов. Похороны Суворова были актом гражданского неповиновения. Солидарным, единым порывом общества, уставшего бояться. Была пройдена черта, после которой и городского обывателя, и зависимого от милостей свыше вельможу оставляет страх прогневить государя. В лихорадке от увиденного на улицах Державин, забыв о своем недавнем паническом ужасе перед Павлом, писал «Снигирия»:

Львиного сердца, крыльев орлиных  
Нет уже с нами — что воевать?

В рыданиях горожан император не услышал тревожного для себя сигнала. Последующие месяцы стали временем ещё большего диктата. Неуместным вмешательством в частную жизнь подданных, нарочитым желанием наводить страх на офицеров и чиновников Павел сам создал атмосферу, в которой его свержение и даже гибель воспринимались как благо.

Виже-Лебрён пишет, что на другой день после убийства Павла «весь город безумствовал от радости: люди пели, плясали и целовались прямо на улицах. Встречавшиеся знакомые подбегали к моей карете и, пожимая мне руки, восклицали: “Теперь мы свободны!” Накануне вечером многие дома были даже иллюминированы. Смерть несчастного сего государя вызвала всеобщее веселье»<sup>53</sup>.

И вновь мы оставляем в стороне чисто политическую сторону переворота 11 марта 1801 года. Нас инте-

ресует неудавшийся личный альянс между императором и его коллективным оппонентом — придворными, гвардейцами, горожанами. Когда ликующая толпа обнималась и кричала «ура!», люди выбегали из домов все в тех же круглых шляпах и башмаках с бантами, которые, несмотря на все запреты, хранились в сундуках до лучших времен. Это показывает не только неэффективность запретительных мер, но и удивительную наивность Павла-государя — он действительно думал, что сможет в мелочах навязать обществу свои вкусы. Точно столица была огромным младенцем, не способным о себе позаботиться. Император нарочито не замечал, что со времен Елизаветы Петровны «ребенок» вырос. За эту ошибку ему пришлось жестоко поплатиться. О покойном почти никто не жалел. Подданные выказывали неприличную радость по поводу гибели докучной «няньки». Новый государь Александр I, воспринявший в отношениях с людьми мягкий стиль своей бабки, подобных ошибок уже не совершал.

### *Матушка-царица*

Одной из причин неприязни дворянского общества к Павлу было его нарочитое и грубое вмешательство в семейные дела — сферу частной жизни. В Екатерининскую эпоху процесс обособления частной жизни от служебной, государственной только начинался, благодаря расширению образования и предоставлению дворянству законодательных гарантий его высокого положения.

Семьи были велики, и не всегда удавалось определить их границы. Мало того, что все благородное сословие «считалось родством», оно еще и воспринимало монарха не просто как носителя верховной власти, но и как главу огромного патриархального клана. «Люди из простого народа обращаются к вам не иначе как *матушка, батюшка, братец, сестрица*, — писала Виже-Лебрён. — Каковой обычай распространяется и на всю императорскую фамилию, в том числе и на самого императора»<sup>54</sup>. Подданные ничуть не стеснялись докучать императрице просьбами пристроить детей в учеб-

ное заведение, решить спор о наследстве, подыскать жениха засидевшейся в девках дочке, вернуть «блудного» мужа, наказать «развратителя». Если бы Елизавета Петровна или Екатерина II уклонились от участия в подобных делах, их поведение расценили бы как отказ от прямых обязанностей.

В идеале все подданные воспринимались как чада большой семьи, родные, если речь шла о жителях коренных русских губерний, или усыновленные, когда дело касалось присоединенных инородцев. В реальности материнская длань государыни дотягивалась до тех, кто находился ближе к престолу. Львиная доля щедрот доставалась дворянству. Однако риторика царствования была направлена на то, чтобы все население вне зависимости от сословия и национальной принадлежности ощущало себя «детьми» Премудрой Матери Отечества. Во время поездок по стране Екатерина II прекрасно исполняла эту роль, а ее визиты в какое-нибудь захолустное дворянское гнездо выглядели совсем по-семейному.

Мемуарист С. Н. Глинка вспоминал, как, путешествуя в июне 1781 года по Смоленской губернии, императрица осведомилась у «поселян»:

«— Довольны ли вы, друзья мои, вашим капитаном-исправником?

И раздался общий крик:

— Довольны, матушка-царица, довольны! Он нам отец!..

— В семействе ревностного капитана-исправника рада быть гостьею», — отвечала Екатерина и тут же велела поворачивать к дому отца Глинки. Там ее встретила вся родня Духовщинского капитана-исправника, которую возглавлял столетний прадед мемуариста. Он «с быстротою юноши спрыгнул с коня и, преклонив колена, воскликнул:

— Матушка! Живи вдвое столько, сколько я прожил на белом свете!..

— Цари так долго не живут», — с улыбкой возразила гостья.

«Мать моя облобызала руку императрицы и подвела к ней нас, пятерых малюток. И теперь еще помню то

очаровательное мгновение, когда брат мой Николай резво и смело плясал перед царицею, звонким голосом заводя родную нашу песню: «Юр Юрка на ярмарке». Вижу теперь, как она, нежная мать отечества, посадила его на колени; вижу, как брат играл орденовою ее лентою; слышу, как смело сказал ей:

— Бабушка, дай мне эту звезду!

— Служи, мой друг, — отвечала Екатерина, — служи, милое дитя, и у тебя будут и ленты, и звезды; и тут же собственноручно записала его и меня в кадетский корпус, а старшего брата нашего Василия в Пажеский корпус».

Через несколько месяцев капитан-исправник Глинка повез сыновей в Петербург. По сельской традиции он снарядил обоз с гостинцами для столичных благодетелей и для матушки-императрицы. Там были домашние коврижки и липец (алкогольный напиток на меду). Со времен посещения Екатериной Смоленска соседи прозвали этот липец «царским». Государыня была тронута и первое, о чем осведомилась, о здоровье столетнего прадедушки.

«— Пусть он живет, — примолвила Екатерина, — он патриарх Глинок, а я люблю времена патриархальные... Всех ли трех правнуков вашего патриарха ты привез с собою?»

— Виноват! — воскликнул мой отец, — виноват, слезы матери выплакали у меня старшего сына, записанного вами в пажи!

— А разве я не мать вам? — спросила императрица с ласковою улыбкою»<sup>55</sup>.

«Разве я не мать?» Произнося эту фразу, Екатерина II претендовала в отношениях с подданными больше чем на статус главы государства. Ее власть была овеяна родственными узами, основана на семейном праве. Нити такой власти, пронизывая всю страну, шли от матушки-царицы через отцов-командиров к многочисленным «детям», которыми следовало управлять со строгостью и милосердием. Любя «все патриархальное», императрица поддерживала у подданных ощущение семейного единства, и ее вмешательство в их внутреннюю жизнь, буде такое случалось, выглядело по-родственному мягко.

В первые годы нового царствования русское общество не слишком нуждалось в подобной мягкости. При Елизавете Петровне передача семейных дел на суд государыни считалась вполне достойным поступком. В мемуарах Екатерина II описывала случай, произошедший на ее глазах с графиней М. И. Чоглоковой: «Мы увидели в окна, которые выходили в сад у моря, что муж и жена Чоглоковы постоянно ходят взад и вперед из верхнего дворца во дворец в Монплезире, где жила тогда императрица... Все эти хождения происходили оттого, что до императрицы дошло, что у Чоглокова была любовная интрига с одной из моих фрейлин, Кошелевой, и что она была беременна. Императрица велела сказать Чоглоковой, что муж ее обманывает, тогда как она любит его до безумия; что она была слепа до того, что эта девица, любовница ее мужа, чуть не жила у нее; что если она пожелает теперь разойтись с мужем, то сделает угодное императрице. Жена... вернулась к себе и стала ругать мужа; он упал перед ней на колени и стал просить прощенья, и пустил в ход все влияние, какое имел на нее, чтоб ее смягчить. Куча детей, какую они имели, послужила к тому, чтобы восстановить их согласие... Жена пошла к императрице и сказала ей, что все простила мужу и хочет остаться с ним из любви к своим детям; она на коленях умоляла императрицу не удалять ее мужа с позором от двора — это значило бы обесчестить ее и довершить ее горе; наконец, она вела себя в этом случае с такой твердостью и великодушием, и ее горе было так действительно, что она обезоружила гнев императрицы. Она привела мужа к Ее Императорскому Величеству, высказала ему всю правду, а потом бросилась вместе с ним к ногам императрицы и просила простить ее мужа, ради нее и шестерых детей»<sup>56</sup>.

Знаменательно, что поведение Чоглоковой, открыто обличившей супруга, а затем кинувшейся государыне в ноги с просьбой не расторгать их брака, вызывало у современников уважение. Это единственный случай в воспоминаниях Екатерины II, где она говорит о своей «мучительнице» с симпатией и даже восхищением. Никакого понятия о суверенитете семьи в тот момент еще не было. Оно зародилось в России именно во второй

половине XVIII века. Хороший психолог, чуткий к переменам культуры, императрица инстинктивно избегала вмешательства во внутренние дела подданных — не участвовала в скандалах, уклонялась от просьб рассудить стороны при дележе наследства. Лишь когда к ней требовательно обращались за справедливостью, Екатерина II вынуждена бывала пойти на разбирательство. С другой стороны, она никогда не отказывалась помочь искавшим ее покровительства, как, например, детям Глинки. Или выступить примирительницей поссорившихся супругов. Исполняя просьбы дворян, императрица приобретала их преданность.

Подобным механизмом нужно было пользоваться крайне тактично, по мере развития общества сокращая вмешательство в приватную сферу. Екатерина это умела. Ее сын Павел нет. Императрица не лукавила в разговоре с Дени Дидро, называя своих подданных «щепетильными людьми». «Щепетильность» повышалась с расширением образования и усложнением правовой системы. Чем дольше действовали гарантии социальной безопасности дворянства, тем болезненнее становилась реакция на их ломку. Первой сферой, где напряжение от павловского контроля дало себя знать, была семейная.

Показательна история замужества графини Александры Григорьевны Лаваль, урожденной Козицкой. Государь заявил ее матери, что нашел девице жениха — графа И. С. Лавала. Французский эмигрант без состояния не мог считаться хорошей партией, поэтому старушка Е. И. Козицкая отвечала, что не знает претендента. «Какое ей дело! — в сердцах воскликнул Павел I. — Главное, что его знаю я». В этом историческом анекдоте бестактность императора — не самое важное. Конфликт — в отказе общества предоставить государю те права, на которые он все еще претендовал. Павел, как и его мать, субъективно сознавал себя главой большой патриархальной семьи. Но «семья» отворачивалась от него.

Вот как фрейлина В. Н. Головина описывала коронационные торжества 1797 года, на которых дворянство обычно демонстрировало свое единение перед лицом монарха: «Их Величества каждое утро в течение



двух недель проводили на троне, принимая поздравления. Императору все казалось, что приходило слишком мало народу. Императрица (Мария Федоровна. — О. Е.) постоянно повторяла, что она слышала от императрицы Екатерины, будто во время коронации толпа, целовавшая руку, была так велика, что рука у нее распухла, и жаловалась, что у нее рука не распухает. Оберцеремониймейстер Валуев, чтобы доставить удовольствие Их Величествам, заставлял появляться одних и тех же лиц под разными названиями... то как сенатора, то как депутата от дворянства, то как члена суда... Надо сказать, что никогда раньше высшая власть не давала столько поводов к смешному, чего народная наблюдательность не оставляет безнаказанным». Дело дошло до того, что новая императорская чета даже обедала, сидя на тронах. «Император вкладывал в представительство и приемы всю свою склонность к преувеличению. Казалось иногда, что он был просто знатным человеком, которому позволили сыграть роль монарха, и торопился насладиться удовольствием, которое у него скоро отнимут»<sup>57</sup>. Последние слова оказались пророческими.

Было ли русское общество рубежа веков готово совсем отказаться от «семейного главы» в лице государя? Скорее всего нет. Недаром в начале александровского царствования дворянство ощущало недостаток в объединяющих праздниках и во внимании государя к своим нуждам. «Преувеличенная склонность к приемам императора Павла оказала печальные последствия в царствование его сына. Император Александр был шокирован, как и все, отсутствием меры в этом отношении и запомнил все насмешки и жалобы. При своем восшествии на престол он бросился в противоположную крайность и вызвал недовольство общества, уничтожая, насколько возможно, всякие приемы и поздравления»<sup>58</sup>. Стало быть, благородное сословие нуждалось не просто в возможности возвращаться в своем кругу, а в том, чтобы эту возможность предоставлял именно государь. Он оставался центром мироздания. Павла уже называли «тираном», но в Александре *еще* хотели видеть «отца».

## «Честь» или «honneur»

Создается впечатление, что Екатерина II с ее деликатной манерой общения была «белой вороной» в ряду русских государей XVIII века. «Счастливым исключением», как позднее говорил о себе ее внук Александр. И это действительно так. Однако длительность ее царствования сыграла важную роль в либерализации жизни русского общества. До известной степени Екатерина действительно подготовила трагический финал правления сына. Она в корне изменила сам тон отношений государя с двором, офицерством, чиновничеством и обитателями столиц — со всем, что в те времена могло считаться обществом и влиять на жизнь в стране.

Жаждало ли русское дворянство такого изменения? Без сомнения. В данном случае перед нами обоюдный процесс: движение государя навстречу обществу и общества навстречу государю. Вспомним слова Екатерины II из разговора с В. С. Поповым о «слепом повиновении»: «Я... изведываю мысли просвещенной части народа и по ним заключаю, какое действие указ мой произвести должен. Когда уже наперед я уверена об общем одобрении, тогда выпускаю я мое повеление». То есть императрица давала благородному сословию то, чего оно давно и с нетерпением ждало.

Сохранились донесения французских дипломатов из Петербурга времен Семилетней войны (1756—1763), в которых живо рисуется недовольство русского дворянства своим положением. Ослабление России в результате внутреннего потрясения или изменения формы правления рассматривалось Версалем как крайне желательный вариант. Незадолго до смерти Елизаветы Петровны резидент «Секрета короля» (тайной разведки) Шарль Д'Эон де Бомон написал «Рассуждение о легкости революции в России», в котором заявлял, что результатом переворота должны были бы стать «отмена позорного рабства» и «революция в форме правления». «Свобода, единожды проникнув в Российскую империю, заставит ее впасть в анархию, подобную польской, — рассуждал он. — Всякий русский, кто

получил образование и путешествовал, сотни раз вздыхал над несчастной долей в частных со мной беседах. Те, кто читает французские брошюры, а тем паче английские, объявляют себя приверженцами самой смелой философии и противниками, вместе с друзьями своими, деспотического и тиранического государства, в котором они живут»<sup>59</sup>.

Как эти замечания похожи на слова, сказанные в 1763 году княгиней Е. Р. Дашковой английскому послу графу Д. Г. Бакингампширу: «Почему моя дурная судьба поместила меня в эту огромную тюрьму? Почему я принуждена унижаться в этой толпе льстецов, равно угодливых и лживых? Почему я не рождена англичанкой? Я обожаю свободу и пылкость этой нации»<sup>60</sup>.

Д'Эону вторил французский посол Л.-А. Бретейль. Вскоре после переворота 1762 года он доносил в Париж: «Форма правления тяготит большую часть русских, беспрерывно все хотят освободиться от деспотизма... В частных и доверительных беседах с русскими я не забываю дать им понять цену свободы и свободы республиканской — крайности по вкусу нации, ее грубому и жестокому духу. Я льщусь надеждой увидеть, как обширная и деспотическая Империя разлагается в Республику, управляемую группкой сенаторов. Самым счастливым днем в моей жизни будет тот, когда я стану свидетелем этой революции». По возвращении во Францию в 1763 году посол дополнил свои рассуждения в «Мемуаре о России»: «Надо постараться сокрушить русскую нацию с помощью нее самой... Уже двадцать лет, как правительство неосторожно отпускает многих молодых людей учиться в Женеву. Они возвращаются с головой и сердцем, наполненным республиканскими принципами, и вовсе не приспособлены к противным им законам их страны»<sup>61</sup>.

Политическая пикантность этих рассуждений состояла в том, что Франция сама приближалась к революции. Образованный дворянин не мог бессознательно не опрокидывать ситуацию родной ему действительности на страну пребывания, видя все, что происходит в ней сквозь призму своей культуры. Впрочем, рассуждения Д'Эона и Бретейля о русском дворян-

стве, недовольном положением в отечестве, вполне справедливы. Вот только дипломаты заметно преувеличивали желание представителей благородного сословия избавиться «от позорного рабства». Достаточно вспомнить часто цитируемые рассуждения Дашковой о крепостном праве в разговоре с Дидро. Своеобразный «экспорт» революционных идей, которому предавались французские дипломаты в Петербурге, наткнулся лишь на вздохи, сетования и более или менее пламенные речи образованных россиян, но не вел к реальным действиям, желательным для Версаля.

Однако к концу царствования Елизаветы Петровны жажда обрести те же права, что и благородные сословия других европейских стран, стала в русском дворянстве почти нестерпимой. Правительство Петра III сделало, казалось бы, беспроигрышный ход, издав в феврале 1762 года Манифест о вольности дворянства, позволявший «шляхетству» не служить. Молодого императора окружали два влиятельных придворных клана Воронцовых и Шуваловых, чьи представители наторели в государственных делах еще при покойной царице. Именно из недр этих группировок и вышел долгожданный документ. Что могло сильнее укрепить положение нового монарха, чем благодарность всего дворянства? Только отталкивающее личное поведение Петра III пустило политический капитал его Кабинета по ветру.

Екатерина II умело воспользовалась ситуацией. Она не подтвердила, но и не отменила Манифест, *de facto* предоставив дворянству широчайшие льготы, как то: отставка по желанию, переход с военной службы на гражданскую, свободный выезд за границу. И уж, конечно, гарантированную защиту от телесных наказаний. Взойди на престол другой государь, и права, допущенные императрицей как бы по доброму соизволению, могли быть отняты. Что, опять же *de facto*, и произошло при Павле I. А ведь эти права уже успели стать привычными.

Лишь через двадцать три года Екатерина II даровала «Жалованную грамоту дворянству», в которой преобразовала это сословие по европейскому образцу, закрепив перечисленные привилегии. Кроме того, бы-

ли созданы органы дворянского самоуправления — Дворянское собрание и суды, в которые представители благородного сословия могли выбирать и быть избранными. Теперь, даже уйдя в отставку, дворянин имел шанс принять участие в общественной жизни. К изменениям своего статуса дворянство было не просто готово, оно настойчиво добивалось их. Предоставив «шляхетству» институты сословной самоорганизации, императрица превзошла ожидания. Недаром известный мемуарист начала XIX века Ф. И. Вигель позднее назвал царствование Екатерины «временем нашего блаженства»<sup>62</sup>.

Адмирал П. В. Чичагов вспоминал о временах своей молодости: «В Петербурге были так же свободны, как в Лондоне, а веселились не меньше, чем в Париже... Полиция была соразмерна скромным требованиям поддержания порядка. Военных застав у каждого городских ворот не существовало, равно и паспортов, являемых и проверяемых при каждой перемене места жительства. Каждый уезжал и приезжал как и куда хотел, и никто не думал ни дезертировать, ни убегать»<sup>63</sup>.

Современному читателю покажется неожиданным, но такие слова, как «чувство» (*sentiment*), «удивление» (*admiration*), «гений» (*genie*), «честь» (*honneur*), «способность» (*faculte*), «впечатлительный» (*impressionnable*), «храбрость» (*bravoure*), «мужество» (*courage*), «доблесть» (*valeur*), «неустрасимость» (*vaillance*), стали общеупотребительными только во второй половине XVIII века, в царствование Екатерины<sup>64</sup>. До этого в повседневной жизни язык в них почти не нуждался, и образованные современники пользовались французскими эквивалентами. Развитие языка — лишь внешняя сторона нравственного развития народа и его культуры. Как только русское общество стало замечать за собой «честь» и «впечатлительность», немедленно отыскивались в словаре подходящие термины, слабо востребованные до этого.

К концу царствования Екатерины, когда в Париже уже пала Бастилия и свирепствовал якобинский террор, французские авторы не перестали мечтать о революции в России. Однако ожидание скорой бури

сменилось осторожными предположениями о сроке в сто с лишним лет, необходимом для развития третьего сословия. Даже такой восторженный провозвестник просвещения, как Шарль Массон, вынужден был признать: «Если французской революции суждено обойти весь мир, несомненно, Россию она посетит после всех. Французский Геркулес как раз на границе этой обширной империи поставит две колонны с надписью: “Крайний предел”, и надолго остановится тут Свобода».

Памфлетист ошибся: русская смута оказалась еще страшнее французской. Но срок, в который созреют семена, брошенные в мерзлую почву, он назвал точно — век. Реформы Екатерины не только укрепили государственный строй и создали для страны запас прочности на столетие вперед. В сословном плане они сняли долго копившееся неудовольствие дворянства. К концу века Массон мог назвать только несколько аристократических фамилий, тяготевших к олигархии, да молодых поклонников Руссо, готовых немедленно идти штурмовать Петропавловскую крепость:

«Многие молодые головы питаются примерами древности, тайно размышляют над прекрасным Жан Жаком и, забывшись на миг в истории народов, с ужасом обращают взоры на историю своей родины и на самих себя.

Когда я указываю в России на знать, как на единственное сословие, на которое свобода может прежде всего опереться, я вовсе не подразумеваю под ней ту презренную толпу, которая следует за двором, как стая мерзких ворон за лагерем, в надежде поживиться трупами... Но некоторые именитые семьи, куда проникло просвещение, как чужестранец под гостеприимную кровлю... может быть, воспользуются счастливыми условиями, чтобы, в ожидании лучшего, изменить самодержавные формы управления, возвести на трон хорошего государя, придать Сенату или какому-нибудь совету большее значение».

Замечанием о «презренной толпе» Массон дает понять, что основная масса благородного сословия вовсе не стремится к «стихийному возмущению». Двор тем

паче. Подарив им сносные условия существования, Екатерина купила душу дворянства. Правда, среди знати «есть гордые, великодушные личности; не будучи последователями системы равенства и свободы, они все же возмущаются тем позорным самоотречением, которое от них требуется... Может ли молодой человек, полный лучших порывов, не чувствовать унижения, когда его ежеминутно заставляют преклонять колени и целовать руку?»<sup>65</sup>.

Для нас важно отметить разницу между дворовыми жалобами елизаветинских фрейлин на вырванный барыней клочок волос и той неловкостью, которую испытывал благородный человек конца XVIII века при мысли о том, что ему придется поцеловать руку государя. Недаром возник анекдот, будто А. Н. Радищев, заместитель начальника Санкт-Петербургской таможни, при награждении его орденом Святого Владимира не преклонил колени перед императрицей. В реальности такого казуса случиться не могло — иначе Екатерине пришлось бы встать на стул, чтобы возложить на кавалера орденские знаки. Но сам по себе рассказ показателен. Он подчеркивает не только вольнодумство будущего автора «Путешествия из Петербурга в Москву», но и тот факт, что просвещенное общество в это время уже тяготилось даже внешними знаками выражения верноподданнических чувств.

Всем этим настроениям Екатерина не просто позволяла существовать, она во многом спровоцировала их. Ожидала ли императрица, что общество пойдет дальше пределов дозволенного? Что в стране появятся свои «жакобиты» и ядовитые критики ее политического курса? Воспитанной во времена елизаветинских строгостей государыне показали оскорбительными вопросы Д. И. Фонвизина, заданные ей как автору «Былей и небылиц»: отчего в России ничтожные люди ходят в больших чинах, а достойные пребывают в тени? Драматург намекал на судьбу своего старого покровителя Н. И. Панина, к этому времени уже оказавшегося не у дел. Екатерина ответила от лица некоего «дедушки», помнившего прежние царствования: «Молокососы! Не знаете вы, что я знаю. В наши времена никто не любил

вопросов, ибо с иными и мысленно соединены были неприятные обстоятельства; нам подобные обороты кажутся неуместны... Отчего? Отчего? Ясно, от того, что в прежние времена врать не смели, а паче — письменно»<sup>66</sup>.

Этой резкой отповедью императрица как бы показывала границу, за которую не следовало заходить благонамеренным людям. Но куда там. «Крайности» действительно оказались нации по вкусу. Собственный либерализм Екатерины к концу века уже казался пресным и недостаточно радикальным. На фоне гильотины, под рукоплескания парижской толпы отсекавшей королевские головы, право покритиковать ее величество в журнале уже не впечатляло отечественных ревнителей Свободы. Между тем именно в лоне екатерининского либерализма началось формирование российского гражданского общества.

Либерализм этот выражался не только в переводах просветительской литературы, широковещательных жестах вроде созыва Уложенной комиссии 1767 года, законотворческой работе, но и в повседневном поведении монархини. Лично Екатерина от подобной политики только выиграла. А вот многие из ее преемников проиграли, поскольку так и не смогли приспособиться к новым, более гибким формам власти, которые она использовала. Им, законным государям, и в голову не приходило подстраиваться под общество, управлять, забегая вперед желаний и чаяний целых сословий.

Удивительная чуткость к настроениям окружающих позволяла Екатерине понять, какого обращения ждет и вошедшая в комнату горничная, и полк лейб-гвардии, выстроенный перед дворцом, и вельможа с бумагами. Умение подстраиваться под других было сильной стороной императрицы. Но эта сила проистекала из слабости. Вернее из сознания уязвимости своего положения. Екатерина трезво оценивала свои шансы удержать власть и помнила, что она — узурпатор. Это делало ее поразительно любезной, внимательной, предупредительной к малейшим хотениям окружающих, изворотливой, скрытной и в конечном счете либеральной не только по зову сердца, но и по насущной политической необходимости.



## *«Государыня, вас обкрадывают!»*

Предшественницы Екатерины на престоле и Анна Иоанновна, и Елизавета Петровна не получили в юности хорошего воспитания. А потому, обретя власть, командовали людьми с нарочитой барской наглостью. Для Екатерины вежливость со слугами была естественна, она сопровождала любой приказ словами: «Пожалуйста, потрудись», «Будь любезен», «Спасибо», «Много тобою довольна»<sup>67</sup>.

Однако ее снисходительность иной раз принимала форму попустительства. То она запрещала унимать расшалившихся фрейлин, игравших в волан в смежной с ее кабинетом комнате. То увидев на лугу перед дворцом старуху, гонящуюся за курицей, просила узнать, в чем дело. А когда ей доносили, что это бабушка поваренка, для которой внук украл птицу, приказывала ежедневно выдавать бедной женщине по битой курице со своей кухни: «Этим мы спасем ее от голода, а молодого человека от воровства». То встретив ранним утром процессию лакеев, тащивших в скатерти остатки вчерашнего пира, показывала им короткий путь в сад: «Если пойдете через эти комнаты, столкнетесь с обер-гофмаршалом, и тогда ни вам, ни вашим детям гостинцев не достанется»<sup>68</sup>.

Кажется необычным, но Екатерина сама позволяла себя обкрадывать. Она прекрасно понимала, что придворная челядь наживалась, обслуживая императорскую семью. В реальности ее стол, конюшня и туалет стоили гораздо меньше тех сумм, которые на них отпускались и растаскивались. Раз государыня узнала, что для ее прически ежедневно выписывается пуд самой дорогой пудры. И что же? Она вышла в уборную, охая и поддерживая волосы рукой. А когда ее спросили, здорова ли она, отвечала, что тяжело нести голову, которая весит больше пуда<sup>69</sup>. Екатерина дала понять слугам, что осведомлена о их мошенничестве, но ни словом не выговорила за воровство.

Был случай, когда великий князь Александр замерз и ему дали ложку рому. После этого на имя царевича ежедневно выписывалась бутылка вина, которую потихоньку распивали слуги. В 30-х годах XIX века стран-

ный пункт расходов вскрыла императрица Александра Федоровна, жена Николая I, и с чисто немецкой рачительностью положила конец растрате<sup>70</sup>. Как видно, Екатерину II подобные расходы не смущали. Она даже подвела под свою снисходительность особую философию. Раз похищенные вещи остаются в стране, обогащая подданных, значит, она как монарх не внакладе, поскольку к ней все приходит в виде налогов. «Мнимая моя расточительность, — говорила она принцу де Линю, — есть на самом деле бережливость: все остается в государстве и со временем возвращается ко мне»<sup>71</sup>.

Однажды Сегюр в разговоре заметил: «Вас, государыня, нередко обкрадывают». На что Екатерина не без гордости изложила ему свое хозяйственное кредо: «Что меня обкрадывают, как и других, с этим я согласна. Я в этом уверилась сама собственными глазами, потому что раз утром рано видела из моего окна, как потихоньку выносили из дворца огромные корзины и, разумеется, не пустые. Помню также, что несколько лет тому назад, проезжая по берегам Волги, я расспрашивала прибрежных жителей о их жизни. Большею частью они питались рыболовством. Они говорили мне, что могли бы довольствоваться плодами трудов своих, и в особенности ловлею стерлядей, если бы у них не отнимали части добычи, принуждая ежегодно доставлять для моей конюшни значительное число стерлядей, которые стоят хороших денег. Эта тяжелая дань обходилась им в 2000 рублей ежегодно. “Вы хорошо сделали, что сказали мне об этом, — отвечала я смеясь. — Я не знала, что мои лошади едят стерлядей”. Однако я постараюсь доказать вам, что есть разница между кажущимся беспорядком, который вы замечаете здесь, и беспорядком действительным, господствующим у вас... Французский король никогда не знает в точности, сколько он издерживает. Я, напротив того, ежегодно определяю известную, всегда одинаковую сумму на расходы для моего стола, мебелировки, театров, конюшен — одним словом, для содержания всего дома. Я приказываю, чтобы за столом в моих дворцах подавали такие-то вина, столько-то блюд. То же самое делается и по другим частям хозяйства. Когда мне доставляют все

в точности, в требуемом количестве и качестве, и если никто не жалуется на недостаток, то я довольна, и мне совершенно все равно, если из отпускаемой суммы сколько-нибудь украдут. Для меня важно, чтобы эта сумма не была превышена. Таким образом, я всегда знаю, что издерживаю»<sup>72</sup>.

Мелкое воровство слуг не шло ни в какое сравнение с тем, что позволяли себе персоны покрупнее. О их делишках императрица тоже была осведомлена. При ней имелся целый штат доверенных лиц, которым негласно поручалось разузнать о том или ином неблагоприятном поступке вельмож. Так, после присоединения Крыма в 1783 году, когда Потемкин ожидал награды, сразу несколько влиятельных придворных обвинили его в злоупотреблениях. Адъютант светлейшего князя Л. Н. Энгельгардт рассказывал в мемуарах об этом случае:

«Княгиня Дашкова, бывшая в милости и доверенности у императрицы, довела до сведения ее, через сына своего, бывшего при князе дежурным полковником, о разных неустройствах в войске: что слабым его управлением вкралась чума в Херсонскую губернию, что выписанные им итальянцы и другие иностранцы, для населения там пустопорожных земель, за неприготовлением им жилищ и всего нужного, почти все померли, что раздача земель была без всякого порядка, и окружающие его много злоупотреблений делали и тому подобное; к княгине Дашковой присоединился фаворит А. Д. Ланской.

Императрица не совсем поверила доносу на светлейшего князя и через особых верных ей людей тайно узнала, что неприятели ложно обнесли уважаемого ею светлейшего князя, как человека, способствовавшего к управлению государством; лишила милости княгиню Дашкову; ...князю возвратила доверенность»<sup>73</sup>.

Екатерина знала, что некоторые ее вельможи принимают субсидии от иностранных дворов: Н. И. Панин много лет получал подарки из Берлина, позднее А. А. Безбородко, А. Р. Воронцов, П. В. Завадовский — из Вены. В 1780—1781 годах Потемкину были предложены огромные взятки от Пруссии, Австрии и Англии.

Князь отклонил щедрые посулы за переориентацию русской внешней политики в выгодном для этих дворов русле<sup>74</sup>. Недаром императрица была уверена, что ее соправителя «не можно купить». Однако за такую преданность она умела сторицей воздать ему богатыми пожалованиями.

Была императрица информирована и о миллионных «неучтенных деньгах», которые прилипали к рукам президента Коммерц-коллегии А. Р. Воронцова, руководившего таможенями. Огромные средства крутились также на юге, на вновь присоединенных к России землях, где полным ходом шло строительство городов и флота. Несмотря на постоянные обвинения в растратах, сыпавшиеся из лагеря противников Потемкина, сам светлейший сохранил чистые руки. Две сенатские ревизии, по приказу Павла I, изучали счета Григория Александровича и пришли к выводу, что не покойный князь должен казне, а казна его наследникам<sup>75</sup>. Однако нельзя упускать из виду, что на поставках в армию подрядчики из числа родни и ближайшего окружения Потемкина сделали целые состояния. Все эти сведения не ускользали от Екатерины.

Тем не менее она сохраняла олимпийское спокойствие, держась мнения, что «эти уже наворовались, а новым нужно будет еще составить капитал». Императрица крайне редко позволяла себе не то что схватить казнокрадов за руку, но даже открыто выразить им свое недовольство. Как она говорила Сегюру: «Я ругаю тихо, а хвалю громко». Известно всего несколько случаев публично продемонстрированного ею неблаговоления. Памятная история со взяточником, генерал-губернатором Владимира Р. И. Воронцовым, которому на именины государыня послала кошель невероятной длины. После этого чиновник вынужден был уйти в отставку и вскоре умер от огорчения<sup>76</sup>.

В другой раз, проезжая через Калугу, Екатерина узнала о недороде ржи и взлетевших ценах на муку. Вечером на пиру у генерал-губернатора М. Н. Кречетникова за ломившимся от яств столом она спросила, почему хозяин не потчует ее самым дорогим угощением — ржаной горбушкой — и в раздражении покинула зал. Такие поступки призваны были показать чиновникам

предел, за который они не должны заходить в своем нерадении о благе подданных. Однако воровство по-маленьку, домашнее и не слишком заметное, не вызывало у императрицы резкого протеста. Екатерина не мнила себя в силах исправить мир: главное, чтобы не был подорван бюджет и не разорилось население губерний. Этот компромисс вполне устраивал и ее, и чиновников. Государь и его аппарат нашли друг друга. «Воруй, но знай меру» — могло бы стать девизом таких отношений.

Кроме того, Екатерина любила награждать за службу. В вопросе о пожалованиях она была не просто щедра, а даже расточительна. Еще в юности ее упрекали за то, что она не знает счета деньгам. Став императрицей, Екатерина возвела щедрость в принцип. Немного тратя на себя лично, держа скромный стол и обходясь простыми нарядами, она буквально осыпала подарками тех, кто был ей нужен, и богатой рукой жаловала за победы на бранном поле. Это не могло не нравиться и привлекало сердца тех, кто жаждал выделиться, получить награду, стяжать славу и состояние.

За разгром турок в Чесменском сражении 1770 года Алексей Григорьевич Орлов получил четыре тысячи душ крепостных. На следующий год его брат Григорий Григорьевич, уходя с поста фаворита, был пожалован шестью тысячами крепостных, 150 тысячами рублей в качестве ежегодного пенсионера, великолепным серебряным сервизом, собранием картин, дипломом на достоинство князя Священной Римской империи, домом у Троицкой набережной — так называемым Мраморным дворцом<sup>77</sup>.

По случаю заключения Кючук-Кайнарджийского мира с Турцией в 1774 году фельдмаршал П. А. Румянцев получил похвальную грамоту, алмазный жезл или булаву, шпагу, украшенную бриллиантами, золотые лавровый венец и масличную ветвь, алмазные крест и звезду ордена Святого Андрея Первозванного, пять тысяч душ, 100 тысяч рублей для постройки дома, серебряный сервиз и живописную коллекцию<sup>78</sup>.

Создается впечатление, что щедростью Екатерина покупала преданность окружающих. Задаривала их,

опасаясь измены. Для подобных опасений у нее были основания, рядом подрастал сын Павел.

Как-то в разговоре Сегюр подивился внешнему спокойствию, которое, по его мнению, царило при русском дворе. «Средства к тому самые обыкновенные, — отвечала императрица. — ...Воля моя, раз выраженная, остается неизменною. Таким образом, все определено, каждый день походит на предыдущий. Всякий знает, на что он может рассчитывать, и не тревожится напрасно. Если я кому-нибудь назначила место, он может быть уверен, что сохранит его, если только не сделается преступником. Таким путем я устранию повод к беспокойствам».

Посол усомнился в возможности долго не сменять сановников: «Что бы вы сделали, ваше величество, если бы, например, заметили, что назначили министром человека, неспособного к управлению?» Невозмутимость Екатерины поразила собеседника: «Я бы его оставила на месте. Ведь не он был виноват, а я, потому что выбрала его. Но только я поручила бы дела одному из его подчиненных; а он остался бы на своем месте при своих титулах»<sup>79</sup>.

Екатерина не раз прибегала к названному методу. Так, при не слишком расторопном президенте Военной коллегии З. Г. Чернышеве молодой и энергичный Г. А. Потемкин первое время был вице-президентом, стянув к себе все управление учреждением. Ту же участь разделил и А. А. Безбородко, долгие годы находясь в формальном подчинении руководителю Коллегии иностранных дел И. А. Остерману. Конечно, подобный метод не избавлял окружение императрицы от интриг, однако заметно снижал их накал, поскольку все заинтересованные лица, как верно отмечала государыня, оставались при своих должностях, титулах и доходах.

Заметно, что императрица всеми силами стремилась изгнать из круга приближенных малейшее неудовольствие по отношению к ней лично. Она закрывала глаза на служебную несостоятельность, воровство, старалась проявлять максимальный такт и участие. Для чего это было необходимо? Разве она не могла, как Елизавета Петровна, общаться с подданными «в повелительном наклонении»?

Мы видели, что иной раз Екатерине очень хотелось поступить «по-царски» и «отшибить хвост» своим противникам. Однако она сдерживалась и действовала больше лаской, уговорами, подкупом, закулисными интригами, чем открыто демонстрировала гнев и чинила государеву расправу. Помимо личной склонности к тишине подобная мягкая политика диктовалась необходимостью. Для того чтобы править, Екатерина нуждалась даже во врагах.

С первых же дней пребывания в России она усвоила себе особую модель поведения и не изменяла ей всю жизнь. «Я старалась приобрести привязанности всех вообще, от мала до велика; я никем не пренебрегала со своей стороны и поставила себе за правило считать, что мне все нужны, и поступать сообразно с этим, чтобы снискать себе всеобщее благорасположение»<sup>80</sup>, — писала императрица в мемуарах. «Поистине я ничем не пренебрегала, чтобы этого достичь: угодливость, покорность, уважение, желание нравиться, желание поступать как следует, искренняя привязанность... И в торжественных собраниях, и на простых сходбищах и вечеринках я подходила к старушкам, садилась подле них, спрашивала об их здоровье, советовала, какие употреблять им средства в случае болезни, терпеливо слушала бесконечные их рассказы об их юных летах, о нынешней скуке, о ветренности молодых людей, сама спрашивала их совета в разных делах и потом искренне их благодарила. Я узнала, как зовут их мосек, болонок, попугаев, дур; знала, когда которая из этих барынь именинница. В этот день являлся к ней мой камердинер, поздравлял ее от моего имени и подносил цветы и плоды из ораниенбаумских оранжерей. Не прошло двух лет, как самая жаркая хвала моему уму и сердцу слышалась со всех сторон»<sup>81</sup>.

Современный российский историк А. Б. Каменский верно заметил, что жизненное кредо юной Екатерины удивительно похоже на знаменитое молчалинское «угождать всем людям без изъятья»<sup>82</sup>.

Хозяину, где доведется жить,  
Начальнику, с кем буду я служить,  
Слуге его, который чистит платье,

Швейцару, дворнику для избежання зла,  
Собаке дворника, чтоб ласкова была...

Эта угодливость представлялась образованному дворянину первой четверти XIX века чем-то низким, достойным порицания и осмеяния, как и само общество, в котором процветают Молчалины. Грибоедов сделал Чацкого не только обличителем, но и разрушителем ограниченного мирка Фамусовых. Вспомним, чем оканчивается «Горе от ума»: Софью отправляют «в деревню к тетке, в глушь, в Саратов», Молчалина прогоняют на улицу, сам Фамусов опозорен в глазах гостей и знакомых, а гордый резонер покидает разоренное им семейное гнездо «искать по свету, где оскорбленному есть сердцу уголок». Если отрешиться от симпатий и антипатий автора пьесы, то окажется, что Чацкий не менее опасный социальный тип, чем Молчалин. Объединение их в одном кругу грозит катастрофой.

Герой Грибоедова стал закономерным развитием той идейной линии, которую заложил в русском сознании Н. И. Новиков с его брезгливой нетерпимостью к недостаткам окружающего мира. В отличие от знаменитого мартиниста императрица была более созидательницей новых общественных добродетелей, чем бичевательницей старых пороков. Недаром де Линь замечал, что Екатерина стала «скорее создательницей, чем самодержицею своей империи»<sup>83</sup>.

В этом смысле характерен ее журналистский и нравственный конфликт с просветителем. Едва начав выпускать журналы «Трутень» и «Живописец», Новиков немедленно вступил в острую полемику с журналом Екатерины «Всякая всячина». Императрица редактировала и печаталась анонимно, именно благодаря этому в обществе имелась возможность вести с ней открытые дискуссии. Инкогнито монархини было для большинства читателей — людей светских — тайной полишинеля. Новиков, без сомнения, знал, с кем разговаривал в хлестком газетном тоне. Этот штрих многое говорит о степени дозволенности в России екатерининского времени.

Императрица рекомендовала своему оппоненту: «Никогда не называть слабости пороками, не думать,



чтоб людей совершенных найти можно было, никому не думать, что он весь свет исправить может». Новикова такая позиция чрезвычайно раздражала. «Госпожа прабабка наша (так называла себя «Всякая всячина». — *О. Е.*)! — восклицает он. — ...Порокам сшили из человеколюбия кафтан... Но таких людей человеколюбие приличнее было бы назвать пороколюбием». «Кто только видит пороки, не имев любви, — возражала Екатерина, — тот неспособен подавать наставления другим»<sup>84</sup>.

Одним из собственных пороков императрицы была молчалинская угодливость, чаще именуемая лицемерием. Однако задумавшись над любопытным феноменом. Екатерина прибегла к угодливости для того, чтобы захватить власть, но и после переворота ее отношения с окружающими ничуть не изменились. Она по-прежнему помнила именины статс-дам, клички их собачек, никогда не рассталась с привычкой дарить вещи, которые приглянутся посетителям в ее покоях... Казалось, теперь можно было отбросить годами выработанный образ действительный, но государыня крепко держалась за него. Почему?

Ответ на этот вопрос заключен в кредо Молчалина: «для избежания зла». Наша героиня прежде всего хотела удержать власть. И при этом прекрасно сознавала, что является узурпатором. Представители дворянской оппозиции тоже помнили об этом. «Не рожденная от крови наших государей, — с неприязнью писал о ней князь М. М. Щербатов, — жена, свергнувшая своего мужа возмущением и вооруженною рукою, в награду за столь добродетельное дело корону и скипетр российский получила, купно с именованьем “благочестивой государыни”, яко в церквях о наших государях моление производится»<sup>85</sup>.

Всю жизнь Екатерина старалась доказать, что достойна занятого ею места. Если не по крови, то по уму, талантам и заслугам перед Россией. Она не раз подчеркивала, что продолжает дело Петра Великого, ощущала себя его преемницей и реально была ею. В официальных документах и в частной переписке императрица именовала русских государей прошлого своими «предками». Однако это не скрадывало незаконности ее пребывания на троне. Чтобы оставаться на вершине, Екатерине важно было всеобщее, солидарное одобрение ее действий.

На протяжении всего царствования у нее были сильные противники — партия великого князя Павла Петровича, на стороне которой стояла традиция передачи трона от отца к сыну. При русском дворе сложилась уникальная ситуация: все понимали, что Павел — законный государь, но абсолютное большинство *хотело* служить его матери. Сторонники великого князя наталкивались на отказ придворных и офицерства что-либо менять, а позднее на откровенный страх перед Павлом. При дворе, где фрейлины и истопники, камергеры и поваря, статс-дамы и куаферы предпочитали нынешнего монарха, устройство переворота было затруднено.

Однако потенциально такой переворот оставался возможен. Ощущение шаткости престола сопровождало Екатерину всю жизнь. Именно оно заставило императрицу найти верный тон в общении с двором и шире — русским дворянским обществом в целом. Страх потерять власть понуждал государыню неустанно трудиться, приумножая силу своей державы. Можно сделать парадоксальный вывод: корни екатерининского золотого века лежали в узурпации короны и сознательном стремлении государыни ежедневно всем и каждому доказывать свое право на нее.

Будь Екатерина II законной правительницей, она, возможно, жестче пресекала бы поползновения зарождавшегося русского общества расширить сферу своей внутренней, не подчиненной государству жизни. Оставаясь у власти Петр III, и развитие страны во всех сферах, в том числе и нравственной, пошло бы медленнее в силу узости кругозора монарха и его личного презрения к людям. Таким образом, переворот 1762 года сыграл роль тарана, разрушив старую модель отношений «государь — подданные» и создав предпосылки для появления новой «государь — общество». Именно эта формула и реализовывалась на протяжении следующих 34 лет царствования Екатерины Великой.

## ДЕНЬ ИМПЕРАТРИЦЫ — ДЕНЬ ДВОРА

Ритм жизни государя и его вкусы накладывали глубокий отпечаток на весь быт двора. А вслед за ним — столичного общества, которому, в свою очередь, подражали обитатели провинции. Не всякий монарх был столь требователен, как Павел I, и хотел, чтобы подданные вставали, обедали и отходили ко сну одновременно с ним. Тем не менее день императора служил стержнем, на который нанизывались события придворной жизни. Изучая его, можно узнать многое о нравах тогдашнего общества.

При Елизавете Петровне, например, в императорских резиденциях царил блестящий хаос, их обитатели не знали точных часов сна и отдыха, мешали день с ночью, а развлечения с богомольями. Все находилось в движении, не стояло на месте, ни в чем невозможно было найти точку опоры. «Никто никогда не знал часа, когда Ее Величеству будет угодно обедать или ужинать, — рассказывала Екатерина II о днях своей молодости. — Часто случалось, что придворные, проиграв в карты до двух часов ночи, ложились спать и только что они успевали заснуть, как их будили для того, чтобы присутствовать на ужине»<sup>1</sup>. Государыня имела обыкновение сидеть за столом очень долго, ее полусонные гости клевали носом, не могли связать двух слов, чем сердили хозяйку. Императрица бросала в досаде салфетку и покидала компанию.

«Она никогда не ложилась спать ранее шести часов утра, — сообщал ювелир Иеремия Позье, за которым Елизавета часто посылала ночью. — Мне иногда случалось возвратиться домой и минутой спустя быть снова потребованным к ней»<sup>2</sup>. После ночных бдений государыня вставала поздно, далеко за полдень, чувствовала себя усталой и неготовой принимать чиновников. Такой режим приносил большие неудобства тем должностным лицам, которые по службе обязаны были докладывать ей о делах. Часто она вовсе не допускала их к себе, приказывая передавать все бумаги фавориту И. И. Шувалову. Случалось, вельможи пускались на уловки и умоляли придворного «бриллианщика» пронести вместе с драгоценностями в покои императрицы ту или иную важную бумагу на подпись.

Ни о какой серьезной государственной работе в таких условиях речи идти не могло. Вместе с тем Екатерина II отмечала в мемуарах, что при обширном уме, которым была наделена ее свекровь, безделье вызывало у последней скуку и раздражение. Не приучив себя трудиться, дочь Петра Великого тосковала и не могла развеяться даже среди увеселений.

Кроме того, Елизавета имела одну весьма обременительную для окружающих странность — страсть к перестройкам и перестановкам мебели. Во дворцах ни на день не прекращался ремонт — передвигались двери, строились новые лестницы, сносились и возводились на других местах стены, шла бесконечная перепланировка. Иной раз, чтобы выйти в сад, приходилось пользоваться не крыльцом и ступенями, а перекинутыми через подоконник досками, по которым, как по сходням с корабля, фрейлины спускались из покоев на улицу. Государыня никогда не спала две ночи на одном и том же месте. Исследователи связывают такое необычное поведение со страхом переворота. Захватив власть ночью, Елизавета панически боялась повторения событий 1741 года, когда жертвой могла оказаться уже она сама<sup>3</sup>.

С Екатериной II дело обстояло иначе. Она словно задалась целью, вопреки любым внешним обстоятельствам, поддерживать размеренный образ жизни и внушить окружающим уверенность и спокойствие.

## «Милый дом»

Раз и навсегда утвердившись в апартаментах Зимнего дворца, Екатерина уже не меняла их. Сюда императрица переехала в первый же день своего царствования — 28 июня 1762 года. Прискакав с Алексеем Орловым из Петергофа в столицу, где уже начался переворот, она сначала поехала в Измайловский полк, затем в его сопровождении к Казанскому собору, где приняла присягу остальной гвардии, духовенства и чиновников, а потом отбыла в Зимний.

«Я отправилась в Новый Зимний дворец, где Синод и Сенат были в сборе, — писала Екатерина Станиславу Понятовскому 2 августа 1762 года. — Тут на скорую руку составили манифест и присягу. Оттуда я спустилась и обошла войска пешком. Было более 14 000 человек гвардии и полевых полков»<sup>4</sup>.

Зимний построил по заказу Елизаветы Петровны ее любимый архитектор Бартоломео Растрелли, решение о возведении нового дворца было принято в 1755 году. Однако покойная государыня не успела поселиться в нем. Петр III тоже медлил с переездом, ожидая окончательной отделки комнат для своей фаворитки Елизаветы Воронцовой — в ее спальне не был расписан плафон на потолке. Воронцовой не посчастливилось занять роскошные апартаменты, так же как и надеть корону законной супруги императора. Вместо развода и ссылки Екатерину II ждал триумф. Новое царствование начиналось в новой резиденции, комнаты которой еще пахли известкой и стружками.

Зимний включал 1050 покоев, в нем было 117 лестниц, 1886 дверей, 1945 окон, а общая длина фасадов составляла два километра. Богатство его отделки поражало воображение тогдашних петербуржцев. Однако очень скоро выяснилось, что дворец, несмотря на помпезность, плохо приспособлен для жизни. В жертву красоте были принесены удобства. Например, возле императорских и великокняжеских покоев не были спланированы мыльни. А в залах предусматривались только парадные двери, без боковых и черных ходов, из-за чего прислуга с вениками, тряпками и ведрами

мусора нередко выходила прямо навстречу богато одетым гостям, следовавшим на бал или прием. Все это предстояло исправить.

В течение царствования Екатерины II Зимний достраивали, расширяли и перепланировали, принаравливая ко вкусам новых обитателей. Общий расход на эти переделки составил 2 миллиона 622 тысячи 20 рублей 19 копеек. В 1764 году архитектору Жану Батисту Валену-Деламоту поручили возвести здание Малого Эрмитажа, как хранилища художественных коллекций дворца. Оно тянулось от Миллионной улицы до набережной и отделялось от дворца переулком. Строительство закончилось в 1767 году. Через четыре года зодчий Ю. М. Фельген продлил Эрмитаж до Зимней канавки. Позднее, в 1783—1787 годах архитектор Дж. Кваренги перекинул строительство за канал и создал на месте прежнего Лейб-кампанского корпуса Елизаветы Петровны театр, соединенный с Эрмитажем аркой. Кваренги же было поручено скопировать Рафаэлевые лоджии Ватикана. Под ними в четырех залах расположилась библиотека, куда поступили купленные у французских просветителей Дидро и Вольтера книжные собрания, коллекция карт географа Бюшинга, старинные манускрипты и древнерусские рукописи. Всего около 50 тысяч изданий.

Екатерине полюбились работы Кваренги, и именно ему она приказала отделать парадную часть дворца в модном классическом стиле. В 1786 году зодчий приступил к созданию мраморной галереи, включавшей Георгиевский и Тронный залы. Прежде служебные помещения в нижнем полуподвальном этаже отличались невзрачностью. По желанию императрицы архитектор построил там каменные своды, перепланировал мыльни и кухни, изгнав из них грязь, сырость и плесень. Под старость у Екатерины болели и отекали ноги. Кваренги построил для нее пологий скат со второго этажа Эрмитажа, позволявший спуститься к дверям в кресле на колесах.

Позднее внутреннее убранство дворца неоднократно переделывалось, а в 1837 году многие покои уничтожил страшный пожар, продолжавшийся 30 часов. От

старого здания остались только стены и своды первого этажа. Поэтому современный посетитель Зимнего не увидит почти ничего из апартаментов времен Екатерины II. Сохранилась лишь широкая, расходящаяся в стороны парадная Иорданская лестница. Через нее в праздник Крещения члены императорской семьи и высшее духовенство выходили для водосвятия к проруби во льду Невы, называемой «иорданью»<sup>5</sup>.

По свидетельствам современников, собственные комнаты государыни были не особенно велики и отличались скромностью отделки. Они располагались на втором этаже под правым малым подъездом ближе к Зимней канавке. Стеклопанельная галерея над узким каналом соединяла их с покоями Г. А. Потемкина, жившего в Эрмитаже окнами на набережную и Миллионную улицу. Адъютант светлейшего князя Л. Н. Энгельгардт писал: «Князь жил во дворце; хотя особый был корпус, но на арках была сделана галерея для перехода во дворец через церковь мимо покоев императрицы»<sup>6</sup>. Григорий Александрович ходил к Екатерине по-домашнему — в мундирной шинели, накинутой на плечи, чтобы не замерзнуть в галерее, и с газовым розовым платком на шее.

Описывая внутренние покои императрицы, статс-секретарь Адриан Грибовский вспоминал: «Взойдя на малую лестницу, входишь в комнату, где на случай скорого отправления приказаний стоял за ширмами... особый письменный стол с прибором; комната сия стояла окнами к малому дворику; из нее вход был в уборную, которой окна были на Дворцовую площадь. Здесь стоял уборный столик. Отсюда были две двери: одна направо в бриллиантовую комнату, а другая налево в спальню, где государыня обыкновенно дела слушала. Из спальни выходили во внутреннюю уборную, а налево в кабинет и зеркальную комнату, из которой один ход в нижние покои, а другой прямо через галерею в так называемый ближний дом; в сих покоях государыня жила иногда до весны»<sup>7</sup>.

Следует уточнить, что слово «уборная» в те времена означало комнату, где государыню «убирали» к выходу, расчесывали волосы и помогали облачиться в парад-

ное платье. Именно здесь императрицу постиг удар 5 ноября 1796 года, через день она скончалась. В «бриллиантовой комнате», так сказать под боком, хранились регалии: большая и малая короны, скипетр, держава и украшения из драгоценных камней. Современному человеку может показаться странным, что государственные реликвии держали так близко к жилым помещениям: не лучше ли было поместить их под специальную стражу в некоем официальном месте? Но в тот период все выглядело проще и камернее. Монарх не разделял жизнь на «частную» и «служебную», а свои вещи на «личные» и «державные». Императорский венец являлся для него такой же собственностью, как перстень или ожерелье. Как целая страна с ее людьми и недрами. Будучи хозяйкой всего, государыня вела себя, как сельская помещица, прятавшая шкатулку с украшениями в тайник за портретом дедушки. Павел I одно время держал корону у себя в спальне. И никто из подданных не видел ничего особенного в столь «домашнем» обхождении с символами государственной власти.

«Ближний дом» за галереей, где Екатерина в последние годы жизни проводила время до весны, это как раз и были покои Потемкина, осиротевшие после его смерти в 1791 году. Скучая по светлейшему князю, императрица не только пристроила в своем штате его бывших слуг, но и много жила в апартаментах, прежде занятых ее «любезным питомцем». Возможно, для того, чтобы поддержать угасающие душевные и физические силы, она нуждалась в воспоминаниях о нем. Желала оказаться в окружении его вещей, смешать, как в старые годы, свои и его табакерки, платки, книги... В сущности эти покои и прежде были для Екатерины домом, как ее комнаты оставались домом для Григория Александровича даже тогда, когда его роман с императрицей закончился. Почти два десятилетия они держались как семейная пара. Удивительно ли, что в отношении имущества князя Екатерина вела себя совсем по-вдовьи?

С первой каплей она перебиралась жить в Таврический дворец, возведенный для Потемкина на берегу Невы. «Главный корпус одного был в один этаж, кажется, нарочно, дабы государыня высоким входом не была



обеспокоена. Здесь ее покои были просторнее, чем в Зимнем дворце, особенно кабинет, в котором дела слушала»<sup>8</sup>.

### *«Сады Армиды»*

Больше и роскошнее современникам казались комнаты императрицы в летних дворцах под Петербургом. Выезд «на дачу» совершался обычно в мае. Точное число зависело от погоды. Едва устанавливались теплые деньки, Екатерина покидала столицу. Особенно она любила Царское Село. Но камер-фурьерский журнал показывал, что для государственных торжеств обычно выбирался Петергоф. Там же нередко происходили и заседания Совета, собиравшегося раз в неделю по понедельникам. Кроме того, чтобы прогуляться и развеяться, двор устраивал катания по окрестностям и много времени проводил в Ораниенбауме.

Обычно, когда исследователи рассказывают о быте императрицы, они обращаются к «Запискам» статс-секретаря Адриана Моисеевича Грибовского, знавшего Екатерину II в последние годы ее жизни. Поэтому описание дня государыни в разных работах подчас выглядит «снятым под кальку». Между тем с возрастом привычки монархини менялись. Например, в молодости она была лихой наездницей, в зрелые лета — неутомимым пешеходом, а под старость часто прибегала к креслу на колесиках. В 90-х годах XVIII века ей уже трудновато было совершать частые переезды из резиденции в резиденцию, и она почти безвылазно проводила лето в Царском, о чем и упоминал секретарь.

Однако прежде Екатерина была очень подвижна. Камер-фурьерский журнал свидетельствует о частых и стремительных перемещениях государыни из столицы в Петергоф, Ораниенбаум, Царское, в строящуюся для великого князя Александра Павловича резиденцию Пелла, в гости к Орлову в Гатчину или к Потемкину в Осиновую рощу. Вообще императрица ездила много и, видимо, любила ощущение дороги так же, как и спокой-

ную работу в кабинете. Ей ничего не стоило с утра отправиться в Петербург из загорода, провести там часть дня, а к вечеру вернуться обратно. Камер-фурьерский журнал, который вел особый чиновник — камер-фурьер, день за днем по часам отмечал все внешние события в жизни государыни — прогулки, обеды, выезды, приемы и т. д.

Из переписки видно, что по-настоящему хорошо Екатерина ощущала себя только на даче. Она не очень любила строгий этикет и с наслаждением предавалась прелестям «простой сельской жизни»: «Нет, я думаю, двора, где так много смеются и чувствуют так мало стеснения, как при моем, как скоро я перееду на дачу, — писала она 25 июня 1772 года своей парижской корреспондентке госпоже А. Д. Бьельке. — В городе другое дело: там мы чиннее: впрочем, и там часто непринужденность берет верх»<sup>9</sup>.

Слова Екатерины подтверждал Луи де Сегюр: «Когда я приехал в Царское Село, императрица была так добра, что сама показала мне все красоты. Светлые воды, тенистая зелень, изящные беседки, величественные здания, драгоценная мебель, комнаты, покрытые порфиром, лазоревым камнем и малахитом, — все это представляло волшебное зрелище и напоминало удивленному путешественнику дворцы и сады Армиды...

При совершенной свободе, веселой беседе и полном отсутствии скуки и принуждения один только величественный дворец напоминал мне, что я не просто на даче у самой любезной светской женщины. Кобенцель был неисчерпаемо весел; Фитц-Герберт выказывал свой образованный, тонкий ум, а Потемкин — свою оригинальность, которая не оставляла его даже в минуты задумчивости и хандры. Императрица свободно говорила обо всем, исключая политику: она любила слушать рассказы, любила и сама рассказывать. Если беседа случайно умолкала, то обер-шталмейстер Нарышкин своими шутками непременно вызывал смех и остроты. Почти целое утро государыня занималась, и каждый из нас мог в это время читать, писать, гулять, одним словом, делать, что ему угодно. Обед, за которым бывало немного гостей и немного блюд, был вкусен,

прост, без роскоши; послеобеденное время употреблялось на игру или на беседу; вечером императрица уходила довольно рано, и мы собирались у Кобенцеля, у Фитц-Герберта, у меня или Потемкина»<sup>10</sup>. Трудно поверить, что это описание жизни иностранных дипломатов при одном из самых больших и пышных дворов Европы.

«Я прошлась по царскосельским садам, — вспоминала Виже-Лебрён, — которые являют собой истинную феерию. У императрицы была устроена особая терраса, соединяющаяся с ее покоями, где содержалось множество птиц; мне рассказывали, что она каждое утро кормит их, находя в этом величайшее для себя удовольствие»<sup>11</sup>.

С Петергофом у Екатерины было связано слишком много неприятных воспоминаний юности, когда молодая великокняжеская чета жила там почти взаперти под неусыпным оком соглядатаев Елизаветы Петровны. Только сильная жара могла выманить императрицу на берег Финского залива, поскольку «прелестное Царское Село было бы невыносимо: там пришлось бы задохнуться». «Я сегодня оставила мое любимое Царское Село, — жаловалась Екатерина госпоже Бьельке, — и отправилась в отвратительный, ненавистный Петергоф, которого я терпеть не могу, чтобы праздновать там день моего восшествия на престол и день святого Павла... Я, как школьник, выбрала дальнюю дорогу, отправляясь из рая в ад». В отличие от иностранных путешественников императрицу не восхищали ни каскады фонтанов, ни скульптурные композиции. Ей казалось противоестественным «взметать воду вверх», вместо того, чтобы предоставить ее спокойному течению прудов и заводей. К тому же Екатерина не обладала крепким здоровьем, и постоянные сквозняки из-за мощного бриза с залива смущали ее.

Помпезный Петергоф, где при большом стечении народа отмечались государственные праздники, в сознании государыни противостоял тихому и «уединенному» Царскому — кабинету философа, ее истинному дому. Мысленно она все время возвращалась туда и с охотой описывала свой распорядок дня на даче. «Ни-

когда мы так не веселились в Царском Селе, как в эти девять недель, проведенные с моим сыном, который делается красивым мальчиком. Утром мы завтракали в прелестной зале, расположенной близ пруда, потом расходились, нахохотавшись досыта. После занятия каждого своими делами обедали, в шесть часов прогулка или спектакль, вечером поднимали шум по вкусу всех шумил, которые окружают меня, и которых здесь большое число. Невозможно буквально представить себе веселость безумнее и безумие разумнее нашего; но так как это прекрасное расположение духа оставило нас у ворот Царскосельского дворца, то я тотчас по приезде сюда заперлась в свою комнату и принялась марать бумагу... Итак я водворилась на жительство у берега моря, и гадкий Петергоф сумел сделаться сносным»<sup>12</sup>. Лишь свежий воздух и возможность работать ненадолго примиряли императрицу с резиденцией, которую многие считали волшебным миром.

Виже-Лебрён, побывавшая на празднике в Петергофе, была поражена его роскошью: «Обширный парк, прекрасные фонтаны, великолепные аллеи, одна из которых обсажена громадными деревьями, расположены на берегу усеянного кораблями моря. Искусства сумели использовать природные сии красоты и создали из Петергофа нечто феерическое. Когда я приехала к полудню на сей праздник, ...в парке уже теснилась огромная толпа... Я в жизни не видела такого количества плащей, расшитых золотом, столько бриллиантов и перьев... Били все фонтаны; помню огромный каскад, низвергающийся в канал с высокого утеса, под которым можно было пройти, не замочившись. Когда вечером иллюминированы были дворец, парк и корабли, не был забыт и сей утес, являвший собой воистину магическое зрелище, благодаря невидимости ламп, освещавших сии водяные своды, со страшным грохотом ниспадавшие в канал»<sup>13</sup>.

От всего этого Екатерина по-видимому уже устала. Сравним «дачное» описание у Сегюра и праздничное у Виже-Лебрён. Сердце государыни принадлежало первому. Она не любила держать себя «чиннее», а при большом стечении народа «непринужденность» долж-

на была уступить место «величественности». Столица диктовала еще более жесткие правила этикета. Поэтому императрица не торопилась туда. Возвращение в Петербург приурочивали к ухудшению погоды в сентябре, причем Екатерина любила затянуть с отъездом и, очутившись в Зимнем, чувствовала себя птицей в клетке.

### *«Жаворонки» и «совы»*

Рассказ о распорядке дня императрицы мы стараемся использовать для того, чтобы остановиться на вкусах и привычках тогдашнего светского общества в целом. По природе Екатерина была жаворонком — вставала очень рано. Мемуары Грибовского указывают 7 часов, а камер-фурьерский журнал — от 5 часов утра летом и при хорошем самочувствии, до 8 часов зимой или когда государыня хворала. Все же чаще ее величество пробуждалась ото сна с зарей, так сказать, по византийскому времени, и лишь тогда ощущала себя здоровой, когда утро не было потрачено даром.

Большинство горожан в то время, как и сейчас, не благоволили к ранним подъемам. Сельские жители, конечно, вставали с петухами и, даже перебравшись в столицу, сохраняли прежние привычки. Во всех условиях требовательные старички — блюстители нравственности — еще строго следили за тем, чтобы молодежь не пропускала заутреней. Но биологический ритм неумолимо менялся, и вторая половина XVIII века как раз стала периодом, когда на глазах у одного поколения городских дворян произошел массовый переход к позднему укладыванию и позднему вставанию.

Вспомним знаменитые державинские строки:

А я, проснувшись пополудни,  
Курю табак и кофе пью,

которыми он описывает образ жизни светского человека.

Мемуаристка Е. П. Янькова вспоминала: «Теперь и часы-то совсем иначе распределены, как бывало: что тогда был вечер, теперь, по-вашему, утро! Смеркается, уж и темно, а у вас это все еще утро. Эти все перемены произошли на моей памяти. День у нас начинался в семь и в восемь часов; обедали мы в деревне всегда в час пополудни, а ежели званый обед, то в два часа: в пять часов пили чай... Приносили в гостиную большую жаровню и медный чайник с горячей водой. Матушка заваривала сама чай. Ложечек чайных для всех не было; во всем доме только и было две чайные ложки: одну матушка носила при себе в своей готовальне, а другую подавали для батюшки. Поутру чаю никогда не пили, всегда подавался кофе. Ужинали обыкновенно в девять часов... Как теперь бывают званые обеды, так бывали в то время званые ужины в десять часов. Балы начинались редко позднее шести часов, а к двенадцати все уже возвратятся домой»<sup>14</sup>.

Чем ближе к концу века, тем сильнее сдвигалось к ночи время бодрствования. Марта Вильмот, приехавшая в 1803 году в Россию по приглашению княгини Е. Р. Дашковой, побывала на балу в Петергофе, который закончился в половине третьего ночи. После чего она с подругами еще поужинала и только потом легла спать<sup>15</sup>. Первая четверть XIX столетия уже утвердила в правах ту модель, которая хорошо знакома читателю по «Евгению Онегину»:

Проснется за полдень, и снова  
До утра жизнь его готова,  
Однообразна и пестра.  
И завтра то же, что вчера.

Еще в постели приняв приглашения на вечер, пушкинский герой «в утреннем уборе» едет прогуляться на Невский, где щеголяет «широким боливаром» — эмблемой своих прогрессивных устремлений. В сумерках он отправляется обедать в ресторан Талона:

Уж тёмно: в санки он садится.  
«Пади, пади!» — раздался крик;  
Морозной пылью серебрится  
Его бобровый воротник.

После дружеской трапезы с шампанским, трюфелями, «стразбургским пирогом» и прочими прелестями Онегин посещает театр, затем возвращается домой, переодевается для бала, проведя перед зеркалами «три часа по крайней мере», и устремляется в гости. Там он поселится до рассвета.

Что ж мой Онегин? Полусонный  
В постелю с бала едет он:  
А Петербург неутомонный  
Уж барабаном пробужден.

Такой ритм жизни светского человека еще только появился при Екатерине, он не был господствующим, но завоевывал себе все больше приверженцев. С чем это связано? Онегин — человек не служащий. Его время целиком отдано развлечениям, а они, как правило, тяготеют к вечеру. Однако свобода от государственной службы, дарованная еще Петром III, прививалась не быстро. Подавляющее большинство дворян при матушке-государыне продолжали тянуть лямку кто в полку, кто в разного рода учреждениях. Но тихие радости частной жизни помаленьку захватывали сердца горожан. Солидные чиновники, вроде Державина, вовсе не стремились являться в сенатское присутствие с петухами.

Мода вставать поздно пришла из Парижа. Вскakiвать на заре, не разлеживаться в кровати, бодро молиться, а потом приниматься за работу считалось недостойным благородного человека. Долгое позевывание, нега на пуховых перинах, размышление перед зеркалом — знак хорошего тона и отличительная черта философа с состоянием. Императрица часто высмеивала тех русских дворян, которые, вернувшись из путешествия по Европе, говорили: «У нас в Париже». Так, в 1783 году в «Былях и небылицах» — сатирических заметках, которые печатались в журнале Академии наук «Собеседник любителей российского слова» — Екатерина поместила шуточную зарисовку «Записная книжка сестры моей двоюродной», изображающую неделю светской дамы. «Вторник. — Я встала с постели в первом часу пополудни. *N. B.* Я встала так рано для того, что легла рано, лишь три часа было за полночь... Скучно в Петер-

бурге летом, день и ночь равно светлы. Я принуждена сидеть с опущенными занавесами. Солнечные лучи неблагородно видеть»<sup>16</sup>.

Человек XVIII века не видел ничего невозможного в том, чтобы сочетать традиционный, религиозный образ жизни и вольные привычки эры Просвещения. Из этого союза противоположностей родился тот неповторимый быт, который невозможно спутать с нравами ни одной другой эпохи. «Марья Ивановна Римская-Корсакова, — рассказывала Янькова об одной из своих родственниц, — была хороша собой, умна, приветлива и великая мастерица устраивать пиры. Была она пребогомольная, каждый день бывала в Страстном монастыре у обедни и утрени, и, когда возвратится с бала, не снимая платья, отправляется в церковь вся разряженная. В перьях и бриллиантах отстоит утрению и тогда возвращается домой отдыхать»<sup>17</sup>.

Изменение часов сна и бодрствования порой создавало неловкость в отношениях «отцов» и «детей». На рубеже XVIII и XIX веков люди старшего поколения не понимали, почему молодые не хотят укладываться «в положенное время». А молодежь, напротив, страдала, но была вынуждена подчиняться. Мемуаристка Е. А. Сабанеева передавала воспоминания своей тетушки А. Е. Кашкиной, которая служила фрейлиной при императрице Марии Федоровне, супруге Павла I. «Это было летом, двор жил в Гатчине. Фрейлинам был отведен для помещения павильон в саду. Мы жили там под надзором одной весьма почтенной и строгой статс-дамы. Она была уже преклонных лет и требовала от нас, чтобы мы очень рано ложились спать; это очень нас стесняло, прелестные июньские вечера мы должны были проводить в комнатах. Раз как-то вечером она, по обыкновению, выразила нам надежду, что мы ляжем спать, следуя ее примеру... Что делать! Нам следовало бы послушаться, но мы были молоды, нам так хотелось подышать вечерним воздухом в прелестном саду гатчинского дворца. Прождав несколько времени, пока старушка перестанет кашлять, и убедившись, что она спит, мы накинули на голову косынки и тихо гурьбой вышли из павильона»<sup>18</sup>.



Девушки надеялись погулять по аллеям и вернуться так же тихо, как и ушли. Не тут-то было. В парке они встретили великих князей, разговорились, как вдруг со стороны павильона раздался истошный крик. Проснувшаяся статс-дама звала на помощь. Оказалось, что ее разбудила летучая мышь, попавшая в комнату через раскрытое окно и запутавшаяся в складках чепца старушки. Вскочив и сбросив чепец, испуганная женщина обнаружила исчезновение всех своих подопечных... Естественно, фрейлинам влетело.

В мемуарах провинциальной дворянки А. Е. Лабзиной рассказывается, как ее муж, получивший образование во Франции и ставший поклонником «просвещенных семейных отношений», пытался перевоспитать ее, наивную деревенскую барышню, на светский манер. Он «велел не ранее с постели вставать, как в одиннадцатом часу. И для меня это была пытка и тоска смертельная — не видеть восходу солнца и лежать, хотя бы и не спала. И эта жизнь меня довела до такого расслабления, что я точно потеряла сон и аппетит, и ни в чем вкусу не имела, сделалась худа и желта»<sup>19</sup>.

Конечно, трудно было привыкнуть к такому ритму, если прежде девушку воспитывали в строгости: «Будили меня тогда, когда чуть начинает показываться солнце, и водили купать на реку. Пришедши домой, давали мне завтрак, состоявший из горячего молока и черного хлеба; чаю мы не знали. После этого я должна была читать Священное Писание, а потом приниматься за работу. После купания тотчас начиналась молитва, оборотясь к востоку и ставши на колени; и няня со мною — и прочитаю утренние молитвы; и как сладостно было тогда молиться с невинным сердцем!»<sup>20</sup>

Однако супругу все же удалось привить 15-летней жене некоторые из своих привычек. Уже попав в Петербург и живя в доме М. М. Хераскова, вице-президента Берг-коллегии и поэта, она с трудом вернулась к прежним правилам: «Раннее вставание было уже для меня тяжело, потому что муж мой приучил уж поздно вставать и, не умывшись, в постели пить чай. Даже я отучена была Богу молиться, — считали это ненужным; в церковь мало ходила... Все было возобновлено. При-

учили меня рано вставать, молиться Богу, утром заниматься хорошей книгой, которые мне давали, а не сама выбирала. К счастью, я еще не имела случая читать романов, да и не слыхала имени сего». Как-то раз гости обсуждали новые издания, и Лабзина потихоньку осведомилась у хозяйки: «О каком она все говорит Романе, а я его у них никогда не вижу»<sup>21</sup>. Наивность юной дамы умиляла покровителей, и они старались держать ее подальше от светских соблазнов, среди которых поздний подъем — признак французской развращенности.

Жизнь четы Херасковых показательна. Не все светские люди разделяли новомодное стремление «проспать до полудня», а остальное время посвятить развлечениям. Михаил Матвеевич был крупным масоном, а на заседаниях лож произносилось много речей о поддержании общественной нравственности. Однако, несмотря на все старания вольных каменщиков, изменение ритма жизни вольных, согласно Манифесту 1762 года, дворян приостановить не удалось. Время званых вечеров и балов все более отодвигалось к полуночи.

Понятно, что приказ Павла I являться в присутствие к шести утра и ложиться в девять вечера стал катастрофой светской жизни. Екатерина II, хоть и поднималась на заре, как крестьянка на дойку коров, старалась не мешать приближенным украсть еще часок-другой сладкого сна. Ей было на что употребить свободное до утреннего туалета время.

### *Утренние часы*

Императрица сама разводила камин, зажигала свечи и лампадку и садилась за письменный стол в зеркальном кабинете — первые часы дня были посвящены ее личным литературным упражнениям. Как-то она сказала Грибовскому, что, «не пописавши, нельзя и одного дня прожить»<sup>22</sup>. Екатерина сочиняла пьесы, либретто для комических опер, сказки, записки по русской истории, журнальные статьи, мемуары, наконец. Кроме того, она вела эпистолярный диалог с десятками корреспондентов — философами-просветителями, монархами

соседних стран, содержательницами модных литературно-политических салонов в Париже, учеными, писателями, военными и государственными деятелями за рубежом и у себя на родине. Екатерина прекрасно понимала, что многие ее письма станут достоянием гласности, и умело использовала корреспонденцию как инструмент влияния на общественное мнение Европы.

Словом, утро не пропадало даром. Привычка вставать спозаранку выработалась у Екатерины еще в бытность ее великой княгиней и была связана не столько с размеренным «немецким воспитанием», сколько с необходимостью выучить русский язык. Сделать это оказалось непросто, поскольку при дворе на нем почти не говорили. Елизавета Петровна любила французский, из-за чего вся знать изъяснялась на галльский манер и даже не заботилась обучить детей родной речи.

В мемуарах граф А. Р. Воронцов очень сетовал на эту особенность русских вельмож: «Россия единственная страна, где пренебрегают изучением своего родного языка и всего, что касается страны, в которой люди родились на свет... Те жители Петербурга и Москвы, которые считают себя людьми просвещенными, заботятся о том, чтобы их дети знали французский язык, окружают их иностранцами, дают им хорошо стоящих учителей танцев и музыки, но не учат их родному языку, так что это прекрасное и дорогостоящее воспитание ведет к совершенному незнанию Родины, к равнодушию и даже презрению к стране, с которой неразрывно связано наше существование, и к привязанности ко всему, что касается нравов чужих стран, в особенности Франции»<sup>24</sup>.

Сестра Воронцова — Е. Р. Дашкова приводила пример своей семейной немоты, когда она, аристократка, выросшая в Петербурге, приехала в Москву и не могла общаться с родными мужа. «Я довольно плохо изъяснялась по-русски, а моя свекровь не знала ни одного иностранного языка. Ее родня... относилась ко мне очень снисходительно; ...но я все-таки чувствовала, что они желали бы видеть во мне москвичку и считали меня почти чужестранкой. Я решила заняться русским языком и вскоре сделала большие успехи, вызвавшие единодушное одобрение»<sup>24</sup>.

В качестве учителя к великой княгине Екатерине Алексеевне был назначен известный литератор Василий Евдокимович Ададулов. Но употребить на практике полученные от него знания она могла только, разговаривая с истопниками, горничными, полотерами, а позднее со своими конюхами и берейторами. Стоит ли удивляться, что речь Екатерины запестрела народными пословицами и поговорками? Судя по переписке, императрице была свойственна простая, доходчивая речь с удивительно сильными, хотя не всегда правильными оборотами. Например, «любить со всего сердца», как бегать со всех ног. От грамматических ошибок она не могла избавиться всю жизнь, но заметим, их было куда меньше, чем у многих дам ее времени. Знаменитая история со словом «ещё», которое Екатерина якобы писала как «исчо» — не более чем анекдот, она не подтверждается ее собственноручными документами.

«Ты не смейся над моей русской орфографией, — сказала она однажды Грибовскому. — Я тебе скажу, почему я не успела ее хорошенько узнать: по приезде моем сюда с большим прилежанием я начала учиться русскому языку. Тетка, Елизавета Петровна, узнав об этом, сказала моей гофмейстерине: полно ее учить, она и без того умна. Таким образом, могла я учиться только из книг, без учителей, и это есть причина, что я плохо знаю правописание». Впрочем, по свидетельству секретаря, государыня говорила по-русски «весьма чисто», то есть без акцента, и любила употреблять «простые и коренные слова, которых она знала множество»<sup>25</sup>.

Императрица охотно писала на языке своего нового отечества. Случалось, что к половине восьмого утра ее рука уже так уставала, что ей приходилось извиняться перед корреспондентами за плохой почерк<sup>26</sup>. Тем не менее она признавалась: «Я не могу видеть чистого пера без того, чтобы не пришла мне охота обмакнуть оно в чернила; буде же еще к тому лежит на столе бумага, то, конечно, рука моя очутится с пером на этой бумаге»<sup>27</sup>.

Одинокие утренние занятия Екатерины не обходились без забавных происшествий. Однажды, разводя огонь, она обнаружила в трубе маленького трубочиста,

который, почувствовав жар, начал кричать. Государыня немедленно залила угли, помогла мальчику выбраться из камина и наперед приказала поставить в прямой трубе решетку, чтобы предотвратить падение рабочих в пламя.

Иногда во время работы у Екатерины кончалась вода в графине и государыня звонила в колокольчик, зовя слуг. Но случалось, что ее «комнатные женщины» еще спали, и императрица терпеливо ждала их пробуждения. Однажды она звонила слишком долго и, заскучав, выглянула в смежную залу, где должны были дежурить камердинеры. Те преспокойно играли в карты, а на упрек госпожи отвечали: «Мы всего лишь хотели закончить партию»<sup>28</sup>.

Утренние бдения государыни далеко не всегда бывали так невинны. Судя по ее запискам к Потемкину, она посещала его в ранние часы, когда весь дворец был погружен в сон. Вечер ее не устраивал, потому что после поздних визитов она плохо себя чувствовала. «Я думаю, — писала Екатерина возлюбленному, — что жар и волнение в крови от того, что уже который вечер поздно ложусь, все в первом часу; я привыкла лечь в десять часов; сделай милость — уходи ранее вперед»<sup>29</sup>. Григорий Александрович исполнил просьбу, но на этом проблемы не закончились.

Все знали, что у императрицы есть фаворит, но для нее считалось крайне неприлично афишировать эту связь. Например, посещать его покои, когда там находились посторонние. «Я было пошла к тебе, но нашла столь много людей и офицеры в проходах, что возвратилась»<sup>30</sup>, — писала императрица Потемкину. «Я к Вам прийти не могла по обыкновению, ибо границы наши разделены шатающимися всякого рода животиной»<sup>31</sup>. «Я приходила в осмом часу, но нашла вашего камердинера, с стаканом против дверей стоящего»<sup>32</sup>. Лакеи, гайдуки, секретари, офицеры и просто посетители представляли собой непреодолимое препятствие в глазах Екатерины. Завидев их у покоев возлюбленного, она убегала «со всех ног». «Я никогда не решусь прийти к Вам, если Вы не предупредите меня»<sup>33</sup>, — писала императрица.

Ненароком забытые в комнатах Екатерины вещи Потемкина — табакерка или платок — могли скомпро-

метировать ее<sup>34</sup>. Однажды подаренная Григорием Александровичем собачка, вбежав вслед за горничной в спальню государыни, учуяла там запах любимого хозяина и подняла радостный лай, чем вызвала сильное смущение монархини. «Я сегодня думала, что моя собака сбесилась. Вошла она с Татьяною, вскочила ко мне на кровать и нюхала, и шаркала по постели, а потом зачала прядать и ласкаться ко мне, как будто радовалась кому-то. Она тебя очень любит и потому мне милее. Все на свете и даже собака тебя утверждают в сердце и уме моем»<sup>35</sup>.

Если все преграды были преодолены, Екатерина и ее избранник могли побыть некоторое время наедине. Проще всего это было сделать на даче. А в Петербурге подчас приходилось довольствоваться обменом записок с пожеланием доброго утра. «Я пишу из Эрмитажа, — сообщала Екатерина 8 апреля 1774 года. — Здесь не ловко, Гришенька, к тебе приходиться по утрам. Здравствуй, миленький издали и на бумаге, а не вблизи, как водилось в Царском Селе»<sup>36</sup>. Вероятно, перед работой государыня нуждалась в хорошей встряске, чтобы потом весь день трудиться, как заведенный механизм. Покинув возлюбленного, она возвращалась к бумагам.

### *У кофе не дамский вкус*

В кабинет ей подавали кофе без сливок и поджаренные гренки в сахаре. Последними она угощала своих собачек, а кофе выпивала сама. Кофе императрицы вошел в поговорку. Его варили из одного фунта на пять чашечек, и он отличался необычайной крепостью. Лакеи добавляли в толстый осадок на дне кофейника воды и переваривали для себя, после них хватало еще топникам. Следует учесть, что турецкий кофе того времени лишь отдаленно напоминал современные суррогаты с пониженным содержанием кофеина. Это был напиток чрезвычайной крепости, используемый как возбуждающее средство. После него действительно наступал прилив сил. Как-то зимой Екатерина, заметив, что один из ее статс-секретарей С. М. Козьмин замерз,

предложила ему чашку. Едва отхлебнув, несчастный почувствовал себя дурно, у него началось сильное сердцебиение.

Обычно не замечают, что в питье Екатериной кофе по-турецки содержался определенный общественный вызов. Правда, обращен он был не к России, а к Европе и обозначал не широковещательную, а молчаливую, домашнюю позицию — так сказать, стиль жизни. Как и любая мода, кофе пришел из Парижа. В саму Францию его завезла турецкая дипломатическая миссия в 1669 году. Новый напиток околдовал пресыщенных аристократов. К середине XVIII века в Париже уже насчитывалось около трех сотен кофеен (правда, дамы предпочитали горячий шоколад). Не отставал и Лондон, однако здесь в кофейни не допускали представительниц прекрасного пола. Англичанки даже составили «Женскую петицию против кофе», уверяя, что заморское зелье лишает их мужей потенции<sup>37</sup>. Итак, в Европе кофе считался скорее «мужским» напитком, чем-то вроде клубного знака.

В России XVIII века употребление чая и кофе было делом состоятельных, независимых людей. Возможно, даже слегка бравирующих своей репутацией. Недаром сложилось присловье: «Чай пьют отчаянные». Молодым незамужним девушкам приличнее было пригубить слабоалкогольного сбитня, чем чаю или кофе<sup>38</sup>. Традиции русского чаепития сложились позднее. Употребляя по утрам кофе, Екатерина как бы заявляла права на несвойственное ее полу удовольствие. Подчеркивала, что не только на троне, но и в домашнем быту она может вести себя, как представитель сильной половины человечества.

### *Табак и табакерки*

Другим возбуждающим зельем, которым «баловалась» императрица, был табак. Привычка среди дам нюхать «заморскую отраву» и даже покуривать трубочки распространилась в Европе с легкой руки фаворитки Людовика XIV Марии Анжелики де Фонтанж<sup>39</sup>. Таба-

керки, как мужские, так и женские, стали постоянным атрибутом костюма XVIII века и порой превращались в настоящие произведения искусства. Маленькие и большие, массивные и легкие, украшенные перламутром, слоновой костью, эмалью и драгоценными камнями, они лежали у Екатерины на столах и подоконниках, чтобы в нужный момент не искать их. Усыпанная бриллиантами золотая коробочка могла быть официальным подарком, а могла содержать намек самого интимного свойства.

Именно такова фарфоровая табакерка, выполненная в 1762 году по заказу Екатерины для Г. Г. Орлова. Она была преподнесена ему в день пожалования графского титула. Снаружи на ее крышке изображен герб Орловых, а на боковых сторонах и на дне сцены соколиной охоты, охоты на зайца и рыбной ловли с участием фаворита. Внутреннюю же часть крышки украшает камерный портрет графа кисти И. А. Чернова. Григорий Григорьевич изображен сидящим вполоборота в свободном синем халате, небрежно схваченном на шее красным шнурком. Он как будто на минуту оторвался от чтения письма, которое у него в руке, и поднял к зрителю открытое приветливое лицо<sup>40</sup>. Не остается сомнений, чью записку держит граф и кому улыбается.

Совсем другого рода табакерку подарила Екатерина княгине Е. Р. Дашковой, своей юной сподвижнице по перевороту. Это была массивная золотая коробочка. На одной крышке красовался эмалевый профильный портрет императрицы, на другой — сцена провозглашения ее самодержицей 28 июня 1762 года в обрамлении аллегорических фигур<sup>41</sup>.

Позднее Дашкова сама задаривала табакерками гостей у нее сестер-ирландок Марту и Кэтрин Вильмот. Последняя рассказала забавный случай: «У княгини нет чувства юмора. Она сказала Матти (Марте. — *О. Е.*), что стыдно не нюхать табака, имея семь или восемь великолепных табакерок, и шуточно спросила меня, какого наказания заслуживает Матти. Мы с Анной Петровной (Исленевой, родственницей Дашковой. — *О. Е.*) серьезно предложили, чтобы княгиня поступила с но-



сом Матти так же, как с саженцами на аллеях: его следует посадить, ожидая, пока не вырастет роща носов для этих табакерок. Княгиня чуть не заплакала и решила, что мы ничуть не лучше мясников»<sup>42</sup>.

Такая универсальная вещица, как табакерка, служила и для скрытой передачи любовных посланий, и для хранения мушек или засахаренных фруктов, коль скоро ее хозяйка не любила табак. Изящное произведение искусства — она могла выражать самые разные идеи, например, семейного единства, как знаменитая золотая «Орловская табакерка» с портретами всех пяти братьев и Е. Н. Орловой, супруги Владимира Григорьевича<sup>43</sup>. Или преданности великому князю Павлу, как золотая табакерка с замком в виде бриллиантовой цветочной гирлянды, украшенная изображением маленького Павла работы французского мастера Бутелье<sup>44</sup>.

Эмалевые портреты стоили недешево, а вместе с хорошей табакеркой могли потянуть на кругленькую сумму. В 70-е годы XVIII века самым модным и, следовательно, дорогим петербургским ювелиром был «золотарь» Ж. П. Адор. В его мастерской работало несколько живописцев, которые выполняли «финифтяные» миниатюры, украшали часы, табакерки, медальоны. Цена зависела не только от материалов и художественного уровня изделия, но и от социального статуса покупателя. В 1771 году граф Н. П. Шереметев заплатил за эмалевое изображение для табакерки 50 рублей. Тогда же из Кабинета Екатерины II мастеру Бутелье, жившему у Адора, поступила сумма в 500 рублей за «финифтяной портрет» императрицы.

«Головок» государыни требовалось много, поскольку именно они чаще всего украшали подарочные безделушки. Кроме них, Кабинет часто покупал эмали с Петром I — символом российской государственности. Во время путешествия в Крым в 1787 году императрица показала принцу Шарлю де Линю свою любимую табакерку с изображением Петра, пошутив, что постоянно советуется со своим великим предшественником о делах<sup>45</sup>.

Правда же состояла в том, что Екатерина и дня не могла прожить без табака. В годы супружества великий

князь Петр Федорович сильно распекал жену за вредную привычку. Но молодая царевна так пристрастилась к зелью, что даже просила приближенных потихоньку угощать ее, во время обеда протягивая под столом табакерку. Впоследствии для Екатерины специально сеяли табак в оранжереях Царского Села. Зная, что многим не нравится этот запах, императрица брала щепотку из табакерки левой рукой, поскольку правую по этикету подавала для поцелуя. Надо ли говорить, что и в случае с табаком Екатерина не отказала себе в «мужском» пристрастии?

### *Семейство Андерсон*

Итак, пока государыня пила кофе или нюхала табак, ее четвероногие любимцы хрустели гренками. Если им нужно было выйти из кабинета, хозяйка сама открывала дверь. Императрица обожала собак и даже позволяла им спать в ногах своей кровати на маленьких тюфячках под атласными одеяльцами. Когда в загородных дворцах Екатерина отправлялась на прогулку, к ней сбегались окрестные барбосы в надежде получить кусок лакомства, которое государыня захватывала с собой.

«Одна из причудей государыни — собаки, — с некоторым раздражением писал в 1775 году французский дипломат Мари Даниэль де Корберон. — У нее их целая дюжина, причем одна лучше другой. Когда она выходит к обеду, одна из них всегда следует за нею. В столовой стоит кресло, предназначенное для государыни, но в которое она, однако, не садится: его занимает собака. Паж расстилает на кресле носовой платок или прикрывает им от мух нежно любимое животное, и эта обязанность доставляет ему занятие в зависимости от различных фантазий собачки, которая бежит куда и сколько ей угодно. Вчера пропало одно из этих привилегированных животных, и его искали по городу всю ночь. Лакей Кошелов был проворнее остальных и получил за труды сто рублей»<sup>46</sup>.

Особенно государыня привязалась к левретке по имени Сир Том Андерсон, подаренной ей английским доктором Томасом Димсдейлом. Последний с 1768 года работал в России по приглашению государыни и положил начало русскому оспопрививанию<sup>47</sup>. От Сира Тома и его «двух жен» — левреток княгини Андерсон и Мими Андерсон — произошло большое потомство, поселившееся в домах у русских вельмож Волконских, Орловых, Нарышкиных, Тюфякиных. Государыня ввела моду на эту породу. В письмах к барону М. Гримму она охотно живописала своих любимцев: «Животные гораздо умнее, чем это обычно предполагают. Доказательство тому Сир Том Андерсон. Видели бы вы, как он гордится собой, когда сопровождает меня на прогулке. Как выбирает из каждого нового выводка своего семейства самых умных и воспитывает их, учит находить полезные и здоровые травы».

Судя по всему, собаки ничуть не мешали утренней работе императрицы. Их общество только забавляло ее. «Лэди Андерсон в свои пять месяцев представляет из себя маленькое чудо... Она уже сейчас рвет все, что находит, всегда бросается и хватается за ноги всех, кто входит в мою комнату; охотится за мухами и птицами... и одна производит больше шума, чем все ее братья, сестры, тетки, отец, мать, дед и прадед вместе взятые». В другом письме сказано: «Вы меня извините за то, что вся предыдущая страница так плохо написана. Мне чрезвычайно мешает в эту минуту некая молодая прекрасная Земира, которая из всех Томсонов садится ближе всех ко мне и доводит свои претензии до того, что кладет лапы мне на бумагу»<sup>48</sup>.

Комнатная собачка — важная деталь куртуазной культуры того времени. Обычно маленьких спутниц прекрасным дамам дарили кавалеры. Болонки, левретки или шпицы хорошо знали воздыхателя, а мужа воспринимали, как чужого, и начинали лаять при его приближении, чем предупреждали неосторожную пару влюбленных<sup>49</sup>. Таков смысл многочисленных пушистых зверьков, запечатленных на портретах рядом с хозяйками. Английский публицист XVIII века Джон Уилкс даже написал эпиграмму под названием «Примерная собака»:

Крадется вор  
На графский двор, —  
Я очень громко лаю.  
Крадется друг через забор, —  
Я хвостиком виляю.

Вот почему графиня, граф  
И друг их самый верный  
За мой для всех удобный нрав  
Зовут меня примерной<sup>90</sup>.

«Записки» Екатерины II рассказывают примечательную историю из времен ее молодости. В 1756 году великая княгиня была влюблена в польского аристократа Станислава Понятовского и часто принимала его у себя. «После обеда я повела оставшуюся компанию, не очень многочисленную, посмотреть внутренние покои, — вспоминала государыня. — Когда мы пришли в мой кабинет, моя маленькая болонка прибежала к нам навстречу и стала сильно лаять на графа Горна, но когда она увидела графа Понятовского, то я думала, что она сойдет с ума от радости. Так как кабинет мой был очень мал, то, кроме Льва Нарышкина, его невестки и меня, никто этого не заметил, но граф Горн понял, в чем дело, и, когда я проходила через комнаты, чтобы вернуться в зал, граф Горн дернул графа Понятовского за рукав и сказал: “Друг мой, нет ничего более предательского, чем маленькая болонка; первая вещь, которую я делал с любимыми мною женщинами, заключалась в том, что дарил им болонку, и через нее-то я всегда узнавал, пользовался ли у них кто-нибудь большим расположением, чем я. Это правило верно и непреложно. Вы видите, собака чуть не съела меня, тогда как не знала, что делать от радости, когда увидела вас, ибо нет сомнения, что она не в первый раз вас здесь видит”».

Зная эту важную деталь любовного быта эпохи, новыми глазами можно прочесть другой отрывок «Записок» императрицы — эпизод расправы Петра Федоровича с маленькой английской собачкой Шарло. «Слыша раз, как страшно и очень долго визжала какая-то несчастная собака, я открыла дверь... и увидела, что великий князь держит в воздухе за ошейник одну из собак.. Это

был бедный маленький Шарло английской породы, и великий князь бил эту несчастную собачонку толстой ручкой своего кнута; я вступилась за бедное животное, но это только удвоило удары; не будучи в состоянии выносить это зрелище, которое показалось мне жестоким, я удалилась со слезами на глазах к себе в комнату. Вообще слезы и крики вместо того, чтобы внушать жалость великому князю, только сердили его»<sup>51</sup>.

Если вспомнить замечание прусского посла Мардефельда, что Петр Федорович «супругу не любит, ...однако ж он ее ревнует», то избиение Шарло станет доказательством этого мутного чувства. Великий князь выместил на собаке злость, которая предназначалась его жене или ее возлюбленному. Так что не во всех семьях члены «любовного четырехугольника» — муж, жена, кавалер и их собака — сосуществовали мирно, вполне довольные друг другом, как в эпиграмме Уилкса.

### *Слушание дел*

Поработав часок-другой в одиночестве, Екатерина к девяти заканчивала свою писанину и направлялась в спальню слушать дела. Обычай принимать должностных лиц в королевской опочивальне пришел из Парижа и, как все галльское, был перенят в качестве эталона хорошего тона. Приглашая вельможу в личные покои, монарх как бы подчеркивал степень доверия к нему. В Версале даже существовал жесткий этикет, согласно которому одни придворные должны были останавливаться у дверей, другие имели право занять место в ногах королевской кровати, а третьи даже присесть на краешек.

Однако впечатление неуловимой интимности, возникающее от подобных сцен, было во многом театрально. Такие жесты четко регламентировались и рассчитывались на внешний эффект. Специально для утренних приемов существовали парадные спальни, в которых никто никогда не спал. Они бывали обставлены с таким же помпезным блеском, как приемные покои. Одна из них доныне сохранилась в Павловске. Не-

чего и говорить, что государь не сидел перед своими подданными в ночной сорочке, с голой шеей и в туфлях на босу ногу. Под небрежно накинутым шлафроком обнаруживался богатый придворный кафтан, иногда с лентами и звездами.

В десятом часу императрица выходила в спальню и садилась у дверей на стул, обитый белым штофом и подставленный к полукруглому «выгибному» столику, напротив которого стояли другой такой же стол и стул для докладчика. По утрам Екатерина была облачена в белый гродетуровый шлафрок и капот, на голове носила белый же флеровый чепец, съезжавший на левую сторону. До старости она сохраняла приятный облик. «Несмотря на 65 лет, государыня имела еще довольную в лице свежесть, — вспоминал Грибовский, — руки прекрасные, все зубы в целости, от чего говорила твердо, без шиканья, только несколько мужественно; читала в очках и притом с увеличительным стеклом». Однажды она сказала секретарю: «Верно, вам еще не нужен этот снаряд. А мы в долговременной службе государству притупили зрение»<sup>52</sup>.

Усевшись за стол, императрица звонила в колокольчик, и стоявший у дверей дежурный камердинер приглашал приехавших чиновников. Раз заведенный распорядок не менялся. Все должностные лица заранее знали время своего доклада и загодя собирались в уборной, ожидая вызова. В Зимний дворец военным чинам принято было являться на доклад в мундирах со шпагами, а штатским в простых французских кафтанах, которые по праздникам сменялись на парадные платья. Но в Царском Селе, где этикет наблюдался менее строго, даже военным позволялось надевать фрак.

Каждое утро обязаны были приходиться обер-полицмейстер и статс-секретари. Для других были назначены особые дни. Для генерал-прокурора Сената — понедельник и четверг. В четверг же приезжал главнокомандующий Санкт-Петербурга. В среду — обер-прокурор Синода и генерал-рекетмейстер. Для вице-канцлера, губернатора и губернского прокурора Петербургской губернии отводилась суббота. Присутственным днем директора Академии наук Е. Р. Дашко-

вой при дворе было воскресенье<sup>53</sup>. Но в случае важных и неотложных дел любой из перечисленных чиновников имел право приехать в любое время.

Первым к императрице ежедневно заходил обер-полицмейстер и докладывал о происшествиях в столице, въехавших и выехавших иностранцах, ценах на продукты питания. Иногда Екатерина находила, что тот или иной товар дороговат, и приказывала сбить цену. Так, однажды из-за недостаточного пригона скота говядина подорожала с двух копеек за фунт мяса до четырех. Государыня велела закупить скот на казенные деньги и продавать на рынке, от чего цена вновь упала. Спокойствие и довольство жителей столицы укрепили ее положение.

За обер-полицмейстером допускались другие докладчики. Переступив порог, гость кланялся государыне, на что она отвечала кивком головы и с улыбкой подавала руку для поцелуя. При поцелуе Екатерина слегка пожимала пальцы пришедшего и указывала ему на стул: «Садитесь». Расположившись напротив императрицы, чиновник раскладывал на выгибном столе бумаги и начинал читать то, что привез ей на подпись. Обычно Екатерина слушала терпеливо, лишь изредка прерывая гостя вопросами.

К этому времени весь дворец уже просыпался. Комнаты наполнялись шумом, топотом ног, голосами и смехом. Случалось, это мешало государыне работать, но она никогда не высказывала неудовольствия. По ее мнению, легче было потерпеть неудобство, чем заставить других вести себя потише. Однажды молодые придворные затеяли в соседней комнате игру в волан и так расшумелись, что заглушали слова докладчика. «Не прикажете ли велеть им замолчать?» — спросил сановник. «Нет, у всех свои занятия, — покачала головой Екатерина. — Оставьте их веселиться, а сами читайте погромче»<sup>54</sup>.

Во время утренних докладов к императрице мог приехать и сторонний посетитель, например старый друг, уже не состоявший на службе, и подождать вместе с чиновниками в уборной, пока его не позовут. В 1796 году Грибовский наблюдал визит Алексея Григорьевича

ча Орлова. Узнав, что он прибыл, Екатерина велела секретарю пригласить его.

«Хотя я никогда не видел еще графа Орлова, но не мог ошибиться; по высокому росту и нарочитому в плечах дородству, по шраму на левой щеке я тотчас узнал в нем героя Чесменского; на нем был генеральский мундир без шитья; сверх оного Андреевская лента, а под ним Георгиевская первой степени. Подойдя к нему, сказал я с большой вежливостью: “Государыня просит ваше сиятельство к себе”. Вдруг лицо его возсияло, и он, поклонясь мне очень приветливо, пошел в кабинет. Через некоторое время граф, встретясь со мной во дворце, спросил меня: “Вы обо мне государыне доложили, или она сама изволила приказать вам меня к себе просить?” С того времени при всякой встрече показывал он мне знаки благосклонности. Но у князя П. А. Зубова никогда не бывал»<sup>55</sup>.

Очень характерная сцена. «Поседельный Чесменский богатырь» продолжал боготворить свою императрицу. Он весь просиял, услышав, что она зовет его, но ему было важно, чтобы Екатерина сама вспомнила о нем, и поэтому Алексей Григорьевич задал позднее секретарю уточняющий вопрос. И последний штрих — осколок былого величия, один из немногих доживших до конца века екатерининских орлов считал ниже своего достоинства посещать молодого фаворита.

### *Статс-секретари*

Говоря о рабочем времени императрицы, невозможно не упомянуть о целом штате секретарей, обеспечивавших ее повседневную служебную деятельность. Их положение было двойственно. С одной стороны, они являлись государственными чиновниками, трудившимися в непосредственной близости от Екатерины, в ее личной канцелярии. Без них ритмичные повседневные занятия делами казались невыносимы. В 1788 году императрица писала Гримму: «Я с некоторого времени работаю, как лошадь; мои четыре секретаря не успевают справляться с делами; я должна



буду увеличить число секретарей. Я постоянно пишу. Никогда еще я не писала столько»<sup>56</sup>. С другой стороны, тесная работа бок о бок с государыней, пребывание во дворце, более того — в личных покоях Екатерины, делали их придворными, членами ближнего круга, почти домашними слугами, исполнявшими очень привилегированные обязанности.

Талантливая чиновница, Екатерина сама составляла инструкции для своих секретарей. При этом она не считала себя сведущей во всех областях и доверяла опыту служивших «под ней» лиц. «Впрочем, ежели в чем сия инструкция недостаточна покажется, о том нам докладывать имеете [право]»<sup>57</sup>, — писала императрица. Она обладала врожденной административной хваткой и знала, как наладить работу Кабинета. Его формирование началось буквально в первый же день переворота — 28 июня 1762 года. Тогда обязанности секретаря исполнял Г. Н. Теплов, составивший текст манифеста о вступлении новой государыни на престол, присягу, а также отречение Петра III.

Через месяц должности кабинет- или статс-секретарей при Екатерине заняли А. В. Олсуфьев и И. П. Елагин. Всех троих императрица знала еще в бытность великой княгиней и полагалась на их преданность. Французский дипломат Сабатье де Кабр назвал Олсуфьева одним из самых умных людей в русском правительстве: «Он отлично говорит и пишет на многих языках. Он сведущ, начитан, что здесь редкость, честен, разборчив, проницателен, привычен к делам, надежен в работе»<sup>58</sup>. Веселый и отзывчивый Адам Васильевич чрезвычайно нравился Екатерине как сотрудник. Полной противоположностью ему был Теплов.

Креатура гетмана К. Г. Разумовского, он долгие годы заправлял домом и служебными делами своего беспечного покровителя в Академии наук. В юности воспитанный Феофаном Прокоповичем, Теплов хорошо усвоил «иезуитские» приемы наставника и даже был одним из доносителей по делу А. П. Волынского. С. М. Соловьев отзывался о нем, как о человеке «безнравственном, смелом, умном, ловком, способном хорошо говорить и писать»<sup>59</sup>. Теплов слыл философом,

сочинил несколько трактатов в просвещенческом ключе — длинных, скучных и витиеватых по слогу. Человек разносторонне одаренный, он сыграл видную роль в реформе 1764 года по секуляризации церковных земель. Постоянно составлял инициативные записки: об учебной реформе, о торговле, строительстве, сельском хозяйстве, а также научные трактаты по медицине, географии и музыке<sup>60</sup>. Ценил его канцелярский дар, Екатерина употребляла Григория Николаевича во многих делах, но внутренней близости между ними не возникло.

Другое дело Иван Перфильевич Елагин. Он окончил Шляхетский корпус, служил у канцлера А. П. Бестужева-Рюмина, был близок с молодым двором и замешан в заговоре своего патрона в пользу великой княгини. В 1758 году Елагин прошел по делу Бестужева и был сослан в деревню, куда Екатерина направляла ему письма и деньги<sup>61</sup>. Сразу же после переворота она возвратила старого сторонника ко двору. Елагин известен как один из крупнейших масонов своего времени, руководитель лож английской системы, боровшихся с ложами шведской системы Н. И. Панина за влияние в России<sup>62</sup>. Он оказывал Екатерине поддержку не только как официальное лицо, но и как мастер высокого посвящения, которому по «невидимой субординации» подчинялись многие влиятельные лица.

Иван Перфильевич пользовался у современников репутацией честнейшего и порядочнейшего человека. «Сожалетельно мне, что из всего многолюдства немного Елагиных»<sup>63</sup>, — писала Екатерина Григорию Орлову в 1773 году. В то же время императрица бывала недовольна медлительностью, с которой Елагин вел дела, и по-дружески пеняла ему: «Слушай, Перфильевич, если в конце сей недели не принесешь ко мне наставлений... губернаторской должности да дела Бекетьева, то скажу, что тебе подобного ленивца на свете нет, да что никто ему порученных дел не волочит, как ты»<sup>64</sup>.

В конце 1762 года к прежним секретарям прибавился Сергей Матвеевич Козьмин, поставленный «у принятия прошений». Он быстро завоевал доверие императрицы и ему поручались наиболее щепетильные дела, в

том числе перлюстрация писем<sup>65</sup>. Известный переводчик, Козьмин переводил «Велизария» Ж. Ф. Мармонтеля, «Опыт военного искусства» Тюрпина, юридические статьи из «Энциклопедии». Впрочем, почти все статс-секретари занимались переводами, журналистикой, философией, пробовали себя на литературном поприще. Этому способствовала кипучая жизнь Кабинета, где рядом с государственными бумагами соседствовали наброски статей императрицы, ее пьесы и обширная переписка, которую она отдавала на правку, боясь ошибок в русском и французском языках.

Переводами с латыни занимался и Г. В. Козицкий, служивший статс-секретарем с 1768 по 1778 год. Он окончил Киевскую духовную академию, а затем Лейпцигский университет. Ему принадлежал перевод «Наказа» Екатерины II на латинский язык<sup>66</sup>. Григорий Васильевич много занимался журналистикой, выступал официальным редактором «Всякой всячины», где статьи Екатерины печатались без подписи. Философские сочинения Козицкого — большей частью переложение идей Монтескье — пользовались успехом у современников.

Всего при Екатерине в разные годы служило 16 статс-секретарей, каждый из которых оставил заметный след на административном поприще. Среди них были такие известные личности, как С. Ф. Стрекалов, А. А. Безбородко, П. В. Завадовский, А. В. Храповицкий, П. И. Турчанинов, Г. Р. Державин, Д. П. Трощинский. При вступлении в должность секретари получали высокий чин действительного статского советника с солидным жалованьем тысяча рублей в год. При каждом из них существовала своя маленькая канцелярия из двух-трех собственных секретарей, копиистов, переводчиков и посыльных. Больше всего помощников было у Безбородко — девять человек, что соответствовало весу Александра Андреевича в делах, через него шли распоряжения в Сенат, Синод, Иностранную коллегию и Адмиралтейство<sup>67</sup>.

Благодаря совместной работе с императрицей статс-секретари обладали колоссальным влиянием. От них зависело вовремя подsunуть монархине нужную

бумажку, создать у нее благоприятное мнение о том или ином чиновнике, или, напротив, представить дело в черном свете. Их уважали и побаивались.

Согласно инструкции все статс-секретари принимали прошения на высочайшее имя от любого подданного, «какого бы звания он ни был»<sup>68</sup>. Более 60 процентов прошений поступало от дворян, остальные от представителей различных сословий, в том числе и от крепостных крестьян, которым с 1767 года было запрещено жаловаться на своих помещиков. В основном прошения касались имущественных вопросов, тяжб, опеки над имениями, определения на службу и увольнения с нее, оказания помощи в образовании детей, усыновления незаконнорожденных, утверждения завещаний.

Кроме письменной просьбы секретари должны были получить от челобитчика словесное разъяснение. Краткое содержание дела фиксировалось в журнале, туда же заносилась резолюция императрицы. Копии прошений направлялись в соответствующее учреждение или конкретному чиновнику для исполнения решения государыни. Каждый секретарь вел дело от начала до конца, наводил справки, посылал запросы генерал-прокурору, в канцелярию Сената, в Герольдмейстерскую контору, обер-полицмейстеру и т. д. Время от времени Екатерина сама просматривала реестры челобитчиков, после чего, как писал Храповицкий, случались выговоры секретарям, «будто не принимаем просьб»<sup>69</sup>. Доклады императрице по новым прошениям происходили каждые три-четыре дня.

В «Записках» Державина есть эпизод с делом иркутского генерал-губернатора И. В. Якоби, облыжно обвиненного в притеснениях китайцев и прекращении торговли с Китаем. Первоначально оно поступило во 2-й департамент Сената и там разбиралось семь лет. Наконец, изучить этот щекотливый вопрос было поручено Гавриле Романовичу, которому доставили три кибитки, сверху донизу набитые бумагами. Державин возился с запутанными документами год. В результате ему удалось выжать из сенатского экстракта в 3 тысячи листов доклад императрице в 250 листов и две записки —

одну на пятнадцати, другую на двух листах. Однако, согласно инструкции, он обязан был во время доклада иметь при себе оригиналы документов. Поэтому к знаменитому выгибному столику его сопровождала целая «шеренга гайдуков и лакеев» со стопками бумаг в руках. Сначала Екатерина рассчитывала понять суть, ознакомившись с «кратчайшим» экстрактом. Но вышло иначе. Ее уже успели настроить против генерал-губернатора, и, почувствовав при чтении, что «Якобий оправдывается», она приказала: «Я не такие пространные дела подлинником читала и выслушивала; прочитай мне весь экстракт сенатский. Начинай завтра. Я назначаю тебе для того всякий день после обеда два часа, 5-й и 6-й»<sup>70</sup>. Чтение продолжалось четыре месяца, работа стоила свеч — Якоби был оправдан.

Круг обязанностей статс-секретарей был очень широк. Они вели переписку императрицы с иностранными дворами, государственными учреждениями и должностными лицами, составляли манифесты, указы, рескрипты, инструкции, участвовали в дипломатических конференциях и комиссиях по созданию законодательных актов. Кабинет Екатерины был тем самым приводным ремнем, а исходившие из него бумаги — смазкой, при помощи которых вращалась государственная машина. Неудивительно, что именно со статс-секретарями ее величество трудилась каждый день.

В 1763 году она составила расписание, в котором позднее менялись только имена исполнителей, а ритм работы оставался прежним: «В понедельник и среду каждой недели по утру в восемь часов господин Теплов будет иметь аудиенцию. Вторник и четверг оставлены для Адама Васильевича. Пятница и суббота для Ивана Перфильевича»<sup>71</sup>. В течение всего дня дежурный статс-секретарь находился в приемной государыни. Праздники не были исключением, кто-то непременно дежурил близ кабинета Екатерины и в подходящий момент мог быть приглашен доложить о делах.

Сохранился анекдот, что именно так, на праздник, счастье улыбнулось Безбородко. Он был принят статс-секретарем в 1775 году по рекомендации фельдмаршала П. А. Румянцева, у которого служил прежде. Как-то на

Масляной неделе императрица захотела разделить завтрак с кем-нибудь из приближенных. В приемной находился один Безбородко, молодой и отменно некрасивый хохол. Его пригласили к столу. Во время трапезы он уписывал блины за обе щеки, успевая отвечать императрице на любой заданный по текущим делам вопрос. Уникальная память и обширные сведения румянцевского протезе поразили Екатерину. Она признала справедливость характеристики фельдмаршала: «бриллиант в кожуре» — и стала доверять новому секретарю важные бумаги.

### *Туалет*

Государыня занималась делами до полудня. К этому времени она уже часов шесть была на ногах и марала бумагу. Чтобы немного отдохнуть, ей следовало сменить род занятий: сделать туалет и показаться публике. Во внутренней уборной парикмахер Иван Козлов укладывал Екатерине волосы в невысокую простую прическу с небольшими буклями за ушами. Принц де Линь считал, что, если бы она не подбирала их вверх, а позволила «распускаться около лица», это пошло бы ей больше. Но у Екатерины был свой вкус. До старости императрица сохранила длинные густые волосы темного каштанового цвета, которые падали до полу, когда она сидела перед зеркалом в кресле. При расчесывании с них сыпались искры. Тот же электрический заряд оставался и на шелковых простынях Екатерины. Иногда при их встряхивании прислугу ударяло током<sup>72</sup>.

Вслед за парикмахером входили камер-юнгферы. Первая, калмычка Марья Степановна Алексева, подавала лед для обтирания лица. В те времена знатные дамы не умывались водой, а протирали кожу льдом. Марта Вильмот сообщала домой: «Каждое утро мне приносят пластинку льда толщиной со стекло стакана, и я, как настоящая русская, тру им щеки, от чего, как меня уверяют, будет хороший цвет лица»<sup>73</sup>.

Во время утреннего туалета принято было полоскать рот и горло. С 80-х годов в обиходе появилась зуб-

ная щетка, вызвавшая неоднозначную реакцию. А. Н. Радищев в «Путешествии из Петербурга в Москву» напал на светских женщин за стремление «драть» себе зубы щеткой, от чего их дыхание не становится свежее. Автор противопоставлял им крестьянок, не знавших подобных ухищрений, зато здоровых и крепких: «Приезжайте сюда, любезные наши барыньки московские и петербургские, посмотрите на их зубы, учитесь у них, как их содержать в чистоте. Зубного врача у них нет. Не сдирают они каждый день лоску с зубов своих ни щетками, ни порошками. Станьте, с которою из них хотите, рот со ртом; дыхание ни одной из них не заразит вашего легкого. А ваше, ваше, может быть, положит в них начало болезни»<sup>74</sup>.

Однако, как все модное, щетка быстро привилась, и уже в кабинете Онегина читатель видит «щетки тридцати родов / И для ногтей и для зубов».

Екатерина по старой традиции еще полоскала рот. Ее калмычка Алексеева отличалась крайней нерасторопностью: забывала подогреть воду или приносила подтаявший лед. Императрица только посмеивалась: «Скажи мне, Марья Степановна, или ты обрекла себя вечно жить во дворце? Вот выйдешь замуж, отвыкнешь от своей беспечности, ведь муж не я. Право, подумай о себе»<sup>75</sup>. Однако все служившие императрице «комнатные женщины» предпочли остаться старыми девами и не покидать хозяйку.

Вторая камер-юнгфера, гречанка Анна Александровна Палакучи (или Полекучи), накладывала на голову флеровую наколку или надевала чепец. Государыня не любила менять слуг, весь ближний штат трудился «по комнате» много лет. Камер-юнгферы и камердинеры состарились вместе с хозяйкой, и хотя к концу царствования все это были уже весьма пожилые люди, исполнявшие свои обязанности не так проворно, как в лучшие годы (Палакучи, например, оглохла), Екатерина предпочла оставить их при себе, не взяв более молодых. Преданность этих слуг искупала и подслеповатые глаза, и трясущиеся руки.

Командовала камер-юнгферами Марья Саввишна Перекусихина, личность по-своему замечательная. Не-

богатая рязанская дворянка, родившаяся в 1739 году, она приехала в Петербург одна и без протекции сумела обратить на себя внимание государыни. Екатерина приняла ее на службу. Вскоре Перекусихина стала одной из ее ближайших подруг. В литературе Перекусихину часто именуют камер-фрау, что неверно, так как она никогда не выходила замуж, а приставка «фрау» означает замужнюю женщину из прислуги императрицы. До конца жизни Марья Саввишна так и проходила в юнгферах, то есть в девушках. Екатерина даже подарила ей перстень со своим эмалевым портретом в мужском костюме и вложила в него записку: «Вот жених, который тебе никогда не изменит».

О Перекусихиной говорили много дурного, так как она больше других была посвящена в личные дела императрицы. Но держалась Марья Саввишна с большим достоинством. В день смерти Екатерины она показала себя не придворной, мечущейся от старого государя к новому, а настоящим другом умирающей. «Твердость духа сей почтенной женщины привлекала многократно внимание всех бывших в спальне, — писал о ней граф Ф. В. Ростопчин. — Занятая единственно императрицей, она служила ей так, как будто ежеминутно ожидала ее пробуждения, сама поминутно подносила платки, коими лекаря обтирали текущую изо рта материю, поправляла ей то руку, то голову, то ноги». После смерти госпожи Перекусихина тихо доживала век в своем петербургском доме, и, когда ей случалось рассказывать о временах Екатерины, никогда не касалась личных тайн хозяйки.

Туалет императрицы продолжался не более десяти-пятнадцати минут, во время которых она беседовала с кем-нибудь из пришедших. Присутствие при «волосочесании» считалось особой милостью, каким было приглашение взглянуть на туалет монарха в Версале<sup>76</sup>. В 70-х годах в это время мать посещал великий князь Павел Петрович. В конце царствования к бабушке в полдень приходили великие князья Александр и Константин, иногда с женами.

Пошутив и посмеявшись с ними, Екатерина возвращалась в спальню, где Перекусихина и еще две камер-



юнгферы — Авдотья Петровна Иванова и Анна Константиновна Скороходова помогали своей госпоже переодеться к обеду. В 70-х годах императрица предпочитала строгие шелковые платья фасона «полонез» с коротким шлейфом и корсажем из золотой парчи. С возрастом она стала выбирать удобные просторные наряды, скрывавшие полноту. По будням Екатерина носила лиловый или светло-зеленый («дикий», как тогда говорили) шелковый «молдаван» поверх тонкого белого гродетурового платья без орденов. Во время праздничных выходов его сменяло парчовое или шелковое «русское» платье с тремя орденскими звездами: андреевской, георгиевской и владимирской. По особым случаям на государыню возлагали малую корону.

### *Выход*

Облачившись таким образом, Екатерина покидала свои покои. В будние дни она сразу отправлялась обедать. Кушанья подавались к часу, а в конце царствования — к двум часам пополудни. Но по воскресеньям и в праздники перед обедом совершался так называемый выход — шествие государыни через анфиладу залов в дворцовую церковь. По дороге ее ожидали вельможи, с которыми она милостиво беседовала.

Этот ритуал занимал немало времени, поэтому Екатерина оставляла работу загодя и появлялась в дверях уже к 10 часам утра. Выходы бывали двух видов: большие или церемониальные — по особым случаям и малые — в конце недели. Разница заключалась в степени торжественности, с которой обставлялось появление монархини на публике.

Во время малых выходов императрица шла из внутренних покоев через столовую, откуда боковая дверь вела прямо на правый клирос. Ее сопровождали лишь несколько приближенных, которых Екатерина приглашала по личному выбору. Во время больших — путь в храм был длиннее, а свита многочисленнее. Ее величество совершала нечто вроде круга почета через бриллиантовую комнату, тронную и кавалерскую залы<sup>77</sup>. Во

время литургии за спиной императрицы стояли два камер-пажа, державшие мантилью или шали на случай, если в храме окажется холодно. Иногда вместе с государыней молились великокняжеская чета и их дети. По торжественным случаям присутствие всей императорской фамилии было обязательным<sup>78</sup>.

Церковный обряд был стержнем любого церемониала. Вокруг него вращалось основное действо. Им начинались тезоименитства членов царской семьи, новогодние торжества, все календарные праздники православной церкви, «викториальные дни» (при Екатерине, кроме новых побед, ежегодно отмечали Полтавское сражение и взятие Нарвы), кавалерские праздники для награжденных орденами Андрея Первозванного, Александра Невского, Георгия Победоносца. Праздники полков лейб-гвардии часто совпадали с тем или иным православным торжеством. Преображенцы «гуляли» на Преображение Господне 6 августа. Конный полк — на Благовещение 25 марта, Измайловский — на Троицу 8 июня. В эти дни несколько торжеств накладывалось друг на друга. Но и день Семеновского — 14 декабря также сопровождался всеобщим бдением и литургией — «молебном со звоном»<sup>79</sup>.

В подобных случаях совершался, конечно, большой выход, за которым следовал торжественный обед. Отстояв литургию, Екатерина принимала поздравление и благословение от служивших в тот день архиереев, целовала им руки и сама жаловала священников к руке. Затем императрица выходила из церкви в большую приемную залу, где ее встречали иностранные министры. Впереди государыни выступали шесть пар камер-юнкеров и камергеров. Сразу за ней — обер-камергер и шталмейстер, вслед за ними статс-дамы и фрейлины.

У дверей тронной залы стояли на часах кавалергарды. Те, кому по рангу разрешалось присутствовать на аудиенции, смело проходили мимо них, это называлось «иметь вход за кавалергардов» и считалось высокой привилегией. В зале императрица не садилась на трон, а останавливалась на четыре шага перед собрав-

шимися, отвешивала им три поклона, протягивала руку для поцелуя и первая начинала разговор с теми, кто ее интересовал. Обращаться к императрице самому было невежливо.

Анонимный немецкий путешественник, посетивший Россию в 1781 году, описал выход императрицы Екатерины: «Около половины двенадцатого мы приехали во дворец. Бесчисленные великолепные экипажи стояли уже длинными рядами перед дворцом, другие еще только подъезжали к нему. Державшие караул гвардейцы не опросили меня, кто я такой, так как мой товарищ был сам гвардейским офицером. Мы прошли мимо караульных и у входа, и у лестницы, как внизу, так и на верху...

Двери открылись перед нами, и о Боже! Среди какого несметного множества орденских лент, звезд, разнообразных мундиров увидели мы себя. Тут были люди почти от всех народов Европы и от различных азиатских, как казаки, калмыки, крымцы, один перс и др. Собственно русские превосходили всех мужественной красотой и ростом. Я вообще заметил здесь, в обществе, преобладание красивых мужчин над женщинами; но это замечание не относится к провинции... Большинство иностранцев очень проигрывало перед этими красивыми и рослыми русскими.

Здесь в зале были все иностранные посланники... Эти персоны вращались один около другого. Это непрестанное расхаживание, приветствия, господствующее желание быть представленным, придворные разговоры — все это усиливало несмолкаемый шум в зале. Вдруг отворились двери, возвестили о приближении государыни, и тотчас все посланники и другие знатные персоны образовали проход, встав по обеим сторонам...

Водворилась торжественная тишина. Казалось, никто не смел громко дышать. Так умолкали прочие боги, по словам Гомера в Илиаде, когда приближался Зевс. Впереди всех показался гофмаршал; за ним попарно камергеры, министры всех ведомств и прочие придворные. За ними шел князь Потемкин с жезлом, как генерал-адъютант императрицы; он шел один. Непо-

средственно за ним следовала та, которая, кроме своего собственного государства, тысячи существ возбуждает от тихого покоя, по одному своему усмотрению, и в Константинополе, и в Испании, и дарует мир нашему отечеству; та, флаги которой развеваются в Черном, Каспийском и Средиземном морях, так же как в Балтийском и Белом; та, которая достигла того, что бесчисленное множество людей может теперь с меньшим страхом и дрожью петь молебные слова: “Сохрани нас от меча турецкого”.

Екатерина II среднего, скорее большего, чем маленького роста; она только кажется невысокою, когда сравниваешь ее с окружающими ее русскими людьми. Она немного полна грудью и телом; у нее большие голубые глаза, высокий лоб и несколько удлинённый подбородок. Так как ей теперь 52 года, то и нельзя ожидать юношеской красоты. Но она всего менее некрасива; напротив, в чертах ее лица еще много признаков ее прежней красоты и в общем видны знаки ее телесной прелести. Ее щеки, благодаря краске, ярко румяны. В ее взгляде столько же достоинства и величия, сколько милости и снисхождения.

...Как только императрица вступила в комнату, она остановилась и несколько раз милостиво поклонилась многочисленным присутствующим... Затем подходили один за другим с двух рядов и целовали ей руку... Пока это целование руки происходило... она разговаривала по-французски с графом Кобенцелем. Так как я стоял близко за ним, то мог ясно понимать. Я любовался ее снисхождением, или если хотите, ее вежливостью, ибо она исключительно говорила о его делах, о его семье и о его родственниках...

Непосредственно за монархиней следовал ее камергер г-н фон-Ланской, или, как его все здесь зовут, фаворит, быть может, красивейший мужчина, какого я в жизни видел... За ним следовало в парадном шествии до 16 или 20 придворных дам и фрейлин... Принесли прохладительное в виде ликеров, вина и печений, которыми насладились не только дамы, но и разные господа, разговаривавшие некоторое время между собою»<sup>80</sup>.

## *Императорский стол*

Наконец наша героиня могла отобедать. А вместе с ней и особо приближенные лица. Камер-фурьерский церемониальный журнал различал «большой» и «малый» столы государыни. «Большой» — собиравался по воскресным и праздничным дням в «столовой комнате». В нем участвовало от 20 до 60 приглашенных. «Малый» — накрывался для узкого круга от двух до десяти человек в «эрмитажной» или «зеркальной» комнате, а с конца 80-х годов — в «бриллиантовой». Большие обеды никогда не устраивались во время постов, в такие дни императрица садилась за стол уединенно и права разделить с ней трапезу удостоивались только самые близкие люди. С годами их круг менялся.

В первой половине царствования это были братья Григорий и Алексей Орловы, гетман К. Г. Разумовский, Е. А. Чертков, Л. А. Нарышкин, А. С. Строганов, иногда Н. И. Панин, графиня П. А. Брюс. С середины 70-х годов к ним прибавился Г. А. Потемкин, затем П. В. Завадовский. Вообще появление за «малым» столом служило важной ступенью в выдвижении каждого следующего фаворита.

Этот процесс наглядно можно показать на примере Потемкина. Его роман с императрицей начался зимой 1774 года. 3 марта он впервые обедал с государыней во внутренних покоях в компании еще трех человек. В течение марта вместе с Григорием Александровичем к столу приглашались только С. М. Козьмин, А. И. Черкасов, А. С. Васильчиков (бывший фаворит) и иногда И. П. Елагин. Причем Потемкин указывался в камер-фурьерском журнале первым из названных лиц. Во время больших обедов фамилия выдвиженца императрицы могла затеряться среди 15—20 предстоящих ему персон. Теперь же его имя следовало за именем Екатерины, чем нарочито акцентировалось внимание публики на новом любимце.

28 июня 1774 года, в годовщину вступления императрицы на престол, впервые упомянуто, что «господа чужестранные министры имели стол у Потемкина». 30 октября государыня уже без стеснения обедала с

возлюбленным наедине во внутренних покоях, а 3 ноября Григорий Александрович сам принимал Екатерину и восемь ее гостей в своих апартаментах, где был устроен «малый» стол. К этому времени его положение было уже прочным, и придворных не удивляла трапеза, устроенная почти по-семейному. С лета церемониальный журнал параллельно со столом государыни перечислял и лиц, приглашенных к Потемкину<sup>81</sup>.

С 1783 года важное место за «малым» столом заняла Е. Р. Дашкова, вернувшаяся из длительного заграничного путешествия. В «Записках» княгиня приводила слова Екатерины о том, что «мой куверт всегда будет накрыт за этим столом и что императрица всегда будет очень рада видеть меня за обедом»<sup>82</sup>. В последующие годы старая подруга государыни в списке приглашенных обычно упоминалась первой из дам.

В конце царствования за императорским столом произошли изменения. По словам Грибовского, последний фаворит П. А. Зубов «всегда без приглашения с государынею кушал». «В будние дни, — вспоминал секретарь, — обыкновенно приглашаемы были камерфрейлина Протасова и графиня Браницкая, а из мужчин дежурный генерал-адъютант П. Б. Пассек, Л. А. Нарышкин, граф Строганов, два эмигранта французские: добрый граф Эстергази и черный маркиз Делаамберт; иногда вице-адмирал Рибас, генерал-губернатор польских губерний Тутолмин, и наконец гоф-маршал князь Барятинский. В праздничные же дни, сверх сих, были званы еще и другие из военных и статских чинов в Санкт-Петербурге»<sup>83</sup>.

Существовал порядок, согласно которому в списке перечисленных за императорским столом сначала указывались члены царской семьи, затем дамы и после них кавалеры. Уже сложилась традиция отмечать предназначенное каждому место бумажной карточкой с его фамилией. В письме к госпоже Бьельке от 24 августа 1772 года Екатерина рассказывала, что великий князь Павел «за столом иногда подменивает записки, чтобы сидеть со мной рядом»<sup>84</sup>. Поведение Павла — не шалость. Таким образом он старался подчеркнуть свое положение наследника.

Давно ушли в прошлое тяжеловесные многочасовые обеды времен Елизаветы Петровны. Трапеза Екатерины продолжалась не более часа и то, если за столом завязывалась интересная беседа. Мемуаристы отмечали, воздержанность императрицы в еде. Утренний кофе без сахара заменял ей завтрак. За обедом она отведывала немного от трех-четырёх блюд, выпивала одну рюмку рейнвейна или венгерского и никогда не ужинала. Перед сном пила стакан теплой воды. Вероятно, чувствуя склонность к полноте, Екатерина старалась себя ограничить. Этому мешала задержка вод в организме, отчего под старость у государыни начали отекать ноги. Ее любимыми кушаньями были вареная говядина с солеными огурцами и смородиновое желе, иногда разведенное водой и превращенное таким образом в питье.

Праздничное застолье в Зимнем дворце в 1795 году описала Виже-Лебрён: «Войдя в залу, я увидела всех приглашенных дам стоящими возле уже сервированного стола. Через несколько минут растворились большие двустворчатые двери и появилась императрица. Я уже говорила, что она не отличалась большим ростом, и тем не менее по торжественным дням ее высоко поднятая голова, орлиный взор, уверенность в себе, которая дается долгой привычкой повелевать, — все сие придавало ей такую величественность, что она показалась мне истинной царицей мира. Простой и благородный ее костюм состоял из муслиновой туники, перехваченной алмазным поясом. Поверх был надет доломан (длинный турецкий полукафтан. — *О. Е.*) из красного бархата.

Как только Ее Величество заняла свое место, все дамы расселись у стола, положив, как принято, салфетки на колени, а императрица пришила свою двумя булавками, как это делают детям. Заметив, что дамы не притрагиваются к кушаньям, она сказала: “Сударыни, уж если вы не желаете следовать моему примеру, сделайте по крайней мере хотя бы вид. Я всегда прикалываю себе салфетку, иначе не сумею, не раскрошив, съесть даже яйцо”. Как я заметила, обедала она с отменнейшим аппетитом. Прекрасная музыка все время сопровождала нашу трапезу. Оркестранты помещались

в конце залы на широком возвышении... Я предпочитаю музыку любой беседе, хотя аббат Делиль и говорил, что «сплетни улучшают пищеварение»<sup>85</sup>.

Последние были изгнаны из застольных разговоров императрицы. Возможно, наедине с близкой подругой, например графиней П. А. Брюс или с той же М. С. Перекусихиной, Екатерина была не прочь обсудить последние новости двора, послушать, о чем шепчутся кумушки, и сделать свои выводы из их болтовни. Однако на публике и даже в узком кругу приятных гостей она никогда не позволяла себе опускаться до сплетен. За столом царила непринужденная обстановка, которую ценила императрица. «Хотя мы не понимали языка, на котором говорили, беседа шла, по-видимому, так свободно и весело, как можно было ожидать от лиц, равных между собою, а не от подданных, удостоенных чести быть в обществе их государыни»<sup>86</sup>, — вспоминал английский врач Томас Димсдейл.

Как и у Елизаветы Петровны, у Екатерины II имелись «запретные» темы, но их список был несравненно уже. «Невозможно было никогда говорить перед нею худо ни о Петре I, ни о Людовике XIV. Также ни малейшего неприличного слова вымолвить о вере и нравственности... Если она шутила, то всегда в присутствии того, к кому шутка относилась», зато обожала подтрунить «над врачами, академиями... и над ложными знатоками»<sup>87</sup>.

Случалось, Екатерина устраивала «большой стол» не у себя во дворце, а у Потемкина, куда приглашались ее гости. Сегюр вспоминал случай, когда императрица позвала его отобедать с нею в новом доме князя: «В этом дворце была такая длинная галерея с колоннадою, что стол на пятьдесят приборов, накрытый в одном конце, был едва заметен для входящих с другого конца. За нею находился зимний сад, такой обширный, что посредине была построена беседка, где могли свободно поместиться пятьдесят человек... Здесь князь дал нам самый необыкновенный концерт. Это был хор роговой музыки, в котором каждый трубач мог брать только одну ноту. Несмотря на это, они легко и отчетливо исполняли самые трудные пьесы»<sup>88</sup>.



## *«Мешать дело с бездельем»*

После обеда гости разъезжались, а императрица вновь принималась за дела. Правда, под старость у нее появилась привычка иногда почивать, но это случалось только в летнее время. Зимой Екатерина чувствовала себя бодрее. Если утром она в основном писала, то вторая половина дня была отдана чтению. Статс-секретарю А. В. Храповицкому государыня говорила, что любит работать, по русской пословице, «мешая дело с бездельем». Поражает, как без видимого напряжения и внешней лихорадки ей удалось оставить такое объемное наследие в области законодательства, исторических сочинений, журналистики, литературных, мемуарных и эпистолярных произведений.

Дважды в неделю приходила иностранная почта: не только корреспонденция, но и европейские газеты, которые Екатерина слушала с особым вниманием. Поскольку о России писали много, не всегда доброжелательно и часто с ошибками, то императрица сама распоряжалась относительно того, на какую статью следует поместить опровержение.

Так, 4 октября 1772 года она писала московскому почт-директору Эку о необходимости направить издателю «Рейнских ведомостей» следующий текст: «Не угодно ли Вам будет, государь мой, исправить ошибку Вашего товарища иезуита, кельнского газетчика. Он извещает, что граф Орлов по возвращении из Фокшан получил повеление выдержать в своей деревне карантин. Сие справедливо. Ваш сотоварищ прибавил к сему, что за этим первым повелением последовало другое, в силу которого должен он всю жизнь провести в своих деревнях. Сие ложь»<sup>89</sup>. Поскольку речь идет об отставке Г. Г. Орлова с поста фаворита, то ситуация, затронутая иезуитом, была весьма щекотлива. Екатерину оскорбило, что газетчик описывал «помянутого графа с надутым красноречием, приобщая непотребные обстоятельства». Для опровержения императрица по пунктам перечислила заслуги Орлова и те щедрые пожалования, которых он был удостоен, покидая службу.

Понятно, что к разбору почты Екатерина привлекала наиболее доверенных лиц. В первой половине царствования постоянным чтецом государыни был Иван Иванович Бецкой, президент Академии художеств, управляющий Сухопутным шляхетским корпусом, главный попечитель Воспитательного общества благородных девиц. С ним императрица осуществляла образовательную реформу, задуманную в просвещенческом ключе «создания новой породы людей»<sup>90</sup>.

Причину дружеского расположения государыни к молодому, вспыльчивому и порой заносчивому человеку придворные сплетники искали якобы в «тайне» происхождения самой Екатерины. В годы своей жизни при Голштинском дворе и в Париже Бецкой был близок с принцессой Иоганной Елизаветой Ангальт-Цербстской — матерью будущей императрицы, поэтому именно его за глаза называли настоящим отцом Екатерины. Та никогда гласно не опровергала подобных слухов, поскольку они протягивали живую, кровную нить между ней и Россией.

Бецкой вечно возился с подкидышами, устраивая их в воспитательные дома, и получил от Екатерины шутовское прозвище «детский магазин». Под старость Иван Иванович почти ослеп и не мог выезжать ко двору. В роли чтеца его заменяли разные лица — А. А. Безбородко, П. В. Завадовский, А. М. Дмитриев-Мамонов, В. С. Попов, А. И. Морков, а в последние годы П. А. Зубов.

Иногда во время послеобеденного чтения, если не было срочных дел, императрица позволяла себе послушать беллетристику. Из постоянных разговоров о литературе де Линь составил представление о ее вкусах: «Она очень была разборчива в своем чтении, — писал принц, — не любила ничего ни грустного, ни слишком нежного, ни утонченностей ума и чувств. Любила романы Лесажа, сочинения Мольера и Корнеля. “Расин не мой автор, — говорила она, — исключая ‘Митридата’”. Некогда Рабле и Скарон ее забавляли, но после она не могла об них вспоминать. Любила Плутарха, Тацита и Монтеня. “Я северная Галла, — говорила она мне, — разумею только старинный французский язык, а нового не понимаю. Я хотела поучиться

от ваших умных господ, некоторых пригласила к себе, к другим писала. Они навели на меня скуку и не поняли меня, кроме одного только доброго моего покровителя Вольтера. Это он ввел меня в моду и многому научил, забавляя". Императрица не любила и не знала новой литературы, и имела более логики, чем риторики»<sup>91</sup>.

Итак, вкус Екатерины тяготел не столько к новым политическим писателям, в чем ее часто обвиняли отечественные консерваторы вроде князя Щербатова<sup>92</sup>, сколько к классике. Такие пристрастия нетрудно объяснить простыми житейскими обстоятельствами. В молодости при дворе Елизаветы наша героиня жила замкнуто и, чтобы не скучать, много читала модные тогда книги. Взойдя на престол, она отдавала почти все время работе, круг ее чтения изменился, в нем стали преобладать деловые бумаги и переписка. Она перестала следить за развитием литературы с прежним вниманием и лишь иногда выхватывала то, что ее особенно интересовало. Это далеко не всегда бывали современные авторы.

Так, во второй половине 80-х годов Екатерина увлеклась Шекспиром. Она познакомилась с ним, благодаря Вольтеру, в немецких переводах Эшенбурга. В отличие от своего «учителя», который находил Шекспира слишком грубым, императрица сумела оценить сценические достижения, которые предоставляли его пьесы<sup>93</sup>. В России Шекспир появлялся в переводах Сумарокова, сильно переписанных под каноны классицизма. Однако Екатерину захватили как раз те особенности шекспировских текстов, которые Сумароков тщательно вымарывал. Она первой из русских писателей поняла, какие возможности в изображении человека дает «варварский» стиль Шекспира. Для Эрмитажного театра ею был создан цикл «хроник» — «Историческое представление из жизни Рюрика», «Начальное управление Олега» и незавершенная пьеса «Игорь». Все они имели характерный подзаголовок: «Подражание Шекспиру без сохранения феатральных обыкновенных правил». Любопытно, что через полвека по этому же пути пойдет

А. С. Пушкин в «Борисе Годунове». Что же касается французской литературы, то вкусы Екатерины так и остались в 50-х годах XVIII века с кумирами ее молодости.

Пока императрице читали вслух, она занималась «ручной работой»: вышивала, вязала или шила по канве. «Я вяжу теперь одеяло для моего друга Томаса, — писала Екатерина 3 августа 1774 года Гримму, — которое генерал Потемкин собирает у него украсть»<sup>94</sup>. Помимо покрывала для собачки, были и чулки и чепчики для внуков. Государыню не смущало то, что с иглой и пяльцами в руках она напоминает простую сельскую барыню. «Что мне делать? — говорила Екатерина. — Мадемуазель Кардель более меня ничему не выучила. Эта моя гофмейстерина была старосветская французка. Она не худо приготовила меня для замужества в нашем соседстве. Но, право, ни девица Кардель, ни я сама не ожидали всего этого».

Под «всеми этим» следует понимать управление империей. Конечно же Екатерина кокетничала и трунила над собой. Позднее императрица признавалась, что именно Элизабет Кардель пристрастила ее к чтению: «У Бабет было своеобразное средство усаживать меня за работу: она любила читать; по окончании моих уроков она, если была мною довольна, читала вслух; если нет, читала про себя; для меня было большим огорчением, когда она не делала мне чести допускать меня к своему чтению»<sup>95</sup>.

В «Записках» государыня отдавала должное уму и сердцу своей воспитательницы: «смею сказать, образцу добродетели и благоразумия... Было бы желательно, чтобы могли всегда найти подобную при всех детях». Полагаем, что, подыскивая достойную гофмейстерину для внучек, Екатерина держала перед глазами именно образ незабвенной «Бабет», научившей ее сочетать упражнения для ума с простой домашней работой. Такую даму государыня нашла в лице Шарлотты Карловны Ливен, небогатой лифляндской дворянки, отлично воспитавшей своих детей. Впоследствии у царской семьи не было случая раскаиваться в этом выборе.

## «Каменная лихорадка»

Однако всякому дамскому рукоделию Екатерина предпочитала слепки с камей. На этом многолетнем хобби следует остановиться подробнее, так как оно захватило не одну государыню, а, как водится, двор, свет и всех, кто мог себе позволить дорогое увлечение.

В детстве Екатерине очень хотелось заниматься живописью. Позднее она сожалела об упущенных возможностях: «Я охотно писала бы и рисовала; меня почти не научили рисовать за неимением учителя»<sup>96</sup>. В течение всего царствования императрица собирала разнообразные коллекции — книжные, живописные, минералогические. Но настоящей ее страстью стали «резные камни», что вполне соответствовало вкусу века.

Их принято было называть «антиками», вне зависимости от того, в какую историческую эпоху они создавались<sup>97</sup>. Коллекция Екатерины положила начало собиранию гемм русскими вельможами. В конце XVIII — первой половине XIX века это превратилось почти в повальное, как тогда говорили «записное», увлечение аристократии. Ныне Эрмитаж включает собрания Строгановых, Шуваловых, Нелидовых, Юсуповых, заложенные именно в екатерининское время.

Еще в начале царствования, в 1763 году, в Кунсткамере хранилось всего 150 камей и им не придавали серьезного значения. Императрица даже была разочарована, приобретя в 1779 году знаменитую камею «Персей и Андромеда», которая перед этим оказалась не по карману испанскому королю. «Каким, однако, хламом восхищаются порой знатоки!»<sup>98</sup> — писала Екатерина барону Гримму. Задетая за живое собственным непониманием предмета новой европейской мании, государыня занялась самообразованием. Вскоре она уже неплохо разбиралась в вопросе. В 80-е годы по ее заказу в Россию были доставлены 16 тысяч слепков с «резных камней», созданных на мануфактуре шотландца Д. Тас-си. Их сопровождали научные описания Р. Э. Распе, больше известного современному читателю, как автор «Приключений барона Мюнхгаузена». Археолог и собиратель, он составил объемный труд «Каталог всех евро-

пейских кабинетов гемм», с которым и познакомилась Екатерина<sup>99</sup>.

Страстными любителями «антиков» были два фаворита императрицы А. Д. Ланской и А. М. Дмитриев-Мамонов. Они во многом спровоцировали в ней азарт коллекционера. В 1782 году Екатерина, по рекомендации княгини Дашковой, купила собрание шотландского художника Д. Баэрса, 25 лет приобретающего в Риме произведения искусства. Камеи привозились из Англии, Франции и Италии. В 80-е — начале 90-х годов коллекция значительно пополнилась за счет французского собрания д'Эннери, английского — лорда А. Перси, венского — нумизмата И. Франца, хранителя Венского кабинета древностей. В 1787 году в Россию прибыло полторы тысячи гемм — так называемая коллекция Орлеанского дома, собиравшаяся несколькими поколениями принцев. После Французской революции множество «резных камней» хлынуло в Петербург из разоренных коллекций эмигрантов. Государыня охотно приобретала их, называя свою страсть «обжорством» или «каменной лихорадкой».

Ланской обратил внимание Екатерины на то, что камни Сибири и Урала могут быть использованы для резки современных гемм. В результате были созданы Кольвановская и Екатеринбургская императорские фабрики «каменного художества». Императрица собственноручно делала оттиски из папье-маше, ее невестка Мария Федоровна успешно обучилась резьбе, выполнив портреты свекрови и супруга. Известен портрет Екатерины, вырезанный Мамоновым. В медальном классе Академии художеств было открыто отделение «резьбы по крепким камням» — аквамарину, сапфиру, изумруду — им руководил немецкий мастер И. К. Эгер<sup>100</sup>. Золотая брошь его работы хранится сейчас в Алмазном фонде. В нее вставлен крупный изумруд 36 карат с резным портретом императрицы.

«Одному Богу известно, — писала Екатерина барону Гримму, — сколько радости дается общением со всем этим, какой в них заключен источник всяких познаний»<sup>101</sup>. В 1784 году она поручила дворцовому библиотекарю А. И. Лужкову составить описание коллекции.

Систематизация заняла десять лет. По завершении его труда императрица с удовлетворением сообщала корреспонденту: «Все расположено в систематическом порядке, начиная с египтян, и проходит затем через все мифологии и истории легендарные и не легендарные вплоть до наших дней»<sup>102</sup>. Через год не без хвастовства она добавляла: «Все собрания Европы, по сравнению с нашим, представляют собой лишь детские затеи».

Для подобной самоуверенности у Екатерины были основания. Ее коллекция к 1795 году насчитывала 10 тысяч «антиков» и еще 34 тысячи слепков. Эту «бездну», как именовала ее императрица, пришлось перевезти в новое здание Эрмитажа. Под нее отвели пять шкафов-кабинетов красного дерева по сто ящиков каждый. В «Завещании» государыня отдавала свое собрание внуку Александру<sup>103</sup>. В связи с этим подарком современная московская исследовательница Е. Н. Гореликова-Голенко справедливо отмечала: «Если поверить, что человек в такие минуты думает о главном, мы можем оценить значимость для Екатерины ее камней и антиков»<sup>104</sup>.

Увлечение из Зимнего перекочевало во дворцы других вельмож. Одной из первых русских собирательниц была княгиня Дашкова. Во время длительного заграничного путешествия она информировала императрицу обо всех примечательных вещах, которые встретились ей по пути. Так, посетив ризницу Мадонны в Лоретто, княгиня описывала собранные там богатства: великолепные изумруды, присланные испанским монархом, драгоценные регалии шведской королевы Кристины, которые та пожертвовала Пресвятой Деве, отрекшись от престола и переехав в Италию.

Самой Дашковой принадлежал крупный опал королевы Кристины, который купил Н. И. Панин, будучи в молодые годы послом в Стокгольме, а затем подарил племяннице. По прошествии многих лет княгиня в знак дружбы передала камень Марте Вильмот<sup>105</sup>. Кристина Шведская — одна из первых августейших последовательниц просветительской философии, ранний вариант «мудреца на троне». Поэтому ее вещи — драгоценности, камеи, перстни — имели в глазах образованной дамы XVIII века особый смысл.

Как и Екатерина, Дашкова увлекалась собиранием гемм. В Риме она взяла для себя и своих детей несколько уроков гравирования и вечерами много занималась с резцом<sup>106</sup>. Став в Петербурге директором Академии наук, княгиня организовала общедоступные публичные лекции по основным отраслям знания. Важное место в программе занимала минералогия, которую читал профессор В. М. Севергин. Для наглядности Дашкова передала ему одну из личных коллекций минералов. Большим собранием «ископаемых минералов и раковин», найденных на Урале, владел старинный знакомец княгини — П. Г. Демидов, который даже подарил кое-что из раритетов Дени Дидро во время его приезда в Москву в 1773 году<sup>107</sup>.

### *Прогулки*

Мы уже говорили, что, изучая день Екатерины, не стоит ограничиваться «Записками» Грибовского. Он познакомился с императрицей за четыре года до ее смерти и, естественно, рассказывал о быте пожилой женщины. В частности, из воспоминаний секретаря бесследно исчезают прогулки. А ведь государыня была завзятым пешеходом и искусной наездницей.

«Нет человека подвижнее меня в этой местности, — писала она 25 июня 1772 года из Царского Села в Париж госпоже Бьельке. — Я была проворна, как птица, то пешком, то на лошади; я хожу по десяти верст как ни в чем не бывало. Не значит ли это испугать самого храброго лондонского ходока?»<sup>108</sup>

В 1775 году в письме барону Гримму Екатерина рассказывала, как восемь лет назад впервые увидела село Черные Грязи, будущее Царицыно: «Однажды, устав бродить по долинам и лугам Коломенского, я отправилась на большую дорогу... Эта дорога привела меня к громадному пруду, связанному с другим, еще огромнейшим: но второй пруд, богатый прелестнейшими видами, не принадлежал ее величеству (покойной Елизавете Петровне. — *О. Е.*), а некоему князю Кантемиру, ее соседу. Второй пруд соединялся с третьим прудом, ко-



торый образовал бесчисленное множество заливов. И вот гулявшие, проходя из пруда к пруду то пешком, то в карете, очутились за семь длинных верст от Коломенского, высматривая имение своего соседа»<sup>109</sup>.

Как видим, Екатерину не пугали расстояния. Верховой езде она выучилась в России, на родине это считали не вполне пристойным. В юности София посетила с родителями Варель, где познакомилась с графиней Бентинк, веселой 30-летней красавицей, ездившей верхом по-мужски, хохотавшей и певшей, когда захочется, а оставшись с девочкой вдвоем, пустившейся отплясывать штирийский танец. Этот образ пленил воображение юной Софии, и через несколько лет она рискнула сама усесться в седло. Екатерина сделала быстрые успехи, которые с удовольствием описывала в мемуарах. Она полюбила долгие прогулки с ружьем в окрестностях Царского и Ораниенбаума.

«В Троицын день императрица приказала мне пригласить супругу саксонского посла г-жу д'Арним поехать со мной верхом в Екатерингоф, — вспоминала Екатерина. — Эта женщина хвасталась, что любит ездить верхом и справляется с этим отлично... Арним пришла ко мне около пяти часов пополудни, одетая с головы до ног в мужской костюм из красного сукна, обшитого золотым галуном. Она не знала, куда деть шляпу и руки. Так как я знала, что императрица не любит, чтобы я ездила верхом по-мужски, то я велела приготовить себе английское дамское седло и надела английскую амазонку из очень дорогой материи, голубой с серебром, черная шапочка моя была окружена шнурком из бриллиантов... Так как я была тогда очень ловка и очень проворна к верховой езде, то, как только подошла к лошади, так на нее и вскочила; юбку, которая была у меня разрезана, я спустила по бокам лошади. Императрица, видя, с каким проворством и ловкостью я вскочила на лошадь, изумилась и сказала, что нельзя быть лучше меня на лошади; она спросила, на каком я седле, и, узнав, что на дамском, сказала: "Можно поклясться, что она на мужском седле". Когда очередь дошла до Арним, она не блеснула ловкостью... Ей понадобилась лесенка, чтобы влезть. Наконец, с помощью

нескольких лиц она уселась на свою клячу, которая пошла неровной рысью, так что порядком трясла даму, которая не была тверда ни в седле, ни в стремянах и которая держалась рукой за луку. Мне говорили, что императрица очень смеялась»<sup>110</sup>.

И через много лет Екатерина оставалась весьма пристрастна к победам своей юности, маленьким шалостям и обманам. Например, она придумала седло, которое сочетало конструкцию дамского и мужского. Со двора великая княгиня выезжала боком, а оставшись только в обществе своих берейторов, перекидывала ногу и скакала по-мужски. Ей нравились опасные затеи, охота и дальние поездки. Возможно, неумеренным лихачеством и неженской храбростью молодая Екатерина компенсировала то приниженное положение, которое занимала в семье и при дворе Елизаветы Петровны — презрение и грубость мужа, издевательства и мелочные придирки свекрови. В этом смысле верховая езда и стрельба из ружья как никакое другое средство позволяли женщине самоутвердиться. Понятно самолюбование, с которым Екатерина вспоминала свои успехи.

До 80-х годов императрица все еще охотно ездила верхом, особенно на даче, о чем свидетельствуют ее переписка и камер-фурьерский журнал. Царская конюшня насчитывала около 1200 лошадей. Любимым жеребцом государыни был Бриллиант, «бурый, в мелкой гречке, варварийской породы». Он и другой жеребец — Каприз — позировали скульптору Фальконе, когда тот работал над фигурой «Медного всадника». По приказу Екатерины опытный берейтор Афанасий Тележников на полном скаку взлетал на помост и на мгновение удерживал коня, подняв на дыбы, а скульптор тем временем делал наброски<sup>111</sup>.

Дачное катание императрица закрывала своеобразным праздником для всех, служивших на ее конюшнях. По возвращении в столицу из загородных резиденций, обычно 18 августа, она посылала офицерам по бутылке шампанского, обер-офицерам — красного вина, а простым конюхам — водку, пиво и мед. В этот день было запрещено брать лошадей из императорской конюшни и

вообще беспокоить ее штат, словно потрудившийся летом при перевозке двора.

С холодами начиналась более скучная жизнь. Есть свидетельство о том, что в Петербурге императрица выезжала неохотно — раза три-четыре за зиму. Как-то у нее разболелась голова и ей посоветовали прогуляться в санях по морозному воздуху. Хворь как рукой сняло. Но на следующий день Екатерина отказалась от проверенного средства со словами: «Что скажет народ, когда увидит меня на улице два дня с рядом?»<sup>112</sup> Такой отзыв легко объяснить — стоило карете с государыней выехать в город, как за ней увязывались целые толпы зевак. Екатерина этого не любила. Когда в 1787 году она отправлялась в Крым, фаворит А. М. Дмитриев-Мамонов обратил ее внимание на скопление народа, провожавшего царский поезд. «И медведя кучами смотреть собираются»<sup>113</sup>, — с легким раздражением ответила императрица.

Впрочем, иногда в погожий зимний денек или на Масленицу Екатерина баловала придворных широким катаньем. Закладывалось трое больших саней по десять—двенадцать лошадей в каждые, сзади к ним цеплялись сани поменьше, и множество народу отправлялось в царском поезде за город к Чесменскому дворцу, где граф Алексей Григорьевич Орлов давал государыне и гостям обед. Затем гуляющие устремлялись проселочными дорогами к Неве. У казенной Горбылевской дачи были устроены высокие ледяные горы, с которых приехавшие катались на салазках, а императрица смотрела на них из теплого павильона на берегу реки. Вечером, накатавшись, насмеявшись и набарахтавшись в снегу, придворные «тем же поездом» ехали в Таврический дворец князя Потемкина, там ужинали и возвращались домой уже при свете факелов и осмоленных бочек. Перед санями императрицы скакал отряд лейбгусар, такой же эскорт замыкал процессию.

В те времена в России еще не привилась привычка ежедневной пешей прогулки в любую погоду. Путешествовать на своих двоих считалось уделом простолюдинов. Человеку благородного происхождения пристало разъезжать верхом или в карете. Рассказывая о

жизни в Москве у княгини Дашковой, Кэтрин Вильмот писала: «Мы с Матти каждый день гуляем по глубокому снегу неподалеку от дома, чем немало развлекаем русских, которые буквально никогда не ходят пешком». Речь, конечно, о дворянах. Но и крестьяне предпочитали выходить зимой только по делам. В имении княгини Троицком желание сестер-ирландок гулять по заваленным сугробами дорожкам парка воспринималось дворней как странная затея. «Всякого, кто не имеет привычку сидеть взаперти, считают сумасшедшим, — жаловалась Кэтрин в письме Анне Четвуд. — Тем не менее каждый день я совершаю пешие прогулки перед завтраком и перед обедом»<sup>114</sup>.

Чтобы изменить отношение к такому гулянию, понадобилась мода. Традиция совершать променады, невзирая на капризы природы, пришла из Англии. Позднее она соединилась с культурой дендизма — ежедневной прогулкой лондонского денди — и так попала к нам в первой четверти XIX столетия. Петербургские щеголи испортили немало брюк, путешествуя по слякотным улицам столицы и подражая собратьям из туманного Альбиона.

Екатерина II была одной из первых любительниц пеших прогулок. Весной и осенью в погожие дни она позволяла себе размяться даже в Петербурге. Джаккомо Казанова, посетивший Россию в 1767 году, встретил государыню именно во время моциона в Летнем саду, где она запросто прохаживалась одновременно с другими посетителями: «Тут я увидел в середине аллеи приближавшуюся ко мне государыню, впереди граф Григорий Орлов, позади две дамы. По левую руку шел граф Панин, она беседовала с ним. Я двинулся в живую изгородь, дабы пропустить ее; поравнявшись, она, улыбаясь, спросила, пленился ли я красотой статуй...»<sup>115</sup> Казанова показался Екатерине приятным собеседником, и она еще несколько раз удостоила его разговора во время утренних прогулок. По словам итальянца, они происходили «спозаранку», когда в Летнем саду было еще мало народу.

Камер-фурьерский журнал показывает, что на прогулках Екатерину часто сопровождали ее придворные дамы: графиня П. А. Брюс, графиня А. С. Протасова,

А. Н. Нарышкина или камер-юнгфера М. С. Перекусихина. К последним годам царствования относится забавный случай. Как-то императрица и одна из ее пожилых подруг, мирно беседуя, сидели на лавочке в Царском Селе. Мимо прошли молодые офицеры, только что сменившиеся с дежурства, и даже не поприветствовали старушек. Спутница Екатерины окликнула невеж и устроила им разнос за непочтение к государыне. «Полно, не сердись, — остановила ее императрица. — Лет тридцать назад они бы так не поступили».

### *«Монастырки»*

Иногда после обеда Екатерина оставляла все дела и отправлялась навестить воспитанниц Смольного общества благородных девиц. С одной из них — Александрой Лёвшиной — она даже состояла в переписке. «Черномазая Лёвушка! Я хотела садиться в карету, когда получила твое приятное письмо, и намерена была ехать прямо в монастырь тебя увидеть, — сообщала государыня. — Но, извините, великий холод меня удержал... Когда большие морозы убавятся, я приеду на целое послеобеденное время присутствовать при всех ваших различных занятиях, ежели мои то позволят»<sup>116</sup>.

Со своей стороны императрица приглашала девушек к себе. Камер-фурьерский журнал запечатлел визиты смольнянок в загородные резиденции. Так, в мае 1776 года, во время траура по великой княгине Наталье Алексеевне, в Царском Селе регулярно бывали четыре воспитанницы Смольного — Александра Лёвшина, Глафира Алымова, Наталья Борщева и Екатерина Нелидова<sup>117</sup> — все будущие фрейлины. Видимо, в грустные дни после смерти невестки императрице приятно было провести некоторое время в окружении молодых лиц. Переписка с Лёвшиной показывает, что «монастырки» катались в Царское к своей августейшей «подруге» и зимой. Как сложилась столь необычная дружба? И каким целям служила?

Устав Воспитательного общества при Воскресенском Смольном монастыре был подписан императри-

цей 5 мая 1764 года. В этом закрытом учебном заведении в течение 12 лет должны были воспитываться девочки благородного происхождения, но туда же сразу стали принимать и дочерей солдат и матросов, а также петербургских мещан.

Через четыре года английский посланник в Петербурге лорд Чарльз Каскарт (Каткарт) писал, что И. И. Бецкой «имел любезность показать мне так называемый монастырь, где императрица воспитывает на собственный счет 250 девиц из знатных фамилий и 350 дочерей мещан и вольных крестьян. Принимают их в заведение в четырехлетнем возрасте, а выходят они девятнадцати лет.

Воспитанницы разделены на пять классов, из которых в каждом проводят по три года, изучая все науки, полезные для будущего состояния каждой из них. Я видел их спальни и присутствовал при их ужине. Ни что не может превзойти заботливости и успеха Бецкого и дам, занимающихся в этом заведении, которое еще находится в младенческом состоянии...

Полный недостаток средств к образованию, особенно между женщинами, и множество французов низкого происхождения, сумевших сделаться необходимыми во всех семействах, вот два обстоятельства, подавших императрице эту мысль, выполняемую под ее личным наблюдением и с величайшим усердием»<sup>118</sup>.

Программа Смольного была выдающейся для своего времени, по сложности и в наборе наук мало уступая Сухопутному корпусу, где получали образование предполагаемые мужья «монастырок». Девушки изучали Закон Божий, русский, французский, немецкий и итальянский языки, арифметику, физику, историю, географию, архитектуру, геральдику, рисование, танцы, музыку, рукоделие и даже токарное ремесло. Искусства преподавали учителя из Академии художеств.

Большое место было отведено сценическому мастерству, поскольку в Смольном существовал свой театр, где воспитанницы пели, танцевали, ставили трагедии и комические оперы. Недаром художник Д. Г. Левицкий, в 1772—1776 годах исполнявший по заказу Бецкого серию портретов смольнянок, изобразил большинство

девушек именно в сценических амплуа. Е. И. Нелидова, А. П. Лёвшина и Н. С. Борщева танцуют, Г. И. Алымова играет на арфе, Е. Н. Хрущева и Е. Н. Хованская исполняют роли в комической опере итальянского композитора Кампи «Капризы любви, или Нинетта при дворе».

Воспитанницы жили в Смольном двенадцать лет. Новый прием происходил каждые три года. Внутри весь курс обучения делился на четыре ступени или «возраста» с пребыванием в каждом по три года. Девушки разных «возрастов» носили платья определенного цвета. Самые маленькие — кофейные или коричневые, поэтому на внутреннем языке Смольного наивность или ребячливость называлась «кофейностью». Второй возраст — голубые, третий — серые и, наконец, старшие одевались в белое. Эти скромные на вид наряды шились из дорогих качественных тканей. Для повседневной носки употреблялся камлот — шерсть с примесью шелка английской выделки. Для праздников шелк<sup>119</sup>. В одном из писем Лёвшиной Екатерина просила: «Поздравьте от меня ваших кофейных кукол, приглубьте голубых обезьян, поцелуйте серых сестер и обнимите крепко белых резвухек, моих старых друзей»<sup>120</sup>.

Обычно забывается, что, создавая Воспитательное общество в Смольном монастыре, Екатерина имела перед глазами удачный пример подобного учебного заведения во Франции — знаменитый Сен-Сир, открытый во времена Людовика XIV. Королю подсказала создать его маркиза де Ментенон, дама просвещенная и религиозная одновременно. Внучка драматурга д'Обинье, вдова сатирика Скарона и воспитательница королевских детей от мадам Монтеспан, она стала последней любовью Людовика. Король даже заключил с ней тайный брак, причем почти с благословения супруги: умирая, Мария Терезия надела свое кольцо на палец доброй Франсуазы Скарон<sup>121</sup>.

Маркиза учредила пансион для бедных дворянских девушек, стремясь дать им приличное образование и подыскать подходящие партии. Она сама следила за программой, часто навещала воспитанниц, иногда вместе с королем. Считается, что выпускницы Сен-Си-

ра, выйдя замуж, внесли большой вклад в насаждение просвещенных нравов во французском обществе. Заметно, что Екатерина, опекая «монастырок» из Смольного, стремилась играть роль Ментенон и Людовика в одном лице. Она стала и августейшей покровительницей Воспитательного общества, и старшим, все понимающим другом девушек.

Одаренный педагог, императрица интуитивно почувствовала необходимость в таком друге. Находясь в стенах закрытого заведения, «пилигримки» были окружены, с одной стороны, сверстницами, равными и по положению, и по кругу знаний (вернее, незнания о внешнем мире), с другой — воспитательницами, с которыми доверительные отношения подчас были просто невозможны в силу субординации. Вне семьи отсутствовало важное звено — старший родственник-посредник, тетя или дядя, которые обычно и вводили племянников «в свет», разъясняли тонкости и условности «взрослой» жизни.

Литература Просвещения пестрит примерами, как такой родственник или мнимый друг только развращал подростков, открывая им неприглядные тайны светского общества<sup>122</sup>. (Достаточно вспомнить роль маркизы де Метрей из «Опасных связей» Лакло — холодной, расчетливой львицы, из ревности погубившей неопытную Сесиль Воланж.) Однако без старшего друга дело обстояло еще хуже — разрыв с семьей и традицией мог обернуться для «монастырок» полной беспомощностью по выходе из Смольного. Попытка компенсировать потерю и привела Екатерину собственной персоной в круг благородных девиц.

Смольнянки «с энтузиазмом говорили о посещениях Екатерины», нетерпеливо ждали ее. «Ах, Лёвушка! — восклицала императрица в одной записке. — ...Неужели ты каждый день отмериваешь двести двадцать одну ступеньку, чтобы издали взглянуть на мой дворец, который вы не любите за то, что он так далеко разлучен с вами?» Провожая государыню, воспитанницы плакали, что несколько смущало жизнерадостную Екатерину: «Вы горюете, когда не видите меня. Вы, напротив, очень веселы, когда видите меня. Увы! погода дождли-



вая. Путешествие в Москву печалит вас; слезы ручьем текут, и когда я видела вас в последний раз, следы их были заметны»<sup>123</sup>.

Девушки нетерпеливо дожидались возвращения императрицы из дальних поездок, но особенно они ждали того момента, когда закончится их обучение и самые выдающиеся будут приняты фрейлинами ко двору. Екатерина не забывала обнадеживать младших подруг на счет этой блистательной перспективы. «Ровно через три года я приеду и возьму вас из монастыря, — писала она Лёвшиной, — тогда кончатся и слезы, и вздохи. Назло себе вы увидите, что то же Царское Село, о котором вы так невыгодно отзываетесь, понравится вам... Тогда вы будете постоянно со мной и на свободе; подобно некоторым из наших придворных сорок, выучитесь тарантить».

Образ старшей подруги — женщины искушенной, светской, способной дать ответы на вопросы, волнующие молодую девушку — не редкость ни в быту, ни в литературе того времени. В юности Екатерина сама пережила обаяние подобной личности — графини Бентинк, вдовы графа Ольденбургского — и хорошо запомнила силу этого чувства и приемы, которые производят впечатление на юную, еще неопытную душу. Когда понадобилось, императрица смогла блестяще воспользоваться своим опытом в отношении «сестриц» из Смольного.

Государыне вовсе не хотелось, чтобы воспитанницы росли дикарками. Ей нравилось показывать их публике, когда они посещали резиденции или выступали на сцене. «Я хорошо помню, как однажды в Летнем дворце прыгали рои моих белых друзей, между тем как разноперые птички летали по стенам, вскружив головы всему городу»<sup>124</sup>, — шутила она с Лёвшиной. В Уставе Общества было записано: «Для большей привычки к честному обхождению, то есть чтобы придать девушкам приличную смелость в поведении, необходимо установить в сем обществе по праздничным и по воскресным дням собрания для приезжающих из города дам и кавалеров»<sup>125</sup>.

Поэтому торжества и спектакли в монастыре были открыты для благородных господ обоюго пола. Осо-

бенно пышно отмечалось окончание учебного года, которое было приурочено ко дню рождения императрицы 21 апреля. Тогда Смольный посещали высшие государственные сановники, иностранные послы и придворные во главе с Екатериной. В мае 1773 года для девиц старшего возраста специально была устроена прогулка в Летнем саду, чтобы показать их столичной общественности. Это событие отметили статьями «Санкт-Петербургские ведомости» и «Живописец» Н. И. Новикова, а А. П. Сумароков посвятил девушкам оду.

Екатерина даже была не против поддержать ухаживания придворных кавалеров за кем-нибудь из «монастырок». Коль скоро ей нравилась смуглая Лёвшина, то именно той и позволялось больше других. Покровительство императрицы исключало возможность недовольства со стороны начальницы Воспитательного общества француженки Софьи де Лафон. «Скажите от меня мадам Лафон, — писала государыня, — что высокая девица в белом платье с носом попугая и темным лицом, та самая, что приветствовала меня при входе в монастырь целой батареей *ох* и *ах*... совершенно в моем вкусе». Такая близость и стала причиной, по которой Екатерина прочила Лёвушку в суженые Григорию Орлову, когда их собственный роман давно был в прошлом. «Серенада, которую вам задал князь Орлов, по моему мнению, не дурная мысль. Он любит дурачиться и очень расположен к вам, известной ему от колыбели. Он также любит отечество и ваш институт, устроенный на благо его. Он в особенности любит вас, и знаете ли за что? За то, что вас нельзя не любить»<sup>126</sup>.

В образованной среде грань между жизнью и литературой была очень тонка. Сюжетные ходы и типы характеров перекочевывали из светских гостиных на страницы книг и возвращались обратно. Нельзя не заметить сходства между стилистикой иностранной переписки Екатерины и эпистолярным романом Ш. де Лакло «Опасные связи», что легко объяснить влиянием, которое на обоих авторов оказали популярные тогда «Письма г-жи де Севиньи». Но еще больше сюжетное сходство между треугольниками: Екатерина, Орлов, Лёвшина и маркиза де Метрей, виконт де Вальмон, Се-

силь Воланж. Взрослая опытная дама подстрекает своего бывшего возлюбленного к ухаживанию за неопытной девочкой-институткой.

Другой вопрос, что Екатерина не строила планов погубить младшую подругу, Лёвшина была слишком жизнерадостна для жертвы, а Орлов хоть и годился на роль соблазнителя, но совершенно не отличался коварством. Роман был написан в 1782 году и никак не соотносился с мимолетной интрижкой в далекой России. Но участники треугольника — светская львица, ее отставной любовник и юная воспитанница монастыря — видимо, персонажи расхожие и, как оказалось, не чуждые Петербургу.

Альянс между Лёвшиной и Орловым не сложился. Александра Петровна окончила Смольный в 1776 году в первом выпуске, получив Большую золотую медаль и «знак отмены» — золотой вензель Екатерины II на белой шелковой ленте с двумя золотыми полосами, очень напоминавший фрейлинский шифр. Императрица не обманула ожидания «пилигримок». Пять лучших воспитанниц попали ко двору, но лишь «Черномазая Лёвушка» была назначена фрейлиной к самой Екатерине, остальные — в свиту великой княгини. За девушкой числилось всего 12 душ, но благодаря дружбе с государыней она сделала блестящую партию, выйдя через три года замуж за богача князя П. А. Черкасского. Их брак можно было бы назвать счастливым, если бы молодая не умерла всего двадцати четырех лет от роду<sup>127</sup>.

### *Эрмитажные собрания*

«Вечер» начинался при дворе, по современным меркам, рано — в шесть часов. Тогда к государыне собирались гости, вместе с которыми ей приятно было проводить время в беседе, карточной игре, загадывании шарад и иных нехитрых развлечениях. Иногда устраивались спектакли, балы и ужины для всех приглашенных. Пока великий князь Павел с супругой жили единым двором с императрицей, они посещали ее вечера и дважды в неделю приглашали придворных

к себе. Недаром фрейлина Варвара Николаевна Головина называла первую половину 80-х годов временем «гармонии».

В мемуарах она описала вечерний распорядок тех лет: «По воскресеньям в Эрмитаже устраивалось большое собрание, на которое допускался весь дипломатический корпус и особы первых двух классов. Государыня выходила в зал, где было собрано все общество, и вела беседу с окружающими. Затем все следовали за ней в театр. Ужин после этого никогда не подавался.

По понедельникам бывали ужин и бал у великого князя Павла Петровича. По вторникам я дежурила вместе с другой фрейлиной; мы почти весь вечер проводили в так называемой Бриллиантовой комнате... Императрица играла здесь в карты со своими старыми придворными, а две дежурные фрейлины сидели у стола и дежурные кавалеры занимали их разговорами.

В четверг бывало малое собрание в Эрмитаже, бал, спектакль и ужин. Иностранные министры в этот день не приглашались, но их допускали в воскресенье вечером, так же как и некоторых дам, пользовавшихся благосклонностью государыни. В пятницу я опять дежурила, а в субботу у наследника устраивался прелестный праздник, который начинался прямо со спектакля. Бал, всегда очень оживленный, продолжался до ужина, подававшегося в той же зале, где играли спектакль. Большой стол ставился посреди залы, а маленькие столы в ложах. Великий князь и его супруга ужинали на ходу, принимая своих гостей в высшей степени любезно. После ужина бал возобновлялся и заканчивался очень поздно. Гости разъезжались при свете факелов, что производило очаровательный и своеобразный эффект на ледяной поверхности красавицы Невы.

Это время было самым блестящим в жизни двора и столицы. Во всем была гармония. Великий князь Павел виделся с императрицей-матерью каждый день и утром, и вечером, и был допущен в совет императрицы. В столице жили знатнейшие фамилии. Ежедневно общество в тридцать-сорок человек собиралось у фельдмаршалов Голицына и Разумовского, у первого министра графа Панина, у которого часто бывал великий князь с

великой княгиней, у вице-канцлера Остермана. Можно было встретить множество иностранцев, явившихся лицезреть великую Екатерину. Дипломатический корпус состоял из людей очень любезных, и вообще общество производило самое благоприятное впечатление»<sup>128</sup>.

Есть сведения, что театральные постановки давались при дворе и чаще. В самом начале царствования увлечение сценическими действиями было так велико, что спектакли следовали через день: в понедельник — французская комедия, в среду — русская, в четверг — трагедия и опера. В последнем случае гости могли являться во дворец прямо в маскарадных костюмах и масках, чтобы потом ехать на бал к кому-нибудь из вельмож. Зато к концу жизни Екатерины вечерние развлечения стали куда тише. Спектакли давались один раз — в четверг. В остальные дни немногочисленные гости собирались в покоях государыни, чтобы перекинуться в карты, любимыми играми считались рокамболь и вист<sup>129</sup>.

Помимо больших собраний для всего двора были малые — для специально приглашенных друзей императрицы. На них сходилось самое тесное дружеское общество. В разные годы там бывали: Е. Р. Дашкова, П. А. Брюс, А. Н. Нарышкина, А. С. Протасова, А. С. Строганов, Е. В. Чертков, Г. А. Потемкин, принц Ш. де Линь, Л. Сегюр, Л. Кобенцель. Участники перечислялись в камер-фурьерских журналах. Первой из них часто называлась Дашкова, как старшая статс-дама: «Вечером во внутренние покои были приглашены статс-дама княгиня Катерина Романовна Дашкова и прочие знатные персоны»<sup>130</sup>.

Малые собрания выглядели настолько по-домашнему, что гостям позволялось брать с собой детей. Головина вспоминала, что, когда она маленькой впервые попала к императрице, ее особенно поразил механический стол. «Тарелки спускались по особому шнурку, прикрепленному к столу, а под тарелками лежала грифельная доска, на которой писали название того кушанья, которое желали получить. Затем дергали за шнурок, и через некоторое время тарелка возвращалась с

требуемым блюдом. Я была в восхищении от этой забавы и не переставала тянуть за шнурок»<sup>131</sup>.

Инструкция, собственноручно написанная императрицей, хорошо передает атмосферу на таких вечерах. Гости должны были забыть об этикете и чувствовать себя непринужденно. Любопытно, что правила поведения висели в рамке на стене, прикрытые занавесью, чтобы лишний раз не смущать собравшихся: «1. Оставить все чины вне дверей, равномерно как шляпы, а наипаче шпаги; 2. Местничество и спесь оставить тоже у дверей; 3. Быть веселым, однако ж ничего не портить, не ломать, не грызть; 4. Садиться, стоять, ходить, как заблагорассудится, не смотря ни на кого; 5. Говорить умеренно и не очень громко, дабы у прочих головы не заболели; 6. Спорить без сердца и горячности; 7. Не вздыхать и не зевать; 8. Во всяких затеях другим не препятствовать; 9. Кушать сладко и вкусно, а пить с умеренностью, дабы всякий мог найти свои ноги для выходу из дверей; 10. Сору из избы не выносить, а что войдет в одно ухо, то бы вышло в другое прежде, нежели выпить из дверей»<sup>132</sup>.

За несоблюдение правил полагалась шуточная кара. Если два свидетеля уличали нарушителя, то он должен был выпить стакан холодной воды и прочитать страницу из «Телемахиды» — эпической поэмы В. К. Тредиаковского, написанной старинным, исключительно трудным языком. Провинившийся «против трех статей» обязывался выучить шесть стихов из «Телемахиды» и продекламировать их собранию. Тот же, кто ухитрялся не соблюсти все десять пунктов, изгонялся навсегда.

Гости развлекались, как могли. Играли в шарады, вопросы и ответы, сочиняли шуточные истории. В те времена в моде было все китайское, поэтому мишенями для остроумия становились события при дворе некоего «Бамбукового короля». Каждая эпоха вырабатывает свою смеховую культуру, которая в наибольшей степени ориентирована на сиюминутные проблемы общества. Поэтому часто случается так, что «смешное» в понимании отцов не вызывает у детей даже улыбки — они просто не понимают, над чем потешались родители. И

даже сам стиль юмористических замечаний меняется от века к веку. В VIII главе «Евгения Онегина» Пушкин поместил портрет Ивана Ивановича Дмитриева, чьи остроты были очень популярны еще в 90-х годах XVIII столетия:

Тут был в душистых седилах  
Старик, по-старому шутивший:  
Отменно тонко и умно,  
Что нынче несколько смешно.

Очевидно, что хотел сказать автор: шутки Дмитриева отстали от времени и сделались так же забавны, как расшитый золотом кафтан среди модных фраков.

Благодаря школьным учебникам современный читатель худо-бедно догадывается, над чем иронизировал Д. И. Фонвизин в «Недоросле». Однако он вовсе не готов хохотать над каждой страницей. А публика того времени была от пьесы в таком неистовом восторге, что ломала стулья, не в силах иначе справиться со своими чувствами. Известен отзыв Потемкина: «Ну, Денис, теперь хоть всю жизнь пиши, ничего лучше не напишешь!» Едкие остроты из следующей комедии Фонвизина «Бригадир» абсолютно невнятны без специального комментария, именно потому что описывают нравы, незнакомые нашему современнику.

Шутки в кругу императрицы вряд ли способны нас сильно насмешить. Но они забавны, жизнерадостны и, очевидно, не имеют целью поиздеваться над присутствующими или отсутствующими. Именно такой юмор ценила Екатерина. Вспомним другую пушкинскую строку:

Под крупным градом светской соли  
Стал оживляться разговор.

Светской-то соли в забавах эрмитажного общества почти нет, хотя они содержат намеки на смешные стороны в характерах или деятельности участников собраний. Например, Потемкин в первые годы службы при дворе был из-за своего высокого роста довольно неуклюж, случалось, опрокидывал гостиную мебель, а

от смущения начинал кусать ногти. Именно ему адресован третий пункт правил: «ничего не портить, не ломать, не грызть». Как образчик екатерининского юмора, очень характерна записка императрицы: «О возможных причинах смерти придворных и ее самое»:

«...Графиня Румянцева умрет, тасуя карты...

Г-жа Зиновьева — от смеха...

Граф Панин — если когда-либо поторопится.

Козицкий — от искания славянских слов.

Стрекалов — от усиленного питья английского пива.

Елагин — от ссадины на барабанной перепонке, что причинит ему театральная гармония.

Спиридов — перед зеркалом.

Я умру от услужливости»<sup>133</sup>.

Список содержал и пикантный намек, впрочем, выраженный весьма пристойно: «Двое из общества умрут от удовольствия; не называю их имен: мужчины ли то, или женщины». Одним из неназванных лиц была, вероятно, графиня П. А. Брюс, чьи романы давали богатую пищу придворным сплетникам. Был в списке смертей и один мстительный укол в адрес человека, не входившего в круг друзей Екатерины: «Г-жа Полянская умрет от сожаления». Госпожой Полянской после замужества стала Елизавета Романовна Воронцова, бывшая фаворитка Петра III, ради которой он собирался развестись с законной супругой. Не случись переворот 1762 года, она могла рассчитывать на корону. Ей было о чем сожалеть.

Популярностью пользовался юмористический набросок Екатерины под названием «Леониана» — краткий конспект глав несуществующего романа-путешествия Л. А. Нарышкина в Турцию. Некоторые его фрагменты способны вызвать улыбку и сейчас. Например, причины поездки объяснены так: «Удовольствие, которое испытает его дорогая супруга, вновь увидев своего мужа после долгого отсутствия». Каждая из глав описывает какой-нибудь забавный эпизод: «Гл. 8. Самые верные слуги относят господина Леона в карету вслед за другими вещами. Гл. 9. Лошади понесли, закусив удила, и были счастливо остановлены столбом перед трактиром»<sup>134</sup>. Такие вот нехитрые шутки развлека-



ли честную компанию, однажды задавшуюся глубокомысленным вопросом, что же именно ее смешит.

Сохранились ответы гостей Екатерины: «Что меня смешит? Иногда это я сама»; «Муж мой часто смешит меня до слез»; «Меня смешит господин обер-штальмейстер (Нарышкин. — О. Е.)»; «Смешны ленивцы, потому что они по доброй воле скучают»; «Я смеюсь над людьми, которые смеются из угождения». Как видим, в приведенных заметках простосердечность соединена с нравоучительностью. Смех в XVIII веке воспринимался как лекарство от пороков: безделья, тщеславия, лести — и потому нес не только развлекательную, но и дидактическую функцию. Эта-то дидактика и кажется нам теперь тяжеловесной. Например, в ответе самой императрицы: «Я смеюсь над гордым человеком, потому что он как две капли воды похож на индийского петуха»<sup>135</sup> — нет, на наш взгляд, ничего остроумного. Но для своего времени такие ремарки были в порядке вещей и сыграли роль в назидании общественных добродетелей.

Собрание заканчивалось около десяти вечера. Сама императрица уходила к себе в начале десятого, а гости еще некоторое время оставались, заканчивали разговоры и чинно разъезжались. «В одиннадцатом часу она была уже в постели, и во всех чертогах царствовала глубокая тишина»<sup>136</sup>, — вспоминал Грибовский.

### *Тихий вечер с оргией*

Так проходили дни Екатерины, насыщенные и вместе с тем удивительно размеренные в своем течении. Она исключительно много успевала. Записки близко знавших ее лиц не содержат никаких следов рассеянности, погруженности императрицы в бесконечные чувственные удовольствия, той самой скандальности, которой переполнена бульварная литература о «Северной Мессалине».

Этот парадокс давно озадачивал исследователей. Рассматривая заметки статс-секретаря Храповицкого, А. Г. Брикнер, крупнейший биограф Екатерины II позапрошлого столетия, писал: «Общее впечатление, про-

изводимое личностью государыни при чтении и разборе дневника, нисколько не соответствует той характеристике, которая встречается в сочинениях историков-памфлетистов Массона, Гельбига, Сальдерна, Кастера. Она выигрывает в наших глазах; мы можем составить себе весьма благоприятное мнение не только об умственных, но также и о душевных качествах императрицы»<sup>137</sup>.

Брикнеру вторил польский писатель-эмигрант Казимир Валишевский, работавший в конце XIX века во Франции: «Те, кто представляет себе жизнь Екатерины вечной оргией, будут в большом затруднении указать хотя бы на один такой факт... Но дворцы Петербурга и Царского Села не скрывали ли укромных уголков, располагавших к менее похвальному времяпрепровождению? Мы этого не думаем по причинам, зависящим как от характера, так и от уклада частной жизни императрицы, скандальной внешнею, показною стороною, чересчур всегда откровенною... Фавориты, конечно, занимали большое место... в ее жизни, но в ней было место и для семейной женщины — тихой и кроткой, какою была Екатерина»<sup>138</sup>.

Тем не менее шлейф скандальных слухов тянулся за императрицей всю жизнь. Завсегдатая малых эрмитажных собраний с 1785 года граф Сегюр писал: «Кроме праздничных дней, обеды, балы и вечера были немногочисленны, но общество в них было не пестрое и хорошо выбранное; они не были похожи на пышные наши рауты, где царствует скука и беспорядок»<sup>139</sup>. Именно эти собрания французский памфлетист Ш. Массон называл «оргиями». Хотя само участие в них членов царской семьи, иностранных дипломатов и таких строгих блюстителей нравственности, как княгиня Дашкова, должно было бы послужить гарантией соблюдения приличий.

Массон писал о пожилой Екатерине буквально следующее: «Между тем ее похотливые желания еще не угасли, и она на глазах других возобновила те оргии и вакхические празднества, которые некогда справляла с братьями Орловыми. Валериан, один из братьев Зубова, младший и более сильный, чем Платон, и здоровяк

Петр Салтыков, их друг, были товарищами Платона и сменяли его на поприще, столь обширном и нелегком для исполнения. Вот с этими-то тремя развратниками Екатерина, старуха Екатерина проводила дни, в то время, когда ее армии били турок, сражались со шведами и опустошали несчастную Польшу, в то время, как ее народ вопиял о нищете и голоде и был угнетаем грабителями и тиранами.

Именно в эту пору вокруг нее сложилось небольшое интимное общество, в которое входили фавориты, придворные и самые надежные дамы. Этот кружок собирался два или три раза в неделю под названием малого эрмитажа. Сюда часто являлись в масках; здесь царствовала великая вольность в обхождении: танцевали, разыгрывали пословицы, сочиненные Екатериной, играли в салонные игры, в фанты и в колечко... Иностранные послы, пользовавшиеся благосклонностью государыни, бывали иногда допускаемы в малый эрмитаж: главным образом, Сегюр, Кобенцель, Стединг и Нассау удостаивались этого отличия. Но впоследствии Екатерина устроила другое собрание, еще более тесное и таинственное, которое называли маленьким обществом. Три фаворита, о которых мы говорили, Браницкая, Протасова, несколько доверенных горничных и лакеев были его немногочисленными участниками. Там-то и справляла Кибела Севера свои тайные мистерии»<sup>140</sup>.

Заметно, что Массон путается. Он никак не может провести грань между собственно эрмитажными вечерами и тайными мистериями. Сначала говорит о «самых надежных дамах», что уже предполагает интимность, а потом спохватывается, перечисляя иностранных министров. Ведь каждый из них мог с возмущением опровергнуть высказывания на свой счет. Чтобы вывернуться из логической неувязки, Массон придумывает некое «маленькое общество», еще более секретное. Наконец, именует все это «малым эрмитажем», забывая, что Малый Эрмитаж — здание, кстати, для оргий весьма неудобное в силу своего расположения и планировки. Это хранилище императорских художественных коллекций. Трудно вообразить «мистерии Ки-

белы» в проходных залах картинной галереи с многометровыми окнами.

Возмущенная памфлетом своего соотечественника, Виже-Лебрён писала: «Вечером Екатерина собирала самых приятных для нее особ двора, и они играли в прятки, жгуты и тому подобное. Княгиня Долгорукая часто рассказывала мне, с какой веселостью и добродушием императрица оживляла сии собрания, где бывали граф Штакельберг и граф Сегюр, коего она выделяла из всех прочих за его ум и любезное обхождение... Имена особ, приглашавшихся на сии малые приемы, равно как и присутствие там молодых великих князей и великих княгинь были несомненным ручательством благопристойности оных собраний. И все-таки в Санкт-Петербурге появился отвратительный пасквиль, обличавший Екатерину в самых омерзительных оргиях. Сочинитель сего гнусного листка был найден и изгнан из России. К стыду человечества он оказался французским эмигрантом и к тому же презрядного ума. Поначалу императрица сочувственно отнеслась к его несчастьям и назначила ему двенадцать тысяч рублей пенсии»<sup>141</sup>.

Карьера Шарля Массона в России весьма примечательна. В 1786 году он прибыл в Петербург и был принят на службу преподавателем в Артиллерийском и Инженерном корпусе. Начальник корпуса генерал П. И. Меллиссино рекомендовал его Н. И. Салтыкову, тогда вице-президенту Военной коллегии и воспитателю великих князей Александра и Константина. Массон понравился графу и вскоре стал его секретарем и воспитателем его сыновей. Позднее по протекции Салтыкова он был назначен учителем математики к великим князьям. Молодой честолюбец не смущался льстить власть имущим, в 1788 году он написал панегирик в честь внуков императрицы. Причем лесть его порой бывала очень утонченной. Через год он опубликовал «Памятный курс географии», написанный *александрийским* стихом. А в 1793 году перевел на французский язык нравоучительную поэму С. С. Джунковского «Александрова, увеселительный сад Е[е] И[мператорского] В[еличества] Б[абушки] и В[еликого] К[нязя] Александра Павловича». В 1795 году Массон удачно женился на богатой наслед-

нице баронессе Розен и стал секретарем Александра Павловича<sup>142</sup>.

Казалось, служба при дворе складывалась успешно. Однако все эти годы Массон собирал скандальные слухи и вел секретные записи, прекрасно понимая, что такого рода материал будет востребован читателем, если ему доведется вернуться на родину. Вероятно, сведения об этих записях просочились наружу и дошли до нового императора Павла I, ко временам которого и относился гневный отзыв Виже-Лебрён. Павел не благоволил к слугам своего сына, тем более к выдвиженцам Салтыкова, подозревая их в близких контактах с последним фаворитом Зубовым. Массон был выслан из России, и хотя при выезде он уничтожил большую часть архива, оставшегося вполне хватило для написания «Секретных записок о России».

Исследователи часто отмечали, что текст памфлета дышит желанием свести счеты с обидчиками, так не вовремя подрубившими блестяще начатую карьеру. Однако не только это побудило Массона писать о вчерашних покровителях так развязно. Выделиться на фоне мутного потока бульварной литературы, который выплеснулся в годы Французской революции и не схлынул при Директории, было сложно. Во времена террора Франция видела все, выпускались даже раскрашенные листки с изображениями казней, пыток, уличных грабежей, насилия над прохожими дамами — того, что стало парижской повседневностью<sup>143</sup>. Книжки давали ту же картину. Если автор хотел добиться успеха, он обязан был удивить пресыщенный описаниями разврата рынок. А кроме того, дать некий положительный элемент — где-то должно быть еще хуже, чем в революционной Франции. Поэтому в России не только царствует распутная императрица, но народ стонет под гнетом тиранов.

Однако, публикуя мемуары, Массон по-житейски просчитался. Они увидели свет в 1800 году, незадолго до гибели Павла. А когда разразился связанный с ними скандал, царствовал уже Александр, но после случившегося дорога в Петербург к прежнему покровителю для памфлетиста была закрыта.

В тексте Массон упоминал о сожженных страницах, но представлял дело так, будто уничтожил их из скромности, не в силах описывать скабрёзные истории из жизни Екатерины. При этом он конспективно дал понять, чему были посвящены утраченные места. «Подробности, которые можно поведать об этих забавах, принадлежат другой книге, куда более непристойной, чем эта, и автор должен был предать огню те записи, которые могли бы ему пригодиться для этой книги... Я мог бы также пополнить эту главу прозвищами, титулами и должностями каждого фаворита, но все это не стоит печатания и не заслуживает даже произнесения». Обернувшись в плащ защитника морали, памфлетист только прищиприл читательское воображение.

Текст Массона выглядит грязным даже на современный вкус, вовсе не отличающийся пуританской сдержанностью: «Развратниками можно назвать в особенности Валериана Зубова и Петра Салтыкова, которые вскоре предались всем возможным излишествам. Они похищали девушек на улицах, насиловали их, если находили их красивыми, а если нет, оставляли их слугам, которые должны были воспользоваться ими в их присутствии. Одним из увеселений младшего Зубова, который за несколько месяцев перед тем был скромным и застенчивым юношей, было платить молодым парням за то, чтобы они совершали в его присутствии грех Онана. Отсюда видно, как он воспользовался уроками старой Екатерины. Салтыков изнемог от этого образа жизни и умер, оплаканный теми, кто знал его еще до того, как он стал фаворитом».

Ради обличения императрицы Массон не пощадил племянника своего старого покровителя. Петр Иванович Салтыков не был фаворитом Екатерины и не умер в указанный автором срок. В 1803 году он стал одним из распорядителей Московской карусели и ее первым призером, а на карусели 1811 года — старшим церемониймейстером<sup>144</sup>.

Обычно публикаторы «Секретных записок» оправдывают издание осведомленностью автора, ведь он прожил восемь лет при дворе и знал «многие тайны». Но ложь Массона и его осведомленность отнюдь не

противоречат друг другу. Они лежат как бы в разных плоскостях. Перед ним не стояла цель создать правдивые мемуары. У памфлета иные задачи, иной круг потребителей и иные приемы в работе с фактами. Другую методичку, чем при исследовании воспоминаний, должны применять и ученые, используя данный источник. Это, к сожалению, не всегда понимается.

Например, заметно, что в описании жизни екатерининского двора очень много от тогдашней литературы. Недаром автор замечал, что «публика ничего не теряет» из-за сожжения ряда страниц: «На свете довольно похабных книг, и те, кто их читал, без труда поймут, что Екатерина была таким же философом, как и Тереза». Приведенный пассаж обращал читателя к непристойному роману маркиза д'Аржанса «Тереза-философ». Этот текст впервые вышел в 1749 году и выдержал во Франции еще пять изданий — так велика была потребность в бульварном чтении. Хотя «похабных книг» и без него хватало. Например, «Мемуары аббата де Шуази, переодетого женщиной», которые столь интересовали Вольтера<sup>145</sup>. Или «Исповедь графа де\*\*\*» Дюкло, признанный учебник соблазнения. Или «История галантных женщин» Брантома. Или, наконец, романы маркиза де Сада, распространявшиеся тайно и потому особенно желанные.

Да и в серьезной литературе намеков десадовского стиля не мало. Так, в знаменитой «Монахине» Дидро рассказано о том, как юная Сюзанна, отданная родителями в монастырь, оказывается в гнезде самого разнuzданного разврата. Вместе с партией проституток отправилась в Америку «непостижимая Манон» из романа аббата Прево «Кавалер де Гриё и Манон Леско». А «Исповедь» Руссо шокировала читателей своими сексуальными подробностями и описаниями детских пороков — именно из нее у Массона возникает образ юношей, занятых онанизмом.

Но не одна французская литература дала пищу воображению автора. Живя в Петербурге, Массон познакомился с ходившим в списках отечественным памфлетом князя М. М. Щербатова «О повреждении нравов в России» и кое-что позаимствовал у него. Так, Щерба-

тов, описывая жизнь времен маленького императора Петра II, особенно порицал его друга князя Ивана Алексеевича Долгорукого. «Пьянство, роскошь, любодеяние и насилие место прежнего порядка заступили. Ко стыду века того скажу, что взял он на блудодеяние, между прочими, жену князя Трубецкого... Но согласие женщины на любодеяние уже часть его удовольствия отнимало, и он иногда приезжающих женщин из почтения к матери его затаскивал к себе и насиловал. Окружающие его однородцы и другие молодые люди тому примеру подражали, и можно сказать, что честь женская не менее была в безопасности тогда в России, как от турков во взятом городе»<sup>146</sup>.

Естественно, во Франции никто Щербатова не читал, и можно было безнаказанно воспользоваться фрагментом его текста, перенеся события первой четверти XVIII века в дни Екатерины, и приписать бесчинства братьям Зубовым. Курьезно то, что последний фаворит императрицы Платон Александрович в реальности был редким ханжой и постоянно заботился о соблюдении приличий. Виже-Лебрён рассказывала случай с портретом внучек императрицы — Александры и Елены. Она нарисовала их в свободных греческих туниках, по моде того времени. Решив, что у девочек слишком открыты руки и шея, Зубов заявил художнице, будто «Ее Величество скандализована костюмами великих княжон»<sup>147</sup>. Пришлось переписать платья. Какова же была досада француженки, когда оказалось, что государыня не требовала ничего подобного. Напротив, она очень любила греческий стиль.

Однако подобные расхождения с действительностью были для книги Массона несущественны. Создатель воспоминаний ставит перед собой цель познакомить читателя с чем-то новым. Автор памфлета, напротив, чаще всего апеллирует к уже знакомому, утрируя и преувеличивая детали. Узнаваемость картины является как бы гарантией ее достоверности. Чтобы Массону поверили, образ Екатерины должен был помещаться в уже известные литературные стереотипы, а не выбиваться из них. Он тем легче прививался в сознании читателей, чем больше скользил по протоптан-



ной колее, укладываясь в рамки одного из расхожих персонажей — пожилой ненасытной развратницы — Мессалины наших дней.

Надо сказать, что французский потребитель печатной продукции был подготовлен именно к такому восприятию русской императрицы целой волной памфлетной литературы. Политическое противостояние порождало бульварные вымыслы самого злачного свойства. Они с охотой расхватывались как в королевской, так и в наполеоновской Франции. Именно по поводу таких книг принц де Линь разразился прочувствованной тирадой на другой день по получении известия о смерти Екатерины: «Я говорю то, чего при жизни императрицы никогда бы не сказал: солнце, освещавшее наше полушарие, навеки сокрылось... Искатели анекдотов, неверные собиратели исторических происшествий, мнимо беспристрастные, чтобы сказать острое словцо или достать денег, злонамеренные по своему ремеслу, захотят, может быть, умалить ее славу; но она над ними восторжествует. Любовь ее подданных, а в армии пламенный восторг ее воинов вспомнятся. Я видел сих последних в траншеях, пренебрегающих хулы неверных, и переносящих все жестокости стихий, утешенными и ободренными при одном имени *матушки*»<sup>148</sup>.

Французская неприязнь к России была настояна на горечи политических и военных неудач. Недаром Массон проговаривался о реальной причине неприязни к Екатерине: пока она развратничала, «ее армии били турок, сражались со шведами и опустошали несчастную Польшу» — сателлитов, которых Версаль не смог защитить от сильного противника. Бумажные поля создали простор для публицистического реванша. Сегюр вспоминал, как болезненно императрица воспринимала нападки на себя: «Кто постоянно счастлив и достиг славы, должен бы, кажется, сделаться равнодушным к голосу зависти и к злым, насмешливым выходкам, которыми мелкие люди действуют против знаменитостей. Но в этом отношении императрица походила на Вольтера. Малейшие насмешки оскорбляли ее самолюбие; как умная женщина она обыкновенно отвечала на них

улыбкою, но в этой улыбке была заметна некоторая принужденность. Она знала, что многие, особенно французы, считали Россию страной азиатской, бедной, погрязшей в невежестве, во мраке варварства; что они с намерением не отличали обновленную европеизированную Россию от азиатской и необразованной Московии»<sup>149</sup>.

Сегюр не раз подчеркивал, что причиной неприязни к Екатерине Версальского кабинета была наступательная внешняя политика России в отношении Турции. «Я часто бывал у императрицы в Царском Селе; она с жаром передавала мне ложные слухи, распускаемые в Европе о ее честолюбии, эпиграммы, на нее направленные, и забавные толки об упадке ее финансов и расстройстве ее здоровья. «Я не обвиняю ваш двор, — говорила она, — в распространении этих бредней; их выдумывает прусский король из ненависти ко мне, но вы иногда верите им. Ваши соотечественники, несмотря на мое расположение к миру, вечно приписывают мне честолюбивые замыслы, между тем, как я... возьмусь за оружие в том только случае, если меня к тому принудят»»<sup>150</sup>. Оба конфликта с Россией были начаты Турцией с подстрекательства Версаля. Екатерина действительно не бралась за оружие, пока ее к тому не принуждали.

«— Да, — говорила она иногда, смеясь, — вы не хотите, чтобы я выгнала из моего соседства ваших детей-турок. Нечего сказать, хороши ваши питомцы, они делают вам честь. Что, если бы вы имели в Пьемонте или Испании таких соседей, которые ежегодно заносили бы к вам чуму и голод, истребляли бы и забирали бы у вас в плен по 20 000 человек в год, а я взяла бы их под свое покровительство? Что бы вы тогда сказали? О, как бы вы стали тогда упрекать меня в варварстве!»<sup>151</sup>

Такова действительная цена рассказов о «мистериях Кибелы». Репутация императрицы во многом стала заложницей ее политики. Ничего скандального, кроме самого факта существования у Екатерины фаворитов, частная жизнь монархини не содержала. Если бы не обертка из пикантных анекдотов, она и вовсе показалась бы скучной благодаря своей размеренности.

## ПРАЗДНИКИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Несмотря на пристрастие к размеренной жизни, Екатерина II в течение всего царствования оставалась чужда излишней строгости. В ней не было ни грамма пуританизма или ханжества, подчас отравлявших существование больших дворов при излишне добродетельных и высоконравственных монархах. Польский король Станислав Август Понятовский в мемуарах сравнивал жизнь Вены и Петербурга, где побывал в молодости. Австрийская столица времен Марии Терезии навяла на него скуку: «Я увидел блистательный двор, о котором никто не позволял себе злословить. Увидел множество богатых и любящих пышность частных лиц, как правило, весьма сдержанных в общении. Увидел женщин — записных скромниц, не делавших для иностранца ни малейшего исключения: все они старательно соблюдали суровые заповеди своей государыни, единственным недостатком которой и было чересчур пристальное наблюдение за нравами подданных... Тональность бесед, принятая в венских салонах, так отличалась от привычной для меня, что мне бывало затруднительно начать разговор»<sup>1</sup>.

Совсем иначе дело обстояло в Петербурге. Здешних дам нельзя было, как в Австрии, назвать «монастырями красоты». Они охотно щеголяли нарядами, были весь-

ма снисходительны к чужеземцам, гостеприимны и любопытны, что делало общение с ними более легким, чем с венками. Не изгладившаяся еще грубость нравов умело скрывалась за внешним лоском. Французский дипломат Г. де ля Мессельер описывал бал, данный Елизаветой Петровной в Царскосельском дворце в 1759 году: «Красота апартаментов и богатство их изумительны, но их затмило приятное зрелище 400 дам, вообще очень красивых и очень богато одетых, которые стояли по бокам залы. К этому поводу восхищения вскоре присоединился другой: внезапно произведенная одновременным падением всех штор темнота сменилась в то же мгновение светом 1200 свечей, которые со всех сторон отражались в зеркалах. Зала была очень велика. Танцевали зараз по двадцать менуэтов, что составляло довольно необыкновенное зрелище. Бал продолжался до одиннадцати часов, когда гофмаршал пришел доложить Ее величеству, что ужин готов. Все перешли в обширную и удобную залу, освещенную 900 свечами, в которой красовался фигурный стол на четыреста кувертов. На хорах залы начался вокальный и инструментальный концерт, продолжавшийся во все время банкета»<sup>2</sup>.

Веселость елизаветинского двора, его балы, маскарады, гулянья и пиршества — все, что делало существование в столице таким приятным, — сохранились и при Екатерине. Торжества устраивались с прежним размахом, но обрели больше вкуса и утонченности. Личное пристрастие императрицы к тишине, покою и вдумчивой работе не должно было лишать окружающих ощущения вечного праздника.

Зрелище было хлебом эпохи. По сравнению с сегодняшним днем человек XVIII столетия видел куда меньше развлекательных шоу, но куда чаще участвовал в них сам. Наш современник, сидя перед экраном телевизора, вычленен из живой картинкой, мелькающей у него перед глазами. Он может только наблюдать происходящее со стороны. Два с половиной столетия назад все выглядело наоборот — чтобы увидеть зрелище, надо было принять в нем участие. В худшем случае просто прийти поглазеть, в лучшем — поплясать, по-

петь, поеть, выпить и побалагурить. Представители и высших, и низших слоев общества, каждый в своем кругу, должны были обладать навыками участия в публичном действе — уметь танцевать, музицировать, петь, декламировать стихи и просто двигаться в праздничной толпе.

Большинство развлечений той поры — общественны по своей сути. Жизнь «на публике» являлась естественным состоянием человека. Он очень редко оставался один. Простолюдины обитали в переполненных домах, где в одной комнате спало много членов семьи, и даже супружеские отношения родителей не были тайной для детей. Днем все вместе работали на глазах у односельчан. Потребности в уединении и личном пространстве развивались медленно. К середине XVIII века они всерьез существовали только у образованного сословия — дворянства. Екатерининская эпоха в плане развития личности двигалась от классической публичности деяний и страстей к сентиментализму начала нового столетия. Она все глубже погружала человека во внутреннюю жизнь, возбуждая интерес к скрытым движениям души. Но до победы нового мирозерцания оставалось в начале царствования несколько десятилетий, а в конце — год-два. Поэтому герой золотого века привык жить и умирать на сцене, в окружении толпы. Здесь он чувствовал себя как рыба в воде.

Даже обороты языка того времени отражали полное воплощение знаменитого шекспировского «мир — театр, и люди в нем — актеры». «Общество» называлось «публикой», собственная жизнь — «ролью», любое место действия — «театром». В 1787 году после начала второй Русско-турецкой войны Екатерина говорила барону Гримму: «Моя роль давно написана, и я постараюсь сыграть ее как можно лучше». Потемкин, получая в 1774 году отставку с поста фаворита, просил «изгнать» его «не на большой публике», то есть не в присутствии всего двора. В оде «Водопад», посвященной светлейшему князю, Державин скажет об успехах Григория Александровича на Черном море: «Театр его — был край Эвксина».

Перечисленные черты: зрелищность, публичность и театральность — в высшей степени характерны для

праздников эпохи Екатерины, особенно для балов, маскарадов и сценических шествий. Бал требовал сочетания всех трех начал.

*«Танцевать, пока не отказывают ноги»*

Естественно, самыми роскошными, пышными и торжественными были придворные балы. Напомним, фрейлина В. Н. Головина упоминала по крайней мере три дня в неделю, когда во дворце устраивались танцевальные вечера — понедельник, четверг и суббота. Они производили сказочное впечатление даже на тех, кто видел версальские праздники. Виже-Лебрён описывала один из подобных балов, состоявшийся в 1795 году:

«В то время российский двор мог похвалиться таким количеством прелестных женщин, что балы у императрицы являли собой воистину восхитительное зрелище. Мне посчастливилось быть на самом великолепном из них. Императрица в парадном платье сидела в глубине зала, окруженная первейшими персонами двора. Рядом с нею стояли великая княгиня Мария Федоровна, Павел, Александр, как всегда великолепный, и Константин. Открытая балюстрада отделяла их от галереи для танцев. Танцевали только полонезы, в коих и я приняла тоже участие, сделав тур по залу с молодым князем Бярятинским, после чего села на банкетку, чтобы лучше рассмотреть танцевавших. Трудно даже представить количество красивых женщин, двигавшихся мимо меня, но нельзя не упомянуть и о том, что всех оных превосходили принцессы императорской фамилии. Все четверо были наряжены в греческом вкусе, их туники держались на плечах аграфами (застежками в виде пряжки или броши. — *О. Е.*) с большими алмазами. В туалете великой княгини Елизаветы (супруги Александра Павловича. — *О. Е.*) не обошлось без моего участия, и костюм ее выделялся своей выдержанностью; у двух дочерей Павла, Елены и Александры, на головах были голубые газовые вуали, которые придавали их лицам нечто неуловимо небесное»<sup>3</sup>.

Внучки императрицы — существа еще очень юные. Александре Павловне — восемь лет, Елене — семь. Их присутствие на балу объяснялось не только принадлежностью к царской семье. Кроме взрослых в придворных праздниках участвовали и дети. Такова была традиция, возникшая еще при Елизавете Петровне, неизменно приглашавшей знать «к себе в гости» с потомством. А. Р. Воронцов, один из виднейших вельмож екатерининской поры, вспоминал времена своего отрочества. По его словам, государыня устраивала специальные детские балы во внутренних апартаментах, там собиралось 60—80 человек. Малыши танцевали, а потом садились за особый стол в своей компании. Гувернеры ужинали отдельно, а императрица вместе с отцами и матерями — у себя<sup>1</sup>. Так дети незаметно осваивались при дворе и привыкали к большому обществу. Не изменила доброму правилу и Екатерина.

Иногда детям позволяли танцевать вместе со взрослыми. Так, по случаю рождения великого князя Александра Павловича в 1777 году вельможи давали праздники, куда приглашался двор. «У княгини Репниной был устроен бал-маскарад, на котором затевались кадрили из сорока пар, одетых в испанские костюмы, — рассказывала Головина. — ...Для большего разнообразия фигур прибавили еще четыре пары детей лет одиннадцати-двенадцати». Одна из маленьких танцовщиц заболела за несколько дней до праздника, и Головина заменила ее. «Самолюбие заставило меня быть внимательной. Другие танцовки... репетировали небрежно, а я старалась не терять ни одной минуты, ...чтобы не уронить себя при первом выходе в свет. Я решила нарисовать фигуру кадрили на полу у себя дома и танцевать, напевая мотив. Это прекрасно удалось, а когда наступил день торжества, я снискала всеобщее одобрение. Императрица была ко мне очень милостива»<sup>2</sup>.

Если бал устраивался в загородных дворцах, то гости приезжали загодя и останавливались кто в собственных домах, расположенных вблизи резиденции, кто у знакомых. Прибывшая в Россию в 1803 году по приглашению княгини Е. Р. Дашковой Марта Вильмот описала такое путешествие в Петергоф. Хотя ее рассказ отно-

сится к началу XIX века, традиция сложилась гораздо раньше. Племянница Дашковой — А. И. Полянская — привезла гостью в деревянный дом своего двоюродного деда обер-егермейстера В. И. Левашова в полумиле от дворца. У того на ночлег уже остановилось 14 друзей, а вскоре прибыли еще несколько приятельниц его внучки. «Как же мы все устроились? — писала Марта сестре Гарриет. — Не догадаешься. Без затей, прямо на пол положили огромный матрас и две перины, на них улеглись госпожа Полянская, две ее сестры, княжна Туркестанова и ваша сестра. Госпожу Рибопьер осчастливили небольшой софой».

Вероятно, петербургские аристократки рассматривали такое путешествие как приключение. Ночью дамы вряд ли быстро заснули. Скорее всего они долго болтали, сплетничали и рассказывали истории. Утром всей компанией отправились осматривать достопримечательности Петергофа, где британскую гостью особенно заинтересовал «маленький домик Петра Великого в отдаленной части парка на берегу моря» — Монплезир. Дорогой она встретила «множество нарядно одетых людей, вовсе не относящихся к знати, ибо по праздникам парк открыт для всех». Внимание Марты привлекла богатая купчиха, прогуливавшаяся вместе с мужем: «В такую жару она облачилась в затканную золотом кофту с корсажем, расшитым жемчугом, и юбку из дамаска (плотная шерстяная ткань. — *О. Е.*), головной убор из муслина украшен жемчугом, бриллиантами и жемчужной сеткой, и все сооружение достигает пол-ярда высоты. 20 ниток жемчуга обвивали шею, а на ее толстых руках красовались браслеты из 12 рядов жемчуга (я даже сосчитала)».

Пообедав у Левашова, дамы принялись готовиться к балу. «Последовала сцена одевания: слуги, горничные, помада, пудра, румяна, чай, кофе, бриллианты, жемчуг, табакерки — все вверх дном и все в одной маленькой гардеробной... Подобно множеству бабочек, выпархивающих из куколок, мы выходим из дома в платьях из серебряных кружев, с алмазными лентами в волосах, с длинными бриллиантовыми серьгами и в прочих драгоценностях».



К семи гости съехались во дворец. «Все комнаты были открыты и всюду толпилась такая масса людей, что едва можно было пройти». Праздник начался «длинным» полонезом. «В первой паре шел император с моей знакомой красавицей Ададуровой, они не танцевали, а именно шли под музыку, выписывая по залу восьмерку, за ними чинно выступали еще пар шестьдесят: это было похоже на прогулку, и каждый вельможа прошел передо мною несколько раз. Вообрази обилие драгоценных камней! Однако часто они не выглядят как украшения, подобранные со вкусом, а подобны витрине ювелирной лавки. Ты, верно, думаешь, что драгоценности тут дешевы. Ничуть. Сначала я и сама думала так, легкомысленно решив, что куплю их и разбогатею. Увы, мой воздушный замок растаял бесследно, ибо бриллианты здесь в той же цене, что и в Англии; тем труднее понять, отчего их так много». Гостье ничего не оставалось, как продолжить «прогулку по парку, в котором уже начали зажигать огни и вдоль каждой аллеи засверкали маленькие лампы; фонтаны и водометы разбрасывали сверкающие брызги, дворец был иллюминирован — словом, волшебное зрелище. Ехали в открытой карете, ночь была такой теплой, что мы не покрывали головы»<sup>6</sup>.

Обратим внимание: Марта не упоминает, что танцевала сама. Зато говорит, что каждый вельможа прошел перед ней несколько раз. Это предполагает скорее наблюдение из одной точки, чем участие. И действительно, все приехавшие на праздник свободно проникли во дворец — «комнаты открыты», но далеко не все имели право танцевать одновременно с императором. По сторонам залы устраивали ступени для богатых горожан, которые могли посмотреть на бал, но не «дерзали» смешиваться с аристократами. Именно на таких местах, быть может, рядом с диковинной купчихой, прибывшей, конечно, не только ради прогулки, и оказалась британская гостья. Благорасположение госпожи Полянской не делало ее равной веселившейся знати. И это больно задело девушку.

«Для здешнего общества характерно резкое деление на высших и низших, — позднее писала она. — Тут нет

средних классов, которыми так гордится Англия. Если бы мне пришлось жить в Петербурге, я бы обязательно добилась представления ко двору, просто чтобы довести до предвзятого мнения дворянского общества, что, принадлежа к среднему классу, я не плебейка, а такая же дама, как они». Это была иллюзия. Ни по происхождению, ни по состоянию, ни, как вскоре оказалось, по образованию ирландская мешчанка из Корка не могла равняться со знатью.

Действительно, русские средние слои значительно отличались от европейских: они были немногочисленны, почти не затронуты просвещением, нуждались в постоянной поддержке и «воспитании» со стороны государства и не обладали развитым самосознанием. То есть, выражаясь языком Канта, еще не превратились из «вещи в себе» в «вещь для себя». Поэтому скромной дочке отставного портового инспектора легче было ассоциировать себя с европеизированными русскими дворянами, чем с «по-азиатски» разряженной купчихой. И все же претендовать на звание «дамы» она не могла.

Даже внутри себя европейские «средние классы» знали жесткие сословные перегородки. Рассуждая о понятии равенства, адмирал П. В. Чичагов привел характерную сцену: «Когда я жил на моей даче в Со (близ Парижа), — в этом краю балов и веселья, — я спросил однажды у тамошней швейки, так ли они здесь веселятся зимой, как и летом? “Да, сударь, — отвечала она, — у нас бывают балы по подписке, на которых мы очень веселимся”. “Мой камердинер бывает на них, кажется?” — ответил я ей. “Это невозможно, сударь, мы лакеев к себе не допускаем”<sup>7</sup>. В глазах богатого дворянина слуга и швея были представителями одного круга. А вот сами они относили себя к разным слоям. Расстояние между актрисой Французского театра и канатным плясуном «измеряется немалым чванством и пренебрежением», заключал адмирал.

Любопытно, что вопрос о неравенстве возник именно в связи с разговором о бале. На балу представители «благородного шляхетства» намеренно демонстрировали свой статус. Причем делали это объединенными усилиями, замыкаясь в круг себе подобных.

В Москве существовал тот же порядок. Мемуаристка Е. П. Янькова, в девичестве Корсакова, вспоминала о балах своей юности, пришедшейся на 80-е годы XVIII века: «Дворянское собрание в наше время было вполне дворянским, потому что старшины зорко смотрели за тем, чтобы не было какой примеси, и члены, привозившие с собою посетителей, должны были не только ручаться, что привезенные точно дворяне, но и отвечать, что они не сделают ничего предосудительного, и это под опасением попасть на черную доску и через то навсегда лишиться права бывать в собрании. Купечество с их женами и дочерьми, и то только почетное, было допускаемо в виде исключения как зрители в какие-нибудь торжественные дни или во время царских приездов, но не смешивалось с дворянством: стой себе за колоннами да смотри издали»<sup>8</sup>.

В Москве Марта и присоединившаяся к ней вскоре сестра Кэтрин уже не стояли в стороне, а принимали участие в общем веселье. Здесь никому в голову не могло прийти, будто гости Дашковой не «леди». Однако, справедливости ради, заметим, что старая княгиня ни разу не привезла девушек в Благородное собрание, правила которого хорошо знала.

Таким образом, бал становился способом демонстрации социального статуса участника, и дворяне щепетильно охраняли право оставаться на танцевальных вечерах в своем кругу. Это объяснялось матримониальной функцией балов: на них знакомились молодые люди и намечались будущие брачные партии. Поэтому так важна была уверенность в том, что среди гостей нет лиц неблагородного происхождения.

Зачем же на балы вообще допускались наблюдатели из «третьего сословия»? Кроме милости видеть государыню и ее двор, подобные демонстрации преследовали воспитательную цель. Обыватели обеих столиц устраивали по подписке танцевальные вечера. Подчас это бывали большие и шумные балы у богатых купцов, ни размахом, ни роскошью не уступавшие дворянским. В Петергоф или в московское Благородное собрание горожане приезжали поучиться: перенять новомодные



Екатерина II на прогулке в Царскосельском парке  
(с Чесменской колонной на фоне). *В. Л. Боровиковский. 1794 г.*



Рядовой мушкетерских рот лейб-гвардии Преображенского полка 1760—1770-х годов.

*Неизвестный художник*



Платье мундирное, сшитое по форме полковника лейб-гвардии Преображенского полка. 1792 г.

Вручение письма Екатерине II. *И. О. Миодушевский. 1861 г.*





Перстень  
с портретом  
Екатерины II.  
*Вторая половина XVIII в.*



Медальон с рельефным профильным портретом Елизаветы Петровны.  
*Конец XVIII в.*

Кукла орденская. 1798 г.



Портрет Е. П. Дивовой.  
*А. Граф. Около 1794 г.*





Великий князь  
Петр Федорович  
и великая княгиня  
Екатерина Алексеевна  
с арапчонком.  
*А. Р. Лисчевская.*  
*Середина XVIII в.*

Портрет великого князя  
Павла Петровича  
на табакерке.  
*Бутелье. 1770-е гг.*



Портрет Екатерины II  
с текстом «Наказа».  
*Миниатюра на эмали.*  
*Вторая половина*  
*XVIII в.*



Вид  
на Михайловский  
замок в Петербурге  
со стороны  
Фонтанки.  
*Ф. Я. Алексеев.*  
*1800 г.*







Письмо  
Екатерины II  
Вольтеру  
от 22 декабря  
1767 года  
и перчатки  
императрицы

Извозчицы дрожки.  
Гравюра Набгольца.  
XVIII в.





Шахматы в футляре.  
Около 1766 г.  
Лупа в черепаховом  
футляре, табакерка.  
Конец XVIII в.  
Портсигар.  
Мастер В. Савинков.  
1888 г.

Село Измайлово. Гравюра. XVIII в.





Медальон с рельефным профильным портретом Екатерины II. 1770-е гг.



Звезда ордена Святой Екатерины.  
*Вторая половина XVIII в.*

Левретка Екатерины II. *Мраморная статуэтка. Вторая половина XVIII в.*





Чашка с блюдцем, кофейник и чайник из сервиза. *Германия. Мейсен. 1780—1800-е гг.*

Портрет Г. Г. Орлова на табакерке. *А. И. Чернов. 1760-е гг.*





Портрет Е. Н. Хрушовой и княжны Е. Н. Хованской.  
*Д. Г. Левицкий. 1773 г.*



Части чернильного прибора.  
Россия. 1790-е гг.



Швейка. Мастер Т. И. Свечин.  
Россия. Конец XVIII в.

Воспитательное общество благородных девиц.  
К. П. Бегров по оригиналу С. Ф. Галактионова. 1823 г.





Предметы из молочного стекла: кружка с крышкой, стакан, масленка с крышкой, сосуд для пряностей, солонка, ваза, перечница. *Богемия (?)*. 1760—1770-е гг.



Портрет седой дамы с высокой прической. *Н. Зедделер*. 1790-е гг.

Комод наборного дерева. *Россия*. 1770—1780-е гг.



Портрет графа  
А. П. Шувалова.  
*Ж. Б. Грез. 1776—1781 гг.*



Бюро-поставец.  
*Западная Европа.*  
*Последняя четверть XVIII в.*

Кафтан офицера армейской  
пехоты. 1770—1780-е гг.







Конный портрет  
Г. Г. Орлова. Эскиз.  
В. Эриксен. 1768 г.

Павильоны  
на Ходынке,  
построенные  
для празднования  
мира с Турцией.  
Вид с юго-западной  
стороны. 1775 г.



Шпага офицерская  
пехотная. *Вторая*  
*половина XVIII в.*



Инструменты рогового  
оркестра (47 предметов).  
*XVIII в.*

Роговой оркестр. *Гравюра. XVIII в.*





А. П. Шереметева в costume для карусели. И. Легоцкий. 1760-е гг.

парижские манеры, подглядеть фасон платья, заметить новые веянья в танцах.

Ту же демонстрационную задачу имели и балы в Смольном воспитательном обществе. Это были сугубо женские танцевальные собрания, скорее напоминавшие балеты. Любоваться ими, но не участвовать, приглашались родители и публика. Раз в неделю по воскресеньям после обеда девушки танцевали «между собою» на широкой площадке парадной лестницы. Именно там изображена Д. Г. Левицким смольнянка первого выпуска Н. С. Борщева. От гостей танцующих отделяла двойная балюстрада. Постановкой небольших балетов с воспитанницами занимался знаменитый петербургский балетмейстер Ланде, а позднее одна из лучших итальянских танцовщиц — Лантини<sup>9</sup>. Девушки танцевали почти профессионально, поучиться у них отточенности и благородной сдержанности движений не чурались дамы из высшего света. Исключительными балетными талантами отличалась Е. И. Нелидова, будущая фаворитка Павла I, посмотреть на нее собиралось большое общество. «Появление на горизонте девицы Нелидовой, феномен, который я приеду наблюдать вблизи», — писала Екатерина смольнянке А. П. Лёвшиной<sup>10</sup>.

Несмотря на популярность французских мод, в России не привилось версальское правило, по которому дамы должны были прекращать танцевать по достижении 25 лет. Этикет петербургского двора не устанавливал строгих возрастных границ. Дашкова, описывая свое пребывание в Париже в 1780 году, передавала разговор с королевой Марией Антуанеттой:

«Королева говорила с моими детьми о танцах, в которых, как она знала, они были весьма искусны, добавив, что, к ее великому сожалению, она вскоре лишится этого развлечения, которое очень любит.

— Но почему, ваше величество? — спросила я.

— Потому, — отвечала она, — что во Франции после 25 лет не танцуют.

Я... возразила ей, что танцевать нужно, пока не откажут ноги, и что развлечение это гораздо полезнее картежной страсти<sup>11</sup>. На что Мария Антуанетта со вздохом согласилась.

Однако и в России существовали свои ограничения, введенные не правилами двора, а традициями дворянского общества. Е. П. Янькова вспоминала: «Одни только девицы танцевали, а замужние женщины — очень немногие, вдовы — никогда. Вдовы, впрочем, редко и ездили на балы, и всегда носили черное платье, а если приходилось ехать на свадьбу, то сверху платья нашивали золотую сетку»<sup>12</sup>. Балы назывались «куртагами»: «барыни собирались с работами, а барышни танцевали; мужчины и старухи играли в карты»<sup>13</sup>.

Янькова жила в Москве, быт которой был более патриархален, чем в Петербурге. Немолодая вдова Дашкова отстаивала право женщин танцевать, «пока не отказывают ноги», и смотрела на балы, как на «полезное развлечение». Московский подход был принципиально иным. Старая столица — крупнейшая в России ярмарка невест. Сюда съезжалось все дворянство подбирать партии для своих отпрысков. Танцевали только девицы. Замужние дамы были способны отвлечь кавалеров, поэтому им отводилось место в сторонке с рукоделием. Пребывание вдовы на куртаге выглядело почти скандально. Впрочем, когда возраст превращал ее из предмета соблазна в предмет почтения, она получала право играть в карты наравне с мужчинами. Таким образом, московские балы были мощным регулятором семейных связей и показателем возрастной иерархии. Особенно это заметно на примере Благородного собрания.

### *«В своем кругу»*

Сезон балов охватывал осень, зиму и весну. На лето дворянство разъезжалось в имения. «Собрания начинались с 24 ноября, с именин императрицы, и когда день ее рождения, 21 апреля, приходился не в Пост, то этим днем и оканчивались собрания», — рассказывала Янькова. Балы происходили по четвергам с шести вечера до полуночи.

Ф. Ф. Вигель вспоминал: «Не одно только московское дворянство, но и дворяне всех почти Велико-россий-

ских губерний стекались сюда, чтобы повеселить жен и дочерей. В огромной зале... поставлен был кумир Екатерины, и никакая зависть к ее памяти не могла его исторгнуть. Чертог в три яруса, весь белый, весь в колоннах, от яркого освещения весь, как в огне, горящий, тысячи толпящихся посетителей в лучших нарядах, гремящие в нем хоры музыки... Тут увидят они статсдам с портретами, фрейлин с вензелями, а сколько лент, сколько крестов, сколько богатых одежд! Есть про что целые девять месяцев рассказывать в уезде...

Не одно маленькое тщеславие проводить вечера со знатью привлекало их в Собрание. Нет почти русской семьи, в которой бы не было полдюжины дочерей: авось или Дунюшка, или Параша приглянутся какому-нибудь хорошему человеку! Но если хороший человек незнаком никому из знакомых, как быть? И на это есть средство. В старину существовало в Москве целое словие свах, им сообщались лета невест, описи приданого и брачные условия; к ним можно было прямо адресоваться, и они договаривали родителям все то, что в Собрании не могли высказать девице одни только взгляды жениха. Пусть другие смеются, а в простоте сих дедовских нравов я вижу что-то трогательное»<sup>14</sup>.

Однако и свахи не решали всех проблем. Порядочный молодой человек не должен был приглашать неизвестную ему девушку и всегда старался заранее быть ей представлен общим знакомым. Если они встречались на частном балу, то хозяева брали на себя роль посредников. Но в Благородном собрании при стечении нескольких тысяч человек знакомство составляло заметную трудность. В крайнем случае кавалер мог сам отрекомендоваться родителям приглянувшейся особы, но такой поступок ко многому обязывал, поскольку обнаруживал его интерес. Делу часто помогали военные мундиры. С офицерами (а это в XVIII веке почти все молодые мужчины) можно было танцевать и без представления. Их форма уже свидетельствовала о положении в обществе<sup>15</sup>.

Чтобы не слишком смущать приезжих провинциалок блеском туалетов богатых москвичей, Екатерина в 1780 году приказала дамам для визитов в Собрание по-

шить мундирные платья. Их цвета соответствовали цветам губернии, в которой находились имения мужей. «Намерение-то было хорошее, — рассуждала Янькова. — Хотели удешевить для барынь туалеты, да только на деле вышло иначе: все стали шить себе мундирные платья, и материи очень дешевые, плохой доброты, ужасно вздорожали. Зимы с две их поносили и перестали. Так как батюшка был владельцем в Калужской губернии и в Тульской, то у матушки было два мундира — один стального цвета, другой, помнится, лазоревый с красным».

Вообще же на балы в Благородном собрании старались принарядиться как можно богаче. Замужние дамы предпочитали материи, затканые серебром и золотом. Мужчины до начала царствования Александра I не сдались на милость революционной моде и продолжали носить французские цветные кафтаны из атласа и бархата, шитые шелками, блестками, серебряной и золотой нитью. «Явиться в сапогах на бал никто и не посмел бы, — что за невежество! Только военные имели ботфорты, а статские все носили башмаки. На всех порядочных людях хорошие кружева, — это много придавало щеголеватости. Кроме того, пудра очень всех красила, а женщины и девицы вдобавок еще румянились, стало быть, зеленых и желтых лиц и не бывало... Некоторые девицы сурьмили себе брови и белились, но это не было одобряемо в порядочном обществе»<sup>16</sup>.

Подчас пышность московских праздников казалась однообразной. На их фоне выделялись балы в русском стиле, которые устраивал граф А. Г. Орлов. Они понравились даже критично настроенным сестрам Вильмот. Марта рассказывала, что в промежутках между контрдансами юная дочь графа исполняла русские танцы. Особенно ирландку очаровал танец с шалью. «По красоте, изяществу и элегантности это прекраснее всего, что мне когда-либо приходилось видеть. В сравнении с грациозной красотой графини Орловой фигура леди Гамильтон, безусловно, показалась бы грубой; право, не грешно запечатлеть на полотне естественность и свежесть прелестной графини». О своих успехах Матти сообщала скромно: «Вы, верно, знаете, что англичанок

считают неуклюжими, однако мой прекрасный напудренный кавалер остался мной доволен»<sup>17</sup>.

Вообще же ей до крайности не нравилось московское дворянское общество, в особенности молодые девушки, которых она находила вульгарными и плохо воспитанными. Возможно, девицы сами воспринимали мисс Вильмот в штыки, видя в ней потенциальную соперницу на балах. Ведь иностранка уже сама по себе привлекает внимание, а значит, отвлекает кавалеров. Логика дворянской Москвы в данном вопросе была проста: незамужняя женщина — всегда невеста.

Вырвавшись из этого брачного кошмара в путешествие по белорусским имениям Дашковой, Марта заметно приободрилась. Бал у губернатора Смоленска ей, например, очень приглянулся. «После полонеза танцевали много контрдансов, было очень весело и приятно. Мне показалось, что среди девиц Смоленска меньше лихорадочного волнения по поводу демонстрации хорошего воспитания, чем среди москвиток, которые хотят ошеломить вас, выставляя свое знание четырех или пяти языков, свои музыкальные способности и глубокие познания в великой танцевальной науке. Жительницы Смоленска более естественны и, я бы сказала, лучше воспитаны, поскольку налет застенчивости мешает тому отчаянному любопытству, которым грешит почти половина прекрасных девиц, знакомых мне по Москве»<sup>18</sup>.

«Четыре-пять языков», на которых, перескакивая, трещали московские барышни, с раздражением упомянуты в письмах Марти неоднократно. Поскольку сама она не знала русского, а французским владела далеко не в требуемом объеме (Дашкова даже наняла для нее учителя), то подобные беседы были девушке в тягость. Ее ампула представительницы более высокой культуры страдало. Дамы, быть может, ненамеренно обнаруживали превосходство, а это наносило ущерб достоинству Марты.

Однако мисс Вильмот, кажется, не слишком разобралась в ситуации: выставить на показ свои достоинства девицы старались не перед ней, а перед кавалерами. И тут было не до «налета застенчивости» —



потенциальный жених мог уплыть в чужие руки. Его следовало поразить. Единственное действительно предосудительное качество — любопытство. Марту шокировало, что девицы рассказывали о своих поклонниках и, не смущаясь, спрашивали о ее победах. Эта модель поведения понятна — набить себе цену и разведать о видах соперницы. Кэтрин покорила другая деталь: дамы без стеснения осведомлялись о стоимости каждой вещи из ее туалета. Их логика ускользала от гостии. То, что она находила простой невежливостью, было средством социального распознавания и, возможно, самозащиты. Дворянки определяли, каков размер ее состояния и к какому кругу невест она относится. Поскольку состояния не было, интерес мгновенно пропал. Все это вкупе не могло не задевать сестер-ирландок. Их принимали не за тех, кем они являлись, — просто гостей и просто путешественниц.

Более колкая и язвительная Кэтрин, доведенная московскими кумушками до отчаяния, наговорила о них гадостей в письме подруге Анне Четвуд. Русская религиозность — «идолопоклонство», сами они — «горделивые медведи». «Вот, например, во время бала к прекрасной княжне подходит молодой человек и приглашает ее на танец. Он едва заметно кланяется, поворачивается и уходит к танцующим, предоставляя ей следовать за ним в одиночку. Они танцуют (очень не изящно), а как только танец кончается, он вновь кланяется, а она делает реверанс, и они расходятся, не сказав друг другу ни слова»<sup>19</sup>.

Последний пункт явное преувеличение, иначе не возникло бы термина «мазурочная болтовня». Однако неловкость молодых людей тоже вполне вероятна — в процессе знакомства «с марьяжным интересом» оба чувствовали себя как на иголках. К тому же на московских балах собирались не одни москвичи. Подавляющее число составляли как раз провинциалы, приехавшие из медвежьих углов устроить судьбу «Дунюшки или Парашки», манерами они явно не блистали.

После прочтения писем сестер Вильмот кажется, что Виже-Лебрён побывала в другой стране, общалась с другими дамами, видела другие балы. Художница бы-

ла покорена красотой русских женщин и вкусом, царившим в московском высшем обществе. Это тем более странно, что отзывы относятся к одному и тому же времени. «Я заметила, что в Санкт-Петербурге высший свет составляет как бы одно семейство, где все кузены и кузины друг другу. В Москве больше жителей, а дворянство куда многочисленнее: высшее общество само по себе составляет почти всю публику. В бальной зале, собирающей лучшие фамилии, может находиться до шести тысяч персон. Зала сия опоясана галереей с колоннами и приподнята на несколько маршей; на ней прогуливаются не участвующие в танцах. Перед галереей несколько зал, где ужинают и развлекаются картами. Я побывала на одном из сих балов и была поражена количеством очаровательных молодых особ... Они были одеты в античные кашемировые туники, расшитые золотой бахромой, по примеру того, что я предложила великой княгине Елизавете... Приподнятые рукава застегивались великолепными алмазами, а прически в греческом стиле украшались повязками, усыпанными бриллиантами. Несравненные по богатству и элегантности костюмы сии еще более украшали всю эту массу прелестных женщин»<sup>20</sup>.

### *От менуэта к вальсу*

В XVIII веке главным церемониальным танцем был полонез. Он исполнялся неопределенным числом пар и больше напоминал торжественное шествие под музыку. В России «польский» стал известен еще в допетровское время. Его считают первым европейским танцем, проникшим ко двору московских царей. Широкое распространение получил хоровой полонез, что было неудивительно в стране с развитым церковным пением. Хор в сочетании с симфоническим и роговым оркестрами создавал необыкновенно торжественную атмосферу. Композитором, мастерски владевшим этим жанром, был О. А. Козловский. Он служил офицером в русской армии во время войны с Турцией, в 1788 году под Очаковым его музыкальные способности были за-

мечены Г. А. Потемкиным, который зачислил молодого человека в свою свиту. Уже в Петербурге в 1791 году Козловский участвовал в подготовке праздника в Таврическом дворце и написал полонез на стихи Г. Р. Державина «Гром победы раздавайся», ставший в конце царствования Екатерины неофициальным гимном России<sup>21</sup>.

Во время полонеза хозяин дома танцевал в первой паре с самой знатной гостьей. Они задавали движения, которые повторяла вся колонна. Поэтому рисунок танца полностью зависел от вкусов устроителя бала. Шествие не ограничивалось одним залом, оно могло течь по анфиладе комнат и даже выплеснуться в сад. За хорошим полонезом следовали оркестровые, они перемежались менуэтами и контрдансами.

В течение целого столетия менуэт оставался обязательным элементом любого бала. «Потом стали танцевать гавот, кадрили, котильоны, экосезы, — рассказывала Янькова. — Танцующих бывало немного, потому что менуэт был танец премудренный, поминутно или присядь, или поклонись, и то осторожно, а иначе или с кем-нибудь лбом стукнешься, или толкнешь в спину; мало этого, береги свой хвост, чтоб его не оборвали, и смотри, чтобы самой не попасть в чужой хвост и не запутаться. Танцевали только умевшие хорошо танцевать, и почти наперечет знали, кто хорошо танцует. Вот и слышишь: “Пойдемте смотреть, танцует такая-то, Бутурлина или Трубецкая с таким-то”. И потянутся изо всех концов залы, и обступят круг танцующих, и смотрят как на диковинку, как дама приседает, а кавалер низко кланяется. Тогда в танцах было много учтивости и уважения к дамам. Вальса тогда еще не знали и в первое время, как он стал входить в моду, его считали неблагопристойным танцем: как это — обхватить даму за талию и кружить ее по зале»<sup>22</sup>.

Менуэт сдал позиции с падением Бастилии. Отказ от него сразу увеличил число участников бала. Куда проще танцующим казался котильон — вид кадрили. Он обычно завершал собрание и носил неофициальный, шутливый характер. Это был танец-пантомима, танец-игра, исполнявшийся на мотив вальса и уже позволяв-

ший многие вольности. «Там делают и крест, и крут, и сажают даму, с торжеством приводя к ней кавалеров, дабы избрала, с кем захочет танцевать, а в других местах и на колена становятся перед нею; но чтобы отблагодарить себя взаимно, садятся и мужчины, дабы избрать себе дам, какая понравится... Затем следуют фигуры с шутками, подавание карт, узелков, сделанных из платков, обманывание или отскакивание в танце одного от другого, перепрыгивание через платок»<sup>23</sup>.

Перечисленные танцы отличались сложностью, исполнять их без специальной подготовки никто не рисковал. Обучение начиналось лет с шести. А в европейских владетельных домах еще раньше. Екатерина II вспоминала, что ей наняли преподавателя танцев в четыре года. Он заставлял девочку делать па на столе, но, по ее мнению, «это были выброшенные на ветер деньги», так как в действительности она научилась танцевать гораздо позже<sup>24</sup>. Когда княгиня Репнина уговаривала мать будущей графини Головиной отпустить дочку на бал, та отказывалась, уверяя, что ее Варенька «маленькая дикарка» и «едва умеет танцевать».

Родители специально возили детей к знаменитым танцмейстерам, которые давали уроки в каком-нибудь богатом доме. Там, помимо отпрысков владельца, собирались дети его знакомых, так что занятия проходили шумно и весело. Янькова писала: «Дети мои учились танцевать у Иогеля. Он считался лучшим танцмейстером; был еще другой, Флагге, но этот не имел такой большой практики; а Иогеля всюду приглашали. Он бывал у Архаровых, у Неклюдовой, у Львовой, у Шаховских, словом — везде, куда я детей возила»<sup>25</sup>. По четвергам Иогель устраивал специальные детские балы в собственном доме на Бронной. Сестра А. С. Пушкина — О. С. Павлицева говорила, что он «переучил несколько поколений в Москве»<sup>26</sup>. Его танцевальные классы в разное время работали в домах Трубецких, Бутурлиных и Грибоедовых.

Особую прелесть русским балам придавали роговые оркестры. Этой диковинки не было ни в одной другой стране, и почти все иностранные мемуаристы оставили о ней свои отзывы. Придворный оркестр егерей иг-

рал специально для публики в Летнем саду. Каждый музыкант мог взять на своем инструменте только одну ноту, поэтому исполнителям требовались огромное внимание, опыт и слаженность. Во время балов роговой оркестр помещался в соседней комнате так, чтобы его не было видно, поскольку инструменты выглядели не слишком красиво. Массивные рога, обтянутые сверху кожей, а внутри гладко отполированные, производили впечатление чего-то громоздкого и крайне неартистичного. Тем не менее музыка, которую они издавали, походила на гобои, фаготы, кларнеты и охотничьи рожки, но была нежнее и задушевнее. Она чем-то напоминала духовой орган.

Роговая музыка считалась чисто русским явлением, хотя изобрел ее в 1754 году французский капельмейстер Морешом, служивший у графов Нарышкиных. С этого времени Нарышкинский роговой оркестр называли лучшим. Ему не уступали оркестры графа К. Г. Разумовского и князя Г. А. Потемкина.

При желании роговая музыка могла звучать очень громко. Рассказывали, что звуки роговых оркестров были слышны на расстоянии семи верст. Поэтому исполнителей часто размещали в садах, где теплыми летними вечерами они услаждали слух публики. Виже-Лебрён впервые познакомилась с роговой музыкой на даче у графа А. С. Строганова. Гости сидели на террасе, любуясь Невой, покрытой «тысячью лодок», и угощались «нежнейшими дынями». Как вдруг из-за завесы листвы роговой оркестр заиграл увертюру к опере А. В. Глюка «Ифигения в Авлиде». «Граф Строганов сказал мне, что каждый из музыкантов воспроизводит только одну ноту; я никак не могла представить, чтобы все сии отдельные звуки могли сливаться с такой идеальной гармонией и выразительностью при столь машинальном исполнении»<sup>27</sup>.

Громкое и вместе с тем нежное звучание, свободно разливавшееся на лоне природы, сделало роговую музыку неотъемлемой частью маскарадов, многие из которых устраивались именно в парках. Под аккомпанемент рожков, в окружении кустов и деревьев, украшенных горящими фонариками, уже знакомый нам

котильон приобретал не только игривость, но и таинственность. Последний из бальных танцев, он стал первым и самым любимым на маскарадах.

### *«Вся опера пошла на маскарад»*

Принято считать, что маскарад — это костюмированный бал, не более. На самом деле отличия двух форм танцевальных вечеров были настолько существенны, что можно говорить о культурном противостоянии бала и маскарада. Если бал открыто демонстрировал положение человека в обществе, подчеркивал благородное происхождение, богатство и успех на служебной лестнице, то маскарад преследовал обратную цель. Он скрывал, а не обнаруживал знатность, чины и состояние участников. Позволял им расслабиться, окутывая покровом тайны их имена и лица.

Именно на маскарадах завязывались многие романы. Чем больше людей съезжалось на костюмированные танцевальные вечера, тем свободнее вели себя гости. Зрелищные торжества с тысячами приглашенных, устроенные на лоне природы в парках загородных дворцов, грозили дамам опасными приключениями. Недаром для девиц считалось приличным лишь участие в домашних маскарадах, где почти все гости были либо родней, либо старыми добрыми друзьями семейства. В этом отношении бал настолько же не походил на маскарад, как ухаживание с серьезными намерениями не походило на мимолетную интрижку.

Более того, маскарад нацеливал участников на куртуазные игры. Если бал с его благопристойностью служил способом создания дворянской семьи, упрочивал ее традиции и расширял круг порядочных знакомств, то маскарад как раз являлся той отдушиной, благодаря которой человек мог ненадолго выпасть из поля, контролируемого родней, оказаться вне жесткого диктата семейных норм. Не случайно драма четы Арбениных в лермонтовском «Маскараде» завязывается именно во время такого танцевального вечера.

В отличие от бала, замыкавшего дворян в своем кругу, маскарад нередко раскрывал объятия и для других сословий. В этом крылась причина его притягательности и в то же время сомнительности заведенных на нем связей. На придворные маскарады специально рассылались приглашения. Например, на праздник в Петергофе 22 июля 1798 года супруга Павла I императрица Мария Федоровна ждала по «дворянским билетам» 7332 гостя, а по «купеческим» — 1440 гостей. Однако реально народу собиралось в несколько раз меньше. Правила приличия требовали позвать всю семью, из которой действительно могла приехать всего паратройка человек. Старые и малые оставались дома. Поэтому Петергоф посетили 2300 дворян и 397 купцов<sup>28</sup>.

Один из таких маскарадов в Зимнем дворце описал Дж. Казанова, побывавший на нем в 1765 году. Хозяин трактира, где он остановился, сообщил ему, что при дворе дают бесплатный бал-маскарад для пяти тысяч человек, и вручил пригласительный билет. Путешественник отправился туда, облачившись в домино, купленное в Митаве. «Я посылаю за маской и носильщики доставляют меня ко двору, где вижу великое множество людей, танцующих в комнатах, где играли всякие оркестры. Я обхожу комнаты и вижу буфетные, где все, кто желал утолить голод или жажду, пили и ели. Вижу всюду веселье, непринужденность, роскошь, обилие свечей, от коих было светло, как днем, во всех уголках, куда б я ни заглядывал... Три или четыре часа проходят незаметно. Я слышу, как рядом маска говорит соседу:

— Гляди, гляди, государыня; она думает, что ее никто не признает, но ты сейчас увидишь Григория Григорьевича Орлова: ему велено следовать за нею поодаль; его домино стоит подороже десяти “купеек”, не то что на ней.

Я следую за ней и убеждаюсь сам, ибо сотни масок повторили то же, делая вид, что не узнают ее. Те, кто взаправду не признал государыню, натыкались на нее, пробираясь сквозь толпу... Я видел, как частенько подсаживалась она к людям, которые беседовали промеж собой по-русски и, быть может, говорили о ней. Так она могла услышать нечто неприятное, но получала редко-

стную возможность узнать правду.. Я видел издали маску, которую окрестили Орловым — он не терял ее из виду; но его все признавали по высокому росту и голове, опущенной долу».

Фаворит недаром шел за императрицей по пятам. Огромный праздник, устроенный для увеселения города, таил немало непредвиденных ситуаций. Екатерину могли действительно не узнать, и она рисковала оказаться в неловком положении, поведи себя кто-нибудь из гостей грубо или непристойно. Ведь об избранном «бальном» обществе речи не шло. Казанова встретил среди танцующих свою старую знакомую парижскую чулочницу Баре, любовником которой был семь лет назад. После этого она успела сменить профессию певицы на роль содержанки, называлась именем своего предпоследнего покровителя д'Англад и жила у польского посла графа Франциска Ржевуского, который, впрочем, собирался на родину, оставив пассию в Петербурге.

«Я вхожу в зал, где танцуют кадрили, и с удовольствием вижу, что танцуют ее изрядно, на французский манер... Спустя два-три часа меня привлекает девица, одетая в домино, окруженная толпой масок, она писклявит на парижский лад, как на балу в Опере. Я не узнаю ее по голосу, но по речам уверяюсь, что эта маска хорошая моя знакомая, ибо непрестанно слышу словечки и обороты, что я ввел в моду в парижских домах: “Хорошенькое дело! Дорогуша!”»<sup>29</sup>.

Дождавшись, пока дама снимет маску, чтобы высморгаться, Казанова начинает шептать ей на ухо «те вещи, что могла знать только она и ее возлюбленный». Заинтриговав и смутив старую знакомую, он наконец открывается ей, чем вызывает бурю восторга.

По этому отрывку можно судить, насколько демократичны бывали маскарады даже при дворе. Ведь за пару часов до встречи с прекрасной чулочницей с улицы Сент-Оноре Казанова столкнулся с соотечественником-венетцианцем графом Вольпати из Тревизо и даже напросился к нему в гости. Под покровом масок в залах веселились и русские аристократы, и французские модистки.



По уверениям Казановы, праздник должен был продлиться «шестьдесят часов». Вряд ли кто-либо из гостей был способен выдержать такой танцевальный марафон от начала до конца. Участники приезжали и уезжали, сменяя друг друга. Сам венецианский путешественник провел во дворце часов восемь, не удивительно, что он смертельно устал и после этого проспал сутки, пропустив воскресную мессу.

Налет неблагопристойного, шутовского, карнавального был в маскарадах очень заметен. Стремление сломать границы привычного мира, перевернуть его вверх дном, поменять местами знатных и простолюдинов, мужчин и женщин реализовывалось под покровом маски.

Царствование Елизаветы Петровны прославилось необычными маскарадами, на которых дамы наряжались в мужское, а кавалеры — в женское платье. Подобные метаморфозы, согласно воспоминаниям Екатерины II, вызывали неприязнь у мужчин, но приводили в восторг прекрасную половину двора. Такие перевоплощения в символической форме знаменовали собой важную особенность эпохи — размывание жестких рамок, прежде ограничивавших поведение полов в обществе. Теперь мужчины и женщины могли на время как бы «поменяться местами», пусть пока только в перевернутом мире маскарада.

«Безусловно хороша в мужском наряде была только императрица, — вспоминала Екатерина, — так как она была очень высока и немного полна, мужской костюм ей чудесно шел; вся нога у нее была такая красивая, какой никогда я не видела ни у одного мужчины, и удивительно изящная ножка (ступня. — *О. Е.*). Она танцевала в совершенстве и отличалась особой грацией во всем, что делала одинаково в мужском и женском наряде... Как-то на одном из таких балов я смотрела, как она танцует менуэт; когда она кончила, она подошла ко мне. Я позволила себе сказать ей, что счастье женщин, что она не мужчина, и что один ее портрет, написанный в таком виде, мог бы вскружить голову многим женщинам... Она ответила, что если бы она была мужчиной, то я была бы той, которой она дала бы яблоко»<sup>30</sup>.

Сохранились портреты Елизаветы Петровны кисти Л. Каравакка<sup>31</sup> и Е. Р. Дашковой работы неизвестного художника<sup>32</sup> в мужских костюмах. Выказано предположение, что знаменитый рококовий «Молодой человек в треуголке» вовсе не портрет сына Екатерины II А. Г. Бобринского и «не переодетая» в мужское платье первая рано умершая жена Н. Е. Струйского, а сама императрица в маскарадном костюме. Изучение картины с помощью рентгеновских лучей обнаружило, что под верхним красочным слоем сохранилось другое изображение — женщина с серьгами, в декольтированном платье. Лишь лицо осталось неизменным<sup>33</sup>, а оно полностью совпадает с лицом великой княгини Екатерины Алексеевны на портрете Пьетро Ротари 1761 года.

И Елизавета Петровна, и Екатерина II использовали офицерский мундир во время захвата власти, что продолжало традицию карнавального переодевания в реальной жизни. Маскарад словно выплескивался за окна дворца и в течение пары суток становился частью уличной повседневности. Принимая роль государя, женщины-правительницы облачались в гвардейскую форму, садились верхом и выступали во главе вооруженных полков. Таким образом, они присваивали себе функции сильного пола, а мужской костюм служил лишь наглядным подтверждением этого.

Устраивая развлечения двора, Екатерина не отказалась от травестирированных, то есть перевернутых маскарадов. Ей очень нравилось вводить участников в заблуждение на свой счет и иногда заигрывать с дамами. Однажды она накинула розовое домино на офицерский мундир и, войдя в залу, встала в круг танцующих. «Здесь княжна Н. С. Долгорукая, — вспоминала императрица, — стала хвалить знакомую девушку. Я, позади нее стоя, вздумала вздохнуть и, наклонясь к ней, вполголоса сказала: «Та, которая хвалит, не в пример лучше той, которую хвалит». Она, обратясь ко мне, молвила: «Шутишь, маска, ты кто таков? Я не имею чести тебя знать. Да ты сам знаешь ли меня?» На это я отвечала: «Я говорю по своим чувствам и ими влеком»... Она оглянулась и спросила: «Маска, танцуешь ли?»... и подняла меня танцевать»<sup>34</sup>. После танца государыня поцеловала

княжне руку и еще долго рассыпалась в комплиментах, пока девушка, сжигаемая любопытством, не сдернула с нее маску. Конфуз ждал обеих. Екатерина превратила все в шутку и позднее с удовольствием вспоминала о своей проделке.

Если для дам переодевание в мужское платье носило куртуазный характер, то для мужчин это было шутество чистой воды. Недаром подобные маскарады происходили обычно во время Святочных игр и на Масленой неделе, становясь формой народного карнавала с ряжеными. Тогда по традиции весь мир вставал с ног на голову. Не грех было побалагурить и приближенным государыни. Учитель наследника Павла С. А. Порошин вспоминал, что 25 декабря 1765 года в комнатах императрицы устраивались простонародные развлечения. Солидные вельможи плясали, взявшись за ленту, гонялись друг за другом в кругу поющих колядки участников, «после сего золото хоронили, заплетися плетень плясали», играли в колечко. «Императрица во всех сих играх сама быть и по-русски плясать изволила с Никитой Ивановичем Паниным... Во время сих увеселений вышли из внутренних покоев семь дам: это были в женском платье граф Григорий Григорьевич Орлов, камергеры граф Александр Сергеевич Строганов, граф Николай Александрович Головин, Петр Богданович Пассек, шталмейстер Лев Александрович Нарышкин, камерюнкеры Михаил Егорович Баскаков и князь Александр Михайлович Белосельский. На всех были кофты, юбки и чепчики. Князь Белосельский представлял собой многодетную мамашу, державшую под руки дочек. Их посадили за круглый стол, поставили закуски и подносили пунш. Потом, вставши, плясали и много шалили»<sup>35</sup>.

Мода на народные костюмы, песни и танцы сохранялась в течение всего царствования Екатерины. Неуместные на балу, они были как нельзя кстати в маскарадно-карнавальном атмосфере. Однажды у Л. А. Нарышкина сама императрица облачилась царицей Натальей Кирилловной, а Дашкова — подмосковной крестьянкой — и исполняла в хороводе песню «Во селе, селе Покровском...», сочиненную когда-то императрицей Елизаветой Петровной на народный мотив<sup>36</sup>.

На маскарадах делались неожиданные презенты. Заметив, что у одной из фрейлин нет жемчужного ожерелья, Екатерина приказала ей быть на балу в костюме молочницы. Когда начались танцы, императрица взяла у девушки кувшин «на сохранение». По окончании полонеза фрейлина вернулась за своей крынкой и обнаружила на дне жемчуг. «А это тебе свернувшееся молоко», — услышала она от Екатерины.

Участникам костюмированных балов случалось так «замаскироваться», что жены не узнавали мужей и наоборот. Это придавало происходящему дополнительный оттенок пикантности. Так, графиня Анна Михайловна Строганова, находясь с супругом на грани развода и избегая встреч в обществе, неожиданно столкнулась с ним во время маскарада. «Вы меня спрашиваете, вижу ли я господина Строганова, — писала она в декабре 1765 года двоюродному брату А. Р. Воронцову. — Мы видимся, не видясь. Однажды на маскараде Локателли, где был весь двор, я танцевала контрданс в такой хорошей маске, что я танцевала с ним, не будучи недовольной, что меня удивило, так как весь маскарад ловила на себе его взгляд»<sup>37</sup>.

Каждый маскарад имел свое лицо. В зависимости от выдумки хозяев и гостей он оформлялся в соответствии с какой-нибудь заранее избранной темой. Бывали «национальные» праздники, где приглашенные специально одевались малороссами, алеутами, казаками и самоедами. В 1777 году в Петергофе отмечался год со дня бракосочетания великого князя Павла Петровича и Марии Федоровны. «Многие были в костюмах отдаленных наций Российской империи, — вспоминал присутствовавший там швейцарский математик Иоганн Бернулли, — и казалось, что свой маскарад они заимствовали из гардероба Академии наук»<sup>38</sup>.

Популярны были маскарады по мотивам понравившихся литературных и музыкальных произведений. Князь И. М. Долгоруков вспоминал, что после премьеры его оперы «Наталья, боярская дочь» на маскарадах тотчас возникли сценические персонажи: боярин Матвеев (Ю. В. Долгоруков), царь Алексей (А. И. Горчаков),

боярышня Наталья (Е. Р. Дашкова). «Вся опера моя пошла на маскарад!»<sup>39</sup> — восклицал он.

Домашние маскарады были, конечно, попроще, но и они имели свою прелесть. Тесная компания из родни и друзей позволяла включить в число участников собственных дворовых. Весь дом менял лицо, а значит, облачение слуг в костюмы и маски было далеко не лишним. Причем холопы не просто ухаживали за гостями барина, они получали право танцевать и веселиться наравне с ними. Это происходило не только в каком-нибудь медвежьем углу, где отношения между мелкопоместными хозяевами и их дворней были по-семейному близки, а в самых аристократических домах столиц.

Марта Вильмот описывала один из таких маскарадов, устроенный у графов Салтыковых в Москве. «Во время танцев все смешалось — и господа и слуги... Кто-то гордо ходил по комнатам, изображая гигантские сапоги, другой представлял ветрянку мельницу; несколько летучих мышей пищали ваше имя, проходя мимо, и взмахивали тяжелыми крыльями, но что такое душа маскарада — тут не знают. Лучше всех была моя маленькая хорошенькая горничная... Того же мнения был и молодой слуга, который трижды приглашал ее на танец; она каждый раз ему отказывала: ей никогда не приходилось видеть, как танцуют бальные танцы. Когда настойчивый поклонник подошел снова, Софья, услышав насмешливый шепот других горничных, уверявших друг друга, что она вообще не умеет танцевать, гордо покинула своих подруг... Зазвучала изящная медленная музыка. Когда подошла очередь Софьи и ее партнера, они, к моему великому ужасу, держась за руки, стремительно помчались через весь зал и остановились, только добежав до противоположной стены. Повернув обратно, они несколько раз столкнулись с танцующими... В своем простодушии Софья не имела ни малейшего представления о том, что танцует она совсем не так, как другие дамы»<sup>40</sup>.

Подобные отношения между хозяевами и слугами вызывали у ирландской гостьи удивление. Она не понимала, как крестьяне могут преклонять перед господами колени, лобызать им руки и даже ноги, а через ми-

нугу расцеловать барыню в щеки, угостить молоком из своей крынки, запросто завести разговор о домашних делах. «Смесь фамильярности и гордыни кажется мне удивительной особенностью этой страны. Здесь часто можно видеть, как господа и крепостные танцуют вместе, а посещая незнакомые дома, я не раз недоумевала, как различить хозяйку и горничную»<sup>41</sup>.

Слово «фамильярность» следовало бы употребить в его прямом смысле — «семейность». Символично, что многим крепостным при получении паспорта для поездки в город или на промыслы присваивались фамилии их хозяев. Так появились многочисленные Орловы или Шереметевы, не состоявшие в кровном родстве со знаменитыми графами. Барин рассматривался как глава огромной патриархальной семьи, включавшей не только домочадцев, но и собственных крестьян. Если учесть связи господ с крепостными девушками, то окажется, что хозяева действительно были окружены незаконной дворовой родней. В разных жизненных ситуациях эти люди могли выступать и как холопы, и как члены семьи своего господина. Домашний маскарад был как раз тем местом, где родственное, фамильное начало в отношениях барина и его слуг проявлялось особенно ярко.

### *«Торжествующая Минерва»*

Маскарадами именовались не только костюмированные танцевальные вечера, но и масштабные театрализованные шествия. Обычно они приурочивались к какому-нибудь важному событию и выражали сценическими средствами некую государственную идею. Именно таким был маскарад «Торжествующая Минерва», венчавший коронационные празднества Екатерины II в Москве.

Он начался 30 января 1763 года, в четверг, а продолжился 1 и 2 февраля, в субботу и воскресенье. Шествие было устроено на Масленой неделе и совпало с традиционными народными гуляньями, поэтому его карнавальная сторона воспринималась публикой как долж-

ное. Заранее расклеенные по городу печатные афиши разъясняли смысл представленных во время праздника масок. «По большой Немецкой... от десяти часов утра за полудни будет ездить маскарад, названный “Торжествующая Минерва”, в котором изъяснятся гнусность пороков и слава добродетели».

Действо было призвано возвеличить новую императрицу как справедливую правительницу, покровительницу наук и искусств. Начинался маскарад сатирическим показом дурных человеческих качеств. Актеры изображали пьянство, лень, мздоимство, мотовство, спесь, невежество. Следовавшие за ними маски представляли высокие нравственные свойства: кротость, любовь, щедрость, разум, просвещение. Заключительная часть шествия именовалась «Златым веком», в ней участвовали античные боги Зевс, Астрея, Аполлон и, наконец, Минерва, символизировавшая Екатерину. Над ней при помощи «маскарадных машин» парили Виктория и Слава.

Очевидец А. Т. Болотов писал, что зрелище было «совсем новое, необыкновенное и никогда, не только в России, но и нигде не бывалое... подобное Римским... Там на высокой колеснице изображался Парнас, Аполлон, Музы. Тут восседал Марс с Героями в полных доспехах. Здесь видели Палладу или Минерву с Шлемом на челе, с Эгидою, копьем; у ног ее Сова с Математическими инструментами». В маскараде участвовало около четырех тысяч человек на 250 колесницах, влеко-ных волами<sup>42</sup>.

Шествие проходило под арками из зеленых веток и цветочных гирлянд. На каждой красовался девиз-пожелание, например: «Вечное вѣдро» — то есть прекрасная солнечная погода на все царствование. Маскарад описывал большой круг по улицам Москвы. Его маршрут начинался от Головинского дворца за Яузой, напротив Немецкой слободы, затем пролегал через Салтыков мост по Ново-Немецкой слободе и двум Басманным улицам, по Мясницкой до Никольского моста, мимо Ильинских ворот по Покровке и Старой Басманной, возвращаясь к Головинскому дворцу. Сама Екатерина наблюдала шествие из дома И. И. Бецкого в первый день торжества.

Главным режиссером действия был знаменитый русский актер Ф. Г. Волков. Тексты для хоров писали М. М. Херасков и А. П. Сумароков. Над постановкой трудились музыканты, художники, костюмеры, портные. Сумма затрат составила 51 952 рубля 38 копеек<sup>43</sup>.

К этому времени уже сложилась традиция изображения новой императрицы как спасительницы Отечества, унаследованная от времен Елизаветы Петровны. Августейшая свекровь Екатерины всячески подчеркивала, что она «дщерь Петрова», его прямая и единственно законная наследница, продолжательница славных дел. В ее поэтическом прославлении восторжествовала формула: Елизавета — это Петр сегодня<sup>44</sup>.

С Екатериной дело обстояло иначе. Она не была кровной русской государыней, не имела прав на престол. Ее дорога под державную длань Петра пролегла через круг богов, признававших смертную женщину равной себе по талантам и добродетелям. На этом пути имелась досадная, но необходимая задержка. Благодаря оде М. В. Ломоносова, посвященной новой государыне, сначала утвердилась трактовка: Екатерина — это восставшая из гроба Елизавета:

Внемлите все пределы света  
И ведайте, что может Бог!  
Воскресла нам Елизавета:  
Ликует церковь и чертог.

Тождество с покойной государыней подчеркивалось и поэтически: «Елизавета, Катерина, / Она из обоих едина», — и наглядно. Ведь во время переворота императрица, как за двадцать лет до этого ее предшественница, скакала верхом в гвардейском мундире. Именно так обеих изобразили художники. Много лет работавший в России Георг Гроот написал в 1743 году хорошо известный зрителям «Конный портрет императрицы Елизаветы Петровны с арапчонком». Переосмыслением его стал портрет Екатерины II в день переворота 28 июня 1762 года кисти Фосойэ. Знаменитый портрет Ф. С. Рокотова «Екатерина II в коронационном платье», написанный в 1763 году, заметно округлял формы и сглаживал чеканный профиль модели под



знакомые публике более мягкие и расплывчатые черты Елизаветы. Но еще проще дело обстояло с гравюрами — не мудрствуя лукаво, резчики слегка изменяли лицо на деревянных формах для оттисков и превращали покойную Елизавету в ныне здравствующую Екатерину. Излишне говорить, что регалии, платье, фигура и поза оставались прежними.

Однако новой государыне такие рамки были явно малы. Быстро почувствовавшие это, придворные стихотворцы взялись за обработку темы «божественности» применительно к Екатерине. А. П. Сумароков в оде «На день тезоименитства 1762 года» восклицал: «Бог ангела на трон вознес». Он же первый ощутил необходимость «освятить» будущие деяния императрицы могучей тенью Петра. В его стихах великий преобразователь с небес благословляет Екатерину.

Маскарад «Торжествующая Минерва» вводил императрицу в круг античных божеств и дарил ей удачно выбранную роль Афины Паллады — богини мудрости. Имя Минервы настолько крепко срослось с именем Екатерины, что даже стало его синонимом — «Северная Минерва». Именно от этого первого маскарада взяла начало традиция славословить государыню в образе мудрой дочери Зевса. Понятно, кто имелся в виду под грозным отцом богов и громовержцем.

Любопытна кантата итальянского композитора В. Манфредини «Соперницы», написанная к 28 июня 1765 года, специально к торжествам по случаю трехлетней годовщины восшествия Екатерины на престол. Минерва и Венера просят Юпитера рассудить их. Кто более достоин поклонения: «богиня художеств, свет наук и крепкая надежда героев» или «мать бога любви, увеселение человеческого рода»? Юпитер спрашивает Аполлона, нет ли среди людей женщины, одаренной достоинствами обеих соперниц. Феб указывает на Екатерину, а хор поет:

Отец богов! Да обожаем  
В ней образ твой и прославляем<sup>45</sup>.

На правах Премудрой Матери Отечества, Афины и Афродиты в одном лице Екатерина уже могла дотя-

нуться до Петра. Но она старалась подчеркнуть не кровное, а духовное родство с ним. Ее роль — продолжательницы петровских деяний — закрепились и в живописи, и в скульптуре. На портрете Екатерины кисти А. Рослина 1776—1777 годов видна надпись над бюстом Петра: «Начатое свершаю». А строка золотом на постаменте Медного Всадника: «Петру Первому Екатерина Вторая» — выразила мысль о прямой преемственности наиболее сжато и точно. Создается впечатление, что между одним великим государем и другим никого больше не было.

### *«Блюда по чинам»*

Застолье занимало в жизни человека XVIII века важное место. Современными критиками не без сарказма замечено, что в теперешней русской литературе описание еды сводится к перечислению «закуски» и выполняет служебную роль по отношению к стержневому действию — «выпивке». Причем последняя имеет самостоятельную, подчас сюжетобразующую и моральную ценность, в то время как вкушение пищи таковую утратило.

Два столетия назад все было по-иному. Застольное действие с его сложной культурой и ритуалами далеко выплескивалось за рамки простого пережевывания пищи и сплетен. Оно носило объединяющий характер — наследие княжеских пиров. Служило реальным воплощением гостеприимства как почитаемой и строго исполняемой традиции. Пир, званый обед, открытый стол, вместе с другими видами собраний, формировали общественное мнение. Здесь разговоры с глазу на глаз неожиданно могли стать публичными. Вспомним, как придворные Елизаветы Петровны боялись молвить за ее столом лишнее словцо. И как легко лилась беседа у Екатерины, сдерживаемая лишь рамками внешних приличий.

Естественно, бывали собрания куда более свободные — например гвардейские попойки. И куда более чопорные — постная трапеза в архиерейском доме. Но

и те и другие выполняли одну социальную функцию. Собирали людей в единый круг, смягчали их взаимоотношения посредством совместного вкушения пищи и тем снимали часть межличностных и межсословных противоречий. Так, открытый стол у любого начальника, за которым могли обедать его подчиненные, не устанавливал панибратства. Он демонстрировал заботу старшего о младших по службе и вводил низших в дом высшего на правах патроната. Вновь мы упираемся в особую форму семейственности, пронизывавшей все русское общество того времени, семейственности, построенной не только по горизонтали (родственные связи с равными), но и по вертикали (покровительство нижестоящим).

Стол в этом вопросе играл важнейшую роль. Кроме того, наши предки просто любили поесть. Стихи Г. Р. Державина — этот гимн чревоугодия — подчас соединяли все удовольствия мира в один букет. Изобильная трапеза, напитки, льющиеся рекой, и юные вакханки, дарящие любовь участникам холостяцких пирушек:

Вот красно-розово вино  
За здравье выпьем жен румяных.  
Как сердцу сладостно оно  
Нам в поцелуях уст багряных!

.....  
Ты тож, смуглянка, хороша:  
Так поцелуй меня, душа!

Впрочем, еда имела и самодовлеющую ценность и описывалась с не меньшим энтузиазмом, чем дары девичьих уст:

Шекснинска стерлядь золотая,  
Каймак и борщ уже стоят;  
В графинах вина, пунш, блистая  
То льдом, то искрами, манят...

.....  
И алиатико с шампанским,  
И пиво русское с британским,  
И мозель с зельцерской водой...

Во время трапезы у богатых господ оркестры исполняли музыку. «Признаюсь, мне очень нравится слушать

звуки музыки, сидя за столом, — писала Виже-Лебрён. — Это, пожалуй, единственное, что возбуждало во мне желание быть очень знатной дамой, или, по крайней мере, весьма богатой»<sup>46</sup>.

Обеденное время определялось в любой стране Европы по-разному. Везде имелись свои традиции. В течение екатерининского царствования оно переместилось с часа пополудни к половине третьего. Но и это не считалось самым поздним рубежом. Например, сестра последнего фаворита Платона Зубова — Ольга Жеребцова, приглашая гостей «на обед», имела в виду восемь вечера. Графиня была в связи с английским послом лордом Чарльзом Витвортом (Уитвортом) и, «чтобы угодить ему, обедала, как принято в Лондоне». Попавшая в ее дом Виже-Лебрён писала, что чуть не умерла от голода, ожидая еды с трех до восьми. Когда же начали разносить блюда, она не смогла проглотить ни куска, поскольку у нее разболелся желудок.

Британцев, приезжавших в Россию, напротив, сбивал с толку обед в середине дня. Им казалось более удобно есть ближе к вечеру. «Хотелось бы... заниматься часов до пяти, — писала Кэтрин Вильмот, — но в час или полвторого раздается звон обеденного колокола — похоронный звон по всем занятиям и досугу, и мы собираемся, чтобы приступить к торжественной долгой трапезе, во время которой от вас безо всякого снисхождения ждут, что вы будете есть каждое предлагаемое блюдо... Княгиня гордится дарами своей фермы, маслодельни, садов, теплиц и оранжерей. Мне очень понравился национальный напиток России — квас; приготовленный на кухне княгини, он вкуснее шампанского, правда, в других домах бывает невыносим. К обеду подается излюбленное блюдо — мед со свежими огурцами, а кроме того: финики, пирог с яблоками, молочный поросенок, сливки, супы (в том числе рыбный), пирожки с яйцами, разнообразные салаты и холодные закуски... В шесть часов семья собирается к чаю, а в полдесятого или в десять — на плотный ужин с горячим. И с этим ничего нельзя поделать!»<sup>47</sup>

Европейцам бывало трудно не только «есть, как русские», но и пить. В 1765 году Казанова попал на обед к

А. Г. Орлову, устроенный после воинского смотра в трех верстах от Петербурга. За столом на восемьдесят персон итальянец оказался рядом с секретарем французского посольства, который «возжелал пить на русский манер и, сочтя, что венгерское вино напоминает легкомысленное шампанское», заметно перебрал. Встав из-за стола, он не держался на ногах. «Граф Орлов выручил его, велел пить, пока не сблюет, и тогда его уснувшего унесли.

За веселым застольем изведаль я образчики того, что в тамошних краях остроумием почитается... Мелиссино встал, держа кубок в руках, наполненный венгерским... Он пил за здоровье генерала Орлова и сказал так:

— Желая тебе умереть в тот день, когда станешь богат!

Все принялись хлопать... Ответ Орлова показался мне более мудрым и благородным, хотя опять же татарским, ибо вновь речь шла о смерти:

— Желая тебе умереть от моей руки.

Рукоплескания еще сильнее. У русских энергичный разящий ум. Их не заботят ни красота, ни изящество слога, они тотчас берут быка за рога»<sup>48</sup>.

Путешествуя в Москву, Казанова с любопытством отмечал застольные обычаи, непривычные для Европы. «Что до еды, она тут обильная, но не довольно лакомая. Стол открыт для всех друзей, и приятель может, не церемонясь, привести с собой человек пять-шесть, проходящих иногда к концу обеда. Не может такого быть, чтобы русский сказал: “Мы уже отобедали, вы припозднились”. Нет в их душе той скверны, что побуждает произносить подобные речи. Это забота повара, и обед возобновляется, хозяин или хозяйка потчуют гостей»<sup>49</sup>.

Простота нравов, показанная Казановой, заметно изменилась к концу столетия. Если в середине века стол русского вельможи при всем изобилии яств еще отличался грубостью, то в 90-х годах французские повара-эмигранты преобразили пиры. После революции их в России оказалось множество, и они наперебой предлагали услуги не только богатым господам, но и содержателям трактиров. «У большинства вельмож слу-

жили французские повара, и кушанья по своей изысканности не оставляли желать ничего лучшего. За четверть часа до того, как садиться за стол, приносили всяческого рода напитки с масляными тартинками. Пить после обеда было не принято, кроме подававшейся превосходной малаги»<sup>50</sup>.

Изысканность пиров столичной знати заставляла купечество подражать великосветским господам. Средства для этого имелись, и своим богатством обеды откупщиков не уступали званым обедам титулованных особ. Так, стихотворение Державина «К первому соседу» посвящено купцу С. М. Голикову, жившему на Сенной площади и позднее попавшему под суд за контрабанду:

Кого роскошными пирами  
На влажных невских островах,  
Между тенистыми древами,  
На мураве и на цветах,  
В шатрах персидских золотошвенных,  
Из глин китайских драгоценных,  
Из венских чистых хрусталей,  
Кого столь славно угощаешь,  
И для кого ты расточаешь  
Сокровища казны своей?

Гремит музыка, слышны хоры  
Вкруг лакомых твоих столов;  
Сластей и ананасов горы  
И множество других плодов...

Однако богатство не решало всего. Сегюр отмечал, что в 80-е годы, когда он приехал в Россию, трапезы купцов отличались тяжеловесной неразборчивостью: «Богатые купцы в городах любят угощать с безмерною и грубою роскошью: они подают на стол огромнейшие блюда говядины, дичи, рыбы, яиц, пирогов, подносимых без порядка, некстати и в таком множестве, что самые отважные желудки приходят в ужас»<sup>51</sup>.

Зачастую даже очень состоятельное купечество не умело еще поддерживать на пирах веселую беседу или развлекаться музыкой. Более того, вступал в действие старый закон допетровских трапез: «Когда я ем, я глух и нем» — свято сохранявшийся вне дворянского сосло-

вия. В Московской Руси считалось неприличным разговаривать во время еды. Поэтому трапеза в купеческой среде была посвящена исключительно поглощению пищи. На иностранцев это производило гнетущее впечатление.

«Я была приглашена к обеду одного московского банкира, — рассказывала Виже-Лебрён, — невероятно толстого и невероятно богатого. За столом сидело восемнадцать гостей, и в жизни не видела я собрания стольких безобразных и невыразительных лиц, воистину людей денег. Один только раз взглянула я на них и больше не осмеливалась поднять глаз, не желая снова видеть эти физиономии; не было никакой беседы, и они походили бы на манекенов, если бы не поглощали еду с жадностью каннибалов. Так прошло четыре часа; от досады мне чуть не стало дурно, и, сославшись на нездоровье, я удалилась от стола, за коим, быть может, они остаются и до сего времени»<sup>52</sup>.

Весьма поражала иностранцев и традиция потчевать гостей, то есть уговаривать отведать того или иного блюда. Современный человек не сразу может догадаться, зачем донимать приглашенных, заставляя их пробовать все яства, да еще обижаться, если они не способны проглотить более ни куска. Екатерина II, например, очень не любила, когда ее потчевали и говорила, что «у нас способны запотчевать до смерти». Однако у этой традиции было свое объяснение. Не все блюда предназначались для *всех* гостей. За одним столом оказывались и высокородные господа, и люди попроще. Трапеза не уравнивала их в правах. Лучшие закуски предназначались для самых именитых. Поэтому собравшиеся к обеду зачастую ждали, пока хозяин не укажет, что им есть.

Е. П. Янькова описывала, как ее бабушка Евпраксия Васильевна Шепелева (урожденная Татищева) принимала у себя в доме родню второго мужа Мавру Егоровну Шувалову (урожденную Шепелеву), близкую подругу Елизаветы Петровны и жену одного из крупных елизаветинских вельмож — П. И. Шувалова. «День назначили. Бабушка послала несколько троек туда-сюда: кто поехал за рыбой, кто за дичью, за фруктами, мало

ли за чем? Званный обед. Шепелева угощает графиню Шувалову, — стало быть пир на весь мир. Бабушка была большая хлебосолка и не любила лицом в грязь ударить. Надобно гостей назвать: не вдвоем же ей обедать с графиней. Послала звать соседей к себе хлеба-соли откушать; и знатных, и незнатных — всех зовет: большая барыня никого не гнушается; ее никто не уронит, про всех у нее чем накормить достанет... Не забыли и попа с попадьей. Попадью бабушка очень любила и ласкала; соскучится бывало и позовет... “Что ж это ты дела своего не знаешь, ко мне не идешь который день?” Та начнет извиняться: “Ах, матушка, ваше превосходительство, помилуйте, как же я могу незваная прийти”. Бабушка как прикрикнет на нее: “Что ты, в уме, что ли, дура попова, всякий вздор городишь. Вот новости: незваная! Скажите на милость: велика птица, зови ее! Взяла бы сама да и пришла”».

Пробил час обеда. Дворецкий доложил: «Кушать подано». Хозяйка взяла графиню за руку, отвела ее к столу, а у дверей заметила попадью и сказала ей, «желая приласкать»: «Ну, попадья, ты свой человек; сегодня не жди, чтобы я тебя потчевала, а что приглянется, то и кушай». Из этого предложения вышел большой конфуз.

«Сели за стол. Что ни блюдо — то диковинка. Вот дошло дело до рыбы. Дворецкий подходит к столу, чтобы взять блюдо, стоит и не берет. Бабушка смотрит и видит, что он сам не свой, чуть не плачет. “Что такое?” Подают ей стерлядь разварную на предлинном блюде; голова да хвост, а самой рыбы как не бывало... Бабушка смотрит кругом на всех гостей, видит, попадья сидит, как на иголках, — ни жива, ни мертва... Все гости опустили глаза, ждут — вот будет буря. “Попадья, ты это съела у меня рыбу?” — грозным голосом спрашивает бабушка.

— Виновата, матушка, государыня... сглупила.

Бабушка расхохоталась, глядя на нее — и все гости.

— Да как же это тебе в ум только пришло съесть что ни на есть только лучшую рыбу?»

Попадья заплетающимся от страха языком объяснила, что хозяйка сама позволила ей, не ожидая потчевания, брать приглянувшееся блюдо.



«— Села я за стол, смотрю, рыба стоит передо мной большая, — хороша, должно быть, съем-ка я, отведу, да так кусочек за кусочком, глоток за глотком, смотрю, — а рыбы-то уж и нет.

Бабушка и графиня хохочут пуще прежнего...

— Ну, попадья, удружила ты мне, нечего сказать! Я нарочно за рыбой посылаю невесть куда, а она за один присест изволила скушать! Да разве про тебя это везли?

И обратившись к дворецкому сказала: “Поди, ставь попадье ее объедки, пусть доедает за наказание, а нам спросите, нет ли еще другой какой рыбы”. Принесли другое блюдо рыбы — больше прежней.

Я думаю, что вся эта проделка попадьи была заранее подготовлена, чтобы посмешить гостей; тогда ведь это водилось, что держали шутов и шутих»<sup>53</sup>, — заключала Янькова.

Между описанием пира у властной подмосковной барыни и рассказами о вполне европейских званых обедах из записок Виже-Лебрён — более полувека. За это время многие грубые стороны застольного быта успели изгладиться. Нравы смягчились, а развлечения потеряли оттенок оскорбительности для тех, кто стоял социально ниже хозяев. И все же традиция потчевания и ее неизбежная сопровождающая — неравенство за столом — остались. Недаром в «Евгении Онегине» Пушкин замечает про помещиков Лариных:

И за столом у них гостям  
Носили блюда по чинам.

Побывав на званом обеде, нужно было непременно позвать хозяев к себе. Неумение или нежелание устраивать застолья считалось признаком скаредности. В отличие от «бабушки-хлебосолки» скупая тетка Яньковой — Марья Семеновна Корсакова — прослыла эдаким Плюшкиным в чепце и капоте. Она располагала приличным состоянием, однако никогда не обедала дома. В гостях за столом Корсакова выбирала какое-нибудь яство и говорила хозяйке: «Как это блюдо, должно быть, вкусно, позвольте мне его взять». После чего приказывала лакею отнести кушанье к себе в карету. «Так она собирает целую неделю, а в субботу зовет

обедать к себе и потчует вас вашим же блюдом». Как-то по городу прошел слух, будто пожилая дама увезла к себе поросенка. При встрече Янькова спросила кузину: «Скажи, пожалуйста, сестра Елизавета, где это вы на днях стянули жареного поросенка?» В ответ она услышала: «Вот какие бывают злые языки! Никогда мы поросенка ниоткуда не возили, а привезли на днях жареную индюшку!»<sup>54</sup>

Большой популярностью пользовались трапезы в восточном или греческом стиле. Они обычно устраивались на лоне природы и носили дружеский, неофициальный характер. Так, в сельском доме генерал-фельдцейхмейстера П. И. Мелиссино под Петербургом имелась турецкая баня, а возле нее сад — лучшее место для проведения подобных обедов. Мелиссино долго служил в Константинополе и знал толк в восточных удовольствиях. «Там была устроена баня с верхним освещением, — вспоминала Виже-Лебрён. — Стоявшая посреди большая ванна могла вместить дюжину персон, и в нее спускались по ступенькам; для обтирания на окружавшей сей бассейн позолоченной балюстраде лежали большие полотенца из индийского муслина, расшитые по краям золотыми цветами, чтобы тяжесть золота удерживала их на месте»<sup>55</sup>. В саду трапезу сервировали под красным турецким тентом. Подавали константинопольские блюда, множество восточных сладостей и напитков.

Ориентальная тема проявлялась во всех областях культуры от одежды великосветских дам, которые на портретах В. Л. Боровиковского и И. Б. Лампи Старшего изображались в стилизованных чалмах-повязках, до бань и трапез. Параллельно ей классицизм диктовал интерес к греческой традиции. Еще в Париже Виже-Лебрён устроила первый «греческий ужин». В ее мастерской собралось несколько друзей. Случайно возникла мысль переодеться в античные костюмы, которые художница использовала для моделей, и задрапироваться в шали наподобие туник. Кому-то достался лавровый венок, кому-то бутафорская лира. Гости пели глюковский хор «Бог Пафоса», ели медовый пирог с коринфским виноградом и запивали

кипрским вином, старая бутылка которого имела у хозяйки. Уже на следующий день о греческом вечере говорили в Версале, баснословно раздув его стоимость<sup>56</sup>.

Пиршества с ориентальным привкусом устраивал светлейший князь Г. А. Потемкин во время войны с Турцией. Пока войска стояли на зимних квартирах в Яссах или Бендерах, а боевые действия не возобновлялись, к мужьям-офицерам съезжались из России жены. Ставка начинала напоминать двор. В. Н. Головина вспоминала о своей поездке на юг в 1788 году: «Вечерние собрания у князя Потемкина устраивались все чаще. Волшебная азиатская роскошь доходила в них до крайней степени... В те дни, когда не было бала, общество проводило вечера в диванной. Мебель здесь была покрыта турецкой розовой материей, затканной серебром, на полу лежал златотканый ковер. На роскошном столе стояла курильница филигранной работы, распространявшая аравийские ароматы. Разносили чай нескольких сортов... На княгине Долгорукой был костюм, напоминавший одежду султанской фаворитки — не хватало только шаровар»<sup>57</sup>.

Тосты во время праздничных застолий сопровождались ружейной пальбой и трубными звуками. Каждый гость должен был пить за здоровье виновника торжества. А если собиралось человек сорок-пятьдесят, то нескончаемые здравицы мешали есть и разговаривать. Когда главный гость уезжал, все должны были последовать его примеру. Хозяин мог не церемониться. Так, граф Алексей Орлов, принимавший у себя в московском дворце Дашкову, сразу после ее отбытия «прямо и недвусмысленно велел остальным идти по домам».

До начала XIX века в старой столице сохранился обычай, когда знатные люди вставали за стульями наиболее именитых, титулованных и уважаемых гостей, чтобы прислуживать им вместо лакеев. При Елизавете Петровне он еще был в употреблении. В екатерининское царствование эта традиция постепенно исчезала из жизни двора. Однако известно, что князь Потемкин неизменно вставал за стулом государыни и садился

только после ее настоятельной просьбы. Иногда за стол присаживались только дамы, а кавалеры должны были, проявив галантность, служить им. Однако к концу XVIII столетия подобные порядки встречались все реже. В Первопрестольной доживало век несколько старичков, которым общество не могло отказать в таком уважении, — Е. Р. Дашкова, А. Г. Орлов, И. А. Остерман, А. М. Голицын.

В русских домах было не принято, чтобы мужчины и женщины проводили время после обеда порознь. Москвичи предпочитали не разъединяться на небольшие кружки, а садиться всем вместе и болтать, что в голову взбредет. Это подчас удивляло иностранцев. «Ни ярко горящего камина, вокруг которого собираются замерзшие, ни карточного стола, этого прибежища скучающих одиночек, ни диванчиков у окон или уголков, где кто-то флиртует, — писала Марта Вильмот. — Все общество сосредоточивается в одном месте, и, к моему вящему удивлению, каждое произнесенное слово явственно слышно всем»<sup>58</sup>.

Свежие фрукты и овощи на столе московских господ поражали гостью не меньше, чем тридцатиградусные морозы. Зимой ей довелось отведать спаржу, виноград с голубиное яйцо, персики, сливы. «Представьте себе, как совершенно должно быть искусство садоводов, сумевших добиться, чтобы природа забыла о временах года», — писала она матери. Речь шла об урожае из многочисленных подмосковных оранжерей. «Сейчас в Москве на тысячах апельсиновых деревьев висят плоды. В разгар сильных морозов цветут розы, у меня в комнате благоухают изумительной красоты гиацинты. Недаром говорится, что любая вещь ценна не сама по себе, а в связи с трудностями ее получения... Но ведь все дело в том, что невозможное становится возможным, оттого что любая прихоть господина — закон для крепостного... Природа наделила русских крестьян редкой сообразительностью, и, возможно, разнообразием своих талантов они обязаны капризам господ. А господа их — часто низкие, ограниченные животные, церберы, говорящие на трех, а то и на пяти иностранных языках»<sup>59</sup>.

## «Курица в супе»

В сельскохозяйственной, крестьянской стране продукты питания стоили сравнительно дешево. Только вино выбивалось из общего списка — ведро в зависимости от сорта могло оцениваться в пределах 2 рублей 23 копеек — 3 рублей. В то время как годовой оброк с государственных крестьян редко превышал 3—4 рубля, а общие ежегодные выплаты крестьян в пользу государства и помещиков в виде налогов и оброка составляли 8—10 рублей<sup>60</sup>.

Рожь стоила 60 копеек — 1 рубль за четверть. (В Петербурге и Москве из-за спроса значительно выше — два-три рубля.) Пшеница считалась едой для богатых, она оценивалась в 1 рубль 50 копеек — 2 рубля. Пуд соли — в 35 копеек. Быков продавали по 3—4 рубля, овец — по 50—70 копеек, баранов — по 30—50 копеек, свиней — по 60—80 копеек, цыплят — по 5—15 копеек, индеек — по 20—40 копеек.

В богатых домах московских дворян хороший обед считался безделицей. За исключением экзотических яств, продукты не экономили. Русская расточительность в еде казалась Марте Вильмот почти святотатством: «Слуги, проходя чередой, предлагают вам одно за другим 50—60 различных блюд — рыбу, мясо, птицу, овощи, фрукты, супы из рыбы, сверх того — вино, ликеры. Изобилие стола невозможно описать. Сколько раз мне хотелось продукты, растраченные зря на этих утомительных обедах, переправить в мою маленькую Эрин, где так часто недостает того, что тут ставится ни во что. Самые бедные люди имеют пропитание в достатке, незнакомом нашим беднякам»<sup>61</sup>. Комментируя этот пассаж, издатели переписки сестер Вильмот обычно ссылаются на тяжелое положение Ирландии — самой нищей страны тогдашней Европы. Но дело не только в этом. Откуда бы ни приезжали в Россию путешественники, первое, на что они обращали внимание — это «дешевизна жизненных припасов».

В 1767 году Екатерина II, путешествуя по Волге, писала Вольтеру: «Здесь народ по всей Волге богат и весьма сыт... и я не знаю, в чем бы они имели нужду»<sup>62</sup>. Пере-

фразируя знаменитую фразу Генриха IV: «Я хотел бы, чтобы каждый француз имел курицу в супе», императрица заявляла, будто русские крестьяне не только могут есть курицу, когда пожелают, но и стали с некоторых пор предпочитать индейских петухов. На фоне приведенных цен эти слова вовсе не выглядят издевательством. Одно крестьянское хозяйство содержало 10—12 лошадей и 15—20 коров, от 5 до 50 кур, уток, гусей и индюшек. (Это положение полностью изменилось в послереформенной русской деревне, обнищавшей из-за малоземелья и выкупных платежей.) Простая сивка-бурка стоила 4—7 рублей (в столицах породистые лошади оценивались от 20 до 70 рублей). Покупка буренки могла облегчить семейную кубышку на 2—3 рубля<sup>63</sup>.

Знакомая нам со школьной скамьи картинка крестьянского обеда у А. Н. Радищева — хлеб «из трех частей мякины и одной несееной муки» и «кадка с квасом, на уксус похожим»<sup>64</sup> — результат трехлетней засухи и неурожая, охвативших в 1787—1790 годах Центральную и Восточную Европу. Затянувшаяся война с Турцией и Швецией тоже не способствовала повышению благосостояния, ибо налоги росли. Однако назвать крестьянскую трапезу по Радищеву типичной для всего XVIII века нельзя. Недовольство населения вызывал отнюдь не голод. Во время той же поездки по Волге Екатерине II было подано более 600 челобитных — жалобы на злоупотребления местной администрации и на притеснения помещиков<sup>65</sup>. Через шесть лет окраины займутся огнем пугачевщины, которую спровоцируют серьезные пороки управления и опять-таки затянувшаяся война 1768—1774 годов. Характерно, что о голоде или хотя бы недостатке пищи ни в казачьих районах, ни в Поволжье сведений нет.

Недаром Дашкова в разговоре с Дидро о просвещении и освобождении крестьянства сравнивала русский народ со слепым младенцем, который сидит на краю пропасти и «хорошо ест». Откройте ему глаза — он немедленно испугается, забудет про аппетит и чего доброго свалится вниз. «Приходит глазной врач и возвращает ему зрение... И вот наш бедняк... умирает в цвете

лет от страха и отчаяния»<sup>66</sup>. Другими словами, русские крестьяне не просвещены, несвободны, но сыты.

Этим не могли похвастаться более цивилизованные страны. Чем больше Марта Вильмот жила в России, тем снисходительнее становились ее суждения «о рабстве»: «Дай Бог нашим Пэдди (как я люблю этих милых бездельников...) наполовину так хорошо одеваться и питаться круглый год, как русские крестьяне... Те помещики, которые пренебрегают благосостоянием своих подданных... либо становятся жертвами мести, либо разоряются». Как раз один такой случай мести произошел вскоре после прибытия Марты в Москву: «Господин Хейтрифф владел спиртным заводом. Он, видимо, отдал несколько жестоких распоряжений, крестьяне восстали и бросили его в кипящий котел»<sup>67</sup>.

Побывав в 1777—1778 годах во Франции, Д. И. Фонвизин был потрясен нищетой простонародья. Драматург писал из Парижа брату своего покровителя Петру Ивановичу Панину, что «русские крестьяне при хороших хозяевах живут лучше, чем где бы то ни было в мире», у них есть чем растопить печь, согреть и накормить семью. «Ни в чем на свете я так не ошибался, как в мыслях моих о Франции... Мы все, сколько ни есть нас русских, вседневно сходясь, дивимся и хохочем, сообщая то, что видим, с чем мы, развеся уши, слушивали»<sup>68</sup>. Наполеон позднее говорил, что избежать революции можно было только «позолотив цепи», то есть накормив голодные рты, а на это у королевской власти не было средств.

В 1776 году Екатерину II в Петербурге посетил шведский король Густав III. Одним из частных предметов разговора было желание гостя, чтобы Россия обязалась выдавать тех подданных Швеции, которые перебегают через границу. В основном это были рыбаки — на русской стороне жилось сытнее. Во время подготовки Верельского мира со Швецией 1790 года король попробовал повторить свое требование, но встретил отказ Екатерины, заботившейся об увеличении числа подданных. Любопытны материалы работы шведской инквизиции XVII—XVIII веков. Главной причиной «посещения шабашей» крестьяне называли дьявольское

пиршество, на котором ведьмы угощали их «кашей и щами с плававшим куском масла»<sup>69</sup>. Перед нами пример массовой истерии на почве постоянного недоедания. Пища стала для несчастных маниакальной идеей, и они готовы были продать за нее душу.

В отличие от северной соседки жизнь впроголодь не была в XVIII столетии типичной чертой быта податных сословий России. Даже очень критично настроенный по отношению к русской реальности французский дипломат М. Д. де Корберон описывал в дневнике 1779 года изобилие продуктов в Петербурге: «Мы... посетили тот знаменитый рынок близ крепости (Петропавловской. — *О. Е.*), где выставлены все съестные припасы в замороженном виде, привезенные из внутренних мест страны. Эта армия мороженых свиней, баранов, птицы и т. д. — удивительное зрелище, способное излечить от ожорства»<sup>70</sup>.

Гедонистические наслаждения русского дворянства за пиршественными столами не несли в себе ничего циничного. Напротив — лишь подчеркивали жизнерадостный настрой общества в целом. Подчас он проявлялся в резком переходе от карнавального разгула к строжайшему воздержанию. Во время Масленицы веселье не прекращалось ни на час. Огромный город спешил натанцеваться и наесться перед Великим постом. «В 12 же часов последнего дня Масленицы на веселом балу, где соберется пол-Москвы, мы услышим торжественный звон соборного колокола, который возвестит полночь и начало Великого Поста. Звон этот побудит всех мгновенно отложить ножи и вилки и прервать сытный ужин. В течение шести недель поста запрещается не только мясо, но также рыба, масло, сливки (даже с чаем или кофе) и почти вся еда, кроме хлеба»<sup>71</sup>. Марта сгущала краски. Вскоре она узнала, что постный стол изобиловал рыбой. «Разнообразие постных блюд неопишимо, сегодня их было 23, — удивлялась девушка. — ...Рыбу готовят на всевозможный лад, начиняют ею маленькие пирожки, варят супы»<sup>72</sup>. В Москве ирландка познакомилась с дорогим напитком — миндальным молоком, которое выжимали из орешков и добавляли в кофе или чай.



## *Открытый стол и гостеприимство*

Наследием елизаветинского царствования был так называемый открытый стол, традиция которого свято сохранялась при Екатерине II как один из символов национального гостеприимства. По обычаю крупные вельможи ежедневно принимали у себя за обедом не только членов семьи и специально приглашенных гостей, но и любого человека благородного происхождения — русского или иностранца, оказавшегося в столице без пропитания. Столы накрывались на сорок—шестьдесят персон, и за них мог сесть всякий дворянин, приехавший из провинции по делам или находившийся в городе в связи со служебной необходимостью. Излишне говорить, что небогатые офицеры или просители, месяцами дожидавшиеся сенатского решения, изрядно издерживались в Петербурге. Порой у них не хватало денег на крышу над головой. Открытый стол значительно облегчал жизнь. Можно было, не тратя ни копейки, переходить из дома в дом, обедая у знакомых и незнакомых.

Виже-Лебрён встретила с обычаем открытого стола у графа А. С. Строганова. «В Санкт-Петербурге, а также в Москве, целая толпа вельмож, владеющих колоссальными состояниями, держит открытый стол, так что для пользующихся известностью или имеющих хорошие рекомендации иностранцев нет ни малейшей надобности прибегать к услугам ресторатора. Вы везде найдете обед или ужин... Обер-шталмейстер князь Нарышкин постоянно имел открытый стол на двадцать-тридцать кувертов для рекомендованных ему иностранцев. Русские столь любят обедать вместе с гостями, что мне стоило больших усилий отказываться от приглашений»<sup>73</sup>.

В екатерининское царствование открытые столы держали: К. Г. Разумовский, И. И. Шувалов, братья Орловы, Н. И. Панин, Г. А. Потемкин, И. А. Остерман, А. А. Безбородко, Н. В. Репнин, Н. И. Салтыков, А. С. Строганов, Л. А. Нарышкин и многие другие вельможи. Кроме того, каждый из них оказывал гостеприимство небогатым землякам, приехавшим из губерний, где знатные гос-

пода родились или имели большие владения. Все помещичье дворянство чаще всего находилось в родстве, свойстве или кумовстве. Считалось естественным «радеть родному человечку», помогать пристраивать сыновей в полк, а дочерей замуж. Покровительство воспринималось как священная обязанность. Узы патроната пронизывали все общество. В свою очередь, выдвинутые по службе земляки и родня составляли во круг крупного вельможи когорту преданных и наиболее надежных приверженцев. Так, Потемкин посылал с почтой и секретными поручениями только курьеров из смоленских дворян, которым сам помог пробиться. Принцип родства и землячества играл важную роль при формировании придворных группировок.

Когда русские вельможи по служебным делам попадали за границу, обычай открытого стола для подчиненных и иностранных визитеров сохранялся. Подчас хозяин мог быть очень занят и прямо за трапезой разбирать бумаги. Но он, тем не менее, возглавлял стол и старался переговорить с теми, у кого имелось к нему дело. В 1770 году в Ливорно, где стояла русская эскадра под командованием А. Г. Орлова, Казанов побывал на обеде у своего прежнего знакомого. Итальянец желал получить какую-нибудь должность при штабе адмирала, но у графа не имелось вакансий. Можно было присоединиться к Алексею Григорьевичу в качестве гостя, но такое неопределенное положение не устроило Казанову:

«Он возвращается в два и садится за стол с теми, кто первым успел занять места. К счастью, я попал в их число. Приговаривая: “Кушайте, господа, кушайте”, Орлов беспрестанно читал письма и возвращал их секретарю, сделав пометки карандашом. После застолья, где я и рта не раскрыл, когда все поднялись пить кофе, он взглянул на меня, вскочил и с “а кстати” взял меня под руку, отвел к окну и сказал, чтоб я поскорей отправлял свои пожитки, ибо, если ветер не переменится, он отчалит еще до утра»<sup>74</sup>.

Большие начальники держали открытый стол для чиновников своих учреждений, а командиры гвардейских полков — для офицеров. Это серьезно экономило

жалованье и воспитывало корпоративный дух. Чувство благодарности в таких случаях сглаживало служебные конфликты. Христианская этика заставляла богатых господ рассматривать свое имущество как данное Богом, а значит, и могущее в один прекрасный момент быть отнято. Вельможами владело не то чтобы ощущение вины за благополучие — такого чувства русский XVIII века не знал, но понимание необходимости жертвовать часть состояния окружающим. Это поддерживало их статус в собственных глазах. Полвека спустя знаменитый наместник Новороссии и Кавказа граф М. С. Воронцов напишет своему сыну: «Люди с властью и богатством должны так жить, чтобы другие прощали им эту власть и богатство». Вельможам XVIII столетия приглянулась чеканная формула Державина: «Сам живи и жить давай другим».

По отзывам иностранцев, гостеприимны были не только состоятельные господа, но и простолюдины. Считалось правильным принимать у себя путешественников, не требуя с них мзды. Крестьяне придорожных сел порой превращали обслуживание проезжающих в доходный промысел. Но люди с минимумом достатка уже смущались спросить с гостя денег. Точно так же, как небогатые дворяне приезжали к знатному покровителю и селились в его столичном доме, большой барин, путешествуя, запросто искал ночлег и стол под кровом любого благородного семейства. Виже-Лебрён писала: «Гостеприимный сей характер сохранился и во внутренних провинциях России... Когда русские вельможи отправляются в свои имения... по дороге они останавливаются в замках своих соотечественников, даже не будучи лично с ними знакомы. Там их вместе с прислугою и лошадьми принимают самым лучшим образом, даже если они задерживаются на месяц. Более того, я встречала одного путешественника, который со своими двумя приятелями пересек всю сию обширную страну. Все трое проехали через самые отдаленные провинции словно во времена патриархов или во дни “золотого века”. Везде их встречали с таким гостеприимством, что у них так и не возникло надобности открывать собственные кошельки. Им даже не удавалось соблазнить деньгами слуг

и конюхов, смотревших за лошадьми. Хозяева этих домов были по большей части купцами или людьми, жившими от земли, и они удивлялись живости приносимых им благодарностей: «Если бы мы оказались в вашей стране, ведь и вы сделали бы то же самое для нас». Увы!»<sup>75</sup>

Слова художницы кажутся преувеличением, но их подтверждала Марта Вильмот, совершившая с княгиней Дашковой поездку в Белоруссию: «На ночь остановились в помещичьем доме. Хозяин был в отъезде, но мы воспользовались русским гостеприимством, по закону которого любой знакомый может навестить дом. Слуги княгиню знали, и для нас были открыты все комнаты, приготовлен прекрасный ужин... На следующее утро, выпив кофе и чаю, мы продолжили наш путь»<sup>76</sup>.

Щедрое гостеприимство отчасти скрашивало путешественникам мучительные трудности дороги. Дворяне редко останавливались на постоянных дворах. Мода на гостиницы прививалась в благородном сословии с трудом. Пристойнее считалось останавливаться у знакомых и родни. Лишь после пожара Москвы 1812 года, когда выгорело большинство дворянских гнезд Первопрестольной, волей-неволей пришлось смириться с услугами содержателей меблированных комнат. «Все пошло вверх дном, — вспоминала Е. П. Янькова, — домами-то Москва, пожалуй, и красна, а жизнь скудна... Ну слыханное ли дело, чтобы благородные люди, обыватели Москвы, нанимали квартиры в трактирах, или жили в меблированных помещениях, Бог знает с кем стена об стену? А экипажи какие? Что у купца, то и у князя... — ни герба, ни коронки... А в каретах на чем ездят? Просто на ямских лошадях... или того еще хуже, на извозчиках рыскают». Все эти «безобразные», по мнению мемуаристки, приметы послепожарного быта еще не были знакомы ни в XVIII, ни в самом начале XIX столетия.

### *Карусели*

Речь пойдет вовсе не о ярмарочных аттракционах с крутящимися лошадками. Два с половиной века назад «каруселями» называли театрализованные состязания

в верховой езде, стрельбе и метании копья, очень напоминавшие рыцарские турниры. Подобные развлечения появились во Франции еще в XVI столетии, но особого размаха достигли при дворе Людовика XIV. Екатерина II пожелала скопировать именно блистательные «ристания» «короля-солнце».

В 1766 году в Петербурге была проведена первая придворная карусель, задуманная еще за год до этого. Участники должны были разделиться на четыре группы или «кадрилы» — Славянскую, Римскую, Турецкую и Индийскую. Для каждой специально шились костюмы, стилизованные под национальные. Во главе первой стояла сама императрица, второй — Григорий Орлов, третьей — его брат Алексей, четвертой — Петр Репнин. Проведение карусели обсуждали на «самом высоком уровне» — Н. И. Панин распорядился принести из эстампного кабинета царевича Павла книги с изображением каруселей, устраивавшихся во Франции. Князь П. И. Репнин, видевший подобные развлечения в Вене и Мадриде, разработал примерный план действия. Он назывался «Описание каруселя» и был подписан 25 мая 1765 года. Репнин стал директором намечавшегося праздника.

27 мая Екатерина II «повелеть соизволила быть публичному каруселю будущего июля в резиденции своей в Санкт-Петербурге, — гласило извещение для публики. — ...Теперь стараются о приготовлении к сему великолепному празднику; а в каком порядке все сие происходить должно, о том в печатном плане каруселя обстоятельно объявлено». По приказу императрицы архитектор А. Ринальди должен был начать на Дворцовой площади возведение деревянного амфитеатра «на сто тысяч зрителей», окружавшего карусельную арену. Позднее силуэт этого сооружения был отчеканен на золотых памятных медалях в честь карусели, которыми награждались участники. Медали были трех размеров (для первого, второго и третьего мест), их чеканили на Монетном дворе. На одной стороне был выбит амфитеатр с парящим над ним орлом и расположенным внизу речным богом Невы. Сверху шла круговая надпись: «С Алфеевых на Невские брега». На другой стороне красовался профиль императрицы<sup>77</sup>.

Все расходы оплачивало придворное ведомство. Кроме затрат на строительство они включали экипировку всадников, ценные призы и заключительный банкет.

Каждая кадриль представляла собой отряд, состоявший из всадников во главе с шефом, оруженосцев, музыкантов, дам и возничих колесниц. Они упражнялись в стрельбе из луков и пистолетов, метании копий и дротиков. Целями служили манекены, бутафорские голы, мячи и кольца. Пока шли приготовления «ристаллица», начались тренировки. Наследник Павел Петрович вместе с матерью и воспитателями часто посещал место предстоящей карусели. «Там ездили дамы, а затем мужчины, — сообщал камер-фурьерский журнал 11 июля. — ...Только платья ни у кого еще не было, потому что это только пробы». Лучше всех верхом скакали граф А. Г. Орлов и лейб-кирасирского полка подполковник князь И. А. Шаховской. Г. Г. Орлов пропустил несколько тренировок, поскольку ушиб себе ногу, «скаваши в маленьком саду через канаве».

Подготовка происходила на лугу у Летнего дворца. Участники уже предвкушали состязания, но дожди, зарядившие с начала июня, никак не позволяли провести намеченный праздник. Екатерина решила, что карусель состоится в первый же погожий день. Могла ли она предположить, что за весь 1765 год не выдастся ни одного «красного дня». 16 августа стало ясно, что мокрое лето перешло в ненастную осень, и императрица перенесла праздник на середину июня следующего года.

Посмотреть карусель хотел и итальянский путешественник Казанова, находившийся в тот момент в России, но ему это не удалось. Он писал: «Четыре кадрили, по сотне всадников в каждой, должны были преломлять копыя за награды великой ценности. Всю империю оповестили о великолепном празднестве... и князи, графы, бароны начали уже съезжаться из самых дальних городов, взяв лучших коней... Погожий день без дождя, ветра или нависших туч — редкое для Петербурга явление. В Италии мы ждем всегда хорошей погоды, в России — дурной. Мне смешно, когда русские, путешествуя по Европе, хвалятся своим климатом. За

весь 1765 год в России не выдалось ни одного погожего дня... Подмостки укрыли и праздник состоялся на следующий год. Витязи провели зиму в Петербурге, а у кого на то денег неостало, воротился домой. Среди них принц Карл Курляндский»<sup>78</sup>.

Новый, 1766 год порадовал участников. 12 мая, более чем за месяц до состязаний, весь город был извещен о времени их открытия. 16 июня публика собралась на трибунах. Обер-церемониймейстером был назначен князь П. А. Голицын, а главным судьей прославленный фельдмаршал времен Анны Иоанновны Б. К. Миних. Сначала предполагалось, что Славянскую кадрили возглавит сама императрица, но в последний момент Екатерина отказалась от этой затеи — она подумала, что все нарочно будут уступать ей и ничего интересного не получится. Ее место во главе «славян» занял граф И. П. Салтыков.

Зрителям раздавались билеты для входа на трибуны. Развлечение было открыто для всех «прилично одетых» горожан. Находясь в центре, ложа императрицы делила амфитеатр. По правую руку от нее располагались два ряда, один, оформленный в славянском, другой в римском стиле, соответственно кадрилиам. По левую руку — индийские и турецкие места. Напротив ложи Екатерины, на противоположной стороне амфитеатра была выстроена ложа для царевича Павла, где он сидел со своими учителями.

В два часа пополудни сигнал трех адмиралтейских пушек возвестил об открытии карусели. По нему участники кадрилией собирались в назначенных местах. Славянская и Римская — у Летнего дворца, где на лугу стояли шатры для переодевания. Палатки Индийской и Турецкой кадрилией возвышались на Малой Морской. В четыре часа прогремел второй сигнал, призывавший дам взойти на колесницы, кавалеров сесть верхом, а зрителей занять места. Через полчаса, по третьему сигналу, все кадрили тронулись красочным шествием на дворцовую площадь. По бокам улиц стояла плотная толпа, дивясь на необычное зрелище. Вступив в амфитеатр, кадрили расположились напротив «своих» по оформлению лож. Начались состязания или, как значилось в афише, «курсы».

Первыми выехали дамы. Их колесницами правили кавалеры, а сами прекрасные амазонки стреляли из лука в цель и метали «жавелоты» (от фр. *javelot* — дротик). За ними пришла очередь мужчинам показать свою удаль в «ристаниях на коне». Соревнующиеся на скаку рубили головы манекенам, пронзали пиками картонных тигров и кабанов. Кроме того, всадники демонстрировали искусство управления лошадьми, они должны были сохранять выправку в седле, требовалось, чтобы конь начал скачку с правой ноги и не сбивался при беге.

По окончании состязаний все кадрили сделали круг почета по амфитеатру, выехали из него и двинулись в сторону Летнего дворца. Там на высоком крыльце их встретила императрица. Участники спешили, слезли с колесниц и были введены в большую залу. Победителей назвал фельдмаршал Миних. Возле него стояли пажи с золотыми подносами, на которых лежали «прейсы».

Среди дам особенно отличилась дочь графа П. Г. Чернышева — Наталья (в замужестве Голицына, ставшая прототипом Пиковой дамы А. С. Пушкина). Она завоевала первое место и получила бриллиантовое украшение. Второй была графиня А. В. Панина, ей досталась табакерка с бриллиантами. Третьей стала графиня Е. А. Бутурлина, которая удовольствовалась бриллиантовым перстнем. Не были забыты и возницы амазонок. Их награды украшали золото и финифть. За умелое правление колесницей Н. П. Чернышевой барон И. Е. Ферзен получил записную книжку, А. Н. Щепотьев — табакерку, граф Д. М. Матюшкин — готовальню. Но главные премии ожидали «рыцарей». В первом туре лучше всех показал себя И. А. Шаховской. Ему вручили бриллиантовую пуговицу и петлицу на шляпу. Вторым стал полковник В. М. Ребиндер, ему преподнесли трость с бриллиантовым набалдашником. Третье место, доставшееся графу Штейнбеку, как и у дам, было отмечено бриллиантовым перстнем<sup>79</sup>.

Выступления 16 июня настолько понравились зрителям, что второго тура ждали с нетерпением. 1 июля 1766 года государыня писала фельдмаршалу П. С. Салтыкову в Москву: «Карусель весьма был хорош, граф



Иван Петрович (сын корреспондента. — О. Е.) готовится через неделю при втором карусельном представлении первый прейс выиграть. При первом, против всякого чаяния, князь Иван Шаховской получил победу».

Однако сыну фельдмаршала удача так и не улыбнулась. Новые состязания состоялись 11 июля, вечером, сразу после представления во дворце оперы «Дидона». На этот раз «ристанья», вероятно, происходили в сумерках при свете факелов, что придало зрелищу неповторимый облик. Среди колесниц пара Чернышева — Ферзен опять продемонстрировала высокое мастерство. Известно также, что третий приз достался Анне Петровне Шереметевой, умершей через два года от оспы. Сохранился ее портрет в карусельном костюме кисти В. Эриксона. На голове дамы изящный шлем с плюмажем, в руке стрела, красно-бордовое платье расшито золотым орнаментом в виде кольчужных пластинок. Судя по костюму, дама состояла в Римской кадрили.

Среди конных кавалеров лучшими оказались Григорий и Алексей Орловы. Братья ни в чем не уступали друг другу и получили от судей одинаковое число баллов. Было решено провести дополнительное состязание, чтобы определить победителя. На следующий день Алексей немного уступил старшему брату, и Григорий взял первый приз. Миних вручил ему золотой лавровый венок<sup>80</sup>.

Все: и участники, и зрители — остались довольны. В знак своего благоволения императрица пожаловала директору П. И. Репнину золотые часы с цепочкой, усыпанные бриллиантами, и четыре тысячи рублей<sup>81</sup>.

После карусели было нарисовано несколько портретов участников в костюмах кадрили, к которым они принадлежали. Датский художник Виргилиус Эриксен получил заказ на изображение всех четырех предводителей, но написал только два холста с портретами братьев Орловых. Эти внушительных размеров конные портреты ныне хранятся в Эрмитаже и редко выставляются. С них художником А. И. Черновым было снято несколько изображений на эмали. Григорий показан на арене перед зрительскими трибунами, на вороном жеребце, на голове у всадника кавалергардская каска с

роскошным плюмажем, в руках — пика<sup>82</sup>. Он руководил Римской кадрилию, поэтому на нем стилизованные римские доспехи. Екатерина II любила сравнивать своего избранника именно с героями античной истории. В 1768 году она писала Вольтеру: «Генерал Фельдцейхмейстер Граф Орлов, Герой, уподобившийся тем древним Римлянам, кои существовали в цветущем состоянии Республики, и имеющий свойственную тем временам храбрость и великодушие»<sup>83</sup>.

Сохранилось курьезное описание карусели 1766 года, сделанное даже не по горячим следам, а 68 лет спустя. В 1834 году во Франции вышла биография Екатерины II, написанная супругой наполеоновского маршала Жюно герцогиней Лаурой Абронтес. Образ главной героини получился сугубо отрицательным. «Гигантская фигура этой женщины, состоящая из сумасбродств и преступлений; колосс с глиняным телом, свинцовыми ногами и железными руками, у которого только голова казалась золотой»<sup>84</sup>, — писала герцогиня.

Абронтес не была в России, не знала Екатерины. Однако рассказ о карусели построен так, словно герцогиня сама присутствовала на празднестве: «Две ложи, предназначенные для императрицы и великого князя, ослепляли блеском, отбрасываемым узорными кистями, бляшками и золотой бахромой. Драпировки екатерининской были вышиты жемчугом и драгоценными камнями, так же как и... полутрон, на котором она сидела. Сама она сверкала от блеска бриллиантов, которые ее покрывали. Ее одежда, совсем московитская, состоявшая из зеленого платья из шелковой парчи, смешанной с золотом и опушенной одним из тех мехов, несколько связок которого уплачивают дань целой провинции... На голове у императрицы была бриллиантовая корона неслыханной ценности; немного ниже на чело спускался знаменитый алмаз... На шейном платке она носила кресты св. Александра Невского и св. Екатерины. Через одно плечо у нее была лента св. Андрея, а через другое — св. Георгия». Далее следует описание фаворита, то есть Г. Г. Орлова: «Его тюрбан и кафтан декорировали самые красивые жемчужины. Он носил украшение в виде цапли, очень большой ценно-

сти, прикрепленное аграфом стоимостью 100 тысяч рублей. А изогнутый сирийский клинок, висевший у него на поясе, был не имеющим цены подарком, присланным неким Элфи-беем»<sup>85</sup>.

Без сомнения, в основу рассказа легли чьи-то наблюдения, быть может, сглаженные временем и не слишком внимательные. Сама писательница с деталями небрежна. В 60-е годы Екатерина еще не пристрастилась к стилизованному русскому платью, время от времени надевать его она начнет только с середины 70-х годов. Налоги в России уже не взимали мехами. Корону императрица носила только в церемониальных случаях. «Знаменитый алмаз» — бриллиант «Орлова» — слишком тяжел и крупен, чтобы украшать лоб, его вделали в скипетр. Орденские кресты не прикалывались к шейному платку. Орден Святого Георгия был учрежден только в 1769 году, а действие происходит в 1766 году. Наконец, в тюрбане и с азиатским изогнутым клинком разъезжал Алексей Орлов — шеф Турецкой кадрили.

Однако все эти неточности досадны лишь для историка. Неосведомленная публика легко прощала их за любовные картинки, разворачивавшиеся дальше. По мнению Абронтес, карусель понадобилась Екатерине, чтобы завлечь в свои сети четвертого из братьев Орловых — Федора. Именно он, как считала писательница, и стал победителем соревнований. На самом деле Ф. Г. Орлов в «ристанях» даже не участвовал. Зато после карусельного праздника сочинительница поместила сцену соблазнения невинного юноши похотливой старухой.

«Вечером того дня, когда Федор играл в трагедии “Зельмира”, Екатерина в течение всего праздника занималась только им. Она велела ему сказать, чтобы он не снимал свой костюм; и в этой одежде он был, как мне говорили, совершенно прекрасен. Екатерина часть ночи прогуливалась, опершись на его руку... Время от времени она повторяла вполголоса: “Душенька! Душенька!”». Британский посланник сэр Джозеф Маккартни позволил себе «двусмысленную улыбку при виде этой странной пары, состоявшей из женщины, уже прошедшей время любви, и ребенка, столь юного и прелестно-

го... Одна уже состарившаяся в своих разнузданностях, другой — во всей свежести прекрасного утра жизни... Она позвала Панина и спросила:

— Что здесь делает лорд Маккартни?

— Разве он не посол Англии? — удивился министр.

Но Екатерина объяснила, что это не важно, так как сей господин соблазнил ее фрейлину», поэтому ему не следует показываться во дворце. После чего императрица с прекрасным кавалером возобновили прогулку среди жасмина, роз и танцующих молодых женщин. «Воздух, который вдыхали в этих волшебных комнатах, был опьяняющим фильтром», «он благоухал драгоценными ароматами Аравии» и помог соблазнить невинное дитя.

Напомним, в 1765 году Екатерине исполнилось 36 лет, а Федору — 24. Вряд ли императрицу можно было назвать «женщиной, прошедшей время любви», а Орлова «ребенком». Однако к 30-м годам XIX века образ дряхлеющей Мессалины во французской литературе уже утвердился, и герцогиня не пожелала от него отказаться. Сама Абронтеc родилась в 1783 году и к моменту написания книги ей был 61 год, через четыре года она скончается. Уместен вопрос, кто та «похотливая» пожилая дама, которая в своих эротических грезах прогуливается об руку с молоденьким кавалером среди роз и аравийских ароматов, сладострастно смакуя подробности соблазнения?

Откуда писательница черпала информацию? Возможно, ей довелось общаться с лордом Маккартни, в 1766 году отозванным из России. На интрижку с фрейлиной посмотрели бы сквозь пальцы, но британский посланник активно собирал сведения, потратив на подкуп чиновников по разным данным от 10 до 150 тысяч рублей. И даже пытался вручить деньги Н. И. Панину<sup>86</sup>. Вернувшись в Париж, Виже-Лебрён упрекала сочинительницу за неразборчивость: «Очень жаль, что герцогиня Абронтеc или не читала написанного принцем де Линем и графом Сегюром, или не пожелала довериться несомненно достоверным их свидетельствам. Она могла бы лучше оценить все то, что отличало великую сию государыню и с большим уважением отнес-

тись к памяти сей женщины, составившей славу нашего пола»<sup>87</sup>.

Мы привели отрывок из книги Абронтеc для того, чтобы показать, как создавались расхожие представления о нравах екатерининского двора. Даже описание такого открытого и публичного действия, как карусель, могло послужить прологом для рассказа о «разнузданностях» и «опьяняющих ароматах». Показывалось то, чего требовал книжный рынок. Реальность не имела значения.

В дальнейшем карусели устраивались еще несколько раз: в 1784, 1803 и 1811 годах — но место их проведения переместилось в Москву. Правительство больше не принимало участия в устройстве праздников, теперь их проводили частные лица по подписке. Любопытно, что семья Орловых еще долго показывала себя на ристалище. В 1811 году в состязаниях приняла участие дочь Алексея Орлова — Анна Алексеевна, а среди судей был внебрачный сын чесменского героя — Алексей Алексеевич Чесменский.

### *«Будто летишь по воздуху»*

Любимой зимней забавой было катание с гор. В нем участвовали не только дети, но и взрослые, не только простонародье, но и богачи, знатные вельможи, солидные сановники и, наконец, сама государыня.

«Русские пользуются для развлечений и самую суровостью климата, — писала Виже-Лебрён. — Невзирая на презрестокую стужу, они устраивают катанья в санях, как днем, так и ночью при свете факелов. В некоторых кварталах сооружают высокие горы и по ним с бешеной скоростью скатываются вниз, впрочем, без малейшей опасности, поелику нарочито приставленные люди сталкивают вас сверху и принимают внизу»<sup>88</sup>.

Катания обычно приурочивали к Масленице. В столице горы строили на Охте, на Крестовском острове и на Неве. Организовывались и катания по зимней дороге. Они могли быть самостоятельным развлечением или предшествовать спуску с обледеневших гор. Ведь до

крутых берегов реки, где обычно разворачивались потехи, надо было еще добраться. Не всем иностранцам нравились подобные прогулки. Так, французский дипломат Мари Даниэль де Корберон, скептически отзывавшийся о России, писал: «Здесь мало знакомы с развлечениями, но одно из самых любимых — это устройство пикников. Прокатятся туда и обратно в санях и воображают, что повеселились»<sup>89</sup>.

Марта Вильмот описала одну такую поездку. Веселая компания молодых людей сначала собралась в гостях у устроителей, плотно перекусила пирожками, курами, мясом, горячим супом, холодцом, опрокинула по рюмке водки и отправилась на мороз. «Сорок саней, запряженных шестерками, тронулись в путь. В каждой сидели две дамы и два кавалера, сопровождаемые двумя лакеями и двумя-тремя форейторами... Сани с быстротой ветра понеслись через весь город. Седоки энергично понукали кучеров, чтобы те перегоняли ехавшие впереди сани, и вся компания раздражалась криками радости и ликования... Все одеты были очень нарядно, но не воображайте меховые шапки. На одних белый атлас, на других — розовый, лишь у немногих... черный бобровый мех. Шали и салопы защищали нас от холода... После двух с половиной часов бешеной скачки мы вернулись... выпили чаю и затем танцевали до самого вечера»<sup>90</sup>.

Зимой на пруду под Каменным мостом устраивались скачки. Приехав в Москву, Алексей Орлов организовал бега под Донским монастырем. Он первым ввел моду кататься по городу в легких беговых санках с русской упряжью. Место, избранное Орловым для катаний, было очень удобно, и многие московские аристократы стали обращаться к нему за разрешением тоже принять участие в беге, граф никому не запрещал, но ставил условие употреблять русскую упряжь. С этого времени знать старой столицы начала отказываться от тяжелых вызолоченных немецких саней, очень неудобных на улицах города. Летом катания на Донском поле устраивались на небольших дрожках, которые Алексей тоже принялся усовершенствовать по своему вкусу. Наконец, граф создал особые беговые дрожки, которыми пользовались до начала XX века.

Сестры-ирландки поднялись на Ивана Великого и увидели Москву с высоты птичьего полета: «Река, серебряным полумесяцем рассекающая город, чудесно оживляет картину. Сотни огненных ливонских, арабских и татарских скакунов несутся по ледяной дорожке, отмеченной зелеными ветвями, а правят ими кавалеры, сидящие в маленьких санях, похожих на раковины. Храбрецы так разгоняются с огромных ледяных гор, что этот спуск можно сравнить лишь с полетом. Лед на отдаленной части реки усеян прорубями, и ряды прачек, сгибаясь, выжимают белье, несмотря на стужу. На лед вытаскивают корзины с рыбой, огромные, как хижины»<sup>91</sup>.

Другим местом традиционного катания в Москве было Покровское. Здесь демонстрировали свой выезд, наряды и украшения не только знать, но и купечество. «Особенно блистали купчихи, — вспоминала Марта. — Их головные уборы расшиты жемчугом, золотом и серебром, салопы из золотного шелка оторочены самыми дорогими мехами. Они усиленно белятся и румянятся, что делает их внешность очень яркой. У них великолепные коляски, и нет животного прекраснее, чем их лошади... Мы обменивались поклонами и улыбками с проезжающими... Прелестная графиня Орлова была единственной женщиной, которая правила упряжкой, исполняя роль кучера своего отца. Перед их экипажем ехало два всадника в алом; форейтор правил двумя, а графиня четыремя лошадьми. Они ехали в высоком, легком, чрезвычайно красивом фаэтоне, похожем на раковину. Народу было множество, но полиция поддерживала полный порядок».

Марте еще предстояла встреча с горкой, а главное — описание этой непростой конструкции в письме родителями, которые никогда не видели ничего подобного: «Мы поднялись по меньшей мере футов на 80 по лестнице и здесь наверху увидели уютную зеленой хвоей прелестную беседку, от которой до самой земли тянулась ледяная дорожка, обсаженная деревьями. Гору полили водой, которая моментально замерзла... Давайте усядемся в кресло с каким-нибудь компаньоном. У кресла вместо ножек полозья. Человек на коньках, си-

дядий позади, толкает высокие санки и, направляя их, катится вместе с вами. Вы стремительно несетесь вниз, и, пока гора не кончится, остановиться невозможно. Ощущение при этом такое, будто летишь по воздуху, как птица. И потому что я спустилась семь раз, вы можете понять, насколько мне понравилось катанье с ледяных гор»<sup>92</sup>.

Невдалеке от гор, привлекавших много народу, предприимчивые купцы строили сараи, в которых показывали дрессированных животных или устраивали кукольные представления. Особым развлечением, свойственным только Петербургу, было катание на оленях. Их пригоняли из Кеми самоеды, которые разбивали чумы на Неве напротив Арсенала и предлагали желающим упряжки<sup>93</sup>.

Горки были столь любимы, что с ними не желали расставаться даже летом. Еще при Елизавете Петровне в 1757 году архитектор Растрелли построил катальную горку в Царском Селе. В 1774 году по проекту Ринальди возвели горку в Ораниенбауме. Это были сложные архитектурные сооружения с множеством технических приспособлений. В Ораниенбауме горка представляла собой многоярусное здание с куполом, ее общая высота составляла 33 метра. В центральной части с южной стороны находилась открытая терраса, заканчивавшаяся спусковой площадкой. От нее на высоте 20 метров шел широкий деревянный скат с тремя колеями. Коляски спускались по средней колее, преодолевая по пути четыре горбатых выступа. Разогнавшись, они проскакивали эти трамплины за счет инерции движения. По боковым колеям коляски поднимались вверх при помощи тросов и блоков. Сами скаты не сохранились, зато известна протяженность крытых каменных галерей по бокам дорожки. Она составляла 532 метра<sup>94</sup>.

Однажды произошел несчастный случай — колесница с государыней выскочила из колеи. Сзади на одноколке стоял Алексей Орлов, который сумел на ходу, тормозя одной ногой, ухватиться за перила и остановить колесницу Екатерины. Только его богатырская сила позволила ему удержать разогнавшуюся коляску и спасти императрицу от падения. Считается, что опи-



санное событие случилось в 1768 году<sup>95</sup>. Сохранилось державинское посвящение герою:

Я зрел, как жилистой рукой  
Он шесть коней на ипподроме  
Вмиг осаждал в бегу; как в громе  
Он колесницы с гор бедрой  
Своей препнув склоненье,  
Минерву удержал в паденье...

*«Кто позволил вам рвать цветы?»*

Такие сложные постройки, как катальные горки в Царском Селе и Ораниенбауме, были редкостью. Всякому времени года — своя забава. И летом ею становились качели. Их строили обычно на Святой неделе. Самыми распространенными считались высокие маховые, пониже подвесные и круглые. Их украшали лентами и флагами. В Петербурге постоянное место для качелей отводилось на Исаакиевской площади. Летние гулянья в садах и парках без качелей не обходились.

Выезжали на гулянье по возможности в лучших экипажах, демонстрировали богатую одежду слуг и хорошо подобранные по масти упряжки лошадей. Янькова описывала отца своего супруга А. Д. Янькова: «Когда он женился, у него была золотая карета, обитая внутри красным рытым бархатом, и вороной цуг лошадей в шорах с перьями, а назади, на запятках, букет. Так называли трех людей, которые становились сзади: лакей выездной в ливрее, по цветам герба, напудренный, с пучком и в треугольной шляпе; гайдук высокого роста, в красной одежде, и арап в куртке и шароварах ливрейных цветов, опоясанный турецкой шалью и с белою чалмою на голове. Кроме того, перед каретой бежали два скорохода, тоже в ливреях и высоких шапках... Так выезжали только в торжественных случаях, когда нужен был парад, а когда ездили запросто, то скороходов не брали, на запятках были только лакей да арап и ездили не в шесть лошадей, а только в четыре»<sup>96</sup>.

Одним из самых популярных мест гуляний был Нескучный сад. Его владелец А. Г. Орлов гостеприимно

распахнул ворота для горожан. Расположенный на холмах и взгорьях, разбитый на множество дорожек, искусственных долин и обрывов, прудов, окруженных купальнями и беседками, этот «сад» сразу приглянулся знати старой столицы. Именно здесь впервые в истории паркового искусства при оформлении павильонов была использована березовая кора, столь оригинально украсившая впоследствии петербургские загородные резиденции русских императоров. Летом каждое воскресенье в Нескучном для увеселения публики граф устраивал праздники с фейерверками и угощениями.

В те времена Нескучное было селом. Здесь долгие годы существовал так называемый «воздушный театр», в котором представления давались под открытым небом. Вместительная галерея полукружьем огибала сцену, для которой обсаженные вокруг нее кусты и деревья заменяли декорации. Это нововведение пришлось очень по вкусу московской публике, и на необычные спектакли к графу Орлову стало собираться лучшее общество. Пьесы на мифологические и исторические темы сменяли друг друга, особой популярностью пользовались эпизоды недавней войны с турками, на подмостках возникали образы Петра I, Екатерины II и их сподвижников. Самого графа актеры представляли в образе римского бога войны Марса.

«Гулянье на 1 мая в Сокольниках очень давнишнее, — писала Янькова. — Говорят, что еще Петр I... любил пировать там с немцами... От этого Сокольничья роща и называлась долгое время “Немецкие столы”, и в мое время говаривали еще: гулянье в “Немецких столах”, то есть в Сокольниках. Туда очень много езжало порядочного общества, и как езжали цугом, в золоченых каретах, лошади в перьях, то гулянья получались самые нарядные... Некоторые знатные люди посылали туда с утра в свои палатки поваров; пригласят гостей, обедают в одной палатке, а потом пойдут в другую сидеть и смотреть на тех, которые кружатся по роще в каретах... В Духов день гулянье во Дворцовом саду в Лефортове, больше для купечества и для Замоскворечья. В саду гулянье было для пешех, и щеголихи с Ордынки и Бог

весть откуда являлись пренарядные, в бархатах и атласах, с перьями, цветами, в жемчугах и бриллиантах»<sup>97</sup>.

В Москве во время гулянья сестры Вильмот увидели напугавшую их жестокою забаву — травлю медведя. «Мы с офицерами, сопровождавшими нас в этой “медвежьей” экспедиции, прошли в театр, построенный специально для этого дикого развлечения — травли громадных неуклюжих животных огромными бульдогами, — писала Кэтрин. — ...Мы взобрались на... подмости, и внизу увидели собак, прикованных цепями к клеткам и воющих, как тысяча демонов... Появилось полдюжины бородатых служителей, ведущих на цепи громадного ревущего медведя, цепь укрепили в центре арены в железном кольце. Вскоре к месту схватки также на цепи привели разъяренную собаку.

Ужас этого зрелища и кошмарные предсмертные... крики напугали меня до такой степени, что, закрыв глаза и заткнув уши, я бросилась вон из театра, умоляя о пощаде. На душу легло тяжелое чувство причастности к убийству... Это развлечение устроили бы и без нас, так как подобные зрелища бывают здесь каждую неделю... По возвращении рассказав князю Дашкову обо всем, мы в ответ услышали, что он знал о существовании подобных вещей, но ни разу в жизни не видел этого! Представьте, как мы устыдились своего необузданного любопытства... На самом деле мы ожидали увидеть что-то вроде бродячего зверинца... Весь вечер мы слонялись по гостинной, заткнув уши и боясь, как бы кто-нибудь случайно не произнес слово “медведь”».

Послушаем Марту: «Громадная собака, спущенная с цепи, напала на несчастного мишку, который был прикован. Он пытался защищаться от разъяренной собаки, которая вцепилась ему в горло. Мы закричали “Прекратите!” ... и поспешили уйти. Подобное жуткое развлечение, как травля быка или петушиные бои — несомненно, остаток варварства»<sup>98</sup>.

Обратим внимание, как по-разному сестры описывают случившееся. Кэтрин — выразительно, экспансивно, с явным нагнетанием страха, со старанием оправдаться. При этом она посвящает жестокой забаве целую страницу. Марта комкает историю до несколь-

ких строк, ей действительно неприятно вспоминать. У нее не «громадный ревущий медведь», а «бедный мишка». И именно она упоминает, что подобные развлечения популярны и в Англии — например травля псами привязанного быка. Для насмешливой, свысока относившейся ко всему Кэтрин неуместны подобные параллели.

Было принято, чтобы парки и сады города, как императорские, так и частные, постоянно или по определенным дням открывали двери для народного гулянья. Считалось неприличным содержать сад и пользоваться им в одиночестве. Среди гостей могли быть люди любого происхождения, лишь бы обыватели вели себя пристойно и не щеголяли в лохмотьях. Первым по статусу был, конечно, Летний сад. В конце XVIII века на Мойке существовал Нарышкинский сад, где по средам и воскресеньям давались танцевальные вечера. На Литейной улице — Итальянский. За городом раскинулись Аптекарский и Ботанический.

Так же как и открытый стол, «открытый сад» был обязанностью вельможи. Не позволяя горожанам вторгаться в свои владения, богач рисковал прослыть скардным. На Крестовском острове находился сад К. Г. Разумовского. Там публике позволялось ловить рыбу, а рядом имелся трактир, где на средства графа гостей потчевали закусками и прохладительными напитками. На Каменном острове долго сохранялся сад опального канцлера елизаветинской эпохи А. П. Бестужева-Рюмина. Он был разбит в голландском стиле, с проложенными каналами, облицованными белым известняком. На Елагином острове в охотничьем доме И. П. Елагина гуляющих угощали обедами и ужинами. На Выборгской стороне самыми великолепными были сады А. С. Строганова и А. А. Безбородко, там в праздничные дни устраивались фейерверки, играла музыка, выступали цирковые актеры — паяцы и акробаты. Сад Таврического дворца Г. А. Потемкина тоже был открыт для гуляний.

Камердинер светлейшего князя Ф. Е. Секретарев рассказывал своей дочери, как он еще ребенком попал к Потемкину на службу. Мальчик родился в Белоруссии, недалеко от Могилевского имения Григория Александр-

ровича. «В этом имении был дворец с большим садом, много аллей, цветов, беседок, статуй... Когда князь приезжал в имение, то посторонним лицам хоть и дозволялось бывать в саду, но рвать цветы запрещалось. Приезды князя возбуждали всеобщее любопытство, ...всем, конечно, хотелось видеть такое важное лицо». Секретарев с братом забрались в сад и надрали по букету. «Вдруг из одной беседки раздался строгий голос: “Кто позволил вам здесь цветы рвать!” Брат мой был прытче меня и убежал, а я так оторопел, как будто прирос к месту. Сидевший в беседке махнул мне рукой, приказывая к себе подойти; я подошел и тотчас же догадался, что это был сам Потемкин. “Кто позволил вам рвать цветы? — повторил он строго. — Разве вы не знаете, что это запрещено?” — “Я для вас нарвал”, — сорвалось у меня с языка. Князь усмехнулся и, погладив меня по щеке, сказал: “А ведь ты не глуп. Хочешь быть у меня — тебе будет недурно”. Не помню, но, кажется, я сказал: хочу. Спросив согласия моих родителей, князь велел мне прийти во дворец, где, показав меня императрице, передал ей мой ответ о нарванных цветах и старался обратить ее внимание на мою находчивость. Он сказал государыне, что намерен взять меня к себе, и я, буквально через несколько часов, с головы до ног был одет в шелк и бархат, и тем началось мое постоянное пребывание при особе князя»<sup>99</sup>. Так шалость в саду вельможи привела деревенского мальчика ко двору.

Загородные дворцовые парки — Петергоф, Царское Село, Ораниенбаум, Гатчина, Павловск — тоже были открыты для публики. Их обрамляло целое зеленое море частных садов Нарышкина, Вяземского, Зиновьева, Апраксина, Потемкина, Шереметева, куда также вход был свободен. До многих отдаленных мест казалось легче добраться по воде. Летом начинались прогулки на Неве в шлюпках, весельных лодках, на яхтах под парусами. Гребцы распевали песни и играли на рожках.

Виже-Лебрён на даче у Строганова наблюдала за рекой. «К вечеру снова поднялись на террасу, откуда при спустившихся сумерках наслаждались зрелищем... фейерверка, каковой отражался в водах Невы. И наконец, в завершение всех развлечений подплыли две

узенькие лодки с индейцами, которые стали плясать для нас»<sup>100</sup>.

«Никогда не видела ничего прекраснее Невы, — писала Марта Вильмот. — Река полноводная, чистая, обычно спокойная. Сейчас (мне видно в окно) водную гладь оживляют 10—12 хорошеньких нарядных гребных лодок, половина которых под балдахинами под золотой бахромой. Движения гребцов удивительно согласны, после каждого удара весел выдерживается эффектная пауза, при этом гребцы поют, мелодии их песен, как говорят, не похожи на напевы ни одного другого народа»<sup>101</sup>.

### *«Одна из неизбежных стихий»*

Карточная игра — одно из самых благопристойных и вместе с тем опасных развлечений XVIII века. Без расставленных для гостей зеленых столов не обходились званые вечера. Помещичья семья коротала время в сельской глуши, перекидываясь в картишки. Девушки не только гадали на женихов, но и обставляли друг дружку в «марьяж», «хрюшки» или «шнип-шнап-шнур». Матушки не отставали от них, сражаясь в «носки» и «Никитичны». Почтенные отцы семейств потели за вистом. Даже дети вместо настольного лото резались в «дурачки», имевшие десятки разновидностей.

Домашние партии велись, как писал Г. Р. Державин, «по грошу в долг и без отдачи». Они были частью семейной идиллии купно с другими невинными забавами. Так, в «Фелице» сказано:

Или, сидя дома, я прокажу,  
Играя в дурачки с женой;  
То с ней на голубятню лажу,  
То в жмурки резвимся порой...

В отличие от общепринятой, благопристойной, азартная карточная игра считалась пагубной страстью — пороком, сравнимым разве что с буйным пьянством. «Нигде карты не вошли в такое употребление, как у нас, — писал уже в XIX веке князь П. А. Вяземский. — В русской

жизни карты одна из непреложных и неизбежных стихий. Везде более или менее встречается в отдельных личностях страсть к игре, но к игре так называемой азартной... Богатый граф, Сергей Петрович Румянцев, блестящий вельможа времен Екатерины, человек отменного ума, большой образованности, любознательности по всем отраслям науки, был до глубокой старости подвержен этой страсти, которой предавался, так сказать, запоем. Он запирался иногда дома на несколько дней с игроками, проигрывал им баснословные суммы и переставал играть вплоть до нового запоя... Один из таких игроков говаривал, что после удовольствия выиграть нет большего удовольствия, как проиграть»<sup>102</sup>.

При дворе еще с елизаветинских времен в ходу была большая игра на серьезные суммы. Здесь хотя и доверяли друг другу в долг, но уже не «по грошу». Сохранилась «Ведомость» выигрышей и проигрышей за 1752 год Романа Илларионовича Воронцова — знаменитого «Романа Большого Кармана». Судя по ней, отец Е. Р. Дашковой был не только удачливым картежником, но и взыскательным кредитором. С ним «без отдачи» дело не обходилось. «В фаро выиграл я у его превосходительства (И. И. Шувалова. — О. Е.) пятьсот рублей... В Царском Селе, как играл с Алексеем Андреевичем Хитровым, выиграл четыреста пятьдесят рублей... С князем Петром Ивановичем Репниным в два тура выиграл восемьсот девяносто рублей... В ломбер проиграл его превосходительству в июле месяце четыреста пятьдесят рублей... По записному туру с ее величеством двести тридцать рублей... В Москве получил я от его превосходительства триста рублей... Да червонными от его превосходительства забрано... 720 рублей»<sup>103</sup>.

Всего за год Воронцов выиграл 7688 рублей, а спустил с рук 3270. Суммы по тем временам головокружительные. Неудивительно, что после таких партий самые богатые вельможи писали императрице слезные послания, жалуясь на нищету и прося помочь с уплатой долгов. Так, брат «Большого Кармана», канцлер Михаил Илларионович Воронцов взывал к Елизавете Петровне «из крайней нужды»: «...Как свет сей без теплоты солнечного сияния никак пробыть... не может, так и мы все

верные Ваши рабы без милости и награждения от Вашего императорского величества прожить не можем. И я ни единого дома, фамилии в государстве не знаю, которая собственно без... монаршеских щедрот себя содержала». «Нахожусь в непрестанном беспокойстве и печали, не зная, каким образом избавиться от моего долгу... Расходы на содержание дома моего превосходят ежегодные доходы... Чин и должность моя по-министерски, а не по-философски жить заставляют»<sup>104</sup>. Под «философским» образом жизни тогда понимали уединение и крайне непритязательные потребности. Ничего подобного придворный позволить себе не мог. Большая игра — отличительная черта вельможи. Даже люди не слишком азартные, как скромник Иван Иванович Шувалов, принуждены были проводить за карточным столом много времени, чтобы не прослыть скаредами или затворниками.

Правительство не раз принимало меры против чрезмерного увлечения картами, считая его разорительным для подданных. 16 июля 1761 года был издан указ о разграничении так называемых коммерческих и азартных игр. Коммерческими называли партии «по маленькой», ставившие своей целью развлечение и принятые во всех домах. Азартными — игры с целью наживы. Сенатский указ 1761 года запрещал игру в долг и выписку векселей на проигранные суммы, а также устанавливал штраф за нарушение закона. «Во всякие азартные карты, то есть в фаро, в квинтич... на деньги и на вещи никому и нигде ни под каким видом и предлогом не играть; а только позволяется употреблять игры... на самые малые суммы денег, не для выигрышу, но единственно для препровождения времени, яко то: в ломбер, в кадрилию, в пикет, в кохтру, в памфил. А ежели кто... в большие суммы... играть станет, то как с игроков, так и с хозяина, где такие игры будут, также и с тех, кои игрокам ссудою денег, закладом или другими способами на игры вспомогать будут, брать штрафу против рангов их учрежденного годового жалованья вдвое». При этом накладывался арест на все «бывшие в игре деньги». Сумма делилась на четыре части, одна шла на содержание госпиталей, другая — полиции, а две отдавались доносителям<sup>105</sup>.



Этот закон действовал в России до революции, однако он потребовал существенных дополнений. Заботы Елизаветы Петровны о нравственности подданных продолжила Екатерина II. Ее перу принадлежат два указа 16 января и 10 марта 1766 года. Первый из них заменял штраф содержанием картежников под караулом в течение нескольких дней. А второй уничтожал карточные долги в принципе. Поскольку азартные игры были запрещены, то и требовать выигрыш победитель не мог — закон оказывался не на его стороне. Отныне игрок был волен платить или не платить<sup>106</sup>. Именно с этого времени карточный долг стал считаться долгом чести, ибо никакой другой гарантии, кроме честного слова, уже не существовало.

Однажды в Петербурге на одном из обедов Казанова «с похвалой отозвался о благородной невозмутимости, с которой князь \*\*\* проиграл тысячу рублей». Его сосед рассмеялся и сказал, что этот игрок никогда не платит.

«— А долг чести?

— Честь от сего не страдает. Существует негласный уговор, что платить аль нет — дело самого проигравшего, и никто тут не указ. Выигравший выставит себя на посмешище, потребовав уплаты.

— Но тогда банкомет принужден отказывать тем, кто играет под честное слово.

— Да, и никто не в обиде. Либо игрок уходит, либо оставляет залог прямо на кону. Юноши из лучших семей выучились плутовать и похваляются тем»<sup>107</sup>.

Взаимоотношения за карточным столом, таким образом, были перенесены из сферы юридической, регулируемой государством, в сферу частной жизни дворянского общества. А она, в свою очередь, направлялась законами сословной морали, которые быстро формировались в XVIII веке и влияли на человека не менее жестко, чем официальное право.

Именно забавы подобного рода описаны во многих произведениях русской классической литературы XIX столетия. Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Достоевский и Толстой анализировали «анатомию страсти» к игре и старались разгадать ее мистику. Одним из первых, кто попытался осмыслить пагубную власть карт над лично-

стью, был Гаврила Романович Державин. Правда, сделал он это не в художественном произведении, а в мемуарах, описывая свой собственный, весьма драматичный опыт.

Служа с весны 1762 года в Преображенском полку, сначала рядовым, потом унтер-офицером, будущий поэт быстро пристрастился к «распутной жизни». В компании с братьями П. И. и А. И. Лутовиновыми он «нередко упражнялся в зазорных поступках, то есть в пьянстве, карточной игре и в обхождении с непотребными ямскими девками». Иногда друзья проводили целые ночи в кабаке. А заведывая почтовыми станциями по дороге следования императрицы на коронацию в Москву, честная компания не вылезала из знаменитого села Валдай — маленького Вавилона на Петербургском тракте. Там старший Лутовинов проиграл казенные деньги, что едва не кончилось судом.

В Москве Державин остановился в доме своего двоюродного брата майора Н. Я. Блудова, где велись азартные карточные игры. Кузен быстро втянул Гаврилу Романовича в свои развлечения, «так что он проиграл данные ему от матери на покупку деревни деньги». Старушка приглядела у господ Топтыковых на Вятке именьеце душ в тридцать и долго копила, но теперь на ее мечтах игорная страсть сына поставила крест. Это событие привело молодого человека в ужас, он умолял Блудова помочь ему. Щедрый родственник ссудил Державину нужную сумму, но под залог будущей купленной деревни и материнского имения. Таким образом, Державин оказался в страшной долговой кабале, из которой не знал, как выпутаться. Способ, избранный беспутным подпорщиком, затянул его еще глубже в трясины.

«Попад в такую беду, ездил, так сказать, с отчаяния день и ночь по трактирам искать игры. Спознакомился с игроками, или, лучше, с прикрытыми благопристойною одеждою и поступками разбойниками; у них научился заговорам, как новичков заводить в игру, подделкам карт, подделкам и всяким игрецким мошенничествам. Но благодарение Богу, что совесть или, лучше сказать, молитвы матери никогда его до того не допускали (Державин писал о себе в третьем лице. — О. Е.),

чтобы предался он в наглое воровство или в коварное предательство кого-либо из своих приятелей, как другие делывали. Но когда случалось быть в сообществе с обманщиками и самому обыгрывать на хитрости, как и его подобным образом обыгрывали, то никогда таковой выигрыш не служил ему впрок; следовательно, он и не мог сердечно прилепиться к игре, а играл по нужде»<sup>103</sup>.

Компания Блудова несколько лет не отпускала попавшего в их сети молодого человека и наживалась за счет его выигрышей. В 1769 году Державин, уже будучи сержантом, обобрал в Москве прапорщика Д. И. Дмитриева, получив у него вексель на 300 рублей и купчую на пензенское имение отца. Мать пострадавшего подала жалобу в Юстиц-коллегию, дело тянулось до 1782 года и было закрыто за разноречивостью показаний и неявкой обвинителей. Вексель остался неоплаченным, купчая на имение не была признана действительной. Так что Дмитриевы отделались легко. Но и Державина не наказали в соответствии с законом. Исследователи полагают, что за такое решение поэту пришлось выложить сутягам кругленькую сумму.

Однако, даже находясь под влиянием распутных родственников, Державин пытался предостеречь наивные жертвы шулерской игры. Это едва не вышло ему боком. В мемуарах поэт не называет имени проходимца, с которым свела его трактирная игра. Говорит только, что это был «по роду благородный, знатной фамилии, но по поступкам самый подлый человек, который содержался в юстиции за подделку векселей». Этот мошенник был женат на красавице-иностранке, которая с ведома мужа «торговала своими прелестями», завлекая и обирая простофиль-провинциалов. В нее влюбился проезжий пензенский дворянин, «слабый по уму, но достаточный по имуществу». Оплачивая ласки прекрасной дамы, он заложил материнское имение и почти все свои вещи. Державин попытался воспрепятствовать дальнейшему вымогательству и, сделав вид, будто не знает о сговоре супругов, как бы в шутку намекнул мужу о проделках жены.

Сам факт огласки должен был их напугать. Так и вышло. Однако вместо того, чтобы прекратить охоту за

пензенским простофилей, мошенники решили прочить Державина. Муж пригласил его вечером к себе. Войдя в покои, Гаврила Романович увидел «за ширмами двух сидящих незнакомых и третьего лежащего на постели офицера», который «имел подле себя оряси-ну». Это был землемер из Саратова поручик Петр Алексеевич Гасвицкий — «молодец, приземистый борец, всех проворнее и сильнее». Начав разговор, хозяин слово за слово завязал ссору и мигнул остальным, «чтоб они начали свое дело». Неожиданно офицер повел себя не так, как предполагалось. «Нет, брат, — сказал он хозяину. — Державин прав, а ты виноват, и ежели кто из вас тронет его волосом, то я вступлюсь за него и переломаю вам руки и ноги». Дело в том, что незадолго до описанных событий Гаврила Романович видел Гасвицкого в трактире, «игравшего несчастно на бильярде: ибо его на поддельные шары обыгрывали, что он шуточной и заметил офицеру». Памятуя о добром предостережении, тот встал на сторону Державина. Хозяин и его «соумышленники» принуждены были ретироваться. В противном случае поэта могли «поколотить, а может быть, и убить»<sup>109</sup>.

Погрязнув в «карточном распутстве», Гаврила Романович сильно просрочил отпуск из полка, ему грозили разжалование в солдаты и перевод из гвардии в армию. Наконец, в марте 1770 года он, «возгнушавшись сам собой», решил бежать от московских приятелей. Занял у одного знакомого матери 50 рублей, «бросился опрометью в сани и поскакал без оглядки в Петербург». Не тут-то было. Страсть к игре не оставляла его. В Твери сержант встретил кого-то из прежних трактирных товарищей и просадил с ним деньги. Насилу отвяжавшись от старого друга, он снова пустился в путь без гроша в кармане. На его счастье дорогой ему попался добродушный ученик придворного садовника, ехавший из Астрахани в столицу с виноградными лозами. Юноша занял бедолаге еще 50 рублей, которые Державин едва довез до Новгорода, где благополучно проиграл в трактире. Петербурга Гаврила Романович достиг без багажа. «Остался у него только рубль один, крестовик, полученный им от матери, который он во все течение своей жизни сберег»<sup>110</sup>.

В полку над ним сжалился полковой секретарь капитан-поручик П. В. Неклюдов, задним числом приписав Державина к гвардейской команде, находившейся все это время в Москве. Под влиянием Неклюдова, капитана А. В. Толстого и некоего господина Протасова мот и игрок начал помаленьку исправляться. «Сии трое честные и почтенные люди его крайне полюбили» и приставили к канцелярским делам, которые у Державина ладились. Смерть родного брата от чахотки окончательно отрезвила Гаврилу Романовича. Он осознал, что остался у матери единственной опорой и не может себе позволить прежних шалостей.

Не для всех картежные страсти заканчивались так благополучно. Примером тому служит история бывшего фаворита Екатерины — Семена Гавриловича Зорича, превратившего свое огромное имение в Шклове в игорный рай. Начал красавец-серб щедрым меценатством, преобразившим город, а окончил печатанием фальшивых денег и крепостью.

Семен Гаврилович происходил из старинной сербской фамилии Неранчичей, члены которой уже второе поколение служили в России. Храбрый гусарский офицер, он отличился во время войны с Турцией, попал в плен, бежал, вновь явился в русскую армию и был награжден Георгием 4-й степени. В 1776 году он написал прошение на имя вице-президента Военной коллегии Г. А. Потемкина, в котором просил уравнивать себя с офицерами, которые получили чин подполковника за то время, пока он был в плену<sup>111</sup>. Потемкин взял его к себе в адъютанты и познакомил с императрицей.

Фавор Зорича относился к 1777 году. Попытки Семена Гавриловича войти в конфронтацию с бывшим покровителем кончились его отставкой. Зорич отправился в свое белорусское имение в Шклове, где построил великолепный дворец и превратил его в центр карточных игр и развлечений. На несколько лет заштатный городишко стал своего рода белорусским «Монако». Туда съезжались богатые игроки из России, Польши и Германии, пускали по ветру миллионы и развлекались в свое удовольствие. Сам город украсился ка-

менными зданиями, Зорич на свои средства содержал гимназию и кадетский корпус.

«Ни одного не было барина в России, который бы так жил, как Зорич, — писал адъютант Потемкина Л. Н. Энгельгардт. — Шклов был наполнен живущими людьми всякого рода, звания и нации; многие были родственники и прежние сослуживцы Зорича и жили на его совершенном иждивении; затем отставные штаб-и обер-офицеры, не имеющие приюта, игроки, авантюристы, иностранцы, французы, итальянцы, немцы, сербы, греки, молдаване, турки, словом, всякий сброд и побродяги; всех он ласково принимал, стол был для всех открыт... Польская труппа была у него собственная. Тут бывали балы, маскарады, карусели, фейерверки, иногда его кадеты делали военные эволюции, предпринимали катания на воде. Словом, нет забав, которыми бы хозяин не приманивал к себе гостей. Его доходы были велики, но такого рода жизнь ввела его в неоплатные долги»<sup>112</sup>.

Под покровительством Зорича его родственники братья Зановичи наладили в имении подпольный выпуск фальшивых ассигнаций. Раскрыть аферу «посчастливилось» опять-таки Потемкину, потому что именно ему обманутые еврейские торговцы принесли жалобу. «Со времени случая Зорича, — рассказывал Энгельгардт, — они между собою были неприятели; хотя князь и не имел к Зоричу ненависти, но тот всегда думал, что тот к нему не благоволит; чтобы доказать противное, светлейший князь остается в Шклове на целый день. Один еврей просил позволения переговорить с князем наедине...» Он показал Потемкину ассигнацию: «Видите ли, ваша светлость, что она фальшивая?» Сначала князь ничего не заметил, «так она хорошо была подделана... и казалось, не могла быть подвергнута ни малейшему сомнению». Тогда еврей-проситель обратил внимание Потемкина, что вместо слова «ассигнация» написано «ассигиация», и сообщил, что выпуском занимаются «камердинер графа Зановича и карлы Зоричевы».

Потемкин дал еврею тысячу рублей, приказав, чтоб тот поменял их на фальшивые и привез их ему в местеч-

ко Дубровку неподалеку от Шклова. Из Дубровки Потемкин послал за отцом Энгельгардта, местным губернатором. «Видишь, Николай Богданович, у тебя в губернии делают фальшивые ассигнации, а ты и не знаешь?»<sup>113</sup> — сказал он. Следствие вскрыло причастность к афере Зановичей, родственников бывшего фаворита, которому они обещали помочь выпутаться из долгов. Сами хитрецы, как оказалось, давно находились в розыске в Венеции и Париже, поскольку, путешествуя по Европе, «везде находили простачков» и разными способами выманивали у них деньги. Зановичи были арестованы и препровождены в крепость Балтийский порт. Семену же Гавриловичу удалось оправдаться в личном разговоре с Екатериной. Скорее всего, императрица не поверила в его невиновность, но уголовное преследование прежнего любовника косвенным образом бросало на нее тень, поэтому дело в отношении самого Зорича предпочли замять. «Можно сказать, две души имел, — отозвалась о нем Екатерина. — Любил доброе, но делал худое, был храбр в деле с неприятелем, но лично трус»<sup>114</sup>.

В 1784 году Зорич был уволен с военной службы, на которой еще формально числился, за ним установили негласное наблюдение. После смерти Екатерины в 1796 году Павел I вновь вернул бывшего фаворита на службу, назначив его командиром гусарского полка и произведя в генерал-лейтенанты. Но уже через год Семен Гаврилович растратил казенные деньги и был привлечен к суду. Последовавшее за этим увольнение было последним. Под конец жизни несчастья преследовали Зорича. В 1799 году сгорело здание созданного им кадетского училища. Учеников перевели в Москву, где из них был создан Первый московский кадетский корпус. В том же году Зорич скончался в разоренном шкловском имении, окруженный нищей родней. Знаменательно, что управление некогда цветущими вотчинами промотавшегося картежника было поручено картежнику завязавшему — сенатору Державину<sup>115</sup>.

Солидные люди, расставшиеся с карточной игрой, всеми силами старались избегать соблазна. После женитьбы офицер или чиновник одновременно переставал посещать дамские заведения известного сорта и

собрания сослуживцев, где велась азартная игра. Иное поведение считалось неприличным. О том, как много горя семье приносила игорная страсть супруга, рассказала в своих мемуарах А. Е. Лабзина. Ее история относилась к 80-м годам XVIII века. «Муж мой начал заводить свои знакомства, — писала несчастная женщина. — Пошли карточные игры, пьянствы; распутные девки были их собеседницы... Наконец и у нас в доме началась карточная игра, и целые дни и ночи просиживали. И можно себе представить, что я слышала: шум, крик, брань, питье, сквернословие, даже драки бывали! Ворота тогда и двери запирали, и, кто бы ни пришел, особливо от начальника, велено сказывать, что болен и никого не принимает. Я в это время сиживала в самой отдаленной комнате с матушкой и только плакала. Когда они расходились, то на мужа моего взглянуть было ужасно: весь опухши, волосы дыбом, весь в грязи от денег, манжеты от рукавов оторваны; словом — самый развратный вид. Сердце мое кровью обливалось при взгляде на него. Ложился тотчас спать, и сия тишина давала и мне некоторое успокоение. Когда он просыпался от этого чаду, тогда входила матушка и говорила ему все то, что могла и чем думала сколько-нибудь его остановить. И он всегда обещал ей исправиться»<sup>116</sup>.

Однако дурные наклонности крепко держали людей. Первый муж Лабзиной — талантливый горный инженер Карамышев — помимо дурной компании имел и умных начальников, и сильных покровителей, и щедрых друзей. Но никто не мог удержать его от кутежа.

### *«Маленькое общество друзей»*

Противовесом шумным компаниям, где за зелеными столами проигрывались целые состояния, были интеллектуальные вечера в кругу семейства и образованных знакомых — прообразы салонов XIX века. Здесь буйной гульбе и беспутству противопоставлялся идиллический мир дружбы, теплого общения, литературных, музыкальных и художественных интересов. Если главной фигурой картежного собрания являлись шулер



или банкومت, то в салоне на первый план выступала дама, хозяйка дома — существо благородное и возвышенное. Именно она, вместе с приглашенными поэтами, музыкантами и политиками, олицетворяла чистые, умственно-духовные наслаждения, которыми упивалось образованное дворянство XVIII века.

Основное время мужчин принадлежало службе, зачастую в собственном доме они чувствовали себя гостями. Инициатива по созданию первых салонов всецело принадлежала прекрасному полу. Сегюр писал о русских дамах того времени: «Женщины ушли далее мужчин на пути совершенствования. В обществе можно было встретить много нарядных дам и девиц, замечательных красотой, говоривших на четырех и пяти языках, умевших играть на разных инструментах и знакомых с творениями известнейших романистов Франции, Италии и Англии. Между тем мужчины, исключая сотню придворных... большею частью были необщительны, молчаливы и, по-видимому, мало знали о том, что происходило за пределами их отечества». Именно дамы радушно принимали иностранцев, устраивали рауты и музыкальные вечера, приглашали в гости знаменитостей, то есть старались украсить свой досуг. «Так как все обедали рано, то время после полудня было посвящено визитам и съездам в гостиных, где ум и вкус образовывались приятным и разнообразным разговором. Это напоминало мне то веселое время, которое я проводил в парижских гостиных».

Сходство с родными пенатами отмечали многие французы. Роже Дама, посетивший Россию в годы второй Русско-турецкой войны, вспоминал: «Ни по костюмам, ни по манерам, ни по языку, ни даже по произношению нельзя было бы предположить, что находишься не в парижском обществе. Обычай, внешность представляли столько сходства, женщины так изящны, мужчины так вежливы, хозяйева так предупредительны, что я был поражен, увидев вдали от родины все то, что в моих глазах давало ей преимущества над всеми государствами Европы»<sup>117</sup>.

Однако между русским и французским обществом была существенная разница. В Париже уже прочно ут-

вердился политический салон. Петербургские же частные собрания вовсе не занимались обсуждением вопросов дипломатии или внутреннего управления. Это была сфера правительства. Вторгаться в нее считалось не столько небезопасным, сколько неприличным. Даже если представители знатнейших родов и задумывались над политическими проблемами, превращать их в тему светской беседы, как это будет в эпоху Александра I, еще не пытались. В вопросах государственных екатерининский свет жил по принципу: «Не нашего ума дело». Сегюр не раз досадовал на влияние англичан и даже пытался перебить его французским, используя именно разговоры в гостиных. «В Петербурге было довольно лиц, особенно дам, которые предпочитали французов другим иностранцам и желали сближения России с Францией. Это расположение было мне приятно, но не послужило в пользу. Петербург в этом случае далеко не походит на Париж: здесь никогда в гостиных не говорят о политике, даже в похвалу правительства. Недовольные высказывались только в тесном, дружеском обществе. Те же, кому это было стеснительно, удалялись в Москву, которую, однако, нельзя назвать центром оппозиции — ее в России нет, — но которая действительно была столицей недовольных».

Итак, политические вопросы были изъяты из ведения салонов. Что же оставалось? Культура в самом широком смысле слова. От просто любезной беседы, касавшейся самых разных предметов, до исторических мемуаров, которыми могли поделиться свидетели иных эпох. «Бывало, нехотя покидаешь умный разговор графини Шуваловой или оригинальную и острую беседу госпожи Загряжской... Трудно найти женщину добрее и умнее графини Салтыковой. Как искренно и непритворно милы графини Остерман, Чернышева, Пушкина, госпожа Дивова... Я не могу умолчать о старухе графине Румянцевой, матери фельдмаршала. Она обладала живым, веселым умом и юным воображением. Так как у нее была прекрасная память, то разговор ее имел всю прелесть и поучительность хорошо изложенной истории. Она присутствовала при основании Петербурга. Будучи во Франции, посетила обед у Людо-

вика XIV и описывала мне наружность, манеры, выражение лица, одежду госпожи Ментенон, как будто только вчера ее видела. В другой раз она представила мне верную картину двора английской королевы Анны. Наконец, рассказывала о том, как за ней ухаживал Петр Великий»<sup>118</sup>.

Одни из самых интересных вечеров проходили у архитектора, поэта и музыканта Николая Александровича Львова и его супруги Марии Алексеевны. Близкий сотрудник графа А. А. Безбородко, друг Державина, Левицкого, Хемницера, Львов считался «гением вкуса», арбитром эlegantности. А его дом — «пристанищем художников всякого рода». Державин писал, что «люди, словесностью, художествами и даже мастерствами занимавшиеся, часто прибегали к нему на совещание, и приговор его превращали себе в закон»<sup>119</sup>.

У Львовых собирались литераторы, главным из которых, конечно, был Державин. Он и сам принимал у себя собратьев по перу. Разные модели поведения писателей в светских гостиных, где к ним постепенно стали относиться как к «главному блюду», тонко подметил в мемуарах поэт И. И. Дмитриев. «Со входом в дом его, — рассказывал он о Державине, — как будто мне открылся путь к Парнасу». Здесь он познакомился с И. Ф. Богдановичем, А. Н. Олениным, Д. И. Фонвизиным, В. В. Капнистом. Богданович «уже мало занимался литературою, но сделался невольным данником большого света. По славе “Душеньки” многие, хотя и не читали этой поэмы, хотели, чтобы автор ее дремал за их поздними ужинами. Всегда во французском кафтане, кошелек на спине и тафтяная шляпа (кляк) под мышкою. Всегда по вечерам в концерте или на бале в знатном доме, Богданович, если не играл в вист, то везде слова два о дневных новостях или о дворе, или заграничных происшествиях... Он не любил не только докучать, даже и напоминать о своих стихах, но в тайне сердца всегда чувствовал свою цену и был довольно щекотлив к малейшим замечаниям на счет произведений пера его».

Совсем иначе вел себя Фонвизин. Создатель «Недоросля» громогласно требовал отзывов на свои новые тексты и без стеснения высмеивал молодых графома-

нов. «Увидя его в первый раз, я вздрогнул и почувствовал всю бедность и тщету человеческую. Уже он не мог владеть одною рукою, равно и нога одна одеревенела. Обе поражены были параличом. Говорил с крайним усилием, и каждое слово произносил голосом охриплым и диким; но большие глаза его быстро сверкали... Он приступил ко мне с вопросами о своих сочинениях: знаю ли я “Недоросля”? Читал ли “Послание к Шумилову”, “Лису Кознодейку”? Как я их нахожу? ...Потом Фонвизин сказал, что он привез показать новую комедию “Гофмейстер”. Хозяин и хозяйка изъявили желание выслушать. Он подал знак одному из своих вожатых, и тот прочитал комедию одним духом. В продолжение чтения автор глазами, киванием головы, движением здоровой руки подкреплял силу тех выражений, которые самому ему нравились... Несмотря на трудность рассказа, он заставлял нас не однажды смеяться».

Сам Державин снисходительно выслушивал мнения светских болтунов о своем творчестве и даже позволял давать советы. Но, по словам Дмитриева, «при всем гении с великим трудом поправлял стихи». Он «охотно принимался за переделку, но редко имел в том удачу... Голова его была хранилищем сравнений, уподоблений, сентенций и картин для будущих поэтических произведений... Часто посреди гостей задумывался он и склонялся к дремоте. Но я всегда подозревал, что он притворялся, чтобы не мешали ему заниматься чем-нибудь своим, важнейшим обыкновенных пустых разговоров»<sup>120</sup>.

Кружок «родственных душ» собирался чаще всего не вокруг хозяина, а вокруг хозяйки дома. Пример на вечерах в Эрмитаже подавала императрица. Ее компанию «без чинов» можно назвать первым русским салоном. Постепенно перенимая европейский вкус и тонкость обращения, дамы охотно создавали маленькие сообщества — чаще всего музыкальные и театральные. Уже к концу царствования Екатерины светские гостиные содержали Салтыковы, Чернышевы, Остерман, Головины, Долгоруковы, Бяратинские, Скавронские, Строгановы, Голицыны, Куракины, Разумовские и другие.

Огромную роль на таких собраниях играла музыка. Модные оперы мигом раздергивались на мелодии, ко-

которые исполнялись одаренными музыкантшами в кругу знакомых и друзей. В 1777 году по предложению Н. А. Львова в доме его приятеля П. В. Бакунина проводились музыкально-театральные вечера и даже была поставлена комическая опера А. М. Г. Саккини «Колония», в которой пела Мария Дьякова, будущая жена архитектора. В 90-х годах XVIII века большой популярностью пользовалась опера Н. М. Делейрака «Нина, или Сумасшедшая от любви», без арий из которой не обошелся ни один вечер<sup>121</sup>.

В конце столетия заметным явлением в жизни столицы был дружеский музыкальный кружок Долгоруковых-Куракиных, где тон задавали две талантливые сочинительницы и исполнительницы романсов Наталья Ивановна Куракина и Екатерина Федоровна Долгорукова. Перу Куракиной принадлежат 49 вокальных миниатюр: русские песни, французские романсы, итальянские арии. Все они предназначались для «домашнего употребления», то есть для развлечения образованных гостей, и отвечали вкусам аристократической среды, где постепенно устанавливался культ нежной, сентиментальной дружбы. «Только маленькое общество друзей, лишенных всяких претензий, делает жизнь приятною, — писала Куракина. — Они украшают все вокруг нас. Напротив того, среди людей ко мне безразличных я всегда теряюсь»<sup>122</sup>.

Льву Толстому ставили в вину то, что салон Анны Павловны Шерер в «Войне и мире» — калька с современного писателю общества. Во времена князя Андрея званые вечера выглядели иначе. Действительно, дружеские общества в гостиных, музыкальные и театральные встречи, унаследованные началом XIX столетия у золотого века Екатерины, были камернее. Список тем для беседы не исключал и злословие, но в компании из десяти-двадцати человек, ведущих общий разговор, гораздо сложнее было безнаказанно пустить сплетню. Ведь каждый находился на виду. Вспомним рассказ Марты Вильмот о московских собраниях: «Но не воображайте, что разговор касается Пунических войн или коллекций мелодично звучащего стекла. Нет. Здесь рождаются тонкая лезть и легкое злословие. 40 человек

из светского общества в 40 различных домах говорят и делают приблизительно одно и то же, только одни — скучно, другие — интересно»<sup>123</sup>.

Подруга Куракиной — Долгорукова содержала один из самых изысканных салонов, где, по словам Виже-Лебрён, собирались «дипломатический мир Петербурга, а также наиболее значительные иностранцы. Хозяйка была так обходительна, что попасть к ней стремился каждый». О впечатлении, произведенном на него Долгоруковой, писал в воспоминаниях граф Е. Ф. Комаровский: «Она была тогда из первых между молодыми дамами в Петербурге, как по красоте, так и по приятному ее обращению. Я часто у нее бывал. Тогда в большом обыкновении были спектакли, из лиц общества составленные. Посол римского императора граф Кобенцель, известный своей любезностью, был из числа обожателей княгини. Он имел большой талант для театра, и часто они играли вместе»<sup>124</sup>.

В известной степени с салоном Долгоруковой соперничали музыкальные вечера в доме у Варвары Николаевны Головиной, также писавшей романсы. Ей принадлежит вокальный дуэт «Роза любви», созданный в 1796 году. Виже-Лебрён вспоминала: «Графиня прекрасно рисовала и сочиняла изящные романсы, которые сама же и пела, аккомпанируя себе на фортепиано. Более того, она прекрасно знала все литературные новости Европы, каковые, как мне кажется, становились ей известны одновременно с их появлением в Париже»<sup>125</sup>. Князь Адам Чарторыйский, в целом крайне недоброжелательно описывавший русское общество рубежа XVIII—XIX веков, делал для Головиной исключение: «Дом Головиных отличается от всех, мною перечисленных. Здесь нет ежедневных вечеров, но вместо этого небольшое избранное общество, вроде того, которое в Париже продолжало старинные традиции Версаля. Хозяйка дома остроумная, восторженная, чувствительная, обладает талантами и любовью к изящным искусствам»<sup>126</sup>.

В конце столетия русское общество пережило страстное увлечение французским романсом, он сделался элементом куртуазной игры, обязательным атрибутом

ухаживания. В форме романса делались признания в нежных чувствах, изобличалось коварство, оплакивалась неразделенная страсть. Мода рождала подражания. Так, в 1781 году вышел «Сборник российских песен» Ф. Мейера, включавший пастораль «Поля, леса густые» на стихи Капниста «Неверность Лизетты». Последние, в свою очередь, копировали французский романс «O, ma tendre musette». Французским «Ариям трубадуров» подражал и Козловский в романсе «Пел трубадур печальный», столь полюбившемся русским исполнительницам.

Совершенно естественно, что в гостиных, где важное место занимали литература и музыка, сам воздух был напоен театром. Два столетия назад образованной публике, чтобы развлечь себя, приходилось прикладывать много усилий. Домашние, любительские постановки, живые картины, поездки в профессиональные театры и содержание собственных крепостных трупп были повальным увлечением времени.

### *«Маска Талии»*

Попав в Петербург и познакомившись с Долгоруковой, Виже-Лебрён сразу же оказалась втянута в среду меломанов, постоянно устраивавших постановки собственных спектаклей. «В день моего приезда была вечерняя музыка, а на завтра — восхитительный спектакль. Исполнялось “Подземелье” Далеирака. Княгиня Долгорукова играла роль Камиллы, молодой де Рибопьер представлял ребенка, а граф Кобенцель — садовника... Во время спектакля приехал курьер из Вены с депешами для графа. При виде человека в костюме садовника он никак не хотел отдавать ему пакет, и за кулисами произошёл весьма забавный спор.

Мне захотелось воспользоваться сей небольшой, но очаровательной труппой для составления живых картин. Из Санкт-Петербурга все время кто-то приезжал, и можно было выбирать своих персонажей из самых красивых мужчин и женщин. Я драпировала их в кашемировые шали, коих там было в изобилии... Я пред-

ставляла по памяти «Семейство Дария», великолепно удавшееся. Но наибольший успех выпал Ахиллу при дворе Ликомеда, и роль Ахилла я взяла на себя, поскольку очень часто пользовалась шлемом и щитом для придания костюму совершенной достоверности»<sup>127</sup>.

В Петербурге не было почти ни одного знатного дома, где в интерьере роскошных гостиных не скрывалось бы укромного уголка, специально предназначенного для домашних спектаклей. Без них жизнь дружеских сообществ шла бы скучно и вяло. Шевалье де Корберон объяснял пристрастность русских аристократов к домашним спектаклям чванством и страстью копировать жизнь августейших особ: «Тщеславие, которое господствует здесь всюду и во всем, навело на мысль устроить частную комедию. Ведь если играют у великого князя, надо же играть и у себя. Я не знаю нации более склонной к подражанию и больших льстецов, чем при русском дворе»<sup>128</sup>. Вероятно, подобная нота в устройстве домашних театров тоже была. Но главное, на наш взгляд, стремление придать досугу изысканные формы.

Театральная новинка, подхваченная на большой сцене, вносила разнообразие в монотонный круг развлечений. С. П. Жихарев в «Воспоминаниях» называл это время «золотым веком театралов»: «Театральные дела... трактовались с некоторою важностью. Первое представление какой-нибудь трагедии, комедии или даже такой оперы, как «Илья Богатырь» Крылова, возбуждало общий интерес, производило повсюду толки, суждения и рассуждения»<sup>129</sup>.

Немедленно возникало желание самим «опробовать» новинку. Пример подавал двор. На Эрмитажных собраниях, где бывало человек 50—60 избранных гостей, вечер почти всегда начинался театральным представлением. Иногда на сцену поднимались и любители. Граф А. И. Рибопьер, в детстве бывший воспитанником Екатерины II, вспоминал: «Я видел княгиню Дитрихштейн в роли Люцинды в «Оракуле»... Другой раз представляли «Ифигению в Авлиде»: граф Виельгорский играл Агамемнона, жена его Клитемнестру, граф Петр Андреевич Шувалов Ахилла, Туттолмин Улисса, П. И. Мятлева Ифигению»<sup>130</sup>.



Одной из наиболее популярных с конца 80-х годов XVIII века была опера Далеярака «Нина, или Сумасшедшая от любви». Ее сентиментальный сюжет несколько десятилетий трогал зрительские души. Он прост: молодая девушка сходит с ума, узнав о гибели жениха. Не веря роковому известию, несчастная каждый день ждет любимого в саду замка. О том, как современникам понравился образ Нины, говорит тот факт, что ее роль исполняли три самые яркие актрисы-любительницы — Екатерина Нелидова, Екатерина и Евгения Долгоруковы, — вызывая у публики споры, чья работа лучше удалась. Если Нелидова представляла «безумную в бешенстве», Екатерина Долгорукова «была красавица придворная на театре», то Евгения играла «меланхолическое безумие, сохранявшее свою природную нежность»<sup>131</sup>.

По удачному выражению завязанного театра князя И. М. Долгорукова, спектакль «мог скипеть в минуту». Однако для аристократов, желавших поиграть «в театр», главным был процесс подготовки пьесы — репетиции, рисование декораций, создание костюмов, а также мелкие любовные интрижки, завязывавшиеся на импровизированных подмостках по ходу дела. Конечный результат их не слишком волновал. Редкая постановка доходила до премьеры. Тот вельможный «актер» оказывался в отлучке по делам службы, другой отправлялся в имения, третий болел, четвертую не пускал ревнивый муж. И хотя многие любители исполняли роли не хуже профессионалов, любительским был сам подход к спектаклю.

Домашние спектакли в Петербурге вошли в моду после того, как театральное мастерство стало одной из обязательных наук в Смольном Воспитательном обществе. Не случайно на картинах Д. Г. Левицкого, написанных в 1773 году специально к приезду Дени Дидро, воспитанницы Е. И. Нелидова, Е. Н. Хрущова и Е. Н. Хованская изображены исполняющими роли в спектаклях. Просветительская философия отводила театру особое место в воспитании подрастающего поколения. Вольтер писал Екатерине II о влиянии драматургов Корнеля и Расина на французов: «Эти люди обучали

свою нацию мыслить, чувствовать и выражать свои идеи». Он советовал императрице воспользоваться примером театра для развития у учениц вкуса и необходимых в свете навыков: «Декламация, как трагическая, так и комическая мне кажется прекрасной. Она придает изящество духу и телу, образует голос, выдержку и вкус. В памяти сохраняются сотни страниц, которые впоследствии читаются при удобном случае. Это доставляет большое наслаждение в обществе».

Екатерина и сама была энтузиастом театра. С ее легкой руки представления вошли в программы учебных заведений — Шляхетского корпуса, Академии художеств, Московского воспитательного дома. Там разыгрывались комические оперы, ставились балеты и драматические спектакли. Занятия со смольнянками, в числе прочих приглашенных знаменитостей, проводил известный артист придворного театра И. А. Дмитриевский. На спектакли приглашались родственники воспитанниц, знатные придворные, сопровождавшие императрицу. Постановка оперы-буфф «Служанка-госпожа», где восходящая звезда Нелидова играла главную роль, даже удостоилась стихотворной оды А. П. Сумарокова:

Как ты, Нелидова, Сербину представляла,  
Ты маску Талии самой в лице являла,  
И, соглашая глас с движеньями лица,  
Приятность с действием и с чувствами взоры,  
Пандольфу деля то ласки, то укоры,  
Пленила пением и мысли, и сердца.

Соперницей Нелидовой была Наталья Борщова, она очаровывала зрителей пением и игрой в драматических постановках:

Борщова, в опере с Нелидовой играя  
И ей подобным же талантом обладая,  
Подобну похвалу себе приобрела,  
И в зрителях сердца ты пением зажгла.

Совсем иначе дело обстояло в Первопрестольной. Яркую зарисовку московской театральной жизни, а вернее, нравов благородной публики дает Е. П. Янькова.

В старой столице чурались частных «балаганов», а участие в любительских постановках считалось не вполне пристойным. Порядочные люди если и позволяли себе полюбоваться на «позорище», то должны были ездить к родственникам и знакомым, у которых имелись собственные труппы крепостных актеров. Покупка же билетов за деньги ставила московских дворян на одну доску с простолюдинами. Придя в зрительный зал, почтенная матрона могла оказаться рядом со шляпником или модисткой. Это, естественно, не нравилось благородным господам.

«В наше время не езжали так часто по публичным театрам, как теперь, оттого, что приличнее считалось бывать там, куда хозяин приглашает по знакомству, а не там, где каждый может быть за деньги, — писала Янькова. — У кого же из нас не было в близких знакомых людей, имевших свои собственные театры?» Посетив в 14 лет впервые театр Медокса, мемуаристка отметила, что зала была «очень грязновата, тесна и невзрачна». Считалось неприличным часто возить детей на представления. «Батюшка об этом судил очень строго: “Вырастут большие, успеют всего наглядеться, а то, как начнут спозаранок всюду разъезжать, скоро все надоеет и прискучит. Теперь пусть сидят за грамоткой и за рукоделием...” Я тоже своих девок не любила таскать по театрам и не хотела их везти до пятнадцати лет».

Янькова дает нелестную характеристику одному из первых содержателей частных театров в Москве — Мекколу Георгиевичу Медоксу (Меддоксу). Ошибочно считается, что он приехал из Англии в Россию в 1766 году по приглашению двора, чтобы преподавать математику наследнику Павлу Петровичу, но не справился со своим делом и подался на сцену в качестве фокусника. На самом деле Медокс был вызван в Петербург не как ученый, а как постановщик физических и химических опытов, которые и должен был продемонстрировать великому князю. После чего он организовал театр, в котором показывал различные технические новинки<sup>132</sup>. Через десять лет Медокс накопил денег, перебрался в Первопрестольную, где на паях с князем П. В. Урусовым взял на содержание театр и начал ставить

спектакли в доме Р. И. Воронцова на улице Знаменской. После пожара в этом помещении он построил новое здание на Петровке.

«Содержатель театра Медокс был англичанин, как говорили, но я думаю, что из жидов, — писала Янькова, — большой шарлатан и великий спекулятор». В обширном саду за Рогожской заставой он устроил для публики вокзал (концертный зал), гулянья, представления на открытом воздухе и фейерверки. «Многие туда езжали... из общества средней руки, в особенности молодежь и всякие Гулякины и Транжирины. Между тем у Шереметева в Кускове бывали часто праздники и пиры, на которые мог приехать кто только хотел... Это барское гостеприимство и хлебосольство приходилось не по нутру жадному Медоксу, и он многим жаловался... Кто-то и говорит Шереметеву:

— Медокс, содержатель театра, плачется на вас, что вы у него отбиваете публику».

Характерен ответ Шереметева: «Скорее же это я могу жаловаться, что он меня лишает посетителей и мешает мне тешить даром людей, с которых он дерет горяченькие денежки. Каждый, кто ко мне пришел, тот мой гость, милости просим, веселись всякий, как ему хочется. Я весельем не торгую, а гостя своего им забавляю. Для чего ж он моих гостей у меня отбивает? Кто к нему пошел, может статья, был бы у меня»<sup>133</sup>. Симпатии Яньковой на стороне вельможи-мецената, а у хозяина коммерческого театра, зарабатывающего «горяченькие денежки», и тесновато, и грязновато. Словом, не для благородных людей.

Ужиться с московской публикой Медоксу действительно было непросто, тем более конкурировать с богатейшими вельможами, содержавшими роскошные крепостные театры. Последние превосходили «коммерческий балаган» англичанина и по выучке актеров, и по разнообразию репертуара, и по великолепию костюмов и декораций. Так, в репертуаре шереметевского театра было более ста пьес. Однако именно Медокс создал в Первопрестольной первый театр «для всех». Демократизм его заведения не импонировал тогдашней благородной публике. «Теперь каждый картузник и са-

пожник, корсетница и шляпница лезут в театр, — рассуждала Янькова, — а тогда не только многие из простонародья гнушались театральными позорищами, но и в нашей среде иные считали греховными все эти лицедейства».

25-летняя история театра Медокса — это история борьбы с жизненными невзгодами, конкурентами, чиновниками и нехваткой средств. Разрешение устроить театр в старой столице было дано Медоксу с условием, что его предприятие станет ежегодно отчислять 25 процентов прибыли в пользу Воспитательного дома, где часть детей-сирот обучалась театральным и музыкальным специальностям. Постепенно содержанию театра удалось добиться сокращения выплат до 10 процентов. «Я едва успел насладиться плодами моих первых работ, — писал Медокс, — когда уже в феврале 1780 года огонь уничтожил театр, который я воссоздал из небытия: за четыре года мне удалось сделать новую мебель, гардероб и декорации. Этот несчастный случай не должно приписывать небрежности моей или тех людей, которые служат в театре, так как огонь возник снаружи... Тяжесть убытков падала на меня одного»<sup>134</sup>.

Пожар не освободил Медокса от необходимости вносить деньги в Воспитательный дом. Однако театр справился с трудностями и процветал до 1783 года, когда у него возник новый конкурент. Юные актеры, подготовленные в Воспитательном доме, по выходе в свет подались сначала в Петербург. Но там удача улыбнулась далеко не всем. Многие из бывших воспитанников вернулись в Москву, где под руководством Э. Ванжуры создали свой театр. Они воспользовались помещениями и старым реквизитом Воспитательного дома. На первых порах их спектакли финансировала казна. Круг зрителей в Москве был еще не слишком широк, поэтому борьба за публику развернулась нешуточная. Медокс сумел возбудить против конкурентов ряд судебных дел, и, хотя решения были вынесены не в его пользу, все-таки путем взяток чиновникам добился закрытия театра Ванжуры. Часть потерявших работу актеров перешла к Медоксу. Однако это была пиррова победа. Сам англичанин понес слишком большие

убытки, задолжал Воспитательному дому пять тысяч рублей и признал себя разоренным. Точку в жизни его детища положил пожар в сентябре 1805 года, уничтоживший Петровский театр.

К этому моменту в городе появились новые труппы, в том числе одна французская и одна немецкая, приковавшие к себе внимание публики. «Была и еще одна причина, — писала Янькова, — что наша братия езжала реже в театры: в Москве жило много знатных людей, и у редкого вельможи не было своего собственного театра и своей доморощенной труппы актеров. У Шереметева было два театра: в Кускове отдельным зданием от дома ... другой театр был в Останкине в доме. У графа Орлова под Донским, при его доме, у Мамонова, у Бутурлина в Лефортове, у графа Мусина-Пушкина на Разгуляе, у Голицына Михаила Петровича, у Разумовского в Петровском и в Люблине, и в Перове; потом у Юсупова в Архангельском и у Апраксиных в Москве и в Ольгове»<sup>135</sup>. В окрестностях Москвы того времени существовало свыше пятидесяти театров из дворовых людей.

Кэтрин Вильмот описывает праздник, устроенный в честь княгини Дашковой одним из ее соседей, Н. А. Дурасовым: «Если б ты видела роскошный уголок, в котором он живет! Мраморный дворец с колоннадой, опоясывающей первый этаж, за исключением центральной части, которая поднимается высоким куполом и служит банкетным залом. Своды покрыты великолепной росписью — Амуры и Грации, Аполлон и Музы... Вечером все собрались на театральном представлении. Впервые между пьесой и фарсом был балет. Хозяин почтительнейше извинялся за “убожество того, что мы видим”, объясняя это занятостью людей на уборке урожая. На самом деле здание театра было роскошным, а представление очень хорошим. Каждые полчаса публику обносили подносами с фруктами, сладостями, мороженым, лимонадом, чаем и другими напитками; воскуривали благовония»<sup>136</sup>.

У самой Дашковой в Троицком тоже был маленький театр. «Играя с удивительным воодушевлением, работницы, повара, лакеи, горничные изображают князей, княгинь, пастушков и пастушек, — писала Марта Виль-

мот. — Довольно забавно, как за ужином вам прислуживает лакей, который только что весь вечер был на сцене пастушком в раззолоченных одеждах»<sup>137</sup>. Подобным любителям было далеко до уровня трупп Юсуповых в Архангельском и Шереметевых в Кускове и Останкине.

Богатейшие семейства могли позволить себе создание целых «увеселительных усадеб», их театры действовали регулярно и были открыты для самой широкой публики, а репертуар подбирался из последних новинок парижской сцены. Для этого хозяева специально поддерживали переписку с иностранными деятелями искусства. Так, Н. П. Шереметев во время юношеского заграничного путешествия познакомился с виолончелистом парижской Гранд-опера Иваром, который впоследствии посылал ему планы новых театров, описания технических приспособлений, составлял инструкции по управлению театральными машинами, общал подробности о костюмах и реквизите<sup>138</sup>.

В больших театрах, вроде юсуповского и шереметевского, существовали специальные школы, где детей учили не только сценическим искусствам, но и грамоте, иностранным языкам, хорошим манерам. «Более всего казалось мне непостижимым, — писал граф Сегюр, — что стихотворец и музыкант, написавшие оперу, архитектор, построивший театр, живописец, украсивший оный, актеры и актрисы, танцоры и танцовщицы в балете, музыканты, составлявшие оркестр, все принадлежали графу Шереметеву, который тщательно старался о воспитании и обучении их». Французский посол посетил Кусково в свите Екатерины II 30 июня 1787 года, когда для императрицы там была дана опера А. Э. М. Гретри «Самнитские браки».

Впервые ее исполнили двумя годами ранее, и больше она уже не сходила с подмостков. В роли юной воительницы Элианы, разлученной с возлюбленным Пармененом, блистала Прасковья Жемчугова. Ее лирическое сопрано так понравилось августейшей зрительнице, что Екатерина подарила певице бриллиантовый перстень и пожаловала к руке. Такой чести удостаивалась далеко не каждая прима. Этот жест был знаковым — крепостная актриса превращалась в первую звезду русской сцены.

Мы не случайно заканчиваем рассказ о развлечениях русского образованного общества второй половины XVIII века разговором о театре. Театральность пронизывала жизнь дворянства того времени. Отсюда самый пристальный интерес к театру, страсть к любительским постановкам, музыкальным вечерам и живым картинам. Грань между реальностью и игрой подчас становилась очень тонкой. Политик, дипломат, знатная дама обязаны были «уметь себя держать», а значит — играть на публике. Внешняя сторона быта светского общества была заранее расписана, у каждого имелись свои роли, выходить из них считалось неприличным. Мир публичной жизни намеренно выставлялся напоказ. Его страсти и добродетели черпались из литературы, сходили с подмостков в зал и облагораживали обыденность. Все, что не вписывалось в отведенные культурой Просвещения рамки, тщательно пряталось.

Однако имелась сфера, откуда открытость постепенно исчезала. Дом, семья, брачные отношения, потомство на протяжении второй половины XVIII века все больше и больше превращались в частное дело подданных. Становились все менее доступны обозрению и контролю. С подмостков перемещались за кулисы. Именно о них пойдет наш дальнейший рассказ.



## СЕМЬЯ

Нашему современнику при слове «семья» представляется нечто маленькое, сугубо интимное. Два-три человека, редко больше. В этот крошечный, тесно живущий мирок неохотно допускаются даже близкие родственники, что же говорить о посторонних? Трудно вообразить, что два с лишним столетия назад дело обстояло иначе. Семьи были большими, включали в себя несколько поколений, соединенных под одной крышей патриархального помещичьего дома. Здесь доживали век вдовы, обитали бедные родственники и не вышедшие замуж тетушки — старые девы. Бегала целая орава ребятишек — братьев, сестер и кузин разных степеней. Они дышали заботами о хлопотном, подчас неразделенном хозяйстве, как умели способствовали продвижению по службе мужской половины семейства, интриговали, искали покровительства у сильных земляков, составляли матриониальные планы, ссорились и мирились.

В целом это был беспокойный мир — подвижный, многоголосый, разнохарактерный. Каждый его член зависел от семьи, связанный с ней тысячами неразрывных нитей. Но и семья, в свою очередь, зависела от чинов, удачных браков, царских милостей или просто уживчивого нрава чад и домочадцев. Вот как князь П. А. Вяземский описывал впечатление от клана Оболенских, врезавшееся ему в память с раннего детства:

«Женат князь Оболенский был на княжне Вяземской... В продолжении брачного сожителства имели они двадцать детей. Десять из них умерло в разное время, а десять пережили родителей. Несмотря на совершение двадцати женских подвигов, княгиня была и в старости бодра и крепка, роста высокого, держала себя прямо, и не помню, чтобы она бывала больна. Таковы бывали у нас старосветские помещичьи сложения. Почва не изнурялась и не оскудевала от плодovitой растительности. Безо всякого пригoвительного образования была она ума ясного, положительного и твердого. В семействе и хозяйстве княгиня была князь и домоправитель, но без малейшего притязания на это владычество. Оно сложилось само собою к общей выгоде. Она была не только начальницею семейства своего, но и связью его, средоточием, душою, любовью...

Это семейство составляло особый, так сказать, мир Оболенский. Даже в тогдашней патриархальной Москве... отличалось оно от других каким-то благодушным, светлым и резким отпечатком. Налицо было шесть сыновей и четыре дочери. Все они долго жили с матерью и у матери... Небольшие комнаты имели какое-то эластическое свойство: размножение хлебов, помещений, кроватей... Брачные союзы в продолжение времени должны были вносить новые и разнородные стихии в единообразную и густую среду семейства... Но такова была внутренняя сила этого отдельного мира, что и пришлые, чуждые приращения скоро и незаметно сливались, спаивались, сцеплялись, срастались вместе... Не было ни зятей, ни невесток: все были чада одной семьи, все свои, все однородные»<sup>1</sup>.

Читая мемуары тех лет, устаешь от разъяснений кто, кому и в каком колене приходился родней, где обитал, чем владел и на ком женился. Крупные кланы успешнее переносили потрясения, связанные с войнами, бунтами или неурожаями, способными повлечь разорение небольших семейств, обладавших именьями только в одной губернии. Они упорнее противостояли изменению внутреннего быта и в течение всего XVIII века сохраняли множество черт допетровской старины. Эти семьи-корабли, непотопляемые галеры с доброй полу-

сотней гребцов, победно проплыли через царствование Екатерины II и вышли на просторы нового, XIX столетия. Там их ожидали страшные испытания. Первое из которых — война 1812 года — было преодолено не без потерь, но с честью. Запаса прочности у патриархальной дворянской семьи хватило еще на полвека.

### *«Пора тебя женить»*

Семья начинается с брака. Брак со сватовства. Два столетия назад дело это было непростым, хлопотным, а подчас и опасным. Шутка ли: уйти в чужой род, где женская половина мигом поставит невестку под каблук? Или, напротив, взять к себе человека незнакомого, еще неизвестно как воспитанного. Какого он роду-племени, какими средствами располагает? Это в первую очередь интересовало старших членов семейства, от которых зависело решение. Взаимные же симпатии и антипатии молодых рассматривались как чувства неосновательные и в расчет брались редко. Никто не гарантировал будущей чете счастья, тут уж как Бог пошлет. Зато родные всячески старались оградить жениха или невесту от возможного обмана.

Многочисленные тетушки, подружки семейства, свахи вызнавали в мельчайших подробностях, каким состоянием обладает кандидат, каков размер приданого, безупречна ли репутация девушки, можно ли надеяться на карьерный рост суженого. Все эти вопросы имели первостепенное значение, ибо в мире чинов ранг супруга и занимаемая им должность обеспечивали право на представление ко двору, определяли длину шлейфа и число слуг на запятках кареты, позволяли есть на серебре или фарфоре, открывали двери великосветских особняков. Легкомысленные влюбленные во все времена предпочитали рай в шалаше, но их многоопытные матушки прекрасно знали, что после летних медовых месяцев наступит осень, которую лучше встречать во дворце в окружении многочисленной челяди.

Посредством браков в союз вступали не столько молодые люди, сколько их семейства. Поэтому поиск

«предмета» никогда не пускался на самотек. Его контролировали старшие родственники, вернее родственницы. У отцов и дядьев, занятых службой, обычно не хватало времени подбирать партии. Вспомним знаменитые слова Фамусова из «Горя от ума»:

Что за комиссия, Создатель,  
Быть взрослой дочери отцом!

Фамусов не успевает хорошенько следить за делами Софьи. А женская родня, которая могла бы опекать девушку, в пьесе А. С. Грибоедова не показана. Зато ее прекрасно видно в «Евгении Онегине». Привезенную в Москву Татьяну Пушкин поручает заботам целого мира старых родственниц. И надо сказать, в нужный момент достойные дамы не сплеховали.

Шум, хохот, беготня, поклоны,  
Галоп, мазурка, вальс... меж тем,  
Между двух теток у колонны,  
Не замечается никем,  
Татьяна смотрит и не видит...

.....  
Забыв и свет и шумный бал,  
А глаз меж тем с нее не сводит  
Какой-то важный генерал.  
Друг другу тетушки мигнули  
И локтем Таню враз толкнули,  
И каждая шепнула ей:  
— Взгляни налево поскорей. —  
«Налево? Где? Что там такое?»  
— Ну, что бы ни было, гляди...  
В той кучке, видишь? впереди,  
Там, где еще в мундирах двое...  
Вот отошел... вот боком стал...  
«Кто? толстый этот генерал?»

Конечно, генерал для Татьяны — не бог весть какой подарок. Ее сердце занято другим, а будущий избранник толст, важен и как будто в летах. Во всяком случае он заметно старше Лариной. Тетушек это смутить не может. Наоборот.

Сегодня кажется естественным брак между ровесниками. В те времена на дело смотрели по-другому. Вступив в свет, девушка должна была найти себе партию,

пока юность и свежесть еще привлекали к ней внимание кавалеров. В противном случае она оставалась старой девой. Жизнь мужчины складывалась иначе. Прежде чем создать семью, он должен был добиться прочного общественного положения, выслужить чины, занять достойную должность. На это уходили лучшие годы. Некоторые, как отец Петра Гринева, женились только после отставки. В любом случае возрастной разрыв между супругами почти всегда был значителен.

Известный ученый и мемуарист А. Т. Болотов вспоминал, как его впервые назвали «женихом»: «Родитель мой издевками своими вогнал меня однажды в превеликие слезы. Идучи однажды в баню, угодно ему было взять меня с собой. Не успели мы раздеться, как вздумалось ему надо мною пошутить:

— Ну, брат Андрюша, — сказал он мне, — ты у меня теперь уже жених, и пора уже тебя женить.

Меня сие так поразило, что слезы у меня, как град, покатались, ибо природная застенчивость моя против женского пола была так велика, что я не мог рассудить, что это была одна шутка: я тогда не более как по одиннадцатому году был: женят ли кого в такие лета?»<sup>2</sup> Дело происходило в 30-е годы XVIII века, и действительно тогда «по одиннадцатому году» дворянина женить уже не могли. Но еще недавно, на исходе XVII столетия, мальчику оставалось бы до брака лет пять: в Московской Руси в семейную жизнь вступали рано. Во времена империи эта традиция сохранилась только у крестьян. В дворянских семьях положение резко изменилось. Служба отнимала у мужчин почти все время. Для семьи не оставалось ничего, поэтому и заводить ее старались как можно позже.

Семь—десять лет серьезной разницей не считались. Князь Михаил Иванович Дашков был семью годами старше своей суженой Екатерины Романовны Воронцовой. Они обвенчались в 1759 году, когда жениху исполнилось 23, а невесте 16. Варвара Николаевна Голицына вышла замуж за графа Николая Николаевича Головина в 1786 году, когда ей было 19, а ее суженому 29 лет. Оба брака состоялись по взаимной страсти и

первое время вызывали у окружающих умиление. «Моя молодость и семейное счастье были причиной всеобщего доброжелательства, — вспоминала Головина. — Мой брак, казалось, интересовал всех. Такое приятное чувство вызывает вид влюбленных супругов, старики наслаждаются воспоминанием, а молодежь сравнением»<sup>3</sup>.

Первые роды Дашковой, совпавшие со свирепой простудой супруга, привели к «тысяче безумств» влюбленных сердец. Постели князя и княгини стояли в смежных комнатах, но они не могли побыть вместе. «Мы с мужем испытывали муки Тантала, — писала Екатерина Романовна. — Не могли ни видеть друг друга, ни разговаривать... так что мне оставалось только плакать... Свекровь приставила ко мне старушку горничную, которая... служила нам Меркурием... Мы писали друг другу самые нежные записки, старушка носила их. Ночью, когда мой муж спал, я писала ему еще с тем, чтобы он утром, просыпаясь, мог получить письмо от меня... Это занятие, внушенное безграничной нежностью, холодным, рассудительным людям, пожалуй, покажется ребячеством»<sup>4</sup>. Однако сама княгиня и через сорок лет вспоминала те счастливые времена с благодарностью.

Тем горше были разочарования. И Дашков, и Головин первыми изменили своим юным женам. Подал тем самым повод для обычных в ту пору рассуждений: молодость и красота мужчин не гарантируют женщинам их верности, с более пожилыми мужьями семейные узы остались бы нерушимы. Характерны слова уже умудренной опытом Дашковой. Выдав дочь Анастасию за бригадира Андрея Евдокимовича Щербинина, который был значительно старше избранницы, княгиня писала: «Я надеялась, что он даст моей дочери тихую и мирную жизнь. Она... вряд ли могла рассчитывать, что более молодой и веселый муж станет ее любить и баловать»<sup>5</sup>.

Это не только убеждение деспотичной матери. Это взгляд эпохи. Мужья подчас годились женам в отцы, и такое положение считалось правильным. Пятнадцать-двадцать лет — вот средний промежуток между датами рождения супругов. Но случалось и больше. Мемуаристка А. Е. Лабзина вспоминала: «Мать моя, оставшись от

отца моего на тридцать втором году и любя его страстно, была в отчаянии, потерявши его». Между тем отец Лабзиной скончался на седьмом десятке. Саму же Анну Евдокимовну на тринадцатом году выдали замуж в 1772 году за Александра Матвеевича Карамышева, который был на 12 лет старше. «И с самого того дни я была в полной власти его. И сказано мне было, что от меня будут требовать непосредственного и неограниченного повиновения, покорности, смирения, кротости и терпения, и чтоб я не делала никаких рассуждений, а только бы слушала молча и повиновалась. Я все обещала»<sup>6</sup>.

Иначе и быть не могло. Вспомним гневное письмо А. С. Пушкина теще Н. И. Гончаровой, пытавшейся в 1831 году настраивать Наталью Николаевну против мужа: «Обязанность моей жены подчиняться тому, что я себе позволяю. Не женщине в 18 лет управлять мужчиною 32 лет»<sup>7</sup>. А ведь речь о временах сравнительно мягких. Тем более эти слова прозвучали бы справедливо полустолетием раньше. В «Капитанской дочке» от имени своего персонажа поэт писал: «Отец мой Андрей Петрович Гринев в молодости своей служил при графе Минихе и вышел в отставку премьер-майором в 17... году. С тех пор жил он в своей симбирской деревне, где и женился на девице Авдотье Васильевне Ю., дочери бедного тамошнего дворянина».

Бурхард Кристоф Миних — фельдмаршал императрицы Анны Иоанновны. В ее царствование дворяне получили право не тянуть ляжку бессрочно, как это было при Петре I, а покидать службу по истечении 25-летнего пребывания. Следовательно, в деревню родитель пушкинского героя отправился только в сорок с небольшим, а если принять во внимание премьер-майорский чин, то и ближе к пятидесяти. Там он выбрал невесту из местных дворянских дочек Авдотья Васильевна Ю. могла оказаться под венцом и 17, и 15, и даже 13 лет от роду. Замуж в первой половине XVIII века выдавали рано. Е. П. Янькова говорила о браке своих родных, состоявшемся в 1745 году: «Жениху был двадцать пятый год, невесте пятнадцатый; по-тогдашнему это было так принято... Сказывали мне, что матушкина

мать княжна Мещерская была двенадцати лет, когда выходила замуж»<sup>8</sup>. Знаменитая красавица и женщина недюжинной деловой хватки, державшая на откупе почти всю Тверскую губернию, — Агафоклея Александровна Полторацкая — вышла замуж в 1751 году, четырнадцатилетней девочкой. Когда ее сватали, няня обратилась к ней со словами: «Феклуша, убирай куклы, жених приехал».

Лишь к 80-м годам осмотрительные родители начинают оттягивать срок расставания девушек с домом. Средним возрастом невест становятся 20—25 лет. Это говорит и об улучшении условий жизни российского дворянства, поскольку рубеж увядания дамской прелести заметно отодвинулся, и о развитии образования в дворянских семьях. Воспитание девушки уже не считалось законченным к 15 годам. Напротив, в столичном обществе стали поговаривать о том, что рано вывозить дочерей в свет — только прежде времени их старить.

Однако превратиться в господствующую тенденцию такое отношение не могло. В многодетных семьях обычно оставалось немало старых дев, поэтому родители старались сбыть с рук кого можно. В трудном положении оказывались провинциальные невесты, если у матери не хватало средств вывезти их в крупные города или в столицу. Девушек буквально навязывали первому встречному дворянину, случайно заглянувшему в имение. Друг А. С. Пушкина — Павел Воинович Нащокин описывал знакомство своих родителей:

«Женился он (отец мемуариста. — *О.Е.*) тридцати лет с лишком. Жену нашел в отъездем поле... в Курской губернии. Любя страстно охоту, он часто потешался ею в окрестностях Курска со множеством дворян и со своими офицерами... Во время одной из таких поездок застала их буря и непогода, от которой не устояли шатры отцовского стана, а дождь залил и кухонный огонь, и провиант. Отец мой послал в бывшую на виду усадьбу с спросом расположиться на некоторое время в обширной оранжерее... Поутру пошел он в господский дом благодарить за гостеприимство». Там его встретила необычного вида хозяйка, так что с первого взгляда было



не разобрать, женщина это или мужчина, переодевшийся в дамское платье. «То была моя бабушка, сказывали мне, что она имела все ухватки мужские, росту была самого большого, собой сухая, лицом мужественна, с орлиным взглядом. Отец мой, думаю, не менее поразили ее. Росту он был очень малого, в плечах необыкновенно широк, такого роду сложения, как по-русски говорят, молотками сбит. Круглая голова почти без шеи лежала на могучих плечах, как на подносе». Хозяйка недолго церемонилась с заезжим генералом, позвала дочерей и представила: «Клеопатра, старшая, петербургская, тихая, умная, скромная, учена языкам и наукам. А вот эта моя вторая... Александра, деревенщина, я ее, батюшка, сама учила, и потому она такая же дура и сумасшедшая, как я, выбирай и бери себе любую». Гость не стал отнекиваться. «Посадил всех трех в карету, повез в Курск, сопутствуя им всем своим охотничьим штатом. А на другой день по приезде скромная Клеопатра сделалась женою моего отца»<sup>9</sup>.

Невесту нечасто спрашивали о ее желании. Петр I трижды указами 1700, 1702 и 1724 годов запрещал проводить обряд венчания без ясно выраженного согласия обеих сторон. Такое упорное повторение о многом говорит. Тем не менее картина менялась медленно. Сговора между родителями бывало достаточно. Камер-юнкер Ф. В. Берхгольц описал свадьбу, происходившую на его глазах в 1722 году. На вопрос священника: «Желают ли молодые вступить в брак и добровольно ли согласились на него?» — в церкви раздалась смешки присутствующих<sup>10</sup>.

Старшие члены семейства смотрели на детей как на своего рода подданных и чувствовали полное право распоряжаться их судьбой. А молодые люди не дерзали гласно обнаруживать своего мнения. Это выходило за рамки приличий и говорило о невоспитанности. Даже когда снисходительный и образованный жених считал своим долгом осведомиться у невесты, согласна ли она выйти за него замуж, девушки дичились и пугались. Так, А. Е. Лабзина рассказывала о времени своего обручения: «Ласки моего назначенного мужа стали ко мне открытее. Но они меня не веселили, и я очень холодно их

принимала, а была больше с матерью моей, и сердце мое не чувствовало ни привязанности, ни отвращения, а больше страх в нем действовал. И он, видя это, несколько раз спрашивал, по воле ли я иду за него и не противен ли он мне? Мой ответ был: «Я выполняю волю матери», — и убегала, чтобы не быть с ним без свидетелей»<sup>11</sup>.

Сами девушки не считали возможным открыто выражать свои желания. Е. П. Янькова, урожденная Корсакова, чья семейная жизнь сложилась счастливо, писала о времени сватовства: «Мне, признаюсь, Дмитрий Александрович приходился по мысли: не то чтоб я была в него влюблена (как это срамницы-барышни теперь говорят) или бы сокрушалась, что батюшка меня не отдаст, нет, но дай батюшка свое согласие, и я бы не отказала»<sup>12</sup>. Ей вторит Е. А. Сабанеева, передавая слова своей матери, чья юность относилась к 80-м годам XVIII века: «Молодым девицам приходилось иногда слушать соображения и предположения об их судьбе, но они мало придавали тому значения. Часто случалось, что их личные склонности не согласовывались с планами родителей, однако их это не раздражало — таков был дух, таковы были нравы той эпохи. Очень может быть, что каждая имела свою сердечную тайну, которую берегла в душе и надеялась. А дальше судьба рассудит и Бог определит»<sup>13</sup>.

Слово «роман» считалось предосудительным и означало любовную интригу с опасными приключениями. Такой-то «роман» и случился у одной из матушкиных подруг Полины Боборыкиной. «Несмотря на свою любовь к дочери, тетушка была с нею очень строга... К добру это не могло вести. Полина была, конечно, скрытна и с матерью совсем не откровенна. И вот какой тогда созрел роман. Князь Владимир Никитич Друцкой-Соколинский начал ухаживать за Полиной. Ей он очень нравился, да и мудреного тут не было ничего: он был очень хорош собою, умный и милый. Зачем бы тут быть роману? ...Однако вышло так, что в один прекрасный день приезжает тетушка и объявляет, что Полина невеста. И откуда взялся тот жених, мы понятия не имели: какой-то генерал старый, дурной такой, совсем не

нашего общества человек. Полина в отчаянии льет слезы, но, конечно, сказать ничего не смеет. И так скоро повелось дело. Сейчас помолвка, затем еще дня через три тетушка приехала с нами проститься перед отъездом в Петербург, чтобы там шить приданое.

Этот последний вечер в Москве Полина провела у нас и поведала нам, что она тихонько от матери виделась с Друцким у его сестры, что он избранный ее сердцем, что они поклялись друг другу в вечной любви и даже обменялись кольцами. Мы плакали над ее безумием, уговаривали или покориться матери, или же открыто противиться... Полина писала нам, и письма ее были отчаянные, она теряла всякую надежду, падала духом, а жених-генерал бывал у них в Петербурге всякий день.

В конце второй недели Боборыкины вернулись в Москву, сейчас же были у нас, и каково же было наше удивление увидеть Полину, сияющею радостью. Жениху-генералу тетушка отказала... Приданое было готово, рядная написана... В одно утро жених заехал к тетушке, и вот говорит ему Авдотья Евгеньевна: “Свадьба будет у нас на Красную Горку в Москве. Теперь позвольте вам передать рядную”. Он взял бумагу, развернул и начал читать. Как же разгневалась тогда Авдотья Евгеньевна! “Как, — говорит, — батюшка! Ты мне на слово не веришь! Ты хочешь проверять меня?” Жених начал было извиняться, ...но не такова была тетушка. “Нет, милостивый государь мой, ваше превосходительство! Между нами все кончено. Вот вам Бог — а вот порог”. ...Затем роман с князем Друцким окончился свадьбой весьма скоро и благополучно»<sup>14</sup>.

В этой истории вздорная мать сначала создает для дочери неприемлемый брачный проект, а потом разрушает его. Рядная — договор о приданом невесты. Подробное знакомство с ним — необходимая сторона всякого сватовства. То ли «тетушка» хотела надуть генерала, то ли ее дворянское самолюбие действительно было оскорблено его поведением. Полина чудом ускользнула из тисков судьбы. В противном случае ей пришлось бы либо выйти замуж за нелюбимого, либо бежать. На последнее отваживались единицы.

## «Она вздыхала о другом»

Большинство покорялось воле родителей. Именно так поступила мать Татьяны Лариной. Когда к ней посватался будущий муж, «поневоле она вздыхала о другом»:

Сей Грандисон был славный франт,  
Игрок и гвардии сержант.

Как он, она была одета  
Всегда по моде и к лицу;  
Но, не спросясь ее совета,  
Девицу повезли к венцу.

Главный недостаток и гвардейского Грандисона, и князя Друцкого — молодость, а следовательно, невозможность как следует обеспечить семью. За интересами же юных родственниц, вступивших в свет, зорко следили не только матушки и отцы, но и вся старшая родня. Особенно славились московские кумушки, с деловитым бесстыдством атаковавшие холостых мужчин, засыпая их вопросами о чине и состоянии.

Попечитель Киевского учебного округа Е. Ф. Фон-Брадке, вспоминая времена своей молодости, описывал московские гостиные начала XIX века: «При всей внешней широте жизнь в Москве не была привлекательна... Множество старых княжон не оставляли без решительного приговора ни одного доброго имени, говорили за картами грубости своим партнерам и вообще всячески отмщали на ближних невольное свое добродетельное воздержание от проклятой брачной жизни. Они с отменным искусством и с крайним немилосердием добивались подробностей о вашем происхождении и о вашем семействе»<sup>15</sup>. Та же картина была и в царствование Екатерины II. Шевалье де Корберон в 1775 году писал о петербургских пожилых дамах: «Чувствуешь себя связанным по рукам и ногам и подверженным инквизиторскому допросу. Госпожа Чернышева начала коварно расспрашивать меня о Трубецкой, делая это с особенной настойчивостью, чтобы ввести меня в замешательство; я немного покраснел, что не укрылось от ее глаз и заставило меня покраснеть еще

сильнее, чего она и добивалась. Говоря откровенно, я терпеть не могу этой женщины»<sup>16</sup>.

Надо заметить, что тетушки старались не для себя. Почти у каждой имелся выводок племянниц, вдобавок к ним воспитанницы из бедной родни. Их следовало пристроить «в хорошие руки». А для матрон почтенного возраста не было более увлекательного дела, чем плетение матримониальных интриг. Это занятие наполняло жизнь смыслом, позволяя пожилым дамам чувствовать себя незаменимыми. Вот блестящая зарисовка, сделанная Сабанеевой:

«В эту зиму в Москве две тетушки, Екатерина Алексеевна Прончищева и фрейлина Александра Евгеньевна Кашкина, вывозили своих племянниц в свет. Несвицкие и Оболенские были знакомы домами, считались даже в родстве. Девицы в обеих семьях были очень дружны между собой и украшали тогдашние балы московского высшего общества. Казалось по первому впечатлению, что положение этих хорошеньких молодых девиц было тождественно. Однако... тетушка фрейлина так умело держала себя в свете, она шла таким твердым шагом по паркету московских салонов, тогда как Екатерина Алексеевна Прончищева с ее страстным нравом создавала часто тернистые пути для себя и для племянниц... Она, при всем своем уме и достоинствах, была лишена способности легко и свободно вращаться в светских сферах. Она часто сама мучилась и мучила племянниц...

В эту зиму Екатерина Алексеевна жила под влиянием двух для нее неотразимых чувств: желания выдать старшую княжну Анну замуж и страха, чтоб ее племянник, Алеша Прончищев, не женился. Он молод и богат! Мудрено ли в Москве женить такого молодца?

Когда она думала о судьбе княжны Анны, то в своем воображении намечала ей женихов из кавалеров, встречавшихся на балах и в обществе. То являлся Скуратов весьма приличной в ее глазах партией, то князя Друцкий и Щербатов, чаще же всего в этом смысле она думала об Оболенских... Затем, когда мысли Екатерины Алексеевны от племянниц обращались к племяннику, то те же Оболенские, столь желанные для одних, явля-

лись ее воображению опасными для другого. Ей неоднократно уже мнилось, что тетушка фрейлина Кашкина имеет виды на ее Алешу...

Екатерина Алексеевна очень любила карты и вист, но вменяла себе в обязанность на всех балах являться в бальную залу в половине мазурки и взглянуть, с кем танцуют ее княжны. Мазурка имела искони особо интересное значение, она служила руководством для соображений насчет сердечной склонности — и сколько было сделано признаний под звуки ее живой мелодии!

Екатерина Алексеевна... взяла лорнет, поднесла его к глазам и начала внимательно производить инспекцию танцующих: “Кто это танцует в первой паре? А! Наш князь Алексей с княжной Урусовой. Как он хорош! Напоминает покойную сестру...” Затем ее Алеша оказывается с княжной Варенькой Оболенской... Оба прелестны, свежи, юны! “Она — змея, — вдруг мелькнуло в голове Екатерины Алексеевны. — Она верно выбрала его в фигуре, но с кем же Алеша танцует мазурку? Конечно, не с ней же?”<sup>17</sup>

Красноречивая картинка свидетельствует о литературном даровании мемуаристки. Однако для нас, помимо приятного чтения, важна точность этого наброска. Именно старшая женская половина семейства занималась подбором кандидатов для брачных партий и щепетильными вопросами сватовства. Если дамская родня оказывалась ловка и приятна в общении, для нее открывались двери самых высокопоставленных домов. Но беда, если тетушка или матушка не пользовались почтением, тогда она могла погубить тех, кому покровительствовала. Вот описание сватовства, где именно заносчивый и властный характер старшей сестры жениха едва не расстроил дело.

«Я стала ее знать в конце 80-х годов, когда ей было уже под сорок лет, — вспоминала Янькова о своей золовке. — Она была очень мала ростом; головка прехорошенькая, премилое лицо, глаза преумные, но туловище неуклюжее: горб спереди и горб сзади, и, чтобы скрыть этот недостаток, она всегда носила мантию с капюшоном... С 88 или 89 года Анна Александровна стала у нас бывать чаще и чаще. Раз как-то батюшка и говорит за столом:

— Не понимаю, отчего это Янькова так зачастила ко мне; давно ли была, а сегодня опять приезжала; не знаю, что ей нужно, а уж верно недаром — она прелукавая.

И старший из ее братьев тоже стал у нас бывать почаще прежнего... Прошло еще сколько-то времени, приезжает к батюшке тетушка Марья Семеновна Корсакова и говорит ему:

— А я, Петр Михайлович, к тебе свахой приехала, хочу сватать жениха твоей дочери.

— Которой же?

— Елизавете, батюшка.

— Елизавете? Она так еще молода. А кто жених?

— Старший из Яньковых, Дмитрий.

— Нет, матушка сестрица, благодарю за честь, но не принимаю предложения: Елизавета еще молода; я даже ей и не скажу.

И точно батюшка мне ничего не сказал... Прошло, должно быть, с год, опять тетушка Марья Семеновна повторяет батюшке то же предложение, и опять он отказал наотрез: “Спешить некуда, Елизавета еще не перестарок; а засидится — не велика беда, и в девках останется”. И мне об этом ни слова... Думаю себе: “Стало быть, батюшка имеет какие-нибудь причины, что это ему неудобно”. Однажды я подхожу в зале к окну и вижу: едет на двор карета Яньковой; у меня отчего-то сердце так и упало. Батюшка был дома, он вышел в гостиную и Анну Александровну принял: из нас никого не позвал, они посидели вдвоем, что говорили — было не слышно, и Янькова уехала. Тут батюшка меня кликнул:

— У меня сейчас была Янькова, приезжала сватать тебя, Елизавета, за брата своего Дмитрия. Говорит мне: “Петр Михайлович, вот вы два раза говорили тетушке Марье Семеновне, что Елизавета Петровна еще слишком молода; неужели и теперь мне то же скажете, а брат мой приступает, чтоб я узнала ваш решительный ответ”. Я ей на это сказал: “И что это, право, далась вам моя Елизавета; неужели кроме нее нет невест в Москве?” Про Дмитрия Александровича нельзя ничего сказать, кроме хорошего: человек добрый, смирный, неглупый, наружности приятной, да это и последнее дело

смотреть на красоту; ежели от мужчины не шарахается лошадь, то, значит, и хорош. Родство у Яньковых хорошее, они и нам свои, и состояние прекрасное: чем он не жених? Не будь сестра у него, я никогда бы ему не отдал. Но вот она-то меня пугает: пресамонравная, прехитрая, братьями так и вертит, она и тебя смяла бы под каблук; это настоящая золовка-колотовка, хоть кого заключует. Не скорби, моя голубушка: тебя любя, я не дал своего согласия. А быть тебе за ним, — прибавил батюшка, немного помолчав, — так и будешь: суженого конем не объедешь!

...Настала весна; мы начали собираться в деревню и часть обоза отправили уже вперед. Вот как-то утром посылает за мною батюшка: “Пожалуйте, Елизавета Петровна, в гостиную”. Спрашиваю: “Кто там?” Говорят: “Яньков”. Вошла я в гостиную. Батюшка сидит на диване превеселый, рядом с ним Дмитрий Александрович, весь раскраснелся и глаза заплаканы; когда я вошла, он встал. Батюшка и говорит мне:

— Елизавета, вот Дмитрий Александрович делает тебе честь, просит у меня твоей руки. Я дал свое согласие, теперь зависит от тебя принять предложение или не принять. Подумай и скажи.

Я отвечала: “Ежели вы, батюшка, изволили согласиться, то я не стану противиться, соглашаюсь и я”.

Дмитрий Александрович поцеловал руку у батюшки и у меня... Потом батюшка говорит, смеясь и обняв Янькова:

— Ведь экой какой упрямец, четвертый раз сватается и добился-таки своего!»<sup>18</sup> Тем не менее отец невесты настоял, чтобы свадебный пир был в его доме, а не в доме жениха: он с самого начала не хотел позволить золовке командовать молодой семьей.

Оставался еще щепетильный вопрос о приданом. «Батюшка жаловал мне по стговорной записи: 200 душ крестьян в Новгородской губернии и двадцать пять тысяч рублей серебром, — писала мемуаристка. — В том числе были бриллиантовые серьги в 1500 рублей; туалет серебряный в 1000 рублей, столовое и чайное серебро, из кармана на булавки 2500 рублей». Такое приданое можно назвать средним. Не роскошным, но ни в



коем случае и не маленьким. Прибавив его к состоянию мужа, Елизавета Янькова имела все основания считать себя обеспеченной женщиной. Михаил Александрович Дмитриев, родившийся в 1796 году, писал о приданом своей бабушки, которая выходила замуж в первой четверти XVIII века: «У меня есть приданая роспись моей бабки. Как любопытно в ней видеть, какие платья и другие предметы входили тогда в приданое! А между тем, при этом роскошном приданом дано было всего две тысячи на *покупку имения*. Следовательно, каковы были цены! Должно думать, что это приданое, истинно великолепное, не стоило и двух тысяч»<sup>19</sup>. К концу столетия цены заметно возросли, и все же 25 тысяч Курсаковой — солидный куш.

Янькова фиксирует в мемуарах смену свадебной моды. «Подвенечное платье у меня было белое глазетовое, стоило 250 рублей; волосы, конечно, напудрены и венки из красных розанов — так тогда было принято, а это уж гораздо позже стали венчать в белых венках из флердоранж». Во второй половине XVIII века белое подвенечное платье постепенно проникает в Россию из Европы, но данью старой традиции считать красный цвет — цветом радости, счастья и красоты — остаются алые венки на головах и букеты в руках у невест.

Прежде платья могли быть любого, предпочтительно яркого цвета. Подвенечный наряд Екатерины II, хранящийся ныне в Государственном историческом музее, желтый. На парном портрете супругов Николая и Ксении Тишининых кисти И. Я. Вишнякова, написанном в 1755 году, молодая облачена в красно-розовое платье с богатой отделкой из белого кружева, ее грудь и ручку веера украшают алые розы, а в волосах кисть ягод, напоминающих рябину.

Тогда же, в конце XVIII века, в церковный обряд вошло обручение кольцами. До этого жених и невеста обменивались крестами. Янькова, вышедшая замуж в 1793 году, по всей видимости, уже надела на руку суженого кольцо. До 60-х годов XIX столетия его носили на указательном пальце правой руки и лишь позднее стали надевать на безымянный<sup>20</sup>.

Брак Яньковых был, пожалуй, тем идеалом, к которому стремилась каждая дворянская семья. С одной стороны, жених оказался невесте «по мысли». С другой, чтобы удовлетворить ее родню, он был и достаточно солиден, и состоятелен, и доброго нрава, и, наконец, что немаловажно, человек своего круга. Молодые подходили по всем статьям и, может быть, поэтому их дальнейшая жизнь сложилась счастливо.

### *«Ромео и Юлии»*

Не всем везло, как Яньковым. У многих супругов привычка не переходила в чувство более сильное, и лишь религиозный запрет удерживал порядочных людей от падения. Любовь, вспыхнувшая до брака, считалась, как мы видели, предосудительным бесстыдством. Но что же делать, если молодые люди, вопреки всему, выбирали себе предмет по склонности и пытались настоять на своем? Нередко это вызывало гнев родителей и приводило к разрыву с семьей. Проклятие старших родственников в те времена вовсе не было пустым звуком. Даже простой отказ в благословении ставил молодых в крайне щекотливую ситуацию.

Бывало, что, боясь запрета родителей, влюбленные венчались тайно, в надежде потом упасть к их ногам и вымолить прощение. Это не всегда удавалось. Княгиня Е. Р. Дашкова описала в мемуарах, каково было матери узнать от чужих людей о свадьбе сына. Как-то, выходя от государыни, она встретила одного из вельмож, который сказал ей: «Я получил письмо из Киева, в котором мне пишут, что ваш сын женился». Знакомый хотел поздравить княгиню, но увидел, что она бледна, как мел.

«Я чуть не упала в обморок, — вспоминала Дашкова, — но собралась с силами и спросила имя невесты. Он мне назвал фамилию Алферовой и, видя, что со мной делается дурно, не мог понять, почему его слова так на меня подействовали.

— Ради Бога, стакан воды, — сказала я.

...У меня сделалась нервная лихорадка, и в течение нескольких дней мое горе было столь велико, что я

могла только плакать. Я сравнивала поступок сына с поведением моего мужа относительно своей матери, когда он собирался на мне жениться; я думала, что всевозможные жертвы, принесенные мною детям, и непрерывные заботы о воспитании сына... давали мне право на доверие и почтение с его стороны... Два месяца спустя я получила письмо, в котором он просил у меня разрешения жениться на этой особе, тогда как весь Петербург уже знал о его нелепой свадьбе и обсуждал ее на всех перекрестках. Я уже собрала сведения о всей семье его жены и чуть с ума не сошла от горя, получив это письмо, как бы в насмешку испрашивающее у меня разрешения на уже совершившийся факт»<sup>21</sup>.

Действительно, князь Павел Михайлович Дашков был наследником немалого состояния и мог рассчитывать на блестящую партию. То, что мать разузнала об «этой особе», способно было бросить в дрожь и менее впечатлительную женщину. «Невеста не отличалась ни красотой, ни умом, ни воспитанием, — категорично пишет княгиня. — Ее отец был в молодости приказчиком и впоследствии служил в таможне, где сильно воровал; мать ее была урожденная Потемкина (не родственница светлейшего князя. — *О. Е.*), но была весьма предосудительного поведения и вышла замуж, не имея ничего лучшего, за этого человека». Итак, на лицо мезальянс. Богатый аристократ и девушка очень сомнительного происхождения.

Окружающие пытались успокоить княгиню и склонить к примирению с сыном. Не тут-то было. Командир Павла Михайловича фельдмаршал П. А. Румянцев попытался заступиться за молодых. «Одновременно с его письмом я получила и послание от фельдмаршала графа Румянцева, в котором он говорил мне о предрасудках, касающихся знатности рода, о непрочности богатства и как будто преподавал мне советы». Это еще больше распалило Екатерину Романовну. «Я никогда не давала ему ни повода, ни права становиться между мною и моим сыном в столь важном вопросе. Я ответила ему в насмешливом тоне, скрытом под изысканной вежливостью, уверяя его, что в числе безумных идей, внедренных в моей голове, никогда не существовало слишком высокого мнения о знатности рождения».

Княгиня лукавила. Читая ее мемуары, легко убедиться, что к своему высокому происхождению она относилась очень щепетильно. Между тем ее собственная мать, супруга Романа Илларионовича Воронцова, тоже не была дворянкой. Марфа Ивановна Сурмина происходила из богатой купеческой семьи. Может быть, поэтому, перечисляя прекрасные качества покойной — доброту, чувствительность и великодушие, дочь не назвала в «Записках» ее имени. Зато указала на дружбу с императрицей Елизаветой. В первом же абзаце мемуаров Дашкова обрушивает на читателя каскад блистательных имен своих родных и покровителей: «Императрица Елизавета... держала меня у купели, а моим крестным отцом был великий князь, впоследствии император Петр III. Оказанной мне императрицей чести я была обязана не столько ее родству с моим дядей, канцлером, женатом на двоюродной сестре государыни (А. К. Скавронской. — *О. Е.*), сколько ее дружбе с моей матерью, которая с величайшей готовностью, деликатностью и скажу даже — великодушием снабжала императрицу деньгами в бытность ее великой княгиней, в царствование императрицы Анны»<sup>22</sup>.

Идея близости с августейшими особами красной нитью проходит через мемуары Дашковой. Эта черта ярко проявилась в ее ссоре с А. Д. Ланским. Фаворит упрекнул княгиню за то, что в редактируемых Академией наук «Санкт-Петербургских ведомостях» после имени императрицы упоминается только имя Екатерины Романовны. И получил гневную отповедь: «Милостивый государь, как ни велика честь обедать с государыней, но она меня не удивляет, так как с тех пор, как я вышла из младенческих лет, я ею пользовалась. Покойная императрица Елизавета... бывала у нас в доме каждую неделю, и я часто обедала у нее на коленях, а когда я могла сидеть на стуле, то обедала рядом с ней. Следовательно, я вряд ли стала бы печатать в газетах о преимуществе, к которому я привыкла с детства и которое мне принадлежит по праву рождения»<sup>23</sup>.

Могла ли такая дама принять в семью дочь таможенника Алферова? «Сыну своему я написала только несколько слов: “Когда ваш отец собирался жениться на

графине Екатерине Воронцовой, он поехал в Москву испросить разрешения на то своей матери; я знаю, что вы уже женаты несколько времени; знаю также, что моя свекровь не более меня была достойна иметь друга в почтительном сыне»<sup>24</sup>.

Ларчик между тем открывался просто, но мелодия его замка была очень печальной. Несмотря на все жертвы, которые княгиня действительно принесла во имя воспитания детей, ее своенравный характер вызывал у сына страх. Оба ребенка Екатерины Романовны оказались несчастливы в браке. И дочь, которую мать выдала замуж по своему усмотрению. И сын, венчавшийся тайно, без ее разрешения. Отношения так и не восстановились в полном объеме. Через несколько лет Павел Михайлович разъехался с женой. Он бывал в доме у Екатерины Романовны, но княгиня наотрез отказывалась видеть невестку. Впервые они встретились только после смерти Дашкова в 1807 году.

Кэтрин Вильмот, гостившая у Екатерины Романовны, оставила несколько идеалистичное, но полное сочувствия описание этого события: «На сцене появился новый персонаж — приветливая и очаровательная молодая княгиня Дашкова... Двадцать лет назад 15-ти лет от роду Анна Семеновна вступила на изменчивую жизненную тропу, начав с блестящего замужества с князем Дашковым. Однако радужные перспективы вскоре превратились в надгробный памятник... Тому причиной был гнев свекрови, а не поведение мужа, ибо помолвка была осуществлена без ее ведома и одобрения; в то время княгиня была столь могущественна при дворе, что могла устроить ему гораздо более выгодную партию. Прошло четыре года без всякого намека на примирение, княгиня даже не хотела видеть сына; потом было временное улучшение отношений. Однако все это время люди, окружавшие княгиню, злобно клеветали на ее невестку, желая польстить княгине, подтвердив правоту ее решения...

Князя постоянно уговаривали порвать отношения с женой, обратившись с прошением о разводе, но он наотрез отказывался от этого. Правда последние 7 или 8 лет обстоятельства вынудили его отдалиться от нее».

Здесь нужно сделать пояснение, что в царствование Павла I у Дашкова сложилась карьера, но являться при дворе с женщиной столь невысокого происхождения он не мог. Отсюда и раздельная жизнь супругов. «Все же последние мысли князя были о жене. Представления Анны Семеновны о князе как о божестве поддерживали ее во всех муках и горестях; надежды угасли лишь с его смертью... У Анны Семеновны оставалась бумага князя на право наследования, но при мысли о том, что ей выпало пережить мужа, она разорвала ее в припадке отчаяния. Несколько дней Анна Семеновна пребывала в состоянии полнейшей апатии, даже в мечтах не представляя себе тех изменений, которые произошли в мыслях свекрови: получив прискорбное известие о смерти сына, княгиня решила передать Анне Семеновне часть того, что по праву принадлежало ему...

Представь себе встречу двух княгинь и первое чувство взаимной симпатии, рожденное общей скорбью... Слава Богу, ныне я могу говорить о них как о матери и дочери, рожденных для счастья друг друга. Молодая княгиня заняла апартаменты под крышей и будет нашей соседкой до октября, когда она переедет в чудесный дом, который княгиня купила для нее»<sup>25</sup>. Однако сближение произошло слишком поздно. Тот, кого любили обе женщины, уже лежал в могиле. Старуха княгиня, человек трагической судьбы и незаурядных талантов, могла бы закончить жизнь в окружении любящих детей, а не целого выводка приживалок.

Но бывали истории еще печальнее. Уже знакомая нам Сабанеева поместила в свои мемуары целую главу под красноречивым названием «Ромео и Юлия в селе Богимове». Как-то раз в детстве отец показал ей хранившуюся в бюро реликвию. «Вот работа моей матушки — единственное оставшееся мне о ней воспоминание», — сказал он. Это был кисет из белого атласа, который украшали два ландшафта, вышитые волосами: хижина в лесу у ручья с мостиком и аллея сада, а на поляне мавзолей с двумя колоннами. «Работа эта была такая изящная и художественная, что я никогда в жизни не встречала ничего подобного», — заметила мемуаристка. Позднее мать рассказала ей о романе ее деда.

«Владимир Алексеевич служил долго в Остзейском крае... В Ревеле молодой Прончищев полюбил девушку по фамилии Борнеман и женился на ней. Ей было тогда 16 лет. В брак Владимир Алексеевич вступил, не спрося дозволения у родителей. Затем молодая чета приехала в Богимово; они бросились к ногам Алексея Ионовича, умоляя о прощении и прося их благословить. Но не таков был прадед, чтобы ему прощать: ему было свойственно порицать и наказывать. Он прогнал сына и невестку с глаз долой и повелел им занять избу на скотном дворе...

Бабушка Екатерина Алексеевна рассказывала, как трогательна и прелестна была молодая супруга ее брата, как хорошо воспитана, кротка и наивна. Бабушка сердечно к ней привязалась и старалась, чем могла, смягчить горькую участь молодых людей.

Прошло несколько месяцев, срок отпуска из полка моего деда кончился, а отец не снимал опалы с сына... Так и уехал Владимир Алексеевич в полк, поручив жену бабушке. Взять же ее с собой он не решился, ибо она была в тягости и очень слаба здоровьем». Через некоторое время гневный прадед получил из Ревеля письмо. Полковой командир сына извещал его, что Владимир Алексеевич, не доехав до места службы, заболел тифом и скончался. Это известие сильно поразило старика. Он смягчился к невестке, отвел ей покои в доме, приняв почтительно и даже нежно. Вскоре у бедняжки родился сын, после чего Юлия Ивановна начала таять на глазах. Прадед мемуаристки приказал, чтобы тело Владимира Алексеевича было доставлено для захоронения в Богимово.

«Тогда Юлия Ивановна начала сильно томиться и все ожидала, когда привезут тело покойника, она просила не разлучать ее с мужем в могиле, пожелала перейти в лоно нашей церкви (героиня истории была лютеранкой. — *О. Е.*), и таинство присоединения к православиям успели над ней совершить. Желание ее лечь в одну могилу с мужем исполнилось: она скончалась, когда показался на горе мимо нашей старой церкви гроб с останками ее супруга. И так их и отпели вместе и положили в одну могилу в нашем семейном склепе...

Предание говорит, что прадед смягчился после потери сына и невестки. Перед колыбелью внука он плакал и молил Бога простить ему жестокосердие. К внуку тоже сильно привязался и воспитывал его как единственного наследника»<sup>26</sup>.

Не все родители проявляли деспотизм и упрямство. Некоторые любовные интриги с тайным венчанием имели прямо-таки водевильный финал. Среди работ Д. Г. Левицкого есть два портрета одной и той же женщины. Они отстоят друг от друга на несколько лет, но какая перемена! На первом, датированном 1776 годом, изображена веселая девушка, полная и круглощекая с простодушным, милым лицом, тронутым нежной полуулыбкой. Модель как бы придвинута к зрителям, точно готова выглянуть из рамки. Белое девическое платье и светло-зеленая лента в волосах немного не гармонируют с пышными, явно женскими формами портретируемой. Кажется, что она старше наряда, который на ней надет. Это Мария Алексеевна Дьякова, ее образ часто воспроизводится в художественных альбомах русской живописи XVIII века.

На втором портрете, относящемся к 1786 году, нас приветствует светская дама, сдержанная, величавая, чуть отклонившаяся в глубину холста. У нее приятное, полное достоинства лицо с печатью усталости. На первом портрете глаза девушки опущены долу, тем не менее зритель находится в прямом контакте с изображенной, точно ее близкий знакомый. Вторая дама смотрит прямо, ее взгляд сосредоточен на наблюдателе, при этом ощущается дистанция. Пропали простота и свежесть. Явились опыт и спокойная оценка людей. Вместо сочных красок юности тона на втором холсте приглушенные и холодноватые. Перед нами супруга известного архитектора Николая Александровича Львова, хозяйка салона, где собирались поэты, музыканты, художники.

История свадьбы Львовых замечательна как ловким обманом родителей, так и счастливым для влюбленных героев концом. Мария Александровна была дочерью обер-прокурора Сената и вместе с сестрой Дарьей начала выезжать в свет в конце 70-х годов XVIII века.



Молва гласит, что обе обращали на себя внимание великого князя Павла Петровича. Однако ни одна не ответила цесаревичу взаимностью. Дарья согласилась на предложение Г. Р. Державина, став его второй женой. Именно ее поэт воспел под именем Милены. А Мария полюбила молодого и тогда неизвестного архитектора Львова.

Со стороны ее отца не могло и речи идти о согласии. Кандидат был всего на четыре года старше невесты и еще ничего не добился. В 1780 году молодые тайно обвенчались в маленькой церкви на окраине города в Галерной гавани. После чего новобрачная вернулась в родительский дом и продолжала жить барышней, ожидая, пока ее суженый достигнет жизненного успеха. Так прошло три года, имя Львова стало известно, у него появились такие солидные покровители, как А. Р. Воронцов и А. А. Безбородко, его принимали при дворе, в 1783 году он сделался членом Российской академии, позднее почетным членом Академии художеств, совершил в свите Екатерины II путешествие в Могилев.

Наконец чиновный родитель Дьяковой дал согласие на брак. Свадьбу решили устроить в Ревеле. Когда пробили час идти в храм, молодые объявили родным правду — они уже несколько лет обвенчаны. Вместо них к алтарю пошла другая влюбленная пара — лакей и горничная, а затем гости отправились за праздничные столы отмечать две свадьбы сразу. Львовы прожили счастливую жизнь, полную любви и взаимного понимания. Николай Александрович скончался по современным меркам рано, пятидесяти двух лет от роду, в 1803 году. А через четыре года за ним последовала супруга. Ее оплакал весь тогдашний русский литературно-художественный мир. «Возрыдали вдруг Эроты,/ Всплакал, возрыдал и я...» — писал об этом горестном событии Державин.

### *Влюбленные кузены*

Пример Львовых ободрил многих. Он доказывал возможность с успехом выйти из трудных коллизий. Казалось, стоит только проявить упорство, и сердца

родителей растают. Некоторые влюбленные пары продолжали бороться вопреки самым неблагоприятным обстоятельствам. И добивались своего, потратив несколько лет жизни, пожертвовав высоким положением и даже правом проживать в столицах. Такова история дочери гетмана К. Г. Разумовского — Елизаветы и графа П. Ф. Апраксина.

Елизавета Кирилловна унаследовала яркую южную красоту своих казацких предков. У нее было множество поклонников, но выбрала она графа Петра Федоровича Апраксина, храброго генерал-поручика и кавалера, участника только что отгремевшей войны с Турцией. Ему юная фрейлина тоже успела вскружить голову, но Апраксин был женат на графине А. П. Ягужинской. Брак оставался бездетным, и, жалея влюбленных, супруга Апраксина решила уйти в монастырь. Казалось бы, никаких препятствий больше нет. Однако Разумовские и Апраксины, как тогда говорили, «считались родством». Племянница Кирилла Григорьевича Софья Осиповна, урожденная Закревская, была замужем за братом П. Ф. Апраксина, к тому времени уже покойным. Влюбленные не могли соединиться, поскольку браки в такой степени родства Церковь не позволяла.

Между тем положение молодых людей стало критическим. Елизавета ждала ребенка. В марте 1774 года Разумовская и Апраксин написали Г. А. Потемкину, который был очень дружен с отцом невесты. Они умоляли о помощи, надеясь, что Григорий Александрович сумеет выступить посредником между ними и гетманом<sup>27</sup>. Однако личный разговор не помог. Узнав о бесчестье дочери, граф был в ярости. Он не только не собирался прощать виновницу, но и отправил гневное письмо императрице. Гетман заявил, что в лице его дочери оскорблена не только вся его фамилия, но и сама государыня, поскольку Елизавета была ее фрейлиной. Он требовал примерно наказать Апраксина, а дочь постричь в монастырь.

Екатерина оказалась в непростой ситуации: были нарушены и установления православной церкви, и этикетные правила двора. Влюбленным все сочувствовали, но никто не мог помочь. Государыня пообещала

гетману Апраксина «за бесчестье, учиненное двору... запереть на полгода в крепости... или на год в Свирский монастырь, чего сам изберет». Однако что касается Елизаветы, то здесь сердце императрицы смягчилось. Конечно, девушка была исключена из числа фрейлин, но Екатерина запретила отправлять ее в монастырь. Потемкин должен был передать Разумовскому, «чтоб он дочь свою не постриг, ибо по молодости ее летам, я рассуждаю, что сие жестоко и законом противно — до сорока лет женщин не постригать»<sup>28</sup>.

Апраксин жаждал скорейшей встречи с возлюбленной, поэтому выбрал полгода в Петропавловке. 5 января 1775 года срок заключения истек. Государыня очень хотела избежать продолжения скандала. Она попросила Потемкина передать обер-коменданту Петропавловской крепости А. Г. Чернышеву повеление освободить Апраксина и взять с него подписку «никакого приезда ко двору не иметь и с домом графа Разумовского нигде не съезжаться»<sup>29</sup>.

Потемкин сам отправился встречать Апраксина и получил от него нужную бумагу. Видимо, тогда же между ними состоялся разговор, в котором граф признался, что не может жить без Елизаветы и в покое ее не оставит. Потемкин же не видел другого выхода, как венчаться тайно, а потом кинуться в ноги Кириллу Григорьевичу, прося прощения грехов. Судя по делу «О генерал-поручике графе Петре Апраксине, увезшем дочь графа Разумовского», то же самое Елизавете советовали ее сестра Наталья Загряжская и племянница гетмана Софья Осиповна<sup>30</sup>.

Апраксин тайно увиделся с невестой сразу после выхода из крепости, а потом последовал за ней в Москву, куда на празднование Кючук-Кайнарджийского мира отправился двор. 10 июля 1775 года ему удалось увезти возлюбленную и венчаться с ней в одной из подмосковных церквей. После чего молодожены спешно направились в Смоленскую губернию в имение друга Апраксина князя В. В. Долгорукова, надеясь там тихо пересидеть грозу. Не тут-то было. Узнав о случившемся, Екатерина II велела изловить беглецов, Апраксина арестовать, Елизавету вернуть отцу. Потрясенный еще

большим непослушанием дочери, Разумовский отрекся от нее. Апраксин был отправлен на покаяние в один из тобольских монастырей. Его жену тоже ждал дальний путь в какую-нибудь из северных женских обителей.

Потемкин уговорил императрицу сначала поместить несчастную женщину в Новодевичьем, а затем и вовсе отпустить на жительство к замужней младшей сестре А. К. Васильчиковой. Через два года Апраксин был выпущен из монастыря и переведен служить в Казань, где жена смогла с ним увидеться. Между тем гнев Кирилла Григорьевича мало-помалу утих, сменившись тоской и осознанием собственной несправедливости. В 1779 году бывший гетман, наконец, согласился на уговоры родных простить Елизавету и помириться с зятем. Однако лишь в 1783 году Апраксиным разрешили жить во внутренних губерниях России<sup>31</sup>.

Пережитая семейная драма многому научила Кирилла Григорьевича. Не случись у его дочери роман с Апраксиным, не страдай они так долго и жестоко, неизвестно, как сложилась бы судьба Григория Григорьевича Орлова, полюбившего свою двоюродную сестру.

Параллельно с несчастьем в семье бывшего гетмана разразился другой придворный скандал. Г. Г. Орлов, несколько лет назад покинувший пост фаворита и находившийся в отставке, решил, наконец, жениться. Он давно был влюблен в свою кузину Е. Н. Зиновьеву, фрейлину императрицы, красивую, юную и одаренную особу, писавшую стихи и романсы. Екатерина Николаевна отвечала ему взаимностью. Ходили слухи, что в 1776 году Зиновьева ждала ребенка от Орлова, и князь был вынужден подыскивать ей жениха, но в последний момент раздумал. Несчастная девушка вытравила плод, на некоторое время уехала в Москву, а когда вернулась в столицу, их роман с Орловым вспыхнул с новой силой<sup>32</sup>.

Влюбленные не знали, что делать. Наконец Григорий Григорьевич решился на тайное венчание. В феврале 1777 года Орлов увез невесту, но дело открылось. Молодых супругов разлучили, Зиновьева под полицейским караулом была препровождена из дворца Орлова

к себе домой, началось судебное разбирательство. Обоим грозило пострижение в монастырь.

Государственный совет постановил осудить Григория Григорьевича и сослать его в отдаленную обитель. Против такого решения гласно выступил только Разумовский. «Для решения этого дела, — заявил он, — недостает только выписки из постановления о кулачных боях. Там, между прочим, сказано: лежачего не бить. А как подсудимый не имеет более прежней силы и власти, то стыдно нам нападать на него»<sup>33</sup>.

Потемкин на этом совете не присутствовал, однако и он заступался за Орлова в личной записке Екатерине, ответ на которую сохранился. Потемкин просил сделать Екатерину Николаевну статс-дамой и тем самым признать брак и оградить молодых от грозившего им приговора. Ситуация была серьезная, на Орлова ополчились все его прежние враги. Синод тоже был в возмущении. Екатерина какое-то время колебалась. Ее ответная записка отражает эту нерешительность. «Я люблю иметь разум и весь свет на своей стороне и своих друзей, — пишет она, — и не люблю оказывать милости, из-за которых вытягиваются лица у многих. Это увеличивает число завистников князя и заставит шуметь его врагов»<sup>34</sup>.

Однако колебания Екатерины продолжались недолго. Она не стала утверждать решение Государственного совета об осуждении молодоженов, заявив, что ее рука отказывается подписать подобную бумагу. Княгиня Орлова получила шифр статс-дамы, брак признали законным, но молодые были вынуждены на некоторое время удалиться от двора, чтобы разговоры утихли. Сначала они отправились в подмосковные имения Орлова, затем на воды в Швейцарию. Счастливая Екатерина Николаевна писала: «Всякий край — с милым рай».

Браки в близкой степени родства вообще представляли собой серьезную проблему. Они запрещались Церковью, а между тем большое число кузенов и кузин, посещая дома друг друга, участвуя в общих праздниках, танцуя сначала на детских, а потом и на взрослых балах, попадали в силки Амура. При этом подчас трудно

было определить, кому можно, а кому нельзя венчаться. Апраксин не состоял с Разумовскими в кровном родстве, однако так называемое духовное родство через брак с близкими родственниками считалось тогда не менее важным. А вот Яньковы и Корсаковы находились в отдаленном кровном родстве, однако оно было сочтено несущественным. «По Татищевым батюшке приходился мой жених правнучатым братом и был мне, следовательно, дядей. По нашим понятиям о родстве думали, что нужно архиерейское разрешение: жених ездил — не умею сказать — к викарию ли, или к самому митрополиту, и когда он объяснил, в чем дело, то ему сказали, что препятствия к браку нет и разрешения не требуется»<sup>35</sup>.

Яньковы еще счастливо отделались. Сама Елизавета Петровна с крайним осуждением отзывалась о браках близких родственников: «Теперь уже двоюродные на двоюродных женятся, скоро родных сестер и братьев брать станут!» Это было согласно с мнением всего дворянского общества. Одним из выразителей традиционных ценностей был историк М. М. Щербатов. Он беспощадно критиковал екатерининское царствование за все, от «роскошества в столе» вельмож и развращенности женщин до присоединения Крыма и разделов Польши. Дозволение браков между родственниками — особый пункт обвинений в памфлете «О повреждении нравов в России»: «Терпение, или лучше позволение противным закону бракам, яко князей Орлова и Голицына на двоюродных их сестрах и генерала Боура на его падчерице... доказует, что нерушимая подпора совести и добродетели разрушена стала»<sup>36</sup>.

Когда Г. Г. Орлов с молодой женой проезжал через Москву, направляясь в имение, их карету закидали камнями. На свадьбе гуляли одни крепостные. Люди высшего круга отвернулись и не принимали у себя нарушителей церковного закона. Дальнейшая трагическая судьба четы Орловых стала в глазах света подтверждением преступности их союза. Несмотря на длительное лечение за границей, Екатерина Николаевна умерла в 1781 году от чахотки. Это настолько потрясло Григория Григорьевича, что он потерял рассудок. Братья привезли несчастного в Москву и поселили во дворце в

Нескучном саду, где вдовец скончался менее чем через два года после любимой.

Казалось бы, эти события должны были послужить другим «беззаконным парам» страшным уроком. Но нет, «добродетели не толь есть удобны к подражанию, сколь пороки», говоря словами Щербатова. Кузены и кузины продолжали робкие попытки соединиться у семейного очага. Тем более что отказ от любви во имя закона не сулил молодым людям счастья. Долгие годы любил свою двоюродную сестру Анну Михайловну Строганову, урожденную Воронцову, ее кузен Семен Романович Воронцов, в будущем известный дипломат и посол в Англии. Свои чувства он выражал с крайней благопристойностью, но от этого они не становились менее горячи: «Что касается до Анны Михайловны, то после сестры Елизаветы Романовны я другой сестры не имею, по крайней мере, которая б меня так любила»<sup>37</sup>.

Брак с веселым, но легкомысленным Александром Сергеевичем Строгановым, устроенный по настоянию императрицы Елизаветы Петровны, не принес Анне счастья. Муж был ей не по сердцу. Бракоразводный процесс, затеявшийся вскоре после переворота 1762 года, всколыхнул тщательно скрываемые чувства кузена, Семен Романович воспрянул духом и писал родным письма полные надежд, что Строганова вскоре освободится. «Можно сказать, что ничего не могло счастливее учиниться для всей фамилии и всех тех, кои искренно любят Анну Михайловну... Я крайне опасался, зная его (Строганова. — О. Е.) легкомыслие, чтоб не переменял своего мнения о разводе, чем Анна Михайловна навеки опять несчастною сделалась»<sup>38</sup>. Однако рассмотрение в Синоде шло не бойко, и в 1769 году Строганова скончалась. Семен Романович впал в отчаяние и лишь спустя 13 лет решился обзавестись семьей.

Некоторые кузены так на всю жизнь и оставались холостыми, довольствуясь дружеским расположением обожаемых родственниц. Эпоха сентиментализма принесла новое понимание сердечных горестей: свои чувства, особенно грустные, принято было лелеять. Печаль о разбитом сердце вошла в моду. От нее не старались избавиться, а, напротив, призывали и возводили

на пьедестал. Сабанеева описывала одного из своих родных, не женившегося после потери любимой.

«Григорий Ильич Раевский приходился двоюродным братом бабушке Екатерине Алексеевне по Бахметевым. Я хорошо его помню. Он сохранял в своей внешности и манерах формы и приемы дворянина времен императора Павла Петровича. Речь его была цветиста, он отличался утонченной вежливостью и некоторою сентиментальностью... Редко можно было видеть такого изящно-красивого старца. Матушка моя была расположена думать, что в его жизни должен был произойти какой-нибудь роман... Как близкий родственник он был вхож в дом, часто бывал и гостил в Богимове. Затем он страстно влюбился в старшую сестру бабушки Евдокию Алексеевну, но в те времена мысли о браке между такими близкими родственниками и быть не могло... Евдокия Алексеевна сделалась княгиней Невской. С великим прискорбием и борьбой вынес Григорий Ильич потерю любимой девушки; он уезжал тогда куда-то на долгое время и не возвращался в их семью, пока не пережил острого периода своего горя, затем должен был покориться действительности, и княгиня, которая была женщина суетная и тщеславная, не оценила его страданий»<sup>39</sup>.

Однако покорность судьбе — не то чувство, которым могли довольствоваться влюбленные. Увоз и тайное венчание остались единственной доступной формой протеста. Нужно было попасть в отчаянные обстоятельства, чтобы решиться на похищение невесты. Тогдашнее дворянское общество не считало венчание после увоза в полном смысле слова браком и чуралось таких семей. Двери порядочных домов закрывались перед ними. «У Мещерской было несколько дочерей, — вспоминала Янькова об одной из своих родственниц, — из которых одна замужем за Ильиным. Отец и мать не желали этого брака; тогда княжна обратилась к своему дяде. Он сперва уговаривал Мещерских, чтоб они позволили дочери выйти замуж, те не хотели об этом и слышать; тогда он помог племяннице бежать и даже благословил ее образом Спасителя. У Ильиных была только одна дочь Елизавета... В то время



побег считался великим позором, и потому Мещерские не очень долгоблвали Ильину, вспоминая, что ее мать *не вышла замуж, а бежала*<sup>40</sup>.

*«Выйти замуж — не напасть...»*

Бывали, впрочем, и такие случаи, когда почтенные отцы оказывались счастливы принять в дом любую супругу, лишь бы сын женился-переменился. Мы уже говорили, насколько предпочтительнее для родителей считалось залучить в семью жениха или невесту «своего круга». И дело не только в знатности или богатстве, но и в общих свычаях-обычаях, делавших вращение нового члена в род более безболезненным. Москвичи старались выбирать москвичек — то была коренная русская знать, часто противостоящая придворным «выскачкам» с тугим кошельком и короткой родословной. Петербургские семьи, напротив, чувствовали себя большими европейцами и вытравливали из своего быта все, отдававшее «московщиной». Прибавим к этому, что уроженцы Смоленской губернии долгое время ощущали себя поляками и до середины XVIII века старались «бракиться» меж собой или в Польше. А еще была бескрайняя русская провинция, из которой, по удачному выражению Гоголя, «три года скачи, ни до какой границы не доскачешь». Она-то до начала XIX столетия продолжала выбрасывать на ярмарку невест самые неожиданные экземпляры.

Один из подобных курьезов описала Сабанеева. Молодой князь Николай Петрович Оболенский, к немалой горести московских тетушек, был, как тогда говорили, объявлен женихом. «Княжна Волконская. Сирота, единственная наследница громадного состояния, жила и воспитывалась где-то в деревенском захолустье у опекуна» — вот все, что смогли узнать сплетницы. Между тем отец жениха и сам ничего толком не ведал: «Эта княжна Волконская, верно, с неба... Из Уфы, из Оренбурга или из Самары». Его сын давно «жил отдельно от отца, был совершеннолетний, имел свое собственное крупное состояние покойной матери и обращался

очень жестоко с крепостными людьми. Часто являлись эти несчастные, бросались в ноги к князю-отцу, прося помилования и защиты».

После приезда в Москву нареченная молодого князя посетила дом будущего свекра. Невеста прибыла в двух экипажах с верховыми гайдуками по обеим сторонам кареты. Ее сопровождали мамушки, нянюшки в ярких шелковых сарафанах и душегрейках, карлицы, казачки, лакеи в фамильных ливреях. «Вся эта прародительская челядь следовала за своей госпожой в парадную гостиную и остановилась на почтительном расстоянии, выстроившись амфитеатром перед ней, когда княжна села на диван... Невеста была в белом атласном утреннем капоте с собольей опушкой, в жемчугах и бриллиантах. Жаль, что успели сшить ей европейское платье на Кузнецком мосту; она была бы гораздо лучше русской боярышней. На вид ей было лет двадцать, высокая, полная, круглолицая, с прекрасными карими глазами, яркий румянец поминутно вспыхивал на свежем ее лице от смущения и застенчивости. Когда князь заговорил с ней, она успела уже оправиться и отвечала ему просто и разумно; голос у нее был мягкий, грудной и приятный. Подали кофе, но разговор не клеился, и ей, и всем было неловко; в ней было совершенное отсутствие светских приемов, умения держать себя в обществе»<sup>41</sup>.

Мнение членов семьи склонилось в пользу гостыи: «Было бы хуже, если б княжна была только провинциальна... Прекрасная партия, прекрасное имя и совсем еще молодое создание; она его (мужа. — *О. Е.*) смягчит, будет иметь на него хорошее влияние». Но отец жениха только вздыхал, ибо участь невестки совсем не представлялась ему в «розовом свете».

Старая пословица гласит: «Выйти замуж — не напасть, да как бы замужем не пропасть». Брачная жизнь не сулила никому роз. В те времена, как и сейчас, молодые стремились жить отдельно. Если, конечно, позволяли состояние мужа и приданое жены. Показав супругу в доме родителей и для приличия погостив некоторое (часто весьма значительное) время, новый глава семейства уезжал в одну из деревень, где новобрачные без помех вили свое гнездо. Если муж служил,

он мог обзавестись квартирой — казенной или собственной, а кто побогаче, то и домом, где супруга оказывалась полновластной хозяйкой. В случае дальности места службы или трудности пути жена оставалась в доме у родителей супруга. Теперь его родня считалась для нее более близкой. Уход в дом своих отца и матери выглядел неприлично, как будто она оставила мужа или муж выгнал ее. Жить в одиночестве в деревне для молодой дамы тоже считалось неблагопристойно. Требовались пожилые родственники, предпочтительно с мужниной стороны.

Вообще деревня виделась лучшим лекарством от всех болезней, сердечных в том числе. Здесь новобрачные могли привыкнуть друг к другу, вместе «одичать» и помаленьку смириться со своей участью. Для детей же трудно было представить место здоровее и привольнее. Недаром первое, что сделал Дмитрий Ларин после венца, — увез жену в сельскую глушь.

И, чтоб ее рассеять горе,  
Разумный муж уехал вскоре  
В свою деревню, где она,  
Бог знает кем окружена,  
Рвалась и плакала сначала,  
С супругом чуть не развелась;  
Потом хозяйством занялась,  
Привыкла и довольна стала.  
Привычка свыше нам дана:  
Замена счастию она.

.....  
Она меж делом и досугом  
Открыла тайну, как супругом  
Самодержавно управлять,  
И все тогда пошло на статью.  
Она езжала по работам,  
Солила на зиму грибы,  
Вела расходы, брила лбы,  
Ходила в баню по субботам,  
Служанок била осердясь —  
Все это, мужа не спросясь.

Хозяйственные заботы и домашняя власть — два законных права русских барынь. В глазах многих они стоили самой пылкой романтической страсти и не од-

ну сотню дворянских дочек примирили с потерей столичных Грандисонов. Порой барышни и не подозревали, какое господство, а вместе с ним ответственность за дом окажутся у них в руках после замужества. К моменту издания указа о вольности дворянства 1761 года, когда представители благородного сословия получили право не служить, сложилась устойчивая система управления имениями, которая насчитывала не одну сотню лет. Мужчины пребывали на государственной службе, а хозяйством занималась женская половина семейств. Часто находясь в разъездах или походах, дворянин просто не имел времени вникать в дела вотчины. За него надзор осуществляли мать, жена, тетки, сестры и т. д. Для того чтобы не распустить холопов и сохранить доходность имений, требовались характер, смекалка, воля и оборотистость. Романтические Тани Ларины быстро превращались в боярынь Морозовых, а то и в Кабаних благородного происхождения.

Марта Вильмот писала об одной из знакомых княгини Дашковой: «Писарева — истинно русская. Она необычайно гордится своим недоверием к людям... Однако нужно отдать ей должное: эта женщина чрезвычайно практична и так умела в делах, что управляет винокуренным заводом своего родственника. Получая прибыль от этого завода, единственного источника доходов, тот проживает все с семьей в Петербурге, а Писарева вершит все дела в деревне»<sup>42</sup>.

Необычайной коммерческой сметкой обладала, например, А. А. Полторацкая, урожденная Шишкова. Или «Полторачиха», как ее именовали в народе на манер Салтычихи. Выйдя замуж с небольшим приданым, она сумела сколотить приличное состояние в четыре тысячи душ, строила винокуренные заводы, брала откупа. В молодости Агафоклея Александровна подделала завещание, по которому ей перешло наследство одного из родных. За что чуть не попала под суд и, когда следствие удалось замять, поклялась вовек не брать пера в руки. Поэтому все ее бумаги вел секретарь, а домашние были убеждены, будто Полторацкая не умеет ни читать, ни писать. Муж — отставной генерал — не вмешивался в ведение хозяйства, во всем подчиняясь красавице с

железным характером. Агафоклея Александровна имела более двадцати детей, все они беспрекословно повиновались ей даже тогда, когда под конец жизни мать уже не могла ходить и, лежа в кровати, продолжала управлять вотчинами. Властная и подчас жестокая, она была тем не менее верующей женщиной, много жертвовала на церкви, построила великолепный собор в городе Старице. А когда настал час умирать, нашла мужество на публичную исповедь. В те времена прилюдное покаяние воспринималось как шаг большого смирения, ведь врать на пороге вечности умирающая не могла. Полторацкая призвала в зал своего дома — роскошного дворца, построенного Растрелли, — крестьян, соседей, семью и при стечении народа повинилась в содеянных грехах. Ее исповедь потрясла присутствовавших внутренней силой, исходившей от дряхлой обездвиженной женщины. На ее последний вопль: «Православные, простите меня, грешную!» — зал единым духом ответил: «Бог простит».

Но таких характеров были единицы. Вернемся к простым смертным. Ведя расходы, разъезжая по сельским работам, забривая крепостных в рекруты, госпожа Ларина не вторгалась в привычную сферу интересов мужа. Она делала то, чем занимались ее мать, бабушка и прабабушка, также не спрашивая своих благоверных, прежде всего потому что и спросить часто было некого. Не стоит думать, будто сразу после указа 1761 года дворяне оставили службу и отправились в имения благоденствовать. По крайней мере еще лет семьдесят, а то и целый век привычка удерживала подавляющее большинство представителей благородного сословия на службе. Вне чиновной схемы дворянин не представлял свою жизнь успешной. Отставка была связана либо с почтенными годами, либо означала неблагоприятные свыше, опалу, крах карьеры. Во второй половине XVIII века мужчины очень редко покидали пост по склонности к тихой сельской жизни. Чаще всего в деревне они оказывались уже в зрелом возрасте, уставшие от службы и с расстроенным здоровьем. Не у многих при этом возникало желание с новыми силами приниматься за хозяйство. Большинство охотно пере-

доверяло хлопоты женам — более молодым и ретивым. Именно это и произошло с госпожой Лариной:

...муж любил ее сердечно,  
В ее затеи не входил,  
Во всем ей веровал беспечно,  
А сам в халате ел и пил;  
Покойно жизнь его катилась.

К известной самостоятельности женщин приучало и то, что их приданое не переходило в собственность мужа, они распоряжались им сами. Это явление русской жизни часто ставило в тупик наблюдателей-иностранцев. «Тебе следует знать, — писала Кэтрин Вильмот сестре Гарриет, — что каждая женщина имеет права на свое состояние совершенно независимо от мужа, а он точно так же от своей жены. Следовательно, брак никоим образом не является объединением денежных интересов, и, если женщине, имеющей большое поместье, случится выйти замуж за бедняка, она все равно считается богатой, в то время как муж может сесть в долговую тюрьму, так как он не имеет права ни на один фартинг из ее состояния. Это придает любопытный оттенок разговорам русских матрон, которые, на взгляд кроткой английской женщины, пользуются огромной независимостью в этом деспотическом государстве». Пожалуй, кротость в данном случае уместнее было бы назвать бесправностью. По британским законам, муж не только располагал имуществом жены, но и мог, в случае неверности, продать ее в публичный дом. Чем иногда пользовались представители низших сословий, чтобы свести концы с концами.

«Сначала я решила, что мужчины заколдованы, когда перед обедом, собравшись в кружок, они демонстрировали табакерки или зубочистки — подарки жен на именины, — продолжает Вильмот, — а жены точно так же хвастались подарками от мужей: турецкой шалью, вышитым ридикюлем, сережками или браслетом. Но еще сильнее я удивилась, когда спросила о даме, которая еще не вернулась в Москву, а ее муж ответил, что у той какие-то дела в ее поместье на Украине. Владелица решила продать усадьбу, так как ее удаленность от по-

местий мужа создает большие неудобства. Если группа дам о чем-то беседует, можно быть уверенным, что это — дела, дела, дела»<sup>43</sup>. Ей вторит Марта: «Русские женщины полностью и нераздельно владеют своим состоянием, и это дает им совершенно невозможную в Англии свободу от своих мужей. Не потому ли счастливые семьи встречаются там гораздо чаще? Нет, думаю, причина кроется в более высокой нравственности. Здесь возможность женщины распоряжаться своей собственностью серьезно препятствует намерению мужа тиранировать или покинуть жену... Очень часто можно услышать разговор двух молоденьких, хорошеньких, глупых и кокетливых женщин, беседующих между собой о продаже земель, душ (крепостных), о “поместье моего мужа, из которого мы поедем в мое поместье, где я хочу сделать некоторые улучшения” и т. д. или о делах госпожи такой-то в Сенате, хороши они или нет, о ее овсе, пшенице, ячмене и т. д., выгодно проданном в этом году, и очень часто о ее винокуренном заводе, доходов от которого недостаточно, чтобы оплатить туалеты»<sup>44</sup>.

Виже-Лебрён отмечала, что в Москве «даже самые знатные дамы самолично приезжают за покупками», и приписывала это живописности рынка, «где всегда множество прекраснейших и редкостных фруктов»<sup>45</sup>. Осмелимся предположить, что не одно желание полюбоваться виноградом и персиками влекло хозяйственных матрон в торговые ряды. Многие считали своим долгом оставаться в курсе цен, чтобы лукавый управляющий не обсчитал господ.

Такое разделение имущества супругов порождало у мужчин характерный образ мыслей, при котором они не считали богатства жены безраздельно своим. Достояние каждого находилось не во владении, а как бы в совместном пользовании. А. Т. Болотов писал: «Я хотя не искал себе слишком богатой невесты, каковую получить за себя и не надеялся, но и слишком на бедной жениться мне тоже не хотелось, а особливо потому что и собственный мой недостаток был... весьма-весьма незначителен. Почему и твердил я всегда, что хорошо бы, когда мой был обед, а женин ужин»<sup>46</sup>.

При таком раскладе мужа нередко оказывались под каблуком у состоятельных или молодых и красивых жен. Вспомним рассказ Томского из «Пиковой дамы» о том, как его бабушка-графиня во время поездки в Париж «проиграла на слово герцогу Орлеанскому что-то очень много».

«Приехав домой, бабушка, отлепившая мушки с лица и отвязывая фижмы, объявила дедушке о своем проигрыше и приказала заплатить».

Покойный дедушка, сколько я помню, был род бабушкина дворецкого. Он ее боялся, как огня; однако, услышав о таком ужасном проигрыше, он вышел из себя, принес счета, доказал ей, что в полгода они издержали полмиллиона, что под Парижем нет у них ни подмосковной, ни саратовской деревни, начисто отказался от платежа. Бабушка дала ему пощечину и легла спать одна, в знак своей немилости.

На другой день она велела позвать мужа, надеясь, что домашнее наказание над ним подействовало, но нашла его непоколебимым. В первый раз в жизни она дошла с ним до рассуждений и объяснений... Куда! дедушка бунтовал. Нет, да и только!»

Сцена, в которой муж выходит из повиновения, тем и хороша, что контрастировала с его обычным положением, которого Пушкин не описывает, но о котором читатели должны были догадываться из опыта своих семей.

### *«Видно, я теперь в другой школе»*

Однако были и совсем противоположные примеры. Некоторые мужа, начитавшись Руссо, пускались со своими женами в воспитательные эксперименты. Мы рассказывали о значительной разнице в возрасте между супругами. Получив под венцом девочку 15 лет, зрелый и чиновный муж нередко находил, что бедняжка воспитана не так, как ему хотелось бы, и начинал перевоспитывать жену по своему вкусу. Яркую зарисовку брака своих родителей оставил П. В. Нащокин, отец которого — настоящий русский барин, буйный и своевольный — необычайно интересовал Пушкина.



«Я никогда не слыхивал от матушки никаких жалоб на покойника мужа, напротив, она всегда отзывалась о нем с самохвальным довольством и некоторой гордостью, — писал мемуарист. — Впрочем... он обращался с ней не слишком нежно, что по тогдашнему времени несколько не противоречит привязанности и любви... Взял он ее за себя совершенно ребенком, ей не было пятнадцати лет. Первые годы супружества она сопутствовала ему во всех тогдашних походах, была даже при осаде Очакова и Бендер. Приучал ее к пушечным выстрелам, сажая на пушку и выстреливая из-под нее. Приучал также и к воде, которую она всегда боялась, и вот каким образом: посадив ее с грудным ребенком в рыбацью худую лодку, сам греб веслами по Волге в бурное грозное время...

Пользы же от одного воспитания никакой не было, ибо двадцать лет спустя после смерти батюшки матушка все еще боялась воды и, когда случалось ездить по набережной в Петербурге... всегда прилегалась к противоположащему углу и с ужасом взглядывала на воду, крестилась, прочитывая спасительные молитвы. Стрельбы ж не перестала бояться тоже. При каждом выстреле в царский табельный день... всегда вздрагивала и от страха никак не могла доделать пасьянса»<sup>47</sup>.

Однако не каждый Воин встречал свою Клеопатру, безропотно сносившую «уроки мужества». Иногда коса находила на камень, и при внешней покорности жены муж не мог добиться от нее желанного поведения.

Печальную историю своего брака поведала в мемуарах А. Е. Лабзина, в первом замужестве Карамышева. До известной степени ее драма — драма целой эпохи, когда традиционные ценности приходили в столкновение с идеями Просвещения. Тринадцатилетней девочкой, воспитанной в строгой религиозной семье в провинции, она вышла замуж за молодого ученого — вольтерьянца и безбожника, вернувшегося со стажировки в Париже. Трудно было представить себе людей более разных. Однако им предстояло жить вместе, ибо, даже когда родные молодой супруги поняли, что совершили ошибку, они строго-настрого запретили ей оставлять мужа.

«И ты знаешь ли, мой друг, против кого идешь? — сказал героине дядя. — Против Бога. И можешь ли ты разорвать те узы священные, которыми ты соединена навеки?.. Разве ты думаешь, что ты одна в свете терпишь так много? Поверь, моя любезная, гораздо несчастнее и хуже есть супружества, и есть такие жены, которые оставлены сами себе, без друзей, без подпоры, а к тебе еще милосерд Создатель наш — дал тебе друга истинного в свекрови твоей»<sup>48</sup>. Прекрасное утешение для юной жены, на глазах которой муж откровенно ухаживал за другой!

Между тем положение было трагично. О том, нравится или не нравится Анне Евдокимовне господин Карамышев как мужчина, и речи не шло. Тем более что мать невесты на смертном одре попросила зятя какое-то время «поберечь юность» дочери, на что тот без особого энтузиазма согласился. Двадцатипятилетний кавалер, недурной наружности, привыкший во время обучения за границей к весьма вольному обращению с дамами, Карамышев себя не стеснял. При нем жила племянница-любовница — веселая, «без предрассудков», которая обожала дядю и говорила, что без него умрет. Впрочем, переняв новый дух, она ничего не имела и против Анны Евдокимовны. Жизнь втроем устраивала две стороны треугольника. А бедная девочка первое время по наивности вообще не понимала, что происходит на ее глазах.

«После ужина мы пошли спать. Она (племянница. — О. Е.) стала с дядей прощаться и заплакала. Он встревожился и сказал ей: “Отчего ты, моя милая, огорчаешься? Я знаю, твоя любовь ко мне так велика, что тягостно для тебя и ночь проводить, не видавши меня. А жена моя с радостью бы осталась при матери своей: вот какая разница между вами. Я не допущу, чтобы ты где-нибудь спала, кроме нашей спальни”. Я молчала, а няня моя зарыдала и вышла вон, сказавши: “Вот участь моего ангела!” Муж мой чрезвычайно рассердился... А племянница ему сказала: “Я боюсь, чтобы она не сказала вашей матушке...” Я сказала: “Для меня мудрено, чего тут бояться, когда вы любите вашего дядю? Я и сама моих дядей люблю и не боюсь, ежели весь свет узнает о моей при-

вязанности”. И я сие искренне от доброго сердца говорила, не зная порочной любви». Через некоторое время Анна Евдокимовна пошла посмотреть, «спокоен ли муж», и нашла его, спящего на одной кровати с племянницей, обнявшись. «Моя невинность и незнание так были велики, что меня это не тронуло»<sup>49</sup>.

Конфликт Анны Евдокимовны с мужем лежал не в плотской, а в духовной сфере. Девушку учили полностью повиноваться супругу, который, в свою очередь, повинуется Богу. Но что делать, если муж не видит ни в чем греха, а его требования к жене идут вразрез со всем прежде полученным ею воспитанием? «Наступил Великий пост, — вспоминала она, — и я, по обыкновению моему, велела готовить рыбу, а для мужа мясо, но он мне сказал, чтоб я непременно ела то же, что он ест. Я его упрашивала и говорила, что я никак есть не могу, совесть запрещает, и я считаю за грех. Он начал смеяться и говорил, что глупо думать, чтоб был в чем-нибудь грех. “И пора тебе все глупости оставить, и я тебе приказываю, чтоб ты ела!” И налил супу, и подал. Я несколько раз приносила ложку ко рту, и биение сердца, и дрожание руки не позволяло проглотить; наконец стала есть, но не суп, а слезы, и получила от мужа за это ласки и одобрение. Но я весь Великий пост была в беспокойстве и в мучении совести»<sup>50</sup>.

Горше всего для молодой жены было стремление Карамышева разлучить ее с родными и няней, не позволяя старому окружению приближаться к дому. Вероятно, он считал их «изуверами» и на свой лад хотел защитить девушку от «дурного» влияния. Но это привело лишь к еще большему непониманию. «Я бы вас любила, ежели бы вы не отнимали у меня того, что мне всего на свете драгоценнее, и не разлучали меня с теми, кто мне любезен», — говорила ему Анна Евдокимовна.

Стремясь просветить невинность жены, а возможно, и просто заставить ревновать, Карамышев на ее глазах предавался страсти с племянницей. «В день, где мы сиживали одни, бывали такие мерзости, на которые невозможно было смотреть, — жаловалась Лабзина. — Но я принуждена была все выносить, потому что меня не выпускали. Я от стыда, смотря на все это, глаза закрыва-

ла и плакала». Желанного муж не достиг, только еще больше ужаснул и отпугнул супругу. Та поняла, что ее заново учат, воспитывают, образуют. Но направление этого образования было ей не по душе. Вполне естественная просьба Карамышева: «Вы не должны говорить моей матери все, что происходит в твоём сердце и между нами», — повергла жену в трепет. «Я сделала точно деревянная», — признается она.

В разговоре с няней девушка сделала неутешительный вывод: «Видно, я теперь совсем в другой школе. Первое мое учение приносило сердцу радость и покойствие, а нынешнее — делает скорбь и уныние. Вам бы должно прежде меня научить, как жить с мужем, да потом выдавать». Упрек справедлив. Но что же Анна Евдокимовна услышала в ответ? «На кого вы жалуетесь? На мать? ...Всякий человек должен быть готов на всякие кресты, и все надо с покорностью сносить. Нельзя пользоваться только сладким, надо вкусить и горького»<sup>51</sup>.

По молодости и горячности героиня решила, что ей предстоит выбрать между Богом и мужем. Но родные объяснили: долг повелевает жене подчиняться супругу, каким бы дурным он ни был, и не оставлять попыток к исправлению заблудшей души. Наставляя ее перед дальней дорогой, тетка сказала: «Надо непременно с покорностью подвергнуть себя всем опытам, которые на тебя налагает муж... Ты уж должна жить под его законами. Мы сами так делали для мужей... Главная твоя должность будет состоять в том, чтоб без воли его ничего не предпринимать. Вторая твоя должность — любить и почитать мать его и требовать от нее советов. Ежели тебе будут предлагать книги какие-нибудь для прочтения, то не читай, пока она не просмотрит». Почти то же самое сказала дочери на смертном одре мать: «В выборе друзей не надейся на себя, а предоставляй выбирать новой твоей матери (свекрови. — *О. Е.*), которая из любви к сыну даст тебе добрых друзей и опытных, от которых ты будешь учиться. Не скрывай от нее ничего, что будет происходить в твоём сердце... Даже и того не скрывай, кто с тобой что говорить будет: она будет из этого познавать людей и показывать тебе, с кем ты можешь быть в связи, с кем не можешь»<sup>52</sup>.

Кажется, ни одна из сторон развернувшегося противостояния не помышляла, что человек наделен свободой воли. Ни апеллировавшие к Закону Божию родные, ни просвещенный муж. Создается впечатление, что каждый, кого Лабзина встречала на пути, осуществлял над ней некий воспитательный эксперимент. Не последнюю роль в этом сыграл М. М. Херасков, писатель, журналист, крупный масон, вице-президент Берг-коллегии, прямой начальник Карамышева и его покровитель. По прибытии из сибирской экспедиции муж привез Анну Евдокимовну в дом четы Херасковых, которые приняли в ней большое участие.

«Мои благодетели, увидя мою молодость, взяли меня, как дочь, и начали воспитывать... Для меня сие воспитание было совсем новое: говорили мне, что не все надо говорить, что думаешь; ...не слушать тех мужчин, которые будут хвалить; не выбирать знакомств по своему вкусу; любить больше тех, которые будут открывать твои пороки, и благодарить». Мемуаристка передает слова Хераскова: «Я уверен, что ты будешь открывать свои мысли, намерения и даже самые малейшие движения сердца, разговоры твои с кем бы то ни было, особливо с мужчинами... Твое шествие в мире теперь только начинается, и путь, по которому ты пойдешь, очень скользок; без путеводителя упадешь, мой друг. Теперь — я твой путеводитель, данный Богом. Счастлив тот человек, который в молодости не сам идет, а есть проводник!» Лабзина признавалась, что воспитание в доме благодетеля было для нее «чрезвычайно тяжело», хотя и не перечисляла, чему, кроме морали, ее учили. «Бывали такие времена, и я так была зла, что желала смерти моему благодетелю. Любить его я долго не могла, а страх заставлял меня и стыд делать ему угодное. Он часто меня стыдил при всех, рассказывая мои глупости, но через семь или восемь месяцев я начала чувствовать к нему любовь, день ото дня возрастала моя привязанность и чистосердечие»<sup>53</sup>.

Бросается в глаза почти дословное совпадение наставительных речей матери, тетки, няни и Хераскова. Лабзина под конец жизни была убеждена, что полуграмотные сибирские родные и просвещенный вельможа

учили ее одному и тому же. Если заранее не знать, кто говорит, невозможно отличить крепостную старушку от видного розенкрейцера. Все требовали от девушки откровенности и осуществляли жесткий контроль над «малейшими движениями сердца». Кажется, все равно было только мужу, который, попав в столицу, окунулся в работу по Горному корпусу, карточную игру и любовные приключения. «Муж мой тогда никакой власти надо мною не имел», — писала мемуаристка. «Ты глуп и не знаешь цены этому ангелу!» — говорили ему.

Только через три года, после отъезда Херасковых в Москву, супруги Карамышевы переселились в нанятую квартиру и зажили вместе. Со временем Анна Евдокимовна кое-как освоилась с семейными обязанностями и даже привязалась к супругу, который, несмотря на беспутный нрав, искренне ее любил. Однако его представления о браке были совсем иными, чем у жены. Переехав в Петербург, он тут же завел любовниц, что, впрочем, не мешало ему оказывать законной супруге знаки внимания. Так делали многие, более того: именно так было принято в свете. На упреки героини муж отвечал, что любит ее, но не хочет слыть дикарем и провинциалом. Он даже предлагал жене найти ей хорошего любовника из своих друзей, чтобы она не скучала. Конечно, Анна Евдокимовна с гневом отвергла подобную низость. «Ежели б не мать твоя и данные мне правила, то я не знаю, что б из меня вышло!» — раз в сердцах сказала она. «А что бы из тебя вышло? — отвечал Карамышев. — Только то, что ты б себе нашла по сердцу друга, с которым бы ты могла делить время. Я сам тебе позволяю, а ежели хочешь, то и сам тебе выберу. Выкинь, мой милый друг, из головы предрассудки глупые... Нет греха и стыда в том, чтоб в жизни нашей поселиться! Ты все будешь моя милая жена». «Ты хочешь для того меня видеть беспутной, чтоб я тебя не укоряла! — воскликнула героиня. — Но знай, что я твоим советам не последую и добродетели моей ни за что в мире не потеряю!»<sup>54</sup>

У этой истории нет хорошего конца. Ни муж, ни жена не сдвинулись в своих взглядах ни на йоту навстречу друг другу. Анна Евдокимовна продолжала противо-

стоять супругу-искусителю до тех пор, пока он не скончался. Вторым браком она была замужем за известным масоном С. Ф. Лабзиным, морализаторство которого, как и духовные установки ее петербургского благодетеля М. М. Хераскова, отдают известной долей фальши. Но именно с этими людьми Анна Евдокимовна нашла утешение, полностью переплавив детский религиозный пыл в мистическое богоискательство. Несмотря на то, что повторное замужество продолжалось тридцать лет и считалось образцовым, у нас не поворачивается язык сказать, что героиня достигла счастья. Ее представления о себе как о мученице, житийные нотки в повествовании говорят о большой гордыне, развившейся на почве иступленной борьбы с чужим грехом. Возможно, поэтому исследователи, соприкасавшиеся с «Записками», не питали к героине симпатии, несмотря на пережитые ею горести.

### *«Нынче развод не в моде»*

После печальной истории семейства Карамышевых уместно поговорить о единственном, на взгляд современного человека, выходе из подобной ситуации. О расторжении брака. Дело это в XVIII столетии было трудным, но возможным. И как к последнему средству к нему прибегали не так уж редко. Однако подать на развод и получить его — разные вещи. Некоторые супруги годами дожидались решения Синода — далеко не всегда благоприятного. К тому же общество с крайним порицанием отзывалось о тех членах, которые отважились разорвать священные узы.

Уже знакомый нам попечитель Киевского учебного округа Е. Ф. Фон-Брадке вспоминал: «Добрые нравы господствовали, и не было слышно о разводах или разъездах; два редких случая в этом роде неумолимо осуждены общественным мнением, и обвиненным отказано во всех домах»<sup>55</sup>. Не удивительно, что супруги часто предпочитали полюбовный разъезд. Не передавая дело в официальные органы, они договаривались больше не жить вместе, делили имущество и разъезжа-

лись в разные дома. Янькова писала о своей бабке Евпраксии Васильевне, дочери историка В. Н. Татищева: «В первом браке она была за дедушкой Римским-Корсаковым... Вскоре овдовев, она вышла замуж за Шепелева; детей у них не было, и они скоро разъехались, дав друг другу подписку, чтобы некоторому из них одному после другого седьмой части не брать»<sup>56</sup>.

Согласно закону 1731 года, овдовев, супруги наследовали седьмую часть недвижимого имущества покойного и четвертую часть движимого. Остальное распределялось в соответствии с завещанием. Если учесть, что развод стоил немалых денег, ибо каждую инстанцию полагалось «подмазать», то простой разъезд служил также и способом сохранения состояния. Из бракоразводного процесса стороны могли выйти не только свободными, но и голыми. Этого никому не хотелось.

Однако и весьма состоятельные люди, решившие идти до конца, вынуждены были не один год пребывать в ожидании. Поэтому разъезд фактически предшествовал разводу. К тому моменту, когда супруги получали решение Синода, они уже давно не жили вместе. Но и разъезд, как своеобразная форма разрыва семейных уз, осуждался обществом. Юная Карамышева вовсе не добивалась расторжения брака, она просто не желала следовать за мужем в Петербург, куда тот собирался взять свою племянницу-любовницу. Законная супруга решила остаться в Сибири, в доме покойной матери. Но родные вынудили ее ехать. По их словам, отказываясь сопровождать мужа, Анна Евдокимовна нарушала обязательства, взятые на себя в церкви. «И кто тебе дал сие право располагать твоею участью? — укорял ее дядя. — Тебя всегда учили предаваться на волю Спасителя... И почему ты знаешь, оставя мужа твоего, будешь ли ты спокойна и счастлива, и не станет ли совесть твоя тебя укорять? И чему ты подвергаешь свою молодость? Стыду и нареканию. И ты обеспокоишь прах родителей твоих. Думаешь ли ты, что они не будут страдать, видя тебя нарушающею все должности брака? ...Правосудие Божие постигнет тебя»<sup>57</sup>. Какие же громы и молнии сыпались на головы тех, кто осмеливался не просто не жить вместе, а потребовать полной свободы?



Даже сочувствие горю детей и моральная поддержка всей семьи не гарантировали благополучного исхода. Показателен незавершенный развод четы Строгановых, где супруги шесть лет ждали ответа на свою просьбу, и в конце концов жена скончалась в доме у родителей. Историю этого запутанного дела изучила современная московская исследовательница Н. Ю. Болотина<sup>58</sup>. Анна Михайловна была единственной дочерью канцлера М. И. Воронцова, английский посланник Джерси Маккартни называл ее «очаровательнейшей женщиной своего времени» и писал, что даже почтенный Н. И. Панин был влюблен в нее<sup>59</sup>. Судьбу 15-летней крестницы решила императрица Елизавета Петровна, она сама подобрала ей жениха — молодого барона А. С. Строганова. Но как часто бывает в таких случаях, партия, кажущаяся со стороны такой удачной, на деле устраивает всех, кроме молодых.

Свадьба состоялась в 1758 году. Нельзя сказать, что жениха и невесту насильно повели к венцу, как раз наоборот. Александр Сергеевич был в восторге от нареченной и писал своему наставнику Саразо в Женеву: «Вице-канцлер граф Воронцов был искренний друг покойному моему отцу. У него я имел случай видеть и полюбить молодую дочь его графиню Анну; отец ее и мать, олицетворенная доброта, справедливость и благородство... что же касается до той, которую я люблю, то ей 14 или 15 лет и ко всем качествам ее ума и красоты нужно присоединить еще и прекрасное воспитание. О, я самый счастливый человек в мире!»<sup>60</sup>

Однако влюбленность не переросла в любовь. В 1760—1761 годах супруги совершили путешествие в Вену, куда Строганова отправили с официальным поздравлением по случаю бракосочетания эрцгерцога Иосифа, будущего императора Иосифа II. Анна Михайловна была первой из русских дам, кто в царствование Елизаветы Петровны сопровождал мужа в служебном путешествии за границу. После нее традиция, знакомая еще при Петре I, возобновилась. «Ты дорогу показала российским молодым дамам»<sup>61</sup>, — писала ей мать. Однако после возвращения в Россию семейные дела четы Строгановых разладились. Возможно, это было следст-

вием политических разногласий — Анна Михайловна вместе с другими представителями рода Воронцовых находилась в близком окружении Петра III, а Александр Сергеевич являлся ярким сторонником великой княгини Екатерины. А, возможно, взаимное охлаждение было продиктовано несходством характеров. Скорее всего — и то и другое.

После переворота Воронцовы оказались в опале, а Строганов, напротив, занял видное положение при дворе Екатерины II. К 1764 году он принял окончательное решение развестись с Анной Михайловной. Сначала граф обратился с просьбой о расторжении брака к императрице. Прежде нередко случалось, что одно слово государыни приводило к разводу супругов. В семействе Воронцовых подобный пример уже был. Марта Вильмот записала со слов Дашковой рассказ о первом замужестве ее матери девицы Сурминой: «Госпожа Сурмина, чье состояние составляло очень большую сумму, еще девочкой была выдана замуж за князя Юрия Долгорукова. Вскоре после этого семья Долгоруковых попала в опалу, и императрица Анна приговорила князя к пожизненному изгнанию в Сибирь. Мать Сурминой... бросилась к ногам императрицы, умоляя разрешить развод дочери, получила разрешение и через несколько месяцев выдала ее замуж за графа Романа Воронцова». После возвращения Долгоруковых из ссылки в 1742 году бывшие супруги встретились. «Сурмина увидела своего мужа, который также сразу узнал ее. Оба были чрезвычайно смущены»<sup>62</sup>. Однако ни о каком восстановлении прежнего брака не могло быть и речи.

Через четверть века семья Воронцовых оказалась в сходной ситуации. Отец Строгановой, бывший канцлер М. И. Воронцов, подтвердил желание, чтобы его дочь рассталась с мужем. Екатерина II с сочувствием отнеслась к «сей домашней печали», но напомнила, что развод — дело церковное, в которое она не имеет права вмешиваться. «Для меня все равно: графиня Анна Михайловна Строгановою ли называться будет или Воронцовою; и я всегда пребываю вам благосклонна»<sup>63</sup>, — писала она. Ничего не оставалось делать. Александр

Сергеевич законным порядком подал прошение о разводе Санкт-Петербургскому архиерею.

Обоюдного согласия супругов считалось недостаточно. Для церковного расторжения брака требовались серьезные основания. Например, отсутствие детей. Но пара была слишком молодой и еще имела шанс обзавестись наследниками. Другой причиной могла стать супружеская неверность. В ней-то Строганов и обвинил жену. Такое поведение зятя оказалось ударом для семьи Анны Михайловны. Ее кузен С. Р. Воронцов писал брату Александру: «Строганов продолжает плохо отзываться о жене... Строганова печалится, больна. Ее мать говорит, что на это есть веская причина»<sup>64</sup>. Оскорбленная супруга решила сама подать прошение о разводе архиерею и даже в Синод. Ее интересы представлял дядя Роман Илларионович, письмо к которому Анна Михайловна подписала: «Воронцова, бывшая по несчастью Строганова»<sup>65</sup>. К этому времени она уже вернулась в дом родителей. Ее отец хоть и поддерживал дочь, но считал, что ей стоит ограничиться разъездом с мужем. «Что касается до окончания дела со Строгановым, — писал он племяннику Александру, — то оно и начала не имело, да и нечего начинать: довольно, что несчастная пара навек друг от друга разлучена»<sup>66</sup>.

Рассмотрение взаимных обвинений Строгановых затянулось, и в 1769 году Анна Михайловна умерла, так и не дождавшись расторжения брака. Делами ее наследства занялся кузен Александр. Из составленного им «Мнения», поданного императрице, известно, что при разъезде супруги полюбовно согласились о полном разделе имущества, «полный расчет учинили, и каждый свое к себе возвратили»<sup>67</sup>. Пресловутые «седьмая и четвертая части» не были отданы Строганову. Двоюродная сестра покойной княгиня Дашкова в особой записке на высочайшее имя заявила, что мужу Анны Михайловны ничего не причитается, так как последняя, «живучи и умерши в доме матери своей, все тут и оставила»<sup>68</sup>.

Обычно, если семья оказывалась на грани разрыва, то родные, друзья и знакомые всеми силами стремились отговорить супругов от официального развода.

Разъезд в таком случае воспринимался как более мягкая форма прекращения отношений. Благодаря ему расставшиеся пары могли существовать, не мешая друг другу, и оставаться в добром согласии. После смерти князя П. М. Дашкова Марта Вильмот писала о его покинутой жене: «Последние 5—6 лет молодая Дашкова жила безвыездно в деревне, совершенно *в русском стиле*, то есть проживая с мужем отдельно, но оставаясь с ним в прекрасных отношениях и переписываясь с ним при каждой okazji»<sup>69</sup>.

Родные, старавшиеся примирить мужа и жену, выставляли им на вид тот факт, что после расторжения брака их дети могут быть признаны незаконными. Чтобы оставить за детьми родовое имя и право наследования, многие пары соглашались терпеть друг друга. Дважды пытался разойтись с женой А. В. Суворов и оба раза отказывался от этого намерения, жалея дочь.

Супругой великого полководца стала княжна Варвара Ивановна Прозоровская, которая по рождению принадлежала к старомосковской аристократии. На сестре ее матери — Е. М. Голицыной — был женат фельдмаршал П. А. Румянцев. Невесту Александру Васильевичу подыскал отец, поскольку сам сын к женитьбе интереса не проявлял. Не сохранилось сведений ни о добрых любовных увлечениях Суворова, ни о том, как сложилась его частная жизнь после разъезда с супругой. Похоже, что женщины вообще мало волновали героя. Тем не менее, получив предложение отца оступить, он был рад устроить, наконец, семейный очаг. Существует мнение, что Прозоровские приняли предложение Суворова, поскольку отец невесты, отставной генерал-аншеф князь Иван Андреевич, промотал свое состояние. Варваре Ивановне в ту пору было 23 года, а жениху — 43. Александр Васильевич не блистал красотой и изысканными манерами. Девушка же, напротив, успела вкусить жизни в московском свете и перенять его привычки.

Свадьба состоялась в 1773 году. Письма Суворова к жене не сохранились. Вероятно, они были уничтожены при разрыве. Но в посланиях к третьим лицам Александр Васильевич в первые годы брака отзывался о су-

пруге тепло. Однако привязать к себе ее сердце он не сумел, а возможно, и не стремился, полагая, что принесенных в церкви клятв достаточно. Тем временем под началом Суворова служил молодой племянник Николай. Он был всего тремя годами старше Варвары Ивановны, воевал в Польше, получил тяжелое ранение в руку. По протекции дяди его зачислили секунд-майором в Санкт-Петербургский драгунский полк.

Нам неизвестно, как молодой Суворов познакомился с Варварой Ивановной. Вероятно, привез в Москву письма, гостинцы и приветы. По слухам, уже к марту 1779 года между ними вспыхнул роман. Позднее, стараясь оправдаться, госпожа Суворова будет уверять, что Николай прибег к угрозам и насилию. В июне о случившемся узнал муж. Он отреагировал резко и болезненно. Полный разрыв с женой. Своему управляющему И. Д. Канищеву Суворов писал о супруге: «Как будет в Москве, то хоть все мои служители от нее отстанут... пусть нанимает... или скорее будет к матери». О вероломном племяннике же приказывал: «Его ко мне на двор не пускать»<sup>70</sup>.

В сентябре Суворов подал прошение в Славянскую духовную консисторию о разводе, обвинив жену «в презрении закона христианского». Поскольку расторжение брака было делом многотрудным, Александр Васильевич попытался заручиться поддержкой своего покровителя Г. А. Потемкина, к которому писал: «Будьте предстателем у высочайшего престола к изъяснению моей невинности, в справедливое же возмездие виновнице, к освобождению меня в вечность от уз бывшего с нею союза»<sup>71</sup>. Однако у Григория Александровича имелся собственный горький опыт. Его пожилой отец по наговору родственников, претендовавших на наследство, решил развестись с матерью и признать сына незаконнорожденным. Старика насилу удалось уговорить отказаться от разрыва. Много лет спустя Потемкин принял все возможное, чтобы склонить Суворова к миру с женой, хотя бы ради дочери. Потемкин сам написал московскому главнокомандующему, прося отпустить четырехлетнюю дочь полководца Наташу в Северную столицу. Девочка была помещена в Смольный.

В начале декабря Александра Васильевича вызвали в Петербург, он присутствовал на званом обеде в Зимнем дворце, а 24-го числа получил бриллиантовую звезду ордена Святого Александра Невского, выхлопотанную для него покровителем. Эта награда должна была несколько успокоить уязвленное самолюбие героя. Потемкин обратился к нему цитатой из Библии: «Тако да просветится свет Ваш перед человеки, яко да видят добрые дела Ваши». «Человеки» в любом семейном скандале играли не последнюю роль. Высокая награда накидывала платок на уста сплетникам, не позволяла злословить и поносить честь пострадавшего мужа.

Доверенное лицо Потемкина — П. И. Турчанинов привез в Петербург Варвару Ивановну. Однако Суворов отказывался идти на сближение. Для увещевания супругов Екатерина II пригласила кронштадтского протоиерея отца Григория, славившегося красноречием. Вскоре полководец отправился на Волгу и с дороги обратился к славянскому архиепископу Никифору с просьбой «остановить временно разводное дело», так как он должен позаботиться «о благоприведении к концу спасительного покаяния и очищении обличенного страшного греха». Примирение супругов произошло в Астрахани. «Разрешением архипастырским обновил я брак»<sup>72</sup>, — писал Александр Васильевич в мае 1780 года. Простого домашнего прощения для оскорбленного мужа было недостаточно, он считал священные узы разорванными, требовалось церковное соединение — особый обряд, который и состоялся на Страстной неделе 1780 года. Теперь в письмах к невольным соучастникам его семейной драмы Суворов оправдывал измену жены коварством соблазнителя. «Сжальтесь над бедною Варварою Ивановной, которая мне дороже жизни моей, — писал он Турчанинову, — иначе вас накажет Господь Бог. Зря на ее положение, я слез не отираю. Обороните ее честь... Нет, есть то истинное насилие, достойное наказания и по воинским артикулам... Накажите сего изверга по примерной строгости духовных и светских законов»<sup>73</sup>.

В тот момент Суворов верил, что Варвара Ивановна была силой принуждена к измене, и требовал самого

жестокого наказания для племянника. Однако начальники, решавшие участь виновного, не были склонны видеть в молодом человеке «изверга». Николая перевели из Санкт-Петербургского драгунского полка в Таганрогский, квартировавший на Северном Кавказе. Конечно, Александр Васильевич оказался недоволен такой мягкостью. «Позвольте, любезный друг, моему азиатскому невежеству, вашим европейским нежностям смеяться, — желчно писал он 5 февраля 1781 года Турчанинову. — У нас... похитителю чести — кожу дерут, а у вас только рубят правую руку, хотя явное доказательство от самой жертвы, на небо вопиющей и бывшей под распутством»<sup>74</sup>.

Вновь Суворов ссылался на слова жены. Но ей-то, похоже, никто, кроме него, не верил. Не прошло и четырех лет, как Варвара Ивановна впала в прежний грех. На этот раз ее избранником стал Иван Васильевич Сырохнев, секунд-майор Белозерского полка, служивший на Северном Кавказе. Это был образованный человек, написавший историю похода Надир-шаха против лезгин. И опять мы не знаем, при каких обстоятельствах офицер из отдаленного гарнизона встретился с супругой Суворова. Скандал разразился в июне 1784 года, когда Александр Васильевич приехал в Петербург, чтобы предпринять новую попытку развестись с женой. Он уже подал прошение в Синод и теперь хотел подкрепить его личной беседой с Екатериной II. Однако полководцу не удалось получить у государыни согласия. Как и в случае со Строгановыми, она предпочла пустить дело законным путем, то есть через духовные органы. Суворов обещал представить изобличающие жену свидетельства, однако не смог сделать этого, и Синод отказал челобитчику, ссылаясь на отсутствие «крепких доводов».

Сохранилось наставление полководца его управляющему в Москве С. М. Кузнецову: «Нынче развод не в моде... Об отрицании брака... нечего помышлять». Кузнецов должен был посетить митрополита Платона. «Скажи ему, что третичного брака уже быть не может. Он: “Могут жить в одном доме розно”. Ты: “Злой ея нрав всем известен, а он не придворный человек”»<sup>75</sup>. Суворов

назначил жене пенсион — 1200 рублей ежегодно, и супруги разъехались. Сумма была невелика. Варвара Ивановна могла вести лишь очень скромное существование. В сентябре у нее родился сын Аркадий, которого супруг поначалу отказывался признать. Лишь в 1795 году Суворов впервые упомянул о своем наследнике в письме императрице. Мальчик был принят на службу в гвардию и зачислен камер-юнкером к великому князю Константину Павловичу. До этого он жил с матерью в Москве, а после того как сестра Наталья вышла замуж за Н. А. Зубова, был перевезен в Петербург и помещен в ее семье. Фактически Александр Васильевич отобрал у опальной жены обоих детей. Он никогда не писал оставленной супруге и не одобрял ее попыток посылать весточки дочери и сыну.

Когда распадался брак, общество винило, как правило, женщину. Князь М. М. Щербатов, обрушиваясь на разводы, перечислял имена жен, оставивших мужей, не считая нужным дать пояснение, по какой причине те впали во грех. Обличителя интересовали не частные драмы каждой семьи, а общая тенденция к разрушению общественной нравственности. «Достоинно удивления, — писал он, — что при набожной государыне (Елизавете Петровне. — *О. Е.*) божественному закону противоборствия были учинены... Мы можем положить сие время началом, в которое жены начали покидать своих мужей. Не знаю я обстоятельство первого странного разводу. Иван Бутурлин имел жену Анну Семеновну; с ней слюбился Иван Федорович Ушаков, и она, отошед от мужа своего, вышла за своего любовника; публично содеяв любодейственный и противный церкви сий брак, жили. Потом Анна Борисовна графиня Апраксина рожденная княжна Голицына, бывшая же в супружестве за графом Петром Алексеевичем Апраксиным, от него отошла. Я не вхожу в причины, чего ради она оставила своего мужа, который подлинно был человек распутного жития. Но знаю, что развод сей не церковным, но гражданским порядком был сужен. Муж ее, якобы за намерение учинить ей какую обиду в немецком позорище (в театре. — *О. Е.*), был посажен под стражу и долго содержался, и наконец велено ей было



дать ее указную часть из мужня имения при живом муже, а именоваться ей по-прежнему княжною Голицыною. И тако, отложя имя мужа своего, приведши его до посажения под стражу, наследница части его имения учинилась. Пример таких разводов вскоре многими другими женами был последуем, и ныне их можно сотнями считать»<sup>76</sup>.

Как видим, Щербатов «не входит в причины» домашних грехов мужей: пьянство, рукоприкладство, мотовство, измены. Мысль о том, что развод — есть внешнее расторжение брака, разрушенного изнутри, чужда всему строю рассуждений полемиста. Подавляющее большинство тогдашнего общества не считало «распутное житие» мужа объяснением ухода жены.

Однако встречались случаи, когда второй брак при фактическом отсутствии развода с первым мужем оказывался возможен. Общество не отворачивалось от содеявшей подобное «любострастие» женщины. А власти вставали на ее сторону. Для этого требовались вопиющие нарушения морали со стороны покинутого супруга. Много шуму наделала свадьба Марии Григорьевны Голицыной, урожденной Вяземской, с Львом Кирилловичем Разумовским, пятым сыном гетмана.

Лев Кириллович в молодые годы служил в Семеновском полку, слыл мотом и ловеласом, но добрым малым, в 1782 году стал генерал-адъютантом Г. А. Потемкина, участвовал во второй Русско-турецкой войне, отличился в битве при Мачине, получил орден Святого Владимира 2-й степени. После кончины Екатерины II он, как и многие обласканные в ее царствование офицеры, подал в отставку и поселился в Москве. Его богатство, любезность, открытый дом и роскошные праздники привлекли к нему симпатии жителей Первопрестольной. Графу уже перевалило за сорок, когда он встретил молодую княгиню Голицыну, супругу Александра Николаевича Голицына, человека вздорного, крайне расточительного и склонного к самодурству. Князь обладал громадным состоянием в 24 тысячи душ, но оно таяло на глазах вместе с приданым жены. Про Голицына рассказывали, будто он ежедневно награждает своих кучеров полудюжиной бутылок шампанско-

го, раскуривает трубки от ассигнаций, горстями бросает извозчикам золото, чтобы они толпились под его окнами, и не читая подписывает заемные векселя на громадные суммы<sup>77</sup>.

Доведенная до отчаяния княгиня не знала, как унять мота. Увидев ее в свете, Разумовский влюбился с первого взгляда. Согласно одним сведениям, развод состоялся мирно. По другим — со скандалом. Поговаривали, что циничный Голицын проиграл жену в карты графу Льву. А та от отчаяния была рада уйти, куда угодно. Первый муж получил отступное. Лев Кириллович и Мария Григорьевна повенчались. Родня Голицына, недовольная тем, что приданое ушло из семьи, пыталась возбудить судебное разбирательство и всколыхнуть мнение старой столицы против Разумовских. Однако симпатии общества оказались на стороне Льва Кирилловича и Марии Григорьевны. Щедрость, с которой Разумовский устраивал для москвичей великолепные балы зимой в доме на Тверской, а летом в имении Петровском, заставила жителей Первопрестольной ездить к «нарушителям морали» и принимать их у себя.

Из затруднительного положения Разумовских вывел Александр I, посещавший Москву в 1809 году. Во время праздничного ужина император обмолвился, назвав Марию Григорьевну «графиней», что соответствовало ее титулу по второму мужу, а не «княгиней» по первому. Это означало фактическое признание брака со стороны государя<sup>78</sup>.

### *«Смесь кокетства, интриги и заблуждения»*

Развод был крайним средством. В большинстве семейств, где сердечный огонь остывал или никогда не разгорался, предпочитали адюльтер. Попросту говоря, измену. Во все времена люди, несчастные в браке, ищут утешение на стороне. Но в разные эпохи и общество, и сами супруги относятся к этому по-разному. В XVIII столетии боролись, а подчас и уживались две разные модели поведения. Одна — традиционная — диктуемая нормами религиозной морали. Другая — просвещен-

ная — пришедшая из Франции вместе с книгами философов-энциклопедистов.

Авторы, воспитанные в строгих нравах, привычно винили «развратных писателей века сего», как выражался князь М. М. Щербатов. С ним соглашалась Янькова, приводя историю жизни своего двоюродного брата князя В. М. Волконского. Хорошо погуляв в молодости, он вздумал жениться уже лет за пятьдесят, крепко влюбившись в тридцатилетнюю вдову. Внезапно невеста умерла от чахотки. «Это очень поразило брата, и ему еще труднее было перенести эту потерю, потому что он был совершенно неверующий», — рассказывала мемуаристка.

«Во дни его молодости, то есть в 1780-х годах, очень свирепствовал дух французских философов Вольтера, Дидерота и других. Брат князь Владимир очень любил читать, хорошо знал французский язык, а вдобавок у них в доме жил в дядьках какой-то аббат-расстрига. Вот он смолоду начитался этих учений, и хотя был умный и честный человек, а имел самые скотские понятия на счет всего божественного, словом сказать, был изувер не лучше язычника.

Вот как горе-то его затронуло, и приехал он ко мне плакать, что он лишился той, которую любил. Я говорю ему: “Молись, поминай ее, для ее души будет отрада и для тебя облегчение”.

— Не умею молиться; и зачем это? Она умерла.

И мало ли чего он говорил сгоряча... Однако после смерти своей невесты он стал полегче; ему хотелось верить, что она не умерла и что с ее смертью не все кончилось между ним и ею... Очень мне всегда было грустно видеть, что такой хороший и добрый человек, а так заблуждается, и всегда просила я Господа, чтоб он обратил его к себе... Брат потом действительно прозрел и покаялся». Но до того натворил немало светских грехов, которые в сущности и грехами-то не считались. Даже добросердечная кузина рассказывала о них в легком, игривом тоне.

«Был у него хороший приятель Дмитрий Васильевич, а как по фамилии, это не важно знать. Человек богатый, очень известный, красавец собою, вдовец и же-

нат на красавице, что не мешало ему заглядывать и в чужие цветники. Это, разумеется, не по нутру было молодой женщине; звали ее Любовь Петровна. Она стала жаловаться князю Владимиру на мужа, как его приятелю. Он сперва его защищал, бывал часто у них в доме, и все приходилось, когда мужа нет, враг их и попутал: приятель мужа стал другом жены.

Родился сын: Дмитрий Васильевич рад; и князь Владимир тоже не горюет... Через сколько-то времени Любовь Петровна жалуется мужу, что она не здорова, чувствует, что у нее делается опухоль: “Боюсь, не начали ли водяной, нужно захватить время, поедем в чужие края”. Тогда ехать за границу не то, что теперь: сел да и поехал налегке с узелком; тогда тащись в своем рыдване, вези с собой полдома; затруднительно было путешествовать.

У Дмитрия Васильевича была своя зазноба в Москве; как отлучиться, а жене отказать нельзя... Говорит князю Владимиру:

— Не поможешь ли ты моей беде: по дружбе не согласишься ли свозить жену полечиться?

Князю Владимиру и смешно, и совестно, что он друга морочит.

— Отчего же не свозить...

Тот целует его, обнимает, не знает, как и благодарить... Повез ее князь Владимир в Берлин, и оказалось, что она была в тягости. Там у нее родилась дочь. Назвали ее Амалией, окрестили по-немецки и отдали какому-то пастору на воспитание. Пожив сколько-то времени за границей в разных местах, брат князь Владимир и жена его друга возвратились в Москву, к немалому удовольствию мужа... Когда сын стал подрастать, то поневоле пришлось увериться, что мальчик не чужой князю Владимиру — так он был на него похож! И говорил Дмитрий Васильевич:

— Все можно доверить другу, только не доверяй ему своей жены. Сына моего напрасно называют Дмитриевичем: стоит взглянуть на него, чтобы видеть, что он Владимирович. Истинный друг, и жену мою любил по дружбе, как свою собственную. — И приятели перестали видаться.

Однако все имение, более 3000 душ он оставил своему мнимому сыну, и брат, после своей смерти, отказал ему 600 душ»<sup>79</sup>.

Характерно, что Янькова ставит «скотские понятия» о семейной жизни, свойственные ее брату, в прямую зависимость от французских книжек, которых тот начитался по молодости. Вольность нравов проникла в Россию вместе с философией Просвещения. Причем ни Вольтер, ни Дидро не отрицали необходимость брака, но рассматривали его как форму имущественного договора, часто заключенного даже не самими супругами, а их родными.

Для того чтобы не возненавидеть друг друга, молодые люди должны понимать, что они в первую очередь друзья и партнеры, а вовсе не страстные любовники. В идеале между ними устанавливаются отношения полного доверия, их обязанность — поддерживать и помогать друг другу, охранять взаимные интересы, не отказываться от исполнения супружеского долга и вместе с тем предоставлять «второй половине» право искать сердечную привязанность, где вздумается. В «просвещенном» браке муж и жена с пониманием относятся к шалостям друг друга, покрывают их перед чужими людьми, выказывают приязнь и расположение тем лицам, на которых пал душевный выбор одного из супругов. Жизнь втроем или вчетвером ни в коем случае не должна их огорчать. Напротив, надо радоваться тому, что соединенный с тобой человек нашел счастье в любви.

Именно такой союз связывал молодого Вольтера с маркизой дю Шатле. В рамках приведенной логики страсть внутри брака казалась многим просвещенным людям чем-то смешным, отжившим, достойным колких острот. Она выглядела, как немодное платье — удел провинциалов. В мемуарах Екатерины II описана уже упоминавшаяся нами графиня Бентинк, с которой девочка познакомилась в 1753 году.

«Я привязалась к ней, эта привязанность не понравилась матери, но еще больше отцу», — сообщала Екатерина. Добропорядочные родители, в отличие от их наивной дочери, сразу поняли, что за дама эта «милей-

шая графиня». «Она была уже в разводе с мужем. Я нашла в ее комнате трехлетнего ребенка, прекрасного, как день; я спросила, кто он такой; она мне сказала, смеясь, что это брат девицы Донец, которую она имела при себе; другим своим знакомым она говорила без стеснения, что это был ее ребенок и что она имела его от своего скорохода. Иногда она надевала этому ребенку свой чепчик и говорила: “Посмотрите, как он на меня похож!” ...В одном из покоев находился портрет графа Бентинка, который казался очень красивым мужчиной. Графиня говорила, глядя на него: “Если б он не был моим мужем, то я любила бы его до безумия”»<sup>80</sup>.

Это весьма характерный отзыв. Семья сама по себе убивает страсть. Таково расхожее мнение века. Чтобы существовать с подобной философией, необходимы бесстыдство и чувство юмора. Именно этими качествами отличалось подавляющее большинство семейных «вольтерьянцев», ибо что можно противопоставить пустоте, кроме смеха? Фрейлина Варвара Николаевна Головина рассказывала о появлении при дворе в 1795 году княгини Елены Радзивилл, которая «говорила про своего мужа, что он, как страус, высиживает чужих детей»<sup>81</sup>. Подобные шуточки были в ходу и очень развлекали общество.

Тогда же юный великий князь Александр Павлович заскучал в обществе своей прелестной, но несколько холодноватой жены Елизаветы Алексеевны. Он попытался сосредоточить ее внимание на друге — Адаме Чарторыйском, а сам найти удовольствие в объятиях более темпераментных красавиц. Головина, муж которой служил гофмейстером при дворе великокняжеской четы, с большим сочувствием писала о положении Елизаветы:

«Общество молодых людей, окружавших великого князя, вовлекло его в предосудительные связи. Князь Адам Чарторижский\*, ободренный особой дружбой великого князя, находясь вблизи от великой княгини

---

\* Старинное написание этой фамилии.

Елизаветы, не мог ее видеть, не испытывая чувства, которые уважение должно бы было подавить в самом начале... Его брат Константин влюбился в великую княгиню Анну (супругу Константина Павловича. — *О. Е.*), почувствовавшую тоже склонность к нему. Эта смесь кокетства, интриги и заблуждений ставила великую княгиню Елизавету в тяжелое и затруднительное положение. Она замечала перемену в своем муже; каждый вечер она была вынуждена терпеть в своем семейном кругу присутствие человека со всеми внешними признаками страсти, которую, как казалось, великий князь поощрял, доставляя ему случай видеть великую княгиню».

Дело дошло до того, что Александр Павлович демонстративно оставил жену вдвоем с другом, а сам удалился спать. Головина заметила из окна кусочек белого платья Елизаветы, освещенного луной, и решила, что та заперлась в кабинете. «Я накинула на плечи косынку и спустилась в сад. Подойдя к решетке цветника, я увидела ее одну, погруженную в печальное раздумье.

— Вы одна, выше высочество? — спросила я.

— Я предпочитаю быть одной, — отвечала она, — чем ужинать наедине с князем Чарторижским. Великий князь заснул у себя на диване, а я убежала к себе и предаюсь своим далеко не веселым мыслям»<sup>82</sup>.

В конце концов Елизавета Алексеевна сдалась под натиском князя Адама. Попытка превратить добродетельную жену с согласия мужа — расхожий сюжет для литературы эпохи Просвещения. Логика поведения Александра сродни логике Карамышева, предлагавшего супруге выбрать любовника из его друзей. Жена не должна мешать мужу развлекаться, но не должна и скучать. По старой традиции он вправе посадить ее под замок, однако тогда его можно будет назвать «варваром», «эгоистом» и «черствым человеком». Добросердечный, просвещенный муж никогда так не поступит. Он предоставит своей «второй половине» полную свободу и будет ожидать от нее взаимной услуги.

## «Еротау песни посвящаю»

Однако некоторые весьма заметные фигуры в свете намеренно демонстрировали свои семейные добродетели, противопоставляя их «влиянию развратных философов». Такова была, например, чета Херасковых. В то время существовало четкое разделение понятий о любви дозволенной, в браке, и любви куртуазной, с самого начала исключаящей долговременный союз. Последнюю считали нечистой, греховной страстью. Живя в доме Херасковых, знакомая нам Лабзина почти не встречалась со своим мужем и не исполняла супружеских обязанностей. Юный возраст позволял покровителям воспринимать ее как девицу, да и сама она лучше чувствовала себя в этой роли. Наконец Анна Евдокимовна подросла, и в ее сердце зажглась первая робкая влюбленность. Но предметом этого чувства стал не муж.

Мемуаристка оставила запись настоящего допроса, который учинил ей благодетель. По твердому убеждению Лабзиной, он спас ее от падения, открыл глаза на недопустимость подобных эмоций и помог разобраться в собственном сердце. Но на человека, привыкшего к внутренней свободе, текст производит отталкивающее впечатление:

«Я видела к себе привязанность племянника моей благодетельницы и чем больше его узнавала, тем больше его любила. И, наконец, он сделался моим и мужа моего другом... Ему было надо на несколько месяцев съездить увидеться с матерью, и я очень грустила с ним расставаясь... Стали прощаться; он подошел и обнял меня, назвавши милой сестрой, и уехал. Мне так сделалось скучно, что невольным образом полились слезы, и я их не скрывала. Благодетель мой, приметя, позвал к себе в кабинет, и я с радостью пошла за ним. Он спросил у меня: “Об чем ты, мой друг, плачешь?” — “О уехавшем друге, который столько меня любит”. — “Для чего же другие об нем не плачут?” — “Видно, они не умеют так любить и чувствовать”. — “Остались здесь другие племянники, которые могут тебе быть друзьями?” — “Нет, отец мой, они, конечно, меня любят, но я их так много не могу любить, и они



мне не заменят его”. — “Не может ли, мой милый друг, выйти из этой дружбы что-нибудь неприятное для тебя же самой?” — “Я, кроме сердечного удовольствия, ничего не представляю и не знаю, каким бы тут быть неприятностям”. — “А я так предвижу. Скажи мне, по любви ли ты шла замуж?” — “Я не ненавидела и не была привязана, а исполняла волю матери моей”. — “А ежели бы он, не взявши тебя, куда-нибудь уехал, жалела б ты об нем и стала ли бы плакать?” — “Нет, и тосковать бы не стала”. — “Почему ж так?” — “Потому что я привязанности сильной не имела, да и он со мной неласково обходился”. — “Стало, ты прямо никого еще не любила и не знаешь, как любят”. — “Ах, знаю, и очень. Да я вас люблю, вы сами это знаете”. — “Это другая любовь, ты меня любишь, как отца и друга”. — “А как же еще надо любить и какая другая есть любовь?” — “Скажи мне, покойно ли ты любишь уехавшего друга? Когда его нет, что ты чувствуешь?” — “Скуку”. — “А когда он с тобой?” — “Какое-то приятное чувство, но, правда, и беспокойство мудреное, я вам не могу пересказать”. — “Ты сказала, что и меня очень любишь, чему я верю; но, сидя со мной, что ты тогда чувствуешь?” — “Истинное удовольствие быть с вами!” — “Покойна ли ты тогда?” — “Очень!” — “Ежели меня нет дома, тогда что?” — “Я тогда сижу с благодетельницей моей”. — “И не грустишь?” — “Нет, зная, что вы здоровы”. — “Почему ж к другу твоему любовь тебя так беспокоит? Ты его люби так же, как и меня любишь. Мне кажется, по твоим словам, между той и другой любовью великая есть разница”. ...Я долго молчала, наконец сказала: “Это правда. Но что ж это значит? Не то ли, что я недавно слышала, говорили, а кто, не знаю, что он в нее влюблен и она также, но говорили так, что эту любовь как будто не одобряли...” — “Я только тебе скажу, что ежели бы ты не была замужем, то я б старался тотчас отдать за друга твоего, а как ты уже имеешь мужа, и мужа достойного, то вся твоя любовь должна к нему быть... Я тебя прошу, моя милая, остерегайся допускать в сердце твое, мягкое и невинное, ничего непозволенного. Старайся друга твоего любить любовью тихой и непостыдной, старайся не быть с ним никогда наедине”. Я, слушая его, так испугалась, что цвет лица тотчас переменялся, и я молчала».

Приведенный разговор можно назвать анатомией сердца. Даже его препарированием. Однако самой Лабзиной он не доставил никаких неудобств. Напротив. «Тогда мне был уж восемнадцатый год, и я чувствовала очень милости Божии посланием мне такого благодетеля и наставника, который умел видеть в глубину моего сердца и который умел мне все пороки показать ужасными и утвердить в добродетели. Что б я была без него? Он меня сохранял, как слабый цветок от ветру.. И с тех пор я, как только можно, с благопристойностью отдаляла все случаи быть с ним (с племянником. — *О. Е.*). Он очень заметил сие, но почтение его ко мне никогда не терялось»<sup>83</sup>.

Бросается в глаза, как подробно, вспоминая каждую фразу, Лабзина передает душеспасительные беседы. Херасков очень внимательно наблюдал за девушкой. Анне Евдокимовне строго-настрого было запрещено оставаться с кавалерами наедине и общаться с ними, понизив голос. В особенности же выслушивать комплименты. «Разговаривая с мужчинами, я должна была все пересказать, что с кем говорила, и при этом получала самые полезные для меня замечания и наставления». Однажды, когда она сидела в гостиной с вышиванием, вошел один из многочисленных племянников Хераскова, поздоровался и что-то молвил на ухо, не желая говорить при лакее. «Я ему сказала, чтоб впредь этого не делал — батюшка не любит, чтоб шептали. “Да ведь его здесь нет”. — “Мне все равно, здесь ли он или нет, я и без него не хочу делать ему неугодного!” Он с удивлением на меня посмотрел. “Ваше повиновение и осторожность меня удивляют”. — “Кажется, дивиться нечему. Вам тому только можно б удивиться, ежели бы я не поступала по тем правилам, которые в здешнем доме получила”»<sup>84</sup>.

Молодой человек рассказал тетке, какой получил отпор от воспитанницы. Госпожа Хераскова была довольна твердым поведением Анны Евдокимовны. Однако ее муж, который на первый взгляд должен был бы похвалить девушку, напротив, надулся. «Наступил час обеда, и сели за стол. Я заметила, что мой благодетель на меня неприятными глазами смотрит. Отобедавши, я

обыкновенно ходила к нему в кабинет. Вошедши за ним, я спросила: “Здоровы ли вы?” — “Я здоров. Что вы мне скажете, как утро провели, весело ли?” — “По обыкновению очень хорошо”. Он очень пристально посмотрел на меня и спросил: “Больше вы мне ничего не скажете?” — “Нет, батюшка, нечего сказать. Мне кажется, вы мной недовольны...” — “А вы сами не знаете ничего?” И у меня как будто какая тягость на языке сделалась, что я, зная свою вину, не хотела признаться и повторила прежний ответ. “Дак мне и спрашивать нечего! Извольте идти и приниматься за работу! Нам с вами сегодня говорить нечего!” И так я ушла и сама себя внутренне бранила, для чего я не сказала, и решила вечером сказать». Не тут-то было. И вечером Анне Евдокимовне не удалось заставить себя признаться в невинном шепоте. «Я пошла с ним проститься и испросить благословения, что я всегда делала. Он очень сухо со мной простился и не благословил». Целую ночь молодая женщина не могла спать. «Так меня мучила неискренность моя!» — восклицает она. Чуть свет Лабзина отправилась в кабинет Хераскова и со слезами бросилась перед ним на колени. «“Отец мой, я вас огорчила и знаю чем, но я не виновата!” И рассказала ему все... “Я не выйду от вас! Спросите у него, как было...” Он обнял меня: “Я верю тебе, друг мой, и хвалю тебя за благоразумие. Но для чего ты не хотела мне сказать?” — “Я сама не знаю, простите меня, я довольно наказана мучением, которое мне спать не дало всю ночь”. — “Вот, мой друг, ты и это испытала, как дурно скрывать от тех, которыми ты дорожишь. И я не меньше тебя беспокоился, но теперь все кончилось, и я уверен, что это последний раз”. Я спросила у него: “Кто вам это сказал?” — “Никто. Я сам видел, стоя у дверей. Знай, моя любезная, мои глаза и уши всегда там, где ты”»<sup>85</sup>.

Эта сцена годится для учебника по психоанализу. Поведение благодетеля пронизано тонкими нитями ревности, которую он прикрывал нравоучительными беседами. Создается впечатление, что сам пожилой саванник влюблен в Анну Евдокимовну. Надо отдать Хераскову должное: он не позволил себе ничего лишнего. Наслаждался обществом юной розы, не стяхнув с ее

лепестков ни единой капли росы. Однако и в этом бережном отношении скрыт глубокий эгоизм. Благотель знал, что Анна Евдокимовна равнодушна к мужу, поэтому он с легким сердцем внушал молодой женщине мысль о необходимости нести свой крест, оставаясь верной супругу. Однако стоило сердцу воспитанницы зажечься первым настоящим чувством, и неумолимый ментор немедленно наставил заблудшую на путь истинный.

Впрочем, иные наставники юных девиц не были так щепетильны, как Херасков, и не держали свои нежные чувства при себе. Много толков в 70-х годах XVIII века наделал роман И. И. Бецкого, куратора Воспитательного общества благородных девиц, с одной из воспитанниц, Глафирой Алымовой. В серии портретов смольнянок кисти Д. Г. Левицкого она изображена играющей на арфе. Это единственная из девушек, которой позволено было позировать в роскошном придворном наряде и с драгоценностями. На остальных либо театральные костюмы, либо скромный утренний туалет, либо ученическое платье.

Крупный вельможа, тайный советник, умный и либеральный педагог, изгнавший розгу из употребления во вверенных ему учебных заведениях, Бецкой — творец образовательной реформы времен Екатерины II. Как и у любого светского человека, у Ивана Ивановича случались романы, но назвать его записным волокитой светская хроника тех лет не позволяет. Сильное чувство вошло в его жизнь с появлением юной Глафиры Алымовой.

Двенадцатая дочь отставного полковника лейб-гвардии конного полка И. А. Алымова, Глафира никогда не видела своего отца. Он умер за несколько дней до ее рождения. Семи лет девочку отдали в Воспитательное общество, разлучив с семьей. Когда ей исполнилось 14, умерла мать. Но и до этого юная Алымова чувствовала себя если не сиротой, то одинокой, никем не защищенной бесприданницей. Она рано сообразила, что должна пробиваться в жизни сама, у нее нет знатной родни, а стало быть, ей придется искать влиятельных покровителей. В «Памятных записках», созданных ге-

роиней в конце жизни, Глафира Ивановна несколько страниц уделила рассказу о своем первом успехе — завоевании дружбы начальницы Воспитательного общества мадам С. И. де Лафон. Умная и сердечная женщина, которую ученицы, уже упорхнувшие из монастыря, называли «наша старая добрая мама», не сразу поддавалась на ухищрения и настойчивые попытки девочки обратить на себя внимание. Но в конце концов каждый льстец достигает желанной цели.

В тесном мирке Воспитательного общества главными были Лафон и Бецкой. Первую Алымова покорила, второй, судя по «Запискам», покорился сам. Бецкой был старше Глафиры на 54 года, воспитанницы воспринимали его как «почтенного старца», которого их учили «уважать как отца и заступника». Девушка уверяет, что Иван Иванович сам обратил на нее внимание: «С первого взгляда я стала его любимейшим ребенком, его сокровищем. Чувство его дошло до такой степени, что я стала целью всех его мыслей... Я бессознательно чувствовала, что он мне подчиняется». Приобретенную над пожилым сановником власть Алымова использовала, чтобы упрочить свое положение среди соучениц. «Ничего не прося для себя, я всего добивалась для своих подруг... Я не переставала просить за всех, кто нуждался в покровительстве, и не тщетно». Влияние на куратора обеспечивало Глафире власть над остальными девушками, она могла облагодетельствовать кого-то, а на ком-то сосредоточить неудовольствие Ивана Ивановича. Угождая ей, приятельницы делали свою маленькую «карьеру» в Смольном.

Стараясь порадовать избранницу, Бецкой устроил для воспитанниц старшего выпуска празднование Нового, 1776 года в своем роскошном доме на Царицыном лугу у Летнего сада. Это был один из первых петербургских особняков с висячим садом на террасе второго этажа, обращенным к Лебяжьей канавке. В этот момент Алымова сделалась уже приемной дочерью пожилого сановника. Когда Глафира достигла шестнадцати лет и надела белое платье старшего возраста, Иван Иванович «перестал скрывать свои чувства и во всеуслышание объявил, что берет меня на свое по-

печение, и торжественно поклялся в этом моей матери, затеплив лампаду перед образом Спасителя. Он перед светом удочерил меня».

По словам героини, названный отец окружил ее «постоянными любезностями, ласками и нежными заботами». Бецкой лично занимался туалетом для выпуска, в котором Глафира изображена на портрете. «Он приносил мне образчики разных материй и удивлялся, что я выбирала самые простые». Это замечание, противоречащее живописному свидетельству, позволяет усомниться в правдивости остальных деталей рассказа, рисующего Алымову эдакой Золушкой, записной скромницей, заботящейся о своих подругах в ущерб себе. Из круга «монастырок» ее портрет выделяется не столько женственностью, сколько особой женскостью. Изображенная на нем светская львица в шелковом платье «большого выхода» кажется взрослее и опытнее соучениц. На шиньон в локоть высотой по последней парижской моде накинуто газовое покрывало с белыми мушками. Концы атласного зеленовато-голубого пояса падают на колени. Пряди волос перевиты нитью крупного жемчуга. Алымова похожа на придворную даму, захавшую в Смольный навестить кого-то из родственниц.

Характерно, что при таком ловком характере Глафиры не пользовалась расположением Екатерины II. В кругу близких императрице воспитанниц старшего возраста Алымову принимали, видимо, ради Бецкого. Проницательная государыня, ценившая в своих юных подругах безыскусность, угадала, что за характер скрывают услужливые манеры девушки. Лучшие из выпускниц должны были стать фрейлинами при дворе, и Екатерина без сожаления уступила Глафиру великой княгине Наталье Алексеевне, первой супруге цесаревича Павла Петровича. В «Записках» дело выглядит так, будто Наталья Алексеевна сама добивалась дружбы скромной «монастырки», ухаживала за ней и чуть ли не заискивала. «По два, по три раза в неделю приезжала она в монастырь и проводила со мной по несколько часов. Мы разговаривали и занимались музыкой... Когда я была нездорова, она навещала меня, посылала конфеты и цветы... Она обещала взять меня к себе по окон-

чании курса в качестве друга, выпросив согласие императрицы»<sup>86</sup>. Екатерина не возражала, но Алымову ждало разочарование. Наталья Алексеевна умерла при родах, и Глафире пришлось поступить к «той, которая ее заменила», то есть ко второй жене Павла — Марии Федоровне. Вместо роли доверенного лица Алымова вынуждена была примириться с положением привилегированной служанки.

Неудача не обескуражила честолюбивую смольнянку. Как корабль на всех парусах, она устремилась покорять двор. Старый покровитель мог ей во многом помочь, но их отношения закончились ссорой, и Алымова покинула роскошный особняк Бецкого. Сама она объясняет причину ухода упрямством старика. «Страсть его дошла до крайних пределов и не была ни для кого тайной, хотя он скрывал ее под видом отцовской нежности». Однако Иван Иванович не делал предложения, а хотел, чтобы девушка сама пошла навстречу его нескромным желаниям. «В 75 лет он краснел, признаваясь, что жить без меня не может... Будь он откровеннее, и я охотно бы сделалась его женою». Возможно, старик ждал первого шага со стороны возлюбленной, чтобы объясниться. При такой разнице в возрасте покровитель естественным образом стеснялся заводить решительный разговор.

И тут Алымова совершила оплошность. Потребовала слишком много. Ей захотелось выйти замуж за более молодого кавалера и в то же время остаться названной дочерью Бецкого, пользовавшейся богатством и расположением старика. В 1777 году, всего через несколько месяцев после выпуска, Глафира обвенчалась с президентом Медицинской коллегии А. А. Ржевским. Избранник Алымовой не имел большого богатства, но занимал заметный пост. Ему исполнилось сорок, первым браком он был женат на А. Ф. Каменской, сестре фельдмаршала, известной в то время писательнице и поэтессе. Сам слыл литератором и видным масоном, дружил с Г. Р. Державиным и М. М. Херасковым, сотрудничая в журналах последнего «Полезное увеселение» и «Свободные часы»<sup>87</sup>. Поначалу Бецкой всячески противился выбору воспитанницы, а потом поставил непре-

менным условием своего согласия на брак обязательство молодых супругов поселиться в его доме. Это никак не противоречило планам Глафиры, и она склонилась жениха пойти навстречу желаниям вельможи. Однако жизнь втроем оказалась труднее, чем представляла Алымова. И муж, и покровитель ревновали ее, ссорились, стараясь выпутаться из нелепого положения. А виновница «торжества» ощущала себя крайне неуютно между двух огней.

«С дочерней нежностью старалась я утешить Ивана Ивановича, но усилия мои были бесполезны: дружба не могла удовлетворить его страсти... Мое положение становилось невыносимым посреди любви мужа и дружбы Ивана Ивановича. Оба они считали себя обиженными и мучили меня. Удовлетворить их притязания не было возможности; надо было дать предпочтение одному из них. Бецкой старался поссорить меня с мужем, по-прежнему возбуждая его ревность и уверяя его, что он не может рассчитывать на исключительную привязанность ребенка, который ему, старику, изменил бессовестно. Мне же он представлял ожидающее меня несчастье — жить с мужем при его подозрительном и вспыльчивом характере».

Не выдержав семейного ада, чета Ржевских сбежала из особняка Бецкого. Молодые обзавелись собственным домом на набережной Фонтанки. Судя по отзывам современников, они жили дружно. Державин посвятил им оду «Счастливое семейство», где, между прочим, были и такие строки:

В дому его нет ссор, разврата,  
Но мир, покой и тишина:  
Как маслина плодом, богата  
Красой и нравами жена.

Итак, между развратом куртуазной любви и масонскими нравоучительными проповедями, в равной мере иссушавшими сердце, человек XVIII века мог любить открыто, глубоко и не постыдно только в браке. Однако супружеские чувства без романтических прикрас уже казались ему скучны. Поэтому среди вполне счастливых пар распространилось стремление разыг-



рывать галантные страсти у семейного камелька. Писать друг другу стихи, преклоняться перед женой, как перед прекрасной дамой, ревновать и чаять похищения любезного предмета. Словом, простодушно соединять куртуазность с законностью. Явление чисто русское. При этом происходила профанация самой сути культурного феномена. Ведь дама сердца всегда недостижима.

Одним из немногих, кому удалось соединить семейную жизнь с непрекращающимся ухаживанием за супругой, был Николай Еремеевич Струйский, выпускник Московского университета, отставной гвардейский сержант, помещик и поэт-графоман, влюбленный в стихи так же страстно, как и в жену. Портрет этой прекрасной женщины кисти Федора Рокотова воспел Николай Заболоцкий:

Любите живопись, поэты!  
Лишь ей, единственной, дано  
Души изменчивой приметы  
Переносить на полотно.  
Ты помнишь, как из тьмы былого,  
Едва закутана в атлас,  
С портрета Рокотова снова  
Смотрела Струйская на нас?  
Ее глаза — как два тумана,  
Полуулыбка, полуплач.  
Ее глаза — как два обмана,  
Покрыты мглой неудач.  
Соединенье двух загадок,  
Полувосторг, полуиспуг,  
Безумной нежности припадок,  
Предвосхищенье смертных мук...

Эти стихи в ХХ веке подкупили сердца многих читателей. Но мало кому было известно, что прекрасная дама на полотне Рокотова избалована пиитическими признаниями, что ей посвящены «Еротоиды» Струйского, двести лет назад весьма известные и переписывавшиеся из одного дамского альбомчика в другой. В 60-е годы XVIII века в журналах «Невинное упражнение» и «Свободные часы» появлялись студенческие стихи Струйского. На современный вкус крайне наивные:

Я песенку мою  
Зардевшись пою.  
Пою, пою, пою.  
Любови не таю.  
Любить умею,  
В любви тлею...  
Кого люблю, сказать не смею!

Конечно, это не Заболоцкий. Но и время было другое. Литература — и простодушнее, и безыскуснее. Такие вершины, как Ломоносов или Державин, возвышались горными хребтами над долиной, где пастушки и фавны разыгрывали пасторали. Струйский уверял, будто изобрел зрительные стекла — сажесеты, при помощи которых мог заглядывать не только внутрь человеческого глаза, но и «до самых мыслей оным проникнуть». Так он заглянул в очи избранницы и обнаружил там «множество преострых стрел» и «фейерверочных ракет». Испуганный юноша вознамерился было обратить внимание на другие глаза, «которые не столь бы ядовиты были... и тотчас вошел в стихотворческие размышления, воображая себе маленьких купидончиков, составляющих сии заразительные орудия»<sup>88</sup>.

В 1768 году Струйский женился на Олимпиаде Сергеевне Балбековой. В поэмах он называл ее «Татиссой» и прославлял белым стихом:

Пей со мной одну здесь чашу,  
Сладости в уста вливая,  
Расцелуй меня, Татисса,  
Как целован был донине!  
Обнимай, мой свет, нежнее,  
Чувствия мои пленяя...

К несчастью, Татисса умерла при родах, оставив совсем юного, 20-летнего мужа, с двумя близнецами — девочками Прасковьей и Александрой<sup>89</sup>. Николай Еремеевич оплакал ее, как положено, не только прозаически, но и в стихах:

Не расцветайте розы,  
Любезныя уж нет.  
Ея уж нет на свете.  
Померк ея уж свет...

Через три года Струйский встретил и полюбил Александру Петровну Озерову, небогатую дворянку, проживавшую в Москве. Он придумал ей звучное поэтическое имя Сапфира, и его муза вновь ожила. И через 15 лет брака страсть Николая Еремеевича к жене была столь же жаркой, как и в 1772 году:

Ероту песни посвящаю,  
Еротом жизнь мою прельщаю,  
Ерот в мой век меня любил,  
Ерот мне в грудь стрелами бил:  
Я пламень сей тобой, Сапфира, ощущаю!

По отзывам современников, супруги были полной противоположностью. Быстрый, нервный, вспыльчивый, иногда склонный к деспотичной жестокости муж. И мягкая, достойная, хозяйственная жена, имевшая над ним несомненную власть. Мемуарист князь И. М. Долгоруков вспоминал: «Александра Петровна была женщина совсем других, чем ее муж, склонностей и характера. Тверда, благоразумна, осторожна. Я, признаюсь, мало женщин знал таких, о коих обязан говорить с чувством усердия и признательности»<sup>90</sup>.

Противоположности сходятся. Брак Струйских был тому подтверждением. Супруги любили друг друга. Александра Петровна родила мужу 18 детей, из которых восемь выжили. До последних дней Николай Еремеевич продолжал сочинять стихотворные признания своей суженой:

Ежели б возможно было  
Анатомить мое сердце,  
Чтоб мне жить осталось после,  
Как мою раскроют грудь,  
То б мое печально сердце  
Той, конечно, показало,  
Той, я кою обожаю,  
Как давно по ней вздыхаю,  
Сколь по ней я плачу, стражду..

Конечно, живя в богатом имении Рузаевка, в домедворце, построенном по чертежам В. И. Баженова, окруженный толпой детей и супругой, выполнявшей его малейшие желания, Николай Еремеевич давно не пла-

кал и не страдал. Но положение обязывало. Взятся писать «еротоиды», изволь покорять сердце любимой вздохами и слезами. Струйского отказывались печатать в столичных журналах, он сам издавал свои книги в роскошных переплетах и на дорогой бумаге, а потом дарил всем проезжающим. Благодаря этому его страсть к Сапфире обрела общероссийскую известность.

Сидеть на двух стульях Струйскому было нелегко. Но, как мы уже говорили, весь русский XVIII век в каком-то смысле сидел на двух стульях и находил это удобным. Попытка соединить несоединимое, чтобы достигнуть идеала, видна и в семейной жизни. Суть куртуазной любви — вечная погоня за предметом. Суть любви супружеской — само обладание. Русская культура, традиционно привыкшая ко второму варианту отношений, склонна не предвкушать, а вкушать любовь. Но как растянуть мимолетное на годы? В рыцарских романах этому помогают частые разлуки и страдания разъединенных пар, для которых каждая новая встреча как первая. В сниженной, повседневной жизни вечное воспроизводство влюбленности достигается сменой предметов страсти. Россия, как часто случается, придумала нечто новое — куртуазную любовь в браке. Неожиданный гибрид, примиривший многих сторонников «просвещенных» отношений с необходимостью иметь семью.

*«Ты родилась крестьянкой, завтра будешь госпожа»*

В сословном обществе не могли не возникать ситуации, когда представители разных социальных слоев оказывались настолько захвачены любовным влечением, что вступали в брак, перешагнув через предрассудки. Мезальянс в России второй половины XVIII столетия нельзя назвать частым, но из ряда вон выходящим он тоже не являлся. Конечно, дворянское общество решительно осуждало подобные вольности. Особенно категоричны бывали дамы. Рассуждая о равенстве, адмирал П. В. Чичагов замечал: «Вопреки всем усилиям

остроумнейших водевилистов ввести в моду неравные браки, на них постоянно смотрят как на нестерпимое неприличие. Женится ли человек известного круга на актрисе или на женщине ниже своего сословия, как бы она ни была хороша собой, воспитана, добродетельна, умна и безукоризненного поведения, ее никогда не примут в то общество, к которому принадлежит ее муж. Женщины, к какому бы званию они ни принадлежали, с величайшим отвращением избегают соприкосновения с женщинами, которых почитают ниже себя»<sup>91</sup>.

Адмирал несколько стужал краски. Русским дамам приходилось терпеть в своем кругу и купеческих дочек, вышедших за представителей лучших фамилий, и иностранок отнюдь не благородного происхождения, которых молодые офицеры, обучавшиеся за границей, привозили с собой. Если мужчина-дворянин женился на неровне, это еще было полбеды. Браком он поднимал женщину до своего уровня. Однако если оступалась дама, выйдя замуж за человека низкого происхождения, к ее проступку относились куда строже. Считалось, что она уронила себя в грязь, родные прекращали с ней всяческие сношения, и бедняжка как бы умирала для света.

Янькова вспоминала: «К чести моего времени скажу, что тогда подобные случаи бывали за редкость и неравные браки не бывали так часты, как теперь. Каждый жил в своем кругу, имел общение с людьми, равными себе по рождению и по воспитанию, и не братался со встречным и поперечным». Далее мемуаристка приводит печальную историю одной из своих родственниц: «Третья жена дядюшки Ростислава Евграфовича, урожденная княжна Гагарина, Александра Ивановна, была прекрасная собой. Оставшись после мужа молодой вдовой, она влюбилась в учителя своих падчериц — из духовного звания и сделала непростительную глупость: вышла за него замуж. Он был человек очень грубый, и она дорого поплатилась за свое увлечение: муж ее запер почти безвыходно дома, и она грустно дожила свой век взаперти, удаленная от своих родных, которые, разумеется, осуждали ее за безрассудство и к ней не езжали, а к ним ее муж не пускал, и так она умерла,

забытая ото всех, претерпевшая от грубого семинариста самое жестокое обращение, потому что он был и скуп, и, говорят, бедную жену свою нередко бивал. Домашко их был в Георгиевском переулке, близ Спиридоновки — маленький, деревянный, в три окна, и ворота всегда на запоре. Бывало, едешь мимо, согласишься и подумаешь: каково это бедной Александре Ивановне после довольства и изобилия, после житья в палатах и в кругу знатных родных и друзей томиться в такой лачуге? Да, вот что значит, как поддашься влечению безрассудной страсти!»<sup>92</sup>

Без одобрения родня встречала также и браки титулованных аристократок с представителями среднего дворянства. Однако если дама оказывалась достаточно решительной, она поступала так, как считала нужным. Примером тому служит второй брак княгини Прасковьи Юрьевны Гагариной, свояченицы героини предыдущего сюжета. «При жизни первого супруга по положению и богатству Прасковья Юрьевна принадлежала к высшему кругу петербургского общества, — писала о ней Сабанеева. — В молодости она бывала при дворе императрицы Екатерины... После смерти первого супруга княгиня Гагарина осталась вдовою с большой семьей на руках и с крупным, но расстроеным состоянием... Тогда на пути ее жизни встретился человек, который принял в ней и в ее делах большое участие: это был Петр Алексеевич Кологривов. Он помог распутать какой-то процесс по имени покойного князя Гагарина, затем несколько лет спустя сделался вторым супругом княгини Прасковьи Юрьевны... Старшие дочери ее были тогда уже замужем и неблагоклонно смотрели на отчима; несмотря на это между супругами Кологривовыми была полнейшая гармония»<sup>93</sup>.

Совсем иначе дело обстояло, когда мужчина высокого происхождения женился на женщине ниже себя. Если за ней давалось большое приданое, на мезальянс закрывали глаза и родные, и дворянское общество, и императрица. Так дочери богатых купцов и промышленников попадали в аристократическое окружение. Напомним, дочь поволжского купца Сурмина была мать княгини Е. Р. Дашковой. В елизаветинскую эпо-

ху, тихомолком поминая происхождение самой государыни, на подобные союзы смотрели весьма просто. Но и в дальнейшем преград им не ставили. Так, статс-секретарь Екатерины II, публицист, писатель и философ Г. В. Козицкий женился в 1773 году на дочери уральского горнозаводчика Ивана Мясникова — Екатерине. Ее отец, унаследовав громадное состояние заводчиков братьев Твердышевых, оставил каждой из четырех дочерей по два завода и по 19 тысяч крепостных, что сделало их завидными невестами. Несмотря на незнатное происхождение, девушки составили приличные партии с представителями родов Бекетовых, Пашковых, Дурасовых, а через браки детей осколки мясниковского богатства достались родам Бибиковых, Балашовых, князей Долгоруких, Белосельских, Васильчиковых, Трубецких, графов Левашовых, Толстых, Закревских, Лаваль. Сама Екатерина Ивановна Козицкая, благодаря уму и врожденному такту, сумела добиться положения в свете. Рано овдовев, она дала дочерям хорошее образование и удачно выдала их замуж. Княгиня Белосельская и графиня Лаваль играли в высшем обществе конца XVIII — начала XIX века заметную роль, их мать держала открытый дом в Петербурге. Вращаясь в дипломатических салонах своих родственников, французского эмигранта графа Лавалья и австрийского посла графа Лебцельтерна, старушка Козицкая бойко вела беседы с дипломатами, прибегая к помощи внучек-переводчиц. Сама она разговаривала только по-русски и называла себя дочерью «простого мужика»<sup>94</sup>.

Но самым громким мезальянсом века был, конечно, брак графа Н. П. Шереметева со своей крепостной актрисой П. И. Ковалевой-Жемчуговой. Он состоялся в ноябре 1801 года в Москве и венчал собой почти два десятилетия «греховной» связи. Менее чем через полтора года 34-летняя Прасковья Ивановна скончалась, а в 1809 году в мир иной отошел и граф Шереметев, оставив сиротой их шестилетнего сына.

Великая актриса родилась в 1768 году в семье крепостного кузнеца, от которого унаследовала фамильную болезнь — туберкулез позвоночника. Ее отец был гор-

бат, из-за чего первая фамилия девочки была Горбунова. Иногда, впрочем, ее именовали и Кузнецовой. В театре Прасковья Ивановна получила «благозвучную» сценическую фамилию Жемчугова, поскольку все шереметевские актеры носили фамилии в честь драгоценных камней: Гранатова, Алмазова, Яхонтова и др. Перед самым замужеством граф придумал для возлюбленной родословную легенду, по которой она происходила из обедневшей польской шляхты. В брачном свидетельстве Прасковья Ивановна расписалась фамилией Ковалевская. Но вряд ли эта мелодраматическая версия могла кого-то обмануть. Николай Петрович всего лишь соблюл формальность, дабы не оскорбить общество. Однако он не решился венчаться открыто. Обряд был тайным, в церкви Симеона Столпника на Поварской, на нем присутствовали только два свидетеля — архитектор Джакомо Кваренги и подруга невесты крепостная балерина Шлыкова-Гранатова.

Прасковья Ивановна очень рано была вырвана из крестьянской среды и попала на обучение в школу для театральных актеров. В 1773 году молодой Шереметев, только что вернувшийся из заграничного путешествия, впервые увидел свою будущую супругу пятилетним ребенком и сразу оценил ее голос. Позднее он писал, что «прилагал старания о воспитании ее и, не зная еще о душевных предчувствиях, думал более об усовершенствовании ее к театру»<sup>95</sup>. Воспитание и образование будущих исполнителей были поставлены у Шереметевых на профессиональную основу. В качестве наставников приглашались русские и иностранные актеры, музыканты и певцы. Детей учили грамоте, иностранным языкам и хорошим манерам. Благодаря этому Прасковья Ивановна умела держать себя не хуже светской дамы. А природная скромность и большой такт делали ее обществом особенно приятным.

В 1779 году Жемчугова впервые появилась на сцене, а уже в следующем году 12-летней девочкой исполняла главную роль. Вопреки распространенной легенде, Прасковья Ивановна никогда не была красавицей, во всяком случае ни современники, ни даже муж ее таковой не считали. Хрупкая, болезненная, бледная, она



привлекала к себе в первую очередь силой своего таланта. Позднее Николай Петрович писал, что он «долгое время наблюдал свойства и качества ее и нашел украшенный добродетелью разум, искренность, человеколюбие, постоянство, верность, нашел в ней привязанность ко святой вере и усерднейшее богопочитание. Сии качества пленили меня больше, нежели красота ее, ибо они сильнее всех прелестей и чрезвычайно редки»<sup>96</sup>.

Прасковья Ивановна действительно была глубоко верующим человеком, и ей непросто было оказаться в числе наложниц барина. Впоследствии она тяжело переживала долгую совместную жизнь в грехе. Вероятно, Николай Петрович заметил, что Параша подросла и волнует его уже не только чистотой голоса, после того как ее посватали за Ивана, сына графского лесника Егора Вешнякова. Родители ударили по рукам, но барин не дал разрешения на брак. Отголосок тех событий сохранился в народной песне, сочинение которой приписывается Жемчуговой:

— Не тебя ли, моя радость,  
Егор за сына просил?  
Он тебя совсем не стоит,  
Не к тому ты рождена.  
Ты родилась крестьянкой,  
Завтра будешь госпожа.

Предложение, конечно, лестное. Но в глубине души героиня песни вздыхает:

Хоть хочу быть госпожою,  
Да Ванюшу очень жаль.

Выбирая любовниц из круга крепостных актрис, молодой Шереметев завел обычай оставлять у очередной избранницы платок, чтобы ночью прийти за ним. Около 1781 года одной из таких избранниц стала и 13-летняя Параша, но еще несколько лет граф делил свое внимание между подрастающей звездой и певицей Анной Буяновой-Изумрудовой. Прошло немало времени, прежде чем Жемчугова стала единственной, полностью захватив душу своего хозяина.

В 1788 году, после смерти отца, старого графа П. Б. Шереметева, Николай Петрович, которому исполнилось 37 лет, начал открыто жить с Прасковьей Ивановной, специально построив для нее небольшой домик в парке Кусково. К этому времени в московском обществе уже пошла пересуды о странной паре. Считалось вполне естественным, что граф имел крепостных любовниц, однако ему давно пора было жениться на женщине своего круга и продлить род. То, что Шереметев медлил со столь важным шагом, не вызывало одобрения. Причину видели в чрезмерном увлечении актрисой, из-за которой граф пренебрегал семейными обязанностями. Такое поведение было неприличным. Однако великолепные праздники и театральные представления в Кускове и Останкине, где собиралась вся благородная Москва, смягчали ропот недоброжелательства.

После воцарения Павла I Шереметев, как друг детства императора, попал в особую милость. В 1797 году он был назначен обер-гофмаршалом двора и вынужден переехать в Петербург. Вместе с ним отправилась и Жемчугова. Это было тяжелое время для влюбленных. Николай Петрович — меценат и артистическая натура — не имел данных для управления двором. Прасковья Ивановна не могла существовать без сцены. Тем не менее им пришлось оставить милое Останкино, где граф построил для возлюбленной целый театр-дворец, достойный ее таланта.

В столичном доме на Фонтанке Жемчугова занимала половину покоев. Она не могла являться ко двору, не участвовала в светских развлечениях. Другом последних лет жизни Прасковьи Ивановны стал пожилой итальянский архитектор Кваренги, с которым она много беседовала об искусстве. Павел I, навещая дом Шереметева, оказывал его возлюбленной знаки внимания, удостоивал ее разговорами. Но двойственность, незаконность собственного положения мучила молодую женщину.

Сырой климат Петербурга не пошел актрисе на пользу. Обострилась врожденная чахотка. Здесь она начала кашлять кровью. Прасковья Ивановна восприняла случившееся как кару свыше. Она заказала себе

перстень-печатку с гравировкой: «Наказуя, наказуй мя, Господи, смерти же не предаде». Некоторое время единственной отдушиной для Жемчуговой были домашние концерты, но вскоре врачи запретили ей петь. Незадолго до гибели Павла I Николай Петрович подал в отставку с поста обер-гофмаршала, ему претила жизнь при дворе, он не хотел «метаться при празднествах и столах». А главное — граф решился на трудный шаг — соединиться узами брака с женщиной, которую любил уже 20 лет. Прасковья Ивановна получила вольную, а также выдуманную родословную.

Однако оставалось еще препятствие. Граф должен был получить разрешение от императора — своего рода признание законности союза и гарантию, что при наследовании титула и состояния не возникнет трудностей. Во время коронационных торжеств в Москве Николай Петрович устроил для молодого Александра I роскошный праздник в Кускове, где и было дано согласие монарха.

Поскольку венчание состоялось тайно, внешне жизнь супругов Шереметевых не изменилась. Слабеющей с каждым днем от чахотки Прасковье Ивановне предстояли трудные роды. Незадолго до них она составила завещание, по которому все свои деньги отдавала на строительство в Москве странноприимного дома и больницы. В феврале 1803 года у графини Шереметевой родился сын Дмитрий, а через три недели после этого Прасковья Ивановна угаšla. Николай Петрович оповестил родных и дворянское общество Москвы о трех событиях сразу: своей женитьбе на бывшей крепостной, рождении у них наследника и смерти супруги. Известие вызвало много пересудов, но в целом уже не заключало в себе тайны. О многом свет догадывался. Графа осуждали, умершую жалели с оттенком снисхождения и непонимания, вздыхали об участи ребенка. Мальчика воспитала преданная подруга покойной Татьяна Шлыкова-Гранатова.

Немногие знают, что Жемчугова была не единственной актрисой, вышедшей замуж за представителя аристократической фамилии и получившей титул. Знаме-

нитая исполнительница трагических ролей Екатерина Семенова, воспетая А. С. Пушкиным, также в прошлом крепостная, стала княгиней Гагариной. Но на этом сходство ее судьбы с участью Прасковьи Шереметевой заканчивается. Прежде всего она обладала сильным, властным характером. Ее некрасивое волевое лицо на портретах несет отпечаток энергии и деловой хватки. Ничего поэтичного, возвышенного, отмеченного предчувствием ранней смерти. Эта женщина пришла в мир, чтобы бороться и утверждать свой талант.

Семенова родилась в 1786 году и была побочной дочерью одного из преподавателей Кадетского корпуса Семена Жданова от его крепостной девушки. Еще в детстве она получила вольную и поступила на обучение в Театральную школу в Петербурге. Образование будущих актеров было здесь поставлено не в пример хуже, чем в крепостной школе Шереметевых, и Семенову уже в зрелые годы критики упрекали в невежестве. Подняться на недостижимую высоту ей помог сильный природный талант, почти не обработанный учителями. Современники вспоминали, что она не играла, а проживала на сцене свои роли, поддаваясь порывам вдохновения, там же, где требовались выучка и техника, Екатерина Семеновна выглядела бледно. Она дебютировала в 1803 году в комедии «Нанина» и сразу обратила на себя внимание тогдашних знатоков искусства. В молодой Семеновой приняли участие А. Н. Оленин, князь А. А. Шаховской, Н. И. Гнедич, которые проходили с ней роли, стараясь пополнить недостаточное образование.

Грузная и простоватая в жизни, Семенова на сцене преображалась и выглядела неотразимой. Один из критиков писал: «Самое пылкое воображение живописца не могло бы придумать прекраснейшего идеала женской красоты для трагических ролей; и при этом голос чистый, звучный, приятный, при малейшем одушевлении страстей потрясающий все фибры человеческого сердца»<sup>97</sup>. Рано избалованная вниманием публики, Семенова знала себе цену. Тщеславная, капризная, не чуждая сценических интриг, она держалась как настоящая прима. Спорила с дирекцией, в случае

неудовольствия ездила жаловаться столичному генерал-губернатору М. А. Милорадовичу. П. А. Катенин, позволивший себе освистать одну из ее учениц, услышал от генерал-губернатора: «Наша первая актриса Семенова не желает более являться на сцену, если вы останетесь судьей ее представлений, а это было бы большое лишение для публики, и потому я вас прошу не ездить в театр, когда будет играть госпожа Семенова»<sup>98</sup>. Приведенные слова были сказаны не просто поэту и драматургу, а гвардейскому полковнику, который на социальной лестнице стоял гораздо выше Семеновой. Однако популярность актрисы поменяла их местами.

Екатерина Семеновна отдала театру 23 года жизни. Многие знатные лица протезировали ей, но из круга поклонников — блестящих и богатых — актриса выбрала князя И. А. Гагарина, который стал ее покровителем. В 1826 году она оставила сцену, а еще через два года давний друг и меценат решил жениться на обожаемом идоле. Считается, что Семенова вступила в брак по расчету. Тем не менее супруги прожили 15 лет в согласии, имели сына и трех дочерей. Бывшая прима именовалась княгиней, ее дети получили княжеский титул, дом в Петербурге был открыт для тогдашнего литературного бомонда и людей искусства. У Гагариной бывали А. С. Пушкин, М. П. Погодин, С. Т. Аксаков, Н. И. Надеждин и др.

### *«В России достаточно девиц»*

Нельзя не коснуться союзов с иностранцами, поскольку каждый из них в каком-то смысле был мезальянсом не с одной, так с другой стороны. В России с ее имперскими традициями на браки с представителями других народов смотрели проще, чем, например, в Англии или во Франции. Они не встречали осуждения общества или сопротивления властей, даже если будущие супруги принадлежали к разным вероисповеданиям. В таком случае происходило два венчания — одно православное, другое по чину той конфессии, в которой со-

стоял второй из молодоженов. По закону дети от такого брака должны были воспитываться в правилах господствующей религии — то есть стать православными. Считалось, что женщина, выходя замуж за русского подданного, тоже становится подданной России. Если же она вступала в брак за границей, она теряла прежние права.

Схема достаточно простая. Однако реальность всегда сложнее законодательства, поскольку затрагивает интересы конкретных людей с их личными пристрастиями. Да и жить во времена государя, уважающего закон, совсем не то же самое, что во времена государя, закон игнорирующего. Адмирал П. В. Чичагов описал в мемуарах историю своей женитьбы на дочери английского моряка и те сложности, которые влюбленным пришлось преодолеть в обеих странах.

В самом конце екатерининского царствования, в 1794 году, молодой Чичагов с эскадрой адмирала П. И. Ханькова находился в Англии и добился ремонта своего судна в Чатамском порту. Здесь его приветливо принял у себя в доме комендант порта 80-летний морской волк капитан Чарльз Проби. Он был вдов, имел двух сыновей и четырех дочерей, две из которых были еще не замужем. «Общество их было приятно, благодаря царившему в нем тону довольства, — вспоминал Чичагов. — Девицы были музыкантши, младшая дочь более другой. Так как я очень любил музыку, то гармония послужила к нашему сближению, и я нашел так много соотношений между чувствами и склонностями этой девицы с моими, что с каждым днем более и более привязывался к ней»<sup>99</sup>.

Молодой моряк часто обедал у Проби и проводил у него все вечера. «Наконец, несмотря на все мое предубеждение против женитьбы, я почувствовал действительно, что мне весьма трудно будет расстаться с мисс Елизаветой Проби; я думал даже, что без нее не буду счастлив. Насколько я мог судить, как расположение отца, так и дочери казались мне весьма благоприятными. Открытие кампании приближалось, и мне скоро предстояло уехать из Чатама; времени терять было нечего. Поэтому за несколько дней ранее я написал капи-

тану Проби, прося у него руки его дочери. Я приберегу этот шаг к концу моего пребывания, зная отвращение англичан от брачных союзов с иностранцами. Мне думалось, что если, несмотря на все кажущиеся признаки, я получу отказ, то мне можно будет тотчас же покинуть Чатам и об этом более не поминать. Я не обманулся в моей предусмотрительности; на другой день моего признания я получил письмо, в котором капитан Проби говорил, что с удовольствием познакомясь со мной и отдавая справедливость моим качествам, он не мог отказать мне в своем уважении и в своей дружбе, но что он весьма далек от желания когда-либо заключать родственный союз с иностранцем и не может дать своего согласия на мое предложение»<sup>100</sup>.

К этому времени Чичагов носил уже чин контр-адмирала, он происходил из старинной дворянской фамилии, имел приличное состояние и был сыном прославленного флотоводца. Тем не менее комендант небольшого порта не считал его равней своей дочери. Характерно, что отвергнутый жених вполне оправдывал поступок несостоявшегося тестя: «Как мне ни было досадно, я в глубине души не мог осудить образ мыслей человека свободного, отказывавшегося подвергать дочь свою превратностям, ожидавшим нас со смертью Императрицы. Я тем менее хулил его за это, что и сам на его месте поступил бы точно так же. Мисс Елизавета не была согласна с отцом в принципах политических; далее увидим, каким испытаниям подверглась она за то, что не соображалась с ними». Заметим, что и сам Чичагов ставил себя ниже будущей жены — она дочь «человека свободного», то есть подданного страны, где есть конституция и парламент. Не одно национальное тщеславие заставляло англичан отвергать союзы с иностранцами. Убежденность в лучшей политической системе побуждала их беспокоиться о правах своих детей, волею судьбы могущих оказаться за пределами Великобритании.

«Капитан Проби, опасаясь, чтобы его дочь не приняла решения, противного его воле, прибавил в своей духовной, что в случае выхода ее замуж за иностранца он отнимет ее часть от небольшого состояния, завещает

мого детям. Старший его сын, равно как и одна из дочерей, бывшая за адмиралом Пиготтом, только одни и выполнили эту статью завещания; другие возвратили младшей сестре ее долю. Отказавшие ей в оной, поступили более по принципу и убеждению, нежели ради корысти».

Несколько дней, которые остались до отплытия русского корабля из Чатама, мисс Елизавете запретили выезжать из дому. Но у влюбленных всегда найдутся доброжелатели. Квартирная хозяйка Чичагова, бывшая нянька детей капитана Проби, сообщила молодому моряку, что «мисс еще не совсем сдалась на доводы отца». Добрая женщина передала постояльцу ноты от возлюбленной, где девушка подчеркнула в одной из арий слово «постоянство». «Длинное письмо с признанием по всей форме не высказало бы мне так много», — замечает мемуарист. Квартирная хозяйка взялась вручить невесте послание. «Я написал письмо, в котором выразил всю мою страсть... По прошествии некоторого времени и уже вдали от Чатама я получил ответ, в котором мисс Елизавета уверяла меня, что чувства ее решительно те же, что и мои, что она навсегда сохранит их и надеется получить вести от меня».

Влюбленные тешили себя мыслью, что после смерти непреклонного родителя смогут соединиться. «Я уже сказал, что капитану Проби было более восьмидесяти лет; при этом он страдал одышкой, сопровождавшейся припадками, которые угрожали его жизни. Так я думал, не желая ему смерти, что она не замедлит по естественному порядку вещей, и что испытание, которому он подверг нас, не будет продолжительно»<sup>101</sup>. Действительно, в декабре 1797 года почтенный отец мисс Елизаветы скончался, и девушка сообщила, что ждет жениха в Чатаме.

С этого момента рассказ Чичагова перестает напоминать мелодраму, где влюбленным мешают косные родители, и превращается в политический триллер. На дворе стояли уже совсем другие — павловские — времена. Если встретились герои под счастливой звездой, когда карьера молодого моряка была на взлете, то теперь он переживал отставку и немилость императора. Павел Васильевич боялся везти невесту в Россию. А



мисс Елизавета превратно истолковывала его страхи. «Видя образ действий Павла, я признал долгом своим ознакомить ее с тем, каким притеснениям подвергаются при этом государе. Картина, мной начертанная, заставила ее заподозрить, что я стараюсь ее запугать, чтобы прервать наши обязательства. Эта недоверчивость, довольно естественная, побудила ее написать мне, что ей невозможно дать веру моему рассказу о бедствиях, которые, по моему мнению, ожидают ее, если она выйдет за меня замуж. Полагая, что это с моей стороны увертка, она предоставила мне свободу отказаться от моего обязательства... После этого я уже больше не распространялся о неудобствах деспотизма... Впоследствии она собственными глазами убедилась в правдивости моих рассказов»<sup>102</sup>.

Чтобы отплыть в Англию за невестой, нужно было испросить разрешение императора. Чичагов же находился в опале. Граф А. А. Безбородко взялся хлопотать за Павла Васильевича, но едва государь услышал, в чем дело, то приказал записать в суточном порядке отказ, мотивируя свое решение тем, что «в России достаточно девиц и нет надобности ехать искать их в Англию». «Надобно знать, — замечает мемуарист, — что он присвоил себе право решать браки, особенно военных... Все, что Безбородко мог сделать, это воспрепятствовать напечатанию суточного порядка в газетах».

Молодому Чичагову совместными усилиями помогали сразу несколько влиятельных лиц: генерал-прокурор Сената князь П. В. Лопухин, отец фаворитки императора, близкий друг Павла I граф Ф. В. Ростопчин и, наконец, русский посол в Англии граф С. Р. Воронцов. Моряка даже пригласили во дворец, чтобы после аудиенции у императора вновь принять на службу, но в последний момент государь раздумал, у Павла Васильевича забрали шпагу и военный мундир, а самого препроводили в Петропавловскую крепость. Старому адмиралу Чичагову Павел I отправил следующую записку: «Сын ваш, как оказавшийся недостойным моих милостей, должен за то понести наказание; что касается до вас, к вам я пребываю благосклонным». Мемуарист ядовито замечает: «Без сомнения, благодаря этой бла-

госклонности, когда я опять попал в милость, мой отец должен был подвергнуться изгнанию из столицы, что, впрочем, казалось справедливо, ибо каждый в свою очередь должен был чувствовать отеческую заботливость монарха».

Особенность ситуации состояла в том, что, вращаясь в свете, все всех знали. Комендантом крепости служил князь С. Н. Долгоруков, «человек весьма любезный, и с которым я был уже знаком». Арестант не без юмора описывает свое недельное пребывание в темнице. Долгоруков провел с ним нечто вроде экскурсии по крепости, а затем показал казематы, «дабы я мог выбрать один по моему вкусу. Все они были маленькими подземельями на сводах, около двух квадратных сажень, с мебелью, состоявшей из нескольких досок, немного прикрытых соломой... Мы довольно весело совершили эту мрачную прогулку, ибо все время комендант рассказывал мне анекдоты о Павле, один другого чуднее, читал эпиграммы, на него написанные, и много острил»<sup>103</sup>. Через восемь дней арестанта вновь призвали к государю, настроение которого переменялось. «Забудем все, что было, и будем друзьями», — несколько раз в течение разговора повторил Павел.

Возвращенный на службу и даже обласканный государем моряк мог теперь поехать за невестой. Однако он прибыл в Лондон как раз тогда, когда его старого отца выслали из Петербурга, а отношения императора с английским кабинетом стали стремительно ухудшаться. «Я отправился в Лондон к мисс Проби и окончил все приготовления к нашему бракосочетанию, коего церемония происходила сначала в церкви англиканской, а потом в домовой русского посольства». Посаженым отцом на свадьбе был С. Р. Воронцов, много сделавший для молодых. Между тем тучи снова стучались над их головой. «Никто не мог ручаться, чтобы император, прервав связь с Англией, не начал преследовать даже и тех [англичан], кои жили в С. Петербурге. Мог ли я жить спокойно в моем семейном кругу, когда я чувствовал, что нет пределов запальчивости государя? Если моего бедного, слепого, старого отца могли сослать в деревню, разлучить с его детьми и все это за его славную ше-

стидесятилетнюю службу, то почему бы тогда не могли вырвать из моих рук мою жену, родом англичанку, и выслать ее на родину?.. Я готов был бежать на край света и отыскать себе уголок, где я мог бы спокойно дышать и заботиться о моем счастье».

С этими горькими думами молодой Чичагов пришел к умудренному опыту Воронцову, который и сам испытывал страх от мысли, что император не захочет продлить его пребывание в Англии. Посол уговорил моряка не бежать из России, дал ему и его жене рекомендательные письма к своим друзьям в Петербурге и, видимо, намекнул, что скоро положение может измениться к лучшему. Перед отъездом Павел Васильевич передал послу письмо, явно не предназначенное для чужих глаз:

«18 июня 1800 года. Я очень хорошо знаю, что никто не в состоянии лучше вас оценить жертву, приносимую моей женой тем, что она мне сопутствует, ни чувствовать сильнее вас все благо жить в земле свободной... Дай Бог, чтобы какое-нибудь великое событие совершилось в этот промежуток времени и чтобы добродетель, дарования и честь, донныне гонимые и унижаемые, заняли свои места; тогда я еще раз обнял бы вас в стране свободы». О каком «великом событии» идет речь? Не о том ли, которому назначено было совершиться 11 марта 1801 года? «Это, однако, грезы, рассеивающиеся при пробуждении, — продолжал корреспондент, — а при нас остается угнетение и гонения... Раз вы приняли решение не возвращаться более в страну ужасов, в которой играют бытием и счастьем более тридцати миллионов душ, я спокоен на счет вашей участи, но желаю знать, столь же твердо вы решились оставить при себе детей ваших: ибо тирания не гнушается никакими средствами, когда она может делать зло, в особенности же мстить, употребляет яд, если не может биться оружием явным. Могли бы, может быть, в виде снисхождения, оставить вас в покое, требуя лишь присылки вашего сына. Знают о вашей нежности к нему; знают также, что это будет вернейший залог, чтобы заставить вас возвратиться на нашу несчастную родину»<sup>104</sup>.

Опасения, высказанные Чичаговым, не были беспочвенными. Вскоре имения Воронцова в России оказались конфискованы. «За пребывание его в Англии взять в казенный секвестр»<sup>105</sup>, — гласил указ.

Если неприятности по службе заставили Чичагова просто уйти в отставку, то вмешательство в дела семьи превратило его в готового заговорщика. Пройдет меньше года, и страх, нервозность, постоянное непонимание происходящего подтолкнут придворных к цареубийству. Психологические причины, заставлявшие большинство русских желать смены власти, ярко видны в истории вполне частной, личной — государя, как будто не касавшейся, — в истории женитьбы морского офицера на иностранке.

Но иностранец иностранцу рознь. Россия граничила не только с европейскими государствами. В екатерининское царствование восточное направление внешней политики было одним из важнейших. Присоединяя новые территории, империя уравнивала права местной знати с русским дворянством и принимала ее представителей на службу. Возникали русско-польские, русско-молдавские, русско-грузинские браки. Власть покровительствовала им, стремясь таким образом связать тамошнее благородное сословие с российским. Дворянское же общество, напротив, далеко не всегда смотрело на подобные союзы благосклонно.

Так, брак графини Е. П. Скавронской и князя П. И. Багратиона в 1800 году вызвал много неприязненных толков. Екатерина Павловна, дочь русского посланника в Неаполе П. М. Скавронского и Е. В. Энгельгардт, племянницы светлейшего князя Потемкина, унаследовала от матери яркую красоту и веселый характер. Отчим Екатерины Павловны бездетный граф Ю. П. Литта воспитывал девочку как собственного ребенка. Избалованная, окруженная общим обожанием, она влюбилась в сына графа П. А. Палена — Петра, и ничто не предвещало препятствий этому союзу. Как вдруг император Павел I заявил, что нашел для юной фрейлины другого жениха. Им был 35-летний генерал-майор Петр Иванович Багратион. Почти двадцатью годами старше невесты, небогатый и несветский человек. Даже

княжеский титул не мог примирить родных невесты с таким кандидатом. В родословных кавказских владетелей никто не разбирался, а сам Петр Иванович приобрел популярность несколько позже.

Но больше всего дворянское общество было возмущено той бесцеремонностью, с которой государь вмешивается в семейные дела. В откровенном письме графу С. Р. Воронцову Чичагов рассказывал: «Отняли дочь у графини Скавронской, что нынче Литта. Она любила сына Палена; уговорились о свадьбе; как вдруг к отцу и к матери прислано было повеление выдать их дочь, не смотря на ее склонность, за князя Багратиона, которого она не знает. Сначала они отказывались, и первым делом Пален-отец был услан в армию, сын уволен, Литта и его жена выгнаны из города, а дочь их оставлена при дворе»<sup>106</sup>. И далее: «Император изобрел это новое средство награждать генералов»<sup>107</sup>.

Обратим внимание, что, с одной стороны, национальность жениха не вызывает никаких эмоций, она даже не проговаривается. С другой — Багратион, внучатый племянник грузинского царя Вахтанга VI, воспринимается просто как русский генерал, причем очень небогатый. К этому времени в России жило уже несколько поколений грузинских эмигрантов, фамилии которых звучали на русский лад: Дадиани стали Дадиановыми, Бараташвили — Баратаевыми, Шаликашвили — Шаликовыми, Туркестанишвили — Туркестановыми. Фамилия Петра Ивановича писалась Багратион, а его только что приехавших из Грузии родных — Багратиони. Они именовались царевичами, а будущий бородинский герой по привычке первых эмигрантов — князем.

Император Павел I обладал удивительным свойством не помнить зло, которое причинил. Вскоре он назначил генерал-губернатором Петербурга человека, сына которого лишил не только любимой девушки, но и одной из богатейших невест России. Стоит ли удивляться, что преданность Палена оказалась фальшивой? Брак Багратиона с юной Скавронской не удался. Петр Иванович был военным, огрубевшим в походах, Екатерина Павловна получила утонченное светское воспитание. Они вращались в разных сферах и говорили на

разных языках. Сразу после гибели Павла I княгиня уехала за границу и больше не возвращалась в Россию.

Итак, мезальянс для русского XVIII века — понятие весьма расплывчатое. Дворянство не могло похвастаться чистотой рядов. В аристократических гостиных появлялись купеческие дочери, высокий чин заменял древнюю родословную, богатство заставляло чванливую знать принимать в свой круг людей сомнительного происхождения. Пожилые матроны негодовали против неравных браков. Но оставался вопрос: что ими считать? Союз барина со своей крепостной? Русского с иностранкой? Состоятельного человека с бедной? Терпимость, с которой общество относилось к детям от таких браков, признавая за ними права благородного сословия, говорит о многом. Русское дворянство не признавало себя полностью замкнутой корпорацией и готово было включать представителей иных слоев.

### *«Мои дочери не пойдут в гувернантки!»*

Человек XVIII столетия, в отличие от нашего современника, имел по крайней мере одно преимущество: он не боялся жить. Не пытался предугадать наперед, что произойдет с ним и его близкими завтра, через год, через десять лет. Такой ход мыслей показался бы ему смешным и даже кощунственным. Все в руке Божьей: и урожай, и мор, и война, и разорение. Хотя жизнь была не в пример труднее, страха перед ней, как устойчивого культурного феномена, тогда не знали.

Именно это, а не отсутствие контрацептических средств, обуславливало высокую рождаемость. Народная медицина располагала набором приемов, способных предотвратить или прервать беременность. Плод можно было, например, «выгнать» разнообразными отварами. Но бедные или зачавшие вне брака матери предпочитали лучше родить младенца и потом подбросить его, чем убить. Религиозное мирозерцание заставляло их всецело возлагать заботу о будущем ребенке на Бога. Поэтому в русских семьях всех сословий

рожали много, 16—20 человек. Примерно половина из них умирала. Суровый климат, недостаточно внимательный уход, отсутствие врачебной помощи приводили к высокой детской смертности. Фактически выживал тот, кто не болел.

Известный ученый и мемуарист А. Т. Болотов вспоминал, что его «берегли, как порох в глазе, но тому и удивиться не можно... Все бывшие до меня умирали в самом еще младенчестве... Жизнь моя была обоим родителям драгоценна. Но могли ли они всеми трудами и всеми стараниями своими охранить, если б небо не похотело?»<sup>108</sup>.

Неудивительно, что в массе население отличалось отменным здоровьем. Тот, у кого его не было, сходил в могилу еще в пеленках. Сообразно сказанному иным было и отношение к детским смертям. Его нельзя назвать более спокойным. Скорее — более покорным, смиренным. Бог дал, Бог и взял. Казанова, побывавший в России в 1765 году, описывал такой случай: «На Крещение крестят детей в Неве, покрытой пятифутовым льдом. Их крестят прямо в реке, окунув в проруби. Случилось в тот день, что поп, совершавший обряд, выпустил в воде ребенка из рук.

— Другой, — сказал он.

Что значит: “дайте мне другого”, но что особо меня восхитило, так это радость отца и матери утопшего младенца, который, столь счастливо умерев, конечно, не мог отправиться никуда, кроме как в рай»<sup>109</sup>.

Никаких предосторожностей к тому, чтобы ребенок не простудился, не предпринималось ни в крестьянских, ни в дворянских семьях. Дети могли бегать зимой по улице босиком, без шапок и в одной рубашке. Этому закаливанию приписывали крепкое здоровье тех, кто после него оставался невредим. Виже-Лебрён с удивлением описывала малолетних русских кучеров, служащих в богатых домах: «Здесь вельможи и вся знать ездят о шести и даже о восьми лошадях; возницами у них служат совсем еще маленькие мальчики, лет восьми—десяти, и управляют они с поразительной сноровкою... Занятно видеть сих детей, весьма легко одетых и даже подчас в расстегнутой рубашке на таком холоде, кото-

рый за несколько часов отправил бы на тот свет французского или прусского гренадера»<sup>110</sup>.

Если ребенок заболел, его уже считали как бы покойником и даже заранее снимали мерку для гроба. Адмирал Чичагов рассказывал: «Один из моих старших братьев заболел оспой, и вскоре она перешла на всех других. Нас было четверо, я — третий. Два старших брата умерли; последний, бывший еще в колыбели, уцелел, благодаря младенческому своему возрасту, а я находился в таком отчаянном положении, что, заказывая гробы для моих братьев, намеревались заказывать уже и третий для меня. Это была оспа “сливная”, и мы были ею покрыты, как угольно-черной корой. В этом положении мне дали св. Причастие и, так как вскоре после этого началось нагноение, то решили, что я спасен, и спасение мое приписали св. Дарам»<sup>111</sup>.

Английский врач Томас Димсдейл, приехавший в Россию по приглашению императрицы в 1768 году, описал первые неудачные опыты по прививанию оспы пятерым кадетам Сухопутного шляхетского корпуса. Молодые люди отличались слишком высоким иммунитетом, так что болезнь к ним не прилипала. «На том месте, где была сделана оспенная ранка, показался чирей, из которого скоро потом образовалась большая болячка... Так продолжалось до седьмого или восьмого дня, когда можно было ожидать появления оспенной сыпи. Между тем оспа не показывалась ни на ком... Ранки на руках зажили, и мои пациенты продолжали быть совершенно здоровыми»<sup>112</sup>.

При крепком здоровье основной массы населения физические тяготы переносились легче. Роды считались делом обыденным и не приводили родных в трепет. Роженица уединялась с повитухой в бане и выходила оттуда уже с младенцем. Муж тем временем мог отправиться на охоту, близкие предавались повседневным занятиям. Даже в царской семье о дамах на сносях не особенно беспокоились. Екатерина II с содроганием описывала свои первые роды, состоявшиеся в 1754 году: «Я очень страдала, наконец, около полудня следующего дня, 20 сентября, я разрешилась сыном. Как только его спеленали, императрица ввела своего ду-



ховника, который дал ребенку имя Павла, после чего тотчас же императрица велела акушерке взять ребенка и следовать за ней. Я оставалась на родильной постели, а постель эта помещалась против двери... Сзади меня было два больших окна, которые плохо затворялись... Я много потела; я просила... сменить мне белье, уложить меня в кровать; мне сказали, что не смеют. Я просила пить, но получила тот же ответ»<sup>113</sup>.

Возможно, такое равнодушие к судьбе роженицы объяснялось тем, что от великой княгини Екатерины Алексеевны хотели избавиться. Поэтому вспотевшую женщину в течение нескольких часов оставляли на сквозняке. Однако и в простых дворянских семьях, где никто никого не намеревался уморить, к делу относились с той же грубоватой простотой. А иногда и с юмором. А. Т. Болотов, чтобы потешить читателей, привел в «Записках» историю своего рождения: «Как случилось мне родиться ночью после полуночи, то не было никого в той комнате, кроме одной бабушки-старушки да моей матери. Мать моя сидела на постели, а старушка молилась Богу и клала земные поклоны... В самую ту минуту, как назначено мне было свет увидеть... попади крест ее в щель на полу между разошедшихся досок и так перевернись там ребром, что его ей вытащить никак было не можно. Мать моя начала кричать и звать ее к себе, а она:

— Пстой, матушка, — говорит, — погоди немножко! Крест зацепился, не вытащу.

Мать моя... не могла от смеху удержаться... ибо в ее ли власти было погодить?»<sup>114</sup>

В дальнейшем попечение о детях тоже не отличалось особой хлопотливостью. Разные мемуаристы приводят примеры своего прямо-таки спартанского воспитания. Простая пища, ранние вставания, отказ от теплой одежды одобрялись. И напротив, изнеженность, слабость, неумение самостоятельно одеться осуждались решительно. Было принято, чтобы в деревне маленький барчук играл и резвился вместе с ватагой крестьянских детей. Л. Н. Энгельгардт, адъютант и дальний родственник Г. А. Потемкина, вспоминал о своем детстве в сельце Зайцево Смоленской губернии: «Физи-

ческое мое воспитание сходствовало с системою Руссо, хотя бабка моя не только не читала сего автора, но едва ли знала хорошо российскую грамоту. Зимую иногда я выбегал босиком и в одной рубашке на двор резвиться с ребятишками и, закоченев весь от стужи, приходил в ее комнату отогреваться на лежанке; еженедельно меня мыли и парили в бане в самом жарком пару и оттуда в открытых санях возили домой с версту. Кормился я самую грубою пищею и оттого сделался самого крепкого сложения, перенося без вреда моему здоровью жар, холод и всякую пищу; вовсе не учился и, можно сказать, был самый избалованный внучек»<sup>115</sup>.

Зарисовка относится к 70-м годам XVIII века. Примерно в это же время бедные дворяне Яковлевы из Оренбургской губернии воспитывали дочь точь-в-точь в таких же патриархальных нравах. «Меня учили разным рукоделиям и тело мое укрепляли суровой пищею и держали на воздухе, не глядя ни на какую погоду, — вспоминала Лабзина. — Шубы зимой у меня не было; на ногах, кроме нитных чулок и башмаков, ничего не имела: в самые жестокие морозы посылали гулять пешком, а тепло мое все было в байковом капоте. Ежели от снегу промокнут ноги, то не приказывали снимать и перемывать чулки: на ногах высохнут»<sup>116</sup>.

Сообразно физическому было и нравственное воспитание. Те, кто не мог дать детям хорошее домашнее образование, учили их, по крайней мере, говорить правду, не осуждать окружающих и терпеливо переносить недостатки других людей — качества, считавшиеся необходимыми в «человеческом общежитии». Графиня В. Н. Головина писала о своем детстве, проведенном в обедневшем подмосковном имении Петровское: «Мне было положительно запрещено лгать, злословить, относиться пренебрежительно к бедным или презрительно к нашим соседям. Они были бедны и очень скучны, но хорошие люди. Уже с восьми лет моя мать нарочно оставляла меня одну с ними в гостиной, чтобы занимать их. Она проходила рядом в кабинет с работой и, таким образом, могла все слышать, не стесняя нас. Уходя, она мне говорила: “Поверьте, дорогое дитя, что нельзя быть более любезным, как проявляя снисхо-

дительность, и что нельзя поступить умнее, как применяясь к другим»<sup>117</sup>.

Няньки, приставленные к детям, порой оказывали на них большее влияние, чем родители, особенно в раннем возрасте, когда ребенок всецело находился на руках кормилицы. От них барчата перенимали не только простонародную манеру поведения, которая впоследствии изглаживалась. Куда хуже было то, что вместе с фольклорным пластом культуры усваивались страхи и суеверия, избавиться от которых не удавалось всю жизнь. «И какие дикие предрассудки были им привиты мамушками и нянюшками! — писала Сабанеева о своих старших сестрах. — Ворожба, гадания, боязнь дурного глаза — все это сильно расстроило их нервы. Сестра Катенька отрешилась вполне от этих нелепостей по разуму; она была такая умная и образованная девушка, но следы впечатлений детства остались на ней: у нее были истерики, она боялась грома, пауков и лягушек. Дорогая сестра Сашенька так никогда и не могла выйти из сферы гаданий, толкований снов и разных предчувствий»<sup>118</sup>.

Нервы у значительной части дворян оказывались расстроены еще в детстве. Привыкнув с малых лет спать с горничной в комнате, многие потом не могли избавиться от страха оставаться одни в темноте. «Я хотела отметить чрезвычайное суеверие и легкое верие всех русских, — писала домой Марта Вильмот. — ...В свете все — мужчины и женщины — гадают и счастливы или несчастливы в зависимости от хороших или дурных предзнаменований. Никто из высшего общества ни за что не уляжется спать, если в комнате никого больше нет, и ни на минуту не останется в темноте. Недавно в большом обществе... одна пожилая знатная дама с наступлением сумерек очень забеспокоилась и, когда ее беспокойство стало невыносимым, прошептала: “Если не принесут свечей, я, кажется, упаду в обморок; со мной это уже случалось не раз”»<sup>119</sup>.

Такое состояние нервов было результатом традиционного запугивания детей дворовыми воспитателями, которые, впрочем, не хотели ничего дурного, кроме как понудить барчат слушаться. «Несмотря на то, что

мамушкам и нянюшкам нашим строго запрещено было пугать нас ведьмами, лешими, домовыми, — вспоминал Нащокин, — но иногда они все-таки рассказывали про них друг другу, это сильно подействовало на меня, и здесь-то, я полагаю, корень склонности моей к мистицизму и ко всему необычайному... Я как теперь помню, как няня моя, желая заставить меня скорее заснуть, взамен всех леших, домовых, страшила всегда какую-то Ариною, которая и теперь осталась для меня фантастическим лицом. В жаркую лунную ночь бессонницы я, казалось, сквозь занавесы моей кровати видел ее, сидящую подле, и страх заставлял меня невольно смыкать глаза»<sup>120</sup>.

Друг Пушкина подметил важный момент: из простонародных суеверий выросал будущий интерес к мистицизму. Страсть к загадочному, возбужденная в детстве наивными рассказами нянек, впоследствии приводила дворянина, уже получившего образование, в масонские ложи и собрания духовидцев. Сен-Мартен занимал в воображении взрослого то место, какое у ребенка принадлежало домовым и утопленникам.

Случалось, что преградой для распространения суеверий становились иностранные гувернеры. Сабанеева приводит рассказ своей матери о некой мадам Стадлер, служившей у них в доме и отличавшейся большим здравомыслием: «Мои старшие сестры были очень болезненны; они были уже большие девицы и выезжали в свет, когда мадам Стадлер поступила в наш дом, так что она не могла иметь на них влияния, но она основательно говорила, что их слабому здоровью была отчасти причиной многочисленная прислуга, которая окружала их в детстве. Мои старшие сестры не умели сами обуваться, пили утренний чай в постелях и прежде второго часа не выходили из своих комнат... Мадам Стадлер, как только вошла в наш дом, потребовала удаления от нас лишней прислуги и оставила при нас нашу старую няню Денисовну, за которой зорко следила...

...Мадам Стадлер избегала гостиной. По ее мнению, дети должны иметь вокруг себя спокойную атмосферу и не мешаться с большими. Она не любила водить нас в Александровский сад или на Тверской бульвар. «Там де-

ти выставляются напоказ, в них возбуждается тщеславие. Идем лучше подальше от городского шума". И мы весной или осенью в хорошую погоду ходили с ней или под Девичье поле, или даже на Ваганьковское кладбище. Там мы могли бегать, сколько хотели»<sup>121</sup>.

Однако достойная мадам Стадлер была скорее исключением, чем правилом. Далекое не все, кто выдавал себя в России за воспитателей и поступал гувернерами в богатые дома или учебные заведения, на самом деле могли похвастаться образованием и безупречной репутацией. Часто это оказывались мошенники, плуты, бывшие лакеи и даже преступники из Франции, Англии или немецких княжеств, которые в лучшем случае могли научить подопечного бегло болтать на иностранных языках.

Адмирал П. В. Чичагов описывал, как в девятилетнем возрасте родители отдали его на обучение в Морской кадетский корпус, находившийся в Кронштадте. Одним из лучших педагогов там считался Антуан Омон, который «снискал себе репутацию хорошего наставника крайней строгостью, заменявшей достоинства преподавателя». Начальство и родители были убеждены, что при суровом учителе дети больше стараются, и сам мемуарист признавался, что пучок розог, положенный над азбукой, побуждал его заниматься с немалым рвением. Однажды в 1776 году граф С. Р. Воронцов приехал посмотреть Кронштадтский порт, заглянул он и в Кадетский корпус. Каково же было его удивление, когда в классе французского языка ему попался Омон. Чичагов передает их разговор:

«— Как, это ты, Антуан? Что ты здесь делаешь?

— Граф, — отвечал почтительно учитель, — я преподаю французский язык господам кадетам.

Граф его поздравил, но по выходе из класса рассказал, что этот Антуан был у него в услужении лакеем и привезен им из Франции на козлах; что он ловкач, прошедший огонь и воду, как говорит пословица, а потому граф нисколько не удивляется, если он оказался достаточно ученым, чтобы сделаться первым учителем в заведении!»<sup>122</sup>

Иной раз слуги-воспитатели оказывались для ребенка ближе родителей, которых он видел нечасто и при которых должен был ходить по струнке. Представления о дружбе родителей и детей культура того времени не знала, ведь подобные отношения предполагают известное равенство. В иерархическом обществе модель поведения была иной: ребенок держал себя как младший по чину. Даже братья и сестры не были равны между собой, к старшим принято было обращаться на «вы», а в их отсутствие говорить о них «они» или «оне».

Янькова вспоминала о днях своего детства: «В то время дети не бывали при родителях неотлучно, как теперь, и не смели прийти, когда вздумается, а приходили поутру поздороваться, к обеду, к чаю и к ужину или когда позовут за чем-нибудь. Отношения детей к родителям были совсем не такие, как теперь; мы не смели сказать: за что вы на меня сердитесь, а говорили: за что вы изволите гневаться, или: чем я вас прогневила; не говорили: это вы мне подарили; нет, это было нескладно, а следовало сказать: это вы мне пожаловали, это ваше жалование. Мы наших родителей боялись, любили и почитали. Теперь дети отца и матери не боятся, а больше ли от этого любят их — не знаю. В наше время никогда никому и в мысль не приходило, чтобы можно было послушаться отца или мать и беспрекословно не исполнить, что приказано. Как это возможно? Даже и ответить нельзя было, и в разговор свободно не вступали: ждешь, чтобы старший спросил, тогда и отвечаешь, а то, пожалуй, и дождешься, что тебе скажут: “Что в разговор ввязываешься? Тебя ведь не спрашивают, ну, так и молчи!” Да, такого панибратства, как теперь, не было; и, право, лучше было, больше чтили старших, было больше порядку в семействах и благочестия».

Не была характерна для того времени и привычная для нас картина: родители воспитывают, а бабушки и дедушки балуют. Самое старшее поколение семьи, доживавшее век на покое, держало себя строго и даже отчужденно. Внуки посещали бабок и дедов как бы с визитами и должны были держать себя чинно, по-взрослому. «Мы езжали к бабушке Щербатовой в деревню, — продолжала Янькова. — ...Бабушка вставала

рано и кушала в полдень; ну, стало быть, и мы должны были вставать еще раньше, чтобы быть уже наготове, когда бабушка выйдет. Потом до обеда сидим, бывало, в гостиной перед нею навтытяжку, молчим, ждем, что бабушка спросит у нас что-нибудь; когда спрашивает, встанешь и ответишь стоя и ждешь, чтоб она сказала опять: “Ну, садись”. Это значит, что она больше с тобой разговаривать не будет... После обеда бабушка отдыхала, а нам и скажет: “Ну, детушки, вам, чай, скучно со старухой; подите-ка, мои светы, в сад, позабавьтесь там”»<sup>123</sup>.

Почти ту же картину рисует Сабанеева, рассказывая, как ее ребенком водили здороваться с бабушкой-фрейлиной Александрой Евгеньевной Кашкиной. «Она сидит в своей угольной на диване так прямо, хотя вокруг нее много подушек, вышитых и шерстями, и шелком, и бисером... Подле нее на подушке спит Амишка, ее любимый белый шпиц, презлой: нагнешься здороваться к руке бабушки, а он рычит... Лицо у бабушки не то важное, не то строгое, выражение немного вопросительное... Нам очень скучно у бабушки; она делает свои замечания, на кого кто похож. Она любила Анночку, мою сестру, говорила, что она в Кашкиных. Мы всегда выжидали, когда внимание бабушки перейдет от нас на другой предмет, кто-нибудь придет, войдут гости, мы низко присядем и сейчас же удаляемся»<sup>124</sup>.

Куда живее мемуаристка вспоминала другую из своих бабок — Екатерину Алексеевну Прончищеву. Однако и при ней дети должны были исполнять роль своего рода маленьких слуг: «Карета въехала в ворота большого двора, и мы бежим встречать в переднюю нашу дорожку гостью. Дверь отворяется, входит бабушка, укутанная в шубу, в большом атласном капоре фиолетового цвета; ее ведут под руки, и горничная Лена расстегивает на ходу ее шубу, а лакей принимает ее на свои руки; бабушка садится на диван, и с нее снимают теплые белые лохматые сапоги... Мы должны все время смиренно стоять; затем бабушка проходит в батюшкин кабинет. Мы между тем приняли от лакея двух собачек и несем их на руках за бабушкой, что составляет для нас большое удовольствие... Наконец снят последний

шарфик, и бабушка осталась в одних волосах... Мы чинно подходим к ней к руке»<sup>125</sup>.

Кто же баловал детей? Судя по мемуарам, эту роль нередко принимали на себя отцы. Мы уже говорили, что они были намного старше матерей и в возрастной нише как раз занимали то место, которое сейчас принадлежит дедам. Возня с младшими членами семейства иной раз превращалась для отставных вояк в смысл жизни. Седые генералы попадали под детский башмачок так же часто, как и под каблук жены. П. В. Нащокин вспоминал о своих родителях: «До тех самых пор при дворе отца моего не было сильнее матушки, пока не подросла старшая моя сестра Настасья Воиновна, которая, будучи восьми и девяти лет, вела себя как совершенная барышня, и ее приказания были исполняемы точно так, как... изустные повеления дежурного генерал-адъютанта. И матушка моя в сомнительных случаях, не надеясь на свою силу, подсылала сестру с просьбами к батюшке»<sup>126</sup>.

Мать Сабанеевой рассказывала о своем отце князе П. Н. Оболенском, «что в детстве он их так любил и баловал, что они бегали к папеньке выплакивать горе, если гувернантка их наказывала... Куклы должны были поочередно спать в его шкафах, а игрушечные кареты ставились в его гостиной под диван, как в каретный сарай»<sup>127</sup>.

Однако семейная любовь вовсе не исключала права распоряжаться ребенком по своему усмотрению. В детях видели своего рода собственность. Вспомним, добрый и благородный П. М. Римский-Корсаков, отец мемуаристки Яньковой, дважды отказал жениху, даже не подумав поставить дочь в известность. Родительский деспотизм — оборотная сторона ревности — проявлялся иной раз при самых неожиданных обстоятельствах. «Прадед не допускал и мысли о воспитании детей, — писала Сабанеева о А. И. Прончищеве. — В те времена чада должны были удерживаться в черном теле в доме родителей, и он за порок считал, чтоб русские дворянки, его дочери, учились иностранным языкам.

— Мои дочери не пойдут в гувернантки, — говорил Алексей Ионович. — Они не бесприданницы; придет время, повезу их в Москву, найдутся женихи для них.



Это было в начале царствования императора Павла Петровича. Было слышно, что двор будет в Москве... Алексей Ионович нанял дом в Москве на три месяца и зимним путем поехал с двумя старшими дочерьми, Евдокией и Софьей, в столицу... Едва успели сшить на Кузнецком Мосту бальные платья для калужских барышень, как зимний сезон открылся балом, который монарх почтил своим присутствием. Это был первый выезд девиц Прончищевых, но как далеки они были от мысли, что будет и последний. Три дня спустя после этого бала Алексей Ионович приказал дочерям с вечера укладываться и собираться в дорогу. Наутро подвезли под крыльцо просторный деревенский возок, и богимовский властелин увез дочерей восвояси.

...Бабушка объясняла быстрое возвращение прадеда из столицы страхом за старшую дочь, которая своей красотой обратила на себя внимание государя, так что на другой день после бала было сделано из дворца осведомление о чине отца калужской красавицы.

— Батюшка, — говорила бабушка, — не желал фавора для сестры при дворе и скорее увез ее в деревню.

По возвращении из Москвы прадед поспешил найти дочерям женихов в деревне»<sup>128</sup>.

*«Учение образует ум.  
Воспитание образует нравы»*

Бабушка мемуаристки толковала случившееся лестным для ее семейства образом. С одной стороны, вниманием императора к провинциальной красавице. С другой — благородное негодование прадеда, видевшего в фаворе бесчестье. В. Н. Головина вспоминала, что Павел I в Москве действительно много ухаживал за молодыми дамами, чем крайне беспокоил императрицу Марию Федоровну и официальную фаворитку Е. И. Нелидову.

Однако могла быть и иная причина. «Богимовский властелин» не обращал внимания на воспитание детей в новом, просвещенном, духе. Он считал ниже своего достоинства, чтобы дочери учили иностранные языки. Его чада — «не гувернантки». Вспоминается госпожа

Простакова из «Недоросля» Д. И. Фонвизина, которая полагала, будто «география — наука для извозчиков». М. А. Дмитриев, племянник поэта И. И. Дмитриева, описывал таких провинциальных помещиц: «Собственно о воспитании едва ли было какое понятие, потому что и слово это принимали в другом смысле. Одна из барынь говаривала: “Мы у нашего батюшки хорошо воспитаны, одного меду невпроед было!”»<sup>129</sup> Каким же ударом для старосветских помещиков должно было стать столкновение со столичной жизнью! По письмам сестер Вильмот, относящимся примерно к тому же времени, мы помним, что московские барышни трещали на четырех-пяти языках, играли на музыкальных инструментах и старались поразить кавалеров изяществом манер. Время ушло вперед. А господа Простаковы и Прончищевы остались на месте. Теперь недостаточно было нарядить девушек на Кузнецком Мосту и привезти на бал, чтобы они оказались в центре внимания. Полно, да и умели ли богимовские красавицы как следует танцевать? Таких неуклюжих провинциалок, не способных шагу ступить, не оконфузясь, Кэтрин Вильмот именovala «молодыми медведями». Первый же бал, где присутствовали калужские красавицы, открыл отцу глаза. Алексей Ионович понял, в каком невыгодном свете девушки предстают на фоне других невест. Он увез дочерей обратно в деревню, чтобы подыскать женихов в своей среде, не столь требовательной к образованию, но падкой на приданое.

Совсем недавно, в 30-х годах XVIII века, научить дворянского сына читать и писать у сельского дьячка считалось достаточно. Мемуарист майор Данилов вспоминал: «От роду моего лет семи отдали меня в селе Харине пономарю Филиппу, прозванием Брудастому, учиться... Ходил я к Брудастому очень рано, в начале дня, и без молитвы дверей отворить не смел. Памятно мне мое учение по той причине, что часто меня секли лозой: я не могу признаться по справедливости, чтоб во мне была тогда леность или упрямство, а учился я по моим летам прилежно и учитель мой задавал мне урок весьма умеренный, по моей силе, который я затверживал скоро. Но как нам, кроме обеда, никуда отпуска от Брудастого ни на малейшее время не было, то я от таково-

го всегдaшнего сидения так ослабевал, что голова моя делалась беспамятна, и все, что выучил прежде наизусть, ввечеру и половины прочитать не мог, за что последняя резолюция меня, как непонятого, “сечь”. Я мнил тогда, что необходимо при учении терпеть надлежит наказание»<sup>130</sup>.

Даже в Московском университете вскоре после его открытия в 1755 году уровень преподавания был весьма низким. Хрестоматийно описание экзамена по латинскому языку, сделанное Д. И. Фонвизиним: «Накануне... учитель наш пришел в кафтане, на коем было пять пуговиц, а на камзоле четыре; удивленный сею странностью, спросил я учителя о причине. “Пуговицы мои вам кажутся смешны, — говорил он, — но они суть стражи вашей и моей чести: ибо на кафтане значат пять склонений, а на камзоле четыре спряжения; итак, ...когда станут спрашивать о каком-нибудь имени какого склонения, тогда примечайте, за которую пуговицу я возьмусь: если за вторую, то смело отвечайте: второго склонения. С спряжениями поступайте, смотря на мои камзольные пуговицы, и никогда ошибки не сделаете”. Вот каков был экзамен наш!»<sup>131</sup>

Картина, нарисованная Фонвизиним, не карикатура. Учившийся одновременно с будущим драматургом во французском классе университетской гимназии Н. И. Новиков так и не овладел ни одним иностранным языком, что отчасти подтолкнуло его впоследствии к широкому изданию переводной литературы на русском. А другой их однокашник, Г. А. Потемкин, вынужден был брать дополнительные уроки французского, уже служа при дворе. Дворяне, получавшие образование в 50-х годах XVIII века, больше знаний почерпнули самостоятельно, из книг, чем в специальных учебных заведениях. Характерен рассказ Болотова. Родители старались поместить его то у одного, то у другого преподавателя, отдавали в пансион, специально нанимали ему учителей по его просьбе, однако знаний у ребенка почти не прибавлялось, пока он сам, уже в зрелом возрасте, не засел за книги. «Мне пошел тогда двадцать первый год от рождения, и с самого сего времени началось прямо мое чтение книг, которое после обрати-

лось мне в толикую пользу. До сего времени, хотя я и читывал книги, но все мое чтение было ущипками и урывками, а с сего времени присел я, так сказать, вплотную и принялся читать книги почти уже непрерывно и не сходя с места»<sup>132</sup>.

Такова была судьба почти всех «екатерининских орлов», людей, чья юность пришлась на 50-е — начало 60-х годов XVIII столетия. Большинство из них испытывало острый образовательный голод и пополняло знания, где только можно. Неудивительно, что своим отпрыскам они постарались дать блестящее образование. Пережив и розги, и безграмотных учителей-пьяниц, поколение отцов щепетильно следило за тем, чтобы дети урожая 70—80-х годов росли «друзьями просвещения». Момент был для этого благоприятным.

В царствование Екатерины II русское общество совершило заметный шаг вперед в области воспитания. Одной из важнейших реформ императрицы была образовательная. Мы не зря ставим эти два понятия рядом. В XVIII веке их практически не разделяли. Считалось, что образование разума невозможно без воспитания души. Пока господа Прончищевы благоденствовали в счастливом неведении, в столичных и губернских городах открывались новые учебные заведения, а страницы журналов заполняли рассуждения о пользе правильного воспитания юношества. Для 60—80-х годов XVIII столетия это был вопрос вопросов русской журналистики. Ему посвящали статьи Е. Р. Дашкова, И. Ф. Богданович, Н. И. Новиков, М. М. Херасков и др.

Характерно, что в «Словаре Российской академии», выходявшем под руководством княгини Дашковой в 1789—1794 годах, при толковании различных понятий нравственные, воспитательные начала занимают главное место. Приведем примеры:

*«Образую...*

Учение образует ум. Воспитание образует нравы.

*Отдаляю...*

Молодых людей отдалять должно от худых сообществ.

*Порчусь...*

Нравы молодых людей от худых сообществ удобно портятся.

*Поверяю...*

Препоручить порочному человеку воспитание детей есть то же, что и поверить волку овец.

*Кормилец...*

Избалованный сын родителям не кормилец.

*Воля...*

Воли детям давать не надобно.

*Балую...*

Родители, когда детей своих в младости балуют, будут о сем сожалеть после»<sup>133</sup>.

Почти слово в слово вторит Дашковой Богданович, недаром они некоторое время были соредакторами журнала «Невинное упражнение»: «Худое сообщество есть как заразительная болезнь... Молодой человек с наилучшим воспитанием от худого сообщества может повредить нрав... Я бы советовал, чтоб в плане воспитания предположено было, как бы нечаянно представлять юношам несчастные жертвы распутства, пьянства, промотавшихся игроков, корыстолюбцев; словом, все, что имеет на себе печать порока»<sup>134</sup>.

В широкой программе преобразований, проводимых правительством Екатерины II, важное место императрица отводила «смягчению нравов русского общества» путем воспитания его членов в духе просвещения и гуманного отношения друг к другу. Она ставила целью «исправить сердца и нравы народа своего через воспитание, которое почитается источником всего в свете человеческого благополучия». В русле этих идей один из ближайших сподвижников Екатерины — И. И. Бецкой предложил провести реформу образования.

Иван Иванович считал, что преобразовывать общество можно только через воспитание подрастающего поколения. В «Генеральном учреждении о воспитании обоего пола юношества» 1764 года Бецкой впервые в России сформулировал само понятие «воспитания», которое, по его словам, должно «придать известное направление воле и сердцу, выработать характер, внушить согласное с природой человека здоровое чувство, нравы и правила, искоренить предрассудки»<sup>135</sup>. Резуль-

татом такого воспитания становилось создание «новой породы людей», свободных от пороков окружающего мира. Для этого маленьких детей следовало изолировать от воздействия тлетворной среды, в частности семьи, в закрытых учебных заведениях, где и выращивать «совершенного человека».

Русский просветитель был особенно увлечен педагогической системой английского психолога и врача Джона Локка, согласно которой ребенок рождается на свет ни плохим, ни хорошим, он напоминает чистый лист бумаги. Важно начертать на этом листе добрые, разумные письмена. Другой путеводной нитью в педагогических исканиях Бецкого была теория французского писателя и философа Жан Жака Руссо, предлагавшего в условиях полной изоляции от внешнего мира вырастить человека, свободного от пороков.

Идея создания «новой породы людей» посредством ограждения их от воздействия внешнего мира была очень популярна в эпоху Просвещения и коренилась в масонской этике. Ярким художественным воплощением подобной теории стала детская сказка «Гаммельнский крысолов», столь популярная в XVIII веке и дошедшая до современных читателей в более позднем изложении братьев Гримм. В сказке флейтист уводит детей жадных и черствых горожан из города в страну вечного счастья, где они, покинув злых родителей, вырастают добрыми и честными людьми. Если прежде воспитание подрастающего поколения возлагалось на церковь и семью, то в эпоху Просвещения осуществлялся эксперимент по переносу воспитательных функций на учебное заведение. Школы, пансионы, университеты должны были не только давать знания, но и в первую очередь лепить мировоззрение будущего гражданина.

Исповедуя суровый метод отрыва ребенка от семьи и воспитания его с 5—6 до 18—20 лет под присмотром чужих, пусть и очень просвещенных людей, Иван Иванович был убежден в необходимости мягкого, человеческого обращения с воспитанниками. «Одно только просвещение наукой разума не делает еще доброго гражданина, — писал Бецкой, — но во многих случаях

паче во вред бывает, если кто от юношеских своих лет воспитан не в добродетели». Причинами человеческих пороков он называл окружающие ребенка с детства страх, насилие, а также «безумных родителей и наставников». Основными принципами воспитания, по мысли Бецкого, должны были стать терпение и уважение к воспитанникам. «Если обходиться с ними как с рабами, то воспитаем рабов»<sup>136</sup>, — писал он.

Подобные взгляды Ивана Ивановича заставили Екатерину II поручить ему воспитание собственного сына от фаворита Григория Орлова — Алексея Григорьевича Бобринского. Мальчик несколько лет жил в доме Бецкого и обучался в Сухопутном шляхетском кадетском корпусе под присмотром Ивана Ивановича. Согласно проектам Бецкого, разработанным в 60—70-е годы XVIII века, в России должна была возникнуть целая сеть закрытых учебно-воспитательных учреждений, которая включала бы низшие и средние учебные заведения для дворян — пансионы, а для мещан и купцов — воспитательные дома, педагогические, художественные, медицинские, коммерческие и театральные училища. Высшими учебными заведениями для представителей всех сословий были университет и Академия художеств. Именно Бецкой впервые в России поставил вопрос о необходимости образования для представителей третьего сословия<sup>137</sup>.

Осуществить всю программу не удалось. Но и то, что было сделано, вызывает уважение. Был преобразован Сухопутный шляхетский корпус, учреждено первое женское учебное заведение — Воспитательное общество благородных девиц в Смольном монастыре, а также коммерческие училища для мещан и воспитательные дома в Петербурге и Москве для сирот и подкидышей.

Важную роль в процессе воспитания Бецкой отводил женщине. Ее умственное, духовное и нравственное развитие ставилось им во главу угла, когда речь заходила о недостатке педагогов для подрастающего поколения. «За первое предводительство, оказанное нам, как на свет вышли, за первую помощь и сбережение, за первое пропитание, за первые наставления и за первую

дружбу, которой в жизни своей пользуемся, кому одолжены? Одному женскому полу», — писал он.

Иван Иванович с возмущением говорил о тех «зверообразных» представителях сильного пола, которые мешают женскому образованию. Он считал необходимым, чтоб «все девушки не только обучались читать и писать, но имели бы и разум, просвещенный различными знаниями, для гражданской жизни полезными»<sup>138</sup>. Только создание в закрытых учебных заведениях «новых отцов и матерей, которые бы детям своим те же прямые и основательные правила воспитания в сердце вселить могли, какие получили они сами», обеспечит, по мысли Бецкого, серьезные сдвиги в развитии русского общества.

В то время как «матери» будущих «новых людей» обучались в Смольном, «отцы» проходили школу в преобразованном Шляхетском кадетском корпусе. «Воспитание в нем было столь же тщательное и совершенное, насколько оно возможно в какой бы то ни было стране, — писал адмирал Чичагов, имея в виду европейский уровень образования кадетов. — Там обучали многим языкам, всем наукам, образующим ум, там занимались упражнениями, поддерживающими здоровье и телесную силу: верховой ездой и гимнастикой; домашние спектакли были допущены в виде развлечения»<sup>139</sup>.

Оставалась еще одна важная задача: создание учебных заведений для мещанства. Воспитательные дома, организованные для детей «третьего чина», существенно отличались от дворянских учебных заведений. Они были предназначены для «невинных детей, которых злосчастные, а иногда и бесчеловечные матери покидают»<sup>140</sup>, то есть для подкидышей, сирот и незаконно рожденных младенцев.

Следует сказать, что отношение общества в XVIII веке к детям, рожденным вне брака, а также к матерям, имеющим незаконнорожденных детей, было крайне отрицательным. Такие дети не имели права носить фамилию отца, а с их матерями окружающие обращались неуважительно и грубо. Это вызывало стремление избавиться от нежеланных младенцев, а также приводи-



ло к частой смертности подкидышей и рожениц, вынужденных скрывать свои роды и обходиться без медицинской помощи.

Екатерина II смотрела на дело принципиально иначе, как бы с женской точки зрения. В начале ее царствования произошел коренной перелом в отношении государства к проблеме незаконнорожденных детей. Перу Бецкого принадлежал «Генеральный план императорского воспитательного для приносимых детей дома и госпиталя для бедных родильниц в Москве». Во главе Московского воспитательного дома стоял опекунский совет, куда входили крупные жертвователи. При доме был открыт госпиталь для женщин, вынужденных рожать тайно. Роженицы могли приходить в госпиталь в любое время дня и ночи, не называя своих имен и даже не открывая лиц.

Младенцы поступали на полное содержание дома. Для того чтобы обеспечить их питанием, дом приобрел целое стадо коров, поскольку Бецкого не устраивало молоко с московских рынков, сильно разбавленное водой и забеленное мукой. Для новорожденных, нуждавшихся в материнском молоке, нанимали кормилиц, а также подыскивали благополучные крестьянские семьи в окрестностях города, куда можно было бы передать малыша.

На руках кормилиц младенцы находились до двух лет, а затем передавались в «общие покои» и воспитывались до семи лет вместе с другими детьми. С семилетнего возраста начиналось их обучение грамоте и ремеслам. Девочки занимались рукоделием, а особенно способные могли становиться гувернантками и воспитательницами. Бецкой считал, что шумные игры и забавы способствуют хорошему физическому развитию детей, поэтому предписывал «бегать по песку, по кочкам, по пашне, по горам и крутым местам, ходить иногда босиком по каменному полу в стуже и с открытой головой и грудью». Как такое воспитание не похоже на «сидение навывтяжку» в бабушкиных комнатах, описанное Яньковой и Сабансевой. «Отвергнуть надлежит печаль и уныние от всех, живущих в доме, — писал Бецкой. — Быть всегда веселу и довольну, петь и смеяться

есть прямой способ к производству людей здоровых, доброго сердца и острого ума»<sup>141</sup>.

В обществе, где воспитание было основано главным образом на наказании, осознаваемом как единственное средство воздействия на ребенка, Бецкой провозгласил новый принцип: «Единожды навсегда ввести в сей дом неподвижный закон и строго утвердить — ни откуда и ни за что не бить детей». Он внушал наставникам, что розга приводит воспитанников «в посрамление и уныние, вселяет в них подлость и мысли рабские, приучаются они лгать, а иногда и к большим обращаются порокам».

В Москве нашелся большой круг лиц не только среди аристократии и купечества, но и среди мещан и даже окрестных крестьян, которые охотно жертвовали деньги на дом для подкидышей. Самым крупным меценатом оказался известный московский богач и оригинал П. А. Демидов, передававший в пользу сирот миллионные суммы. В разных местах России по образцу Московского воспитательного дома стали создаваться похожие учреждения на средства частных лиц. В Новгороде такой дом основал губернатор Я. Е. Сиверс, в Олонце и Белоозере — местные купцы, в Тихвине — священник приходской церкви, в Киевском наместничестве — казацкий сотник, в Пензе — судебный заседатель, близ Казани — разбогатевший крепостной крестьянин.

Пятнадцатого марта 1770 года было принято решение об открытии Воспитательного дома в Петербурге. Екатерина II положила «на доброе начинание 5000 рублей из Кабинета». Однако далеко не все складывалось гладко. Собрать совестливых и просвещенных педагогов было чрезвычайно трудно, многие попечители в опекунских советах не отличались чистотой рук. Надежда, что чужие люди будут «любить воспитанников как своих детей», оказалась иллюзорной. Отрыв юношей и девушек от семей тяжело сказался на их судьбах: по выходе из закрытых учебных заведений они ощущали себя чужими в кругу родственников, не знакомыми с окружающим миром и не готовыми к его трудностям.

Постепенно осознав, что просветительская идея создания «новой породы людей» неосуществима, охладе-

ла к ней и императрица. Какими бы «безумными» ни были родители, изъятие их из процесса воспитания пагубно сказывалось на детях. Можно сделать вывод, что в единоборстве семьи с закрытыми учебными заведениями победила семья. Однако это не подтолкнуло Екатерину II к свертыванию реформы. Напротив, дало иное, более реалистичное направление деятельности императрицы.

Несмотря на все усилия, в России еще не существовало сети средних и младших учебных заведений, не хватало учителей, не было единых программ, набор предметов, с которыми должен был знакомиться ученик, зависел от вкуса родителей. В это время в соседней Австрии — Священной Римской империи — с 1774 по 1777 год успешно осуществлялась школьная реформа. Императрица Мария Терезия унифицировала образовательную систему, изъяв ее из церковной юрисдикции и приведя учебные программы к единообразию. Преобразованием возглавлял аббат И. И. Фельбигер, создавший новую методику учебного процесса: систему уроков, организацию детей по классам, одновременное занятие с целой группой учеников, использование наглядных пособий. На землях, населенных православными сербами, реформу удачно провел сербский ученый и просветитель Теодор Янкович де Мириево, верховный директор школ в Темишварском Банате. За короткое время ему удалось добиться того, чтобы каждая сербская община получила свою школу<sup>142</sup>.

В 1782 году Екатерина II дала поручение русскому послу в Вене Д. М. Голицыну найти человека, «способного к заведению в нашем отечестве нормальных школ»<sup>143</sup>. По рекомендации союзника России императора Иосифа II был приглашен Янкович де Мириево, получивший на новой родине имя Федора Ивановича Мириевского. 40-летний педагог прибыл в Петербург в августе 1782 года. Ему предстояло проработать здесь 32 года и в корне реформировать школьную систему.

Первым детищем Янковича де Мириево стала Учительская семинария, открытая в столице и предназначенная для подготовки преподавательских кадров. Она была основана при Главном народном училище — про-

образе народных училищ для всех губернских городов России. В качестве наставников в ней служили ученые из Академии наук, а студентами стали слушатели духовных семинарий. Самых способных предназначали для работы в старших классах, остальных — в младших. Помимо прочего, подбор будущих учителей из духовной среды должен был, по мысли императрицы, устранить разрыв между образованием и церковью. Учительская семинария, просуществовавшая с 1783 по 1803 год, была первым учебным заведением в России, где готовили профессиональных педагогов. Из ее стен вышло более 400 воспитанников — по тому времени урожай солидный.

На базе Учительской семинарии Янкович издал около 70 наименований учебников, в числе которых было десять, написанных им самим. В 1786 году Екатерина II подписала «Устав народным училищам в Российской империи» — главный документ образовательной реформы. Его текст составил Янкович, а отредактировала сама императрица. В губернских городах создавались четырехклассные, а в уездных — двухклассные общеобразовательные школы, доступные для представителей всех свободных сословий. Они именовались народными училищами. Первые 25 были открыты в сентябре того же 1786 года, а к концу царствования их число перевалило за три сотни.

В народных училищах преподавание велось в обязательном порядке по-русски. Занятия растягивались на целый день. Летом они начинались в 7, зимой в 8 утра и продолжались до 11. Затем шел перерыв на обед и отдых. А с 14 до 16 еще два часа уроков. Именно Янкович ввел в русской школе привычный для нас стиль занятий. Прежде в класс набирали детей разного возраста, и педагог работал с каждым учеником в отдельности. От этого в комнате стоял постоянный гул. Теперь же учитель обращался ко всем одновременно и задавал общие задания. Появились большая общая доска с мелом и классный журнал. Перед началом занятий проводилась переключка. Тот, кто хотел спросить или ответить, должен был поднять левую руку. Были введены обязательные экзамены и каникулы<sup>144</sup>.

Таким образом, школьная реформа вышла из замкнутых сословных рамок и приобрела широкий размах. Именно этого добивалась Екатерина II. В таких условиях заботиться о воспитательной функции учебных заведений стало гораздо сложнее. Негласно установилось прежнее равновесие на новом уровне: школа давала знания, а семья пеклась о нравственности.

*«Со мною не происходило ничего особенного»*

Говоря о детях, не лишним будет задуматься над вопросом: а как вообще человек XVIII века воспринимал феномен детства? Когда он стал выделять его в особый период жизни? Здесь нас ждет сюрприз. Если судить по мемуарной литературе, люди, родившиеся в царствования Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны, то есть во второй четверти — середине столетия, как будто вообще не чувствовали детства золотой порой беззаботности. Они описывали его быстро и без интереса. «О самом первом периоде моей жизни или о времени первого моего младенчества много говорить нечего, — рассуждал Болотов, — ибо со мною не происходило ничего особенного». Все важное в жизни начиналось позднее — с поступления на службу. Но и до отправки в полк ребенок отнюдь не наслаждается заботой и безопасностью. При служащих отцах семьи офицеров-дворян постоянно переезжали с места на место, знавали дурные казенные квартиры, недостаток еды, нужду. Если мальчика отдавали учиться, он описывал побои и невежество педагогов. Походы отнимали здоровье отцов, и страх потерять кормильца отравлял существование родных.

«Года два после рождения моего жила мать моя со мною и обеими сестрами дома, ибо родитель мой был в сие время во многих отлучках, — вспоминал Болотов. — ...Был он на случившемся в Молдавии на речке Шалице сражении и при взятии города Хотина, где благополучно сохранился... Как объявлен был заключенный мир с турецким государством, отец мой отправлен был с объявлением о том в некоторые отдаленные провинции,

лежащие в сторону к Сибири... Мы принуждены были следовать повсюду за отцом, и я... с рождения моего никогда долго на одном месте не жила. Не успел отец мой полк принять, как взял нас к себе в полк, стоявший неподалеку от Нарвы. Вскоре после того пошел он с полком в другое место, и мы... с ним всюду и всюду таскались. Вскоре потом началась у нас война с шведами, и отец мой, идучи в поход с полком своим на галерах, принужден был отпустить нас в деревню в Эстляндии... По заключении с короною шведскою мира впоследствии в государстве нашем всему народу перепись. При сем случае отца моего отправили ревизовать Псковскую провинцию, куда к нему и мы из деревни приехали.

...Здоровье родителя моего начало около сего времени гораздо слабеть; он уже давно жаловался ногами. Однажды, идучи к церкви, обратившись к идущим позадь его офицерам, он сказал:

— Нет, государи мои, недолго уже мне жить, чувствую одышку и отменную слабость во всем теле, которая меня очень утрашает»<sup>145</sup>.

Что и говорить, близких полковника Болотова мысль о его скорой смерти утравила еще больше. Вскоре нестарый еще вояка скончался, а его сын поступил в полк, начав тянуть ту же ляжку сызнава.

Совсем иначе выглядят описания детства второй половины века. Нравы смягчились, в стране накопился некоторый достаток, а главное — дворяне получили право выходить в отставку, не выслуживая прежних 25 лет. Теперь золотое время «первого младенчества» дети проводили в деревне, и родители были с ними, а не «во многих отлучках». Это изменило всю картину. Общий тон мемуаристов, чье детство пришлось на екатерининское царствование, восторженный. Люди очень разного воспитания — Головина и Лабзина — в один голос говорят о благодарности Богу, которая время от времени без всякой видимой причины охватывала их. Для обеих детство — важнейший и счастливейший период. Обе передают чувство защищенности и безграничного доверия к старшим. Ничего подобного в предшествующий период не было. Объясняется слу-

чившееся просто: дворянская семья второй половины века воссоединилась, и ощущение целостности помогло детям оценить начало жизни как счастливое время:

«Почти все первые годы моего детства прошли в деревне. Отец мой, князь Голицын, любил жить в готическом замке, подаренном царицами его предкам. Мы уезжали из города в апреле месяце и возвращались только в ноябре. Моя мать была небогата и не имела средств, чтобы дать мне блестящее воспитание. Я почти не расставалась с нею; ее нежность и доброта приобрели ей мое доверие... Она предоставляла мне свободно бегать одной, стрелять из лука, спускаться с горы в долину к реке, гулять в начале леса, влезать на старый дуб рядом с замком и рвать там желуди...

Я хотела бы обладать талантом, чтобы описать это имение, одно из самых красивых в окрестностях Москвы... Я садилась на ступеньки галереи и с жадностью любовалась пейзажем, я бывала тронута и взволнована, и мне хотелось молиться; я бежала в нашу старинную церковь, становилась на колени в одном из маленьких приделов; священник вполголоса служил вечерню, дячок отвечал ему; все это сильно трогало меня, часто до слез»<sup>146</sup>.

С развитием самосознания, с углублением интереса образованного человека к движениям своей души детство начинало восприниматься как важный этап в нравственном и физическом формировании личности. Как начало всех начал. В России этот момент наступил с конца 70-х годов XVIII века, когда, благодаря усилиям Екатерины II, свобода дворянства соединилась с достаточным уровнем образования.

Однако два с половиной столетия назад семья не заканчивалась для дворянина кругом кровных родственников. Вернее, не заканчивался дом. Недаром в языке укрепился оборот: «чада и домочадцы». В патриархальном обществе слуги и зависимые от барина крестьяне воспринимались как часть чего-то единого, скрепленного узами «отеческого» покровительства и «детской» преданности. Об этом феномене речь пойдет в следующей главе.

## ГОСПОДА И СЛУГИ

Проблема помещиков и крестьян так же неразрешима, как проблема отцов и детей. Только из возрастного плана мы переходим в социальный. Два крупнейших сословия в России, они настолько определяли собой лицо общества, что порой казалось, что всех остальных просто не существовало. Четыре процента дворян, восемьдесят два — крестьян, а на остальные четырнадцать приходятся и казаки, и однодворцы, и купцы, и инородцы — каждый со своими бедами и нуждами, не сопоставимыми по масштабу с бедами и нуждами основных классов.

Находясь на двух полюсах, господа и холопы были противоположны друг другу по происхождению, образованию, юридическому и социальному статусу. В то же время в повседневной жизни они так тесно соединялись вместе, так зависели друг от друга, что составляли неразрывное единство, каждая из неравновеликих сторон которого была не в состоянии обойтись без своей противоположности. Своего сословного *alter ego*.

### *Трудные вопросы*

Прежде чем двигаться дальше, необходимо хотя бы бегло обрисовать непростые условия, в которых находилось правительство в связи с существованием крепо-



стного права. Больше половины крестьян — 56 процентов — были помещичьими, остальные принадлежали государству. Последние считались вольными, имели развитую систему самоуправления и обладали некоторыми гражданскими правами, например, присягали монарху, посылали депутатов в Уложенную комиссию. То есть в определенном смысле могли влиять на жизнь страны, настаивая на рассмотрении своих проблем. В то же время для нужд казны их можно было продать, а чиновники, руководившие ими, нередко чинили произвол, так как благосостояние *не своих* пахарей интересовало таких «опекунов» весьма мало. В екатерининское царствование землями с казенными крестьянами награждали за службу крупных военачальников и государственных деятелей. Правда, императрица старалась делать такие пожалования из территорий, оказавшихся в составе России после разделов Польши. Это не всегда нравилось новым хозяевам. Их отношение блестяще описала Е. Р. Дашкова, получившая в 1782 году имение Круглое в Белоруссии:

«Потемкин... передавал мне от имени императрицы, что так как она приняла за правило не раздавать больше казенных земель, она просит меня выбрать подходящее поместье, которое она купит для меня... Императрица не распространяет принятого ею правила на земли в Белоруссии, которые она, наоборот, желала бы видеть в руках русских дворян; некоторые из этих имений не были еще розданы; сам князь советовал мне выбрать одно из них... Я в продолжение двадцати лет управляла поместьями своих детей и могу с гордостью представить доказательства, что за этот период крестьяне стали трудолюбивее, богаче и счастливее; я решила и впредь руководствоваться теми же принципами, но не была убеждена, что они принесут такие же плодотворные результаты среди полупольского-полуеврейского населения, язык и быт которого были мне совершенно незнакомы... Императрица жаловала мне местечко Круглое со всеми угодьями и двумя тысячами пятьюстами крестьянами. Это поместье принадлежало гетману Огинскому и было очень велико... Каково же было мое удивление, когда съездив туда на следующий

год, я увидела истощенных, крайне грязных, ленивых и бедных крестьян, к тому же преданных пьянству. Не было даже топлива, чтобы приводить в действие маленький винокуренный завод... На десять душ обоего пола приходилось в среднем по одной корове и по одной лошади на пять душ; кроме того, на 2500 душ, дарованных мне, не хватало 167, так как управляющие казенными имениями высасывают из крестьян все, что только могут. Поэтому во всей России нет крестьян несчастнее тех, которые принадлежат казне»<sup>1</sup>.

Подобные сетования — де и почвы бедные, и народ ленивый — были характерны для вельмож, получавших пожалования на бывших польских землях. К ним прибавлялись рассуждения, будто государственные хлебопашцы — несчастнейшие из смертных. Но Екатерина II твердо придерживалась избранной линии по увеличению числа казенных крестьян. Что свидетельствовало о ясном понимании ею крепостной проблемы. Вопреки распространенному мнению приписка украинских крестьян к земле, осуществившаяся в 1783 году, не имела столь судьбоносного значения, какое ей обычно отводилось в советской историографии. Она юридически закрепила давно сложившиеся в Малороссии отношения между бывшей казацкой старшиной и простыми земледельцами.

Крепостное хозяйство в тот момент находилось на подъеме и давало значительный экономический эффект, обеспечивавший России стабильный рост внутреннего рынка и положительное сальдо во внешней торговле. Недаром во время Уложенной комиссии 1767 года вместо чаемого императрицей согласного порицания депутатами некоторых неприглядных сторон крепостной действительности представители всех сословий в той или иной форме выразили желание получить право владеть землей с *людьми*. Это возмутило Екатерину, но открыто демонстрировать свое отношение она не рискнула. В заметках, написанных для себя, императрица с горечью констатировала:

«Предрасположение к деспотизму... прививается с самого раннего возраста к детям, которые видят, с ка-

кой жестокостью их родители обращаются со своими слугами. Ведь нет дома, в котором не было бы железных ошейников, цепей и разных других инструментов для пытки при малейшей провинности тех, кого природа поместила в этот несчастный класс, которому нельзя разбить свои цепи без преступления. Едва посмеешь сказать, что они такие же люди, как мы, и даже когда я сама это говорю, я рискую тем, что в меня станут бросать камнями; чего я только не выстрадала от этого безрассудного и жестокого общества, когда в комиссии для составления нового Уложения стали обсуждать некоторые вопросы, относящиеся к этому предмету, и когда невежественные дворяне, число которых было неизмеримо больше, чем я могла когда-либо представить... стали догадываться, что эти вопросы могут привести к некоторому улучшению в настоящем положении земледельцев, разве мы не видели, как даже граф Александр Сергеевич Строганов, человек самый мягкий и в сущности самый гуманный... с негодованием и страстью защищал дело рабства... Я думаю, не было и двадцати человек, которые по этому предмету мыслили гуманно и как люди... Я думаю, мало людей в России даже подозревали, чтобы для слуг существовало другое состояние, кроме рабства»<sup>2</sup>.

Характерно, что все обличения крепостного права, написанные современниками, рассматривают чисто моральный аспект проблемы. Необходимость развязать для дальнейшего развития хозяйства свободные руки еще не осознавалась. Тем более что значительное число крестьян, особенно в центральных и северных губерниях, находилось на отходе, зарабатывая деньги для оброка там, где сами сочтут нужным. Эта практика продолжалась и в дальнейшем. А. С. Пушкин в критической заметке «Путешествие из Москвы в Петербург» писал: «Вообще повинности в России не очень тягостны для народа. Подушная платится миром. Оброк не разорителен (кроме в близости Москвы и Петербурга, где разнообразие оборотов промышленности умножает корыстолюбие владельцев). Во всей России помещик, наложив оброк, оставляет на произвол своему крестьянину доставать оный как и где он хочет. Крестья-

янин промышляет, чем вздумает, и уходит иногда за 2000 верст выработать себе деньгу. И это называете вы рабством?»<sup>3</sup>

Тем не менее именно Екатерина II впервые поставила вопрос о необходимости постепенного освобождения крестьян. Она же и определила примерный срок, за который в России произойдет эта реформа — сто лет. Императрица предложила возможный способ: обязать помещиков при продаже земли отпускать своих крестьян на волю. За столетие, по ее мысли, все владения делают оборот, переходя из рук в руки, стало быть, и хлебопашцы понемногу освободятся<sup>4</sup>. Однако этот план был неосуществим, поскольку дворяне вряд ли остались бы равнодушны к такому «грабежу», а власть в высшей степени зависела от солидарной поддержки благородного сословия. Да и само это сословие для того, чтобы служить, нуждалось в средствах. Разорять его — значило наносить удар по стране в целом. Екатерина же преследовала цель реформировать, а не ломать социальную структуру общества.

На этом пути ею было сделано немало. В 1762 году вышел указ, запрещающий покупать крепостных крестьян для работы на заводах, тогда же правительство прекратило приписку государственных земледельцев к предприятиям. Сама императрица называла заводских рабочих «роптунами по справедливости», поскольку условия их труда были исключительно тяжелы. Секуляризация церковных земель, осуществленная в 1764 году, перевела из монастырских (категория крепостных) в так называемые экономические (категория государственных) крестьяне более двух миллионов душ. Совсем неплохо для страны с населением в 18 миллионов в начале царствования и 36 миллионов в конце. Этот важнейший законодательный шаг следует считать начальным этапом крестьянской реформы в России. В 1775 году императрица подписала указ, запрещающий свободным людям и отпущенным на волю крестьянам вписываться в крепостные, поступая на службу к господам — это был первый законодательный акт о защите личности в России<sup>5</sup>. Для вновь учрежденных городов правительство специально выкупало частновладельче-

ских крестьян и превращало их в горожан, то есть в «вольных обывателей».

Эти примеры способны поколебать мнение о царствовании Екатерины II, как о периоде расцвета крепостничества. Однако из всего комплекса екатерининских мероприятий в литературе предшествующего периода обычно выделялись два. В 1765 году помещики получили разрешение ссылать своих крепостных в Сибирь с зачетом их как рекрутов, а в 1767 году крестьянам запрещалось жаловаться на господ императрице. Рассмотрим эти случаи внимательнее. Первое утверждение ошибочно. Указ о ссылке провинившихся крепостных в Сибирь был издан на пять лет раньше, в 1760 году, Елизаветой Петровной. А в 1765 году появился другой документ — рескрипт Адмиралтейской коллегии о приеме присылаемых от помещиков крепостных «для смирения в тяжкую работу»<sup>6</sup>. Согласно документу государство брало холопов, совершивших серьезный проступок и высланных из имений, на казенное обеспечение едой, одеждой и обувью, забота о чем возлагалась на Адмиралтейскую коллегия, которая вела широкие строительные работы. Тем не менее указ о ссылке крепостных в Сибирь с зачетом их как рекрутов действовал в течение всего екатерининского и последующих царствований, до 1828 года. В среднем по этому закону в восточные губернии страны отправлялось 107 человек в год<sup>7</sup>. Однако до места назначения они чаще всего не доезжали, их помещали на поселения в малоллюдных осваиваемых районах, в первую очередь в Новороссии, а затем в Крыму, переводя в категорию государственных. Жизнь там также была трудной — распашка нетронутых земель, непривычный климат, еда, вода... Но сравнивать ее с рудниками не следует.

Жалобы же крестьян не отменялись вовсе, а переклювались с императрицы на нижние судебные инстанции. Причиной чему послужил вал доносов крепостных на высочайшее имя, в которых утверждалось, что их владельцы злоумышляют «про государственное здоровье или какое изменное дело». После осуждения господ их земли передавались в опеку и до совершеннолетия наследников управлялись специально назна-

ченными чиновниками. Например, в опеку попадают имения господ Скотининых в «Недоросле» Д. И. Фонвизина. Такое изменение собственного положения было желанно для крепостных, что и породило обилие «изветов». «Не удивительно, что в России было среди государей много тиранов, — рассуждала Екатерина. — Народ от природы беспокоен, неблагодарен и полон доносчиков и людей, которые под предлогом усердия ищут лишь, как обратить в свою пользу все подходящее... Человек, не имеющий воспитания, в подобном случае будет или слабым, или тираном, по мере его ума»<sup>8</sup>. Ни слабым, ни тираном императрица быть не хотела и раз навсегда прекратила практику приема доносов.

Однако это не значило, что правительство вовсе отказывалось рассматривать жалобы. Указ требовал: «...дабы никто ее императорскому величеству в собственные руки *мимо учрежденных на то правительств* и *определенных особо для того персон* челобитен подавать отнюдь не отваживался»<sup>9</sup>. Этот запрет не помешал расследованию в 1768 году дела помещицы-изуверки Салтычихи на основании жалобы ее крепостных.

Вряд ли стоит представлять себе отмену крепостного права как одномоментный акт, осуществленный в 1861 году. В реальности это был длительный и поэтапный процесс, занявший столетие. Каждый следующий за Екатериной император вносил свою лепту. Указ Павла I 1797 года о трехдневной барщине до известной степени спорен. Хозяйство разных регионов страны сильно различалось, и если на Украине с ее прекрасной землей барщина занимала почти всю неделю, а некоторые владельцы вовсе отнимали у крестьян наделы, переводя их на месячину, то в Нечерноземье целые села, оставив хлебопашество, занимались промыслами и платили барину оброк. Тем не менее само направление мысли монарха клонилось к ограничению власти дворян над крестьянами. К этому же стремился и Александр I — любимый внук Екатерины, на которого венценосная бабка возлагала большие надежды. «Будьте мягки, человеколюбивы, доступны, сострадательны и

либеральны, — писала она ему в наставлениях. — Ваше величие да не препятствует вам добродушно снисходить к малым людям и ставить себя в их положение так, чтобы эта доброта не умаляла ни вашей власти, ни их почтения»<sup>10</sup>. В наследство «господину Александру» вместе со специально написанными для него «Азбукой» и сказками Екатерина оставила дальнейшее разрешение крестьянского вопроса.

К сожалению, ему удалось сделать сравнительно не много. По «Указу о вольных хлебопашцах» 1803 года, разрешавшему помещикам отпускать крестьян за выкуп, свободу получило менее одного процента крепостных. Зато значительное число государственных крестьян оказалось продано частным владельцам, чтобы пополнить казну в условиях Наполеоновских войн. Освобождение эстляндских и лифляндских крестьян в 1816—1819 годах, согласно желанию их владельцев, вылилось в разорение и сгон людей с земли. Тогда же обращение дворян Санкт-Петербургской губернии к императору с просьбой повторить эстляндский опыт в столичном регионе было весьма резко отклонено. Адрес, подписанный представителями лучших фамилий, поднес государю командир Гвардейского корпуса генерал И. В. Васильчиков. Их разговор способен был охладить самые пылкие головы сторонников реформ. Император спросил у гостя: «Кому, по-вашему... принадлежит законодательная власть в России?» Оторопевший генерал отвечал: «Без сомнения, Вашему Императорскому Величеству, как самодержцу». — «Так предоставьте же мне издавать те законы, которые я считаю наиболее полезными для моих подданных», — повысив голос, бросил Александр<sup>11</sup>. Эта история заставляет ряд исследователей сомневаться в реальности часто декларируемого императором желания освободить крестьян. На наш взгляд, речь может идти лишь о боязни дворянской инициативы, но не об отказе Александра от линии в целом.

Вторым этапом реформы следует считать мероприятия Николая I. Перед самым их началом, в 1834 году, генерал-губернатор Крыма граф М. С. Воронцов писал А. Х. Бенкендорфу для передачи императору: «Госу-

дарь... не может без страха предстать перед Божиим судом, если оставит страну в 50 мил[лионов] душ, не улучшив общественного положения этих миллионов, и если будут еще продолжать, как делается это теперь, продавать, иногда в интересах казны, мужчин, женщин, детей без земли и как жалкий скот... Екатерина хотела уничтожить это страшное злоупотребление, но ей помешали старые колпаки и старухи ее двора. Но теперь... он не позволит глупцам и мерзавцам удержаться себя»<sup>12</sup>.

С середины 30-х годов XIX века начинался выкуп частновладельческих крестьян с землей на средства казны и перевод их в категорию государственных. Благодаря этому численность крепостных удалось снизить с половины до трети. Император считал невозможным освобождение крестьян без земли, ибо это только порождало нищету. В разговорах он ссылался на опыт Екатерины II, действовавшей твердо и острожно, не позволяя друзьям-просветителям подталкивать себя к необдуманным шагам: «Философы не научат царствовать. Моя бабка была умнее всех этих краснобаев в тех случаях, когда она слушалась своего сердца и здравого смысла. Они советовали освободить крестьян без наделов, это — безумие»<sup>13</sup>.

В 1827 году Николай I вторично прекратил практику приписки крестьян к заводам, возобновившуюся при Александре I из-за военных нужд. Через год было существенно ограничено право помещиков ссылать крестьян в Сибирь (этого требовала и экономическая ситуация — заселение присоединенных при Екатерине II регионов в Новороссии и Крыму закончилось). В 1833 году хозяевам законодательно запретили продавать крестьян в розницу, то есть без семей, а также дарить или отдавать за долги. В 1845—1846 годах система наказаний крестьян изымается из рук помещиков и переходит в ведение правительства, что существенно снизило личный произвол барина по отношению к холопу. Так Николаю I удалось избавиться от наиболее одиозных черт крепостного уклада.

Критик николаевского царствования с либеральных позиций Н. В. Шелгунов иронично писал в начале



60-х годов XIX века: «Николай I каждый год начинал освобождение крестьян»<sup>14</sup>. Но в том-то и дело, что без этих шагов, drobных и подготовительных, невозможно было совершить коренной переворот всего строя жизни. Принимая делегацию смоленских дворян, государь прямо сказал им: «Я не понимаю, каким образом человек сделался вещью, и не могу себе объяснить этого иначе как хитростью и обманом, с одной стороны, и невежеством — с другой»<sup>15</sup>. О том, что император сознавал трудность и длительность работы, свидетельствуют его слова в разговоре с ближайшим сподвижником в крестьянском вопросе П. Д. Киселевым: «В 1834 году ...Николай Павлович, при вечернем разговоре, изволил мне сказать, что, занимаясь подготовлением труднейших дел, которые могут пасть на наследника, он признает необходимейшим преобразование крепостного права, которое в настоящем его положении более оставаться не может... “Помогай мне в деле, которое я почитаю должным передать сыну с возможным облегчением при исполнении”»<sup>16</sup>.

В 1835 году император создал тайный комитет по крестьянскому вопросу, наметивший общий порядок отмены крепостного права. Тогда же V Отделение императорской канцелярии во главе с П. Д. Киселевым занялось реформой возросшего числа государственных крестьян. В 1837 году казенные хлебопашцы получили личную свободу (их уже нельзя было ни продать для казенных нужд, ни пожаловать в качестве награды), существенно расширилась система их самоуправления, снизились налоги, в селах создавались школы и медицинские учреждения. Последние требовали денег, так же как содержание выборных и вводившееся кредитование, чем крестьяне оказались недовольны. Это привело к волнениям начала 40-х годов. Однако правительство продолжало намеченный курс. В 1847—1848 годах крепостным разрешили участвовать в сделках по продаже и покупке недвижимости как юридическим лицам (ранее приобретение ими земли или предприятия происходило на имя помещика). При банкротстве имения они получали свободу.

Мы так подробно остановились на мероприятиях второй четверти XIX века именно потому, что старая советская историография рассказывала о них мало и неохотно, в настоящий момент эта тенденция начинает только-только переламываться. Перечисленные шаги заставляют признать, что консерватор Николай I реально сделал для отмены крепостного права больше, чем его либеральный брат. Он продолжил начатое Екатериной II и передал эстафету сыну. Великая княжна Ольга Николаевна вспоминала о словах отца: «Когда в 1854 году началась Крымская война, он сказал Саше: “Я не доживу до осуществления моей мечты; твоим делом будет ее закончить”»<sup>17</sup>. В царствование Александра II наступил третий этап — так называемая Великая реформа, во многом подготовленная политикой его предшественника.

Без сомнения, процесс раскрепощения крестьянства менее всего напоминал движение локомотива по рельсам. Скорее его можно сравнить с попыткой выйти из леса, ориентируясь по солнцу. Тропинка петляла, порой делала повороты назад, но в конце концов вела в нужном направлении. Мы не ставим перед собой цели познакомить читателя со всеми аспектами крепостного хозяйства второй половины XVIII столетия. Для этого требуется особая книга, написанная совсем в ином жанре. Наша задача скромнее — взглядеться в бытовые, повседневные отношения, которые складывались между господами и их крепостными, и, быть может, заметить нечто, ускользнувшее от взора исследователей.

### *Тень Салтычихи*

«Какая вековая низость — шулерничать этой Салтычихой, самой обыкновенной сумасшедшей», — писал И. А. Бунин в «Окаянных днях»<sup>18</sup>. Действительно, потрясенные историей помещицы-изуверки читатели вот уже третье столетие готовы видеть в каждом дворянском гнезде по Салтычихе, а крепостной быт России XVIII века рисовать себе на основе следственных дел и отрывков книги А. Н. Радищева «Путешествие из Петер-

бурга в Москву». Тем не менее Дарью Салтыкову трудно признать «обыкновенной», ибо власть над людьми придала ее сумасшествию чудовищный размах, превратив в фигуру титанического масштаба, как извращенная жестокость древнеримских императоров Калигулы и Нерона превращала их в бич Божий для беззащитных подданных.

Известный американский историк-русист Ричард Пайпс обоснованно писал: «Крепостничество было хозяйственным инструментом, а не неким замкнутым мирком, созданным для удовлетворения сексуальных appetитов. Отдельные проявления жестокости никак не опровергают нашего утверждения. Салтычиха... говорит нам о царской России примерно столько же, сколько Джек-потрошитель о викторианском Лондоне»<sup>19</sup>. Удачный образ. Однако Джек-потрошитель, если присмотреться, кое-что может поведать об Англии времен королевы Виктории, где подавленная сексуальность порой вырывалась наружу в самой уродливой форме. Точно так же и Салтыкова. Рассматривая ее историю, подмечаешь множество черт русской действительности. Они отнюдь не сводятся к утверждению об уникальности и типичности барыни-садистки. Де все помещики помаленьку мучили и унижали своих слуг. Потрясающе только размах. А само преступление обыденно.

Прежде всего проясним один историографический казус. Поскольку расследованы преступления Салтыковой были при Екатерине II, то образ мучительницы крепостных прочно соотносится именно с ее царствованием. Происходит абберация сознания — перенос событий из времени, когда они произошли, во время, когда были раскрыты. Мы далеки от стремления уверить читателя, будто во второй половине XVIII века не было жестоких бар. Однако зверства Салтыковой могли так долго укрываться от внимания властей именно потому, что творились в Москве середины столетия — перевернутом мире, где уже второй десяток лет и речи не было о правосудии. Но начнем по порядку.

Дарья Николаевна Салтыкова родилась в 1730 году и происходила из семьи известного в петровские време-

на думного дьяка Автонома Ивановича Иванова, руководившего Иноземным, Поместным, Рейтарским и Пушкарским приказами. Еще молодой женщиной она овдовела, оставшись после мужа ротмистра Конной гвардии Глеба Салтыкова с двумя детьми, Федором и Николаем. Ей принадлежали имение Троицкое в Теплом Стане и каменный дом в Москве на Сретенке. В конце 50-х годов по Первопрестольной начали витать слухи о зверствах, творимых вдовой, шепотом рассказывали о пытках и убийствах, но никто ничего толком не знал.

Доведенные до отчаяния крепостные Салтыковой подали несколько жалоб, но московские чиновники были подкуплены богатой барыней. В качестве взяток они получали от нее не только деньги, но и возы сена, овес, муку, гусей и уток. Даже обнаруженное тело дворовой девушки, которую убийца обварила кипятком, было сокрыто. «Вы мне ничего не сделаете! — в исступлении кричала Салтыкова на схваченных жалобщиков. — Мне они все (полицейские чиновники. — *О. Е.*) ничего не сделают и меня на вас не променяют!»<sup>20</sup>

У преступницы были основания так говорить. В середине XVIII столетия Москва оказалась как бы изъята из зоны действия законов империи. Коррупция административного аппарата достигла таких размеров, что не только дворовые Салтыковой, всякий мирный обыватель жил и дышал с опаской. Сращивание полиции с воровским миром старой столицы произошло неприметно. Зимой гуляющий люд стекался в Первопрестольную со всех концов России, с ярмарок, перевозов, из лесов, где промышлял летом, чтобы пересидеть холодное время года, приобрести ружья и порох, а взамен отдать перекупщикам награбленное. Главный разбойничий притон находился под Каменным мостом, в непосредственной близости от Кремля. Как Двор чудес в Париже, он мог существовать только под покровительством властей, которые получали долю с воровских оборотов. Гуляющие люди, разбойники, проститутки, скупщики краденого наводнили город. Способ борьбы с ними оказался страшнее самой болезни. Знаменитый вор Иван Осипов по кличке Ванька Каин

предложил властям услуги по поимке бывших товарищей. В 1741 году он перешел в полицию, выдал своих соперников по разбоям, а расправившись с крупными воротилами преступного мира, сколотил шайку и грабил богатые дома. Его деятельность оставалась безнаказанной, пока под давлением самого генерал-полицмейстера А. Д. Татищева, жившего в Петербурге, не началось следствие. Вопреки ходатайству некоторых знатных персон Москвы Каин был осужден в 1755 году на смертную казнь, замененную каторгой<sup>21</sup>.

Московские обыватели вздохнули спокойнее, именно тогда и начинают распространяться слухи о зверствах Салтыковой. Ее дела всплыли как бы следом за приговором Каину, и не удивительно, что задаренные взятками московские чиновники в одно и то же время покрывали грабежи, разбой и убийства. У семи нянек дитя без глаза. За порядок в Москве отвечали Полицмейстерская канцелярия, Сысканой приказ, секретная Тайная контора. Ни одно из этих учреждений не попыталось возбудить уголовного дела против Салтыковой. Ее крестьяне признавались лжедоносчиками, наказывались кнутом и возвращались помещице...

Однажды шестеро дворовых решили добратся до Московской сенатской конторы. Барыня послала погоню, но то ли товарищи гнались за челобитчиками неусердно, то ли жалобщики бегали быстрее, во всяком случае им удалось достичь ближайшей полицейской будки и закричать: «Караул!» После чего беглецов арестовали и отвели на съезжий двор. Милостивцы-чиновники попытались выручить Салтыкову, ведь раскрытие ее дела ударило бы и по ним. Ночью арестантов в колодках повели как будто в Сенатскую контору. Заметив, что караул сворачивает к Сретенке, где был дом Салтыковой, крестьяне закричали: «Дело государево!» Конвойные испугались и вернулись в полицию<sup>22</sup>. Здесь арестанты могли сидеть сколь угодно долго или вновь быть избалованными в ложном доносе.

Однако время уже работало против убийцы. Летом 1762 года два крепостных Салтыковой отправились искать правды в столицу. Там им несказанно повезло: сразу же после переворота 28 июня 1762 года они

сумели подать жалобу лично Екатерине II. С этого, собственно, и началось расследование, вскрывшее чудовищные факты. Согласно челобитной дворового Николая Ильина стало известно, что барыня убила одну за другой трех его жен. Он же показал, что всего помещицей замучено около ста душ. На следствии удалось доказать причастность Салтыковой к тридцати семи убийствам, в остальных случаях недоставало улик. Но и эта цифра потрясала. Стандартным обвинением в адрес несчастных была «нечистота в мытье платьев и полов».

Крестьяне соседних деревень подтвердили, что видели летом, как дворовые Салтыковой везли в лес хоронить тело Феклы Герасимовой. Сопровождавшие рассказывали, что «девка та убита помещицею, и они видели на теле ее с рук, и с ног кожа, и с головы волосы сошли». Салтыкова обварила дворовую кипятком, приказала сечь розгами, потом била скалкой, заставляя снова и снова мыть полы, хотя жертва уже не держалась на ногах. Эта сцена, повторявшаяся многократно с разными женщинами, позволяет заподозрить у Салтыковой особую форму психоза, связанную с грязью, — при ней человек боится замарать руки, не может прикасаться к предметам без перчаток и т. д. Весной 1759 года после поездки на богомолье в Киев (Салтыкова, как и многие изуверы, считала себя религиозным человеком) помещица заехала в имение и убила девку Марью Петрову. По приказу госпожи гайдук избивал провинившуюся ежальым кнутом, загнал по горло в пруд, с которого едва сошел лед, после чего снова заставил мыть пол. «Но от таких побоев и мучений она мыть уже не могла, и тогда помещица била ту девку палкою... и от тех побоев та девка Марья в тех же хоромах того же дня умерла»<sup>23</sup>. Свидетели показали, что, когда другую забитую до смерти дворовую, Прасковью Ларионову, повезли хоронить, стоял сильный холод. На труп несчастной бросили ее грудного ребенка, который замерз.

У Салтыковой проявлялись типичные черты садистки: при виде крови и страданий она распалаялась. Смерть жертвы приносила ей облегчение и временное успокоение. В литературе существует суждение, что садизм развился у Салтыковой на почве сексуальной неудовлетво-

ренности. Действительно, она осталась без мужа двадцати пяти лет от роду. Однако тысячи вдов жили в своих имениях мирно. В столь же раннем возрасте лишилась любимого супруга Е. Р. Дашкова — какой разительный пример вдовства! К тому же Салтыкова вовсе не была обделена вниманием противоположного пола. В конце 50-х годов она сошлась с капитаном Николаем Андреевичем Тютчевым (дедом поэта), который занимался межеванием и проводил топографическую съемку земель к югу от Москвы, по Большой Калужской дороге.

Неизвестно, как долго продолжался их роман, знал ли офицер об ужасах, творимых возлюбленной и почему не донес? Перед Великим постом 1762 года Тютчев изменил Дарье Николаевне и посватался к ее соседке девице Пелагее Денисовне Панютиной. Мстить обманутой Салтыковой не заставила себя долго ждать. Она решила взорвать московский дом Панютиных, когда там будут находиться жених и невеста. В начале февраля конюх Салтыковой Алексей Савельев купил по ее поручению в Главной конторе артиллерии и фортификации пять фунтов пороху. Другому конюху Роману Иванову было велено подоткнуть сверток со взрывчатым веществом под застреху дома и поджечь. Однако тот отказался, за что был выпорот. На следующий день Салтыкова вновь отправила его к городской усадьбе Панютиных за Пречистенскими воротами, приставив для верности дворового человека Сергея Леонтьева. Но и он не захотел взрывать дом. Крестьяне вернулись к госпоже с повинной и были биты батогами<sup>24</sup>.

Между тем жених с невестой отправились в Брянский уезд, где Панютина владела имением Овстуг с двадцатью душами. Их дорога пролегла по Большой Калужской дороге. За Теплым Станом Салтыкова устроила засаду — Тютчева и Панютину поджидали дворовые с ружьями. Но предупрежденный капитан написал челобитную в Судный приказ, где ему выдали конвой на четырех санях с дубьем. Нападать на конвой Салтыкова не решилась. Изменник и разлучница выскользнули из ее рук. Можно только догадываться, в каком исступлении пребывала Дарья Николаевна после неудачи и кто расплатился за бегство влюбленной пары.

Начало следствия оказалось для Салтычихи полной неожиданностью. Она свято верила в свою безнаказанность и отрицала вину. Но запирательство ни к чему не привело. Улик было более чем достаточно. В 1768 году Салтыкову лишили дворянского достоинства и имени, ей запрещалось носить фамилию мужа и отца. Она была приговорена к смертной казни, замененной пожизненным заключением. Перед этим Салтыкову подвергли так называемой гражданской казни. Ее выставили в цепях на Красной площади у позорного столба с прикрепленным к шее листом «Мучительница и душегубица»<sup>25</sup>. После чего в кандалах осужденную посадили в подземную тюрьму Ивановского девичьего монастыря, чтобы «лишить злую ее душу в сей жизни всякого человеческого сообщества, а от крови смердящее ее тело предать Промыслу Творца»<sup>26</sup>.

В низком погребе преступница пребывала в полной темноте, пищу ей подавали со свечой, которую тут же гасили, как только она брала хлеб. Там Салтыкова провела 11 лет, после чего в 1779 году была переведена в застенки на поверхности земли с тыльной стороны монастырского храма. Любопытные приходили поглазеть на нее через решетку, она рычала и с криками бросалась на прутья. Видимо, к этому времени заключенная окончательно лишилась рассудка. По некоторым сведениям, в тюрьме Салтыкова родила ребенка от своего караульного. Скончалась она в 1801 году, так и не раскаявшись в содеянном. В общей сложности ей довелось просидеть под замком 34 года, ни разу не мывшись и почти не видя человеческих лиц. Страшная участь.

Историки, работавшие с делом Салтыковой, знают, что оно никогда не было бы доведено до суда без настойчивого вмешательства императрицы, постоянно подталкивавшей Сенат. И так расследование затянулось на шесть лет. Опытные чиновники старались замочить процесс не из любви к изуверке, а из опасения будоражить народ, вынося сор из избы. Для этого были основания: даже не сам суд, а только арест барыни вызвал к жизни поток жалоб, о котором идет речь в указе 1767 года. Изветы дворовых на генерала Леонтьева, ге-



неральшу Толстую, подполковника Лопухина и бригадира Олсуфьева оказались ложными, бар не уличили ни в «изменном деле», ни в покушении на «государское здоровье». После чего воспоследовали повторное разъяснение и дополнение к указу<sup>27</sup>. Но остановить доносы было труднее, чем их спровоцировать. Сложилась ситуация, обратная той, которая обычно излагается в историографии: возросшее число жалоб и заставило освободить от них *собственные ее императорского величества руки*. Их рассмотрением занимались разные органы от Тайной экспедиции Сената до канцелярий полицмейстерских дел, губернских правлений, нижних земских судов и т. д. Часто документы кочевали от инстанции к инстанции, что до бесконечности затягивало расследование. Однако общая тенденция изменилась — отношения помещиков с крестьянами стали сферой применения уголовного права.

### *«Тогда была в доме бироновщина»*

Наказание Салтыковой было в известной степени воспитательной мерой. Власть демонстрировала, что не будет равнодушно смотреть на преступления подобного рода. Крепостной человек — такой же подданный, как и любой другой. Однако у произошедшего есть характерная черта, на которую обычно не обращают внимания. Салтычиха перешла границы дозволенного не только в отношении дворовых. Жертвами ее злодейства чуть было не стали равные ей по рождению Тютчев и Панютина. История с неудачным взрывом — лишь эпизод следственного дела. Не самый важный с точки зрения обвинений, ведь он не повлек смертоубийства. Но мы задерживаем на нем взгляд читателя именно потому, что в других известных нам случаях жестокого обращения помещиков с людьми тоже фигурируют не одни крепостные.

Хорошо знакомая нам Сабанеева описывала своего предка-самодура: «К первым воспоминаниям детства я должна непременно отнести потрет моего прадеда Алексея Ионовича Прончищева. Портрет этот висел в

гостиной над диваном... Прадед на этом портрете изображен в мундире секунд-майора екатерининских времен. Лоб у него высокий, глаза карие, брови слегка сдвинуты над переносьем, линия носа правильная и породистая, углы рта, нагнутые немного вниз, придают лицу выражение не то презрительное, не то самоуверенное. Судя по портрету, прадед был красив... Но матушка моя раз заявила, что, слава Богу, этого красавца нет более в живых. Затем я стала замечать, что воспоминания о прадедушке принимались всеми особенно странно в нашем доме: люди говорили о покойном, понижая всегда голос, точно они боялись, что он с того света услышит их. Основанием к тому был его характер: жесткий, неукротимый и деспотичный. Матушка, вступая в дом своего супруга, завела совсем новые порядки, многое смягчила и нас воспитывала в своем духе относительно крепостных людей. Она говорила, что тогда была в доме бироновщина!»

От самодурства помещика в равной степени страдали как крепостные, так и семья. Мы уже приводили рассказ о том, как Прончищев поступил с сыном, женившимся без благословения (молодых поселили в избе на скотном дворе). Из-за его выходок несколько человек повредилось в рассудке, и первой была жена Алексея Ионовича — Глафира Михайловна Бахметева.

«Знаю, что между нею и супругом произошла какая-то драма. Слышала я, что прадедушка сильно оскорбил свою супругу, затем Бог взыскал ее тяжкою болезнью, и она лишилась рассудка. Но умопомешательство ее было тихое; она жила в доме мужа в отдельных покоях, из которых никуда не выходила. У нее был свой штат прислуги, и она была как дитя: ничего для себя не требовала, почти ни с кем не говорила. Единственным ее занятием было вязание кошельков из тончайших ниток.. В доме ее почитали за юродивую о Христе; в понятии домочадцев она была отмечена как взысканная от Бога и служащая Его Святой Воле своими страданиями. Супруг при всем своем деспотизме должен был подчиниться удалению из ее присутствия; в ней... его появление возбуждало страх, смешанный с порывами гнева. Он избегал показываться ей на глаза, однако раз на-

всегда было им приказано, чтобы барыню покоили. В 1812 году перед Бородинскою битвою прадед с семьей собирался выехать из имения в Вологду. Французы были в десяти верстах от Богимова. Когда все было готово к отъезду, Алексей Ионович приказал нести барыню в приготовленную для нее карету, но она кричала и не соглашалась покинуть свои комнаты. Супруг тогда бросился перед нею на колени и говорил:

— Глафирушка, ты погибнешь, кто защитит тебя от врага?

Она скинула с головы одеяло, взглянула на него и говорит:

— Вот моя защита, — при этом она указала на икону Василия Великого, которою ее благословили при замужестве. Так и должны были оставить ее в Богимове, тогда как вся семья уехала в вологодское имение. В Богимове, говорит предание, стекла в доме были выбиты от пушечной пальбы. Приходили также мародеры, забрали много съестного, но барыни не тронули». Этот рассказ мемуаристка записала со слов старой Пелагеи, сенной девушки ее прабабки, которая также пострадала от Прончищева.

«Помню, что во время грозы Пелагея брала всегда из киота икону св. Николая Чудотворца, зажигала восковую свечу и обходила несколько раз вокруг дома, творя молитву. Мы всегда думали, что и Пелагея особенно угодна Богу. Она была кривая, и вот, будучи еще ребенком, бывало, спросишь ее:

— Пелагеюшка, отчего у тебя глазок кривой?

— Это, барыня-сударыня, — отвечает она, — прадедушка ваш Алексей Ионович изволил выколоть.

Была еще у нас юродивая в Богимове. Эту, говорили, прадедушка чем-то напугал. Звали ее Дарьей Ильиничной. Вероятно, она тоже была очень стара, но до чего стройна и пряма!.. Улыбка на лице какая-то детская, одета чисто и коса заплетена. И какая же она работающая! Ежедневно ходила она за водой за две версты по несколько раз в соседнюю рощу, где был ключ отличной студеной воды... Матушка скажет ей:

— Дарья Ильинична, ты стала слаба, небось стара; зачем тебе воду таскать?



Портрет графини А. А. Орловой-Чесменской. *И. Б. Лампи Старший.*  
*Около 1796 г.*



Портрет  
Е. И. Голенишевой-  
Кутузовой.  
Л. Гуттенбрунн.  
1797 г.



Часы напольные. Англия. Конец XVIII в.

Стенник. Россия. XVIII в.





*Сбор винограда. Фарфор.  
Германия. Мейсен. 1770-е гг.*



*Портрет графини А. М. Воронцовой.  
П. А. Ротари. До 1761 г.*

*Кресло. Россия. Вторая  
половина XIX в. по образцу  
последней четверти XVIII в.*



*Столик-«бобик» наборного дерева.  
Россия. 1780-е гг.*





Медальон с портретом  
И. М. Муравьева-Апостола  
и прядями волос его детей.  
*Д. Босси. 1790-е гг.*

Шкатулка музыкальная. ►  
*Мастер Ф. Жубер. Франция.  
Вторая половина XVIII в.*



Пажеский его императорского  
величества корпус.  
*М. Иванов. 1846 г.*





Портрет девочки. *М. Сергеев.*  
*Середина XVIII в.*

Карета с кучером  
(игрушка). *Россия.*  
*Мастер П. Швиндт.*  
*1756 г.*



Александрово-Невская лавра. *Дж. Кваренги.* 1780-е гг.







Портрет молодого человека. *М. Л. Колокольников. 1780-е гг.*



Фляга.  
*Первая половина XVIII в.*  
Штофы.  
*Вторая половина XVIII в.*

Книги из библиотеки Екатерины II.  
*Вторая половина XVIII в.*



Пушка салютационная  
на деревянном двухколесном  
лафете. Модель П. Федорова,  
П. Исаева. Конец XVIII в.



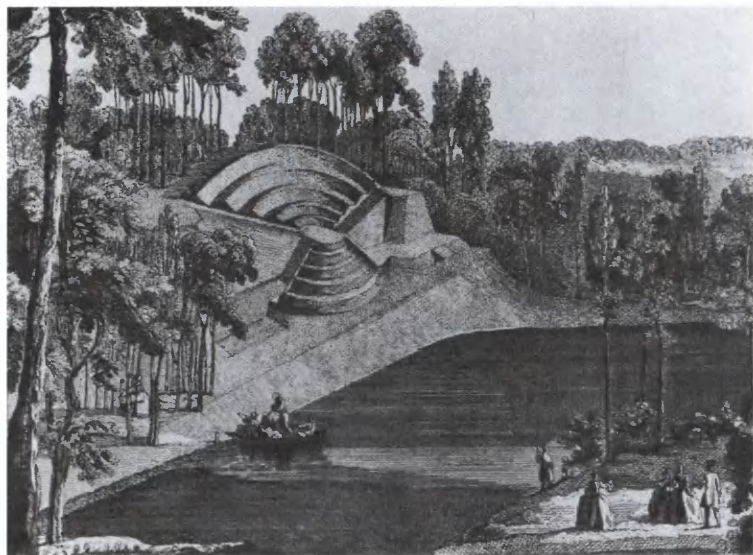


П. И. Ковалева-Жемчугова  
в роли Элианы. *И. П. Аргунов*



Т. В. Шлыкова-Гранатова  
(в роли молодой самнитянки?).  
*И. П. Аргунов*

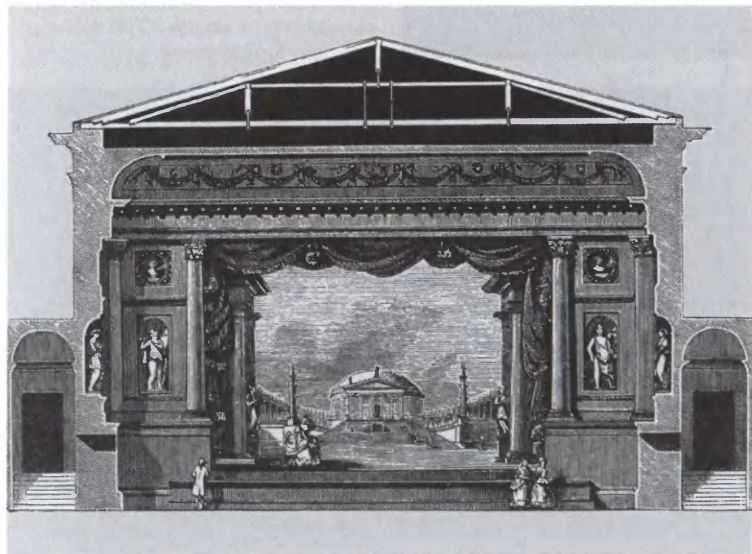
Зеленый театр в одной из усадеб. *XVIII в.*





Эскиз костюма героини (Розамунды) и героя (Арминьо)  
для музыкально-драматического спектакля 1770-х годов. *Л. Марини*

Эрмитажный театр. *Гравюра. XVIII в.*





Солонки. Россия.  
1779, 1820, 1813 гг.



Портрет неизвестной пожилой дамы  
с шалью. Неизвестный художник.  
1820—1830-е гг.

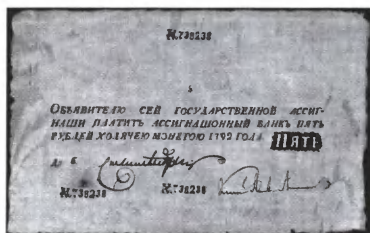
Наказание плетью в Тайной  
канцелярии в конце XVIII века.  
Гравюра К. Гейслера



Русский крестьянин в XVIII веке.  
*Гравюра Дальстена*



Пятирублевая ассигнация.  
1792 г.



Извозчицьи сани  
в конце XVIII века.  
*Офорт Шефнера*





Портрет Е. Р. Дашковой.  
*Неизвестный художник. 1780-е гг.*

Бра на три свечи. *Россия. XVIII в.*

Гулянье в Сокольниках. *Гравюра с картины Ж. Делабарта. Конец XVIII в.*





Титульный лист книги И. И. Бецкого «Учреждение Императорского Воспитательнаго для приносных детей дома и госпиталя для бедных родительниц в столичном городе Москве». 1767 г.

Народные увеселения в Петербурге времен Екатерины II.  
*Гравюра Ходовецкого с рисунка Майера*







Грелка перед  
Зимним дворцом,  
устроенная  
по приказанию  
Екатерины II.  
*Акварель Гейслера.  
Конец XVIII в.*

Императорская  
Академия  
художеств  
в Петербурге.  
*Т. Малтон по рис.  
Дж. Хирна. 1789 г.*





Уличный продавец зелени  
в Петербурге. Гравюра Шенберга.  
Конец XVIII в.



Городские сторожа ночью  
в Петербурге. Гравюра Аткинсона.  
Конец XVIII в.

Вид на здание Московского университета.

Копия с акварели 1790-х гг. неизвестного художника. Конец XVIII в.





Портрет великой княгини Марии Федоровны.  
*И. Г. Пульман. 1782—1787 гг.*

— Не замай! — отвечает она. — Бог труды любит.

И глядишь, идет снова в рощу маленькой тропинкой»<sup>28</sup>.

В этой истории рассказ о жестокости прадеда оттенен такими простыми и трогательными деталями деревенского быта, что особенно царапает душу. Люди, перешедшие грань нормального поведения с окружающими, уже не делали различия между дворовой девкой и женой, сыном и скотником. И наоборот, хозяева, вроде матери мемуаристки, были сердечны как со своими детьми, так и со слугами.

Соседи-помещики избегали господ вроде Прончищева, не чувствуя и себя в безопасности от их выходов. Янькова описала одного барина, обитавшего недалеко от имения ее мужа Горки: «В четырех верстах от нас в сельце Шихове жил тогда старик Бахметев, Петр Алексеевич: человек старого закала, предерзкий и пренеобтесанный... Старик был очень нескромен в обхождении, да и в разговоре тоже слишком свободен; словом сказать, был старый любезник... У него в деревне был по ночам бабий караул: поочередно каждую ночь наряжали двух баб караулить село и барские хоромы; одна баба ходила с трещоткой около дома и стучала в доску, а другая должна была ночевать в доме и дежурить изнутри. Хорош был старик, нечего сказать! Мудрено ли, что после этого от него жена бежала...

Он приехал однажды к нам; я не вышла, сказалась нездоровую.

— А где же барыня-то? — спросил он.

— Нездорова, не выходит, — отвечал мой муж.

— Ну, так я сам к ней пойду.

— Нет, Петр Алексеевич, не трудитесь, нельзя, она в постели.

— Экой ты, братец, чудак какой, чтобы старика не пускать.

И больше он у нас не бывал»<sup>29</sup>.

Кажется, что тут особенного по сравнению с Салтычихой? Но дело в принципе. Старый селадон, требующий к себе крепостных баб на ночь, и молодую помещицу-дворянку не оставляет своими сальностями.

Вернемся к делам о душегубстве. В 1767 году орловский помещик Шеншин соорудил у себя в деревне Шумово застенок, где подвергал провинившихся крестьян пытке на дыбе. Во время следствия обнаружилось, что от его рук пострадало 59 человек, среди которых были и свободные: однодворец, подканцелярист, священник соседнего села. Приехав в 1769 году в Москву, злодей повздорил с купцом, велел избить его батогами и посадить в чулан. Выйдя оттуда, купец напрямик направился в полицию, и Шеншин оказался под судом. На что же смотрели орловские власти? Видимо, до них еще не дошли новые веяния.

В 70-х годах администрация действовала шустрее, если преступления обнаруживались в городах, но до сельских глубин рука правосудия дотягивалась только в том случае, если о жестокости тамошних помещиков становилось известно. Глушь и дальние расстояния охраняли изуверов. Это хорошо заметно в деле ярославского помещика Шестакова. В 1779 году, живя в городе, он вздумал избить плетьюми дворового, которого отвезли в больницу, а барина взяли под стражу. Эта мера не подействовала на него: напиваясь, он впадал в бешенство и гонялся за дворовыми с ножом. Те отправились с жалобой по начальству, заявив, что Шестаков, будучи вечно пьян, «людей своих сечет днем и ночью». Второго избитого им холопа доставили сначала для освидетельствования в участок, а оттуда в больницу. Чтобы избежать разбирательства, барин уехал в деревню. Посланную за ним драгунскую команду он обстрелял из окна, после чего открыл огонь по находившимся во дворе крестьянам. Чуть ранее нижний земский суд Любимовского уезда, вызванный им для усмирения крестьян, не нашел в селе бунта, зато обвинил Шестакова в «развратном и непристойном поведении» и взял с него подписку «вести себя порядочно». Чего Шестаков, конечно, не исполнил. Наконец по доносу хозяина дома в Ярославле и еще троих независимых свидетелей он попал под суд.

В 1782 году тамбовский помещик Лизунов ударил ножом корнета Малахова, который, будучи проездом в его деревне, стал упрекать хозяина за то, что тот засек насмерть нескольких крепостных. Это послужило на-

чалом расследования<sup>30</sup>. Было бы естественно ожидать, что в подобных ситуациях дворяне проявляли сословную солидарность. Однако соседи — не чиновники, которым можно дать взятку. Большинство разыскных дел возбуждено именно по требованию окрестных помещиков, которые опасались, что крестьяне, принадлежащие изуверам, взбунтуются и спровоцируют неповиновение их собственных крепостных. Последние всегда были недовольны барщиной и оброком. Не стоило подносить спичку к соломе, от одного самодура мог пострадать целый уезд.

В 1786 году во Владимирской губернии генерал-губернатор граф Салтыков начал дело против помещика Карташова по обвинению в жестоком обращении с людьми. Был произведен обыск, от соседних помещиков собраны сведения. 164 человека заявили, что видели, как крестьяне Карташова ходят по ночам просить милостыню, и слышали от них о побоях и мучительстве. Полторы сотни жителей деревни Карташова ударились в бег, их дома стояли пустыми и разваливались. Понятно, что милостыню крепостные просили не только под барскими окнами. Демонстрируя свои увечья, они способны были вызвать возмущения и в спокойных селах. Беглые же, скитаясь по губернии, представляли собой горючий материал. Поэтому повязать злодея по рукам и ногам часто было в интересах самих помещиков<sup>31</sup>.

Читая уголовные дела того времени, невозможно провести грань между жестокостью по отношению к крепостным и свободным. Салтыкова хотела взорвать любовника с невестой, Прончищев измывался над женой и сыном, Бахметев не делал различия между карательной бабой и соседкой благородного происхождения, Шеншин вздернул на дыбу священника и приказал выпороть купца, Шестаков стрелял по драгунской команде, Лизунов пытался зарезать корнета. Не слишком ли часто при изучении подобных дел человеческое подменяется социальным? Можно возразить, что дворовым было куда труднее защитить себя. Но мы потому и знаем о происходивших жестокостях, что эти дела расследованы, а по приговорам суда господа Шестаковы отправились в Сибирь на каторжную работу без срока.

Образ барина, который в своем кругу танцует менуэт и говорит по-французски, а едва попав в поместье, превращается в зверя и мучает крепостных, умозрительен. Скрыть потерю человеческого облика невозможно. От злодея пострададут родные, домочадцы, соседи, проезжие... Эта особенность в поведении барина-самодура хорошо подмечена Пушкиным в «Дубровском»: Троекуров не только тиранит своих людей, но и выпускает медведя на учителя-француза Дефоржа, под именем которого скрывается главный герой.

У Троекурова был реальный прототип — богатый рязанский и тульский помещик генерал Лев Дмитриевич Измайлов, родившийся в 1764 году и куролесивший на своих землях четыре царствования подряд. Выйдя в отставку, он не без подкупа стал рязанским предводителем дворянства, благодаря чему завязал самые тесные отношения со всей местной администрацией. Покровительство высших по чину и страх низших долго позволяли ему оставаться безнаказанным.

Его бесшабашная удаль, широкое барство и крутой нрав вызывали смешанное чувство трепета и восхищения. Одаривая и карая, Измайлов не делал различий между собственными холопами, местными чиновниками, соседями-дворянами, купцами — на всех простиралась его власть. Однажды он пожаловал исправнику тройку с экипажем и тут же заставил самого выпрячь лошадей и на себе под свист арапника отволочь карету в сарай. Мелкого стряпчего могли высечь на конюшне и посадить на хлеб и воду в подвал. Одного соседа-помещика по его приказу привязали к крылу ветряной мельницы. Другого вымазали дегтем, обваляли в пуху и с барабанным боем водили по деревне. Иной раз под горячую руку Измайлов травил гостей волками и медведями. Напоив мертвецки человек 15 небогатых соседей, он приказывал посадить их в большую лодку на колесах, привязав к обоим концам по медведю, и спустить с горы в реку.

Редко встречая сопротивление, самодур, как и пушкинский Троекуров, высоко ставил людей, умевших постоять за себя. Однажды высеченный им чиновник

позвал генерала крестить первенца, а после купели велел своим крепостным выпороть крестного отца. Смелость чиновника так потрясла Измайлова, что он, вернувшись домой, сразу отписал крестнику деревню в подарок.

В самом начале царствования Александра I, в 1802 году, император отдал негласное распоряжение тульскому губернатору «разведать справедливость слухов о распутной жизни Л. Д. Измайлова», но тем дело и кончилось. Во время войны с Наполеоном отставной генерал, потратив миллион рублей, сформировал рязанское ополчение, возглавил его, сражался с французами и даже участвовал в заграничном походе. Его кипучая натура жаждала событий и крайностей. Повздорив с военным генерал-губернатором Рязанской, Тульской, Тамбовской, Орловской и Воронежской губерний А. Д. Балашовым (прежде министром полиции), Измайлов в 1818 году согнал за одну ночь на земли врага сотни крепостных, которые вырубил у того весь строевой лес и сплавили его по реке в измайловские вотчины. В это время Балашов был членом Государственного совета и весьма влиятельным лицом, однако возбужденное им дело тянулось восемь лет.

В 1826 году «дворовые женки» подали на Измайлова жалобу в Сенат, а для верности и самому государю. Знаменательно, что сенатский экземпляр не сохранился, а вот послание Николаю Павловичу осталось для истории. «Мы не осмеливаемся донести вашему величеству подробно о всех жестокостях господина нашего, от коих и теперь не менее сорока человек находятся, после претерпенного ими телесного наказания, в тяжких земляных работах, и большая часть из них заклепаны в железные рогатки, препятствующие несчастным иметь покой и в самый полуночный час... Он жениться дворовым людям не позволяет, допуская девок до беспутства, и сам содержит в запертых замками комнатах девок до тридцати, нарушив девство их силою... Четырех человек дворовых, служивших ему по тридцати лет, променял помещику Шебякину на четырех борзых собак»<sup>32</sup>.

Незадолго до получения жалобы, в марте 1826 года, молодой император издал запрет помещикам приме-



нять «железные вещи» для наказания крепостных. Имелись в виду кандалы, цепи, рогатки, надевавшиеся на шею. Николай I приказал произвести проверку доноса и предать Измайлова суду. Но следствие затянулось на два года и, если бы не настойчивость высочайшей инстанции, никогда не было бы доведено до конца. Из губернского правления, покрывавшего Измайлова уже не первый десяток лет, был прислан советник Трофимов, который доложил, что обнаруженные им в подвале рогатки якобы покрыты ржавчиной, следовательно, уже давно не употребляются.

Однако легковерием новый император не отличался. Одновременно с советником губернского правления на месте инкогнито побывал жандармский полковник Шамин, нашедший рогатки и цепи в полном порядке на шее и на руках несчастных. Он же узнал, что Измайлов «дал взаймы» Трофимову 15 тысяч рублей. Тульский губернатор Трейбут получил высочайшее повеление произвести расследование. Однако сопротивление местного аппарата было таково, что Измайлов, даже преданный суду, оказался оправдан, а его дворовые биты кнутом и заключены в острог.

Переупрямить императора не удалось. Он приказал заново произвести суд, теперь уже в Рязани. Рязанский губернский суд снова оправдал генерала и добавил к уже сидящим в тюрьме еще несколько человек. Сопротивление чиновников по делу Измайлова поражает глухим упорством. Речь шла о прямом неповиновении государю. Описываемый случай показывает, в какую стену каждый раз упиралось правительство при попытке наказать жестокого владельца крепостных душ. Видимо, местные власти надеялись, что дела отвлекут высочайшее внимание и расследование удастся замотать, как уже случалось не раз.

Однако этого не произошло. В феврале 1828 года по именному повелению имения Измайлова были переданы в опеку. На него самого наложен штраф и взысканы судебные издержки в тройном размере. Дворовых Измайлова выпустили из тюрьмы, а над местными чиновниками учинили суд. Кому-то, благодаря столичному покровительству, удалось выкрутиться. Кто-то, памятуя

о старых заслугах времен войны, отделался строгим выговором. Но в целом был произведен «превеликий шум».

Можно подумать, будто за шестьдесят лет со времен Салтыковой ничего не изменилось. Это не так. Расследуемые во второй половине XVIII века преступления помещиков — главным образом дела об убийствах. Генерал Измайлов никого не убивал. Дворовые жалуются на содержание им гарема, порку и употребление рогаток — за полвека до того им и в голову не пришло бы привлечь барина к ответу по таким обвинениям. Смягчение нравов расширило само понятие «жестокости обращения». То, что вчера казалось обыденным, сегодня стало наказуемым.

С другой стороны, дело Измайлова, хоть и не такое зверское, как дело Салтыковой, имеет сходные черты. Во-первых, уже рассмотренное нами безграничное самодурство, при котором все окружающие от крепостных до министра становятся жертвами буйного нрава подследственного. Во-вторых, молчаливое, но упорное сопротивление местных чиновников, рассчитывающих, что верховная власть отступит. Нужно было обладать сердцем Екатерины II и волей Николая I, чтобы переламывать подобное противоборство.

### *Уголовная хроника*

Представьте себе книгу о быте и нравах, созданную на основе уголовной хроники. По меньшей мере, она будет неполна. Растворенное в обыденной жизни зло предстанет в концентрированном виде. И тогда физиономия любой эпохи исказится до неузнаваемости. Об этом писал Пушкин в заметках «Путешествия из Москвы в Петербург». Беседа с воображаемым попутчиком-англичанином, поэт вкладывал в его уста такие слова: «Злоупотреблений везде много. Прочтите жалобы английских фабричных работников — волосы встанут дыбом. Сколько отвратительных истязаний, непонятных мучений! какое холодное варварство с одной стороны, с другой — какая страшная бедность! Вы подумаете, что

дело идет о строении фараоновых пирамид, о евреях, работающих под бичами египтян. Совсем нет: дело идет о сукнах г-на Шмидта или об иголках г-на Томпсона. В России нет ничего подобного.

Я. Вы не читали наших уголовных дел.

Он. Уголовные дела везде ужасны; я говорю вам о том, что в Англии происходит в строгих пределах закона, не о злоупотреблениях, не о преступлениях...»<sup>33</sup>

Действительно, все ужасные деяния, отмеченные русской уголовной хроникой XVIII века, творились *вне закона*. И только потому попали в судебные архивы. Но речь у нас не об «иголках г-на Томпсона», а о псарне господ Простаковых. То, что английский простолюдин жил плохо, не значило, будто русский — благоденствовал. Вернемся к уголовной хронике.

В делах о жестоком обращении с крепостными есть еще одна черта, на которую не принято обращать внимание. Значительная их часть содержит обвинения в сглазе, порче, привороте и т. д. Со слов помещика, пострадавший дворовый неизменно оказывался участником неких ведовских действий. Он покушался на жизнь, здоровье и семейное благополучие барина посредством зелий, корений, заговоренной соли или тайного питья, которое подмешивал в пищу.

Психологическая обстановка этому благоприятствовала. Многие мемуаристы вспоминали о крайнем легковерии, с которым люди того времени относились к подобным вещам. Янькова приводила в пример свою бабушку, дочь историка Татищева, женщину весьма образованную и все же... «Бабушка Щербатова была очень... суеверна и имела множество примет... Так, например, ежели она увидит нитку на полу, всегда ее обойдет, потому что “Бог весть, кем положена эта нить, и не с умыслом ли каким?”. Если круг на песке где-нибудь в саду от лейки или от ведра, никогда не перешагнет через него: “Нехорошо, лишаи будут”. Под первое число каждого месяца ходила подслушивать у дверей девичьей и по тому, какое услышит слово, заключала, благополучен ли будет месяц или нет. Впрочем, девушки знали ее слабость и, когда слышат, что княгиня шаркает ножками, перемигнутся и тотчас заведут такую речь, которую

можно бы ей было истолковать к благополучию, а бабушка тотчас и войдет в девичью, чтобы захватить на слове.

— Что вы такое говорили? — скажет она.

Девушки притворяются, будто и не слыхали, как она вошла, и наговорят ей всякого вздора, и потом прибавят:

— Это, государыня княгиня, знать, к благополучию.

Она верила колдовству, глазу, оборотням, русалкам, лешим; думала, что можно испортить человека, и имела множество разных примет. Зимой, когда запорошит окна, рассматривала узоры и по фигурам тоже судила: к добру или не к добру. Очень понятно: живали в деревне, занятий не было, вот они сидят и придумывают себе всякую всячину»<sup>34</sup>.

Эта всячина могла быть и небезопасной. В 1763 году смоленский шляхтич Высоцкий посадил под караул одного из своих крестьян с женой и сыном. Он заковал их в колодки, сек батогами, а женщину пытал раскаленными щипцами, отчего она на четвертый день умерла. Во время расследования в губернской канцелярии, а затем в военном суде Высоцкий рассказал, что летом того года у него начались рези живота и «в голове помрачение», соседи стали намекать ему, будто он испорчен. Помещик допросил дворовых, как водится не без порки, и один из них — 17-летний юноша — оговорил отца и мать. По словам парня, они давали ему какую-то траву, которую он подсыпал в еду барина. Тогда Высоцкий взял семью «колдуна» под арест и добивался от них, «чтобы они в здоровье его выпользовали». Суд не поверил преступнику, его лишили дворянства, права называться прежней фамилией, подвергли гражданской казни, выведя на эшафот и положив на плаху, после чего заклеямили на лбу первой буквой слова «убийца» и сослали на каторжные работы бессрочно.

Чуть позже, в 1766 году, в воеводской канцелярии Любимского уезда расследовали дело об убийстве помещиком Тарбеевым своей дворовой женщины. Взятый под стражу барин показал, что покойная в течение трех недель была в бегах. Разбирая оставшуюся после

нее работу, нашли какой-то корень. По возвращении беглянка сказала, что это Петров крест, который она взяла у покойного сельского попа для приворота Тарбеева и его жены, чтобы «они к ней были добры, а между собой союза не имели». Хозяин допросил беглую, избив плетью, тогда женщина созналась, что брала у священника соль, на которую тот наговаривал, и клала барам в кушанье. Услышав это, Тарбеев испугался, схватил полено и изо всей силы ударил женщину по голове, отчего та скончалась. «А умысла к убийству ее не имел», — закончил помещик свои показания. По личной резолюции императрицы Тарбеева лишили чинов, заключили на полгода в монастырь для покаяния, где содержали на хлебе и воде, а затем сослали в Нерчинск для определенных «в простую службу»<sup>35</sup>.

Бросается в глаза разница наказаний. На фоне приговора Высоцкому участь Тарбеева кажется не столь плачевной. Высоцкий мучил арестованных четыре дня и за это время мог одуматься. А Тарбеев убил дворовую, говоря современным языком, в состоянии аффекта — от испуга. Это суд учитывал. Можно сказать, преступники специально оправдывали себя, обвиняя жертвы в колдовстве. Что, надо полагать, имело место. Однако всеобщее убеждение в могуществе нечистой силы порождало у людей чувство незащитности перед якобы нанесенной порчей и как следствие — иступленную ярость, приводившую к гибели обвиненного.

Для нас важно отметить, что случаи жестокого обращения были не столько социальным, сколько культурным феноменом, объяснялся ли он грубостью нравов или верой в колдовство. Последнее было повальным. В 1769 году орловский помещик Борзенков засек двух дворовых женщин за то, что они пытались отравить его зельем. В Петербурге вдова тайного советника Ефремова утверждала, что избитая ею дворовая девушка употребляла «ядовитое зелье». Оренбургская помещица фон Эттингер рассказывала о каком-то выжатом из капусты черном соке пополам с ледяной водой, которым пользовались ее крестьяне. При расследовании подобных дел становилось ясно, что палачи чувствовали себя жертвами и силой добивались снятия порчи.

Особняком стоит история тверского помещика Лушникова, тоже касавшаяся колдовства. На Пасху 1785 года к нему пришла с поздравлениями семья одного из крестьян. В числе домочадцев была и невестка Наталья, находившаяся уже навеселе. Похристосовавшись, хозяин и гости выпили, после чего вся семья удалилась, а Наталья осталась. Помещик выпил с ней еще и стал прогонять. Сделав шаг за порог, баба вновь вернулась. Тут Лушников, уже сильно нетрезвый, заподозрил, «не с подлогом ли каким она пришла». Подлогом называлась заговоренная вещь, которую для порчи следовало незаметно подложить в доме. «С какого умысла ты пришла и нейдешь вон? — спросил Лушников. — Никак ты еретица и хочешь известить меня?» При этом он начал бить Наталью по щекам, потом повалил на пол, связал и потребовал сказать: «Да воскреснет Бог и расточатся враги его!» Баба выговорить начало молитвы не смогла. Разозлившийся помещик схватил полено и начал охаживать ее по бокам. В комнату вбежал муж несчастной и умолял барина остановиться. Лушников велел ему усовестить жену, дабы та помолилась, но Наталья продолжала молчать. Тогда барин выгнал мужика и снова принялся за побои. Устав, он повалился на кровать и зашнул. Ночью Наталья умерла.

После расследования Лушникова приговорили к лишению чинов и дворянства, полугодовому церковному покаянию и ссылке в Сибирь на вечную каторжную работу. Эта история чрезвычайно интересна, во-первых, тем, что рисует короткость отношений помещика и его крестьянина. Приход в гости на праздник, христосование, совместная выпивка. Во-вторых, случай узнаваем: вместе пили, потом подрались, и один собутыльник убил другого. В-третьих, и это главное, Лушников, по-видимому, действительно встретил женщину, которая сознавала себя ведьмой — Наталья отказывалась произнести молитву, невзирая на побои барина и уговоры мужа. Впрочем, возможно, она просто была пьяна.

В отличие от судопроизводства предшествующего времени ни в одном из перечисленных дел рассуждения помещиков о порче, глазе и кореньях не рассмат-

ривались. Это резко контрастировало со следствиями времен Анны Иоанновны или Елизаветы Петровны, переполненными расспросами о ведовстве<sup>36</sup>. Новый стиль ведения дел диктовался, с одной стороны, просвещенческой идеологией: средневековые предрассудки не могли быть предметом обсуждения в суде. С другой — насущной необходимостью борьбы с психозом, в котором пребывало общество из-за повсеместного распространения суеверий. Отказ воспринимать ссылки на ведовство, как оправдание, и приговор, помимо прочего, включавший церковное покаяние (церковь осуждает веру в колдовство), отрезвляли тех, кто готов был вновь и вновь подавать доносы о подброшенных нитках и кореньях.

*«Господи, как мне было досадно!»*

Еще один аспект, который требует разъяснения. Жертвы помещичьей жестокости вовсе не всегда были непорочными агнцами, какими их привычно изображала историография XIX века с ее комплексом дворянской вины или советская — с ее прокурорскими амбициями. Конечно, воровство, пьянство, поджоги, лень, покушения на жизнь хозяев, сознательная порча инвентаря и продуктов могут рассматриваться как формы классовой борьбы, а могут — как пороки и преступления. Отчеты управляющих показывают, что крестьяне способны были довести до иступления и человека, весьма далекого по психотипу от Салтычихи.

В 1774 году Андрей Тимофеевич Болотов занял место управляющего в Киясовской волости Московской губернии, которую Екатерина II приобрела для своего сына от Г. Г. Орлова — Алексея Бобринского. К этому времени Болотов имел немалый опыт по ведению хозяйства, много публиковался в журнале Вольного экономического общества и был известен агрономическими экспериментами. Человек просвещенный и практичный, он менее всего был склонен к тиранству, однако на новом месте ему пришлось нелегко. Два бича — воровство и пьянство — преследовали управляющего на каждом шагу. «Господи, как было мне тогда досадно! —

вспоминал Болотов. — Будучи от природы совсем не жестокосердным, а напротив, такого душевного расположения, что не хотел бы никого оскорблять и словом, и не находя в наказаниях ни малейшей утехи... терзался я оттого досадою и неудовольствием. Но нечего было делать. Необходимо надлежало их от воровства и всех шалостей отваживать; и я скоро увидел, что добром и ласковыми словцами и не только увещеваниями и угрозами, но и самыми легкими наказаниями тут ничего не сделаешь, а надобно было употреблять все роды жестокости... Итак, сколько я ни философствовал... стали случаться такие происшествия, которые и каменного выводили из терпения».

Однажды мужики привели к Болотову вора, схваченного у мельницы с украденной мукой. Преступник уверял, что был один, тогда как караульные видели второго, но не смогли его догнать. Несмотря на показания трех свидетелей, пойманный стоял на своем, не выдавая приятеля. Управляющий велел его сечь, что мало помогло. «Наконец, когда спина его была уже ловко взъерошена, насилу-насилу повинился и сказал на одного из тутошних крестьян». Мужика нашли и привели к Болотову. Как и следовало ожидать, тот все отрицал: «не знает, и не ведает, не бывал, и не воровал». Управляющий было хотел высечь и этого подозреваемого, но его смутило равнодушие мужика: «Он с спокойным духом говорил, что хоть до смерти его засеки, а признаться ему не в чем». Болотов вызвал караульных, ловивших ночью воров, и попросил опознать второго из обвиняемых. «Нет, сударь, — сказали они единогласно, — этот совсем на того не похож, тот и ростом был гораздо выше, и борода у него маленькая». Управляющий возобновил сечение пойманного, однако вор пять раз наговаривал на ни в чем неповинных односельчан, которых одного за другим призывали к ответу. Стало быть, своего товарища по разбою вор опасался куда больше, чем порки.

«Боясь, как бы бездельника сего непомерным сечением не умертвить, вздумал я испытать над ним особое средство, — признается Болотов. — Я велел скрутить ему руки и ноги и, бросив в натопленную жарко баню, накормить его насильно поболее соленую рыбой... и



морить его до тех пор жаждою, покуда он не скажет истины». Этот способ подействовал: «Он не мог перенести нестерпимой жажды и объявил нам наконец истинного вора, бывшего с ним в сотовариществе»<sup>37</sup>. Напомним, что речь идет о времени, когда личное признание обвиняемого считалось обязательным. Однако, придумав штуку с баней, Болотов все-таки перегнул палку. Пытка в России при ведении следствия была законодательно запрещена в 1763 году, а, мучая вора жаждою, управляющий прибег именно к пытке. Если бы у обливающегося потом преступника не выдержало сердце, Андрей Тимофеевич оказался бы виновен в его смерти и мог отправиться за убийство в Сибирь.

Между тем этот случай вовсе не покончил в Киясове с воровством. Болотову пришлось принять «воспитательные» и «устрашительные» меры, прежде чем народ отучился тянуть всё, что плохо лежит. Под стать киясовским мужикам были крестьяне из имения Н. Е. Струйского — Рузаевка недалеко от Саранска. Вороватые и склонные к агрессии, они жили у сурового барина, которому пиитические вдохновения не помещали устроить доходное хозяйство. Дважды рузаевские холопы едва не разорjali своего господина, и по совести трудно сказать, которая из сторон больше провоцировала другую на крутые меры. Во время Пугачевского бунта Струйский вывез семью в Москву. Весной 1774 года войска восставших обошли Рузаевку стороной, но кто-то из атаманов наведalся в имение, забрал у приказчика одежду и обувь, а из конюшни увел двух лошадей. На другой день в село приехала еще пара повстанцев, их встретили хлебом-солью, накрыли для них в барском доме стол, а после вместе с пришлыми крестьянами били посуду, рвали со стен шелковую обивку, ломали мебель и даже выдирали кровельное железо с крыши. На радостях селяне пили несколько дней, оставив скот без присмотра, что привело к падежу. Припасенное сено сгноили, так что наступавшей зимой нечем было кормить оставшихся коров и лошадей. Словом, погуляли на славу, уподобившись, по словам самого Струйского, «более не человекам, но чертям».

Обычно из письма Николая Еремеевича к своим крестьянам приводятся только обидные заявления, что они де «изрядные разбойники» и «глупые скоты», заслужившие «плаху и топор». Но познакомимся с текстом внимательнее: «Я не такой варвар, как вы до меня. Я не ограблю ваших домов, не стану обдирать ваши клетки, не сгною ни вашего скота, ни птиц так, как вы со мною разбойнически поступили... Да уж вы от Бога довольно наказываетесь... Что ж принадлежит до учиненного вами вышеописанного разбоя, похабства, не только мужчинами, но и женщинами вашими и детьми стремления к грабежу, так и оно вы как изрядные разбойники сотворили. И так не столько вы себя смогли насытить, но меня разорили, и то самое, что созидаемо и устроено было во все ваши прошедшие годы, в один час труды ваши пропали. Все переломано, все разбито, все ободрано... И, будучи в крайней вашей бедности, вообразите, глупые скоты, кто вас питать будет? И где вы найдете и когда себе покой? Дело вам самим ведомое, что скот не родился и скота содержать нечем: сено во время бунта погноили и ничем на зиму не запаслись. Что делать? Надлежит умирать с голоду или таскаться по миру. Да кто ж вам всем подаст милостыню, кроме меня?»<sup>38</sup>

После учиненного рузаевцами погрома барину пришлось везти им пропитание из других деревень, как видно, не таких буйных. Однако благодарности Струйский не дождался. В следующий раз, когда он с семьей отлучился в Москву, его крепостные распродали из господских амбаров хлеб, а вырученные полторы тысячи рублей разделили между собой, раздав «даже до малолетнего ребенка частями, чтоб они стояли с ними за одно и о том их воровстве донести не могли». Потом крестьяне разграбили барский погреб, забрав оттуда вино и водку, и снова гуляли всем селом на радостях.

Создается впечатление, будто мужики не понимали: рано или поздно барин приедет и за содеянное придется отвечать. Будущее наказание представлялось им неправдоподобно далеким, а леса и поля, отделяющие от остального мира, казались надежной защитой от воинской команды, которую хозяин непременно призо-

вет в село. Эти черты не просто показывают неразвитость крестьянского сознания. Они сближают его с сознанием детским, когда нашалившему ребенку грезится, будто родители никогда не придут с работы, потому что они придут *не скоро*.

Весной 1786 года Струйский вернулся. На его расспросы дворовые отнекивались. Следственное дело сообщает, что крестьяне «не только должного ответа ему дать о том не восхотели, но, грубиянски отходя от него, друг друга укрепляли стоять заодно, чтоб ни о чем спознать было неможно, и вышли совсем уже из должного ему повиновения». Помещик вызвал капитана-исправника, а до его приезда предпринял собственные меры. Четверых дворовых и двоих крестьян схватили и отправили в подвал. Позднее на суде они показали, что были «мучимы в доме господина своего кошками смоляными и розгами». Кошками называли ременные плети-семихвостки с узлами на каждом конце. Их специально использовали, чтобы ненароком не забить жертву. Один из героев С. Т. Аксакова в «Семейной хронике» помещик Куралесов говорил: «Не люблю палок и кнутьев. Что в них? Как раз убьешь человека. То ли дело кошечки, и больно, и неопасно». Но боль бывала порой адской. Один из главных зачинщиков бунта после избиения повесился. Из-за этого перед следствием предстал и хозяин, обвиненный в «жестоком через меру» поступке. Но так как крестьянин совершил самоубийство, а неповиновение в селе было налицо, Николаю Еремеевичу удалось выпутаться. Виновные же холопы были приговорены к каторге.

В литературе принято считать рузаевского барина изувером. Пензенский вице-губернатор И. М. Долгоруков первым подал повод для подобного суждения. В 1795 году он посетил Струйского в мансарде рузаевского дома, которую поэт именовал своим Парнасом. Вокруг царил беспорядок, и на немой вопрос гостя хозяин заявил: «Пыль есть мой страж, ибо по ней увижу тотчас, не был ли кто у меня и что трогал». «Такая мысль меня поразила, — признавался приезжий. — Увидев потом в комнате его множество разных оружия и соображая сей наряд, столь неприличный Парнасу, с его отзы-

вом, заключил я, что он, должно быть, жестокий хозяин и посреди упражнений своих пиитических... опасается над собою злонамеренных покушений... Сказывали мне еще, будто до стихотворческого пристрастия своего он был склонен к юридическим упражнениям, сам делал людям своим допросы, судил их... и вводил даже пытки потаенным образом... Ежели это было подлинно так, то чего смотрело правительство?»<sup>39</sup> Последний вопрос Долгорукова вызывает у современных комментаторов усмешку: мол, деревенский застенок — явление заурядное. Но не забудем, что мемуары принадлежат вице-губернатору, человеку далеко не наивному и хорошо представлявшему реальное состояние дел. Порка за ворованную муку — одно. Самочинный суд с потаенными пытками — другое.

Однако и без пыточного подвала хозяин мог опасаться «злонамеренных покушений». Помещика, желавшего ввести правильный севооборот или улучшить породу скота, не выносили также, как жестокого самодура. Он вмешивался в жизнь мира — этого было достаточно. «Стоит барину приказать пахать землю на дюйм глубже, чтобы услышать, как крестьяне бормочут: “Он плохой хозяин, он нас мучает”». И горе ему, если он живет в этой деревне»<sup>40</sup>, — сообщал немецкий путешественник А. Гакстгаузен. Николай Еремеевич умер своей смертью. А вот его сын Александр погиб от рук дворовых. Было бы проще объяснить случившееся тем, что последний унаследовал крутой нрав отца. Однако причина убийства — запрет собирать милостыню. Рузаевка считалась селом не бедным, но крестьяне рассматривали поход за подаванием как своего рода заработок. Излишнее морализаторство погубило барина. В ответ на заявление: «Я вам недавно выдал хлеб, воротись назад, не то обрею тебя в солдаты!» — он получил от одного из холопов топором по голове<sup>41</sup>.

Причиной убийства барина далеко не всегда становилась его жестокость. Иной раз дворовые сговаривались с крестьянами обокрасть имение, спалить дом, а смерть хозяев объяснить пожаром. В рапорте саратовского губернского прокурора Никифора Заварицкого генерал-прокурору А. Б. Куракину описано сожжение

помещичьей семьи, произошедшее в мае 1798 года в селе Басманове. Нижний земский суд установил, что прапорщик Ардабаев с женой и малолетним сыном были убиты «дворовыми его людьми и крестьянами». «Когда помещик их пробудился и хотел выбежать в сени, — докладывал прокурор, — то стоящие тут два человека с дубинами, ударив его, повергли наземь и потом кинжалом лишили жизни. Жена его, выбежав, хотя и укрылась было в плетневой канаве, но один из злодеев тех, увидя, вытаскил за волосы, а другие, присоединяясь, тут же убили ее до смерти и вместе с мужем бросили в огонь; а малолетнего их сына, хотевшего выскочить из сеней, одна из женщин, увидев, толкнула паки в оные; равным образом и дворовую девочку, бежавшую уже к баннным сеням, один из преступников, поймав, бросил живую в огонь, и так все четверо кончили тут свою жизнь... Преступники показали, что они прежде пожара выкрали из кладовой лучшее господское имение»<sup>42</sup>.

Жуткая история. Если убийство сына Ардабаева еще можно объяснить «классовыми мотивами», то сожжение дворовой девочки было совершено с единственной целью — уничтожить свидетеля. Целая деревня разбойников, которым дорога, по выражению Болотова, «в отдаленные страны Азии», сиречь в Сибирь.

*«Государыня не знает о том и не ведает!»*

После подобных откровений становится понятно, что управлять крепостными было делом непростым. А порой и опасным. Одна жестокость, равно как и одни добрые слова помогали мало. Навык руководства людьми и ведения сложного хозяйства воспитывался в помещиках с детства, передавался из поколения в поколение. Не удивительно, что служилые дворяне приносили в армию привычки сельской расправы, а в деревню — армейские нравы. И там, и тут они имели дело с крестьянами. Важно отметить, что и кроткий Болотов, и горячий Струйский в сходных обстоятельствах вели себя примерно одинаково. Оба не избежали угроз смерти. Оба заставили себе повиноваться.

В самом начале карьеры управляющего Болотов пережил локальный бунт. Он получил распоряжение от князя М. Н. Волконского о размере оброка — шесть рублей с тягла. Мемуарист уверяет, что столько же крестьяне отдавали при прежней владелице. Такой взнос, «хотя и превосходил оброк, платимый Богородицкою волостью двумя рублями, но для подмосковных крестьян был не только сносен, но и очень еще умерен»<sup>43</sup>. Однако крепостные считали иначе.

«Не успело несколько дней после того пройтись, как вдруг является перед крыльцом моим превеликая толпа народа... Удивление мое превратилось в смущение и беспокойство духа, когда... весьма мне преданный солдат сказал:

— Что-де, сударь, толпа их кажется сволочью сущих негодяев. Что-то все рычат и мурчат, а предводителем у них не староста и не бурмистр, а какой-то Роман, который, как говорят, наивеличайший скупец и самый сварливейший и негоднейший человек во всей волости, и что-то они мне подозрительны, и нет ли у них какой блажи на уме...

Сердце во мне как голубь затрепетало; однако я, не давая солдату смятения своего приметить, ему сказал:

— Вздор, братец, мне кажется... Однако поди ты со мною да скажи вот в канцелярии и товарищам своим, чтоб они на всякий случай были готовы».

Болотов вышел на крыльцо, где увидел «человек почти до ста мужиков, а пред ними помянутого Романа, расхаживающего, как петуха индейского, и хорохорящегося по примеру оногo». Управляющему ничего не оставалось делать, как спросить, чего хотят крестьяне.

«— К тебе-ста пришли! — закричал с грубостью предводитель их, а за ним закричала и вся его сволочь. — Велишь-ста ты платить нам оброка по шести рублей с тягла... Да для чего другие государевы крестьяне платят меньше, да и в Богородицкой волости платят только по четыре рубля с тягла, а мы что за грешные, что с нас больше?»

— Этого я не знаю! — сказал я. — А воля на то князя да и самой государыни.

— Как бы не так! — завопил Роман. — Ты-ста думаешь, что мы тому и поверим. Государыня-ста не знает о том и не ведает, а... ты сам хочешь денежками нашими набить себе карманы.

Грубые и дерзкие сии слова вывели меня тогда из терпения.

— Ах ты, бездельник! — закричал я на него. — Как ты смеешь со мною так говорить?!

— Мы-ста не бездельники! — закричали они во все множество голосов.

А Роман, подскочив к крыльцу, еще более закричал:

— И что ж ты за боярин, чтоб не сметь с тобою говорить; ну, так знай же, что мы твоего приказа не слушаем, словам твоим не верим и такого оброка платить не хотим и никак не станем!»

Управляющий попытался увещевать толпу ссылкой на другие деревни, где размер оброка никого не возмутил, но это не помогло.

«— Вольно-ста им, — закричали они, — но мы того не хотим!

А Роман, как ерш, растарачив глаза и опять подбежав к крыльцу, и прямо мне в глаза закричал:

— Ну не хотим-ста, не хотим; это все твой плутни, не слушаем!» После чего зачинщик кинулся на Болотова с кулаками. «Признаюсь, что минута сия была для меня весьма критическая», — писал Андрей Тимофеевич. Но тут подоспели солдаты, отодвинули управляющего, схватили «свои шпажонки» и закричали народу:

«— Цыц! Бездельники, не шевелись никто с места, всех перерубим...

Неожиданное явление сие так всех испугало, что они, все оцепенев, почти в один миг замолчали и никто в самом деле не смел поворошиться». Пришедший в себя Болотов приказал приказчику и его брату схватить Романа и посадить под караул, а к остальным обратился с предложением послать к Волконскому депутатов:

«— Ах, дурачье, дурачье! Что это вы затеяли, и не с ума ли вы сошли, что дали сему бездельнику себя соблазнить и возмутить? Выберите между собою двух или трех человек, кому вы поверить можете, я сейчас от-

правлю их в Москву к князю, пускай спросят они сами и услышат, от себя ли я это взял или так сама государыня приказала.

— Хорошо-ста, хорошо! — сказали они в несколько голосов. — Это дело; мы-ста тотчас выберем».

Управляющий написал Волконскому рапорт «изображением живейшими красками всего сего происшествия». Князь «сколько ни был тих и кроток, но не преминул дать на представленных к нему депутатов превеликий окрик, и уверив сих дураков, что оброк наложен не иначе как с воли государыни... сказал потом им, что все они за дерзость... заслужили то, чтоб всех их передрать кнутом или, по крайней мере, детей... отдать в зачет в рекруты. Но на сей раз из единого человеколюбия их милует». Романа же было приказано «при собрании всех старост и лучших в волости людей наказать плетью нещадно».

Но Романа наказание не проняло. «Он вытерпел все сечение, не произнеся не только ни малейшего вопля, но ниже одного слова, и кипел злобою». Отпустив его восвояси, Болотов установил за буйном надзор. «И как вскоре после того времени прибыл из Петербурга в Москву двор, то услышав, что государыня находится в Москве, затеял он было иттить и подать ей на князя и на меня челобитную». На розыски жалобщика был послан солдат, «который почти не отходил от дворца, и не успел Роман только показаться, как раба божия тотчас и спеленали и вместе с написанною самой глупейшею челобитною представили к князю». Возмутитель крестьян был сослан в Сибирь на поселение, «чрез то успокоилась и вся волость»<sup>44</sup>, — заключает рассказ Болотов.

По словам мемуариста, дело закончилось благополучно. Но эта история совсем не так проста, как он хочет показать. Почему мужики восстали, если их оброк не изменился по сравнению с прежним? Дело в одной тонкости, которую не проговаривает управляющий. Поскольку земли были куплены императрицей, то жившие на них крестьяне посчитали себя государственными и захотели такой оброк, как в соседней Богородицкой волости, населенной казенными мужиками,



то есть четыре рубля. Но им оставили прежний — шесть. Ведь Екатерина приобрела Киясово в частное владение для сына. Обитатели всех деревень, за исключением Спасской, поняли это и не возмутились. Спасских же крестьян подбил на выступление сельский богач Роман, видимо, пользовавшийся среди них авторитетом.

Казалось бы, чего проще — разъяснить мужикам ошибку и отпустить с миром. В их сомнениях насчет оброка не было ничего удивительного, если учесть, что многие управляющие, порой без ведома владельцев, набивали себе карманы. Однако Болотов называл пришедших к нему крестьян и «негодьями», и «сволочью», и «бунтовщиками». На взгляд нашего современника, его стремление заткнуть мужикам рты, чтобы они не могли «и кукнуть», — в корне неверно. Бросается в глаза, что управляющий желает сначала подавить возмущение, а уж потом вступить в переговоры. Сама жалоба квалифицируется как мятеж.

Чтобы понять логику Болотова и князя Волконского, надо принять во внимание реалии двухсотлетней давности. Малейшее неповиновение каралось не по причине кровожадности властей, а потому что крестьяне воспринимали уступку, торг и переговоры как признак слабости. За этим могло последовать возмущение больше прежнего. Поэтому сопротивление старались подавить в зародыше, а уж потом разбираться, кто прав, кто виноват. Любопытно поведение солдат — вчерашних выходцев из крестьянской среды. Они не чувствуют «классовой солидарности», напротив, угрожают «перерубить» мужиков шпагами. И дело здесь не в «неразвитости» сознания, а в заметном изменении его социальной составляющей. Служивые ощущают себя частью административного аппарата. Может показаться странным, но с высокостоящими над ними Болотовым и князем Волконским они связаны больше, чем с крестьянами чужого села.

Вполне объясним и страх управляющего, что неугомонный Роман все-таки доберется с жалобой до императрицы. Подача челобитных в собственные руки монархини была запрещена. Однако после наказа-

ния ретивых доносчиков власти непременно принимались за разбор жалобы. Даже если Болотов и Волконский были чисты, в процессе расследования вскрылись бы неизбежные упущения и злоупотребления — у кого их не было? При любых обстоятельствах ревизия — дело крайне нежелательное. Потому-то Романа и «спеленали» у самого дворца. Раздражение Андрея Тимофеевича против него не утихло и с течением лет. Ведь Роман был не простым буяном, а инициативным ходяком с амбициями главы мирского самоуправления. Заработанное богатство его не удовлетворяло, он нуждался в повышении своего статуса. Стань спасские мужики в самом деле государственными, и такой человек мог встроиться в низовую систему власти. Однако среди помещичьих крестьян он был явно опасен. При малейшем неповиновении подобные личности оказывались на гребне волны, командовали и распоряжались восставшими. Управляющие всеми силами старались избавиться от потенциальных вожakov крестьянского бунта, что и произошло с Романом.

### *«Чтоб то мужикам было безобидно»*

А теперь из уголовных глубин поднимаемся в мир обыденных отношений между помещиками и крепостными. Там не обязательно царила взаимная любовь, но и до смертоубийств дело чаще всего не доходило. Было бы неверно сказать, что государственная власть обращала внимание на то, как барин управляет хозяйством, только в случае смерти холопа. На самом деле крепостные находились полностью в сфере ответственности господина: он должен был гарантировать императору их повиновение, взимание подушной подати, сбор рекрутов, исполнение важных работ общероссийского масштаба, таких как прокладка дорог, строительство мостов или дежурство на заставах во время противоэпидемических карантинов.

Ни власти, ни помещик не были заинтересованы в том, чтобы разорять крестьян. Если крепостные ударя-

лись в нищенство, их задерживала полиция и отправляла к господину с требованием, чтобы он приспособил своих людей к работе и дал пропитание. Из переписки А. В. Суворова со своими управляющими видно, как решались дела о повышении благосостояния, а значит, и платежеспособности крестьянского двора. «У крестьянина Михайлы Иванова одна корова! — с возмущением писал полководец. — Следовало бы старосту и весь мир оштрафовать за то, что они допустили Михайлу Иванова дожить до одной коровы. На сей раз впервые и последнее прощается. Купить Иванову другую корову из оброчных моих денег. Сие делаю не в потворство и объявляю, чтобы впредь на то же никому не надеяться. Богатых и исправных крестьян и крестьян скудных различать и первым пособлять в податях и работах беднякам. Особливо почитать таких, у кого много малолетних детей. Того ради Михайле Иванову сверх коровы купить еще из моих денег шапку в рубль».

Круговая порука сельского мира и личная ответственность хозяина служили своего рода социальной гарантией от бедности. Из отчетов и писем видно, что расслоение происходило не столько внутри общины, сколько между разными деревнями. Были села работающие и пьющие, справные и влачившие жалкое существование. Многое зависело от географического фактора: качества земли, близости проезжих дорог и т. д. У каждого помещика имелась своя Рузаевка — вечная головная боль, заноза в сердце. Для Суворова предметом постоянных нареканий стала деревня Ундол неподалеку от Владимира.

«Ундольские крестьяне не чадолюбивы, — писал он управляющему Степану Кузнецову, — и недавно в малых детях терпели жалостный убыток. Это от собственного небрежения, а не от посещения Божия, ибо Бог злу невиновен. В оспе ребят от простуды не укрывали, двери и окошки оставляли полые и надлежащим их не питали, и хотя небрежных отцов должно сечь нещадно в мирском кругу, а мужья — те с их женами управятся сами. Но сего наказания мало; понеже сие есть человекоубийство... Порочный, корыстолюбивый постой проезжих главною тому причиною, ибо в таком случае

пекутся о постояльцах, а детей не блюдут... А потому имеющим в кори и оспе детей отнюдь не пускать приезжающих, и где эта несчастная болезнь окажется, то с этим домом все сообщение пресечь, ибо той болезни прилипчивее нет».

Порой кажется, что барин объясняет крестьянам самые простые вещи, понятные любому. Но не стоит забывать, что ясны они сейчас, а в тот момент требовались постоянное напоминание и принуждение, чтобы исполнялись элементарные правила: не водить больных в людные места, ухаживать за простудившимися детьми, не надеясь, будто хворь пройдет сама, не бросать, ради угождения постояльцу, своих близких без обеда...

Александр Васильевич был строгим, но не суровым баринком, отлично понимавшим особенности деревенской психологии: лень, стремление увильнуть от работы, алчность до легких денег, доверчивость и простодушное лукавство. Ундол являлся одним из самых обширных имений полководца, он стоял на тракте, и его жители много зарабатывали, обслуживая путешественников. Сельский труд приносил им меньше, и они почти забросили пахать землю. Готовя для проезжающих еду, ундольцы резали скот, отчего оставались без навоза, и пашня с каждым годом давала все меньше и меньше. «Лень рождается от изобилия, — писал им барин. — Так и здесь она произошла издавна от излишества земли и от самых легких господских оброков. В привычку вошло пахать землю без навоза, отчего земля вырождается и из года в год приносит плоды хуже». Суворов потребовал от жителей имения возобновить разведение скота: «Самим же вам лучше быть пока без мяса, но с хлебом и молоком»<sup>45</sup>.

С той же деловитостью, с какой Александр Васильевич отдавал распоряжения о размножении лошадей и коров, он беспокоился о «размножении» холопов. Управляющему Семену Румянцеву полководец писал: «Многие дворовые ребята у меня так подросли, что их женить пора. Девочек здесь нет, и купить их гораздо дороже, нежели в нашей стороне. Чего ради прошу вас для них купить четыре девицы, от 14 до 18 лет, и как

случится, из крестьянок или из дворовых. На что употребите оброчные мои деньги от 150 и хотя до 200 рублей. Лица не очень разбирать, лишь бы были здоровы... Да не можно ль, государь мой, выбрать из моих крестьянских тако-ж дворовых людям в невесты девочку-другую, только чтоб то мужикам было безобидно... Сих девиц извольте отправлять в Ундол на крестьянских подводах без нарядов, одних за другими, как возят кур, но очень сохранно»<sup>46</sup>.

Оборот — «как возят кур» — способен возмутить современного человека, но в сущности он не заключал в себе ничего обидного, речь шла о том, что невест можно отправить спокойно, без охраны, в простых крестьянских телегах. Обращает на себя внимание другая фраза: «чтоб то мужикам было безобидно». Имеется в виду недостаток девиц в селе. Если таковой есть, то лучше крестьян не волновать и не отбирать тех, на которых они уже рассчитывают. Кроме того, за обиду родители могли почесть сам факт перевода их дочери из крестьян в дворовые. Это считалось болезненным вопросом, и Суворов в данном случае предпочитал не употреблять барской власти, если семья будет возражать.

Следует пояснить, что крепостные XVIII века слились из множества категорий зависимых людей. Основными были холопы, принадлежавшие барину, и собственно крестьяне, жившие на земле и постепенно закрепленные за ней. В 1718—1724 годах в России прошла подушная перепись, которая соединила холопов с крестьянами в одном сословии. Отныне закон отказывался видеть между ними разницу. Однако в реальности различие сохранялось до самой отмены крепостного права. В крестьянской среде бытовало твердое убеждение, что дворовые — суть хозяйские рабы. А хлебопашцы привязаны не к владельцу имения, а к земле как таковой. Уточним не всегда понимаемую нашими современниками тонкость: дворового холопа можно было продать (в том числе в розницу, хотя практически все объявления предлагают купить семейного слугу вместе с домочадцами и выставляют для них общую цену). Крестьянин же подлежал продаже только вместе

с землей<sup>47</sup>. Однако помещик имел право переводить жителей деревень из крестьян в дворовые, чего им, конечно, не хотелось.

На первый взгляд более благополучная жизнь в барских хоробах была предпочтительнее. Но земледельцы так не считали. Для них уход в дворовые являлся понижением статуса. Марта Вильмот описала случай, когда княгиня Дашкова подарила ей крепостную девочку в качестве горничной. «Вечером приехала маленькая Пашенька, и княгиня объявила, что отныне она навечно моя собственность. Бедняжка. Но она никогда не испытает того, что понятие собственность я употребляю во зло. Напротив, я с радостью приняла власть, которую смогу использовать, чтобы дать девочке свободу или, если она ко мне привяжется, взять ее в ту часть света, куда отправлюсь сама. Теперь я считаю себя ответственной за счастье и благополучие своего ближнего. Дай Господи, чтобы я смогла хорошо исполнить свой долг»<sup>48</sup>.

Обратим внимание, с какой торжественной серьезностью британская путешественница отнеслась к случившемуся. Произнеся в предыдущих письмах на родину длинный ряд инвектив против рабства, сама Марта не удержалась от соблазна стать владельцем живого человека. Правда, ей казалось, что она приступает к делу с наилучшими намерениями — воспитать крепостную свободной, увезти из страны деспотизма и подарить вольную. Вскоре выяснилось, что благими намерениями вымощена дорога в ад. Одиннадцатилетняя девочка не только не была готова следовать за новой госпожой в другую «часть света», для нее невыносимым оказалось расставание с родной деревней в двух шагах от имения Дашковой.

«Пашенькина радость от новых платьев была недолгой, — сообщала Марта в следующем письме. — Она сказала мне, что ей здесь очень скучно и что она хочет вернуться домой. Я обещала отпустить ее вечером навестить маму. Это осушило ее слезы, и она стала повторять со мной алфавит»<sup>49</sup>.

Надежды сделать ребенка счастливым с каждым днем таяли. «Бедная Пашенька постоянно плачет, и я

начинаю сомневаться в своем праве удерживать ее. Если она не перестанет лить слезы, я безусловно отправлю девочку к маме, хоть и знаю, что княгиня будет этим чрезвычайно недовольна. Нарядные платья, куклы и т. д. не могут заменить ребенку потерю душевной жалкой хижинки, где она свободна и в самый холод может отправиться бегать по улице. И конечно, чужие люди не могут заменить мать...

Крестьяне не хотят принимать во внимание преимущества положения горничной и считают несчастьем, если ребенка забирают в господский дом. Мадемуазель Исленева однажды попробовала взять себе шестнадцатилетнюю девушку. Та ежедневно проливали потоки слез, и, наконец, Анна Петровна вынуждена была отправить девушку под предлогом болезни. Через год она вышла замуж за бедного крестьянина и до сих пор радуется тому, что сумела избавиться от принудительной службы в большом доме, сознавая при этом, что хозяйка ее очень хорошая и добрая»<sup>50</sup>.

На взгляд крестьян, холопы, находящиеся при господях и не ведшие своего хозяйства, были имуществом в гораздо большей степени, чем деревенские жители. Даже помещичий крестьянин пользовался некоторой долей независимости. Он покупал землю, оставлял наследство, заключал сделки, а главное — не был постоянно на виду. Чем дальше от барина, тем больше фактической свободы. Марта вскоре сама столкнулась с этим. «Сегодня мы обедали в деревне Гостешево у патриарха села, богатого крестьянина, семья которого разрослась до 34 человек, и все они каждый день садятся за общий стол, — рассказывала она в одном из писем матери. — У крестьян в обычае жить вместе. Поскольку все богатство они зарабатывают собственным трудом, возделывая землю, которая у них в изобилии, многочисленные семьи становятся более состоятельными. Один или двое сыновей отправляются в город торговать. Выращивая хлеб, мужики продают его в Москве небольшими партиями, но в больших количествах... Семья крестьянина Сорокина увеличилась настолько, что ей пришлось покупать много земли, причем купчая совершается на имя помещика»<sup>51</sup>.

Возражая иностранным авторам, полагавшим, будто в России крестьяне лишены собственности, издатель журнала «Беседующий гражданин» М. И. Антоновский в конце 80-х годов XVIII века писал: «Крестьянин каждый имеет свою собственность... Что крестьянин вырабатывает или ремеслом своим достает, остается точно ему принадлежащим. Тем владеет он во всю жизнь свою спокойно, отдает в приданое за дочерью, оставляет в наследство. Без такой свободы и безопасности не могли б крестьяне наживать по сто тысяч рублей и более капитала, чему есть много примеров в России»<sup>52</sup>. За строкой остается важное уточнение: такая собственность основывалась на традиционном праве, скрепленном устным договором, так как большинство крестьян не умели писать. Если их помещик оказывался бессовестным человеком, то он, невзирая на свидетелей, мог отнять имущество крепостного. Правда, такое происходило нечасто, но было возможно, *без нарушения закона*. Ибо собственность крепостных в юридическую сферу не входила.

Однако дворовые не могли похвастаться даже такими, устно оговоренными и освященными традицией правами. Жестокому обращению хозяина-самодура в первую очередь подвергались слуги, бывшие под рукой. Газетные объявления о продаже касались именно холопов. Между крестьянином и бариним стоял мир, их отношения не были прямыми. Что же касается дворового, то он, вступая с владельцем в повседневный контакт, полностью зависел от его настроения. Потому-то крестьяне с недовольством относились к переходу их детей из «душной хижины» в чистые и светлые барские хоромы. Чтобы устроить дело «безобидно», родителям забираемого ребенка нужно было заплатить. Это и приказывал Суворов своему управляющему. В понимании деревенских отцов и матерей их дети были имуществом, принадлежавшим семье. Иной раз многодетные родители оказывались вовсе не против избавиться от лишнего рта, но следовало уважить их, предложив хорошую цену. Процедура продажи крестьянами детей показывает, насколько глубоко в повседневной жизни укоренилось представление о естест-



венности торговли людьми. Николай I говорил, что «крепостное право, как гвоздь, вбито в русскую шкуру». Сознание аморальности подобных действий приходило в общество медленно и не снизу, от несчастных, а сверху, от образованных.

Не следует думать, будто одни крепостные торговали своими детьми. Томас Димсдейл описал случай продажи мальчика и девочки бедными горожанами столицы. Отправляясь в Москву, доктор решил привить оспу паре ребятшек и взять их с собой, чтобы на месте не испытывать недостаток в «материи». «С помощью денег, — вспоминал он, — нам достали одного мальчика около шести лет от роду, сына матросской вдовы, и девочку около десяти лет, дочь обер-офицера из немцев. Отца ее не было в живых, а мать, вступив во второй брак, уехала со своим новым мужем, оставив девочку на попечение своей матери, старухи чрезвычайно бедной и бывшей не в состоянии ее содержать. Она заложила свою внучку в восьми рублях одному дворянину. Сумму эту заплатили кредитору, и обоим детям привили оспу»<sup>53</sup>. Если бы Аннушку, как звали маленькую пациентку Димсдейла, не выкупил врач, то она, дочь обер-офицера, стала бы дворовой приобретшего ее барина.

С отменой крепостного права торговля детьми отнюдь не ушла в прошлое, как можно было бы надеяться. Напротив, если прежде она происходила от случая к случаю, то в условиях обнищания крестьянства после потери значительной части земли по реформе 1861 года продажа бедными родителями своих чад приняла массовый характер. Детей отдавали путешествующим торговцам с уговором пристроить в городе «в хорошие руки» — в магазин или швейную мастерскую. Там, зарабатывая, они могли помогать оставшейся в деревне семье<sup>54</sup>. Но вернемся к временам сытого рабства.

И Суворов, и Дашкова были очень хозяйственными помещиками и добились процветания своих имений. Но, как мы видим, совершенно по-разному смотрели на некоторые аспекты отношений с крепостными. Александр Васильевич не позволял себе ни слова прекраснодушных рассуждений в просвещенческом ключе о благоденствии своих «подданных». Его приказы

управляющим деловиты, здравы, без эмоций. Тем не менее он опасался вызывать недовольство крестьян переводом их дочерей в дворовые. Екатерина Романовна, по свидетельству Марты, плакала от умиления всякий раз, когда наблюдала сытых и довольных крепостных. В то же время княгиня без малейшего колебания забрала крестьянскую девочку в господский дом, хотя уже имелся отрицательный опыт подобного шага.

Так же по-разному решали Дашкова и Суворов вопрос об отсылке рекрутов. Для любой деревни это был крайне напряженный момент, грозивший вызвать недовольствие. Марта описала один из случаев: «Княгиня обязана представить правительству рекрут. В этом году из каждых 500 человек забирали четырех мужчин, в прошлом году — в половину меньше. Мужчина, которого берут в армию, в семье считается как бы умершим. В числе рекрутов оказался Пашинькин дядя, и она утопает в слезах, оплакивая потерю родственника. Из-за огромных размеров империи, плохой почты и неграмотности крестьян родным невозможно получить какие-либо известия от солдата. Его близкие сначала безутешны, а потом совершенно о нем забывают. Для добрых помещика или помещицы это тяжелое время, поскольку, несмотря ни на что, они обязаны удовлетворить требование властей. Пашенька ушла плакать вместе с родными»<sup>55</sup>.

К счастью для семьи Паши, ее дядю забраковали. «В деревню вернулся староста и с ним семеро из десяти рекрут, — продолжала Марта. — Несколько дней назад он отвозил их в Калугу, где капитан гвардии, присланный из С. Петербурга, должен принять рекрутов и забраковать тех, кто не подходит по росту, ширине груди и т. д. Возвратился и Пашенькин дядя, поскольку оказалось, что грудь у него на полдюйма уже, чем требуется, хотя он — красивый, хорошо сложенный молодой мужчина. В деревне вечером было семь счастливых семей, потому что быть забракованным — это счастье. Однако семерых, признанных негодными, нужно заменить другими, что тяжело для княгини, которая сегодня нездорова и взволнована мыслью о беспорядках, какие могут произойти среди несчастных крестьян. Удачлив

тот, кто хром, глух, слеп или искалечен. Случается, что мужики отрубают палец или причиняют себе другие увечья, лишь бы избавиться от солдатской службы»<sup>56</sup>.

Княгиня возлагала вину за возможное волнение крестьян на государство, требующее рекрутов. Со слов ее гости ситуация выглядела так, будто помещик ничего не мог сделать, чтобы предотвратить неудовольствие. Но осторожные хозяева находили способ и удовлетворить власть, и не потревожить собственных крепостных. Они приобретали в качестве рекрутов чужих дворовых, которых можно было найти у менее щепетильных соседей или по газетным объявлениям. Вот несколько предложений из «Московских ведомостей»: «Желающие купить двух человек из крестьян хорошего поведения и годных в рекруты... могут спросить в приходе Трех Святителей на Кулишках у домоправителя Ивана Шутова». Или: «Продается дворовый человек холостой с матерью вдовою: ему от роду 24-й год, ростом 7 верш., не дурен собою, грамоте знает, хороший лакей и способен быть гусаром или егерем; а матери 55 лет, верная ключница; оба смиренного поведения. Цена им 1000 рублей»<sup>57</sup>.

Именно так поступал Суворов, прекрасно понимавший, что такое рекрутский набор и с какими он сопряжен трудностями. В «Регистре о наказаниях крестьян», присланном барину управляющим прапорщиком М. И. Поречневым, сказано: «Алексей Медведев пойман с краденым сеном, за оное сечен. Оный же Медведев после того, убоясь солдатчины, палец себе отрубил». Отметка Суворова гласила: «Вы его греху причина... Знать, он не слышал, что от меня не велено в натуре рекрут своих отдавать, а покупать их миром на стороне, чтобы рекрутчины никто не боялся. Разве не помните, что в третьем годе я у вас застал? За недоимку по налогам вы управляли людей в рекруты, за что и были от меня наказаны»<sup>58</sup>.

Чтобы мир мог купить рекрутов, нужно было понизить оброк. Ведь деньги требовались немалые. Александр Васильевич на это шел. Екатерина Романовна поступать так не хотела. Вероятно, обвинения княгини в скупоści все-таки имели под собой некоторую почву.

Она предпочитала сохранить доход, даже сознавая, что рискует всякий раз, когда в ее имениях проходит набор.

### *«Источник государственного избытка»*

Повторим: благосостояние крестьян было главным залогом богатства помещика, и забота о поддержании хозяйства крепостных диктовалась в первую очередь не добротой сердца или просвещенностью ума владельца, а насущной экономической необходимостью. Мы уже говорили, что продукты питания были дешевы, столь же недорого стоили дрова, домотканый холст, овчины, из которых шилась зимняя одежда. В целом, прожить в России простонародью было значительно проще, чем в более цивилизованных европейских странах, где потребности намного превосходили возможности низших слоев населения. Отсюда частые комментарии иностранных авторов о более высоком качестве жизни русских крестьян и неизбежное в таких условиях противопоставление сытого рабства голодной свободе.

Прослуживший много лет в России французский посол Луи Сегюр писал: «Русское простонародье, погруженное в рабство, незнакомо с нравственным благосостоянием, но оно пользуется некоторой степенью внешнего довольства, имея всегда обеспеченное жилище, пищу и топливо; оно удовлетворяет своим необходимым потребностям и не испытывает страданий нищеты, этой страшной язвы просвещенных народов...

Помещики в России имеют почти неограниченную власть над своими крестьянами, но надо признаться, почти все они пользуются ею с чрезвычайной умеренностью... Во время моего долгого пребывания в России многие примеры привязанности крестьян к своим помещикам доказали мне, что я насчет этого не ошибаюсь... Ограничусь одним. Обер-камергер, граф, наделав больших долгов, вынужден был для их уплаты продать имение, находившееся в трехстах или четырехстах верстах от столицы. Однажды утром, проснувшись, он

слышит ужасный шум у себя на дворе; шумела толпа собравшихся крестьян; он их призывает и спрашивает о причине этой сходки. “До нас дошли слухи, — говорят эти добрые люди, — что вашей милости придется продавать нашу деревню, чтобы заплатить долги. Мы спокойны и довольны под вашею властью, вы нас осчастливили, мы вам благодарны за то и не хотим остаться без вас. Для этого мы сделали складчину и поспешили поднести вам деньги, какие вам нужны; умоляем вас принять их”. Граф после некоторого сопротивления принял дар, с удовольствием сознавая, что его хорошее обращение с крестьянами вознаградилось таким приятным образом... Тем не менее эти люди достойны сожаления, потому что их участь зависит от изменчивой судьбы, которая по своему произволу подчиняет их хорошему или дурному владельцу»<sup>59</sup>.

Сегюру вторили и другие наблюдатели. Британцы, путешествовавшие по России, бывали, как правило, задеты тем, что быт русских крестьян выгодно отличался от привычного им на родине, особенно в Ирландии. Капитан Джон Кокрейн писал в 1824 году: «Безо всяких колебаний... говорю я, что положение здешнего крестьянства куда лучше состояния этого класса в Ирландии. В России изобилие продуктов, они хороши и дешевы... Здесь в каждой деревне можно найти хорошие, удобные бревенчатые дома, огромные стада разбросаны по необъятным пастбищам, и целый лес дров можно приобрести за гроши. Русский крестьянин может разбогатеть обыкновенным усердием и бережливостью, особенно в деревнях, расположенных между столицами»<sup>60</sup>.

Испанский дворянин дон Франсиско де Миранда, родившийся в Венесуэле и выступавший за отделение южноамериканских колоний от метрополии (впоследствии один из французских революционных генералов), в 1787 году совершил поездку по России. Возле Вышнего Волочка он обратил внимание на множество новых срубов, выставленных на продажу. «Когда древесина свежая, она имеет красивый желтоватый цвет, — замечает путешественник. — Справился у моего слуги и извозчика, сколько стоит такой дом, который можно купить в разобранном виде при въезде в любую дерев-

ню, и они сказали, что обычная цена всего лишь от 20 до 24 рублей». Миранда же обратил внимание на изобилие леса, который крестьяне могут вырубать беспощинно, что позволяло им в самые лютые морозы подерживать в домах тепло.

В печально знаменитой по Радищеву Спасской Полести путник «зашел в несколько крестьянских домов, построенных в том же духе, что и те, которые осматривал ранее; внутри они очень опрятны и удобны для жилья». Такую же прогулку Миранда совершил и у маленького городка Крестцы, тоже описанного Радищевым. «Посетил несколько крестьянских домов и обратил внимание, что они гораздо просторнее и чище, нежели в других частях России. — Дон Франсиско ехал с юга, через Малороссию, где впервые увидел мазанки. — А также заметил, что почти всюду имеется ткацкий станок, на котором ткут белое полотно из местного льна; из него шьют неплохую одежду для людей низшего сословия. Заплатил 30 копеек за чай, хлеб и т. д.; наблюдал за девушкой, доившей корову: она прятала от меня лицо, но в то же время выставляла напоказ свои ляжки»<sup>61</sup>.

Простодушное кокетство деревенской девки, готовой порезвиться с иностранцем, — совсем не то же самое, что вид голодной бабы, месившей тесто «из трех частей мякины и одной несеейной муки» у Радищева. А ведь два описания разделяет всего пара лет. «Четыре стены, до половины покрытые, так, как и весь потолок, сажею; пол в щелях, на вершок, по крайней мере, поросший грязью; печь без трубы... и дым, всякое утро зимою и летом наполняющий избу; оконцы, в коих натянутый пузырь, смеркающийся в полдень, пропускал свет; горшка два или три (счастливая изба, если в одном из них всякий день есть пустые шти!). Деревянная чашка и кружки, тарелками называемые; стол, топором срубленный, который скоблят скребком по праздникам. Корыто кормить свиней или телят, буде есть, спать с ними вместе, глотая воздух, в коем горящая свеча как будто в тумане или за завесою кажется. К счастью, кадка с квасом, на уксус похожим, и на дворе баня, в коей коли не парятся, то спит скотина. Посконная рубаха, обувь, данная природою, онучки с лаптями для выхода. — Вот в

чем почитается по справедливости источник государственного избытка, силы, могущества»<sup>62</sup>.

То ли первый русский революционер намеренно сгущал краски, то ли стандарты чистоты и благополучия у авторов были разными. Трудно сказать. Но, приводя хрестоматийное описание крестьянского быта по Радищеву, все-таки стоило бы сопровождать его зарисовками из других источников, тем более что ни французский посол, ни английский морской офицер, ни испанский путешественник — друг свободы не отличались слепой подчас доброжелательностью Виже-Лебрён.

Кстати, о посконных рубахах. Марта Вильмот дает совсем другую картину: «Любуюсь всеми без исключения крестьянами: их причудливо-разнообразной одеждой, их веселыми живописными группами. Часто можно увидеть деревенскую девушку в головном уборе, шитом золотом, в серьгах, с браслетами из блесток, видимо, играющую роль первой красавицы... Когда молодая крестьянка преподносит вам кувшинчик молока, яйца или орехи, то маленькая корзиночка, где они лежат, всегда покрыта полотенцем, оба конца которого украшены шитьем из красных и белых ниток, имитирующих кружево... О, Доротея, почему ты не можешь... нарисовать оригинальное платье цвета индиго, с широкими белыми рукавами, с застежкой на спине и вышивкой по всему подолу... — это необычайно очаровательное и фантастическое зрелище»<sup>63</sup>.

С Мирандой, Сегюром и Кокрейном соглашался Роберт Бремнер — публицист, под влиянием статей А. Н. Герцена заключивший договор на написание обличительной книги о России. Во времена жесткого политического противостояния с николаевским режимом и восторженной поддержки европейских революций он отправился в Россию, чтобы собрать материал. Текст вышел далеко не лицеприятным, тем более интересно его свидетельство: «В целом... по крайней мере что касается просто пищи и жилья, русскому крестьянину не так плохо, как беднейшему среди нас. Он может быть груб и темен, подвергаться дурному обращению со стороны вышестоящих, несдержан в своих

привычках и грязен телом, однако он никогда не знает нищеты... Мы склонны воображать себе, что уж если наши крестьяне нищенствуют, то мы можем по крайней мере тешить себя уверенностью, что они живут во много большем довольстве, чем крестьяне в чужих землях. Но сие есть грубейшее заблуждение... В тех частях Великобритании, которые, как считается, избавлены от ирландской нищеты, мы были свидетелями убогости, по сравнению с которой условия русского мужика есть роскошь. Есть области Шотландии, где народ ютится в домах, которые русский крестьянин сочтет негодными для своей скотины»<sup>64</sup>.

Что касается грязного тела, то тут с Бремнером не согласился бы Пушкин. «Ваш крестьянин каждую субботу ходит в баню, — говорит в «Путешествии из Москвы в Петербург» воображаемый спутник героя, англичанин, — умывается каждое утро, сверх того несколько раз в день моет себе руки»<sup>65</sup>. О том же писала Лебрён. Чистоплотность русского простонародья подчеркивала и мисс Вильмот: «На небольшом лугу против моего окна около 150 мужчин и женщин косят траву. Все мужчины в белых льняных рубахах и штанах (это не выдумка, штаны действительно белые), а рубахи подпоясаны цветным поясом и вышиты по подолу ярко-красной нитью. Вид у них очень живописный; лгут те иностранцы, кои изображают русских крестьян погруженными в праздность, живущими в нищете... Если, сравнивая два народа, посчитать основными вопросами те, что относятся к условиям жизни (достаточно ли еды, есть ли жилище, топливо и постель), то русские, вне всякого сомнения, окажутся впереди. Да, они рабы, однако в интересах самих господ хорошо обращаться со своими крепостными, которые составляют их же богатство; те помещики, которые пренебрегают благосостоянием своих подданных и притесняют их, либо становятся жертвами мести, либо разоряются»<sup>66</sup>.

Можно с усмешкой констатировать, что если самодержавие в России было ограничено удавкой, то крепостное право — топором и красным петухом. Подчас эти ограничения оказывались очень действенными. Но был и другой способ, державший помещиков в узде.



Пайпс не без оснований замечал: «Особенно важно избавиться от заблуждений, связанных с так называемой жестокостью помещиков. Иностранцы путешественники, побывавшие в России, почти никогда не упоминают о телесных наказаниях... Пропитывающее XX век насилие и одновременно высвобождение сексуальных фантазий способствуют тому, что современный человек, балуя свои садистские позывы, проецирует их на прошлое; но его жажда истязать других не имеет никакого отношения к тому, что на самом деле происходило, когда такие вещи были возможны»<sup>67</sup>. Религиозные запреты значили для огромного большинства жителей страны больше, чем указы. Отношения, построенные на вере и традиционных нормах морали, были весьма далеки от криминала. В противовес своему деду-самоду Прончищеву Сабанеева описала две соседские помещичьи семьи, мирно уживавшиеся с крестьянами.

Первые — господа Крюковы — обитали в небольшом имении Даньково по другую сторону реки и служили наглядным примером тишины и согласия. «У даньковского барина мужики забыли, что они крепостные и рабы; ни крику, ни расправы не было в этом уголке Тарусского уезда, — писала мемуаристка. — Помещик управлялся со своим народом какими-то ему одному присущими приемами и средствами. Народ этот копошился возле него, как муравьи в муравейнике»<sup>68</sup>.

Другие соседи — господа Леонтьевы — приходились Прончищевым родней. Описание их жизни удивительно напоминает картину быта доброй помещичьей семьи из второго тома «Мертвых душ» Гоголя. Николай Васильевич дал своим героям греческую фамилию Костанжогла, таким образом подчеркивая нетипичность этого явления для России. Принято считать, что Гоголь уничтожил большую часть рукописи второго тома, поскольку не мог писать сусальные картинки, не соответствующие действительности. Однако реальная жизнь вмещала то, что отказывалась вмещать литература — добрых господ Леонтьевых:

«Леонтьевы с самого начала их женитьбы жили в имении своем сельце Корытне. Соседи считали их большими чудаками... Сергея Борисовича осуждали за

то, что он перебаловал свою дворню, отпустил много мужиков на оброк; дескать, не справится, расстроит имение... Но дело было в том, что он ничего не выдумывал и действовал в жизни, руководствуясь своими внутренними убеждениями. Он не имел в виду, отпуская мужиков на оброк, опережать свое время с тенденциями либерализма, а дать льготы мужику было просто ему сочувственно.

И правда, что крепостные у них в доме жили привольно... На них был особенный отпечаток мирной жизни и душевного спокойствия. Они тоже неусыпно трудились в кругу их домашнего обихода, и их дом был точно улей, в котором работа кипела с раннего утра...

Детей у Леонтьевых было очень много, и их воспитание составляло цель жизни их родителей. Как свободна была тетушка Марья Петровна от увлечения французскими и чужеземными вообще гувернерами и гувернантками! ...Марья Петровна, отлично знакомая с иностранной литературой, не искала там, однако, авторитет, читала также творения наших отцов церкви и умела извлекать из них более для себя света и пользы. И она воспитала детей своих в духе нашей православной церкви: без педантизма или ханжества, но с теплым упованием на милосердие Божие... Ее отношение к простому люду было трогательное; деревенские бабы несли в Корытню в барские хоромы своих больных; она собственноручно обмывала раны, купала золотушных детей. Она ввела оспопрививание между своими крестьянами и сама умела производить эту операцию без помощи фельдшера»<sup>69</sup>.

Современные исследователи сходятся во мнении, что главным злом крепостного права была не жестокость помещиков и не бедность крестьян — вещи, как мы видели, весьма спорные, — а отсутствие закона в сфере, регулировавшей отношения барина и его холопа. То, что целый клубок социальных связей как бы выпадал из правовой зоны, порождало массу злоупотреблений. Однако надо учитывать, что понятие «закон» в XVIII веке носило не только юридический, но и религиозный характер. При подушной переписи человека спрашивали, какого он закона, имея в виду какой веры.

И ответ был: греческого (православного), магометанского, латинского (католического) или иудейского. Только наиболее образованные догадывались, что слово «закон» подразумевает еще и правовой акт.

В традиционном обществе практически вся жизнь контролировалась либо религиозными нормами поведения, либо обычным правом — то есть правом, основанным на обычае. Собственно законодательство в современном смысле не носило тогда такого тотального характера, как сейчас, и проникало лишь в те бреши, которые освобождала для него традиция. Отношения между помещиком и крепостным не регулировались юридическими актами в деталях. И это несло в себе известное зло. Вспомним, как генерал Измайлов был дважды, вопреки воле Николая I, оправдан судами двух губерний. На основании имевшегося законодательства суды не находили в действиях помещика состава преступления. Призвав самодура к ответу именным указом, монарх поступил вопреки существовавшему законодательству, ибо оно не оговаривало, что может, а чего не может помещик в отношении своих крепостных. Находясь в юридическом вакууме, Николай I вынужден был опираться на мораль и традицию — вещи, к сожалению, легко нарушаемые. В начале главы мы показали, как во второй четверти XIX века указы постепенно начинают проникать в эту прежде недоступную сферу.

По мере развития юридического сознания и усложнения законодательства государство все настойчивее вмешивалось в отношения бар и крестьян. Симптоматично, что все принятые акты были запретительного характера, ограждая холопов от произвола господ. Здесь интересы дворянства и интересы верховной власти приходили в столкновение. Каждая из сторон считала, что защищает крестьянина от хищных рук другой. Между двумя «благодетелями» мужик оказывался, как между молотом и наковальней. Однако этот же противовес порой помогал ему выжить, ибо селянин искал защиты от барина у государственных инстанций, а защиты от податей и рекрутчины под крылом у таких рачительных хозяев, как Суворов.

Помещик более всего желал видеть себя в своих имениях самодержавным владыкой. Отсюда часто употребляемый оборот «подданные» в адрес крестьян. Государство же стремилось одернуть его и показать, что он не более чем вербовщик и налоговый агент среди населения, которое только *живет* на его земле. Возникло неразрешимое противоречие — спор из-за подданных. Если помещик стремился закрыть свои владения от взоров власти, то государство, напротив, — проникнуть за непроницаемый барьер. Указ Елизаветы Петровны 1741 года, *разрешавший* крестьянам не приносить присягу, если они находятся на работе в поле, был воспринят и в дальнейшем трактовался как отказ крепостным в праве присягать. С этого момента верховная власть будто бы перестала рассматривать частновладельческих крестьян как подданных империи и стала видеть в них только собственность помещиков. Это был крайне опасный прецедент, абсолютно не соответствовавший букве закона, но желательный для дворян. Нечто похожее произошло и с указом 1767 года о запрете крестьянам подавать жалобы в собственные руки императрицы. Нашлось немало толкователей, которые с охотой понимали его как запрет жаловаться вообще.

Образованные дворяне вроде княгини Дашковой субъективно сознавали себя просвещенными монархами в своих вотчинах и не прочь были разыгрывать эту роль перед гостями. Тем неприятнее для них становилось напоминание верховной власти о своих претензиях на крестьян. Раздражение Екатерины Романовны, возникавшее всякий раз, когда государство вторгалось с налогом ли, с требованием ли рекрут в жизнь ее крепостных, объяснялось не только заботой, но и подрывом реноме маленького императора. Мы говорим об этих амбициях, потому что они типичны для помещиков и потому что власть, иногда уступая им, все же никогда их не прощала и не забывала при малейшей возможности перетянуть одеяло на себя.

## «Недобрые молодцы»

В повести Пушкина «Дубровский» молодой дворянин, разоренный богатым соседом, становится разбойником, возглавив отряд бывших крепостных. Комментаторы всегда обращают внимание на романтическую сюжетность, подчеркивая невозможность подобных событий в реальной жизни. Между тем история знала бар-разбойников, с шайкой собственных холопов нападавших на путников на большой дороге. Правда, руководствовались они чаще меркантильными интересами в отличие от благородного возлюбленного мадемуазель Троекуровой.

Так, знакомый нам по делу Салтычихи Николай Андреевич Тютчев, бежав от опасной любовницы с молодой женой в имение Овстуг, занялся там, по слухам, настоящим разбоем. Он не только обирал соседей в умелых тяжбах за земли, но и пристрастился к грабежу. Овстугские крестьяне рассказывали, будто их барин рядится в атамана разбойников и с ватагой своих же ряженных дворовых нападает на проезжающих купцов<sup>70</sup>.

Но гораздо чаще хозяева и их дворовые объединялись *против* реальных разбойников, способных разорить не только барскую усадьбу, но и деревеньку-другую. Это особенно заметно на окраинах империи, где по соседству жили беспокойные кочевые народы, могли заглянуть казаки или волжские удалые молодцы на «расписных челнах». До губернской реформы 1775 года воинских команд на местах было мало и помощь от ближайшей администрации могла опоздать.

«С наступлением каждого лета, когда леса были уже одеты густою зеленью, появлялись разбойники, — вспоминал мемуарист М. А. Дмитриев. — В самый тот день, когда мне минул год, 23 мая 1797 года, дошло известие до моего деда, что будут к нему разбойники... Дед мой всегда был наготове: каждый год, с наступлением весны в деревенском его доме, на стенах залы и передней, развешивались ружья, сумы с зарядами, сабли и дротики с кольцами и на крепких бечевках; а по обеим сторонам широкого переднего крыльца вкола-

чивались сошки с перекладами и на них раскладывались колья и рогатины. И так, врасплох застать его было невозможно! При первом известии о приближении разбойников ударили в набат; крестьяне, бывшие в поле, прискакали на господский двор; дворовые все вооружились. Дед мой надел на себя кортик... велел отворить ворота и ждал разбойников на крыльце.

Между тем моя бабушка, мать и тетки переоделись в платья дворовых женщин, чтобы не быть узванными, и вместе с нами, малолетними, попрятались в саду и других местах. На этот раз обошлось, однако, благополучно. Разбойники в числе двадцати человек, вооруженные с ног до головы, подъехали верхами к околице и, подождав караульщика, сказали ему: «Поди, скажи Ивану Гавриловичу, что мы не испугались бы его набату, да у нас лошади приустили». — После этого они, ввиду всех, объехали около деревни, под горою, и отправились далее. Но в тот же день получено известие, что они ограбили под Сызраном мельницу и сожгли ее»<sup>71</sup>.

Почему дворовые предпочитали поддерживать господ и оборонять имение, вместо того чтобы после разорения дворянского гнезда удариться в бег? Казалось бы, вторая модель поведения логичнее. Дело в том, что ни разбойники, ни казаки, ни тем более восставшие инородцы не гарантировали холопам жизнь. Чаще всего, взяв имение, победители убивали его обитателей, невзирая на социальные различия, и на дереве возле сожженного дома холопы висели рядом с хозяевами. Эта черта особенно ярко проявилась во время пугачевщины, когда множество дворовых, крестьян и горожан пало жертвой шаек мятежников<sup>72</sup>.

К самому началу Крестьянской войны, вероятно, году к 1773-му, относится случай, описанный Лабзиной. На маленькое имение ее матери, располагавшееся под Екатеринбургом, ополчились жившие неподалеку башкиры. У небогатой вдовы и горстки ее дворовых не было сил защититься от более чем двух сотен «гостей», и хозяйка усадьбы решила дело иначе. «Мать моя жила чрезвычайно тихо, — вспоминала мемуаристка. — Одно было ее встревожило: татары против ее восстали и хотели землю отнять, будто ей не принадлежащую».

Соседи предупредили вдову, чтобы она поскорее скрылась в город, но той некуда было бежать. «Что мне от Бога определено, от того не уйти, — ответила она. — ...Меня не обидят и татары, когда Бог — мой защитник, я давно ему предалась». После этого разговора хозяйка имения принялась готовиться к приему гостей: «...велела варить пива как можно больше; вино у нас было свое, наливки разных родов. Итак, недели через две приехали башкирцы, человек двести, все верхами, и старшина их с пятьюдесятью человеками въехали прямо на двор. Мать моя призвала в помощь Бога, взяла нас за руки и вышла их встретить на крыльцо».

Ласково приветствовав приезжих, хозяйка пригласила их в дом, но поскольку стояло лето, то они предпочли остаться во дворе. Тогда мать мемуаристки усадила башкир на ковры и приказала выкатить бочки с пивом, вином и наливками и разносить обед. «Между тем стала со старшиной говорить, за что они ее, вдову, хотят обидеть с малыми детьми: “У меня нет другого защитника, кроме Бога, которого и вы знаете; Он один наш Отец. Он как меня сотворил, так и вас, то не страшитесь ли вы Его правосудия? Куды ж вы меня сгоните с земли? Я у вас же буду жить и посвящу вам себя на услуги. Есть и между вами любящие Бога, и я везде буду спокойно жить... я всех считаю ближними моими”. И взяла нас за руки и сказала: “Судьба сих сирот у вас в руках: хотите их сделать несчастными или счастливыми?” Они начали между собой говорить, чего мать моя не разумела». Между тем поспел обед, хозяйка начала сама обходить гостей и потчевать их: «Покушайте хлеба-соли вдовы, которая всегда готова быть вам другом». Такое обращение смутило башкир, и в конце обеда старшина встал и «со слезами сказал: “Будь спокойна, наша добрая соседка и друг: мы теперь не враги твои, а защитники; вся наша волость к твоим услугам, требуй от нас за причиненный тебе страх и беспокойство чего хочешь”. Мать моя подошла к старшине, обняла его, заплакала и сказала: “Мне ничего не надо, кроме дружбы вашей и ваших добрых сердец”. Они все в голос закричали и открыли свои груди: “Вот они здесь!” И так пиروвавши целый день, уехали уж ночью. И с тех пор

мать моя жила с ними в добром согласии, и они со своей стороны делали всевозможные ей ласки. Всякий праздник приезжали к ней в гости, привозили гостинцы и ее к себе звали, особливо на свадьбы. И мать моя никогда не отказывала им»<sup>73</sup>.

Это уникальный случай. Мать Лабзиной была настоящей подвижницей: очень религиозной женщиной, много помогала каторжным, ссыльным и убогим. Кротостью ей удалось то, чего другие не могли добиться силой. Куда чаще между жителями пограничных имений и враждебной внешней средой происходили настоящие столкновения с пальбой и кровопролитием. Графиня А. Д. Блудова записала со слов старых дворовых: горничной Авдотьи Харитоновны, буфетчика Ивана Сергеевича, бывшего суворовского сержанта, и лакея Гаврилы Никитича — истории о волжских разбойниках, нападавших на имение ее бабушки в Казанской губернии.

«В рассказах ли Гаврилы, или в моем собственном воображении удалые молодцы, которые плыли “вниз по матушке по Волге”, промышляя по-своему и слагая звучные песни свои, были довольно увлекательные лица, и мне становилось жаль подчас, что прошло то бурное и славное время». Речь шла о конце 70-х — начале 80-х годов XVIII века, когда пугачевщина уже оттремела, а губернская реформа еще только вступала в свои права и по лесам пряталось много разгромленных банд, а на Волге нет-нет да и появлялись «расписные челны». «Бывало бабушка, Катерина Ермолаевна, когда жила вдовою в Танкеевке Спасского уезда, Казанской губернии, созовет всех дворовых и молодых крестьян, наберет, таким образом, отряд человек в 300 или 400, раздаст им охотничьи ружья, пистолеты, патроны, поставит две маленькие пушки у ворот усадьбы; канава вокруг сада исполняет должность рва, и бабушка с маленьким сыном засядет в своей импровизированной крепости, ожидая осады неприятеля. Большею частью этим и кончалась беда». Добрые молодцы проплывали мимо, а обороняющиеся прятали оружие до следующего раза. Но однажды пришлось в самом деле пострелять.



«В приволжских деревнях мужики позажиточнее большей частью откупались от молодцов, выходя на берег с хлебом и солью, с шитыми золотом и шелком полотенцами и ручниками, на которых, кроме хлеба, лежали и деньги, собранные всем миром и подносимые добрым молодцам; а разбойники, имея своего рода честь, почитали недозволенным нападать на таких слабых и сговорчивых людей. Но бабушка имела тоже свои понятия о чести и достоинстве барыни-помещицы и не соглашалась на такие сделки с неприятелем. Пока жив был дедушка, его огромная псовая охота служила обороной усадьбе и острасткой для разбойников. Но после него экономические расчеты заставили уничтожить весь этот штат... Воинственные псары превратились в мирных ткачей вновь увеличенной и усовершенствованной полотняной фабрики. Разбойники знали все это и решили наказать Екатерину Ермолаевну за ее гордость и несговорчивость. Однако, из презрения ли к женщине, или из рыцарства, они объявили заранее поход на нее. Высадившись большою шайкой на заливных лугах имения, они кинулись к усадьбе. Крик, плач и вой поднялся в деревне, которая лежала против самой усадьбы, на другом берегу пруда; а Катерина Ермолаевна, велев зарядить пушки и ружья и палить в добрых молодцов, как только станут подходить, отправила верного слугу к ближайшему пикету с требованием помощи; но нескоро мог пробраться посланный и нескоро, даже на подводах, приехала военная команда. Во все это время Катерина Ермолаевна с замечательным присутствием духа и распорядительностью выдержала нешуточное нападение разъяренных разбойников, и не будь этих двух пушченков, ей бы, вероятно, несдобровать; однако Бог помог. Команда пришла вовремя, и деревня и усадьба уцелели. С тех пор эти две пушки служили уже только украшением... да в торжественных случаях из них палили холостыми зарядами в виде салютов»<sup>74</sup>.

Обратим внимание, как часто в имении из господ находились только женщины с малолетними детьми. Они вступали в переговоры с инородцами, устраивали

оборону, палили из ружей, организовывали крепостных для отпора грабителям. Это были либо вдовы, либо жены служивших далеко от дома дворян. В предшествующую эпоху, до манифеста 1762 года, в селах из хозяев оставались главным образом помещицы. Иными словами: на уровне управления русская деревня долгое время представляла собой бабье царство.

Жившая уже совсем в другую эпоху мемуаристка романтизировала волжских разбойников, «в похождениях которых слышалось и увлекательное удалство, и даже какое-то дикое великодушие... Чужалось ли это смутно ребенку, — признавалась она, — но волжские недобрые молодцы остались навсегда в моей памяти с почти героическим оттенком... Оружие спрятано, расшива (лодка) с золоченой кормой и носом несется быстро на своих натянутых парусах; сидят по ее бокам смирно и лениво молодые купчики. Хозяин в щегольском полукафтани или полушубке, с шапкой набекрень распорядится, будто торговцы едут на ярмарку. Но непохож этот удалой соколиный взгляд, эта молодецкая осанка, эта ловкая, быстрая походка на скромного купеческого сына: это он, молодой атаман, это его шайка с ним, и как затянут они песню, да гаркнет он своим звонким голосом: “в темном лесе”, так по всему берегу и забьется сердце у мужиков, и пока несутся звуки, удаляясь, утихая, замирая на водах, стоят они да крестятся и откликаются и старый, и малый, а парней иногда в душе и тянет туда к Волге, к разгулу этой заманчивой жизни, между тем как молодухи сожалеют о девке-красавице, что сидит на палубе, раздетая в парчовом шушуне, с длиною лентой в длинной косе, и на нее так дерзко и любовно поглядывает удалой атаман. Признаться, мне совсем не жаль бывало, а скорее завидно этой невесте (как я полагала) разбойника, которая делила с ним опасности его тревожной жизни»<sup>75</sup>.

Через поколения дела минувших дней затягиваются облагораживающей реальность дымкой. Для Блудовой в устах стариков-лакеев прошлое превращалось в такую же яркую сказку, как истории об Иване-царевиче или Кудеяре-атамане. Столкновение с настоящими

разбойниками произвело бы на нее отталкивающее впечатление. Лабзина, еще девочкой с матерью ходившая в острог «помогать несчастным», описывала виденное: «Я с нею относилa деньги, рубашки, чулки, колпаки, халаты, нашими руками с нею сработанные. Ежели находила больных, то лечила, принашивала чай, сама их поила, а более меня заставляла. Раны мы с ней вместе промывали и обвязывали пластырями. И как скоро мы показывались в тюрьму, то все кричали и протягивали руки к нам, а особливо больные... Случается там часто, что на канате приводят несчастных, в железах на руках и на ногах, и она тотчас идет, нас с собой берет, несет для них все нужное и обшивает холстом железа, которые им перетирают руки и ноги до костей»<sup>76</sup>.

Прошли годы, и уже с мужем, отправившись в Иркутск, Анна Евдокимовна встретила одного из тех волжских недобрых молодцев, о которых так живописно рассказывала Блудова. «С самого моего приезда я увидела всех служащих в доме без ноздрей и с клеймами. Сердце у меня замерло, и я в великом была страхе; особливо я одного очень боялась, называемого Феклистом, у которого зверское лицо и вид ужасный, а он всякий день входил в комнаты топить печки. В одно утро я лежала еще на постели и слышу, что кто-то вошел в комнату. Я тихонько встала и посмотрела через ширмы и увидела этого страшного Феклиста, не помню, как упала в постелю и дожидалась, когда он придет меня убивать». Испуганная женщина попросила полицмейстера заменить «этого страшного человека» кем-нибудь другим. Но тот отвечал: «Узнаете его короче, вы его полюбите. У меня нет лучше его». Однажды при встрече Феклист упал Анне Евдокимовне в ноги, прося его выслушать: «Я вижу, что вы меня боитесь: иначе нельзя — печать злодейств моих осталась на страшном моем лице, но меня убивает то, что вы меня не любите. Знаю, что нельзя любить, но хоть терпите и меня не бойтесь. Меня Христос Спаситель простил; я смею потому думать, что дано мне сердце новое, а не то зверское, которое я прежде имел». Женщина нашла в себе силы поднять раскаявшегося разбойника, обнять его и

пообещать: «Я тебе даю слово, что буду стараться не только терпеть, но и любить тебя».

Новая хозяйка определила Феклиста смотреть за птицами, но вскоре произошел случай, открывший ей тайну каторжника. «Вдруг приходят и сказывают, что Феклист умирает, упал на дворе. Я пошла и увидела его безо всяких чувств; велела его внести к себе в комнату, послали за лекарем и пустили кровь. И как он пришел в чувство... я спросила, что ему сделалось. “Вы не знаете моих злодеяний. Я был разбойник и ходил по Волге 17 лет. Первое было мое удовольствие — резать себе подобных и оставлять им несколько жизни, и их мучительное трепетание делало мне радость. Сегодня я отдал повару цыплят для стола и, идя по двору, нечаянно взглянул на крыло у кухни и увидел заколотых цыплят, и они трепещут. Я вспомнил свое злодейство, вся кровь во мне остановилась, и я больше ничего не помню. Вот, моя благодетельница, теперь тебе известны мои злодеяния и причина моей болезни”. И я запретила, чтобы остерегаться делать все то, что может ему привести на память первую его жизнь»<sup>77</sup>. Анна Евдокимовна убедилась в справедливости слов полицмейстера, который ручался ей за Феклиста. Этот человек действительно раскаялся, он был очень предан новой госпоже и не раз выручал ее из трудных обстоятельств.

В условиях массовых волнений, таких как пугачевщина, преданность слуг порой была единственным, на что мог рассчитывать помещик, застигнутый повстанцами врасплох. «Гаврила Никитич и Авдотья Харитоновна много рассказывали мне или при мне моей няне о недавних событиях истории, — вспоминала Блудова. — Дядя моего отца со всем семейством погиб от Пугачева и еще долго, долго, до второго и третьего поколения дети слушали с ужасом от старых служителей, каким образом кормилица спрятала было грудного ребенка дяди и думала, что спасла его; но шайка внезапно ворвалась, и один из злодеев, схватив за ноги ребенка, разломил ему череп о стену на глазах верной кормилицы»<sup>78</sup>. Отметим, что истории эти распространяли в доме не родители, а старые дворовые, бывшие свидетелями возмущения.

До губернской реформы Екатерины II и до преобразований, предпринятых правительством в отношении казачества, превративших бунтарей с окраин в «цепных псов самодержавия», Россию примерно раз в 70 лет сотрясали крестьянские войны. Современные историки склоняются к тому, что их правильнее было бы именовать гражданскими, ибо они втягивали в борьбу разные слои общества, а также инородцев Поволжья и Урала, сосланных польских конфедератов, раскольников и т. д. Рассматривать подобные явления только как столкновение крестьян и помещиков — значит упрощать картину. Восстания И. И. Болотникова, С. Т. Разина, К. А. Булавина и наконец Е. И. Пугачева зарождались на окраинах, в казацких областях, среди вчерашних беглых и постепенно охватывали широкие регионы, населенные крестьянством. Крепостные становились мышечной силой, но никогда не управляющей элитой этих движений. Вольные казаки четко отделяли себя от мужиков и при случае не упускали возможности покуражиться над ними: ограбить, забрать скот, деньги, девок. Потому-то слух о приближении атамана-батюшки заставлял одних отправляться ему навстречу в надежде «показачиться», то есть вступить в отряд, других встречать пришлых хлебом-солью — Бог даст, пройдут мимо и не тронут, а третьих собирать скарб и уходить в леса. При подавлении восстаний крестьяне в равной мере страдали как от правительственных войск, так и от повстанцев.

Каждое крупное народное движение возникало именно тогда, когда страна находилась в состоянии войны и социальная жизнь была расшатана. Восстание Болотникова (1606—1607) приходится на Смуту начала XVII века. Разинщина (1670—1671) разразилась в условиях войны на Украине, когда Московское царство вело боевые действия против Польши и Швеции. Булавин взбунтовал казаков (1707—1709) в период Северной войны и преобразований Петра I. Пугачев назвался Петром III и поднял мятеж (1773—1775), когда на юге Россия вела трудную войну с Турцией. Причины этого понятны: внешний кризис вызывал повышение податей, дополнительные наборы в армию, недостаток

рабочих рук на полях и, как следствие, нехватку продуктов. Кроме того, война оттягивала вооруженные силы из центра на границы, и, когда вспыхивал мятеж, на первых порах его просто нечем бывало подавить. Этим объясняется успешность каждого из названных восстаний на начальном этапе. Как только правительство организовывало переброску армии в места, охваченные волнениями, подавление мятежа становилось делом времени. Однако размеры России, плохие дороги и суровый климат превращали такую переброску в задачу крайне непростую. Порой проходил не один месяц, прежде чем верные войска оказывались там, где надо. Пока помощь добиралась, не только представители благородного сословия, но и священники, множество горожан, купцов и те из крестьян, кто не желал отдавать хлеб и скот, могли быть вырезаны.

Суровому барину отливались слезы вчерашних «подданных», а человеческое отношение к крестьянам и дворовым могло спасти жизнь. Один из таких случаев описала русская эмигрантка М. А. Толстая, оставившая мемуары из истории своей семьи. Ее предок С. Е. Кротков, владевший имением в Бугурусланском уезде, был спасен собственным бурмистром. «Пугачев надвигался все ближе; уже соседние имения были разгромлены, и те из помещиков, которые остались на местах, были бесчеловечно замучены и убиты... И вот в одну темную июльскую ночь пришел тайно к Степану Егоровичу его верный бурмистр Дулин. Он сказал барину, что другого выхода нет, и, упавши перед ним на колени, умолял Степана Егоровича довериться ему во всем... Снял Дулин со своего барина кафтан, надел на него крестьянскую сермягу, и к приходу пугачевских войск барин бесследно исчез».

Крестьянам же Дулин сказал: «Нет у вас теперь барина, есть только великий государь Петр Федорович». Перед самым приходом мятежников бурмистр собрал сход и заявил, что он сам зарезал помещика, в доказательство чего показал кафтан владельца имения, измазанный кровью. «Крестьяне смущенно молчали, некоторые робко крестились. Но Дулин не дал им опомниться, он властным голосом приказал им идти

встречать государевы войска хлебом с солью. Все повиновались ему». Когда повстанцы были разгромлены полковником И. И. Михельсоном, пришло время давать ответ.

«Было яркое летнее утро, когда крестьяне, дрожа и ожидая наказания, собрались на широкий двор перед помещичьим домом. Дулина между ними не было. “Сбежал окаянный, сбежал, подвел нас и сбежал”, — слышалось в толпе.

Полковник Михельсон вышел на крыльцо. “Шапки долой и на колени, — звонко крикнул он, — по приказу матушки государыни вы все понесете достойную кару за смерть убитого вами барина”. Только плач и стон слышались в ответ. “Эй, люди, вяжите их”, — приказал полковник. Но в эту минуту... перед взорами коленопреклоненных крестьян предстал бледный, весь в белом барин, или его тень, и прерывающимся голосом стал просить за крестьян. Возглас изумления, радости и страха пробежал по толпе. Многие крестились и протирали глаза... А Дулин стоял в стороне и важно разглаживал свою окладистую бороду»<sup>79</sup>.

Впервые этот материал, хранящийся ныне в США, опубликовал историк А. Б. Каменский, обративший внимание на ряд живописных подробностей семейной легенды, романтизм, свойственный подобным источникам, и нарочито беллетристический стиль повествования. Однако, по его мнению, в основе приведенной истории лежат реальные факты.

После пугачевщины Екатерина II предприняла реформу местного аппарата, которая позволила в дальнейшем избежать таких крупных потрясений. Согласно изданному в 1775 году «Учреждению для управления губерний Российской империи» прежние территориальные единицы были разукрупнены, их стало 50 по 300—400 тысяч жителей в каждой. Во главе стоял губернатор, власть которого значительно расширилась, в частности, он мог сам принять решение об употреблении войск против мятежников. Для этого в каждой губернии на постой располагался полк солдат. Губернии делились на уезды по 20—30 тысяч человек в каждом. Во главе уезда стоял капитан-исправник, изби-

равшийся местным дворянством. В губерниях и уездах появились дворянские собрания, куда местные помещики выбирали своих представителей. Система выборных органов для благородного сословия призвана была сосредоточить внимание освободившегося от службы дворянства на делах самоуправления и поддерживать административные учреждения нижнего звена, что и произошло.

### *«Ужасающее количество слуг»*

Одна из особенностей быта русских помещиков, всегда бросавшаяся в глаза иностранным путешественникам, — большое число холопов, обслуживавших одну барскую семью. Проще всего было объяснить эту черту чванством, что и сделала Марта Вильмот: «Удивляет меня ужасающее количество слуг: подумать только, двести, триста, а порой и четыреста человек.. Подниматься по лестнице без помощи слуг русские дамы считают ниже своего достоинства. Поверьте, я не преувеличиваю, рисуя такую картину: два напудренных лакея почти несут леди, поддерживая ее под лилейные локотки, а позади шествуют еще двое с шальями, салопами и т. д. В России колокола бывают только на церквях, в домах колокольчики не приняты, поэтому в господской передней постоянно толкутся четверо-пятеро лакеев, готовых откликнуться на зов своих господ.. Чтобы избавить господ от труда отворять и затворять двери, возле каждой комнаты сидит слуга»<sup>80</sup>.

Сохранился исторический анекдот о многочисленной челяди гетмана К. Г. Разумовского. В его петербургском дворце трудилось более двух сотен слуг. Племянница Кирилла Григорьевича, занявшись ведением хозяйства, сообщила дяде, что они вполне могут обойтись меньшим количеством. «Ты права, — ответил ей вельможа. — Я во многих не нуждаюсь, пусть идут. Но прежде спроси: не нуждается ли кто из них во мне?» Эта история подчеркивает важную особенность аристократического быта: далеко не всегда титулованный хозяин дома держал огромную дворню для удовлетво-



ния личных запросов. Часто слуги искали его помощи и покровительства.

Хорошо изучивший столичные порядки Сегюр объяснял количество челяди тем, что помещики просто не знали, как поступить с расплодившимися холопами. «Роскошь, обременительная для дворян и грозящая им разорением, если они не образумятся, это — многочисленная прислуга их. Дворовые люди, взятые из крестьян, считают господскую службу за честь и милость; они почитали бы себя наказанными и разжалованными, если бы их возвратили в деревню. Эти люди вступают между собою в браки и размножаются до такой степени, что нередко встречаешь помещика, у которого 400 и до 500 человек дворовых всех возрастов, обоих полов, и всех их он считает долгом держать при себе, хоть и не может занять их всех работой»<sup>81</sup>.

Выше мы показали, что крестьяне вовсе не жаждали переходить в дворовые. Но и холопы, научившись какому-либо некрестьянскому труду: став садовниками, псарями, парикмахерами, поварами — отнюдь не хотели возвращаться к сельским будням. Их кругозор расширялся, а профессия, полученная в барском доме, могла в случае чего прокормить. Некоторые начинали задумываться о получении вольной, полагая, что смогут прожить своим трудом. Подчас эта надежда оказывалась иллюзорной. Виже-Лебрён поместила в мемуары историю молодого горе-художника, который, не найдя применения своему ремеслу, вернулся к барину.

«После того как привезенный мной из Вены слуга обокрал меня, и я осталась без прислуги, — рассказывала путешественница, — граф Строганов дал мне одного из своих рабов, который, по его словам, умел приготавливать палитру и очищать кисти, чем он занимался у невестки графа, которая иногда развлекалась живописью. Сей юноша недели через две возомнил себя тоже художником и не давал мне прохода, прося выхлопотать для него свободу, чтобы он мог ходить в Академию. Граф, уступая моим настояниям, сказал: “Уверю вас, он скоро вернется”. Я дала юноше двадцать рублей и не менее того еще сам граф, и он сразу побежал заказывать себе форму ученика живописи, в

которой и явился ко мне с благодарностями и видом триумфатора. Месяца через два он принес большой семейный портрет, на который невозможно было смотреть. Плата за него оказалась столь мизерной, что бедняга после вычета всех расходов потратил еще и восемь рублей собственных денег. Как и предвидел граф, подобная неудача заставила его отказаться от безрадостной свободы и возвратиться к своему господину»<sup>82</sup>.

Свободная жизнь не всегда оказывалась уютной и счастливой. Нужно было обладать большим талантом, чтобы пробиться в ней. Судьба столкнула французскую художницу с одним из таких феноменов. «Однажды я видела у графа Строганова раба-архитектора. Сей молодой человек выказывал такие способности, что граф представил его императору Павлу, и он был взят в императорский штат и получил заказ на постройку театральной залы по представленному им плану»<sup>83</sup>.

Этим архитектором был Андрей Никифорович Воронихин, родившийся в семье крепостного графа А. С. Строганова и учившийся в графской иконописной мастерской. В 1777 году за проявленные успехи он был отправлен в Москву в архитектурную команду В. И. Баженова, а через два года переехал в Петербург, где воспитывался в доме своего хозяина вместе с его сыном Павлом. К моменту встречи с Виже-Лебрён Воронихин уже не был «рабом». Архитектор получил вольную в 1786 году, совершил образовательное путешествие по Швейцарии и Франции, а после возвращения продолжал жить в Строгановском дворце в Петербурге. Во время пребывания мемуаристки в России Воронихин стал уже признанным мастером: в 1800 году ему было поручено возведение Казанского собора, а через два года он занял место профессора Академии художеств. Тогда же осуществлялся его второй значительный проект — строительство Горного кадетского корпуса на Васильевском острове.

Однако подобные случаи уникальны. Чаще крепостные, получившие в доме барина профессиональную подготовку, годились только для обслуживания своих не слишком искушенных господ. В помещичьем хо-

зяйстве средней руки требовалось немало специалистов разных профилей. Янькова вспоминала дом своего отца: «Все парадные комнаты были с панелями, а стены и потолки затянуты холстом и расписаны краской на клею. В зале нарисована охота, в гостиной ландшафты, а в спальне, кажется, стены были расписаны баскетом... Конечно, все это было малевано домашними мазунами, но, впрочем, очень недурно, а по тогдашним понятиям о живописи — даже и хорошо. Важнее всего было в то время, чтобы хозяин дома мог похвалиться и сказать: “Оно, правда, не очень хорошо писано, да писали свои крепостные мастера”. У батюшки были мастеровые всякого рода: столяры, кузнецы, каретники; столовое белье ткали дома, и, кроме того, были ткачи для полотна; был свой кондитер»<sup>84</sup>. Естественно, в таком хозяйстве дворовый мастер находил и применение, и хлеб. Барин же со своей стороны нуждался не просто в пахарях, вчера взятых из деревни, а в обученных слугах.

Газетные объявления о продаже крепостных показывают, насколько квалифицированными могли быть дворовые. «Продается оффисиант 25 лет... очень хороший ткач, он же умеет брить и кровь кидать (пускать. — *О. Е.*)»; «Продается дворовый человек 25 лет, женский башмачник, знающий в совершенстве свое мастерство»; «Музыкант, имеющий искусство управлять оркестром, при том может учить инструментальной, духовой и роговой музыке, и который хорошо играет на фортепиано, желает приняться в дом; жена его говорит по-французски и по-немецки и может принять должность гувернанты»; «Продается мужской и женский хороший парикмахер... годный в камердинеры, оффисианты и лакеи, 25 лет»; «Продаются дворовые мастеровые люди поведения хорошего: 2 портных, сапожник, часовщик, повар, каретник, колесник, резчик, золотарь и 2 кучера»; «Продается дворовый холостой человек 17 лет, знающий читать и писать по-русски, также набирать книги с великим успехом по-французски, по-немецки, по-итальянски, по-латыни, сверх того и на скрипке играть»<sup>85</sup>.

Если господин не нуждался в большом количестве слуг и в то же время не хотел продавать дворового, он

имел возможность отдать его в услужение к третьему лицу. Такие сделки были частыми, поэтому объяснение множества слуг тем, что барин «считает долгом» держать их при себе, кажется недостаточным.

Сама структура тогдашнего хозяйства требовала от дворянской семьи — жила ли она в городе или в деревне — почти полностью удовлетворять свои потребности внутренними ресурсами. Так было и дешевле, и достойнее, по понятиям того времени. Часто недооценивается степень натуральности не только крестьянского, но и помещичьего быта XVIII века. Стремление продать излишек произведенных продуктов и заработать деньги сопровождалось нежеланием много и часто покупать. Средние дворяне два столетия назад были прижимисты и рачительны: годами донашивали оставшиеся от покойных родные вещи, могли, как историк В. Н. Татищев, на смертном одре напомнить родственникам, что в сарае на леднике лежит начатая телячья нога, которую следует употребить для поминок. Приобретение чего-либо в магазине считалось роскошью, баловством, тем более непозволительным, что свои крепостные могут сделать не хуже.

Янькова, рассуждая о многолюдстве в помещичьем дворе, на наш взгляд, очень точно определила его причину: «Людей в домах держали тогда премножество, потому что, кроме выездных лакеев и официантов, были еще: дворецкий и буфетчик, а то и два; камердинер и помощник, парикмахер, кондитер, два или три повара и столько же поварят; ключник, два дворника, скороходы, кучера, форейторы и конюхи, а ежели где при доме сад, то и садовники. У людей достаточных бывали свои музыканты и песенники... человек по десяти. Это только в городе, а в деревне — там еще всякие мастеровые, и у многих псаря и егеря, которые стреляли дичь для стола; а там скотники, скотницы, — право, я думаю, как всех сосчитать городских и деревенских мужчин и женщин, так едва ли в больших домах бывало не по двести человек прислуги, ежели не более. Теперь-то и самой не верится, куда такое множество народу держать, а тогда так было принято, и ведь казалось же, что иначе и быть не могло. Это, я думаю, потому что всё бы-

ло свое: и хлеб, и живность, и все припасы, всё привозилось из деревень, всего заготавливали помногу, стало быть, и содержание стоило недорого; а жалованье людям платили небольшое, сапоги шили им свои мастера, платье тоже, холст был не купленный»<sup>86</sup>.

Таким образом, многочисленная прислуга в русских усадьбах XVIII века объяснялась уровнем развития хозяйства — его низкой товарностью. К середине следующего столетия живые черты натуральности несколько изгладились, больше стали покупать и продавать, тогда и отпала нужда держать своих пекарей-лекарей в каждом доме.

А в золотые дни матушки-государыни помещичий дом напоминал корабль, вышедший в автономное плавание и не нуждавшийся в связи с берегом. Для того чтобы понять, что такое *много* — слуг, еды, повозок, детей, — следует познакомиться с описанием барского выезда, оставленным П. В. Нащокиным по младенческим воспоминаниям. Его отец путешествовал из воронежского села в Москву со всеми чадами и домочадцами. Не стоит думать, будто нарисованная другом Пушкина картина представляет собой что-то из ряда вон выходящее. Таким манером пускался в дорогу каждый уважающий себя барин.

«Предводительствовал всем обозом поляк Куликовский. Ехал он впереди верхом на большой буланой лошади с трубой, этой трубой оповещал он, чтобы трогались с места и чтобы останавливались... Вслед за Куликовским ехала полосатая одноколка, полоса золотая, другая голубая — в нее пересаживался из двухместной кареты иногда отец мой, карета же, заложенная цугом, — в шорах и по бокам гусары верхом. Тут сидела матушка... За сим следуют кареты, нагруженные детьми разных возрастов и принадлежащими к ним мадами, няньками, учителями и дядьками. А там линейки: первая с воспитанницами или взятушками, как помню их называли наши люди, они были дочери бедных дворян или дети служащих некогда при моем отце, над ними смотрительница вдова штаб-лекаря Елизавета Ивановна Рокль, старуха 70 лет... В остальных линейках ехали капельмейстеры с семействами, иностранные повара с

женами и детьми, доморощенный архитектор, аптекарь и старый буфетчик, камердинер батюшки Дмитрий Афанасьевич, который имел офицерский чин и был масон... Потом длинные высокие брички, набитые бабами, девками, коробками, перинами, подушками, наверху же оных уставлены клетки с перепелами, соловьями и с разными птицами; ястреба и сокола, привязанные на цепочках в красных колпачках, мелькают на верхах некоторых бричек, около которых идет пешком молодой народ, т. е. музыканты, официанты... Буфет... тащили 16 лошадей, — видом он огромный, квадратный кованый сундук на колесах, главный его груз состоял в серебряном сервизе на 40 персон, жалованном моему отцу императрицей Екатериной II... С последним лучом солнца Куликовский трубил в свой рог, и обоз останавливался, раскладывались палатки, выгружались экипажи, и располагались ночевать».

За повозкой с десятью «дураками» наблюдала специально приставленная к ним в качестве надзирательницы и няньки чернокожая горничная Марья. «С отцом моим ладила, она всегда его одевала, и если случится ему на нее рассердиться и дать ей тычка, — она, наоборот, — и тем и кончится, что: “Ой, Машка, ой, черная кошка, спасибо”. Он был необыкновенно горяч и очень силен; и потому нередко его тычки были опасны, но Марья-арапка была сама здорова и ему не спускала, и вот почему она была его непременно подкамердинер».

Остановки всегда делались на свежем воздухе, на берегу реки или в чистом поле. «Тут раскидывалась палатка в виде белого домика, с окнами с зелеными рамами, устилалась коврами и уставлялась складными столами, креслами, стульями. Около домика стояли, как стоги, несколько палаток, называемых калмычками — войлочные, без окон. В них помещались все прочие: дети, мадамы, учителя, барышни и т. д.

...Барин с пеньковой трубкой, в зеленом картузе, в епанче пойдет всех объезжать — за ним народу, собак, — со всеми переговорит, девку, если встретится, остановит и за щеку ущипнет... Первое подойдет барин к людскому котлу, хлебнет кашицу и посмотрит, как собак

кормят, зайдет в палатку к детям... Поужинавши, маменька, дамы и весь женский пол пойдет почивать, а папенька остается в белом домике до рассвету, разговаривая с управляющим и с приказчиком, со всеми старыми людьми, тут всякий рапортует по своему делу. Сделав свои распоряжения на завтрашний день, батюшка отправляется соснуть. Как он зайдет в палатку, так всё утихнет до тех пор, пока не затрубит Куликовский к сбору... Не скоро ездил отец мой, зато весело, никто его не гнал... Когда я был в Ростове, жители тамошние говорили мне, что, бывало, неделю весь Ростов печет калачи и хлеб, ожидая его. Сколько народу с ним ездило, неизвестно, но лошадей под обозом не было меньше ста пятидесяти»<sup>87</sup>.

Колоритная картина! Недаром Пушкин потратил много усилий, уговаривая Нащокина записать воспоминания об отце. Перед нами целый мирок — свое нащокинское царство, в котором отставной генерал — полновластный суверен. Вместе с тем поражает простота отношений барина и холопа, какая-то человеческая короткость. Любопытен в этом смысле образ Марьи-арапки, которая отвешивала барину тумачи, чтобы тот не расходился. Эта черта помещичьего быта бросалась иностранным наблюдателям в глаза, но ее трудно было проинтерпретировать из-за разницы культур.

### *«Смесь фамильярности и гордыни»*

«Здесь часто можно видеть, как господа и крепостные танцуют вместе, а посещая незнакомые дома, я не раз недоумевала, как различить хозяйку и горничную, — рассуждала Марта Вильмот. Смесь фамильярности и гордыни кажется мне удивительной особенностью этой страны»<sup>88</sup>. Не одна ирландская гостья бывала сбита с толку отсутствием видимой границы между господами и слугами. Уже в 20-х годах XIX века генерал Ланжерон попал впросак, по рассеянности поцеловав руку горничной. Когда ему указали на это, он ответил: «Ах, боже мой! Путешествуя по центральным губерниям России, я перецеловал столько босоногих барышень!»

Другой случай поразил мисс Вильмот не меньше: «Во время десерта подошли несколько крестьянок с подношением яиц... Я стояла у крыльца, любуясь живописной группой... Внезапно одна из девушек схватила и поцеловала мою руку, да вдобавок расцеловала меня в обе щеки, приняв за свою госпожу. Не переставая выкрикивать слово “нет”, я указывала на госпожу Полянскую; убедившись в своей ошибке, бедняжка повторила всю церемонию, а потом, бросившись на землю, обняла ноги своей госпожи; остальные последовали ее примеру, а затем таким же манером они приветствовали господина Полянского. К чести обоих надо сказать, что упомянутый обычай причинил им настоящие страдания»<sup>89</sup>.

Мы не знаем, действительно ли господа Полянские страдали. Скорее им было неловко перед иностранной гостьей. За тринадцать лет до приведенного случая с крепостными путешественник Франсиско де Миранда рассказал о сходной ситуации, в которой фигурировали люди свободные и даже благородные. Находясь в Каневе при князе Г. А. Потемкине, он видел, как «какой-то офицер в форме явился к князю поговорить о служебных делах, не знаю, в связи с чем, но прежде чем начать разговор, пал ниц и всё пытался поцеловать ему ноги, что князь, стесняясь моего присутствия, запретил и даже отчитал его. Офицер изложил свое дело, князь удовлетворил его просьбу, и тот снова бросился на землю, стал целовать ему ступни, икры, всё, до чего мог дотянуться. Какие тут к черту республиканские идеи и свобода! Видел также, как бедные женщины, когда мы с королем (Станиславом Августом. — О. Е.) проезжали мимо на лошадях, падали перед ним ниц, уткнув лицо в землю и обхватив руками голову. Далеко, очень далеко до свободы, коль скоро подобные изъятия чувств воспринимаются без всякого смущения!»<sup>90</sup>.

Дело происходило в Польше. Падающие ниц местные жители — поляки. Но то же самое можно было увидеть и в России во время путешествий Екатерины II: крестьяне сначала кланялись в землю, а потом подходили к императрице. Сходна реакция Потемкина и гос-



под Полянских — в обоих случаях они смущены присутствием иностранца, на родине которого такое не принято. Но если в 80-х годах XVIII века иной раз и проситель благородного происхождения позволял себе унизиться перед милостивцем, то к рубежу столетий такое поведение осталось уделом крепостных.

Обратим внимание на другой момент — баре не возражали ни против поцелуя рук и ног, ни против поцелуя дворовыми в щеку. Первый выражал покорность, второй радость по поводу приезда хозяев. Следует отметить, что для русской культуры XVIII столетия тактильный контакт значил гораздо больше, чем сейчас. Люди познавали мир и друг друга через прикосновения, подкрепляя речевой акт неким действием. Недостаточно было выбрать слугу, чтобы он понял, чего от него хотят. Следовало дать ему затрещину, в противном случае простолюдин забывал сказанное через минуту. Точно так же и поощрение, благодарность барина выражалась не только в словах или пожаловании дорогой вещи, но и в поцелуе. Тогда холоп знал, что им довольны. Такое поведение, до сих пор характерное для детей и подростков, свидетельствует о недостаточной развитости языковых контактов, о необходимости наглядно подтверждать слова.

В самом начале своего петербургского житья Казанова похвалился одному из друзей, что доволен служившим у него казаком и хочет снискать его приязнь ласкою. Друг только посмеялся: «Коль не будете его бить, он однажды сам вас излупит». Так и вышло. «Однажды он так упился, что не мог мне прислуживать, я грубо изругал его и с угрозой взмахнул палкой. Он тотчас кинулся и ухватился за нее, и если б я не повалил его в тот же миг, наверняка бы поднял на меня руку». Пришлось выставить казака. «Станный этот русский обычай — бить слугу, чтобы выучить его уму-разуму! — заключал Казанова. — Слова тут силы не имеют, убеждает только плеть. Слуга, рабская душа, почешет в затылке после порки и решит: “Барин меня не гонит, раз бьет, значит, любит, я должен верно ему служить”»<sup>91</sup>.

Кроме того, прикосновение значило присвоение. Вспомним, как Екатерина II, еще в бытность великой

княгиней, надавала пощечин своему новому камердинеру Василию Шкурину за то, что тот посмел донести на нее. «Я его спросила, на что он рассчитывает при таком поведении; ведь я всегда останусь тем, что я есть, а... его прогоню и велю отодрать»<sup>92</sup>. Пощечина в данном случае наглядно демонстрировала то, что царевна говорила словами. С этого момента Шкурин признал в Екатерине госпожу и горой стоял за ее интересы.

В 1801 году из Лондона в Петербург прибыл сын бывшего русского посла С. Р. Воронцова Михаил. Он отправился во дворец к дяде-канцлеру А. Р. Воронцову, но привратник, видя скромно одетого юношу без сопровождения слуг, долго не хотел его пускать. Если бы приезжий, вместо того чтобы объясняться, сразу залепил холопу оплеуху, тот немедля узнал бы «барскую руку». Но будущий генерал-губернатор Крыма и Кавказа был слишком хорошо воспитан в Англии. Он продолжал словесно отстаивать свои права, которые в тогдашней русской среде доказывались ударом.

Неприглядная модель поведения. Зато действенная. Путешествовавший по югу России в 1787 году Франсиско де Миранда описал расквартированные в Новороссии полки: «Нет такой работы по механической части или в доме, для исполнения которой тут не имелось бы собственных мастеров... И самое необыкновенное, что каждый обучается ремеслу, не имея иного учителя, кроме палки, готовой обрушиться на его спину, если он не научится и не сделает того, что велено... Названное средство действует безотказно»<sup>93</sup>.

Современный человек всячески избегает тактильных контактов, толкнули ли его в транспорте, стиснули в толпе или смачно расцеловали родственники — это равным образом неприятно. Два столетия назад, напротив, соприкосновение чаще всего воспринималось не без удовольствия. Троекратные, а иногда и шестикратные поцелуи при встречах, широкие объятия, пожимание рук влюбленными, тисканье детей и даже кулачные бои — все это формы обмена прикосновениями и энергией, плескавшей через край. Если собеседник хотел обратить внимание на что-то важное в своих словах, он брал того, с кем разговаривал, за руку.

Одно касание могло сказать больше, чем длинная речь или страстное признание.

Мисс Вильмот представляла культуру, где процесс атомизации личностей шел к завершению. Хотя впереди была еще целая эпоха подавления естественных стремлений правилами викторианской морали. Однако британское общество уже имело понятие о суверенитете персоны, с которым русскому еще предстояло познакомиться. Я, моя комната, мои книги, письма, бумаги, платья, тем более тело — суть неприкосновенны. На этом пути отказ от тактильного контакта — одно из важнейших условий. Названный процесс шел параллельно с развитием языка. Высшие сословия опережали в нем низшие.

Англия в данном вопросе отличалась не только от России, но и от европейского континентального общества в целом. Даже перегибала палку. Так, на острове поцелуй кавалером руки даме воспринимался как нечто не вполне приличное. Когда в 1816 году великий князь Николай Павлович (будущий император Николай I) посещал Англию, он во время одного из аристократических вечеров поцеловал руку жене русского посла Д. Х. Ливен, благодаря ее за игру на рояле. «Что показалось английским дамам странным, но в то же время решительно желанным», — записал очевидец, лейб-медик принца Кобургского Штокмар<sup>94</sup>.

Среди дел об убийстве барами своих слуг есть один случай, не вполне укладывающийся в общую канву. В 1781 году курский помещик Солодилов обвинил своего дворового человека Гончарова в притворной болезни живота, из-за которой тот якобы отлынивал от работы. Прежде Гончаров несколько раз бежал, так что теперь барин решил проучить его и избил ружейным дулом. Однако через некоторое время Солодилов пришел к выводу, что холоп все-таки не врет, захотел с ним помириться, пригласил к себе, посадил на кровать, налил стакан вина и поцеловал. В тот же день Гончаров умер, неизвестно от побоев ли или от желудочного воспаления. Суд решил, что барин виновен, по приказу императрицы Солодилова лишили чинов и дворянства, предали церковному покаянию и сослали в Сибирь

на вечную каторжную работу<sup>95</sup>. Для нас в данном случае любопытно сочетание крайних форм: наказания и поощрения, побоев и поцелуя. Помещик и его холоп обитали в мире, где то и другое было не просто возможно, а широко распространено.

Крестьяне порой считали себя вправе требовать с бар ответа за неудовольствия и обиды. Марта описала случай, когда во время обеда в одном из московских домов «женщина (по одежде крепостная) ворвалась в гостиную и... обратилась к хозяину дома господину Мерлину, и по интонации и жестикеуляции было видно, что ему делается выговор. Вдруг она в слезах подбежала ко мне, яростно сжимая кулаки, как бы собираясь драться». Оказалось, что эта служанка приревновала своего мужа к иностранной гостье и вздумала отгузнить соперницу. «Мне удалось уговорить присутствующих успокоить ее»<sup>96</sup>, — пишет Марта. Окружающих происшествие не столько рассердило, сколько позабавило, хотя молодая ирландка оказалась в шоке.

Трудно было привыкнуть к странным отношениям то дерущихся, то целующихся господ и слуг. К тому, что дворовые открывают двери в барские покои без стука, ибо «здесь такая манера»<sup>97</sup>. Порой невозможно понять, что больше травмировало мирозерцание европейского наблюдателя: порабощение помещиками слуг или то, что последние не знают своего места.

Так, шевалье де Корберон с возмущением писал о судебном процессе, отдавшем наследство покойного барина его вдове-крестьянке: «Эти дни мы были свидетелями весьма странного проигрыша судебного дела. Граф Ефимовский, вдовец, имел двух дочерей, одну замужем за графом Минихом, другую фрейлину. Этот человек умирает и оставляет обеим дочерям, единственным его детям, свое состояние поровну. По истечении шести месяцев одна крепостная, дочери которой дали вольную, бывшая наложница покойника, затевает с дочерью графа тяжбу, заявляя, что граф был на ней женат и имел ребенка. Она выигрывает дело и лишает наследства обеих дочерей графа Ефимовского. Государыня, которой делали несколько представлений по поводу этого дела, не хочет о нем ничего слышать»<sup>98</sup>.

Екатерина II, как всегда, избрала удобную тактику — самоустраниться и предоставить процессу идти законным путем. Только в этом случае она могла избежать претензий.

### *«Татарские комнаты»*

Дворянское общество сквозь пальцы смотрело на связи с крепостными. У кого их не было? Но вот завести в имении целый гарем — считалось делом из ряда вон выходящим. Тот факт, что современники специально обращали внимание на подобные случаи, говорит о их заметности на общем фоне. Наличие гарема у генерала Измайлова, как мы помним, вызвало жалобу крепостных императору. Любвеобильный самодур, став прототипом Троекурова, передал ему эту черту своей биографии. «В одном из флигелей его дома, — писал Пушкин, — жили шестнадцать горничных, занимаясь рукоделием, свойственным их полу. Окны во флигеле были загорожены деревянною решеткою; двери запирались замками, от коих ключи хранились у Кирилы Петровича. Молодые затворницы в положенные часы сходили в сад и прогуливались под надзором двух старух. От времени до времени Кирилы Петрович выдавал некоторых из них замуж, и новые поступали на их место». И снова отметим, что, перешагнув через моральные запреты, барин распространял свои притязания не на одних крепостных. Его фавориткой некоторое время была мамзель-француженка. Пушкин особо отмечает, что к Троекурову, зная его нрав, не ездили жены и дочери окрестных дворян.

Это совпадает с показаниями Яньковой о сластолюбивом старике Бахметеве, которого избегали соседи. Слухи подобного сорта, достигавшие света, превращались в скандал. Марта Вильмот, ничуть не стесняясь, описала из ряда вон выходящий случай. При посещении имения Архангельское князя Николая Борисовича Юсупова ей изменило воспитание. Сначала в письме родным она рисует роскошь, в которой обитал хозяин, а потом с утонченным чувством такта заявляет:

«Но я должна была высказать ему неудовольствие тем, что он не показал мне свои татарские залы, так что расскажу небылицы по этому поводу. Говорят, у него есть анфилада комнат в татарском стиле с промасленной бумагой вместо стекол, и в них живут прекрасные Дульцинеи, охраняемые со всей строгостью гарема турецкого султана. Молодая француженка убежала отсюда на прошлой неделе, сломав двери своей тюрьмы и оставив письмо, что она предпочитает свободу запада мрачной роскоши востока. Уныние Юсупова до сих пор является предметом сплетен города, а татарская промасленная бумага — скользкий вопрос для его высочества»<sup>99</sup>.

Таким образом, о неких скрытых от глаз гостей залах болтала вся Москва. Если бы подобное поведение было нормой, никаких сплетен не возникло. Впрочем, лично к Юсупову московское общество проявляло снисходительность, что объяснялось его добродушием и любезностью. Даже строгая Янькова говорит о князе с большой симпатией: «Так как Юсупов был восточного происхождения, то и немудрено, что был он великий женолюбец: у него в деревенском его доме была одна комната, где находилось, говорят, собрание трехсот портретов всех тех красавиц, благорасположением которых он пользовался... Князь Юсупов был очень приветливый и милый человек безо всякой напыщенности и глупого чванства, по которому тотчас узнаешь полувельможу... Все его очень уважали, за обходительность он был любим, и если б он не был чересчур женолюбив, то можно было бы сказать, что он был истинно во всех отношениях примерный и добродетельный человек, но эта слабость ему много вредила во всеобщем мнении»<sup>100</sup>.

Слухи о крепостном гареме или сменяющих друг друга дворовых фаворитках могли повредить не только репутации самого владельца, но и его семьи. Сыну такого человека впоследствии непросто было найти невесту в дворянской Москве, где судили по пословице, что яблочко от яблоньки недалеко падает. Так произошло с детьми фельдмаршала М. Ф. Каменского.

Соратник Суворова и победитель при Козлуджи славился дурным нравом. «Генерал Каменский, человек

живой, суровый, буйный и вспыльчивый, — писал о нем Сегюр. — Один француз, напуганный его гневом и угрозами, пришел ко мне искать себе убежища; он сказал мне, что, определившись в услужение к Каменскому, он не мог довольно нахвалиться его обхождением, куда они были в Петербурге, но что скоро господин увез его в деревню, и тогда всё переменилось. Вдали от столицы образованный русский превратился в дикаря: он обходился с людьми своими, как с невольниками, беспрестанно ругался, не платил жалованья и бил за малейший проступок иногда и тех, кто не был виноват. Не стерпев такого своеволия, француз убежал и приехал в Киев».

Посол отправился к обидчику и заявил протест по поводу обращения с соотечественником. «Мы горячо поспорили. Каменский находил странным, что я вмешиваюсь в дела его слуг и защищаю мерзавца». Барин видел в лакее-французе своего беглого и отказывался прекратить преследование. «Частное столкновение со мною не устрасило бы генерала, — заключал Сегюр, — но, боясь прогневить императрицу, он усмирился». Эта история имела для семьи дипломата неприятное продолжение. В самом начале Наполеоновских войн сын бывшего посла Филипп Сегюр был ранен и попал в плен. Его привели к Каменскому. Узнав, кто перед ним, самодур вспомнил прошлое столкновение и выместил на молодом человеке всю обиду. «Он хотел заставить его пройти двадцать лье в снегу по колено, не дав ему времени... перевязать раны. Но русские офицеры, возмущенные жестокостью генерала, дали моему сыну кибитку»<sup>101</sup>.

Каменскому было все равно, кто перед ним: крепостной, француз-лакей или пленный дворянин. Буйный от природы, он со всеми обходился жестоко. От него страдали не только дворовые, но и жена с детьми. В старой столице ходили слухи, будто фельдмаршал порол своих сыновей, даже когда те носили генеральские чины. Во всяком случае молодые люди боялись отца как огня. Существует несколько версий гибели барина от рук крепостных. Достоверно известно только, что фельдмаршал был зарублен в лесу. По суду несколько

человек отправились в Сибирь и около трехсот забрили в солдаты, что указывает на стговор дворовых, которые, возможно, знали, но не воспрепятствовали намерению убийцы.

При жизни Каменский не только открыто сошелся с любовницей, которую поселил в одном из имений, но и содержал там же гарем из актрис крепостного театра. Последний располагался на третьем этаже барского дома и носил красноречивое название «гульбицы». Неудивительно, что от сыновей ждали продолжения отцовских подвигов. Старший из них, Сергей, действительно уродился в фельдмаршала, но без его военных талантов. А младший, Николай, унаследовал и славу, и способности отца на ратном поприще, но пошел в мать мягким, добрым сердцем. Ему-то и не повезло.

Сначала молодой человек влюбился в дочь немецкой экономки в доме своей тетки Щербатовой, но родные, боясь мезальянса, выдали девушку замуж за другого. Мать приискала сыну родовитую и богатую невесту Анну Алексеевну Орлову, однако последняя никак не могла решиться сказать «да». Самое печальное, что графиня прониклась к жениху сильным чувством. Но, с одной стороны, молодой женщине казалось, что все сватаются к ней из-за приданого. А с другой — репутация дома Каменских была самой неблагоприятной. В это время Николай Михайлович уже стал известным военачальником, он командовал русскими войсками в Финляндии во время успешной войны со Швецией, а затем отправился в Бессарабию, где в 1806 году началась война с Турцией. Там Каменский заболел лихорадкой и скоропостижно скончался<sup>102</sup>.

Помимо неблагоприятного стечения обстоятельств, на жизнь Николая трагический отпечаток наложило поведение отца. Семью фельдмаршала избегали в обществе. Это было то самое солидарное мнение света, которое заставляло соседей не ездить к Бахметеву, дам — не появляться в доме генерала Измайлова, а пушкинскую Машу Троекурову — оставаться без знакомых своего круга, потому что жены и дочери окрестных помещиков избегали пиров самодура. По-своему — тяжкий крест.



Болотов, описав одно из дворянских семейств, где хозяева искалечили крепостную девушку, заключал: «И на то ль даны нам люди и подданные, чтоб поступать с ними так бесчеловечно?.. Мы содрогались и гнушались таким зверством и семейством сих извергов, так что не желали с сим домом иметь и знакомства никогда». Соседи по уезду посчитали, что фамилия «делает бесчестье и пятно всему дворянскому корпусу», и больше к ним не ездили. «И как дело сие было скрыто и концы с концами очень удачно сведены, то и остались господа без наказания»<sup>103</sup>. Однако изоляция от равных тоже служила карой, не такой страшной, как крестьянский топор или сибирские рудники, но порой способной сломать жизнь виновным.

### *«Семейное начало»*

Секрет странных, на сторонний взгляд, отношений бар и слуг крылся, по выражению князя Вяземского, в «семейном начале», связывавшем людей, из поколения в поколение живших одним домом. В определенном смысле в России повторился опыт древнеримской патриархальной семьи, куда входили не только свободные хозяева, но и их рабы на правах младших членов. Последние, в частности, наделялись фамилией владельца. То же самое происходило и у нас два столетия назад, когда уходившие на заработки крестьяне получали паспорт, в котором им присваивалась фамилия помещика. Отсюда многочисленные Орловы, Шереметевы, Васильчиковы и т. д. Вяземский писал: «В старых домах наших многочисленность прислуги и дворовых людей была не одним последствием тщеславного барства: тут было также и семейное начало. Наши отцы держали в доме своем, кормили и одевали старых слуг, которые служили отцам их, и вместе с тем призывали и воспитывали детей этой прислуги. Вот корень и начало этой толпы более домочадцев, чем челядинцев. Тут худого ничего не было; а при старых порядках было много и хорошего, и человеколюбивого»<sup>104</sup>.

Эта семейность приобретала особый оттенок, если учесть побочных детей, рождавшихся от любовных утех бар с крестьянками. Одни из них могли быть признаны и получить вольную, другие так и оставались холопами. Часто молодой барчук рос в окружении своих кровных братьев и сестер, а старые слуги оказывались его близкой родней. В «Дубровском» Пушкин рассказывает, что Троекуров признавал своим сыном девятилетнего Сашу, подаренного ему гувернанткой-француженкой мамзель Мими, «несмотря на то, что множество босых ребятишек, как две капли воды похожих на Кирила Петровича, бегали перед его окнами и считались дворовыми». Нащокин, описывая выезд отца, мимоходом сообщает о своем сводном брате: «Одноколкой правил Семен-писарь — мальчишка лет семнадцати... Семен, сказывают, похож был на батюшку и им очень любим. Он умер горячкой. “Жаль Сеньку, был бы полковник”, — говаривал мой отец»<sup>105</sup>.

В хорошей карьере побочного сына генерала не было ничего удивительного. Дети четвертого из братьев Орловых — Федора Григорьевича — сумели достичь немалых высот. Шесть его незаконнорожденных сыновей росли в доме отца и считались его «воспитанниками». В 1796 году братья получили родовую фамилию и дворянство. Михаил Федорович, флигель-адъютант и одно время любимец Александра I, в чине генерал-майора принимал капитуляцию Парижа. Позднее участвовал в ранних декабристских организациях, стал членом Союза благоденствия. После 14 декабря 1825 года его арестовали, но Николай I ограничил наказание высылкой в имение, а затем в Москву. Такая мягкость объяснялась дружбой, которую молодой государь питал к брату Михаила — Алексею Федоровичу, также герою войны 1812 года, командиру лейб-гвардии Конного полка, позднее председателю Государственного совета и Комитета министров, а после смерти А. Х. Бенкендорфа — шефу жандармского корпуса. Таким образом, низкое происхождение матери не сказывалось на движении детей по социальной лестнице, если только отец хотел видеть их своими наследниками.

Семейное начало прослеживалось и в отношениях барынь с горничными, которые годами жили бок о бок и старились вместе. Сабанеева рассказывала о двух служанках своей бабушки-фрейлины, Авдотье и Насте, которых в доме называли «фрейлинскими девушками». Детские воспоминания сохранили теплый образ. «Гардеробная, большая светлая комната с горшками герани, бальзамина и жасминов по окнам. Посреди большой круглый стол со всеми швейными принадлежностями; тут и подушечки с булавками, старые бомбоньерки с разноцветным шелком, картинки мод и обрезки ситца, лент и кружев...

Пока няня болтает с Дуняшей и Настей, мы роемся в этих шелковых тряпках и глядим картинки мод, затем нас щедро наделяют лоскутьями для наших кукол; наберешь эти сокровища в фартучек и удаляешься коридором восвояси с сердцем, исполненным блаженной радости! И какими они нам казались добрыми, эти щедрые благодетельницы! Мы особенно любили Дуняшу... Она была отличная актриса в своем роде, проникнутая важностью своего амплуа, приближенного и доверенного лица ее превосходительства фрейлины Кашкиной. Она жила с бабушкой в Петербурге во дворце, когда бабушка была при дворе... Самая тесная дружба связывала Дуняшу с Настей, ни тени соперничества и полная гармония на пути общей деятельности, привязанность их к фрейлине была безгранична. Они обе остались сиротками, с раннего детства не имели ни семьи, ни родных, и это способствовало слиянию их личных интересов с интересами господ. Они всегда говорили друг другу “вы”, и остальные люди в доме говорили им тоже “вы”, когда к ним обращались, и они пользовались в доме авторитетом»<sup>106</sup>.

Пушкин, заочно полемизируя с Радищевым, не зря обращал внимание на нерабскую манеру поведения русского крестьянина: «Взгляните на него: что может быть свободнее его обращения! Есть ли и тень рабского унижения в его поступи и речи?»<sup>107</sup> Мисс Вильмот не согласилась бы с поэтом: «Что касается простолюдинов, они вступают в жизнь с угодливым и зависимым характером. Рожденные рабами, они не смеют и поду-

мать о том, что можно отдаться какому-либо влечению, для них существуют лишь желания их господ. Однако выражения их лиц, тон голоса (необычайно мягкого и гармоничного) дают понять, что они вполне чувствуют свое зависимое положение»<sup>108</sup>.

Это зависимое положение проявлялось и в семейной сфере. Точно так же, как для императора не было ничего закрытого в частной жизни отдельного дворянина, барин контролировал брачный мир своих крестьян. Мы уже говорили, что размножение холопов было выгодно хозяину, поэтому помещики не позволяли вошедшим в возраст парням долго ходить холостыми. Но была и другая проблема, приковывавшая внимание господ. Марта Вильмот рассказывала в письмах родным о том, как в Троицком обнаружили серьезные нарушения, допущенные попом местной церкви: «Если проверить церковные записи, откроется, что, судя по регистрации рождений и крещений, священник много раз женил мальчиков одиннадцати, двенадцати и тринадцати лет на женщинах двадцати — двадцати пяти лет и старше, что противозаконно. Русских священников часто подкупают крестьяне, чтобы женить своих малолетних сыновей на взрослых женщинах. Вследствие этого они получают работницу в дом, а все остальное во внимание не принимается»<sup>109</sup>.

Вспомним разговор пушкинской Татьяны с няней:

— И, полно, Таня! В эти лета  
Мы не слышали про любовь;  
А то бы согнала со света  
Меня покойница свекровь. —  
«Да как же ты венчалась, няня?»  
— Так, видно, Бог велел. Мой Ваня  
Моложе был меня, мой свет,  
А было мне тринадцать лет.

Желание приобрести в семью здоровую, крепкую работницу толкало крестьян к уродливому извращению брака. В одной избе оказывались, помимо стариков, пожилая женщина, жена хозяина (когда-то тоже выданная взрослой девицей за мальчика), средних лет муж, ядреные молодайки — жены его сыновей, и мальчишки-подростки. Понятное дело, что со снохами, вмес-

то их законных мужей, жил свекор. Образовывался своего рода семейный гарем. На пути из Москвы в Петербург Франсиско де Миранда специально осведомлялся «о бытующем среди крестьян обычае: отец часто женит своего десятилетнего сына на восемнадцатилетней девушке и сожительствует с нею, пока сын еще маленький, успевая сделать ей трех или даже четырех детей. Мне подтвердили, что такое случается»<sup>110</sup>. Это явление называлось «снохачеством», оно запрещалось по закону, и государство вменяло владельцам крепостных в обязанность следить, чтобы ничего подобного в их деревнях не происходило.

Если бы формы вмешательства во внутреннюю жизнь деревни не смягчались патриархальными представлениями о барине, как о своего рода главе обширного семейства, такое вмешательство было бы почти нестерпимо. Целая цепь ритуалов: совместные молебны по воскресным дням, устраиваемые для крестьян праздники, крестины их детей, подарки и т. д. — призвана была поддержать ощущение единства и нерасторжимой связи хозяина с его холопами. Янькова описала, как ее, молодую хозяйку, муж представлял крепостным. «Как исстари водилось, перед парадным крыльцом собрались все крестьяне из наших деревень. Тут меня вывел мой муж им показать, и, как они просили, я жаловала их к своей руке; потом всех мужиков угощали пивом, вином, пирогами, а бабам подарили серьги и перстни и из окна бросали детям пряники и орехи. Так праздновались прежде во всех селах храмовые главные праздники»<sup>111</sup>. Таким образом, барин оказывал уважение своим крестьянам, а те, в свою очередь, хозяйину. Поцелуи руки и раздача подарков ритуально скрепляли отношения между хозяевами земли и миром.

### *«Проклятая страсть»*

Иногда слуга становился барину настоящей нянькой, а его семье — единственной опорой. Именно в такой ситуации оказалась Лабзина во времена свое-

го горького замужества за мотом и картежником. «...был у нас человек, собственный мой, который смотрел за всем домом, — вспоминала она. — Он нас в нуждах не оставлял... И сколько можно было рабу говорить Господину, то он со слезами умаливал его не погублять себя и несчастных жену и мать. “Вы можете очень скоро потерять честь, здоровье, даже и жизнь ваша подвержена опасности! Что тогда с нами будет? Мне стыдно вам говорить, но я принужден. Неужто вы не знаете, что у вашей матери и жены нет уже имения, чем бы они могли содержать дом и себя? Я пока имею, то все отдаю для них, но и у меня скоро ничего не будет, тогда пойду работать, а их не оставлю: хоть хлеб один, да будут иметь!” И, говоривши, горько плакал. Муж мой все слушал спокойно и сказал: “Я тебя никогда не забуду и буду считать другом, только не оставь жену и мать...” — “Чем, батюшка, я могу их не оставить? Вы сегодня выиграли, я знаю, дайте мне на содержание дому!” Он подал ему кошелек с пятьюстами, и человек взял четьреста, а сто оставил ему»<sup>112</sup>.

Перед нами редкий случай, когда дворовый уговаривает господина оставить пьянство и игру. Чаще бывало наоборот. Борьба с пьянством крестьян лежала тяжким бременем на плечах помещиков. Этот пагубный порок, как и воровство, карался поркой. Однако простое телесное наказание часто не имело действия. «Народ русский склонен к пьянству больше многих, — писал естествоиспытатель второй половины XVIII века Иван Болтин. — Не прошло еще и полувека, как в России пьянство во всеобщем было употреблении, и не прежде как с половины настоящего столетия признавать стали его за стыд, а не более как лет двадцать вовсе истребилось в обществе людей благородных. Подлые люди и поныне пьяных напитков употребляют, может быть, более, чем инде; однакож нельзя назвать вообще всех пьяницами»<sup>113</sup>.

С другой стороны, Виже-Лебрён, разъезжая по улицам Петербурга и Москвы, не заметила пьяных. «Здесь никогда не увидишь пьяного, хотя обыкновенное их питьё составляет зерновая водка»<sup>114</sup>, — писала она о

русском простонародье. Объяснений тут два: во-первых, полиции вменялось в обязанность забирать гуляк с улиц; во-вторых, дворяне зорко бдели за своими крепостными, зная национальную склонность к кабаку. Несмотря на то, что во многих крупных имениях держали винокуренные заводы, дававшие немалые барыши, вся продукция обычно отправлялась на сторону — в город. Спаивать собственных крестьян ни один разумный помещик не стремился.

Шарль Массон, писавший свой памфлет тогда же, когда Вижэ-Лебрён путешествовала по России, не согласился бы с художницей: «На московских и петербургских улицах нередко можно видеть пьяных попов и монахов; их качает, они бранятся, горланят песни, пристают к прохожим и оскорбляют женщин своими грязными прикосновениями»<sup>15</sup>. Было ли это памфлетным преувеличением? Возможно, нет. В «Приключениях...» Болотова описана картина не менее отгалкивающая:

«Был у меня в доме столяр Кузьма Трофимович, человек по ремеслу очень нужный, но пьяница прегорький. Как ни старался я воздержать его от сей проклятой страсти, но ничего не помогало. К пьянству присовокупилось еще и воровство. Ибо как пропивать было нечего, то принялся он красть и все относил в кабак. Уже во многих воровствах он был подозреваем, уже пропил он весь свой инструмент, уже обворовал он всех моих дворовых людей, уже вся родня на него вопияла, а наконец дошло до того, что начала со скотного двора пропадать скотина. Не один раз я его уже секал, не один раз сажал в рогатки и в цепь, но ничего тем не успел... Я не знал, что мне с ним делать, ибо жалел его только для детей его».

Три сына Кузьмы находились в услужении у барина и поначалу казались очень справными ребятами, но с возрастом в них проснулось то же пагубное пристрастие, что и у отца. Однажды в доме вновь случилась кража, а столяр как на грех сразу после нее запил. Само собой, подозрения пали на него. «Надобно мне было... добиваться, откуда берет он деньги на пропой? — пи-

сал Болотов. — Посекли его немного, посадил я его в цепь, в намерении дать ему посидеть в ней несколько дней, а потом повторить сечение понемногу несколько раз, дабы было оно ему тем чувствительнее, а для меня менее опасно, ибо я никогда не любил драться слишком много, а по нраву своему охотно бы хотел никогда и руки ни на кого не поднимать, если б то было возможно».

Увидев, что наказание отца затягивается, двое из его старших сыновей решились на отчаянный шаг. «Один кричал, что он схватит нож и у меня пропорет брюхо, а там и себя по горлу, а другой и действительно, схватя нож, хотел будто бы и зарезаться. По всему видно, так поступать научены они были от своего родимого батюшки, ибо самим им так вдруг озлобиться было не на что... Я вытолкал их вон». Вышедшие из повиновения холопы решили, что напугали Болотова, один отправился спать на полати, а другой самовольно уехал в город пьянствовать, «ибо думал, что он уже свободен сделался».

Обратим внимание на последнюю реплику мемуариста. В рассуждениях о вольности крепостных русские авторы неизменно ставили свободу и пьянство рядом. Точно одно неизбежно вытекало из другого. В. Г. Белинский, не понаслышке знавший, какие нравы царят в крестьянской среде, писал одному из своих корреспондентов: «В понятии нашего народа свобода есть воля, а воля — озорничество. Не в парламент пошел бы освобожденный русский народ, а в кабак побежал бы он, пить вино, бить стекла и вешать дворян»<sup>116</sup>. Московский генерал-губернатор А. А. Закревский уже на пороге отмены крепостного права открыто заявлял, что «свобода должна произвести своеволие, которое в свою очередь породит пьянство, самодурство и обнищание. К несчастью, все эти предположения оправдались»<sup>117</sup>. Закревский знал, о чем говорил: он 14 лет, находясь в отставке, управлял огромными имениями жены и привел их в образцовое состояние. Для него крестьянский быт не был политической абстракцией.

Но вернемся к Болотову. Он приказал схватить обо-



их молодцов под вечер, посадить в канцелярии «и держать их до тех пор в цепях на хлебе и воде, покуда они, поутихнув, сами просить будут помилования». Так и произошло, просидев неделю, молодчики взмолились о пощаде, управляющий выпустил их, «и впоследствии обоими ими были мы довольны... Что же касается до негодяя отца их, то оный многие еще годы продолжал мучить и беспокоить нас своим пьянством, покуда, наконец... заворовавшись однажды, лишил через удушение себя жизни»<sup>118</sup>.

### *«Русская домоводка»*

Одним из главных бичей крепостного хозяйства была хроническая порча имущества. Уфимский мемуарист Г. И. Винский, очень не симпатизировавший русским барам, не без пристрастия писал о дворянской семье, в которой ему довелось жить: «Хозяйство русской домоводки состоит все из мелочей: на кухне масла, яиц и других припасов ежедневно издерживается втрое больше надобного, чему ни одна хозяйка воспрепятствовать, кроме крику и побоев, не может; ибо ни одна не познана с кухонными работами... Крайнее удивление возбуждается в иностранце истреблением по дворянским домам челядинцами посуды и других вещей. Они все бьют, ломают, теряют, будто на подряд; а глупые хозяева довольствуются одним лишь за то наказанием»<sup>119</sup>.

Винский привел разговор одной драчливой хозяйки из Оренбургской губернии со своим поваром. «Сия кричит: “У тебя сегодня соус был совсем нехорош”. — “Нехорош, сударыня, да чем же?” — “Еще я б знала чем? Нехорош, скверен, тебе говорят; вот я тебя, каналью, научу”. — “Воля ваша, сударыня, а я лучше не умею”. — “Еще ты смеешь говорить? Разве даром за тебя деньги платили?” — “Большие, сударыня, деньги, 15 рублей; да тому уже более 30 лет; тогда и не слышать было о таких кушаньях, каких ты изволишь требовать”. — “Разговорился, бестия”. — “Воля твоя, судары-

ня, ведь мне скоро 60 лет; я же человек ломаный, пора бы отставить”»<sup>120</sup>.

Даже если Винский и преувеличивал, доля правды в его словах была. Не все «русские домоводки» оказывались настолько несведущими. Напротив, очень часто женщины с успехом занимались управлением крупных хозяйств. Кэтрин Вильмот описала одно из образцовых: «Очень бойкая вдова, госпожа Небольсина живет королевой в своем владении. Ее дом в английском стиле окружен аллеями, садами, лесами и полянами. Утро мы посвятили осмотру богатого хозяйства: бань, маслодельни, конюшен — все устроено по английской методе»<sup>121</sup>. Но и плохо разбиравшихся в делах хозяек, как видно, хватало.

Бросается в глаза, что европеизация быта давалась дворянским семьям нелегко. Особенно в провинции. Многие вещи: посуда, одежда, скатерти, кушанья — оставались непривычными до середины XVIII века. Подчас дворовые портили их не по злобе, а из-за неумения обращаться с хорошим фарфором, тонким голландским столовым бельем, рецептами новых блюд. Богатые барыни страшились, что их прачки начнут мыть кружевные скатерти и манжеты, как льняную ткань, — то есть бить о камни в ближайшей речке и тереть песком. Поэтому некоторые особо придиричивые дамы гоняли возы с дорогим бельем в Голландию и Германию, чтобы там его отстирали, не порвав.

Ощущалась насущная потребность в обучении — своеобразной школе домоводства для благородных господ. Вольное экономическое общество, созданное в России Екатериной II и призванное способствовать развитию хозяйства, выпускало «Труды», в которых публиковались, помимо прочего, рекомендации по устройству быта. В 1770 году общество поместило работу Иосифа Регенсбургера «Бюджет помещика. Начертание. Каким образом женатому, но бездетному господину, имеющему в год доходов 20 000 рублей, располагать домостроительство...». Далее следовала приводимая здесь таблица со статьями расходов<sup>122</sup>.

№	НАИМЕНОВАНИЕ	руб.	коп.
1	За наем двора в год	1200	—
2	На дрова	440	—
3	На кухню	3594	10
4	На напитки	1505	85
5	На конфекты	973	—
6	На жалованье домашним официантам и женщинам	3267	50
7	На месячное жалованье ливрейным служителям (лакеям, кучерам и т. д. — <i>О. Е.</i> )	1767	—
8	На столовое и поваренное белье	422	—
9	На мытье кружева и манжет	150	—
10	Расходы на обыкновенную ливрею	774	—
11	Ежегодные расходы на праздничную ливрею	372	33
12	Конюшенные расходы	1087	60
13	Мастеровым за починки	150	—
14	На карету и убор	254	50
15	На свечи для всего дома на весь год	176	—
16	На содержание охотничьих собак	18	—
17	На содержание домашних собак	14	60
18	Доктору, лекарю и на лекарство	160	—
19	За чищенье труб	18	—
20	Священникам и на свечи к иконам	44	—
21	На подавание нищим	150	—
22	На господское платье	2000	—
23	На новое белье	100	—
24	Карманные деньги для господина и госпожи	1000	—
25	За письма и ведомости (газеты, журналы. — <i>О. Е.</i> )	200	—
26	Что остается в сохранной казне	161	52

Такая таблица могла удовлетворить не каждого. Придирчивые хозяева заметили бы, что составитель произвольно объединил в ней деревенский и городской образ жизни. Если помещик обитал в сельской местности, то обычно не нанимал дом, а жил в своем. Если служил в городе, то ему явно излишней была

охотничья свора. Доктора и лекаря в деревнях были редкостью. Предусмотрена чистка труб, но отсутствует плата золотарям за опорожнение выгребных ям. Оба эти пункта расходов тоже были городскими. В деревнях подобной работой занимались специальные категории дворовых. Не учтены расходы на садовников, огородников, егерей и т. д.

К бюджету, предложенному господином Регенсбургером, можно предъявить множество претензий. Благо Вольное экономическое общество печатало подобные материалы регулярно и всякий рачительный владелец имел шанс подобрать для себя приемлемый вариант.

Любопытна работа некоего господина Шретера, показывавшая, какие отдельные покои обязательно должны быть в доме помещика, сколько на них потребно дров, какие категории дворовых обслуживают семью и сколько они изнашивают платья и обуви в год. Из его примерного бюджета самое малообразованное старосветское семейство, живущее в медвежьем углу, узнавало, что необходимо выделить в господской хоромине по крайней мере спальню, столовую, гостиную, детскую, комнату для учителя, помещение для горничных и поварихи, такое же для кучера и лакеев.

Между слугами устанавливалась жесткая градация по степени приближенности к господам. Выше остальных считались управитель, повар и камердинер, они питались за особым столом. Ниже стояли лакеи, кучер, форейтор, дворовые и кухонные служители, они ели вместе. С ними не должна была садиться горничная, обслуживавшая госпожу. Обычно этих девушек было несколько, и их усаживали особняком. Выше остальных домочадцев стоял учитель, он не только получал жалованье, но и питался за господским столом.

Из одежды на одного слугу мужского пола в год полагались: ливрея (кафтан, камзол, штаны), кожаные штаны, зимние перчатки, епанча, шляпа, шапка к ливрее, сапоги, две пары туфель с пряжками, две пары чулок, шуба, балахон (нечто вроде плаща) и серый кафтан (платье для грязной работы). К сожалению, господин Шретер не указал того же для женской прислуги, которая бывала в доме очень многочисленной.

Зато он разработал два списка съестных припасов, сообразуясь с которыми рачительная хозяйка должна была производить закупки<sup>123</sup>. Часть скоропортящейся провизии полагалось пополнять раз в три дня. За господский стол предположительно усаживалось восемь человек домочадцев. Для обеда предназначались четыре блюда, для ужина три, а кроме них, четыре тарелки с маслом, сыром и салатами по временам года. Цены даны на 1770 год.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	Фунты	Рубли	Копейки
Говядины 3 коп. фунт	30	—	90
Телятины	1/2	—	80
Ягненок	1	—	50
Баранины	1/2	—	50
Курицы	2	—	30
Уток	2	—	50
Дичины	—	—	—
Рыбы	—	1	—
Яиц	20	—	10
Зелени и кореньев	—	—	46
Хлеба (на 4 чел. один хлеб)	12	—	48
Молока	—	—	12

Итого семья тратила в течение трех дней 5 рублей 66 копеек. Обращает на себя внимание весомое количество рыбы в рационе, это объяснялось соблюдением постов, когда рыбная пища заменяла собой другие блюда.

Второй список учитывал продукты, которыми можно было запастись сразу на год. Среди них указаны и сыры твердых сортов, которые закупались за границей и хранились подолгу. Масло, копченая и соленая рыба, а также квашеная капуста и соленые огурцы тоже не относились к скоропортящимся товарам. Существовало множество способов сохранения съестных припасов, самый распространенный из них — положить в погреб на ледник. Среди пунктов расходов по дому часто можно встретить статью: «За набивание погреба льдом».

ЕЖЕГОДНЫЕ					
СЪЕСТНЫЕ ПРИПАСЫ	Руб.	Коп.	Потребно	Руб.	Коп.
Масла. Пуд.	2	80	12 п.	33	60
Муки крупчатой. Пуд.	1	—	8 п.	8	—
Муки ржаной. Пуд.	—	40	36 п.	14	40
Пшена сорочинского (риса). Пуд.	2	40	1,5 п.	3	60
Перловой крупы. Пуд.	2	40	2 п.	4	80
Манны. Пуд.	1	20	2 п.	2	40
Саго (крупя из картофельного крахмала). Фунт.	1	—	—	—	—
Гречневой крупы хорошей. Пуд.	1	—	2 п.	2	—
Гречневой крупы простой. Четверть.	—	60	2 ч.	1	20
Овсяной крупы хорошей. Пуд.	1	—	2 п.	2	—
Овсяной крупы простой. Четверть.	—	55	2 ч.	1	10
Яшной крупы хорошей. Пуд.	1	—	2 п.	2	—
Яшной крупы простой. Четверть.	—	55	2 ч.	1	10
Сахарных стручьев. Пуд.	1	20	2 п.	2	40
Стручьев простых. Четверть.	—	65	2 ч.	1	30
Бобов. Пуд.	1	20	2 п.	2	40
Чечевицы. Пуд.	1	20	2 п.	2	40
Турецких бобов. Пуд.	1	20	2 п.	2	40
Аглицкого сыра. Пуд.	6	—	1/2 п.	3	—
Пармезанского сыра. Пуд.	12	—	—	—	—
Голландского сыра. Пуд.	6	—	1/2 п.	3	3
Швейцарского сыра. Пуд.	8	—	—	—	—
Неаполитанской лапши разных сортов. Фунт.	1	—	—	—	—
Соли. Пуд.	—	40	6 п.	2	40
Вишен сушеных. Пуд.	8	—	10 ф.	2	—
Малины сушеной. Пуд.	2	—	—	—	—
Французского черносливу. Пуд.	6	—	10 ф.	1	50
Простого черносливу. Пуд.	1	50	1 п.	1	50
Изюму в горшках. Горшок.	6	—	—	—	—
Обыкновенного изюму. Пуд.	3	—	20 ф.	1	50
Коринки. Пуд.	3	10	20 ф.	1	60
Груш сладких и сушеных. Пуд.	6	—	10 ф.	1	50

Яблоко сладких и сушеных. Пуд.	6	—	10 ф.	1	50
Миндаль в шелухе. Пуд.	8	—	10 ф.	2	—
Сладкого миндаля. Пуд.	7	—	20 ф.	3	50
Горького миндаля. Пуд.	8	—	5 ф.	1	—
Бистациев. Пуд.	40	—	—	—	—
Сморчков и грибов.	—	—	—	на 2	—
Черный перец. Фунт.	—	40	15	6	—
Белый перец. Фунт.	—	50	3	1	50
Желтый имбирь. Фунт.	—	25	8	2	—
Белый имбирь. Фунт.	—	30	—	—	—
Корица. Фунт.	3	—	1	3	—
Мушкатные орехи. Фунт.	2	50	1/2	1	25
Мушкатные цветы. Фунт.	3	50	1/2	1	75
Гвоздика. Фунт.	3	—	1/2	1	50
Кардамон. Фунт.	2	—	1/2	—	1 —
Аглицкая горчица. Фунт.	1	—	2	2	—
Сахар простой. Пуд.	7	—	3 п.	21	—
Рофонаты. Пуд.	8	—	1 п.	8	—
Сахар канарской. Пуд.	12	—	—	—	—
Черный чай. Фунт.	2	—	20 ф.	40	—
Зеленый чай. Фунт.	2	50	20 ф.	50	—
Коффей. Пуд.	16	—	1 п.	16	—
Голландские сельди. 1/4 бочки.	4	—	2/4 б.	8	—
Анчоузы. 1/4 бочки.	—	—	—	на 3	—
Каперсы и оливки. 1/4 бочки.	—	—	—	на 4	—
Ренской уксус. 1 анкерок.	5	—	1 ан.	5	—
Деревянное масло. Пуд.	16	—	1 п.	16	—
Тимон. Фунт.	—	3	5 ф.	—	15
Анис. Фунт.	—	6	5 ф.	—	30
Кориандр. Фунт.	—	5	2 ф.	—	10
Окороки. Пуд.	2	50	5 ф.	12	50
Шпек. Пуд.	3	—	—	—	—
Копченые гуси. Одна штука.	—	40	—	на 3	—
Копченой колбасы. Фунт.	—	25	15 ф.	3	75
Копченая солонина. Пуд.	2	—	6 п.	12	—
Копченая лососина. Пуд.	4	—	1 п.	4	—
Копченые сельди. Тысяча штук.	10	—	1000	10	—
Треска голландская. Пуд.	7	—	—	—	—
Треска обыкновенная. Пуд.	1	50	2 п.	3	—
Камбала обыкновенная. Сто штук.	1	—	200	2	—

Белая капуста на кислую. Тысяча штук.	6	—	500	3	—
Огурцы в соль. Тысяча штук.	1	—	1000	1	—
Огурцы малые в уксусе.	—	—	—	на 3	—
Белое французское вино. Оксофт.	50	—	1 ок.	50	—
Красное французское вино. Оксофт.	60	—	1 ок.	60	—
Французская водка. Анкерок.	10	—	1 ан.	10	—
Гданьская водка. Фляга.	2	50	6 фл.	15	—
Аглиское пиво. Бочка.	75	—	1 б.	75	—

Следует иметь в виду, что все эти продукты шли на прокормление не только барской семьи, но и холопов, обслуживавших дом. Исходя из приведенных списков, можно сделать некоторые выводы о рационе питания господ (а значит, отчасти и дворни, поскольку домашние слуги нередко лакомились остатками кушаний, которые готовили для хозяев). Мясной рацион был разнообразен, в нем преобладали блюда из вареного, жареного и печеного мяса, а вот колбасы еще не вошли в обиход так изобильно, как сейчас, они указывались в перечне без сортов, просто как один продукт. Их место отчасти занимали окорока, шпик и солонина, а также копченые гуси и утки. Бросается в глаза множество круп и бобовых культур, но нет картофеля. Несмотря на все усилия по внедрению последнего, дело шло не бойко. В крестьянском рационе этот овощ заменяла репа, дворяне же обходились без нее. Любимых сейчас макаронных изделий почти не знали. Упомянутая неаполитанская лапша предусмотрена в смешанном количестве — 1 фунт на год. Сыр считался лакомством, его полагалось по полфунта на год каждого вида.

Подобными таблицами и рекомендациями могли воспользоваться не только хозяева, но и управители, дворецкие, экономки, иногда даже кухарки — те, кто отвечал перед господами за хозяйство в доме. Число грамотных среди дворовых, живших при барах, было заметно выше, чем среди крестьян. Потому и любопытнее, чем эти «домоводы» и «домоводки» руководствова-



лись в повседневной работе, от которой зависело частное благополучие их господ.

Отношения со слугами — особая глава в обыденной жизни русского дворянства XVIII века. Мы постарались нащупать тот нерв, который соединял благородное словие с «подлым», мозг нации с мышечной массой, волю с силой. Не удивительно, что при описании снова возник образ патриархальной семьи. Она вовсе не обязательно была счастливой. Ее нравы нуждались в смягчении. Уродливые стороны крепостного права сочетались с относительным достатком крестьян. В эпоху Екатерины II крепостная система достигла своего пика и в миг абсолютного могущества начала давать первые трещины. Но до ее крушения было еще далеко. «Лет через 500—600 Россия встанет в один ряд с остальной Европой, — рассуждала на обратном пути в Лондон Кэтрин Вильмот. — А пока не надо торопить время и убирать подпорки, пока растение не окрепло в достаточной мере и не выпрямилось. Какие-либо срочные меры лишь пригнут цветок к земле»<sup>124</sup>.

## СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ: ЕВРОПЕЙЦЫ В РОССИИ

Психологический феномен изучения записок иностранцев, в первую очередь европейцев, о России состоит в том, что современный читатель чаще всего внутренне солидаризируется с автором и взирает на своих предков с тем же недоумением, что и путешественник, прибывший из Франции, Италии или Англии. Это происходит не только благодаря обаянию источника, когда исследователь видит прошлое «чужими глазами». Он забывает, что перед ним не оконное стекло, искажающее реальность в минимальной степени, а текст, созданный два века назад представителем иной культуры, которому многое может быть непонятно и неприятно в другой стране.

Однако это лишь половина проблемы. Начав в XVIII веке движение в сторону европеизации, русская культура, несмотря на тяжелые исторические испытания, не останавливалась на этом пути. В сфере оценок и ощущения наш современник куда более «европеец», чем самый образованный представитель дворянской элиты позапрошлого столетия. Поэтому прибывший из Европы путешественник подчас кажется нам «своим» среди «чужих». Мы склонны вместе с ним удивляться отсутствию кроватей в гостиницах или обычаю купчих чернить зубы, не говоря уже о негодовании по

поводу наказания слуг плетьюми или брезгливого удивления многократными поцелуями в обществе.

Чаще всего при анализе впечатлений заезжего иностранца в пояснениях нуждаются зафиксированные им эпизоды русской жизни, а не позиция автора. Только после должного комментария все встает на свои места и недоумение сменяется пониманием. Однако это ощущение ложно. Позиция странника, попавшего в иную реальность, тоже требует комментария с точки зрения его собственной культуры. Сложность подобной работы окупается ее интересом.

Из всего букета источников, которые помогают сегодня воссоздать повседневную жизнь России времен золотого века Екатерины II, записки иностранцев — мемуары, корреспонденция, донесения дипломатов, памфлетная литература — наиболее богаты фактическим материалом. В них зафиксированы вещи, на которые, по причине их привычности, русские современники просто не обращали внимания. Как пили, здоровались, пользовались косметикой, ходили в баню, делали покупки... Только если отечественные воспоминания далеко отстоят от описываемой эпохи и автор считает, что внукам будет любопытно узнать об ушедших обычаях, в них можно почерпнуть подобную информацию. Записки же иностранцев подают ее с пылу с жару, в реальном времени. Это заставляет ученых пристально всматриваться в данный источник, ища в нем следы далекого прошлого.

### *«Дороги и дураки»*

Знаменитое пушкинское высказывание о двух бедах России — лейтмотив многих сочинений иностранных путешественников. Что до дорог, то они неизменно плохи. Дураки же появляются по мере продвижения и после близкого знакомства оказываются либо не так глупы, как первоначально считалось, либо, напротив, хитры и злонамеренны — смотря по настрою автора.

Нельзя отрицать, что первое знакомство со страной совершается в пути. И здесь пресловутые «русские до-

роги» играли неблагоприятную роль — они заранее подготавливали путешественника к тому, что он въезжает в государство варварское, обширное и лишенное привычного для европейца комфорта. Даже самые доброжелательные мемуаристы отдавали дань возмущения этому национальному бедствию. «Начиная с Риги, — писала Виже-Лебрён, — дороги оказались такими, что невозможно даже вообразить более ужасные; наваленные кучами камни сотрясали наш экипаж на каждом шагу, а чрезвычайно дурные постоянные дворы не представляли никакой возможности для остановки. Так, совершенно без отдыха, толчок за толчком, доехали мы до Санкт-Петербурга»<sup>1</sup>. С художницей согласился бы Казанова, проделавший тот же путь, но за четверть века до нее: «От Копорья до Петербурга нет нигде пристанища; пообедать или переночевать можно только в частном доме, а не на станции»<sup>2</sup>.

Постоялые дворы не блистали чистотой, и обслуживание на них оставляло желать лучшего. Если путешественник рассчитывал ехать с минимальным комфортом, то все необходимое — провизию, постель и дрова — приходилось везти с собой. «Обедали собственными припасами, как здесь принято, — сообщала в письме родным Марта Вильмот, — и даже пользовались своими ножами и вилками; у обитателей деревянной хижины, где мы останавливались, брали только воду»<sup>3</sup>. Ей вторил Миранда: «Я запасаю вином, хлебом, колбасой и проч., ибо так заведено в этой стране, и уселся в карету»<sup>4</sup>.

Станционные служащие вовсе не считали своим долгом обеспечивать проезжих горячим обедом. Эта часть сервиса целиком зависела от доброй воли или желания нажиться, а их проявляли не все. Вспомним хрестоматийные пушкинские строки:

Трактиров нет. В избе холодной  
Высокопарный, но голодный  
Для виду прейскурант висит  
И тщетный дразнит аппетит.

Если в XIX веке прейскурант появился хотя бы для отвода глаз проверяющего начальства, то в XVIII столетии о такой вещи никто не подозревал. Девизом путе-

шественика было: все свое ношу с собой. Даже перину и простыни полагалось везти в багаже.

Особенно раздражало отсутствие кроватей на постоялых дворах и в гостиницах. Если комнату еще можно было снять, то найти ложе считалось необыкновенной удачей. Эта несообразность удивляла иностранцев, но ларчик открывался просто: русское просто-народье привыкло спать на печи, на полатах и на лавках вдоль стен. А кому не хватало места, то на полу на постеленных войлоках, перинах и тюфяках. Кровать считалась предметом роскоши из барского обихода и не вошла еще в общее употребление. Поэтому на станциях могли предложить гостю чай в фарфоровой посуде (что по европейским меркам выглядело дорогим удовольствием) и тут же указать место на полу.

«Ты садись в карету... за которой следует повозка, запряженная тройкой лошадей и нагруженная всеми принадлежностями домашнего обихода, кухонной посудой, едой и т. д., — описывала мисс Вильмот свое путешествие из Петербурга в Москву. — Поверх скарба усаживаются горничная, двое или трое слуг, повар; и ты едешь около 30 верст... Остановившись у обветшавшего деревянного дома, тыходишь внутрь. Теперь зажди нос и распахни окно, чтобы впустить хоть немного свежего воздуха. Через несколько минут слуги вносят восковые свечи в серебряных подсвечниках, подают на серебряном подносе чай, заваренный в серебряном чайнике, и фарфоровые чашки с блюдами. Потом они расстилают твою постель на полу и, пожелав спокойной ночи, оставляют тебя с твоими мыслями»<sup>5</sup>.

Иногда путешественники предпочитали вообще не останавливаться на постоялых дворах, в гостиницах и трактирах. Причиной было плохое обслуживание или, вернее, разница того, что считалось приемлемым и неприемлемым для представителей разных культур. Виже-Лебрён рассказывала: «Поездка оказалась для меня пружестоким испытанием... Настил из бревен постоянно трясется, давая то же ощущение, что и большие волны на море. Карету мою, ехавшую на полколеса в грязи, толкало и бросало во все стороны, и я в любую минуту могла отдать Богу душу. Дабы отдохнуть от сей пытки, я

остановилась на полпути в Новгороде, где оказался первый на всей дороге трактир, в коем обещали мне хороший стол и пристойную комнату. Едва в оную водворившись, ощутила я какое-то непонятное и тошнотворное зловоние. Призванный хозяин не мог предложить какого-либо другого места, и пришлось смириться. Но вскоре приметил я, что невыносимый сей запах исходит из-за остекленной двери, выходящей в соседнюю комнату. О причине был допрошен слуга, который преспокойно объяснил, что за дверью лежит тело умершего вчера человека. Я не стала расспрашивать далее и велела закладывать лошадей»<sup>6</sup>.

Не столь щепетильный Миранда — заядлый путешественник, объехавший мир от Венесуэлы до Турции и Россию от Крыма до Москвы, — фиксировал в дневнике 1787 года как дурные, так и положительные эпизоды своих странствий. Он был одним из немногих, кому нравились русские просторы и не угнетало безлюдье: «Боже мой! Какие великолепные панорамы, какие виды открываются повсюду в этой стране! Без сомнения, это одно из самых прекрасных творений природы, ибо искусство здесь участвовало очень мало либо почти вовсе не участвовало!»<sup>7</sup>

На станциях венесуэлец находил способ развлечься, взяв девушку на ночь, о чем бесхитростно повествовал читателю: «На постоялом дворе... девица показала мне комнату с очень удобной кроватью, что нечасто встречается в этой стране, и посулила прийти и провести со мной ночь. Она была хороша собой и чрезвычайно ласкова. Я лег в постель, и девушка вскоре явилась. Но, обнаружив в комнате моего слугу Алексея, который не успел уйти, бедняжка сделала вид, будто пришла погасить огонь, и тут же ретировалась. После этого, похоже, хозяйка ее заперла, а я проснулся в три часа утра, велел запрячь лошадей и уехал»<sup>8</sup>.

Не повезло Миранде и на Валдае, в этом раю придорожных куртизанок. «Приехали в город Валдай, известный красотой и свободными нравами здешних женщин. Меня хотели разместить на почтовом дворе, но дом оказался настолько неприглядным, что я отправился за две версты в городскую гостиницу, которую

мне указали две девицы, торговавшие кренделями. Хозяин уже спал, но тотчас поднялся на стук. Из перины, которой он меня снабдил, и моих простыней мы соорудили вполне сносную постель, и я улегся спать, предвкушая завтрашнюю встречу с местными красавицами. Утром выпил чаю с молоком, и за все с меня взяли всего лишь пятьдесят копеек. Лил дождь, и ни одна из нимф, служительниц Венеры, коими столь славятся эти края, так и не показалась»<sup>9</sup>.

Движение по дорогам с расшатанным деревянным настилом было серьезным испытанием. Особенно в весеннюю и осеннюю распутицу. Климатические особенности — то подмыв тракта тальми водами, то оползни, то зимние заносы — делали покрытие недолговечным. Его следовало поновлять каждый год, а лучше дважды: после «разлива рек, подобного морям», и после ноябрьской грязи, с первыми холодами застывавшей в колеях комьями. Но на это не хватало ни сил, ни средств. Низкая плотность населения на больших неосвоенных просторах не только препятствовала своевременному ремонту, но и создавала непривычную для европейского глаза картину: «Хуже тех мест, где сейчас приходится курсировать почтовым каретам, трудно себе вообразить: ни возделанных полей, ни жилья, сплошные темные и мрачные леса»<sup>10</sup>. Дорога, вместо того чтобы идти от города к городу мимо частых селений, пролегла через глухие боры и пустынные равнины, на которых можно было замерзнуть в пургу или утонуть, провалившись в канаву, полную воды.

Марта Вильмот рассказывала, как попала в передрягу всего в нескольких верстах от Москвы: «Было два часа ночи 13 марта, день святого воскресенья. Как бы в наказание за то, что поездка была начата в праздник, погода стояла дождливая, пасмурная, улицы затопило, и карета наша на тяжелых полозьях скатывалась то в яму, то в канаву. Так мы продолжали ехать и версты через две-три оказались в чистом поле. Лавируя, карета продвигалась вперед почти что без дороги, и нас било, вертело, трясло, стучало, бросало из стороны в сторону. Вдруг лошади поднялись на дыбы, рванули, и мы все до единого очутились в болоте... с которым мы сражались

в течение пяти часов под звон московских колоколов... Мирно сидя в экипаже, мы наблюдали, как бедные слуги, подсунув под карету жерди, похожие на корабельные мачты, безрезультатно пытались ее поднять. Иногда им удавалось немного приподнять и карету, но, громко чмокая и разбрызгивая фонтаны из смеси снега, льда, дождя и грязи, она вновь оседала»<sup>11</sup>.

Неудивительно, что экипажи часто ломались, а сами путешественники чувствовали себя избитыми. Миранда отмечал в дневнике: «На четверке лошадей прибыл в Хотилово, преодолев 36 верст, все тело болело, словно после порки»<sup>12</sup>. В другом месте сказано: «Проехали еще пять верст и заметили, что одно из колес вот-вот сломается. Остановились в селе под названием Рыбацкое, нашли кузнеца, который тут же принялся за дело и за час все поправил»<sup>13</sup>. Свои мастера имелись почти в каждой деревне вдоль тракта, кузнечный промысел, как и поставка лошадей, считался прибыльным. Не было путешественника, которому не довелось бы хоть раз остановиться в пути из-за того, что слетело колесо, порвалась сбруя или треснула ось. Ситуация не изменилась и в первой четверти XIX века. Недаром Пушкин в «Евгении Онегине» рассказывал,

...как сельские циклопы  
Перед медлительным огнем  
Российским лечат молотком  
Изделье легкое Европы,  
Благословляя колеи  
И рвы отеческой земли.

Любопытно, что одной из причин своих частых путешествий по стране Екатерина II называла желание заставить местные власти чинить дороги. Этот процесс как раз застал Миранда. «Я продолжал свой путь в направлении Новгорода... по отвратительнейшей дороге, мощенной, на русский манер, бревнами, — писал он. — И хотя одна ее сторона была приведена в порядок для проезда императрицы, ехать по ней запрещалось, таково общее правило, а посему нам пришлось трястись по ужасным бревнам»<sup>14</sup>. Вскоре возле Чудова картина изменилась: «Мы поехали дальше на тройке по дороге,



которая, к счастью, оказалась хорошей, ибо строилась для императрицы, и на сей раз по ней дозволялось проезжать всем прочим, так что нам повезло»<sup>15</sup>. После Новгорода дела пошли совсем хорошо: «Тройка резвых коней повезла меня дальше, вдоль строящегося прекрасного тракта, мощенного камнем, который прокладывается по новому проекту императрицы, пожелавшей, чтобы весь путь до Петербурга был таким; здесь возводятся каменные мосты и другие великолепные сооружения, но до сих пор нет ни единого почтового двора»<sup>16</sup>.

Удобства путешествия вместе с Екатериной II описал Луи Сегюр, впрочем, нимало не заблуждавшийся на счет своего положения привилегированного спутника монархини: «Было 17 градусов мороза, дорога прекрасная, и мы ехали славно. Наши кареты на высоких полозьях как будто летели. Чтобы защититься от холода, мы закутались в медвежьи шубы, надетые сверх другой, более нарядной и богатой, но тоже меховой одежды; на головах у нас были собольи шапки. Таким образом, мы не замечали стужи, даже когда она доходила до 20 градусов. На станциях везде было так хорошо натоплено, что скорее мы могли подвергнуться излишнему жару, чем холоду. В это время самых коротких дней в году солнце вставало поздно, и через шесть или семь часов наступала уже темная ночь. Но для рассеяния этого мрака восточная роскошь доставляла нам освещение: на небольших расстояниях по обеим сторонам дороги горели огромные костры из сваленных в кучи сосен»<sup>17</sup>.

Конечно, царский поезд двигался с максимальным комфортом. А вот простым смертным приходилось порой несладко. Впрочем, некоторые путешествовавшие по России считали, что европейцы слишком многого хотят, отправляясь в далекую страну, едва тронутую лучами просвещения. Они начинают капризничать, чуть только на пути встречается препятствие, и больше страдают от собственных претензий, чем от реальных бед. Так, доктор Томас Димсдейл, прибывший в Россию в 1768 году, рассуждал: «Мои соотечественники слишком легко досадают, если не находят вне Анг-

лии того обращения и тех удобств, к которым они привыкли дома. Они должны умерить свои ожидания в этом отношении и через щедрость, которая для них не затруднительна, стараться приобрести всё, что можно найти в данной местности, и обеспечить себе всякое внимание к их требованиям».

Врач советовал захватить с собой в путь «запас терпения с надлежащим количеством веселости». Как человек практичный, он снабдил воображаемых последователей советами по выбору экипажа: «Кузов должен быть крепок и устроен так, чтобы в нем могла поместиться провизия. Если предпочитают, как это обыкновенно делается, ехать днем и ночью, необходимо, чтобы сзади кузов был уклоном, для удобства. Редко попадаются воры и встречаются затруднения или серьезные опасности, но не мешает иметь при себе оружие, чтобы внушить другим уважение и вежливость»<sup>18</sup>.

Доктору понравилась зимняя езда. На занесенной снегом дороге сани развивали большую скорость, а обитые изнутри мехом кареты не пропускали стужу.

Зато зимы порой холодной  
Езда приятна и легка.  
Как стих без мысли в песне модной,  
Дорога зимняя гладка.  
Автомедоны наши бойки,  
Неутомимы наши тройки...

Живи Димсдейл полувеком позже и умея читать по-русски, он бы согласился с поэтом. «Все, кому случилось проводить зиму в России, знают, что там умеют предохранить себя от холода, — писал он. — Так что от мороза несколько не страдают, как бы ни сильна была стужа. Наша маленькая пациентка была укутана в шубу; в карете был медвежий мех, таким же мехом были обиты дверцы; для ног был двойной меховой мешок. С такими предосторожностями нечего было бояться»<sup>19</sup>.

Имелись специальные экипажи с подогреваемым полом: под доски помещались закрытые железные ящики, в которых лежали горячие угли. Но такая роскошь была доступна немногим. В России доктор впервые увидел, как повозки переставляют с колес на

полозья, и оценил разнообразие местных средств передвижения: «Экипаж, которым снабдили меня... был так поместителен, что в нем уложился мой матрац; в нем я мог сидеть и лежать, как бы мне ни вздумалось. Для теплоты он был отовсюду заперт, но в нем были окошки и небольшой фонарь со свечой...

С нами были провизия и вино, так что мы ехали день и ночь и останавливались только на короткое время для кушанья или для перемены лошадей. Стужа была жестокая, так что, осмотревши на первой станции наше вино, мы нашли его замерзшим, а бутылки лопнувшими. Мы так были укутаны шубами, что нисколько не терпели от холода, хотя бутылка венгерского... замерзла не дальше, как на расстоянии одного фута от моей головы»<sup>20</sup>.

Однако не все иностранцы умилялись на снежные тракты. Некоторые категорически отказывали русским дорогам в привлекательности в любое время года. Мисс Вильмот, повсюду сопровождавшая княгиню Дашкову, равно мучилась и в распутицу, и в гололед. «Земля покрыта снегом, — писала она родным, — леса уже не зеленые, а белые, и каждое дерево стоит в богатом снежном наряде, но этим диким и красивым пейзажем можно любоваться не дольше получаса: от ослепительной белизны глазам становится больно. Мне не понравилась езда в санях, когда они, как по зубьям пилы, движутся по комьям льда; думаю, ни один несчастный на борту корабля не страдал больше меня. Мы укутаны в меха, меховые одеяла под ногами должны хранить тепло, но все напрасно — через 12 часов пути от нашего дыхания обшивка экипажа покрылась крохотными сосульками»<sup>21</sup>.

Европейцев удивляла русская манера сокращать дорогу за счет непрерывности движения: «Ездят обычно и днем, и ночью, засыпая в кибитке, как в кровати». Многие предпочли бы обрести кров на станции, но об удобствах последних мы уже говорили: «...клопы да блохи / Заснуть минуты не дают». Смена казенных лошадей — особая статья дорожных жалоб. Но как ни странно, они появляются не раньше рубежа XVIII—XIX веков. Не потому, что во времена Екатерины II станционные

смотрители были меньшими тиранами, чем при Александре I и Николае I, а потому, что в предшествующую эпоху пенять государственным чиновникам на то, что они придерживают лошадей в ожидании казенных курьеров или сановного лица, никому в голову не приходило. Если путешественник следовал, как тогда говорили, по казенной надобности, он показывал на станции специальный документ — подорожную — и получал лошадей без проволочек.

Те, кто ехал частным образом, предпочитали либо смиренно подождать, пока им дадут тройку, либо нанять в деревне ямщика (что делало большинство), либо «плестись на своих». Если ездок был богат, то и «на своих» он мог позволить себе максимальный комфорт. Вспомним путешествие генерала Нащокина. Княгиня Дашкова, направляясь из подмосковной деревни в белорусские имения, ехала с не меньшей роскошью. «Кухню отправили на час раньше, — писала Марта, — чтоб повара успели найти место, развести огонь и приготовить обед. За первой повозкой ехали две телеги побольше, на них везут... среди прочего сундук, который, раскрываясь, превращается в кровать с постелью, подушками и всеми удобствами для ночлега княгини... Обед был очень хорош. Его подавали на серебряной посуде: тарелки, ложки, стаканы для вина — все из серебра. Я не могла представить, что в дороге возможна такая великолепная сервировка — посуды, уложенной в небольшой сундук, хватило, чтобы 6—7 человек обедали, как на изысканном пиршестве: со сменой тарелок, салфеток и т. д.»<sup>22</sup>. В другом месте ирландская гостья продолжает: «Подобно кочующим татарским племенам раскинули лагерь, и через час у нас была роскошная трапеза и даже горячий хлеб»<sup>23</sup>.

Не одна поломка кареты могла задержать движение. Падеж, болезни или усталость лошадей составляли серьезное неудобство при поездках на дальние расстояния. Хорошо, если кобыла дотянула до станции или ближайшей деревни. Но потеря тягловой силы где-нибудь в «степи глухой», во время пурги означала в худшем случае верную смерть, в лучшем — долгое пешее путешествие до жилища. Казанова описал курьезный

случай: болезнь одной из лошадей привела ямщика в отчаяние, и тот попытался усюветить животное: «Хозяин начал говорить с ней самым ласковым голосом и, глядя нежно и уважительно, убеждал скотину соизволить поестъ. После сих речей он облобызал лошадь, взял ее голову и ткнул в ясли; но все впустую. Мужик зарыдал, да так, что я чуть со смеху не помер, ибо видел, что он пытается разжалобить лошадь. Отплакавшись, он опять поцеловал лошадь и сунул мордой в кормушку; все тщетно. Тут русский, озлившись на упрямую скотину, клянется отплатить ей. Он выволакивает ее из конюшни, привязывает бедное животное к столбу, берет дубину и добрых четверть часа лупит изо всех сил. Устав, он ведет ее на конюшню, сует мордой в корыто, и вот лошадь с жадностью набрасывается на корм, а извозчик смеется, скачет, выкидывает коленца от радости»<sup>24</sup>.

Одним из непривычных для европейцев требований было предъявление паспорта. Впрочем, в большинстве случаев оно оказывалось чистой формальностью, на границе никого не останавливали, если только о нежелательном госте не поступало специального распоряжения. Казанова писал о своем въезде в Россию в 1765 году: «За всю недолгую дорогу от Риги до Петербурга я только раз задержался на полчаса в Нарве, где надо было предъявить паспорт, коего у меня не было. Я объявил губернатору, что, будучи венецианцем и путешествуя для собственного удовольствия, я никогда не видел нужды в паспорте, ибо моя республика ни с какой державой не воюет... Губернатор призадумался немного и выдал мне нечто вроде паспорта; и с ним я въехал в Петербург, хотя никто его у меня не спросил и даже не заглянул в карету»<sup>25</sup>.

Граф Сегюр пояснял эту ситуацию: «Тогда в России паспорта предъявлялись только при переезде через границу; внутри же России всякий мог беспрепятственно и свободно разъезжать от Балтийского моря до Черного, от Борисфена и Двины до Амура, отделяющего Китай от России, и до самой Камчатки. Только если кто-либо хотел выехать в чужие края из Петербурга, то должен был свой паспорт вытребовать за восемь дней до

отъезда, чтобы между тем можно было объявить о выезжающем кредиторам и предохранить их от обмана»<sup>26</sup>.

Правило заблаговременно предупреждать в газетах, что такой-то и такой-то путешественник собирается покинуть страну, в целом одобрялось иностранцами. Даже склонный к авантюрам Казанова благосклонно отзывался об этой традиции, которая хотя и задерживала путника, зато гарантировала жителей от обмана: «Таков обычай в России — выдавать паспорт спустя две недели, как публику известят об отъезде. По этой причине купцы охотно поверяют чужеземцам на слово, а чужеземцы крепко думают, прежде чем залезть в долги, ибо надеяться им не на что»<sup>27</sup>.

### *Северная Пальмира*

После трудностей дороги Петербург — западные ворота в Россию — казался путешественникам настоящим раем. Его европейский облик и множество богатых зданий вызывали восхищение. Но так было не всегда. При сравнении картин города в начале царствования Екатерины II с тем, что описывали гости в середине и конце, заметна существенная разница. Казанова, прибывший в Северную столицу всего через три года после переворота, отнюдь не рукоплескал «Петра творенью». Скорее наоборот, он был озабочен участью города, выстроенного на скорую руку.

Венецианец писал о «славном граде, существование коего и поныне, по здравому размышлению, кажется мне непрочным. Только гений великого мужа, коему в радость обуздывать природу... мог замыслить возвести город... в столь неблагоприятном месте, где сами почвы противятся усилиям тех, кто тщится воздвигать на них каменные дворцы. Говорят, ныне город возмужал, и заслуга сия принадлежит Екатерине Великой, но в 1765 году я застал его еще в пору детства. Все казалось мне непрочно построенными руинами. Мостили улицы, наперед зная, что через полгода их придется мостить вновь». Уроженец одного раюна на воде немного ревновал к другому и готов был постоять за честь италья-

янских архитекторов против приезжих из Парижа мастеров. «Я предвижу, что век спустя Петербург будет великолепен, но поднимется по крайней мере на две сажени, и потому огромные дворцы не рухнут за недостатком свай. Воспретят варварскую архитектуру, занесенную французскими зодчими, коим только кукольные домики строить... более не будут предпочитать Растрелли и Ринальди какого-нибудь парижанина Ла Мота»<sup>28</sup>.

Совсем другие ощущения Северная столица вызвала у французского посла Луи Сегюра, прибывшего в Россию в 1785 году, то есть через двадцать лет после Казановы. Перед ним открылась картина смешения азиатских и европейских черт. «Петербург представляет уму двойственное зрелище: здесь в одно время встречаешь просвещение и варварство, следы X и XVIII веков, Азию и Европу, скифов и европейцев, блестящее гордое дворянство и невежественную толпу. С одной стороны — модные наряды, богатые одежды, роскошные пиры, великолепные торжества, зрелища, подобные тем, которые увеселяют избранное общество Парижа и Лондона; с другой — купцы в азиатской одежде, извозчики, слуги и мужики в овчинных тулупах, с длинными бородами, с меховыми шапками и рукавицами и иногда с топорами, заткнутыми за ременные пояса. Эта одежда, шерстяная обувь и род грубого котурна на ногах напоминают скифов, даков, роксолан и готов, некогда грозных для римского мира. Изображения дикарей на барельефах Траяновой колонны в Риме как будто оживают и движутся перед вашими глазами. Кажется, слышишь тот же язык, те же крики, которые раздавались в Балканах и Альпийских горах и перед которыми обращались вспять полчища римских и византийских цезарей. Но когда эти люди на барках и на возах поют свои мелодические, хотя и однообразно грустные песни, то вспоминаешь, что это уже не древние независимые скифы, а московитяне, потерявшие свою гордость под гнетом татар и русских бояр, которые однако не истребили их прежнюю мощь и врожденную отвагу»<sup>29</sup>.

Описание Сегюра полно динамики. Для него Петербург — город движения, причем движения, отражавшего импульс всей страны, заметный здесь в наибольшей степени. Звучит важная для человека Просвещения мысль о постепенном перетекании Востока в Запад, Азии в Европу, которого не минует ни одна цивилизация. Причем Азия и Европа не только географические понятия, но и временные. Первая — синоним древности, детства человечества. Вторая олицетворяет будущее любой нации, стремящейся к просвещению и политическому благоустройству. Эти идеи, кажущиеся современными, зародились более двух столетий назад.

По убеждению многих деятелей культуры второй половины XVIII века, путь к обретению европейских знаний и вкуса лежал через освоение наследия классической Греции — одинаково ценного как для западной, так и для русской православной цивилизации, принявшей эстафету развития от Византии. Недаром путешественники с художественными наклонностями подчеркивали античный облик строящихся в Северной Пальмире зданий. Так, Миранда в 1787 году писал о Таврическом дворце: «Великолепная колоннада ионического стиля, как в храме Эрехтея в Афинах. Можно с полным основанием сказать, что среди современных сооружений именно этот дворец своей пышностью и великолепием более всего напоминает римские термы, чьи руины мы можем сегодня созерцать в Италии»<sup>30</sup>.

Среди восторженных поклонниц этого направления была, конечно, и Виже-Лебрён. «В Санкт-Петербурге я перенеслась ко временам Агамемнона, как по величественности строений, так и по народным костюмам, напоминающим об эпохе классической древности»<sup>31</sup>, — писала она. Нарисованная ею столица отстоит от города Сегюра еще на десять лет:

«Я въехала в Петербург 23 июля 1795 года по Петергофской дороге, благодаря которой первое мое впечатление о городе было весьма благоприятно: по обеим ее сторонам выстроены очаровательные загородные дома, окруженные садами в лучшем английском вкусе. Они украшены павильонами, каналами и красивыми мостиками, перекинутыми через ручейки.



К сожалению, по вечерам прелестный сей вид теряет свое очарование из-за ужасающей влажности; еще до захода солнца на дорогу ложится такой туман, что чувствуешь себя в плотном облаке совершенно черного дыма.

Хотя я уже заранее и представляла себе все великолепие сего города, тем не менее меня восхитил вид строений, прелестных особняков и широких улиц, одна из которых, именуемая Перспективой (Невский проспект. — *О. Е.*), тянется на целое лье. Перерезывающая город чистая и светлая красавица Нева несет на себе нескончаемый поток кораблей и барок.. Невские набережные сооружены из гранита, так же как и некоторые большие каналы, прорытые по велению Екатерины через весь город. На одном берегу расположены великолепные здания Академии искусств, Академии наук и многие другие, отражающиеся в водах Невы. Говорят, что при лунном свете трудно представить себе что-либо более прекрасное, чем величественные сии сооружения, столь похожие на античные храмы»<sup>32</sup>.

Даже такие скептические путешественницы, как сестры Вильмот, не могли не отдать дань восхищения городу на Неве. «Петербург расположен на небольших островах, окружающая местность совершенно равнинна, но огромные новые здания, сооружения и общественные парки действительно изумительны — трудно представить себе город красивее»<sup>33</sup>, — признавалась Кэтрин.

Петербург был первым городом, где гости знакомились с превратностями русского климата. Наслушавшись о знаменитых морозах, они не без страха ожидали зимы. Реальность приятно удивляла — несмотря на сильные холода, замерзнуть в России было мудрено. Казанова первым отдал дань русским печам: «Я увидел печи огромных размеров и решил, что нужна уйма дров, чтобы их протопить — отнюдь нет; только в России владеют искусством класть печи, как в Венеции обустроить водоем или источник. Я исследовал в летнее время внутренность квадратной печи... я увидел печные обороты, что, извиваясь, поднимаются вверх. Печи эти целый день сохраняют тепло в комнате...

Крайне редко печь топят два раза в день, кроме как у вельмож, где слугам запрещено закрывать вьюшку»<sup>34</sup>.

Необычными были также и двойные рамы. Мода на них распространилась в России только во второй половине XVIII века. Они не явились наследием допетровского мира, как можно было бы предположить. В старых боярских теремах небольшие слюдяные окошки запирались для дополнительного тепла ставнями. В новых, по-европейски выстроенных домах высокие и широкие окна представляли собой серьезное неудобство при русском климате. «Записки» Екатерины II, посвященные дням ее молодости, часто упоминают о сквозняках и холоде, царивших во дворцах Елизаветы Петровны. Умение согреть непривычный тип жилища пришло не сразу. Но на рубеже веков необходимый комфорт был достигнут.

«Здесь печи горят не так весело, как камины, — писала мисс Вильмот, — но должна признаться, что комнаты от них нагреваются значительно лучше. Еще до того, как вы встали, женщина топит у вас печь, и жар в ней сохраняется до двух или даже до трех часов ночи. Когда истопница приходит на следующее утро, печка все еще теплая... Стены в домах очень толстые. Окна похожи на наши, только с двойными рамами, словно два ряда солдат на параде. Оконные стекла отстоят друг от друга на четверть ярда, поэтому холод снаружи в комнаты не проникает»<sup>35</sup>.

Двойные рамы раньше всего появились в столицах — Петербурге и Москве. А в провинции даже состоятельные дворяне могли позволить себе такую роскошь не во всех комнатах. Янькова вспоминала о доме своего отца в селе Борово: «Двойных рам у него в комнате не было, стекла были еще очень дороги, так он и придумал во вторые рамы вставлять бумагу, промазанную маслом; можно себе вообразить, какая там была темь и среди бела дня. У нас в детской также не было зимних рам: моя кровать стояла у самого окна, и чтоб от него ночью не дуло во время сильных холодов, то на ночь заставляли доской и завешивали чем-нибудь потолще»<sup>36</sup>.

Путешествуя по средней России, где несколько месяцев в году свирепствовали морозы, гости с удивлени-

ем отмечали, что не страдают от них. Виже-Лебрён признавалась: «В Санкт-Петербурге можно вообще не заметить холодов, если с наступлением зимы совсем не выходить из дома, настолько у русских усовершенствованы способы поддержания тепла. Печи везде столь хороши, что в каминах нет никакой необходимости; это не более чем предмет роскоши. На лестницах и в коридорах воздух такой же, как в комнатах, двери между которыми держат открытыми без всякого от сего неудобства. Император Павел еще в бытность свою великим князем путешествовал по Франции... и говорил парижанам: “В Санкт-Петербурге мы только видим холод, зато здесь чувствуем его”. Помню, когда я возвратилась в Париж после семи с половиной лет, проведенных в России, и однажды была с визитом у княгини Долгорукой, мы обе так закоченели, что невольно приходило на ум: чтобы не мерзнуть, на зиму надобно уезжать в Россию»<sup>37</sup>.

Однажды художница направилась с визитом к графине Варваре Головиной. На улице было около двадцати градусов мороза. Ей не попало ни одной кареты, а когда гостья вошла в особняк, к ней кинулись с удивленными криками. «Голова моя замерзла так, что в ней началось некое кружение. Если бы меня не натерли одеколоном, я попросту лишилась бы рассудка». Что же произошло с дамой, которая перед тем живописала защищенность от мороза? Ответить на этот вопрос помогают письма Марты Вильмот, в которых молодая ирландка рассказывала родным о зимних русских модах: «Одежда фасоном не отличается от английской, но шуба, например, заполняет целый сундук (а своим весом может придушить владельца). Ботинки изнутри выстилают мехом, что незаменимо для прогулок... Вчера княгиня подарила мне муфту, в которую можно почти вернуться, что так удобно в экипаже... Завтра вечером я отправлюсь на французский спектакль в меховой шубе, меховых ботинках, прикрываясь муфтой, но с непокрытой головой по здешней моде»<sup>38</sup>. Оказывается, как бы ни кутались русские дворяне в лисьи шубы, голова оставалась открытой. Шапку можно было надеть на прогулку или на катание с гор, но ни в театр, ни в гости

она не годилась, поскольку могла помять дамскую причёску.

Была обратная сторона поддержания тепла: в жарко натопленных домах тяжело дышалось. Димсдейлу, например, никак не удавалось уговорить родителей больных детей хоть изредка проветривать комнату. «Ребенок, по-видимому, не подвергался ни малейшей опасности, — писал врач об одном пациенте, у которого он взял оспенную материю. — Только с ним обращались совсем не так, как бы следовало; в комнате, где он находился, было так душно, что сын мой в продолжение короткого времени, которое он там оставался, едва мог дышать. Он старался всеми силами уговорить родителей отворить окошко и освежить несколько комнату, уверяя их, что в противном случае выздоровление их сына сомнительно, но все его слова были даром, до такой степени в то время были убеждены, что в комнате больного должно быть сколь возможно жарко, и таким образом ребенок скончался на следующий день»<sup>39</sup>.

Не только зима, приносившая необычные для Европы формы быта, удивляла путешественников. Быстрая весна с ледоходом и дружным паводком, а за ней жаркое лето, неожиданное в таких холодных местах, тоже поражали. Казалось, суровость природы — только отражение характера страны. Вот как Виже-Лебрён описывала ледоход на Неве: «В Санкт-Петербурге начало мая не сопровождается ни весенними цветами... ни пением соловья... Земля покрыта полурастаявшим снегом; Ладога гонит огромные, как утесы, громоздящиеся друг на друга льдины, кои вновь приносят с собой холод, смягчившийся было после невского ледохода. Сей последний являет собой ужасающе-прекрасное зрелище; производимый оным шум страшен до чрезвычайности, поелику возле Биржи Нева втрое шире Сены у Королевского моста. Стоит только вообразить впечатление от раскальвающегося по всей своей поверхности сего ледяного моря. Невзирая на служителей, расставленных вдоль набережной, дабы народ не выходил на лед и не прыгал с одной льдины на другую, находят-ся смельчаки, которые спускаются на плывущий лед и переходят таким манером на противоположный бе-

рег... Первый, кто переедет реку после ледохода на лодке, подносит императору чашу невской воды и получает ее обратно, наполненную золотом»<sup>40</sup>.

Совсем не так романтично воспринимал переправу по льду шевадье де Корберон. В 1779 году он записал в дневнике, что власти могли бы по крайней мере натянуть сетку вдоль набережной, чтобы не позволять прохожим спускаться к воде. На его предложение один из чиновников ответил, что тогда смельчаки будут искать места для перехода вдали от дворца, где нет ни сетки, ни полицейских, чтобы их задержать.

Мощные ледоходы долгое время не позволяли построить через Неву арочный мост. В течение всего XVIII века жители города пользовались наплавными мостами. Марта Вильмот описала один из них: «Меня очень удивил здешний мост, уложенный на лодках, по нему идут толпы бородатых мужчин и разодетых женщин, едут экипажи, запряженные в шесть или восемь лошадей, и каждая из них на таком расстоянии одна от другой, что создается впечатление, что их еще больше»<sup>41</sup>.

По ощущениям приезжих из Европы, весна в России коротка, «листья распускаются буквально на глазах»<sup>42</sup>, а лето очень знойно. «Сильная жара совсем не редкость в Санкт-Петербурге, и мне вспоминается один случай в июле, — рассказывала Виже-Лебрён. — Было жарче, чем в Италии, и я увидела мать княгини Долгорукой, княгиню Барятинскую... устроившуюся у себя в погребке, а сидевшая на первых ступеньках лестницы компаньонка... читала ей какую-то книгу»<sup>43</sup>. Неизбежными спутниками лета были рои насекомых, поднимавшиеся с болот и беспокоившие жителей. Мисс Вильмот сообщила родным, что летом не могла ходить иначе чем в тонкой итальянской сетке от москитов. Сняв ее однажды, она была атакована роем комаров и несколько дней оставалась дома с опухшим лицом. Такими же сетками закрывали от назойливых насекомых кровати.

В описаниях природы Петербурга звучит важная нота, быть может, не вполне осознаваемая самими авторами. Каким бы европейским на вид ни казался город, под внешним лоском он скрывал дикость, проявлявшуюся в буйстве стихий — наводнениях, ледоходах, скач-

как жары и холода... Наступал час, когда чистая, благоустроенная, регулярная столица срывала маску. Дневник Корберона за 1777 год содержит красочное описание наводнения:

*«Воскресенье 21 сентября. Я пошел спать вчера в одиннадцать часов; ветер... был свеж и благоприятен... В четыре часа утра просыпаюсь от криков матросов и страшного урагана... встаю и вижу в окно, что на дворе ходят по пояс в воде. Иду в кабинет, выходящий окнами на Неву, на Галерную, и не вижу ничего, кроме бушующего моря. Волны ударяли в дом, содрогавшийся под ударами урагана и воды. Множество лодок сталкивались одна с другой и разбивались. Юго-западный ветер гнал с ужасающей силой воду залива и вкатывал волны в Неву, так что вода в ней поднялась на десять—двенадцать футов выше обычного уровня... В это мгновение, говорят, заметили в воде как бы кипение. Один негоциант видел у себя на Васильевском острове, как среди двора забила из земли вода... Наша набережная была взрыта, мосты сломаны, барки с съестными припасами разбиты. Вода погубила много животных, которые, сорвавшись с привязи, спасались вплавь, и некоторые лица... перевели лошадей в жилые комнаты. Французский парикмахер... поймал на Большой Миллионной щуку... Мы видели большие парусные суда, барки и т. п. на набережной, куда их загнало через решетку»<sup>44</sup>.*

Ветер нанес громадный ущерб паркам, разрушил фонтаны Летнего сада, от которых получила название река Фонтанка. По официальным данным, погибло 200 человек, но на самом деле жертв было значительно больше.

Ссылаясь на сведения академика Якоба фон Штели-на, много лет работавшего в России, Корберон назвал численность населения двух столиц: «Петербурга можно считать в сто шестьдесят тысяч душ, а Москвы — в триста-четырееста тысяч»<sup>45</sup>. Эти сведения неверны, и, пользуясь ими, дипломат не мог получить правильного представления. Сопоставляя данные трех ревизий — 1719, 1745 и 1763 годов, — современный российский ученый В. М. Кабузан дал довольно интересную картину изменения численности населения за весь XVIII век. А

привлекая информацию локальных переписей, существенно уточняет выводы.

Согласно этим данным, в Санкт-Петербургской губернии в 1766 году проживало 303 332 человека, а к 1781 году население увеличилось до 319 тысяч. Это было существенно меньше, чем в Первопрестольной. Там в конце 60-х годов обитало 990 882 человека, то есть около миллиона. Такой многолюдной увидел Москву Казанова. А вот Сегюр или Виже-Лебрён попали в существенно меньший город — к 1781 году численность жителей сократится до 785 986 человек<sup>46</sup>. Объяснение тому нужно искать не только в московской чуме 1771 года, но и в оттоке дворянства после губернской реформы 1775 года. Провинциальные города во второй половине XVIII века росли, обстраивались каменными зданиями в европейском вкусе, обзаводились театрами, клубами, масонскими ложами и т. д. Представители благородного сословия, реализовывая право не служить, перебирались в имения, а многие занимали гражданские должности в новых местных органах. Все это способствовало отъезду дворянских семей из Москвы. Тем не менее старая столица оставалась самым крупным, оживленным и богатым городом.

Петербург был административным центром, резиденцией двора, средоточием высших и центральных государственных учреждений. Сравнительно небольшой, немногочисленный, современный...

В записках иностранцев запечатлена масса бытовых подробностей, на которые сами петербуржцы не обращали внимания, считая их само собой разумеющимися. Очень любопытна динамика цен в разные периоды царствования, а также разница в дороговизне между Петербургом и Москвой. В Первопрестольной все стоило в несколько раз дешевле. Съём квартиры в 60-е годы XVIII века обходился недорого, правда, и меблировали ее скромно. Зато и наем слуги с экипажем не влетал в копеечку. «Я остановился на большой и красивой улице, что называется Миллионная, — рассказывал Казанова. — Мне сдали недорого две хорошие комнаты, где сперва не было никакой мебели, но потом принесли две кровати, четыре стула и два столика»<sup>47</sup>. Вскоре друзья реко-

мендовали ему лакея «и карету за восемнадцать рублей в месяц... Такая дешевизна меня поразила»<sup>48</sup>.

Димсдейл тоже хвалил дома на Миллионной. Но его принимали за казенный счет. «Нам отвели отличную квартиру на Большой Миллионной, одной из лучших улиц в городе, подле дворца, с красивым экипажем; все удобства, какие только мы могли желать, были предоставлены в наше распоряжение»<sup>49</sup>.

А вот Миранда, приехавший в 1787 году в Петербург из Москвы и уже успевший привыкнуть к тамошней дешевизне, был неприятно поражен взлетом цен в столице: «По моей просьбе мне подыскали слугу, который немного говорил по-французски и запросил 30 рублей в месяц — дьявольская цена, — карету с четверкой лошадей за 90 рублей в месяц (пришлось согласиться)»<sup>50</sup>. Было и еще одно неудобство, на которое темпераментный венесуэлец не преминул обратить внимание. Если в Москве проститутка стоила ему рубль за ночь, то в столице пришлось выложить десять, а просили двадцать пять.

Виже-Лебрён, описывая обстановку богатых особняков, отдавала им предпочтение перед парижскими: «В комнатах иногда ставят большие застекленные ширмы, за которыми помещаются кадки и горшки с цветами, радующими нас во Франции только в мае... Комнаты опрыскивают мятой, настоянной на уксусе, что производит отменно здоровый и приятный дух. Во всех покоях поставлены длинные и широкие диваны, к коим я так привыкла, что уже не могла сидеть на стульях»<sup>51</sup>.

Двести лет назад путешественники думали о том же, о чем и современные туристы: где остановиться, на чем проехать, где поесть. Казанова ездил «на обед к Локатели... в Екатерингофе, где по рублю с головы без вина кормил всех приезжих превосходным обедом»<sup>52</sup>. Шевалье де Корберон советовал ресторан на Каменном острове: «Содержатель француз Готье. У него все хорошо. Обед обошелся нам в 4 р. 75 к.»<sup>53</sup>.

Любопытно отметить, что многие признанные сейчас достопримечательности города вовсе не производили тогда чарующего впечатления. Для наших современников Зимний дворец, Летний сад или Медный



всадник овеваны восхищением поколений. В те времена историческая дистанция была минимальна, и каждый высказывал личное мнение, не подозревая, что смотрит на шедевр. Корберон находил творение Растрелли безвкусным и аляповатым. Миранда весьма критично отзывался о статуе Петра Великого работы Фальконе: «Правая часть фигуры как-то неестественно напряжена... хвост у лошади сделан будто бы из шерсти... пьедестал похож на жабу»<sup>54</sup>.

Но особенно ожесточенной критике подвергались монументы из Летнего сада. Казанова посмеялся над ними: «Прогуливаясь в одиночестве, я осматривал статуи, обрамлявшие аллеи, сделанные из дурного камня и пресквернейшим образом, но донельзя забавные, коль прочесть надпись, выбитую внизу. На плачущей статуе было выбито имя Демокрита, на смеющейся — Гераклита, длиннобородый старик назывался Сапфо, а старуха с отвисшей грудью — Авиценна». Во время встречи с императрицей он обратил ее внимание на эти несоответствия, но Екатерина только благодушно вздохнула: «Я знаю единственное, что дорогую мою тетю обманули, но она не изволила разбираться в сих плутнях»<sup>55</sup>. Мнение венецианца разделял Корберон, называя сад «неудачным подражанием версальским рошам»<sup>56</sup>.

Интересовали путешественников и подарки, которые можно было привезти из России. Мы помним, как мисс Вильмот рассеяла заблуждение своих родных, буд-то в России дешевы бриллианты, поэтому местные аристократы носят их в большом количестве. Такое же мнение существовало и о мехах. На вопросы друзей Корберон отвечал: «Многие спрашивали меня относительно здешних мехов. Очень ошибочно предположение, что они здесь дешевы. Правда, что они лучше французских, но сшиты не так хорошо, как в Париже... Соболи от 10—100 рублей за пару; обыкновенная куница от 90 копеек до 9 рублей пара; партия горностаевых шкурок в 40 штук от 8—16 рублей»<sup>57</sup>. Сколько могла стоить шуба из таких мехов, сообщал Миранда: «Прошел по магазинам, где торгуют лучшими и самыми дорогими мехами в мире, видел полушубки по 8 и 10 тысяч рублей»<sup>58</sup>.

Вообще коммерции Северной столицы венесуэлец посвятил немало места. «На Бирже становится особенно ясно, как быстро развивается торговля в Петербурге и как удачно этот город расположен, — писал он. — ...Странно было видеть, что приезжие торговцы, поджидая покупателей, спят на своих баулах из опасения, как бы их не утащили. Видел также людей, которые спали на ящиках с товарами, принадлежащими разным коммерсантам, поскольку существует риск, что их укрдут прямо на таможне»<sup>59</sup>.

Быстрота возведения зданий и дешевизна рабочей силы в Петербурге также вызывали немало вопросов. А поскольку Миранда из врожденного любопытства повсюду совал нос, он порой подмечал множество деталей. «Кирпич, хотя его и считают самым лучшим, неважный, а вот гранит, который идет на фундамент, очень хороший, белый с мелкими черными зернами, специально отобранный и прекрасно обработанный. Артельщик сказал, что за укладку тысячи кирпичей каменщику платят два с половиной рубля, вот почему подобные работы осуществляются здесь с такой легкостью»<sup>60</sup>.

Попад на петербургские верфи, Миранда прикоснулся к одной из самых болезненных проблем тогдашней России — отсутствию квалифицированных кадров. Оно давало себя знать во всех областях: от администрации до школьной реформы, от шпалерных мастерских до канатных фабрик. Сезонные рабочие (крестьяне на отхожем промысле) не успевали получить нужную квалификацию. Их труд стоил недорого, но и результат оставлял желать лучшего. Побеседовав с мастером-британцем, Миранда записал его мнение: «Англичанин сообщил мне, что здешняя древесина не столь хороша, как английская, и что хотя, казалось бы, рабочая сила здесь дешевле, большого выигрыша не получается, потому что с той работой, которую тут выполняют 300 человек, получая по 5 копеек, в Англии справились бы 60 опытных корабелов, которые обошлись бы в 3 шиллинга каждый, но сделали бы все гораздо лучше»<sup>61</sup>.

Конечно, заказ на многие корабли можно было отправить в Англию, как часто и происходило. Траты

вышли бы меньше. Однако в таком случае о развитии собственных верфей и обучении людей пришлось бы забыть. Европеизация России шла не только путем покупки готовых товаров в более развитых странах, но и, главным образом, через воспитание мастеров на месте.

На страницах писем и дневников мелькают суждения о духе города. Столицу не находили ни многолюдной, ни беспечной, особенно по сравнению с Москвой. «На улицах невероятно мало людей, — замечал Миранда. — Петербург вообще трудно назвать веселым городом»<sup>62</sup>. Но главное свойство Северной Пальмиры — отсутствие ярко выраженных национальных черт. «В Петербурге — все иностранцы», — писал Казанова. «Кто знает русских по Петербургу, не знает их вовсе, ибо при дворе они во всем отличны от естественного своего состояния»<sup>63</sup>.

Это замечание весьма тонко. На протяжении всего XVIII века Северная столица оставалась чужим городом как для поселившихся в ней выходцев из Европы — немецкой, французской, английской, итальянской, голландской диаспор, — так и для самих русских. Приезжая из глубины империи на службу, они попадали в непривычный мир, мало напоминавший родные города и села. Перед ними был кусочек Европы, перенесенный на русскую почву и вставший в нее не без труда. Русские занимали в столице места чиновников, офицеров, придворных, русской же была и значительная часть простонародья. Этим людям тоже можно назвать диаспорой, постоянно растущей и изменяющейся под воздействием других колоний. Их привилегированное положение обуславливалось тем, что Петербург принадлежал Российской империи. А уязвимость объяснялась проблемами культурной конвертации — необходимостью менять привычный образ жизни и перенимать чужой.

Те из путешественников, кто не хотел ограничивать свое знакомство с Россией Северной столицей, отправлялись оттуда вглубь империи, в Москву. Без ее посещения впечатление не могло быть полным. Дорога не отнимала много денег. «За восемьдесят рублий извозчик

подрядился доставить меня в Москву за шесть дней и семь ночей, заложив шестерку коней, — писал Казанова. — Это было недорого»<sup>64</sup>.

### *Первопрестольная*

Удивится ли читатель, если мы скажем, что из всех иностранных путешественников, чиркнувших хотя бы пару строк о Москве, один шевалье де Корберон не восхищался древней столицей? «Долго плутали по этому дьявольски бесконечному городу, который при свете месяца показался мне очень плох. Сомневаюсь, чтобы при свете дня он был лучше»<sup>65</sup>, — писал французский дипломат. Менее склонные к ипохондрии наблюдатели смотрели во все глаза.

«Вид этого огромного города, обширная равнина, на которой он расположен... тысячи золоченых церковных глав, пестрота колоколен, ослепляющих взор отблеском солнечных лучей, это смешение изб, богатых купеческих домов и великолепных палат многочисленных гордых бар, это кишачье население, представляющее собой самые противоположные нравы... европейские общества и азиатские базары — все поразило нас своей необычайностью»<sup>66</sup>, — вспоминал Сегюр.

Своеобразие Москвы захватывало приезжих. Но что они видели или, вернее, как интерпретировали увиденное — особый вопрос. Перед ними открывался иной мир — далекий от понятного Петербурга. И здесь на помощь теряющемуся в водовороте красок сознанию приходила привычная шкала: Восток — Запад или, если угодно, Древность — Современность.

Любопытно обратить внимание на систему уподоблений, которыми пользовались иностранные путешественники, попадая в Москву. Она позволяла им связать нечто совершенно новое, чему они не находили аналогий в европейской действительности, со знакомыми по книжкам картинками. И здесь Азия, с ее многоцветьем, становилась неистощимой копилкой сравнений. Платки на головах у женщин уподоблялись чалмам, хо-

тя на Востоке это сугубо мужской предмет туалета. Маленький калмык, пляшущий перед гостями в доме одного из московских бар, — китайским рисункам на везах и фарфоровых вазах. Колокольни — минаретам. Рынки — турецким базарам.

«Наконец я достигла древней и обширной столицы России, — писала Виже-Лебрён. — Мне показалось, будто я попала в Исфаган, рисунки которого когда-то видела, настолько сам вид Москвы отличается от всего, что есть в Европе... впечатление от тысяч позолоченных куполов с огромными золотыми крестами, широкие улицы и роскошные дворцы, отстоящие друг от друга на таком расстоянии, что между ними находятся целые селения»<sup>67</sup>.

Особым образом в ряд сравнений вплеталась древность. Танцующие в трактире цыганки выглядели, как терракотовые статуэтки. «На цыганках были шитые золотом парчовые шали, прикрепленные к одному плечу, — рассказывала Кэтрин Вильмот. — В ушах монеты. Как великолепно цыгане исполняют... египетские танцы! Они выглядели в точности, как танцующие фигурки, найденные в Геркулануме и Помпее»<sup>68</sup>. Еще на подступах к Москве, в Твери, Сегюр записал: «При взгляде на толпу горожанок и крестьянок в их кичках с бусами и в их длинных белых фатах, обшитых галунами, богатых поясах, золотых кольцах и серьгах можно было вообразить себе, что находишься на каком-нибудь древнем азиатском празднестве»<sup>69</sup>.

Следует помнить, что в ту эпоху любая азиатская стилистика: будь то наследие Индии, Японии или Турции — в большинстве случаев не воспринималась как «красивая». Господствовало тяготение к умеренному, классическому вкусу, отступления от него считались варварством. И хотя китайский фарфор или оформление покоев арабесками могли разнообразить интерьер, в целом, для того чтобы увидеть красоту восточных культур, время еще не пришло. Неевропейская архитектура или одежда простонародья назывались «азиатскими» — то есть «безвкусными». Кремль, старинные царские палаты, средневековые соборы не просто не производили впечатление, но и *не могли* производить

в силу культурных предпочтений столетия. Так, Миранда писал о Патриаршем дворце: «Это здание напоминает царский дворец; та же татаро-готическая архитектура, то же безвкусие»<sup>70</sup>. Виже-Лебрён отзывалась о Кремле похожим образом: «Крепость стоит на холме над Москвой-рекой, но в ее архитектуре нет ничего примечательного, кроме ее древности»<sup>71</sup>.

Впрочем, не стоит забывать, что старинные сооружения встречали гостей вовсе не в том отреставрированном виде, в каком известны нам. Частью покрытые штукатуркой, частью перестроенные, а главное — не подвергавшиеся ремонту уже несколько десятилетий — достопримечательности Москвы проигрывали в споре с новыми домами. Но и виной их заброшенности тоже стоит считать дух времени — нечувствительность к красоте и стилистике средневековой русской архитектуры. Обращает на себя внимание полное отсутствие упоминаний о собственно русском. Их заменяют понятия «азиатский» или «восточный». Из всего калейдоскопа картинок, которые представляла Москва, глаз европейского наблюдателя не выхватывал характерного национального образа. «Тысячи деталей придают Москве вид азиатского города! — писала Кэтрин Вильмот. — На шпилях церквей чуть ниже крестов блестят полумесяцы — символ триумфа христианства»<sup>72</sup>. Создается впечатление, что русское, как отличное от турецкого или персидского, не воспринималось.

Несмотря на эту странную для современного человека особенность, Москва производила на приезжих сильное впечатление. В первую очередь своей необычной планировкой, из-за которой казалась не одним компактным городом, а сосредоточением множества сросшихся селений, между которыми оставались поля, леса, озера, реки и холмы, постепенно превращавшиеся в парки. «В городе Москве четыре города»<sup>73</sup>, — писал Казанова.

«Сколько же огромен этот город! — восклицал Миранда. — Во многом его протяженность объясняется обилием садов, парков и пустырей», «заставляющих усомниться в том, где ты находишься: в городе или в чистом поле». «По дороге встречаются загородные дома, пре-

восходно расположенные, с обилием деревьев и аллей вокруг, и все окрестности города радуют глаз. Как этим людям, вынужденным сжигать столько дров, удастся сохранить обширнейшие леса, остается для меня загадкой!»<sup>74</sup> Сочетание деревенского приволья и городского комфорта было отличительной чертой тогдашней Москвы. «Здесь немало прекрасных домов и дворцов, построенных в итальянском, французском, английском, голландском и пр. вкусе»<sup>75</sup>, — продолжал венесуэлец. Для него привычнее было воспринимать город не как гнездо усадеб, отстоящих друг от друга на целые версты, а как сумму улиц, регулярно тянущихся по линиям. «Без сомнения, — замечал он, — есть и прекрасные улицы: Новая Басманная, где дома стоят плотными рядами, и Тверская»<sup>76</sup>.

Другая черта планировки Москвы, необычная для европейцев и нехарактерная для Петербурга, — отсутствие четкого деления на кварталы бедноты и знати. В Первопрестольной роскошный особняк мог соседствовать с лачугой, дома стояли вперемежку, чем действительно напоминали азиатские города, например Константинополь. Сегюр говорил о смешении «изб, богатых купеческих домов и великолепных палат многочисленных гордых бар»<sup>77</sup>. Австрийский император Иосиф II, посетивший старую столицу России в 1782 году, в качестве комплимента заметил, что он увидел город, где дворцы не подавляют хижин.

Соперничество двух российских столиц всегда отмечалось иностранцами. Но трактовалось по-разному. «Горожане московские, в первую голову богатые, жалеют тех, кого служба, интерес или честолюбие понудили покинуть отечество, ибо отечество для них — Москва, а Петербург — источник бед и разорений»<sup>78</sup>, — писал Казанова. При нем, в 60-е годы XVIII века, Первопрестольная была еще предпочтительнее для жизни, чем ее северная соперница, и дворянство, чуть только оказывалось свободным от службы, стремилось поселиться здесь, на приволье. К концу века картина изменилась. «Желание погреться в лучах, испускаемых троном, столь велико, что придворные стремятся получить любой знак милости от престола. Результаты

подобных отношений очевидны: знатные москвичи, живущие вдали от Петербурга, не могут не чувствовать себя ущемленными — в имперской диадеме их жемчужина не самая яркая»<sup>79</sup>, — язвительно замечала Кэтрин Вильмот, не симпатизировавшая благородному сословию старой столицы.

Причиной такого отношения не в последнюю очередь было обилие хорошеньких молодых дам, на фоне которых сестры-ирландки терялись. О красоте и обходительности москвичек писали часто. Именно в Первопрестольной иностранцы обращали внимание на русский этнический тип. Вероятно, в Петербурге он был растворен среди множества других национальных типов, а в старой столице встречался в концентрированном виде. Миранда вообще восхищался русскими. «Какие все же у сей нации замечательные юноши!»<sup>80</sup> — восклицал он, увидев построение учеников Кадетского корпуса. В другой раз путешественник отмечал в дневнике: «Зашли в несколько крестьянских хижин, бедных и душных, но юноши, как и везде в России, необычайно красивы»<sup>81</sup>.

Дамы же не оставляли равнодушными многих. «Я нашел, что женщины в Москве красивее, чем в Петербурге, — писал Казанова. — Обхождение их ласковое и весьма свободное, и чтобы добиться милости поцеловать их в уста, достаточно сделать вид, что желаешь облобызать ручку»<sup>82</sup>. Единственной неприятной особенностью казался обычай румяниться. «Я зашел в... церковь, весьма богатую по своему убранству, где обратил внимание на нескольких женщин из купеческого сословия, наряженных в “фату” — белую накидку, вышитую золотом, серебром, шелком и т. д. Лица у всех искусно накрашены, хотя, сказать по правде, они в этом нисколько не нуждаются, ибо природа наделила их весьма привлекательной внешностью, — писал Миранда. — ...Мы несколько раз объехали место, где происходило гуляние, любуясь дамами и юными девицами... и все красивы как на подбор»<sup>83</sup>.

Стремление румяниться, белиться и подводить глаза по восточной моде отмечалось всеми наблюдателями-европейцами. В купеческой среде у замужних женщин



еще встречался обычай покрывать зубы черным лаком, как делали в Китае и некоторых азиатских странах. Если учесть, что врачей-дантистов почти не было, то традиция маскировать разрушение эмали не покажется такой уж неразумной.

Если Миранда находил, что дамы накрашены «искусно», то Вижэ-Лебрён, напротив, писала о неумелом использовании косметики: «Жены купцов тратят большие деньги на свои туалеты... Причесываются они с великолепным изяществом. На шляпках, нередко украшенных жемчугом, носят широкие драпировки; они закрывают лицо полутенью, и сие, надобно заметить, вполне уместно, поелику у всех лица набелены, напомажены, а ресницы накрашены черной краской в самой безвкусовой манере»<sup>84</sup>.

Потребность краситься настолько вошла в привычку, что поправлять макияж прилюдно не считалось чем-то зазорным. Миранда нарисовал характерную сцену, виденную в Благородном собрании: «Есть тут... туалетные комнаты, где дамы то и дело обновляют краску на лице... Одна девушка усердно предавалась своему занятию на глазах у всех. Мой приятель Корсаков пытался уверить ее, что в подобных ухищрениях нет нужды. “Полноте, сударь, — возразила она. — Прилично ли являться вечером с бледными утренними румянами?” Черт знает что за представления о приличиях у этой дамы!»<sup>85</sup>

Его слова подтверждает Янькова: «Тогда белиться не считалось предосудительным, но и не требовалось как необходимость, а румяниться должны были все. Помню, что однажды я приехала в собрание, пошла прямо в туалетную и остановилась перед зеркалом поправить свои волосы. Передо мной стоит одна Грязнова и румянит свои щеки. Один барин, стоявший сзади нас, подходит к ней и говорит: “Позвольте, сударыня, вам заметить, что левая щека у вас больше нарумянена”. Она поблагодарила и подрумянила и правую щеку. Теперь румянятся потихоньку, а тогда это составляло необходимое условие, чтобы явиться в люди»<sup>86</sup>.

Путешественники-мужчины соглашались во мнении о красоте местных дам. А темпераментный Миран-

да, все поверявший личным опытом, заявлял, что москвичка «в пылкости не уступит андалузкам»: «Слуга привел мне русскую девушку, которая показала себя в постели сущей чертовкой... За ночь я трижды убеждался в этом. Утром она ушла, удовольствовавшись пятью рублями»<sup>87</sup>.

Путешественницы-дамы были не столь благосклонны. «Любуюсь всеми без исключения крестьянами, — писала Марта Вильмот. — ...Мне кажется, мужчины в целом красивее женщин, но те и другие превосходят простой ирландский народ»<sup>88</sup>. Не стоит объяснять слова британской гостьи одним чувством соперничества. При всей миловидности, свойственной славянкам, грубость черт, присущая простонародным лицам, еще не смягчалась у большинства воспитанием и образованием. Для сильного пола это было несущественно, ибо могло считаться проявлением мужественности. Но девушкам полагалось олицетворять собой нежность...

Совсем по-иному звучат слова Виже-Лебрён. Восхищаясь красотой знати, особенно женщин, она, переходя к простонародью, вдруг заявляла: «В своем большинстве русские некрасивы, но у них простая и благородная манера держаться, и это лучшие в свете люди»<sup>89</sup>. Эти слова не случайны. Однако у них другая культурная подоплека, чем у отзыва мисс Вильмот. Аристократов художница видела либо в европейском платье, либо облаченными в стилизованные эллинские одежды по тогдашней моде. В таком облике они отвечали ее представлениям о прекрасном. Народный же костюм сам по себе портил тех, кто в нем ходил, — их привлекательности Виже-Лебрён просто не замечала, как не замечала красоты Кремля или Соборной площади. Ее эстетические потребности лежали в иной сфере.

Кстати о модах. «Вообще, москвичи большие модники и считают, что превосходят петербуржцев!» — писала Марта. В тот момент, когда мисс Вильмот прибыла в старую столицу, верхом изящества считались кружева и дорогие турецкие шали. «Здесь каждая женщина носит шаль!»<sup>90</sup> — с удивлением восклицает гостья Дашковой. И было чему поражаться, поскольку цены кусались: «Княгиня подарила мне большую турецкую шаль,

которая стоит 30 гиней, а в Англии, думаю, может стоить 50—60»<sup>91</sup>. В другом месте она замечала, что настоящие турецкие шали очень дороги, они стоят 200—300 рублей. «Все носят шали... и чем их больше, тем больше вас уважают. У меня шесть. Нужно сказать, что мода эта чрезвычайно удобна. Шали бывают огромными (даже в три человеческих роста), один конец ее обертывают вокруг руки, другой спускается до земли. Княгиня подарила мне браслет со своим портретом, подобные браслеты носят на левой руке и называют “sentiment”»<sup>92</sup>.

В следующем письме она сообщала: «Из Москвы для меня прибыли два ослепительно великолепных клока. Один из серого шелка, с капюшоном, подбит мехом и отделан соболем (покроем похож на плащ), другой для менее торжественных случаев, сшит также из черного шелка, стеганый. Кроме того, княгиня заказала для меня два салопы, отделанных мехом»<sup>93</sup>.

Питерскую знать путешественница презрительно окрестила «Slamikin» по имени одного из героев английской музыкальной комедии Дж. Гея «Опера нищих», не обращавшего внимания на свою одежду. Между тем французская мода на изысканную небрежность костюма уже начинала появляться в Северной столице. Далеко не всем удавалось следовать новому стилю с необходимой грацией. Иногда попытки выглядели смешно. Московское запаздывание в моде казалось безопаснее.

Вообще Москва воспринималась сторонними наблюдателями как женский город. Это проявлялось в первую очередь в составе ее жителей. Сюда со всех концов империи свозили незамужних девиц под присмотром старших родственниц. Поэтому диспропорция между «спросом» и «предложением» на свадебном рынке бывала обычно не в пользу прекрасной половины человечества. Особенно она бросалась в глаза в Благородном собрании. Миранда писал: «В этот вечер здесь собралось более 1500 человек, главным образом молодых девиц. Уж не знаю, как они найдут себе женихов. Многие говорили, что в этом клубе числятся 2 тысячи членов (мужчины платят 20 рублей, женщины — 10), из коих 1600 женщины. По другим сведениям, мужчин 600, но в любом случае их гораздо меньше»<sup>94</sup>.

## *«Ужасные обряды и церемонии»*

Именно в Москве приезжие знакомились с обычаями, давно исчезнувшими из обихода «легкомысленных» жителей Северной столицы. «Те, кто не видел Москвы, России не видел!»<sup>95</sup> — патетически восклицал Казанова. Однако, чтобы вплотную столкнуться с повседневным бытом Первопрестольной, мало было взглянуть на «дворцы, сады, монастыри» из окна кареты, следовало поселиться и некоторое время прожить бок о бок с русскими «в их естественном состоянии», очутиться в недрах московских домов и ближних имений. Такой случай выпал на долю сестер Вильмот. Их любопытные суждения почти всегда нуждаются в комментариях из-за разницы культурных традиций, но от этого ничуть не теряют живости впечатлений.

Так, Кэтрин была поражена запасливостью москвичей. Петербуржцы большей частью жили одним днем, покупали продукты в лавках, не любили откладывать впрок и вести в городе деревенское хозяйство. Иная картина предстала в Первопрестольной, где польза была возведена в абсолют. «Вообще здесь принято, чтобы каждый человек имел при себе все необходимое: кастрюли, свечи, подсвечники, приборы для чая, кофе, — писала родным Кэтрин. — Всё это и сотни других мелочей находятся в ведении горничной; любой из нас может запереть дверь своего убежища, и у него будет достаточно запасов, чтобы, не покидая нашей крепости, безбедно жить в течение недели. Привычка делать припасы здесь очень сильна, поэтому в моде хозяйственные подарки: когда мы приехали, княгиня прислала пару серебряных подсвечников и восковых свечей впрок! Затем я ожидала получить в дар заступ или рашпер, но не угадала, так как на следующий день нам подарили по сковороде»<sup>96</sup>.

Особенно удивляла привычка не предоставлять в распоряжение гостей постельных принадлежностей. В России они воспринимались чем-то вроде нательного белья: было бы в высшей степени странно снабжать приезжего чулками и сорочками. «Каждый должен сам обеспечивать себя постельными принадлежностями,

даже во дворце! — жаловалась девушка. — У нас свои стеганные и простые одеяла, простыни, которые мы отдаем прачке вместе с одеждой. Если бы мы ожидали получить постельное белье от хозяйки дома, на нас посмотрели бы с изумлением, как если бы я в Гэнмире послала за твоим платьем». Перед нами разное представление о брезгливости. Если британские путешественницы испытывали неудобство от прикосновений и поцелуев при встречах («Даже привычка немилосердно румяниться не кажется мне такой странной, как неприятное обыкновение целоваться в обе щеки»<sup>97</sup>, — писала Марта), то русским дамам показалась бы неприличной сама мысль спать на чужих простынях, которыми уже кто-то пользовался.

Другой пример несовпадения традиций связан с восприятием смерти в русской православной культуре и в секуляризированной протестантской ментальности. Кончина близких в Москве не служила поводом для того, чтобы человек затворился от мира, а окружающие сделали вид, будто ничего не случилось, чтобы не оскорблять его чувств. Напротив, было принято, чтобы знакомые приезжали выразить соболезнования родным усопшего, а те со своей стороны держались достойно. Если учесть, что дворянская Москва почти вся была между собой знакома, то потеря одного из ее благородных представителей превращалась не только в частное, но и в публичное событие. Не следует забывать, что многие внутренне нуждались в солидарной поддержке своего круга, а долгий церковный обряд отпевания и похорон помогал ввести скорбь в русло ритуальных действий, которые сами по себе притупляют боль.

Однако Марта Вильмот была шокирована русским трауром, внутренне содрогнувшись от его открытой, публичной стороны. «Надо вам рассказать об одном здешнем обычае, меня возмутившем, — писала она родным. — Две недели назад княгине, как и всей московской знати, принесли траурное извещение с сообщением о смерти господина Небольсина. Текст был окаймлен черепами, скрещенными костями и прочими эмблемами смерти. На следующий день пол-Москвы, мужчины и женщины, побывали у несчастной гос-

пожи Небольсиной. Страдая от неподдельного горя, едва держась на ногах, она с 12 дня до 10 вечера должна была терпеть разговоры и взгляды каждого, кто пришел поглазеть на нее... Я была так удивлена и поражена, что многим задавала вопрос, почему они придерживаются столь жестокого обычая. Мне объяснили, что, если бы она не разослала извещения и не приняла бы визитеров, свет обвинил бы ее в неуважении к памяти мужа... Я, совершенно чужой человек, сопровождая княгиню к Небольсиной, видела эту даму в состоянии, которое лучше всего можно было определить как «торжественная скорбь». Убитая горем вдова лежала на софе, свет был затенен; все визитеры в глубоком трауре, разговоры шепотом... Небольсина выразила сожаление, что несчастье лишает ее возможности оказать мне гостеприимство; в то же время она слушала посторонние разговоры и даже принимала в них участие. После того что я рассказала, вы можете предположить, что печаль ее притворна, но это не так»<sup>98</sup>.

Что потрясло мисс Вильмот? То, что вдова не переживала своего горя одна. Посторонние разговоры, так естественно отвлекавшие женщину от случившегося несчастья, казались госте неприличными. А визитеры с соболезнованиями — любопытными, явившимися «поглазеть» на чужую боль. Думаем, эта сторона у траура тоже была. Но главное в рассуждениях Марты другое: такое событие, как смерть, необходимо прятать от людей, а все связанные с ним ритуалы проводить как можно скорее. Неприятный момент жизни следует перешагнуть, скрыть от глаз, пережить в себе. Другим не должно быть до него дела, ведь их назойливые слова, которые ничего не могут поправить, только причиняют дополнительные страдания. Позднее, когда у княгини Дашковой умрет сын Павел Михайлович, Марта в письме домой скажет: «Я описала подробности всех ужасных обрядов и церемоний, свойственных при похоронах греческой церкви»<sup>99</sup>. Ужас этих церемоний состоял именно в длительности и пышности — вещах, по Марте, показных, неискренних.

Впрочем, у публичности русской культуры того времени были и приятные стороны. Например, многочис-

ленные поводы для подарков. Москвичи обожали принимать презенты и делать их. Горы безделушек, которыми они обменивались, сбивали приезжих с толку. Особенно в чести были солидные подарки, полезные для хозяйства. Так, новоселье ознаменовывалось подношениями для хозяев от всех знакомых. «Когда кто-либо переезжает в другой дом, — писала Марта, — он получает от друзей и знакомых полезные вещи: что-нибудь из мебели, продовольствия и другие подарки, бриллианты например. Но какова бы ни была стоимость преподнесения, его по старинному обычаю называют “хлеб-соль” — символ гостеприимства. Теперь как раз переезжает в новый дом доктор Холлидей, с которым я ехала из С. Петербурга в Москву. Утром он посетил нас и случайно упомянул о новоселье. Княгиня, лелея мечту сделать из меня настоящую русскую, сказала ему, что мисс Вильмот, по обычаю, приготовит “хлеб-соль” для миссис Холлидей, и попросила через полчаса приехать за подарком. Когда посланный пришел, к отправке был готов очень изящный стол с мраморной доской»<sup>100</sup>.

Другим знаменательным днем, когда москвичи дарили всякие занятные вещицы, было 1 апреля — праздник шуток, потому и презенты заключали в себе некий розыгрыш. «Ко мне в комнату зашла княгиня. В руке она держала большую апельсиновую кожуру, в которую было вмято ожерелье из четырех ниток изумительного восточного жемчуга, — рассказывала Кэтрин. — Она попросила меня сказать Матти, что аптекарь послал ей это для лечения горла»<sup>101</sup>. Презенты Дашковой отличались большой ценностью. Сама Марта писала: «Завтра 1 апреля, и здесь этот день шуточных обманов отмечают с большим, чем у нас, увлечением... Подарки же дарят не только на день рождения, именины, на Пасху, но еще по сотне других поводов... Княгиня... в виде первоапрельской шутки положила нам с Анной Петровной под кофейные чашки по сто рублей... “Яйцо”, подаренное мне княгиней, это два бриллианта, которые я буду носить в сереге будущей зимой (по здешней моде ходят с одной сережкой)... Украшение меняется трижды в течение дня»<sup>102</sup>.

И вновь разница культур давала себя знать. То, что донельзя забавляло москвичей, подчас оказывалось для британских гостей в тягость, утомляло и раздражало их. «Когда я покидала Лондон, — жаловалась Кэтрин, — то запаслась таким количеством бус, ожерелий и безделушек, как будто собиралась торговать с туземцами южных морей, и уже почти все эти побрякушки перешли во владение шайки девиц, посещающих комнатную “ярмарку”. Естественно, и я в ответ получаю дорогие подарки, но все это мука и пустая трата денег, так как безделушки накапливаются в ужасающем количестве; кроме того, у вас нет права выбора — дарить либо не дарить, по определенным дням вы *вынуждены* делать и получать подарки»<sup>103</sup>.

Перед нами две культуры: одна — все более углубляющаяся в себя, другая — нацеленная на публичное действие. Марта была убеждена, что под внешней, суетной оболочкой московской жизни таится пустота. Она первой из иностранных путешественников усомнилась в чистосердечии жителей старой столицы: «У русских чрезвычайно развито гостеприимство, но что является его основой, искреннее ли оно, будет ли дружба причиной или это просто пустое любопытство к новому лицу, определить я пока не смогла»<sup>104</sup>. Ветреность и легкомыслие московских кумушек, осыпавших незнакомца комплиментами, а за глаза сплетничавших о нем, послужили основанием подобных мыслей. Однако вот повод для размышлений: культура принимающей страны оборачивалась к каждому из приезжих тем боком, какой он видел. Виже-Лебрён купалась во всеобщих симпатиях и дорогих заказах. Казанова сытно ел, развлекая московских бар. Миранда без устали охотился за русскими проститутками, находя их неподражаемыми. Марте Вильмот суждено было до дна испить чашу неприязни московского общества, которое она так презирала.

Мир, проходивший перед глазами у приезжих, лишь на день-два останавливавшихся в старой столице, выглядел совсем иначе, чем у тех, кто долго жил здесь. Чтобы увидеть русское в России, они направлялись в трактир, где подавали национальные блюда. Миранда



не обошел вниманием эту сторону быта. «Отправился обедать в лучший русский трактир — Пастухова, — писал он в дневнике, — чтобы составить представление о национальных привычках. Слуги были одеты в цветные рубахи: голубые, красные, весьма опрятные. Мы попросили подать обед... и уселись за стол, обильно уставленный едой в русском духе, в первую очередь рыбой, которую тут готовят лучше, чем у нас; была очень вкусная икра, из напитков кислые щи, мед, пиво — никакого вина, — а в конце мне подали мороженое и превосходный кофе. Все это стоило по рублю с каждого. Я заплатил пять рублей за троих, и хозяева остались весьма довольны щедростью»<sup>105</sup>. Можно было недорого поесть и в Благородном собрании: «Есть здесь большая зала, где подают ужин, и желающие могут прекрасно поужинать за рубль»<sup>106</sup>.

Вообще московские цены радовали венесуэльца, ибо не были разорительны, и он мог позволить себе купить кое-что в качестве сувениров: «Поехали на чулочную фабрику, которую считают лучшей, но она того стоит... Сейчас там работает 300 человек, которым платят по 25 рублей в год... Они продают сукно высшего качества по полтора рубля за аршин»<sup>107</sup>.

Москва заключала в себе множество достопримечательностей, на осмотр которых уходила львиная доля времени. Никто из иностранных путешественников не миновал Оружейной палаты, Царь-колокола или Московского университета. Однако в те времена не существовало еще ни одного путеводителя, что затрудняло знакомство с городом. Доктор Димсдейл сетовал: «Мы проводили в Москве время весьма приятно, осматривая город и любопытные в нем предметы; их в самом деле много, и они заслуживают внимания путешественников; никогда, впрочем, не случилось мне прочесть что-нибудь дельное о Москве или попасть на хорошее описание этого большого и знаменитого города»<sup>108</sup>.

Стоит обратить внимание еще на одну особенность: звуковой фон, сопровождавший путешественника в старой столице. Он был иным, чем в Петербурге, и очень сильно отличался от Европы. Во-первых, много-

людые на улицах создавало постоянный шум. Простонародье не привыкло приглушать голосов, разносчики выкликали свой товар, а извозчики во все горло орали: «Поберегись!» Во-вторых, колокола трезвонили на каждом перекрестке. В Первопрестольной было много церквей, в урочные часы сзывавших прихожан на службу. «Слово “мучение” слишком слабо, чтобы выразить то, что вынесла моя голова от непрекращающегося колокольного звона»<sup>109</sup>, — жаловалась Кэтрин. Москвичи любили, чтобы музыка играла громко, поэтому на праздничных обедах оркестры оглушали гостей и, чтобы быть услышанными во время разговора, приходилось кричать на ухо соседу. По контрасту с совершенным безмолвием дороги, нарушавшимся только песней ямщика или бранью вытаскивавших карету из ямы мужиков, московский шум воспринимался особенно остро.

В довершение ко всему простонародье постоянно пело. На этот феномен особо обращают внимание многие путешественники. Крестьяне и мастеровые привыкли сопровождать пением работу, в основе этой традиции лежали языческие заговоры, с которыми славяне отправлялись в лес за грибами, на охоту или на рыбную ловлю, ткали холсты или рубили избы, пахали поле, сеяли и собирали урожай. Давно утратив первоначальный смысл, обрядовые слова сохранялись в народной традиции как привычные речитативы и приговоры, произносившиеся нараспев.

«Вечером на гумне пели жены лакеев и конюхов, — писала домой Марта. — Это был настоящий концерт: женщины поочередно вступали в хор — по четыре, пять и шесть человек, их пение на разные голоса было превосходным... Иногда во время обеда слуги услаждают наш слух музыкой. Поют все, а большинство играют на каком-нибудь музыкальном инструменте. Горничные, конечно, поют тоже, танцы их необычайно своеобразны — разные па сопровождаются короткими песенками, задорными или сентиментальными, и всегда исполнение отличается врожденным изяществом, что, как мне кажется, вообще свойственно русским. Песни в России в основном печальны, лица исполнителей — серь-

езны, но тем не менее поют они постоянно и кажутся такими же счастливыми, как любой другой народ, менее их скованный особыми условиями в стране»<sup>110</sup>.

Тоскливость русских песен замечали многие иностранцы. Сегюр называл напевы плотовщиков «однообразно грустными». Виже-Лебрён соглашалась, «что русским песням при всей их мелодичности свойственно какое-то варварское и меланхолическое своеобразие»<sup>111</sup>. «Веселость, безусловно, не в характере народа этой страны, — констатировала мисс Вильмот. — Выражение лиц, музыка, танцы — во всем видна задумчивость»<sup>112</sup>. «Это не похоже на веселую картину развлечений, — продолжала она в другом письме. — Напротив, независимо от настроения участников, в их радости есть что-то грустное»<sup>113</sup>.

Побывав в доме одного из московских вельмож, ирландка услышала за ужином пение молодой дворовой: «Необычайно высоким и чистым голосом девушка исполняла русскую народную песню. Сколько живу на свете, никогда прежде не слыхала такого мелодичного и чарующего пения... Этот одинокий, тоскующий, жалобный голос заставил меня пролить слезы»<sup>114</sup>.

Сначала путешественница пыталась объяснить грусть русских песен несвободным положением крестьянства. Но вот княгиня взяла ее в свои белорусские имения, и картина изменилась: «Видела я музыканта-волыньщика, вокруг которого обычно собирается шесть—восемь пар девушек и парней, которые танцуют так весело, что сердце радуется. Играют тут также на скрипках, цимбалах и т. д. Народ кажется беднее, чем в России; в выражении некоторых лиц проглядывает озабоченность, забитость и убожество, но стоит заиграть музыке, как все забывается, радость и веселье продолжается до тех пор, пока скрипач, цимбалист и волыньщик не клюют носом, задремывая»<sup>115</sup>. Пришлось приписать печаль музыки национальному характеру русских.

Плясали простолюдины тоже много и в Москве, и в деревне. Особенно часто танцевали женщины, причем в их поведении тоже было заметно наследие языческой поры. «Мне еще ни разу не приходилось видеть пляшущего мужика и мужчин, танцующих с женщина-

ми, — удивлялась Марта. — Примечательно, что танцуют либо две замужние женщины, либо две девушки, каждая пара по-своему, и они никогда не соединяются в одном танце»<sup>116</sup>. В народной среде танец — один из наиболее наглядных способов обнаружить свою принадлежность к половозрастной группе. Для девушек существовали свои пляски, для женщин — свои. Мужчинам в них вступать не полагалось. Марта сомневалась, а танцует ли сильная половина вообще. Миранда же, углядев пляску мужиков, нашел ее крайне похабной. «Отобедав, мы пили кофе на балконе, а внизу веселился и плясал простой люд, одни мужчины, которые не уступят в похотливости самой последней...»<sup>117</sup> Вероятно, танец сопровождался красноречивыми жестами и выкриками.

Несмотря на то, что столица перешла в Петербург, Москва продолжала оставаться религиозным центром. Поэтому все замечания по поводу православия обычно записывались здесь, как дань непосредственным впечатлениям. Таковых было много и, надо сказать, ни особым знанием дела, ни тактом большинство гостей не отличались. Казанова, взявшись описывать бытовые религиозные традиции, только еще больше запутал своего читателя. «Вошедший первый поклон кладет образу, — рассказывал он, — второй хозяину; ежели там образа не случится, русский, оглядев комнату, замирает, не зная, что и сказать, и вовсе теряет голову. Русские в большинстве своем суевернее прочих христиан. Язык у них *иллирийский*, но служба вся на *греческом*; народ не понимает ничего, а невежественные попы рады держать его в невежестве. Я никак не мог втолковать одному... знавшему латынь, что единственная причина, по которой мы в римской церкви крестимся слева направо, а в греческой справа налево, это то, что мы говорим: “*spiritus sancti*” (Дух Святой. — *О. Е.*), а они по-гречески “*агиос преума*” (Святой Дух. — *О. Е.*).

— Если б вы говорили, — сказал я, — “преума агиос”, вы бы крестились, как мы, или мы, как вы, если б производили “*sancti spiritus*”.

...Такого рода почти и все прочие различия меж двумя сектами»<sup>118</sup>.

Оставим подобные рассуждения на совести автора. В те времена никто и слыхом не слыхивал о политической корректности, а потому пассажи вроде следующего писались и читались без тени смущения. «Сегодня утром были торжественные похороны вдовы канцлера Воронцова, — сообщал в донесении шевадьё де Корберон. — Ты слышал, мой друг, об обряде насчет паспорта, который вкладывают в руки покойнику для предъявления его апостолу Петру; обычай этот по сие время соблюдается в точности. Поэтому ты можешь судить об успехах философии в империи. Недалеко она ушла и в отношении нравственности»<sup>119</sup>. Что же такое «паспорт» в руках у усопшего? Поминальная молитва, которая как сейчас, так и тогда укладывалась вместе с покойным на отдельном листке бумаги.

Кто в конечном счете был «невеждой»? И недалеко ушел «в отношении нравственности»? Судить читателю. Еще в Петербурге Корберон описал обряд принятия православия второй женой великого князя Павла Петровича — Марией Федоровной: «Принцесса, хорошо выговаривая, прочла на русском языке Символ веры. Из древней формулы были выпущены некоторые унижительные обрядности, как, например, отречение от родителей, вступление в часовню кающейся с погасшим светильником»<sup>120</sup>. Подобных требований церемония перехода из другой христианской конфессии в православие не содержит. Отречение от близких и «вступление в часовню кающейся с погасшим светильником» — элементы масонских ритуалов, с которыми дипломат был знаком по принадлежности к иллюминатству.

Оказавшись в Москве, Марта Вильмот была удивлена царящим там духом терпимости. «В России нет религиозной вражды и дух терпимости таков, что даже неграмотные крестьяне, как бы по наитию, понимают, что у людей других национальностей имеются свои, не схожие с их собственными, религиозные обычаи, которые также угодны Богу. Недавно я получила этому замечательное доказательство... За неделю до нашего отъезда из Москвы начался Великий пост, во время которого всякая музыка, кроме духовной, считается недопустимой. Случилось так, что незадолго до поста я пло-

хо подготовилась к уроку с гитаристом, а поскольку Святая неделя была последними днями нашего пребывания в городе, мы с княгиней решили, что это время мне следует посвятить музыке. Софьюшка (горничная Марты. — О. Е.) была потрясена, но после минутного размышления сказала: «Это правда, Мавра Романовна не русская», ведь она поняла, что грех в ее религии, в моей — не грешно»<sup>121</sup>.

Совсем иначе воспринимала окружающее Кэтрин. Для нее религиозная жизнь русских — язычество. «На стенах церковей золотой лучистой краской изображены гигантские фигуры святых, и тысячи людей крестятся и падают ниц перед ними со страстью, похожей более на идолопоклонство, чем на религию»<sup>122</sup>. Иконы — «сияющие маски идолопоклонства»<sup>123</sup>. Крещение в купели — варварский обряд. «Недавно я видела, как несчастного, покрытого паршой ребенка распеленали и священник с головой окунул его в купель, а когда его вынули, он вопил, как дьявол! — писала она любопытствующим родным. — Перед тем как его вернули нянькам, ему отрезали клочок волос, поплевали на него, и священник пренебрежительно бросил волосы обратно в купель как жертву Сатане»<sup>124</sup>.

Похоже, сестрам-ирландкам не приходило в голову, что протестантские обычаи их родины могли бы показаться странными русским путешественникам. Столь же ожесточенно британские гости будут обрушиваться и на московское благородное общество.

### *«Воротнички без рубашек»*

«Каждому свойственны предубеждения против других наций и противу их обычаев, — рассуждал в конце своих записок доктор Димсдейл, — поэтому многие из англичан... имеют дурное мнение о дворянстве и о народе в России и даже полагают, что между ними существуют остатки варварства... Исполнение моих врачебных обязанностей и частые приглашения к столу дворян давали мне возможность познакомиться с ними в их семействах, где я мог составить себе о них более верное понятие... Я могу совершенно удостовериться,

что знатные лица вежливы, великодушны и честны и, что покажется еще более странным, весьма умеренны в употреблении крепких напитков»<sup>125</sup>.

Заметно, что врач пытается защитить страну, где ему «оказано было столько милостей». Но адрес его высказывания не вполне ясен. Высокомерие соотечественников британского хирурга вошло в поговорку, однако главную задачу Димсдейл видел в том, чтобы «поставить преграду лживым внушениям, которые, как ему «сделалось известно, распространяются в соседнем королевстве народом, преследующим свою завистью» Екатерину II и ее подданных. То есть речь шла о французах. И действительно, к 1780 году, когда врач взялся за перо, авторами из «соседнего королевства» уже были написаны горы книг о русской угрозе.

Противостояние России и Франции продолжалось до конца 80-х годов XVIII века. На полях этой невидимой войны проливались моря чернил. Прибывший в Петербург в августе 1775 года в свите нового посла маркиза де Жюиньи шевалье Мари Даниэль Буре де Корберон много и зло писал о стране пребывания. «Склонные ко всем порокам, вызванным роскошью, развращенные раньше, чем успели пройти различные ступени зрелости, русские походят на плоды зеленые, но уже гнилые, без сочности и сладости, и которые никогда не смогут приобрести надлежащего вкуса»<sup>126</sup>. Особенно дипломата задевало перенимание французской культуры, происходившее без глубоких внутренних изменений — исключительно на внешнем уровне. «Обедал на даче князя Куракина, — записал шевалье в дневнике. — Он принял нас с простодушной любезностью, к каковой русские отменно способны, подражая нам в приемах и обхождении»<sup>127</sup>. Однако не приведи бог доверять такой любезности, в другом месте автор порицал «князя Одоевского, который, как большинство русских, с виду любезен, но в сущности легкомыслен и лжив»<sup>128</sup>.

Корберон называл себя учеником Руссо и потому считал своим долгом противостоять России не только в политическом, но и в идеологическом плане. Претензии петербургского кабинета играть одну из первых

скрипок в оркестре европейских держав представлялись ему необоснованными. «Этот народ мнит себя одним из наиболее сильных и могущественных, — доносил дипломат в Версаль в 1777 году. — Россия обладает в десять раз большим количеством земли, нежели Франция... Она могла бы иметь сто миллионов жителей, в действительности же насчитывает около семнадцати. Если б этому поработанному народу была дана свобода, если бы у него было развито огражденное законом право собственности, если б, наконец, у него было правильное понятие о торговле и внутреннем управлении, он мог бы достигнуть состояния расцвета и благоденствия, от которых в данный момент он также далек, как в 1440 году»<sup>129</sup>.

И при таком уровне развития русские дерзали испытывать патриотические чувства! Ботик Петра I, на который умилялись поколения путешественников, вызвал у дипломата приступ ипохондрии: «Это маленькое судно хранится теперь в одном доме, и кто желает видеть его, должен из чувства уважения снять шпагу, и, когда в торжественных случаях его пускают в воду, в него садится сама императрица, а на веслах помещаются высшие сановники государства. Мне очень нравится, друг мой, если такая восторженная торжественность применяется в тех случаях, где проявляется величие нации. Но как далеки еще русские от этого благородного чувства народной гордости, которое мы видим во Франции и которым восторгаемся в Англии!»<sup>130</sup> Дипломат считал, что вельможи, разъезжая на заслуженном «дедушке русского флота», имитировали «народную гордость», подражая французам и англичанам.

Корберон не чувствовал себя уютно, он постоянно повторял в донесениях, как «ужасно злословят в этой стране», как подозрительно относятся к приезжим. В то же время шевалье мечтал сделать в Петербурге карьеру и, если удастся, разбогатеть. Когда в ноябре 1777 года де Жюиньи покинул Россию, его честолюбивый помощник занял место поверенного в делах и всерьез рассчитывал на должность посла. В это время он часто писал на родину, давая характеристику России.



«Недостаточно иметь солдат и богатство, надобно иметь государственных людей; надобно, чтобы было национальное единение для процветания добродетелей... Надо подумать о побудительных началах, прежде чем желать, чтобы машина пошла в ход... В этом громадном государстве я вижу только государыню, женщину выше своего пола, но ниже созданного о ней мнения; министры слабы, низкопоклонны, без гения; народ — раб без характера и энергии; великие замыслы честолюбия и негодные приемы, чтобы выполнить их и вызвать к жизни... Пустая, праздная и необразованная молодежь не дает надежды на полезных и ценных подданных в будущем. Несколько проблесков ума, несколько поверхностных знаний могут поразить иностранца в обществе, бегло его посещающего; но при близком знакомстве вы не остановитесь ни на одной черте силы или гения, ни на одном решительном действии, ни на одном твердо усвоенном вкусе, ни на одном определенном и последовательном поступке: эти люди с прекрасными воротничками и без рубашки... Вот, друг мой, какова эта блестящая нация, изумительная по газетам и такая бедная, как только вы видите ее у себя дома».

Прежде чем обвинять дипломата в предвзятости, задумаемся над любопытной стороной его высказываний, на которую обычно не обращают внимание — их политической ангажированностью. Чем неприязненнее были оценки, тем больше Корберон рассчитывал угодить версальскому начальству: сам король считал так, что же оставалось поверенным? «Вот об этом я и хочу писать Верженю, — заканчивал шевалье, — хочу доказать ему, что... я начинаю хорошо знать людей, с которыми буду иметь дело, если обстоятельства поставят меня здесь во главе»<sup>131</sup>. Мы не осведомлены, что на самом деле думал несостоявшийся посол. Вряд ли его личные размышления были более комплиментарны. Но стоит помнить: то, что читают исследователи, предназначалось для чужих глаз. Цель этих донесений — убедить министра иностранных дел в собственной лояльности.

Когда мы переходим к текстам другого французского дипломата — графа Луи де Сегюра, прибывшего в

Россию в 1785 году, — их доброжелательность может быть результатом не только личных качеств нового посла, хотя граф был, без сомнения, человеком достойным, образованным и широко мыслящим. Важно помнить, что Сегюр писал мемуары на склоне лет, после Французской революции, будучи свободен в выборе симпатий и антипатий. В отличие от Корберона ему повезло в России. Шевалье был фактически выслан, а граф реализовал все свои политические и коммерческие начинания и даже вошел в кружок близких друзей императрицы. Записки человека, потерпевшего фиаско, и того, кто с удовольствием вспоминает былое, — разный источник.

«Дворяне, хотя и подчинены неограниченной власти, — писал о положении благородного сословия Сегюр, — но пользуются по своему положению и уважению к ним общества гораздо большим значением, чем во всех прочих, даже конституционных странах Европы. Екатерина дала дворянству право выборов, и каждая губерния выбирает своих предводителей и судей. Все военные и гражданские должности находятся в их руках»<sup>132</sup>.

Казанова, видевший русских вельмож за двадцать лет до Сегюра, застал их куда менее образованными и даже внешне лишенными того лоска, о котором говорил граф. Благодаря вкусам новой императрицы тогда в обществе только-только распространялась мода на сочинения философов-просветителей. Еще вчера крамольные книги одобрялись свыше, и потому все, желавшие не отстать от времени, кинулись читать короля мудрецов — Вольтера. «В то время, — вспоминал венецианец, — образованные русские, военные и статские, знали, читали, славили одного Вольтера и полагали, прочтя всё сочиненное им, что стали столь же умными, как их апостол; я убеждал их, что надобно читать книги, из коих Вольтер черпал премудрость, и, быть может, они узнают больше него. “Не приведи Господь, — сказал мне в Риме один мудрец, — оспаривать человека, который прочел всего одну книгу”. Таковы были русские в те времена, но мне сказали, и я верю, что нынче они поосновательнее будут»<sup>133</sup>.

Действительно, за два десятилетия многое изменилось. Изысканные манеры и стиль поведения прививались главным образом путем общения русской аристократии с приезжими. В годы Французской революции поток эмигрантов благородного происхождения существенно сгладил шероховатости, которые еще оставались в поведении русских великосветских персон. Именно тогда в дворянских семьях вместо учителей-кондитеров появились по-настоящему хорошие преподаватели и гувернеры, потерявшие места на родине.

«Иностранцы принимаются в России с самым внимательным гостеприимством, — утверждал Сегюр. — Никогда я не забуду приема не только любезного, но и радушного, сделанного мне блестящим петербургским обществом. В короткое время знакомство с истинно достойными людьми и с любезными дамами заставило меня забыть, что я у них чужой»<sup>134</sup>. Конечно, официальному лицу легче было добиться признания и требовать уважения. Но мнение посла подтверждала Виже-Лебрён: «Прием, который я встретила в России, неизменно вознаграждал меня за случавшиеся при дворе мелкие дразги. Я просто не нахожу слов для того, чтобы передать, с какой готовностью и горячим благожелательством относятся в этой стране к иностранцам, особенно ежели обладают сии последние каким-то талантом»<sup>135</sup>.

Художнице тоже повезло в России, ей было за что благодарить страну, где после скитаний по Европе она, по ее словам, обрела «второе отечество». Виже-Лебрён жила своим трудом, кисть проложила ей дорогу в самые высокие слои французского общества и дала состояние. Революция отняла и положение, и средства. Прибыв в Петербург, женщина — далеко не юная и с ребенком на руках — начала второе восхождение. Оно было столь же триумфально. Художница провела в России семь лет. Уехать ее вынудила болезнь рук: из-за холодного климата начали распухать суставы пальцев и возникла угроза, что она больше не сможет держать кисть.

«Ни августейшие особы, ни все другие, выказывавшие мне столько лестного внимания, так и не узнали, с

какой печалью уезжала я из Санкт-Петербурга. При переезде российской границы у меня полились слезы, я чуть ли не хотела уже повернуться назад и давала себе клятву вновь возвратиться... Но рассчитывала я, забыв о силе судьбы, ибо никогда уже не довелось мне вновь увидеть сию страну, каковую и до сего времени почитаю своим вторым отечеством»<sup>136</sup>.

Как непохожи эти слова на восторг, запечатленный в письмах сестер Вильмот при отплытии из Петербурга. К каждому Россия поворачивалась особой стороной. Что было главным? Успех? Заработок? Прием общества?

Последний, конечно, играл немаловажную роль. Еще один почитатель России — Димсдейл — реализовал здесь заветную мечту каждого врача. Этот почтенный лондонский доктор с именем и солидной практикой, отец многочисленного семейства, отправился на край света, — побуждаемый не столько посулами, сколько чувством долга, — чтобы положить основу вакцинации целого народа. Его отблагодарили по-царски. Димсдейл стал бароном Российской империи, получил чин действительного статского советника и был назначен лейб-медиком императрицы с пожизненным пенсионом в 500 фунтов стерлингов, которые выплачивались ему в Англии.

Но не ко всем иностранцам относились подобным образом. Корберон описал один случай — не столько оскорбительный, сколько комичный: «В среду был придворный бал. Кто-то распустил слух, что де Вассе — прекрасный танцор. Граф Иван Чернышев сейчас же сообщил об этом императрице, и г-на де Вассе заставили, точно на сцене, протанцевать менуэт, кадрили и аллеман. Тебе слишком хорошо знакома эта мелочная и завистливая нация, чтобы ты с твоей наблюдательностью не догадался, что было дальше. Русские следили с большим вниманием за танцами, чтоб иметь возможность потом критиковать. Когда де Вассе выполнил свою задачу, Чернышев обратился к императрице с вопросом, не найдет ли она любопытным провести сравнение между грацией русских и французов; с этой целью заставили показать свое искусство графа Миниха,

который действительно прекрасно танцует... Миних начал танцевать, и превозносивший его Чернышев, так же, как и все его приверженцы, не переставал повторять вслух: «Вот что называется хорошо танцевать». Юный победитель, сияя славою, заметил окружающим его дамам: «Я отомстил за честь России». Встречал ли ты где, друг мой, подобную дерзость и самодовольство? Не думаю, ведь ты не живешь в стране дикарей»<sup>137</sup>.

Вероятно, поверенный был лишен чувства юмора, раз воспринял слова танцора да и весь поединок всерьез. Но вот что любопытно, сама Екатерина II признавала, что при ее дворе к приезжим относятся с немалой долей предубеждения. «Тот, кто успевал в России, — говорила она, — мог быть уверен в успехе во всей Европе. Нигде, как в России, нет таких мастеров подмечать слабости, смешные стороны или недостатки иностранца; можно быть уверенным, что ему ничего не спустят, потому что, естественно, всякий русский в глубине души не любит ни одного иностранца»<sup>138</sup>. Проявлением именно этого чувства была описанная сцена. А ответом на недоброжелательность хозяев становились колкие, порой злые отзывы о стране.

«В целом русские очень привлекательны, — признавалась Марта Вильмот, — речь идет только о низших классах. Что же касается высших, то я решительно предпочитаю наших островитян. Поведение здешней знати пронизано раболепием. Они думают о себе, что прекрасно воспитаны. Не знаю, может быть, мой идеал хорошо воспитанного и вежливого человека слишком высок, только большинство людей не подходят к этой мерке»<sup>139</sup>.

Откуда такая разница в ощущениях? Мы уже говорили, что сестры Вильмот и Виже-Лебрён посетили одно и то же общество примерно в одни и те же годы. Может быть, к ним отнеслись по-разному? Британские путешественницы хотели предстать леди в кругу московского дворянства, настоять на равенстве. Их не приняли за своих. И, возможно, не слишком вежливо дали это понять. «Что касается манер (в особенности манер молодых женщин), то они самые грубые, вульгарные и невежественные, — с раздражением писала Кэтрин. —

Разговаривая с молодыми англичанами, с которыми мы познакомились этой зимой в Москве, я спросила их об общем впечатлении, и их мнение почти полностью совпало с моим. К тому же они заметили, что молодые люди ни на йоту не лучше женщин<sup>140</sup>. В замечаниях Вильмот много уязвленного самолюбия. Есть и задетая женская гордость.

Ни по происхождению, ни по состоянию ирландские гости Дашковой не могли тягаться с аристократками. Но самое обидное, им намеренно давали почувствовать, что они хуже образованы. Вот характерное признание Марты: «Постоянное смешение французского языка с русским мешает мне получать удовольствие от половины ведущихся разговоров... Многие иностранцы жалуются на то, что не могут понять до конца содержание беседы, ибо, когда они проявляют интерес к разговору, собеседники вдруг с французского переходят на другой язык (большинство хорошо образованных людей говорят на любом из пяти). Жаль, что весь мир не беседует на одном языке»<sup>141</sup>.

Отсюда, из затронутого самоуважения, рождались хлесткие выпады, вроде тех, что у Кэтрин поколениями цитируют исследователи: «Я рассматриваю каждого дворянина как железное звено массивной цепи, опутывающей это государство. Встречаясь с представителями знати в Москве, я постоянно помнила, что они являются порождением системы деспотизма... Чувство, естественно возникающее в человеке, всегда уступает место официальному, и степень уважения той или другой персоны может быть легко вычислена по придворному календарю»<sup>142</sup>. Сестры-ирландки, конечно, не были внесены в придворный календарь и не находились в милости у сильных мира сего. Но всегда легче оправдывать отсутствие «естественно возникающих» человеческих чувств недостатком собственного социального статуса.

Куда труднее объяснить их своим внутренним несопадением с чужой культурой. «Я думаю, со времен Тома Тамба не было более бездарных попыток сочинительства, как здесь, — насмеялась Кэтрин. — Двенадцать месяцев я умирала от желания прочесть

книги этой страны, и, наконец, мне дали одну, настолько знаменитую, что она была переведена на все языки, но я уверяю, что автор самого дешевого романа, от которого тает сердце портного, — Шекспир по сравнению с тем, которого я прочла»<sup>143</sup>. Единственным общенациональным «бестселлером» в то время была «Бедная Лиза» Н. М. Карамзина, вышедшая в 1792 году и переведенная на европейские языки. Возможно, в английском переводе прелесть карамзинской прозы была потеряна. А возможно, в глазу у мисс Вильмот застрял тот самый осколок андерсеновского зеркала, разбитого троллями, который заставлял видеть вещи искаженными.

«Да! Я знаю, что... Петербург европейский город, — обращалась она к подруге Анне Четвуд, — но случилось ли тебе видеть невежественную, неуклюжую и шумную девочку в чудесной парижской шляпке? Эта империя напоминает мне такого ребенка»<sup>144</sup>. Последние строки написаны незадолго до столкновения России с Наполеоном.

### *Англофилия и франкофония*

В жизни культур бывают разные периоды: иногда преобладает тяга к традиции, иногда — наоборот, стремление преобразиться путем знакомства с достижениями других народов. Теоретически каждая культура способна к внутренней регуляции, то есть сама чувствует, когда ей защищать наследственные ценности, а когда искать новые. Реальность намного драматичнее — попытка сохранить самобытность может привести к изоляции и, как следствие, остановке развития. А безудержная модернизация — к потере собственного лица. Движение вперед — всегда риск.

На протяжении всего XVIII века Россия была открыта для воздействия европейской цивилизации. Самоизменение шло порой болезненно, но начиная с 30-х годов XVIII столетия осознавалось образованным классом как насущная необходимость. Двигаясь по пути модернизации, общество всегда выбирает ориентиры — своеобразные эталоны для подражания. Обычно

это наиболее сильные страны, чье превосходство в области культуры, политики или военного дела очевидно. В Европе эпохи Просвещения таких было две — Франция и Англия — самые могущественные державы тогдашнего мира. Неудивительно, что Россия, испытав в начале столетия влияние Голландии, Германии, Швеции, постепенно обнаружила две главные точки притяжения для своей менявшейся культуры. Две мании, занявшие воображение дворянства, два политических вектора симпатий и антипатий на международной арене.

Если во внешней политике Россия и Франция долгие годы оставались врагами, то на культурном поле дело выглядело совсем иначе. Влияние французского языка, литературы, философии, бытовых вкусов было колоссальным. С другой стороны, с Англией петербургский кабинет сближали коммерческий интерес, а иногда и политические выгоды. Отсюда двойственность в отношении к ведущим европейским нациям: Россия безусловно являлась полем, занятым французской культурой, но императрица, правительство, влиятельные придворные круги и некоторые дальновидные представители русского просвещения горячо симпатизировали достижениям Англии и считали сближение с ней предпочтительным.

Эту двойственность хорошо заметил Сегюр, когда писал о начале своего пребывания в Петербурге: «Так как министры знали нерасположение (Екатерины II. — О. Е.) к французскому двору... то были всегда скорее готовы вредить нам, нежели услужить. Общество также отчасти следовало их примеру. Однако в Петербурге было довольно лиц, особенно дам, которые предпочитали французов другим иностранцам и желали сближения России с Францией»<sup>145</sup>.

Симпатии Екатерины II оставались безусловно на стороне динамично развивавшейся Великобритании, к этому подталкивали реальные выгоды торговли. В течение первой половины столетия английская сторона сделалась основным покупателем русского чугуна, леса, парусины, пеньки, канатов, холста и других товаров. Недаром Потемкин в беседах с Сегюром говорил, что



британская коммерция тянет за собой рост русского производства, поскольку постоянно увеличивает спрос. В таких условиях две экономики тесно срастались и увеличение контактов было неизбежно.

Именно с 60-х годов XVIII века, то есть с начала екатерининского царствования, русские путешественники, представители разных слоев общества и разных профессий, стали в большом числе попадать в Англию, совершая ознакомительные, учебные, торговые поездки. Прежде такая практика не поощрялась. Правительство Елизаветы Петровны косо смотрело на выезд русских за рубеж — считалось, что, попав в Европу, подданные разбегутся. Новая монархиня в известном смысле слова открыла границы, призвав в «Наказе» «сделать Отечество наше для нас любезным». Тогда не только свои не покинут родину, но и из чужих земель «волонтеры» найдутся.

Императрица субсидировала молодых русских пансионеров, отправлявшихся в Англию изучать земледелие и коммерцию или слушать лекции в Оксфорде, и поддерживала практику Академии наук, Академии художеств и других государственных учреждений, посылавших в Великобританию своих стажеров. Примеру монархини следовали богатые вельможи: Орловы, Потемкин, Воронцовы, Чернышевы, Куракины на свои средства снаряжали пансионеров для получения образования в Англии. Вместе с тем Екатерина смотрела на англичан трезво, без флера восторженности, свойственного, например, ее подруге княгине Дашковой. Для императрицы британец — «всегда торговец». Она прекрасно понимала, как географическое положение страны влияло на мореплавание и коммерцию. Провозглашая себя сторонницей идеи «естественных союзников», царица никогда не забывала, что «естественный» — это в первую очередь экономический<sup>146</sup>.

Между сановниками, предпочитавшими англичан или французов, порой случались неприятные стычки. Их поводы вовсе не были праздными — под прикрытием споров о вкусах решались вопросы коммерческих предпочтений. Многие вельможи считали опасным нарушение долголетних, надежных связей с Англией и

обрушивались на французское доминирование в культуре. Другие возражали им, видя во влиянии галлов благодетельное воздействие на Россию. Корберон описал одно такое столкновение: «Государыня с презрением относится ко всему французскому, и, само собой разумеется, все разделяют ее мнение»<sup>147</sup>. «Очень странно, что знаменитая Екатерина II, так воспеваемая в Европе, подвержена подобным слабостям: Париж ее заботит, ей не нравится, если туда путешествуют, и восторг, вызываемый этим городом, оскорбляет ее. Князь Орлов вполне согласен с нею; он нас не любит и недавно на придворном обеде он утверждал, что ему смешно, что в России говорят по-французски и изучают этот язык, на что князь Щербатов, передавший мне это, заметил, что не мешает быть благодарну своей кормилице»<sup>148</sup>.

Влияние двух названных культур вовсе не было равным и проявлялось очень по-разному. Быть русским французом значило быть, как все. Англоманом — выделяться на общем фоне. Если галльский эталон господствовал главным образом в вопросах моды и быта, то британцам подражали из политических симпатий к парламентскому строю или, идеализируя нравственные принципы сыновей туманного Альбиона. Целому ряду образованных дворян моральный облик британцев, почерпнутый из книг, нравился куда больше, чем расхожий французский тип, так часто встречаемый ими у себя на родине. «Было время, когда я, почти не видев англичан, восхищался ими и воображал Англию самую приятнейшей для сердца моего землею, — писал о впечатлениях своей молодости Н. М. Карамзин. — ...Мне казалось, что быть храбрым есть... быть англичанином, великодушным — тоже, чувствительным — тоже; истинным человеком — тоже. Романы, если не ошибаюсь, были главным основанием такого мнения»<sup>149</sup>.

Подобные умозрительные заключения, разбиравшиеся при первой встрече с реальностью, показывают, что англичан в благородных кругах знали мало. И, возможно, именно потому идеализировали. Куда проще было ругать живых французов, которые встречались на каждом шагу и давно утратили ореол романтизма. «Думая об отношении москвичей (впрочем, видимо,

вообще русских) к англичанам и французам, я сделала вывод, что они с предубеждением относятся к британцам в отличие от галлов, — рассуждала Кэтрин Вильмот. — К примеру, все, что подано к обеду не от повара-француза, отвергается; если ребенок воспитывается не у французца, то он считается неловким и неуклюжим; любое платье не из Парижа неэлегантно и т. д. ...Вообще английскую нацию уважают, но ее обычаи неизвестны, по-английски почти не говорят, английские моды не любят, а отдельных людей критикуют. Есть несколько англичан-путешественников, которых здесь обожают, но они пользуются любовью за то, что несвойственно британцам — умелое вальсирование, владение немецким и русским языками... и нещадное восхваление всего русского, несмотря на то, что сами русские преклоняются перед французами! Я убеждена, что лет через двадцать русское общество офранцузится благодаря романам, парикмахерам, репетиторам, аббатам, поварам и галантерейщикам»<sup>150</sup>.

Вероятно, молодая ирландка была бы удивлена, если бы узнала, что мода на британское пришла в Россию не из Англии, как того следовало ожидать, а из Франции. Она была возбуждена в русских читателях оппозиционной просветительской литературой, то есть опять же стала отражением французского влияния. К началу царствования Екатерины II в самой Франции и на немецких землях англофилия приобрела характер мании. В книгах Вольтера, Монтескье, Дидро, Руссо, Прево звучало восхищение британскими политическими установлениями, проповедовался согласный с разумом и сердцем образ жизни англичан. В Европе была заново открыта драматургия Шекспира, образованные слои зачитывались стихами Попа и Томсона. Романы Ричардсона заняли почетное место на книжных полках столичных особняков и в библиотеках сельских барышень.

К концу века в столице работало 28 британских торговых домов, лавки вели бойкую торговлю в центре города, а британская колония перевалила за полторы тысячи человек. В таких условиях трудно говорить, что англичан совсем уж не знали. Но их число сильно усту-

пало французам. Даже Корберон с презрением бросал о своих соотечественниках, что их «здесь хоть пруд пруди»<sup>151</sup>. «Как саранча иногда кишмя кишит на чьих-нибудь полях, так Россия наводнена французами, — с возмущением писала Марта Вильмот. — ...Болтовней и лестью французы выуживают капиталец из карманов тех, кои позволяют, чтобы их одурачивали, и последние вполне заслуживают этого из-за слепого преклонения перед магическим словом “Париж!”»<sup>152</sup>.

Ирландские гости Дашковой не смущались своей франкофобии. И это не случайно. В течение всей эпохи Просвещения французская культура совершала успешную экспансию на страны континентальной Европы. Английская, напротив, защищалась от яркой и навязчивой соседки. Отстаивание национальных ценностей в быту или в литературе было важным вопросом для патриотически настроенных британцев. «Дом, милый дом» оставался для них идеалом, в какой бы уголок земли ни занесла судьба. Один из обитателей английской колонии на берегах Невы вполне серьезно писал: «Постоянно живущие в Санкт-Петербурге англичане — преимущественно купцы, они получают и тратят много денег и живут точно так же, как их соотечественники на родине. Дома обосновавшихся здесь британцев дают полное представление об английском образе жизни. Обстановка, пища, хозяйство — все английское, вплоть до огня в очаге. Даже уголь англичанин привозит из дому — а ведь дров здесь предостаточно»<sup>153</sup>.

При таких настроениях вовсе не случайно, что, действуя в России, английские дипломаты обычно поддерживали ту придворную группировку, которая имела наиболее ярко выраженное национальное лицо — например, партию братьев Орловых против пропрусской партии Н. И. Панина. Не случайно и то, что, начав с пламенной англофилии, княгиня Дашкова превратилась с годами в горячую патриотку России, много способствовавшую развитию родного языка изданием «Словаря Академии наук». Это был деятельный патриотизм по английскому образцу, так сказать, культурное клише, перенесенное на русскую почву. Но что еще курьезнее, у него была французская начинка, ведь прооб-

разом знаменитого «Словаря» послужил аналогичный труд, изданный Французской академией. Так что британское и галльское влияния существовали в России неразрывно, как бы порой ни хотелось их противопоставить.

«Высший свет во всем пытается подражать французам, — продолжала свои сетования Кэтрин. — ...Это похоже на обезьянничанье. И везде слышна французская речь!.. Это настоящее забвение самих себя»<sup>154</sup>. За «забвение самих себя» благородное сословие упрекали не только иностранные критики, но и отечественные патриотические писатели. Главными обвинениями были язык и воспитание, безоговорочно перенятые у французов. Но вот о чем обычно забывается при обсуждении этого вопроса: к началу экспансии французской культуры на континентальных соседей Англия уже имела свою, развитую традицию европейского уровня. Россия приступила к модернизации, оставив за спиной особый цивилизационный путь Московского царства, использование культурных кодов которого в новых условиях не давало нужного эффекта. Сокровища старой традиции более чем на век оказались запечатанными и невостребованными.

Нация намеренно посадила себя на школьную скамью, а сделать это, не отложив старые книги, было невозможно. Новые же были написаны на чужих языках. Существенное отличие образования два века назад от современного состояло в том, что иностранные языки не являлись одним из предметов, равных другим, например истории, математике, географии и т. д. Они представляли собой как бы первую ступень образования в целом. Не освоив их, невозможно было двигаться дальше. Отечественных преподавателей не хватало, а приглашенные иностранцы знакомили учеников с предметом на немецком, итальянском или французском языках. Большинство учебников, трудов по специальности, научной и беллетристической литературы было написано *не по-русски*.

Волей-неволей приходилось изучать четыре-пять чужих языков. Но у этого процесса была и обратная сторона. К 80-м годам XVIII века, когда планка дворян-

ского образования стала действительно высокой, русский дворянин думал и изъяснялся на французском легче и охотнее, чем на родном. «Мой отец, как и почти все образованные люди его времени, говорил более по-французски, — вспоминал князь П. А. Вяземский. — ...Жуковский говорил мне, что он всегда удивлялся скорости, ловкости и меткости, с которыми в разговоре отец мой переводил на русскую речь мысли и обороты, которые, видимо, слагались в голове его на французском языке»<sup>155</sup>.

Большинству дворян подчас было трудно выразить чувства и мысли, так гладко звучащие на языке Мольера, языком протопопа Аввакума. Да и сами эти размышления были совсем иного свойства, чем принятые в старой словесности. Правительство Екатерины II понимало создавшуюся угрозу потери лингвистической идентичности. Об этом свидетельствует инициатива императрицы по созданию Академии русского языка для печатания «Словаря», который помог бы ввести в речевой оборот максимально большее число русских слов и научить правильно пользоваться ими. Эта идея работала на будущее, недаром вклад «Словаря» оценил Пушкин, а не современники.

Только к 30-м годам XIX века ситуация выровнялась. Появилась целая плеяда литераторов, показавших обществу, как можно употреблять богатства родной речи для выражения самых сложных мыслей и чувств. До Н. М. Карамзина и А. С. Пушкина русская словесность оставалась уделом немногих. После них попробовать говорить на родном языке захотел каждый образованный человек. Появились предписания правительства пользоваться русским языком в учебных заведениях и при дворе.

Полагаем, мисс Вильмот было бы приятно оказаться в России в кругу людей, перенявших британские манеры. Так же как Виже-Лебрён была в восторге от того, что обхождение петербургского высшего света не отличается от парижского. Позднее английский тон часто признавали хорошим, но так было не всегда. В XVIII веке европейцы из разных стран сознательно отдавали предпочтение французским манерам. Вот отзыв поль-

ского короля Станислава Августа Понятовского, еще юношей, в 1753 году, посетившего Великобританию:

«Я был искренне расположен к англичанам, уважал и любил их... но расположение это не мешало мне замечать и порядочно такого в их миропонимании, что не совпадало с моим... Повсюду в других странах люди гордятся обычно, когда им удастся хорошо воспитать свое потомство, здесь же, как мне показалось, никто не считает это делом чести, а само воспитание — понятие, совершенно не принимаемое во внимание в английских школах, куда детей отдают на полный пансион. Кажется, розги, одни только розги, употребляемые с неограниченной щедростью, вершат там всё...

Взрослые далеки от стремления привить детям нечто, повсюду в других странах называемое манерами. Ученик английского колледжа не здороваётся ни с кем, не встает ни перед кем, не пытается угодить кому бы то ни было. В домах их родителей подростков можно застать и в десять часов вечера, и в полночь — расслаживающимися по диванам гостиных, за столами среди гостей; они преспокойно укладывают ноги на колени иностранцу и не снисходят до ответа, когда их о чем-нибудь спрашивают, а отец с матерью только замечают покровительственно:

— Ну, настоящий неотесанный школяр...

Многие англичане считают, что, формируя молодежь по рецептам хорошего тона, принятым в других странах, можно лишить детей свободы волеизъявления, что привело бы к невосполнимой для их характеров потере оригинальности...

...И вот молодые англичане уезжают, имея за душой... твердую уверенность в том, что все английское — правительство, земля, нравы, вкусы — лучшее в мире. Заранее относясь снисходительно к странам, которые они собираются посетить, юноши бывают поражены, выяснив, что повсюду, куда они прибывают, на них смотрят как на своего рода дикарей, не умеющих ни прилично поздороваться, ни войти или выйти из комнаты, не знающих толком никакого языка, кроме английского — ведь они презирают эти проклятые французские упражнения, — и что они превращаются, таким образом, в обузу для тех, к кому они приезжают, и, соответственно, для самих себя тоже.

Обладая, как большинство англичан, умом и гордостью, молодые люди болезненнее, чем кто-либо, ощущают подобное унижение»<sup>156</sup>. Не правда ли, после такого комментария нравственные проблемы сестер Вильмот становятся понятнее? Показаны они без снисхождения, но довольно точно, если смотреть со стороны принимающего общества. Вот зарисовка, демонстрирующая, насколько по-разному могут пониматься хорошие манеры. «Однажды вечером, когда весь свет отправляется на бульвары, — писала Марта, — я взяла Фемиду (собачку. — О. Е.) и ради моциона пошла с нею на пруды... Стоило мне сесть на скамейку, как на нее обрушились две дамы, снедаемые страстным желанием увериться в том, что я и есть... та самая Изумительная Английская Леди, которую так любит княгиня Дашкова. Крутом было великое множество свободных скамеек, так что это была очевидная дерзость с их стороны — уйти со своего места и подсесть ко мне. Поэтому я поднялась и, не обращая никакого внимания на плачевные звуки ломаного английского языка, которые эти дамы издавали, удалилась в сопровождении собаки»<sup>157</sup>.

Кто же в приведенном случае проявил большую бестактность? Любопытные московские кумушки или гостя, не снизошедшая до пары слов, кивка, улыбки? Видимо, такая модель поведения не нравилась и перенимать ее не стремились. Во французском духе была бы оживленная беседа на бульваре. Высокомерие и замкнутость не соответствовали строю тогдашней русской культуры, обращенной вовне. Выбирая французские манеры и французский язык, представитель благородного сословия выбирал конвертируемую валюту. Поехав в любую европейскую страну, он чувствовал уверенность, что будет понят и не покажется смешным.

### *«Я готовился в кондиторы»*

По легенде, отправляясь в Великое посольство в 1697 году, молодой Петр I заказал себе кольцо с надписью: «Я ученик и ищу учителей». С тех пор за век европеизационных преобразований изменилось очень



многое. Но острая потребность в иностранных специалистах — учителях в самом широком смысле слова — не только не уменьшилась, напротив, она возрастала по мере того, как Россия все больше втягивалась в общеевропейский политический, хозяйственный и торговый оборот. Создалась любопытная ситуация: сколько бы профессионалов ни выпускали собственно русские учебные заведения, их число не успевало покрывать растущих нужд страны. Квалифицированные кадры из-за границы находили применение во всех сферах жизни, от дипломатии и политической журналистики до садово-парковой архитектуры и разведки недр.

Однако по мере того, как русское общество обвыкалось со множеством приезжих и училось не чураться их, пропадал прежний пиетет. Европейец переставал восприниматься как *учитель жизни* и превращался просто в платного специалиста. Дальнейшие отношения с ним не в последнюю очередь зависели от личных качеств и умения примениться к русской среде. Чем больше становилось желающих предложить свои услуги в России, тем разборчивее и капризнее делался наниматель.

Порой правительство просто не реагировало на «выгодные прожекты», которыми его забрасывали предприимчивые путешественники. Казанова вспоминал: «Я писал о различных материях, чтоб попытаться поступить на государственную службу, и представлял свои сочинения на суд императрице, но усилия мои были тщетны. В России уважительно относятся только к тем, кого нарочно пригласили. Тех, кто прибыл по своей охоте, ни во что не ставят. Может, они и правы»<sup>158</sup>.

Приехавших в Петербург и Москву на поиски счастья было так много, что они подчас конкурировали друг с другом, стараясь при случае потопить земляка и занять его место. Виже-Лебрён с горечью признавала: «Здесь нередко замечаешь одно печальное явление, заключающееся в том, что за границей только французы способны вредить соотечественникам своим, не брезгуя для сего даже клеветой»<sup>159</sup>.

Объясняя желание французов отправляться в Россию на работу, Корберон писал: «Меня нисколько не удивляет пристрастие, с которым относятся к этой

стране наши неимущие соотечественники и соотечественницы. Причины его надо искать в быстром обогащении и безнаказанности преступлений, что для многих является большою приманкою. Такие громадные состояния обычны в государствах, где, как в этом, не существует определенного и последовательного образа правления. Легко приобретаемые, они подвержены превратностям судьбы; здесь часто встречаются семьи, которые из полного довольства упали в бездну нищеты и невежества. Иностранцы устраиваются умнее; набив карман, они умеют вовремя остановиться. Они любят Россию только за те богатства, которые могут здесь приобрести»<sup>160</sup>. А какой еще побудительный стимул мог быть у переселенцев?

Изобилие выходцев из третьего сословия, прибывших в Россию, чтобы обслуживать местную знать, порождало пренебрежительное отношение к ним и не гарантировало от деспотических эксцессов. Сегюр поведал историю повара-француза, по ошибке выпоротого в доме одного из столичных вельмож. «Раз утром торопливо прибегает ко мне какой-то человек, смущенный, взволнованный страхом, страданием и гневом, с растрепанными волосами, с глазами красными и в слезах», — писал дипломат. Оказалось, что несчастный пришел наниматься поваром, но чуть только некто граф Б. услышал о его приходе, как без дальних разговоров приказал отсчитать просителю сто плетей.

«— Вы с ума сошли, — возразил Сегюр, — невозможно, чтобы человек такой почтенный, образованный и всеми уважаемый, как граф Б., позволил себе такое обращение с французом». В доказательство повар готов был продемонстрировать свою спину. Посол решил требовать удовлетворения. «Я действительно тотчас написал графу Б. о странной жалобе повара, — рассказывал дипломат, — и между прочим заметил, что хоть я и не верю всему этому, однако обязан оказать защиту моему французу и прошу его объяснить мне это странное дело». Прошло два часа, посол не получал ответа и уже начал терять терпение, «как вдруг опять явился повар, но в совершенно другом настроении: он был спокоен, улыбался и смотрел весело...

— ...Мне уж больше не на что жаловаться, я доволен, совершенно доволен».

Такая перемена покорила Сегюра:

«— Как, разве уже следы ваших ста ударов исчезли?

— Нет, они еще на моей спине и очень заметны, но их очень хорошо залечили и меня совершенно успокоили. Мне все объяснили; вот как было дело: у графа Б. был крепостной повар, родом из его вотчины; несколько дней тому назад он бежал и, говорят, обокрал его. Его сиятельство приказал отыскать его и, как только приведут, высечь. В это-то самое время я явился, чтобы проситься на его место. Когда меня ввели в кабинет графа, он сидел за своим столом, спиной к двери, и был очень занят. Меня ввел лакей и сказал графу: «Ваше сиятельство, вот повар». Граф, не оборачиваясь, тотчас отвечал: «Свести его на двор и дать ему сто ударов!» Лакей тотчас запирает дверь, тащит меня на двор и с помощью своих товарищей, как я уже вам говорил, отсчитывает на спине бедного французского повара удары, назначенные беглому русскому. Его сиятельство сожалеет обо мне, сам объяснил мне эту ошибку и потом подарил мне вот этот кошелек с золотом.

Я отпустил этого бедняка, но не мог не заметить, что он слишком легко утешился после побоев»<sup>161</sup>.

Между тем бедные пирожники и модистки, приехавшие в Россию на заработки, не могли позволить себе благородное негодование и принуждены были терпеть обидное обращение. Многие видели возможность подняться, предлагая свои услуги в качестве педагогов. Неважно, кем эти люди были в своем отечестве — кондитерами или брადобрями, — здесь их нанимали учителями как носителей языка, столь необходимого образованному русскому дворянину. Казанова вспоминал о своем слуге, привезенном им в Россию: «Рядом с кучером сидел лакей-француз, который предложил прислуживать мне до Петербурга даром, прося только дозволения ехать на облучке... Я вновь встретил его в Петербурге спустя три месяца — он сидел в ливрее рядом со мной за столом у графа Чернышева, будучи учителем молодого графа, сидевшего рядом с ним»<sup>162</sup>.

Тот факт, что педагогами в дворянские семьи нанимались бывшие лакеи, буфетчики, сапожники *et cetera*, сыграл с учителями-иностранцами дурную шутку: их привыкли воспринимать как прислугу и не церемониться. Даже ссылки на благородное происхождение не принимались всерьез: в России часто приезжие авантюристы присваивали себе несуществующие титулы. Марта Вильмот поведала в письме на родину историю одной такой дамы: «Баронессе Прайзер волею несчастных обстоятельств пришлось служить гувернанткой в двух или трех семьях. Только что она отказалась в одной из них от места из-за плохого обращения и из-за отвратительного поведения хозяев, чему ей приходилось быть свидетельницей... В первый же день, как приехала баронесса, хозяин дома, к ее ужасу, позвал горничную и развлекался тем, что приказал этой женщине ловить на нем блох, которых по воскресеньям ищут друг у друга в голове нищие ирландские дети, и эта картина часто потом повторялась. Баронессу считали капризной, потому что в подобных случаях она спешила уйти в свою комнату»<sup>163</sup>.

Корреспондентка не сомневалась в истинности титула пострадавшей. Бедность и отсутствие покровительства делали баронессу совершенно беззащитной перед нанимателями. Упомянутый выше повар вполне мог через годок занять место гувернера и, в очередной раз вызвав неудовольствие добрейшего графа Б., получить сто плетей. Вспомним разговор Дубровского с месье Дефоржем на постоялом дворе. Узнав, что учитель-француз едет к Троекурову, молодой разбойник спрашивает:

«— Кто такой этот Троекуров?

— ...я слышал о нем мало доброго. Сказывают, что он барин гордый и своенравный... что с учителями он не церемонится и уже двух засек до смерти.

— Помилуйте! и вы решились определиться к такому чудовищу.

— Что же делать, господин офицер. Он предлагает мне хорошее жалованье, три тысячи рублей в год и все готовое... У меня старушка мать, половину жалованья буду отправлять ей на пропитание, из остальных денег

в пять лет могу скопить маленький капитал... и тогда *bonsoir*, еду в Париж и пускаюсь в коммерческие обороты... Надобно вам знать, что я готовился было не в учителя, а в кондиторы, но мне сказали, что в вашей земле звание учительское не в пример выгоднее».

Мечтам далеко не всех Дефоржей суждено было осуществиться. Некоторые новоявленные педагоги оставляли свои места из-за дурного обращения, не понимая, почему наниматели ставят знак равенства между ними и слугами, едва ли не крепостными. Мисс Вильмот записала прямо-таки детективный сюжет: «Одна знатная дама, отличавшаяся на редкость вкрадчивыми манерами, наняла недавно жену английского врача, которая из-за разлада в семье рассталась с мужем, гувернанткой к детям. Они вместе отправились в один провинциальный город, где муж дамы был губернатором. Несколько дней все были очень любезны, но по прошествии некоторого времени, когда миссис Т. распаковала свои сундуки и одолжила даме чуть не половину своего гардероба, все маски были сброшены. С той минуты всё переменилось: теперь к ней относились столь же презрительно и дерзко, сколь ранее доброжелательно и с уважением...

Комната была сырая, в ней постоянно толклись слуги, ей не позволяли гулять... кормили плохо и т. д. Короче, все это вынудило миссис Т. вскоре сказать даме, что более она не может оставаться в их доме. Над ней посмеялись и сказали, что уехать ей будет довольно трудно, так как без разрешения губернатора никто не может покинуть город, а разрешение это она едва ли когда-нибудь получит. Между тем здоровье миссис Т. так расстроилось, что у нее открылся туберкулез, и она начала кашлять кровью, но ей невозможно было ни получить, ни отправить письма, то есть она стала самой настоящей пленницей».

Однажды миссис Т. улучила момент, вылезла из окна и добралась до соседнего города, где у нее жил друг, к которому беглянка и направилась. «Не успела она толком рассказать ему свою историю, как появилась губернаторская коляска, чтобы увезти ее назад. Миссис Т. воспротивилась, но ее друг, англичанин, хорошо зная,

что такое власти, посоветовал ей подчиниться, пообещав послать письмо, которое она привезла, в Москву и добиться ее освобождения». Через несколько дней приехал чиновник из Москвы с повелением «высших сановников Петербурга» не удерживать иностранку против ее воли. «Губернатор и его жена после нескольких стычек и попытки запугать миссис Т., чтобы та все держала в тайне, переменили тон, и жена губернатора выразила надежду, что они расстанутся друзьями»<sup>104</sup>.

Приведенная история вызывает много вопросов. Где было дело? Почему знатная дама нуждалась в «половине гардероба» скромной докторши? Как за «несколько дней» можно доставить жалобу из провинции в Москву, получить ответ из самого Петербурга и вернуться назад? Кроме того, губернатор не давал разрешение на выезд из города, это не входило в его служебные обязанности... Однако подобными слухами запугивали друг друга приезжие иностранцы, и, надо признать, почва для них была.

У русской стороны имелись свои страхи. Среди сонма хлынувших в Россию ловцов удачи на каждые десять честных работяг приходилась пара авантюристов — вымогателей и лжецов с поддельными документами, мнимых аристократов, профессиональных шулеров, объявленных в розыск на родине. Казанова колесил по всей Европе, будучи беглым заключенным из венецианской тюрьмы. Миранда выполнял разведывательные поручения лондонского кабинета, в то время как его преследовало собственное испанское правительство за участие в революционной деятельности. Упоминавшийся нами выше шевалье Д'Эон вошел во все работы по международным отношениям середины XVIII века не столько как дипломат, сколько как удачливый мистификатор, творец фальшивого завещания Петра Великого, кавалер в юбке, «менявший» пол по заказу. Все они в определенный момент своей жизни выбирали арену деятельности Россию.

Недаром Сегюр обвинял русское общество в излишней доверчивости к разного рода проходимцам. «Правда, что тогда в Россию приезжало множество не-

годных французов, развратных женщин, искателей приключений, камер-юнгфер, лакеев, которые ловким обращением и умением изъясняться скрывали свое звание и невежество, — вспоминал посол. — Но этому не было виною наше правительство. Все эти люди никем не были покровительствуемы, не имели никаких бумаг... Скорее можно было винить самих русских, потому что они с непонятною беспечностью принимали к себе в дома и даже доверяли свои дела людям, за способности и честность которых никто не ручался... Иногда обман открывался и таких господ выгоняли, сажали в тюрьму или ссылали».

Некий плут назвался графом де Вернелем, выдал себя за путешествующего богача и в подтверждение, вместо солидных бумаг, предоставил «только какие-то неважные письма, будто бы писанные к нему какими-то немецкими или польскими дамами. Он хорошо говорил, был недурен собою, забавен, мило пел и играл и потому... втерся в лучшее петербургское общество». Однако вскоре в домах, где бывал мнимый граф Вернель, стало пропадать столовое серебро. Гости «стали подозревать, о нем стали поговаривать, наконец, на него донесли, хотели его схватить, но он скрылся». Беглеца почти настигли на польской границе, где лже-Вернель устроил скандал, поскольку местный губернатор медлил его принять. Рассерженный чиновник распорядился выслать незнакомца в Польшу. «Не прошло трех часов, как курьер из Петербурга привез повеление захватить мошенника»<sup>165</sup>.

Подобные истории не были редкостью. Они воспитывали чувство настороженности к приезжим. Если Сегюр писал о беспечности, то Марта Вильмот отмечала, что «недоверчивость» — отличительное качество русских. В данном случае противоречие только кажущееся: одно обуславливало другое. Чрезмерное простодушие сначала — обман — горький опыт и стремление дуть на воду, обжегшись на молоке. У представителей столичного света выработалась устойчивая модель поведения: приезжий должен показать рекомендательные письма от уважаемых лиц. Но даже их ручательство не гарантировало любезного приема.

В мемуарах графини Варвары Головиной описан характерный случай. В 1788 году она отправилась из Петербурга к мужу на театр военных действий в Молдавии. На почтовой станции под Витебском ее нагнал молодой французский волонтер граф Луи Александр Андро де Ланжерон, который передал ей письмо от матери. «Я видела его в Петербурге у графа Кобенция и у герцогини Нассауской», — писала Варвара Николаевна. Заметим, «видела» не значит «была представлена». Формальное знакомство между попутчиками еще не состоялось. Это и определило весь дальнейший стиль поведения дамы. «Поблагодарив его, я опять уселась за стол и принялась за бульон, который он пожирал глазами, но который я поспешно доела, чтобы показать ему, что я не намерена делиться с ним, вовсе не желаю его общества и что он может уходить».

На первый взгляд графиня поступает невежливо. Не о таких ли манерах писали сестры Вильмот, находя русских дам плохо воспитанными? Однако барьер между фрейлиной и безвестным волонтером был по тем временам существен, а обед в обществе молодого мужчины — не вполне приличен. Позднее в Шклове Ланжерон вновь нагнал Головину и уже повел себя как старый знакомый. Молодая женщина и здесь не дала ему шанса: «Как только я вошла во двор почтовой станции... вдруг около моей кареты показались граф Ланжерон и... граф Цукато, оба в папильотках и халатах, рассыпаясь в извинениях за свой смешной наряд... Чтобы избавиться от их общества, я отправилась дожидаться лошадей в находившийся в глубине двора дом, где никого не было».

В Могилеве преследование продолжалось: Головина получила от Ланжерона послание в стихах и «очень почтительное письмо», за которое выговорила ему: «Никогда хорошо написанные стихи не были так дурно приняты, как ваши». Может показаться, что волонтер решил поухаживать за графиней, а та держалась строго, защищая свою добродетель. Но на деле ситуация куда прозаичнее: «Он принял сокрушенный вид и сказал, вздыхая, что... только что получил известие из Парижа, что его жена была при смерти. Он просил у



меня рекомендательных писем к мужу и к княгине Долгорукой. Я села писать; я рекомендовала его как поэта, как рыцаря, ищущего приключений, ...как чувствительного мужа, оплакивающего агонию своей жены в стихах. Я сложила два письма и передала ему, не запечатав их»<sup>166</sup>.

Подобные отзывы нельзя было принять всерьез, а отсутствие печати лишало послания доверительности — несколько ни к чему не обязывающих слов, не более. По-своему положение волонтера в чужой стране вызывает сочувствие — ему не к кому даже обратиться за рекомендательными письмами, кроме случайной дорожной знакомой. Ланжерон изо всех сил старался держаться светским человеком, на что имел право по происхождению. Но Головина наглядно продемонстрировала, что не считает графа ровней. Французская революция выплеснула за границу сотни роялистов, чьи титулы нечем было обеспечить.

### *«Я здесь похож на дядьку»*

Позднее Ланжерон столкнулся с подобным же отношением к себе со стороны командующего русской армией Г. А. Потемкина. По прибытии никому не известного волонтера светлейший князь не принял его сразу, а продержал некоторое время в приемной. Ситуацию легко объяснить занятостью фельдмаршала. Однако амбициозный молодой человек был настолько оскорблен, что и на склоне лет отмеченный высшими орденами Российской империи бывший генерал-губернатор Крыма болезненно вспоминал пощечину: «Я готов оказывать почтение истинно великим людям... Но торчать в передней выскочки вместе со всеми его окружавшими лакеями мне казалось невыносимым унижением»<sup>167</sup>.

Проблема состояла в разнице ожидаемого и полученного. В завышенных представлениях о самом себе. В настойчивом требовании внимания, уважения, восхищения... А подчас и в претензии на ключевые посты. Такие иностранные волонтеры, как принц де Линь, де Рибас, Нассау-Зиген, Поль Джонс, жаждали занять командные должности в армии и флоте. Перечисленным

лицам повезло, они проявили себя, но ожидание все равно было больше, чем реальный вес и вклад. Собственно русский командный состав не спешил потесниться.

«Я уподобился... Люциферу, низверженному собственной гордостью, то есть мечтал начальствовать над обеими русскими армиями»<sup>168</sup>, — писал Шарль-Жозеф де Линь своему патрону австрийскому императору Иосифу II в самом начале второй Русско-турецкой войны 1787—1791 годов.

Если бы де Линь со своими несбыточными мечтами был один, он показался бы смешон. Но его грезы разделялись многими. Что их вызывало? Иллюзия незаменимости стала устойчивым культурным феноменом в среде иностранных специалистов. Для какой бы службы ни приезжал в Россию европеец, психологически он ощущал себя *учителем* в самом широком смысле слова. И требовал соответствующего отношения. Сложился стереотип своего рода суфлера, наставника-иностранца, действовавшего за спиной того или иного видного русского вельможи или командующего. Без такого расторопного Тартарена его покровитель, как малое дитя, шага ступить не мог.

Этот феномен прекрасно показан в донесениях шевалье Корберона. Имена и фамилии в них перепутаны, но тенденция очевидна. Дипломату «посчастливилось» свести знакомство с неким женеvцем Пиктэ, несколько лет прослужившим у Г. Г. Орлова. Ловкий авантюрист какое-то время выуживал из француза деньги, «выдавая» якобы секретные сведения об императрице, дворе и первых персонах. Характерно, что Корберон верил и даже пытался написать на основании полученной информации политический труд о России.

«Пиктэ оказал услугу России, не знаю точно в какое время, — сообщал дипломат. — Дело шло о привилегиях дворянства, в пользу которых императрица хотела издать указ. Для разрешения этих вопросов был создан комитет, секретарем которого был назначен Теплов. Комитет был не очень сведущ в этом деле, и Теплов представил заманчивый и казавшийся правдоподобным проект, следствием которого было бы управление, как в Польше. Императрицу пленил проект, и уже было

решено приступить к составлению указа. Тем не менее она дала его на рассмотрение Орлову. Пиктэ исполнил эту работу, но Орлов понял опасность проекта и, осведомленный запиской Пиктэ, показал эту записку, полную помарок, императрице, которая быстро смекнула, в чем дело, и склонила Орлова воспротивиться принятию проекта»<sup>169</sup>.

Качество поставляемой информации заметно сразу. Речь идет о проекте Н. И. Панина, с которым тот обратился к Екатерине II сразу после коронации. Согласно написанному им «Манифесту об учреждении Императорского совета и разделении Сената на департаменты» в России создавался высший орган — Императорский совет — из шести несменяемых членов, который служил для «законодания». Без него императрица не могла подписывать указы. Таким образом, в стране возникло бы олигархическое правление. Разделение же Сената на самостоятельные департаменты вело к падению его значения. Из органа, руководившего государственным аппаратом, он превращался в высшее административное и судебное учреждение. Екатерина очень ловко отбила панинский политический мяч: не отвергла проект в целом, а приняла только его вторую часть. В 1763 году Сенат был разделен, а Императорский совет не создан (лишь в 1768 году во время войны с Турцией возник Совет при высочайшем дворе — совещательный орган). Благодаря этой реформе власть монарха только возросла.

Но нам в данный момент важны не очевидные ошибки информатора, а та роль, которую Пиктэ приписывал себе при графе Орлове и даже при императрице. Он один увидел опасность и наставил своих покровителей на путь истинный. Нянька в прямом смысле слова. Любопытно, что де Линь в письмах австрийскому императору Иосифу II именно так определял свое положение при русском главнокомандующем Потемкине: «Я здесь теперь похож на дядьку, только дитя, за которым хожу, уж слишком выросло, укрепилось и сделалось упрямо»<sup>170</sup>.

Вся ложность подобных представлений вскрылась позднее и отозвалась в письмах де Линя большой горе-

чью. Однако под ними был фундамент, заложенный еще в первую Русско-турецкую войну 1768—1774 годов. «Во время войны все морские победы ошибочно приписывались графу Алексею Орлову, — продолжал со слов Пиктэ доносить Корберон, — тогда как ими обязаны английскому капитану Эльфинстону, состоявшему адмиралом на русской службе, человеку, обладавшему неустрашимостью и большими дарованиями. Он сжег, вместе с Алексеем Орловым, турецкий флот в Чесменской гавани и собирался оттуда идти на Константинополь, но ему помешали в исполнении этого намерения»<sup>171</sup>.

Летом 1770 года русская эскадра нанесла неприятелю сокрушительные поражения в Хиосском проливе и Чесменской бухте. Общее командование осуществлял А. Г. Орлов, но непосредственно операциями руководили два старых морских волка адмирал Г. А. Спиридов и капитан-командор С. К. Грейг, последний действительно был англичанином, давно перешедшим на русскую службу. Что касается Джона Эльфинстона, то он вышел из британской службы в 1769 году и тоже в составе Архипелажской экспедиции был направлен из Кронштадта в Средиземное море. Участвовал в Чесменском сражении, но не руководил им. Эльфинстон проявил крайнюю амбициозность, поссорился с Орловым, Спиридовым и Грейгом, был отослан в Петербург и отдан под суд за потерю на скалах линейного корабля, а в следующем, 1771 году уволен в отставку. Ясно, что Пиктэ, выдавая себя за близкого Орловым человека, на деле плохо владел «семейной» информацией. Но в глазах дипломата его признания подтверждали сложившийся стереотип о сером кардинале, заплечном суфлере, необходимом каждому здешнему политику или военачальнику.

Поверить в то, что русские сами на что-то способны, порой не могли и более интеллектуальные, чем Корберон, представители европейской элиты. Иногда это ставило их в смешное положение. Во время путешествия в Крым в 1787 году Екатерина II рассказала Сегюру «историю про Мерсье де ла Ривьера, писателя с замечательным талантом, издавшего в Париже сочине-

ние “О естественном и существенном порядке политических обществ”. Книга эта пользовалась блестящим успехом по соответствию содержащихся в ней мыслей с началами, принятыми экономистами. Так как Екатерина хотела познакомиться с этой политико-экономической системой, то она пригласила нашего публициста в Россию».

Дело было в 1763 году, когда двор находился в Москве на коронационных торжествах, поэтому гостя попросили дожидаться возвращения императрицы в Петербурге. «Господин де ла Ривьер, — рассказывала императрица, — ...по приезде своем немедленно нанял три смежных дома, тотчас же переделал их совершенно и из парадных покоев поделал приемные залы, а из прочих — комнаты для присутствия. Философ вообразил себе, что я призвала его в помощь мне для управления империей и для того, чтобы он сообщил нам свои познания и извлек нас из тьмы невежества. Он над всеми этими комнатами прибил надписи большими буквами: Департамент внутренних дел, Департамент торговли, Департамент юстиции, Департамент финансов, Отделение для сбора податей и пр. Вместе с тем он приглашал многих из жителей столицы, русских и иноземцев, которых ему представляли как людей сведущих, явиться к нему для занятия различных должностей... Я приехала и прекратила эту комедию. Я вывела законодателя из заблуждения. Несколько раз поговорила я с ним о его сочинении, и рассуждения его, признаюсь, мне понравились, потому что он был неглуп, но только честолюбие немного помutilо его разум. Я, как следует, заплатила за все его издержки... Он оставил намерение быть первым министром и уехал довольный как писатель, но несколько пристыженный как философ, которого честолюбие завело слишком далеко».

Через четверть века после этого казуса Екатерина всего лишь подтрунивала над амбициозным писателем. А вот ее письмо к Вольтеру, отправленное по горячим следам, дышит раздражением: «Г. де ла Ривьер приехал к нам законодателем. Он полагал, что мы ходим на четвереньках, и был так любезен, что потрудился при-

ехать из Мартиники, чтобы учить нас ходить на двух ногах». Скрупулезный Сегюр не преминул привести эти строки и напомнить, что де ла Ривьера рекомендовал императрице не кто-нибудь, а Дени Дидро, через двенадцать лет после описанных событий сам пожаловавший в Петербург едва ли не с той же миссией. Недаром рассказ о незадачливом писателе с Мартиники и о философе-просветителе Екатерина соединила в одном разговоре. Сегюр прекрасно понял ее намек.

«Я долго с ним беседовала, — вспоминала она, — но более из любопытства, чем с пользой. Если бы я ему поверила, то пришлось бы преобразовать всю мою империю, уничтожить законодательство, правительство, политику, финансы и заменить их несбыточными мечтами. Однако так как я больше слушала его, чем говорила, то со стороны он показался бы строгим наставником, а я — скромной его ученицею. Он, кажется, сам уверился в этом, потому что, заметив наконец, что в государстве не приступают к преобразованиям по его советам, он с чувством обиженной гордости выразил мне свое удивление. Тогда я ему откровенно сказала: “Г. Дидро, я с большим удовольствием выслушала все, что вам внушил ваш блестящий ум. Но вашими высокими идеями хорошо наполнять книги, действовать же по ним плохо. Составляя планы разных преобразований, вы забываете различие наших положений. Вы трудитесь на бумаге, которая все терпит: она гладка, мягка и не представляет затруднений ни воображению, ни перу вашему, между тем как я, несчастная императрица, тружусь для простых смертных, которые чрезвычайно чувствительны и щекотливы”. Я уверена, что после этого я ему показалась жалка, а ум мой — узким и обыкновенным. Он стал говорить со мною только о литературе, и политика была изгнана из наших бесед»<sup>172</sup>.

Слова произнесены: «строгий наставник» и «скромная ученица». К такой роли стремились философы-просветители, учителя монархов, и в письмах к Екатерине II и в наставлениях Фридриху II. Вольтер, Дидро, Даламбер и многие другие получали щедрое вознаграждение за то, что пропагандировали политику России и прославляли ее императрицу в Европе. Интерес

был обоюдным. Однако пожизненные пансионы, покупки библиотек и единовременные подарки на круглые суммы не могли сами по себе захватить души кумиров поколения. Дружеские отношения с властителями таили огромный соблазн — стать наставниками, педагогами, поводырями, воспитать умы и добиться претворения своих теорий на практике. До определенного момента Россия была любезна философам-просветителям как место возможной реализации их идей. Екатерина II поддерживала подобное представление. Она и сама осознавала себя ученицей французской философии, многие ее политические шаги продиктованы именно просветительскими взглядами. Однако реальная жизнь вносила свои коррективы. «Вы трудитесь на бумаге... я» на шкурах своих подданных.

Крушение иллюзий было болезненным. Трудно смириться с тем, что из положения учителя жизни вы падаете до положения простого собеседника. Еще неприятнее сознавать, что политические теории, которые вы проповедуете, — не более чем предмет для интересного разговора, оторванный от реальности. Несмотря на щедрые дары, Дидро уехал из Петербурга обиженным. Он жаловался на невнимание императрицы, хотя камер-фурьерский журнал показывает, что во время его пребывания при дворе императрица беседовала с ним по часу каждый день — редкая милость при ее занятости. Скорее философ сетовал на равнодушие к его теориям, чем к нему лично. Он осмелился подать Екатерине трактат «О предотвращении политических переворотов в России». Такой труд мог вызвать только улыбку у политика, уже 12 лет на практике занимавшегося этим нелегким делом.

Благодарности от Дидро императрица не дождалась. После возвращения из Петербурга философ категорически не советовал художнику Грёзу принимать приглашение приехать ко двору Екатерины, поскольку у нее «взбалмошная голова» и она может отправить его путешествовать по Сибири<sup>173</sup>.

К концу царствования, обладая громадным опытом управления, Екатерина разочаровалась в кумирах сво-

ей юности. Сегюр видел, как во время путешествия она «везде подробно расспрашивала чиновников, духовных, помещиков и купцов». В завершение разговора о философах государыня сказала: «Гораздо более узнаешь, беседуя с простыми людьми о делах их, чем рассуждая с учеными, которые заражены теориями и из ложного стыда с забавною уверенностью судят о таких вещах, о которых не имеют никаких положительных сведений. Жалки мне эти бедные ученые! Они никогда не смеют сказать: я не знаю, — а слова эти очень просты для нас, невежд».

### *Грезы о Зауре*

Когда в «Капитанской дочке» урядник рапортует капитанше Мироновой, что «капрал Прохоров подрался в бане с Устиньей Негулиной за шайку горячей воды», современный читатель недоумевает: почему эти достойные персонажи оказались в одной парилке? Патриархальность отечественных нравов два столетия назад потрясала многих наблюдателей. Эта простота то воспринималась как проявление нравственной чистоты дикарей, то, напротив, казалась признаком развращенности и выглядела хуже воровства. Особенно поражали бани, общие для мужчин и женщин, и совместные купания в реке.

«Мы совершали прогулки в лодках, — писала Виже-Лебрён о жарком июле 1794 года. — И при сем нам встречалось множество купавшихся попеременно мужчин и женщин. Случалось даже издали видеть молодых людей на лошадях, заезжавших верхом прямо в воду. В любой другой стране подобные непристойности вызвали бы великий скандал; но здесь, где царствует невинность помыслов, все совсем по-другому. Ни у кого нет дурных мыслей, поелику русскому народу присуща первозданная простота. Зимой в семьях все спят вместе на одной печи — муж, жена и дети, а ежели недостает места, то на деревянных скамьях вдоль стен и укрываются одними только овчинами. Славные сии люди сохранили у себя нравы древних патриархов»<sup>174</sup>.



Традиция совместных купаний не уходила в прошлое очень долго не только у простонародья, но и у провинциальных помещиков. Один из знакомых А. С. Пушкина времен ссылки в Михайловском, сын хозяина гостиницы в Опочке Иван Лапин вспоминал приезд поэта вместе с сестрами Осиповыми: «Были на городском валу. Собирали цветы. Кидали в речку шляпы и венки. Купались... Пели хором “Ленок” и “Золото”. Водили хороводы. Купили корзину яблок и кидались ими, как мячиками»<sup>175</sup>.

«Я каждый день купаюсь в реке вместе с красавицей Софьей и Пашенькой, — вспоминала Марта Вильмот, для которой и купание с горничной-то было в новинку. — Почти все русские женщины из простого народа плавают, как рыбы, и Пашенька — тоже. Обычно мы ходим на реку в 8 часов утра»<sup>176</sup>.

Большинство столичных бань было общими. В них имелись парилки для разных полов, но люди спокойно прохаживались, беседовали друг с другом и выходили на улицу. «В Москве, как и в Санкт-Петербурге, весьма распространены паровые бани с отдельными помещениями для мужчин и женщин, а сии последние, помывшись, выбегают до красна распаренные и совершенно голые и катаются по снегу, несмотря на самый жестокий мороз. Именно этому обычаю приписывают крепкое здоровье, свойственное русским»<sup>177</sup>, — вспоминала Виже-Лебрён. Для нее в этой традиции не было ничего непристойного. А вот темпераментный Миранда был откровенно шокирован. Если учесть, что венесуэльца возбуждали даже статуи в парке, то вид множества голых людей поверг его в трепет. В Царском Селе он обозрел мраморную «Бегущую Диану» работы Гудона и не преминул отметить ее «раздвинутые бедра и прекрасные пышные формы»<sup>178</sup>.

В московских же банях путешественник сначала посчитал неприличным совместное купание множества мужчин, а потом узрел главное, ради чего стоило ехать. «Зашли сначала в мужские, где увидели великое множество голых людей, которые плескались в воде безо всякого стеснения. Через дверцу в дощатой перегородке проследовали в женскую часть, где совершенно обнаженные женщины прохаживались, шли

из раздевалки в парилню или на двор, намыливались и т. д. Мы наблюдали за ними более часа, а они как ни в чем не бывало продолжали свои манипуляции, раздвигали ноги, мыли срамные места и так далее. В конце концов, пройдя сквозь толпу голых женщин, из коих ни одна не подумала прикрыться, я вышел на улицу... В этой бане бывает более 2 тысяч посетительниц, главным образом, по субботам, и с каждой берут всего по 2 копейки; однако меня уверяли, что хозяин получает большой доход. Оттуда мы проследовали к реке, чтобы посмотреть на женщин, которые после бани идут купаться. Их было очень много, и они спускались к воде без малейшего стыда. А те, что были на берегу и еще мылись, кричали нам по-русски: «Глядеть гляди, да не подходи!» Мужчины там купаются с женщинами почти попеременно, ибо, если не считать шеста, их в реке ничто не разделяет... В деревнях еще сохраняется обычай купаться вместе мужчинам и женщинам, и нынешняя императрица первой позаботилась о том, чтобы соблюдались приличия и купание было раздельным»<sup>179</sup>.

Действительно, по приказу Екатерины II в старой столице появились раздельные бани, но особой популярностью они не пользовались. Несмотря на культурную травму, Миранда в бани ходить не прекратил. В следующий раз он наблюдал еще более поразительную картину: «Никто из мужчин не удосужился прикрыться в присутствии стольких Ев... Несколько одетых женщин — притом молодых! — ...подходили к мужчинам и разговаривали с ними о каких-то делах, не испытывая ни малейшего смущения, как ни в чем не бывало»<sup>180</sup>.

Не трудно догадаться, что такого дамского угодника, как Казанову, совместные бани очень забавляли. Его познакомила с ними русская любовница, крепостная крестьянка, которую он приобрел у родителей и назвал Заирой. «По субботам я ходил с ней в русские бани, — писал итальянец, — дабы помыться в обществе еще человек сорока мужчин и женщин, вовсе нагих, кои ни на кого не смотрели и считали, что никто на них не смотрит. Подобное бесстыдство проистекало из чистоты нравов. Я дивился, что никто не глядит на Заиру, что ка-

залась мне ожившей статуей Психеи, виденной на вилле Боргезе. Грудь ее еще наливалась, ей было всего тринадцать лет и не было заметно явственных следов созревания. Бела, как снег, а черные волосы еще пущий блеск придавали белизне»<sup>181</sup>.

История любви заезжего итальянца к прелестной пейзажке — одна из самых романтических и простодушных в его мемуарах. Путешествуя в Екатерингоф, неподалеку от дворца Казанова увидел юную крестьянку «поразительной красоты» и указал на нее своему спутнику Зиновьеву. Приметив их, девушка бросилась наутек, вбежала в избу и «забилась в угол, как кролик, боящийся, что его растерзают псы». Зиновьев переговорил с отцом крестьянки и объяснил приезжему, что старик готов отдать дочь в услужение, но требует «сто рублей за ее девство».

«— ...А коли я выложу сто рублей?

— Она будет вам служить и вы будете вольны спать с ней.

— А ежели она не захочет?

— А! Так не бывает. Вы барин — велите ее высечь.

— А какое жалованье ей положить?

— Ни гроша. Кормите, поите, отпускайте в баню по субботам и в церковь по воскресеньям».

Дело быстро сладилось. Старик-крестьянин возблагодарил Николая-угодника за ниспосланную милость и предложил нанимателю подтвердить, что его дочь девственна. «Я чувствовал себя уязвленным, что принужден нанести ей подобный афронт, но Зиновьев ободрил меня, сказав, что ей будет в радость, коль я засвидетельствую перед родителями, что она девка честная. Тогда я сел, поставил ее промеж ног, сунул руку и уверился, что она целая; но правду сказать, я все одно не стал бы изобличать ее»<sup>182</sup>.

Девушка села в карету «как была, в платье из грубого холста и без рубашки». Прибыв в столицу, Казанова четыре дня не выходил из дому, не расставаясь с ней ни на минуту. Потом одел любовницу на французский манер и взялся учить итальянскому. Менее чем через три месяца Заира начала сносно выражаться на языке Данте. «Я получал неизъяснимое удовольствие, когда слы-

шал, как она говорит по-венедиански... Она полюбила меня, затем стала ревновать и однажды чуть не убила... Если б не проклятая ее неотступная ревность да не слепая вера в гадание на картах, я бы никогда с ней не расстался»<sup>183</sup>.

Заира показала деспотичный нрав, иной раз справиться с ее слезами и жалобами на неверность любовник мог, только поколотив девушку: «То было единственное средство уверить ее в любви моей. После побоев она делалась нежной, и любовь скрепляла примирение»<sup>184</sup>. Мимолетный гомосексуальный роман венецианца едва не стоил ему погибели от руки ревнивой возлюбленной. Его избранник, молодой дворянин Лунин, «был любимчиком статс-секретаря Теплова и, умный малый, не только плевал на предрассудки, но и поставил себе за правило добиваться ласками любви и уважения всех порядочных людей... Он решил, что унижит меня, ежели не отнесется ко мне соответственно. Посему он сел за стол рядом со мной и так кокетничал за обедом, что я, право слово, принял его за девицу, одетую парнем.

После обеда... я объявил ему о своих подозрениях, на что он, оскорбившись, тотчас показал, чем превосходит слабый пол... и, решив, что понравился, приступил к решительным действиям, дабы составить свое и мое счастье... Мы с юным россиянином явили друг другу доказательства самой нежной дружбы и поклялись хранить ее вечно».

По возвращении домой Казанова на пороге едва увернулся от пущенной ему в голову бутылки. Заира «в бешенстве бросается оземь, колотится головой об пол... раздражается потоком слез, называет меня предателем и душегубцем. Чтоб уличить меня в преступлении, она показывает мне каре из двадцати пяти карт и читает по ним... все вплоть до моих противоестественных забав»<sup>185</sup>.

После этого случая любовник начал опасаться темперамента своей буйной дикарки. Они вместе путешествовали в Москву и еще некоторое время прожили в Петербурге, но Казанова твердо решил не брать Заиру с собой за границу. «Зиновьев уверял, что, оставив

залог, я мог бы уехать с ней... Я отказался, помыслив о последствиях. Я любил ее и сам бы стал ее рабом», — писал путешественник. После расставания с «любовником всех женщин» Заира перешла к пожилому архитектору Ринальди. «Она видела от него только хорошее и жила у него до самой его смерти»<sup>186</sup>, — заканчивает рассказ Казанова.

Эта история кажется такой бесхитростной и такой реалистичной, что грешно подозревать автора в сочинительстве. Однако американский славист Ларри Вульф в весьма информативной и концептуально новой монографии «Изобретая Восточную Европу» показал, что европейские путешественники, посещая Россию, часто пребывали в плену своих стереотипов, созданных еще дома. Они искали подтверждения им в русской реальности и нередко выдавали за правду фантазии, рождавшиеся в их головах. Нечто подобное произошло и с Сегюром. Посол вспоминал, как во время поездки в Крым в 1787 году он увидел красивую «черкешенку», которая как две капли воды была похожа на его супругу, оставшуюся в Париже. Заметив внимание гостя к девушке, Потемкин сказал, что знает ее хозяина и может уговорить того подарить «черкешенку» французу. Но граф отклонил предложение, говоря, что «подобное проявление чувств к мадам де Сегюр показалось бы ей очень странным». Сюжет покупки молодой привлекательной рабыни для любовных утех — устойчивое клише в записках иностранных путешественников. Разговор с Потемкиным похож на беседу Казановы с Зиновьевым перед приобретением Заиры. «Это сходство показывает, что в основе подобных диалогов лежали стандартные восточноевропейские фантазии XVIII столетия», — пишет Вульф. По его мнению, «вся волнительность восточноевропейских приключений, да и возбуждение читателей были отчасти основаны на самой возможности таких предложений»<sup>187</sup>.

В данном случае Сегюр выдал желаемое за действительное, реализовав на страницах мемуаров свою эротическую грезу, где графиня обращалась в покорную невольницу, готовую выполнять любые прихоти мужа-

хозяина. Однако как человек благородный посол предпочел держать себя в руках и отклонил соблазнительное предложение. Картина из «Тысячи и одной ночи», недаром граф характеризовал всю поездку в Крым как воплощение этой арабской сказки.

Чем оборачивались подобные фантазии для тех, кто пытался реализовать их на деле, показывает история американского корсара Пола Джонса. В начале второй Русско-турецкой войны он был приглашен на русскую службу, но не поладил с Потемкиным, а более с греческой диаспорой в Черноморском флоте, и вынужден был уехать. На обратном пути моряк задержался в Петербурге, чтобы подать жалобу, но императрица приняла его холодно. Окончательно репутацию Джонса подорвал сексуальный скандал: в 1789 году он был обвинен в попытке изнасилования двенадцатилетней молочницы. Девочка выбежала от него с криком на улицу. В показаниях, данных Джонсом русской полиции, задержанный утверждал, что юная куртизанка казалась ему старше, чем была на самом деле, что он только «играл с ней» и что она была не прочь «сделать все, что только мужчина от нее захочет»<sup>188</sup>.

Петербургский свет объявил бойкот бывшему корсару, его нигде не принимали, и только граф Сегюр продолжал посещать замешанного в скандале «героя». Послу Джонс сказал, что девочка сама обратилась к нему с непристойными предложениями и, когда он отчитал ее, бросилась в слезах из дома. Сегюр довел эту «благопристойную» версию до Екатерины II, благодаря чему Джонс избежал военного суда, но был фактически выдворен из России.

Любовные грезы о сексе с малолетней невольницей никак не предполагали полицейского чиновника, возникшего на пороге в самый неподходящий момент. То была реальность — грубая и отдающая уголовщиной.

У подобных историй имелась и обратная сторона. Свободный европеец воображал себя невольником, попавшим в руки к деспотичному русскому барину. Судьба Заиры выворачивалась наизнанку — юная иностранка оказывалась во власти хитрого дикаря.

«Мария Филисите Ле Риш, — рассказывал Сегюр, — девушка молодая, хорошенькая и с сердцем, приехала в Россию вместе с отцом, которого молодой русский барин вызвал для управления своей фабрикой. Предприятие это не удалось, и разоренный старик не в состоянии был содержать себя и дочь. Мария была влюблена в молодого работника, но вместе с тем она возбудила сильную страсть в русском офицере, помещике, у которого служил ее отец. Этот господин, стремясь к удовлетворению своих желаний, легко склонил отца Марии отказать бедному ее жениху и вместе с тем сказал старику, что одна из его родственниц желает иметь при себе молодую девушку и что это место было бы выгодно для его дочери. Несчастный отец принял с благодарностью его предложение. Мария, разлученная со своим женихом, отправилась в Петербург, где была помещена под присмотр хитрой старухи в маленькой квартире; здесь она имела все необходимое, кроме свободы, покровительства, на которое она надеялась, и возможности видаться и переписываться со своим женихом. Мария была в поре надежд, терпела и положила на будущее. Но скоро разразилось над ней горе. Ложный ее благодетель приезжает, сбрасывает с себя личину притворства и является низким соблазнителем. Она противится ему с двойною силою любви и добродетели... Похититель обманывает ее ложною вестью о смерти ее жениха. Она впадает в отчаяние и меланхолию. Ее преследователь пользуется ее беспомощным положением, с неистовством довершает свое преступление и потом бессовестно бросает ее. Несчастливая изнемогает и теряет рассудок; добрые соседи сжалились над ней и поместили ее в больницу. Два года спустя после этого происшествия я видел эту несчастную жертву преступления и любви... С недвижным взором, с рукой на сердце, она стояла в том же самом оцепенении и безмолвии, как в ту минуту, когда узнала о смерти своего милого»<sup>189</sup>.

Сразу бросается в глаза нарочитая сентиментальность повествования. Оно точно сошло со страниц Ричардсона. В истории Марии Ле Риш сплетено два сюжета популярных произведений того времени — романа

Сэмюэля Ричардсона «Кларисса» и оперы Н. М. Далеярака «Нина, или Сумасшедшая от любви», до слез трогавших публику.

«Кларисса Гарлоу, или История молодой леди» была написана в 1747—1748 годах. В книге добродетельная девушка попадает в ловушку, подстроенную ей блестящим кавалером и покорителем дамских сердец Ловласом. Он увозит ее из родительского дома и обманом поселяет в борделе, который Кларисса принимает за меблированные комнаты, а служащих там девиц за родственниц Ловласа. Героиня оказывается в положении пленницы, но храбро противостоит домогательствам соблазнителя. Тогда он решается на последний шаг и насильно овладевает незащищенной леди. Не вынеся позора, Кларисса умирает.

Сюжет оперы столь же трогателен. «Нина» не сходилась с французской сцены в течение целого столетия. Ее премьера состоялась в мае 1786 года в «Комеди Итальянн» в Париже и вскоре была повторена в Петербурге. Главная героиня влюблена в молодого человека, браку с которым противится ее отец. Он приготовил дочери богатого жениха. Соперники вступают в поединок, избранник Нины гибнет. Девушка так поражена известием, что сходит с ума. Не желая верить смерти возлюбленного, Нина ходит смотреть на дорогу и ожидает его возвращения...

Зная литературно-музыкальную подоплеку истории Марии Ле Риш, трудно поверить в ее реальность. Однако описанные Сегюром и Казановой грезы еще очень безобидны. О том, как далеко могли заходить сексуальные фантазии, повествует памфлет Шарля Массона. В отличие от Сегюра он считал, что дамы в России — самая необразованная часть общества, они кровожаднее и гораздо невежественнее мужчин. В подтверждение своих слов автор рассказывает о некоей княгине Козловской, «олицетворявшей в себе понятие о всевозможных неистовствах и гнусностях»: «Видали, как она в припадках бешеного исступления заставляет служанок привязывать к столбу одного из своих слуг, совершенно обнаженного, и натравливает собак грызть несчастного; или же приказывает женщинам сечь его,



причем зачастую вырывает у них розги и сама бичует истязуемого по самым чувствительным частям тела ...соединяя, таким образом, чудовищное наслаждение зверской жестокости с затеями необузданного бесстыдства... В таком же вкусе изобретались муки для подвластных женщин... Свирепая госпожа заставляла класть трепещущие груди на холодную мраморную доску стола и собственноручно с зверским наслаждением секла эти нежные части тела. Я сам видел одну из подобных мучениц, которую она... вдобавок еще изуродовала: вложив пальцы в рот, она разорвала ей губы до ушей»<sup>190</sup>.

Читатель впадет в заблуждение, если посчитает, что приведенная омерзительная картина посвящена крепостной действительности. История Массона — о сексе. Или вернее о той его грани, которая сегодня обозначается понятием «садизм». В голове задерживаются только «трепещущие груди» невольниц на мраморной столешнице. Обыватель времен Французской революции, для которого писал Массон, жаждал рассказов о насилии и убийствах — тогда были раскованы самые низменные вкусы публики. Напомним, что сочинение Массона — не мемуары, а памфлет. Его задача — создать образ врага: народ, у которого в ходу такие зверства, не заслуживал ни малейшего снисхождения. Образ барыни-изуверки создан на основе историй про Салтычиху, преступления которой к концу столетия выглядели очень давними и не могли зажечь публику.

В реальности дела обстояли куда проще. О чем и поведал простодушный Миранда. «По моей просьбе кучер привел хорошенькую девушку шестнадцати лет, за что я вознаградил его двумя рублями. Провел с нею ночь, и наутро она ушла очень довольная, получив от меня два дуката»<sup>191</sup>, — писал он в одном месте дневника. «Направились к цыганам, которые с величайшим сладострастием исполняли русские танцы, и среди них была одна прелестная девица, которой я предложил поехать со мной домой»<sup>192</sup>, — сказано в другом.

Даже при посещении Новодевичьего монастыря маркиза не оставляли игривые мысли. Настоятельница

дала ему «в провожатые шестнадцатилетнюю девицу, весьма соблазнительную, которая прекрасно говорила по-французски. Та мне призналась, что не чаёт, как выбраться оттуда... Затем взобрались на колокольню, откуда открывались превосходные виды. Наша монашка нас сопровождала, и искушение, сказать по правде, было очень велико»<sup>193</sup>. Качавшиеся на качелях девки также сильно волновали венесуэльца. Красавицы «ничуть не смущались тем, что нам хорошо видны их ноги, а между тем всем им было по пятнадцать и более лет. Таковы нравы»<sup>194</sup>.

После столь возбуждающих картин ничего не оставалось делать, как пойти в «бордель и взять там девку за рубль». Чем, надо полагать, и заканчивались для большинства путешественников все восточноевропейские грезы.

### *Благородный дикарь*

Часто случалось, что в основу восприятия чужой страны и чужого народа ложились не только реальные впечатления, но и политические теории, философские концепции, культурологические схемы, утвердившиеся в европейском обществе. Одной из таких идей, оказавших колоссальное влияние на восприятие России да и всего пространства к востоку от Старой Европы, стали представления о «благородном дикаре», или естественном человеке, популярные в просветительской литературе. Ей отдали дань Вольтер, Руссо, Дидро и десятки менее значимых авторов, так называемых «ездовых лошадей Просвещения», тиражировавших и развозивших по всему свету наиболее ходовые представления.

Согласно построениям Руссо цивилизация ломает естественного человека, до того жившего в первозданной простоте и гармонии с природой. Дикарь по натуре честен, благороден, добр, щедр и простодушен. Но стоит ему вкушать плодов современной культуры, как она начинает развращать его душу. Он теряет нравственные преимущества и становится собственной про-

тивоположностью. Доброму дикарю противостоит не цивилизованный человек, а злой, жестокий варвар: тот, кто считает себя культурным, прочитав пару книг, но на деле остается грубым и невежественным. Если прежде его грубость была проявлением простоты нравов, то теперь — это извращенная хитрость, употребляемая на то, чтобы погубить истинных сыновей цивилизации...

Подобные представления породили многие стойкие фобии европейского сознания. Например, страх дальнейшей модернизации России и Турции. Недаром Сегюр предупреждал Потемкина: «Главнейший союзник ваш, император австрийский... сказал, что хотя он и не забудет страха, какой навели на Вену турецкие чалмы, но он стал бы еще более опасаться, если бы имел в соседстве войска в киверах и шляпах»<sup>195</sup>. Русские войска как раз и были таким соседством киверов и шляп в отличие от турецких, еще наряженных в чалмы.

Россия оставалась бы безопасной, если бы вся была погружена в тот зачарованный сон, в котором, по мысли посла, пребывало простонародье. «Их сельские жилища напоминают простоту первобытных нравов... Ничего не может быть однообразнее их жизни и постояннее привычек. Нынешний день у них всегда повторение вчерашнего; ничто не изменяется; даже их женщины, в своей восточной одежде... в праздничные дни надевают покрывало с галунами и повойники с бисером, доставшиеся им по наследству от матушек, и украшение их прабабушек»<sup>196</sup>. Кажется, время остановилось. Сколько бы образованные иностранцы ни читали о прежней русской истории, она продолжала ощущаться ими как некий подготовительный этап: реально земля зажила и задвигалась только после Петра. Благодаря этому субъективному чувству Россия воспринималась как страна очень молодая. На ум приходят откровения Кэтрин Вильмот о девочке в парижской шляпке. «Всегда помнишь, что это государство возникло сто лет тому назад»<sup>197</sup>, — писал Корберон.

Кому-то из наблюдателей образование дикарей казалось делом нужным и благородным. Кому-то неразумным и крайне вредным. Эти представления находили своих поборников и на политической, и на бытовой

почве. Под восхищением сестер Вильмот и Виже-Лебрён русским простонародьем, его добротой, отзывчивостью, гостеприимством лежит не что иное, как стереотип благородного дикаря, впитанный вместе с прочитанной дома литературой.

«По большей части русский народ отличается честностью и мягкостью нравов, — писала художница. — В Санкт-Петербурге и Москве не только не услышишь разговоров о каком-нибудь страшном преступлении, но даже и о самой обыкновенной краже. Поражает такое поведение людей, находящихся в почти варварском состоянии, и многие относят сие на счет сохранившегося до сих пор рабства; однако, по моему разумению, объяснение сего надобно искать в глубокой религиозности русских. Вскоре после прибытия в Петербург я поехала за город к невестке... графа Строганова. Выйдя из кареты, я прошла через калитку в сад и к гостиной на первом этаже, дверь в которую была широко распахнута. Несомненно, войти к графине Строгановой было очень легко... Я была поражена, когда увидела все ее бриллианты на подоконнике, выходявшем в сад и, следовательно, почти на большую дорогу... "Сударыня, — спросила я ее, — вы не боитесь кражи? — Нет, — отвечала она, — вот наилучшая охрана". И она указала на висевшие над витриной образа Пресвятой Девы и святого Николая, покровителя сей страны, перед которыми горела лампадка. Более чем за семь лет пребывания моего в России я постоянно убеждалась в том, что для русских образ Пресвятой Девы, какого-нибудь святого или же присутствие ребенка суть нечто священное»<sup>198</sup>.

Мнение Виже-Лебрён о честности русских укрепил служивший у нее крепостной Петр: «Часто мне присылали банковые билеты, как плату за картины, и если я была занята работой, то клала их на соседний стол, а уходя, постоянно забывала, так что они оставались там по три, а то и по четыре дня»<sup>199</sup>. И слуга не осмеливался к ним прикоснуться. Не стоит сразу упрекать иностранку в восторженной наивности — она лишь поделилась своим опытом. Однако на интерпретацию увиденного повлияла литература.

В письмах Кэтрин Вильмот есть любопытный рассказ о старообрядческом «патриархе», с которым британских гостей познакомила Дашкова. Его образ также подан в духе благородного дикаря: «Добрая княгиня с пониманием отнеслась к нашему желанию *найти русское* в этой стране. И так как купцы и крестьяне все еще сохраняют древние обычаи, она устроила вечер в доме Олега Алексеевича, патриарха секты раскольников. Этот человек родился крепостным Долгоруковых, выкупил свободу за две тысячи фунтов и ныне является одним из богатейших московских купцов... Олегу Алексеевичу 80 лет, и он являет собой превосходную картину здоровой старости: веселый, энергичный, благодушный. Черты его лица прекрасны, он высок, и серебряная борода резко оттеняется старинным русским платьем... Олег Алексеевич провел нас в церкви, моленные дома и богадельни, окружающие его жилище, рассказал про свою веру»<sup>200</sup>.

Удивляет толерантность к старообрядчеству, которую проявила молодая ирландка на фоне презрительного осуждения ею православия в целом. В отзыве, помимо симпатии к свободе вероисповедания, звучит и иная нота: раскольники сохраняют обычаи старины, а значит, ближе к идеалу первоизданной простоты и благородства. Недаром автор замечает об Олеге Алексеевиче: «Он более интересен в обличье сектанта, чем купца». Разложение под напором цивилизации проникало в патриархальную среду. Это огорчало поборников «благородного дикаря».

В русле названной парадигмы выходцы из диких степей или таежных лесов рассматривались как гордые дети природы. Даже превращение в дворовых не могло изменить их свободного нрава. «Вчера мы обедали у господина Киселева, где не было ничего интересного, кроме мальчика-калмычонка, привезенного с китайской границы, — писала Марта. — ...Постоянно оживленное лицо мальчика выражало бесстрашие и полную независимость, а маленькие, как бусинки, блестящие глаза выказывали необычайный ум. Движения его поражали изяществом. Трое детей танцевали вместе, и хотя калмычонку на вид было лет 5—6, а двум дру-

гим по 8—10, ведущим в танце определенно был младший»<sup>201</sup>.

Колоритную зарисовку поведения русского простолюдина в стиле благородного дикаря оставил Димсдейл. «Ребенок, от которого мы имели в виду взять материю, имел ее довольно, — вспоминал врач. — ...Но лишь только я подошел к постели больного ребенка, как... мать дитяти бросилась мне в ноги лбом к земле... она жалобным голосом произносила речи на непонятном мне языке. На лицах всего семейства изображался ужас... Это странное их поведение до крайности меня изумляло, и я попросил моего немецкого друга объяснить мне причину этого отчаяния.

«Вы должны знать, — сказал он, — что в этой стране преобладает мнение, будто материя, взятая от больного, может принести пользу лицу, которому ее прививают, но зато непременно умрет тот, от кого она взята...» Мысль, что на меня смотрят, как на убийцу, так меня поразила, что я содрогнулся и попросил хирурга объяснить этой женщине, что я бы никогда не принял за такое преступное дело... Хирург начал убеждать все это семейство... Я привил оспенную материю от ребенка к пятерым лицам, бывшим со мною...

Возвращаясь домой, я расспрашивал хирурга, почему имели успех его убеждения... Вы не поняли, сказал он мне, того, что говорил муж, человек очень рассудительный... Он обратился к своей жене и сказал ей: «Мой друг, выслушай меня терпеливо. Я тоже бы не согласился пожертвовать своим сыном для пользы кого бы ни было, но ты слышала, они приехали по приказанию ее величества, и, если бы ее величество приказала, чтобы нашему сыну отрубили голову или ноги, что было бы хуже смерти, надобно было бы покориться. Покажем же, как мы послушны, и не станем прекословить воле государыни». Тогда только мать согласилась»<sup>202</sup>.

Здесь и пугливое невежество, и самоотвержение, и покорность воле монарха. По мысли одних авторов, такой терпеливый народ многого может добиться. Недаром Виже-Лебрён в подтверждение своего высокого мнения приводила слова принца де Линя из известно-

го во Франции письма 1 августа 1788 года из-под Очакова: «Я вижу перед собой русских, коим велено стать матросами, музыкантами, инженерами, художниками, артистами, и они становятся ими по единому только желанию повелителя своего. Я вижу, как они поют и пляшут в траншеях по колено в грязи и снегу, под пулями и ядрами. И притом все они ловки, проворны, послушливы»<sup>203</sup>.

Именно это и пугало. Таким выносливым людям не хватало только образования на европейский манер. Не зря тема высших учебных заведений стала дежурной в донесениях чувствительного к русской угрозе Корберона. «Не знаю, не слишком ли многому их учат»<sup>204</sup>, — замечал он о выпускниках Кадетского корпуса. И чтобы уронить юношей во мнении парижского начальства, добавлял, что между ними процветает «сократическая любовь».

«Существует, быть может, лишь один, почти невыполнимый способ вызвать к жизни у этой нации тот зародыш величия, который таится в ее недрах, — рассуждал дипломат, — следовало бы удалить грядущее поколение от настоящего, чтобы уберечь его от язвы, разъедающей последнее. Когда совершилось бы это спасительное удаление и нация вернулась бы к своей первобытной и естественной простоте, тогда два или три последовательных правителя-философа могли бы постепенно довести ее до совершенства, не торопясь, без резких переворотов, без насильственных и противных ее природе приемов. Необходимо также, чтобы эти правители, взятые из самой нации, имели неоспоримые права на занимаемый ими трон, а не убийствами и заточениями достигли его и чтобы власть их, опирающаяся на справедливость, была уважаема и любима теми, кем они будут править»<sup>205</sup>.

Последние строки заключают выпад против Екатерины II — немки, не имевшей права на трон и достигшей власти путем переворота. Обращает на себя внимание не сугубая фантастичность средств, а сам рецепт — русские должны вернуться к золотому веку первозданной дикости. Все достигнутое следует сравнить с землей и начать заново по более верному плану. Пока со-

вершается это великое дело и Россия варится в собственном соку, о ней можно забыть.

Любопытно, что сами образованные русские точно так же смотрели на окрестные народы, видя в простоте их жизни залог первобытного счастья и довольства. Утратив невинность от соприкосновения со знаниями, они готовы были умиляться на жизнь кочевников и таежных охотников. «Мы говорили о диких племенах, населявших отдаленные края империи, — вспоминал Сегюр одну из путевых бесед с императрицей. — «Поток времени еще не коснулся до этих кочующих народов, — сказала государыня. — Они издавна сохраняют первоначальную простоту нравов: живут под шатрами, питаются мясом своих многочисленных стад, подчинены начальникам, которые скорее отцы их, нежели владыки. Можно считать их счастливыми, потому что нужды их ограничены и легко удовлетворимы. Если бы, по прежним намерениям моим, я их образовала, то это, может быть, послужило бы к их развращению. Небольшая дань мехами их не обременяет, потому что они охотятся по привычке и по страсти»»<sup>206</sup>.

В другой раз Екатерина рассказала послу об участии депутатов от инородцев в Уложенной комиссии: «Выборные от самоедов, дикого племени, подали мнение, замечательное своей простодушной откровенностью. «Мы люди простые, — сказали они, — мы проводим жизнь, пася оленей; мы не нуждаемся в Уложении. Установите только законы для наших русских соседей и наших начальников, чтобы они не могли нас притеснять; тогда мы будем довольны, и больше нам ничего не нужно»»<sup>207</sup>. Под этими трогательными картинками тоже лежит представление о благородном дикаре. На деле жизнь первобытных народов была крайне тяжела: они страдали от нападений соседних племен, цинги, притеснений администрации, голода, наконец, когда промысловые животные уходили в другие края. Двести лет назад правительство не имело ни средств, ни способов помочь им. Более того: оно прикрывало себе глаза, едва различая реальные проблемы за пленкой представлений о золотом веке.



Совсем другое отношение вызывали народы, вышедшие из дикости, но не достигшие просвещения. Те, кто, несмотря на древние корни, погряз в варварстве под пятой завоевателей. Здесь вступал в силу стереотип о ленивом варваре и жадном правителе, на восточный манер, разорявшем своих подданных. Незадолго до заключения Георгиевского трактата 1783 года один из русских офицеров капитан Языков живописал в донесении положение грузинского крестьянства: «До вступления нашего корпуса редкий мужик имел сто копеек, а когда у мужика несколько покажется денег, то ежели не успеет князь его их отнять, то царь отымет. Они, как нарочно, равняют, чтобы все были бедны. Поселяне и жены их платье и рубашку носят до износу, а когда совсем издерут, тогда уже начинают стараться о новой. Я несколько раз видел, что женщина, сидя нагая, моет рубашку и, вымыв ее, опять надевает, а ребятишки многие и нагие бегают»<sup>208</sup>.

Эта зарисовка тем и ценна, что сделана с натуры. Если дикость связана только с бедностью, то победа над ней достижима по мере накопления богатства. Но у любой страны, ставшей на путь европеизации, имелись обычаи и традиции, расставание с которыми больно ударяло по мирозерцанию нации. Именно в екатерининскую эпоху власть впервые с начала XVIII века задумалась о недопустимости раскачивать корабль второстепенными реформами, мало дающими для просвещения, но вызывающими негативную реакцию подданных. Попытки заезжих интеллектуалов подтолкнуть к ним русское правительство встречались неприветливо. Показательна беседа Казановы с Екатериной II о григорианском календаре. Ею мы и закончим наш рассказ о европейских путешественниках.

«— Европа дивится, что старый стиль все еще существует в стране, где государь явный глава церкви и есть Академия наук...

Императрица намеревалась ответить, когда увидела двух дам и велела их подозвать.

— В другой раз я охотно продолжу разговор наш...

Другой раз представился через восемь или десять дней...

— На всех письмах, — сказала она, — что отправляем в чужие страны, на всех законах, могущих для истории интерес представить, мы, подписываясь, ставим две даты...» И далее Екатерина II вывалила на изумленного собеседника массу научных сведений о високосных годах, лунной эпакте, праздновании Пасхи, равноденствии, спорах астрономов и т. п. Сразу становится ясно, что государыня не зря взяла паузу. «Я почувствовал, что она наверняка постаралась исследовать сей предмет, дабы блеснуть передо мной... Г-н Алсуфьев сказал мне... что, возможно, императрица прочла небольшой трактат на сию тему»<sup>209</sup>.

Августейшая собеседница заканчивает оборону предъявлением веера контрпретензий: «Меня уверяли, что в республике вашей новый год начинается первого марта... Не возникает ли тут какой путаницы?.. И гербы в Венеции другие, не соблюдающие вовсе правил геральдики; рисунок на них, говоря начистоту, нельзя почитать гербовым щитом. Да и покровителя вашего, Евангелиста, вы изображаете в престранном обличье, и в пяти латинских словах, с коими вы к нему обращаетесь, есть, как мне сказывали, грамматическая ошибка. Но вы и впрямь не делите двадцать четыре часа, что в сутках, на два раза по двенадцать?.. Вам это кажется удобным, тогда как мне представляется изрядно неудобным»<sup>210</sup>.

Стороны как будто говорят на одном языке, но недопонимают друг друга. «В конце концов, разница в праздновании Пасхи не повреждает общественный порядок, — замечала Екатерина, — не смущает народ, не вынуждает переменять важнейшие законы... Лучше допустить небольшую оплошность, чем нанести подданным моим великую обиду, убавив на одиннадцать дней календарь и тем лишив дней рождения и именин два или три миллиона душ».

Если в беседе с Сегюром о самоедах Екатерина затрагивала вопрос о праве дикаря оставаться диким, коли он счастлив, то диалог с Казановой поднимал куда более серьезную проблему. Это разговор о праве народа двигаться к просвещению и сохранять традиции, в частности религиозные.

Первым слоем русского общества, устремившимся к европейскому образованию, было дворянство. Отношение к благородному сословию России — та лакмусовая бумажка, по которой легко проверить, чего в сущности желает стране тот или иной автор. Ведь путем дворянства пойдут и другие сословия. Во что они превратятся в мире просвещения? Перед ирландскими гостями предстали искаженные образованием варвары — научившиеся трещать на нескольких языках, но оставшиеся грубыми и вульгарными. Виже-Лебрён увидел общество, устремившееся к высотам культуры и многого достигшее на этом пути. С ней соглашался Сегюр, описывавший «огромное государство, которое недавно лишь выступило из мрака и вдруг стало мощно и грозно при первом порыве своем к просвещению»<sup>211</sup>.

«Все-таки русская история XVIII в. и первой трети XIX в. роскошна, упоительна. Упоительна — я не стыжусь этого слова, — писал Василий Васильевич Розанов в 1910 году после посещения выставки русских исторических портретов в Таврическом дворце. — Потом что-то случилось, лица пошли тусклые». Сила эпохи, свежесть ее красок объяснялась философом как внутренний, неуловимый порыв, некое таинство, основанное на личном, почти интимном влиянии живших тогда людей. «Бог с ней с бедностью. Я упивался богатством... Получилось целое воинство русских Паллад, Афин, Диан и, может быть, Афродит... и все эти Потемкины, Орловы, Мамоновы, эти Безбородки и Бецкие, обвеваемые волнами “грудного” эфира, не могли не творить, не кипеть, как в афинской “агоре” или римском сенате... “Тысяча богинь смотрит на нас с небес” (из дворцов): тут Суворов будет побеждать, Потемкин — присоединять Крым, все будут грозить, напрягаться, “выходить из сил”. Нет, ей-ей, тогда бы и я мог что-нибудь»<sup>1</sup>.

Именно это мы хотели сказать об эпохе, приводя тысячи бытовых подробностей, цитируя письма, рассказывая любовные истории или останавливая внимание читателей на необычных отношениях бар и крепостных, не уместающихся в социологические схемы. Предмету нашего повествования нет места на страницах

учебников. Дух Времени. Лицо Эпохи. Вторая половина XVIII века — жизнерадостное, хотя и грубоватое время. Сила, брызжущая через край. Замыслы, простирающиеся до сердцевины мира. Царствование Екатерины II — время *сделанных дел*. Тем оно и мило одним мыслителям. Тем и отталкивает других.

В. Г. Белинский с восхищением и даже завистью смотрел на век Екатерины: «Ее царствование — это эпопея, гигантская и дерзкая по замыслу, обширная и полная по плану, блестящая и великолепная по изложению... Это драма, многосложная и запутанная по завязке, живая и быстрая по ходу действия, пестрая и яркая по разнообразию характеров...

С удивлением и даже с какою-то недоверчивостью смотрим мы на это время, которое так близко к нам, что еще живы некоторые из его представителей; которое так далеко от нас, что мы не можем видеть его ясно без помощи телескопа истории; которое так чудно и дивно в летописях мира, что мы готовы почесть его каким-то баснословным веком... Слух Руси лелеется беспрестанными громами побед и завоеваний... Заводятся школы, переводится все хорошее с европейских языков...

Знаете ли, в чем состоял отличительный характер века Екатерины II, этого светлого момента в русской истории? Мне кажется, в народности. Да — в народности... Уму русскому был дан простор, гений русский начал ходить с развязанными руками, оттого, что великая жена умела соединиться с духом своего народа... Да — чудно, дивно было это время!»<sup>2</sup>

Именно такое ощущение возникает от знакомства с повседневностью екатерининской эпохи. Говоря о культурных процессах, шедших тогда в недрах русского общества, мы неизбежно забежали вперед, в начало XIX века, чтобы показать их результаты; и возвращались в прошлое, к дням Анны и Елизаветы, пытаясь нащупать истоки тех проблем, с которыми приходилось сталкиваться позднее.

Екатерина II как-то высказала мнение, что одно потомство имеет право судить ее: она может показать, какой приняла Россию и какой оставляет после себя. Дей-

ствительно, за три десятилетия страна разительно изменилась. Шагнула вперед в культурном и политическом смысле. Но с течением времени потомкам все труднее оценить эти перемены. Мы привыкли видеть Неву в граните и сознавать, что «без нас в Европе ни одна пушка не выстрелит».

Однако когда императрица вступила на трон, берега каналов были земляными, а петербургский кабинет позволял себе играть роль сателлита — ломовой лошади — в альянсе Австрии и Франции в Семилетней войне. Говоря о 50-х годах XVIII века, княгиня Дашкова замечала, что из светских женщин лишь она да великая княгиня Екатерина занимались серьезным чтением, а многие и вовсе не умели читать. В 90-х годах образованное дворянство говорило на четырех-пяти языках. Виже-Лебрён, попав в Петербург, а Головина в Париж, не почувствовали разницы: круг общения, манеры, обсуждаемые книги — всё было сходным. Русское дворянство существенно изменило свой образ жизни. Но в первую очередь изменилось само.

Что сделало благородное сословие вполне европейским по юридическому статусу и кругу интересов? Образование или получение политических прав? Оба процесса шли рука об руку. Однако экономический фундамент благосостояния оставался прежним — крепостной уклад хозяйства. Назревали серьезные перемены, неизбежность которых Екатерина II понимала и передала своему чаемому преемнику, духовному наследнику Александру I круг нерешенных задач.

Мы оставляем русское дворянское общество буквально на пороге этих перемен — Наполеоновских войн, удавшихся и неудавшихся реформ, глубоких духовных изменений. Вряд ли стоит винить Екатерину II за то, что ее преемники оказались менее решительны и талантливы, а русское дворянство более корыстным и недалеким, чем хотелось бы самой императрице. Изменился Дух Времени. И то, что еще вчера казалось возможным для «отцов», сделалось преданием, чудесной сказкой, по Белинскому, для «детей». До следующей великой эпохи. До нового пробуждения.

## ПРИМЕЧАНИЯ

### Глава первая

#### «ДОБРАЯ ЖЕНЩИНА» И ЕЕ ДВОР

<sup>1</sup> *Виже-Лебрён Э. Л.* Воспоминания г-жи Виже-Лебрён о пребывании ее в Санкт-Петербурге и Москве. 1795—1801. СПб., 2004. С. 10—11.

<sup>2</sup> Русский литературный анекдот конца XVIII — начала XIX века. М., 1990. С. 36.

<sup>3</sup> *Екатерина II.* Сочинения. М., 1990. С. 21.

<sup>4</sup> *Виже-Лебрён Э. Л.* Указ. соч. С. 13—14.

<sup>5</sup> *Сегюр Л, де.* Пять лет при дворе Екатерины II // *Екатерина II и ее окружение.* М., 1996. С. 148—152.

<sup>6</sup> Сб. РИО. 1867. Т. I. С. 258.

<sup>7</sup> *Головина В. Н.* Мемуары // *Россия в мемуарах. История жизни благородной женщины.* М., 1996. С. 99.

<sup>8</sup> *Брикнер А. Г.* История Екатерины Второй. СПб., 1885. Т. II. С. 717.

<sup>9</sup> *Екатерина II.* Обольщенный // *Сочинения Екатерины II.* М., 1990. С. 302.

<sup>10</sup> Сб. РИО. 1868. Т. II. С. 331—333.

<sup>11</sup> *Русская старина.* 1874. Т. X. С. 775.

<sup>12</sup> *Львова Е. Н.* Рассказы, заметки и анекдоты из записок Елизаветы Николаевны Львовой // *Русские мемуары. Избранные страницы. XVIII век.* М., 1988. С. 405.

<sup>13</sup> *Сегюр Л, де.* Пять лет при дворе Екатерины II... С. 186.

<sup>14</sup> *Чичагов П. В.* Записки. М., 2002. С. 20.

<sup>15</sup> *Анисимов Е. В.* Елизавета Петровна. М., 1999. С. 250.

Мода и стиль. Современная энциклопедия. М., 2002. С. 155—156.

<sup>17</sup> *Екатерина II.* Записки. СПб., 1907. С. 122, 178.

<sup>18</sup> *Сегюр Л, де.* Пять лет при дворе Екатерины II... С. 219.

<sup>19</sup> Русский архив. 1909. № 12. С. 431.

<sup>20</sup> Русский архив. 1864. Т. II. С. 750—751.

<sup>21</sup> Этими словами в подлиннике оканчивается записка.

<sup>22</sup> *Янькова Е. П.* Рассказы бабушки. Из воспоминаний пяти поколений, записанные и собранные ее внуком Д. Благово. М., 1989. С. 12.

<sup>23</sup> *Корберон М. Д.* Записки // *Екатерина. Путь к власти.* М., 2003. С. 181.

<sup>24</sup> *Екатерина II.* Записки // *Сочинения Екатерины II.* М., 1990. С. 126—127.

<sup>25</sup> *Энгельгардт Л. Н.* Записки // *Русские мемуары. XVIII век.* М., 1988. С. 245—246.

<sup>26</sup> *Массон Ш.* Секретные записки о России времени царствования Екатерины II и Павла I. М., 1996. С. 153.

<sup>27</sup> *Мадариага И, де.* Россия в эпоху Екатерины Великой. М., 2002. С. 892.

<sup>28</sup> Рассказы, заметки и анекдоты из записок Елизаветы Николаевны Львовой // *Русские мемуары. Избранные страницы. XVIII век.* С. 409.

<sup>29</sup> *Екатерина II.* Записки // *Екатерина II.* Сочинения. М., 1990. С. 22.

<sup>30</sup> *Мардефельд А. фон.* Записка о важнейших персонах при русском дворе // *Лиштенан Ф. Д.* Россия входит в Европу. М., 2000. С. 274—275.

<sup>31</sup> *Финкенштейн К. фон.* Общий отчет о русском дворе. 1748 // *Лиштенан Ф. Д.* Россия входит в Европу. М., 2000. С. 296—297.

<sup>32</sup> *Дашкова Е. Р.* Записки. 1743—1810. Л., 1985. С. 17.

<sup>33</sup> *Анисимов Е. В.* Россия в середине XVIII века // В борьбе за власть. Страницы политической истории России XVIII века. М., 1988. С. 265—266.

<sup>34</sup> *Финкенштейн К. фон.* Указ. соч. С. 296.

<sup>35</sup> *Брикнер А. Г.* Смерть Павла I. СПб., 1890. С. 17.

<sup>36</sup> *Дмитриев М. А.* Мелочи из запаса моей памяти // Русские мемуары. Избранные страницы. XVIII век. С. 437.

<sup>37</sup> *Чичагов П. В.* Указ. соч. С. 22.

<sup>38</sup> Хрестоматия по русской истории. М., 1923. Т. III. С. 287.

<sup>39</sup> Русская старина. 1897. Т. 92. С. 280.

<sup>40</sup> Русская старина. 1877. № 2. С. 247.

<sup>41</sup> Вопросы истории. 1952. № 9. С. 112.

<sup>42</sup> *Виже-Лебрён Э. Л.* Указ. соч. С. 72—73.

<sup>43</sup> Русская старина. 1889. Т. 62. С. 205—206.

<sup>44</sup> Там же. С. 205.

<sup>45</sup> Хрестоматия по русской истории. М., 1923. Т. III. С. 282.

<sup>46</sup> Русский архив. 1874. Кн. I. С. 1305.

<sup>47</sup> Русская старина. 1889. Т. 62. С. 204.

<sup>48</sup> Там же. С. 207.

<sup>49</sup> Хрестоматия по русской истории. М., 1923. Т. III. С. 288.

<sup>50</sup> Русский архив. 1873. № 9. С. 298.

<sup>51</sup> *Виже-Лебрён Э. Л.* Указ. соч. С. 81.

<sup>52</sup> *Лопатин С. В.* Потемкин и Суворов. М., 1992. С. 275.

<sup>53</sup> *Виже-Лебрён Э. Л.* Указ. соч. С. 121.

<sup>54</sup> Там же. С. 47.

<sup>55</sup> *Глинка С. Н.* Записки // Русские мемуары. XVIII век. М., 1988. С. 330, 334.

<sup>56</sup> *Екатерина II.* Сочинения. М., 1990. С. 80—81.

<sup>57</sup> *Головина В. Н.* Мемуары // Россия в мемуарах... С. 167—168.

<sup>58</sup> Там же.

<sup>59</sup> *Строев А. Ф.* «Те, кто поправляет фортуна»: Авантюристы Просвещения. М., 1998. С. 228.

<sup>60</sup> Екатерина Романовна Дашкова. Исследования и материалы. СПб., 1996. С. 39.

<sup>61</sup> Сб. РИО. Т. 140. С. 127.

<sup>62</sup> Хрестоматия по русской истории. М., 1923. Т. III. С. 146.

<sup>63</sup> *Чичагов П. В.* Указ. соч. С. 41.

<sup>64</sup> Там же. С. 52.

<sup>65</sup> *Массон Ш.* Указ. соч. М., 1996. С. 133—136.

<sup>66</sup> *Екатерина II.* Сочинения. М., 1990. С. 15.

<sup>67</sup> Русский архив. 1870. С. 2084.

<sup>68</sup> Подлинные анекдоты Екатерины Великой. М., 1806. С. 14.

<sup>69</sup> Древняя и Новая Россия. 1879. Т. I. С. 68.

<sup>70</sup> *Пыляев М. И.* Старый Петербург. СПб., 1889. С. 186.



- <sup>71</sup> Грибовский А. И. Записки о императрице Екатерине Великой. М., 1989. С. 41.
- <sup>72</sup> Сегюр Л, де. Пять лет при дворе Екатерины II... С. 197—198.
- <sup>73</sup> Энгельгардт Л. Н. Указ. соч. С. 234.
- <sup>74</sup> Гаррис Д. Донесения британскому правительству // Потемкин. От вихмистра до фельдмаршала. СПб., 2002. С. 64—66.
- <sup>75</sup> Лопатин В. С. Указ. соч. С. 115.
- <sup>76</sup> Щербатов М. М. О повреждении нравов в России. Лейпциг, 1876. С. 96.
- <sup>77</sup> Сб. РИО. 1874. Т. XIII. С. 272—275.
- <sup>78</sup> РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. 1. Л. 24. Л. 362.
- <sup>79</sup> Сегюр Л, де. Пять лет при дворе Екатерины II... С. 199.
- <sup>80</sup> Екатерина II. Записки. СПб., 1907. С. 233—234.
- <sup>81</sup> Там же. С. 59.
- <sup>82</sup> Каменский А. Б. «Под сению Екатерины». СПб., 1992. С. 33—34.
- <sup>83</sup> Грибовский А. И. Указ. соч. С. 35.
- <sup>84</sup> Боголюбов В. Н. И. Новиков и его время. М., 1916. С. 54—55.
- <sup>85</sup> Щербатов М. М. Указ. соч. С. 375.

*Глава вторая*  
ДЕНЬ ИМПЕРАТРИЦЫ — ДЕНЬ ДВОРА

- <sup>1</sup> Екатерина II. Записки. СПб., 1906. С. 548.
- <sup>2</sup> Позье И. Записки // Русская старина. 1870. Т. 1. С. 76.
- <sup>3</sup> Анисимов Е. В. Россия в середине XVIII века // В борьбе за власть. Страницы политической истории России XVIII века. М., 1988. С. 204—205.
- <sup>4</sup> Понятовский С. Мемуары. М., 1995. С. 163.
- <sup>5</sup> Андреев М, Эрлихман В. Дворцы Санкт-Петербурга // Российские столицы. Москва и Санкт-Петербург. М., 2001. С. 272—273.
- <sup>6</sup> Энгельгардт Л. Н. Указ. соч. С. 234.
- <sup>7</sup> Грибовский А. М. Записки о императрице Екатерине Великой. М., 1989. С. 23—24.
- <sup>8</sup> Там же. С. 24.
- <sup>9</sup> Сб. РИО. Т. XIII. СПб., 1874. С. 260—261.
- <sup>10</sup> Сегюр Л, де. Пять лет при дворе Екатерины II... С. 183—184.
- <sup>11</sup> Виже-Лебрён Э. Л. Указ. соч. С. 14.
- <sup>12</sup> Сб. РИО. Т. XIII. СПб., 1874. С. 260—261.
- <sup>13</sup> Виже-Лебрён Э. Л. Указ. соч. С. 87—88.
- <sup>14</sup> Рассказы бабушки. С. 24—25.
- <sup>15</sup> Дашкова Е. Р. Записки. Письма сестер М. и К. Вильмот из России. М., 1987. С. 220.
- <sup>16</sup> Екатерина II. Памятник моему самолюбию. М., 2003. С. 152—153.
- <sup>17</sup> Янькова Е. П. Указ. соч. С. 140.
- <sup>18</sup> Сабанеева Е. А. Воспоминания о былом. 1770—1828 гг. // Россия в мемуарах. История жизни благородной женщины. М., 1996. С. 382.
- <sup>19</sup> Лабзина А. Е. Воспоминания // История жизни благородной женщины. Россия в мемуарах. М., 1996. С. 39.
- <sup>20</sup> Там же. С. 17.

- <sup>21</sup> Там же. С. 46.
- <sup>22</sup> *Грибовский А. М.* Указ. соч. С. 25.
- <sup>23</sup> Записки графа А. Р. Воронцова // Русский архив. 1883. Кн. I. С. 231—232.
- <sup>24</sup> *Дашкова Е. Р.* Записки. 1743—1810. Л., 1985. С. 10.
- <sup>25</sup> *Грибовский А. М.* Указ. соч. С. 25—26.
- <sup>26</sup> Сб. РИО. Т. V. С. 132.
- <sup>27</sup> *Екатерина II.* Сочинения. М., 1990. С. 9.
- <sup>28</sup> *Виже-Лебрён Э. Л.* Указ. соч. С. 69.
- <sup>29</sup> РГАДА. Ф. 5. № 85. Ч. 1. Л. 131.
- <sup>30</sup> Там же. Л. 245.
- <sup>31</sup> Там же. Ф. 1. № 54. Л. 89.
- <sup>32</sup> Там же. Ф. 5. № 85. Ч. 1. Л. 361.
- <sup>33</sup> Там же. Л. 313.
- <sup>34</sup> Там же. Л. 382.
- <sup>35</sup> Там же. Л. 367.
- <sup>36</sup> Там же. Л. 410—410 об.
- <sup>37</sup> Кулинарные традиции мира. Современная энциклопедия. М., 2003. С. 155—156.
- <sup>38</sup> Жизнь в свете, дома и при дворе. СПб., 1890. С. 132.
- <sup>39</sup> Мода и стиль. Современная энциклопедия. М., 2002. С. 158.
- <sup>40</sup> *Комелова Г. Н.* Русская миниатюра на эмали. XVIII — начало XIX века. СПб., 1995. С. 153—154.
- <sup>41</sup> *Дашкова Е. Р.* Записки. Письма сестер М. и К. Вильмот из России. М., 1987. С. 275.
- <sup>42</sup> Там же. С. 301.
- <sup>43</sup> *Комелова Г. Н.* Указ. соч. С. 169—178.
- <sup>44</sup> Там же. С. 265.
- <sup>45</sup> *Львова Е. Н.* Рассказы, заметки и анекдоты // Русские мемуары. XVIII век. М., 1988. С. 411.
- <sup>46</sup> *Корберон М. Д.* Указ. соч. С. 152.
- <sup>47</sup> An English Lady at the court of Catherine the Great. The journal of baroness Elizabeth Dimdaile, 1781. Cambridge, 1989.
- <sup>48</sup> *Валишевский К.* Роман одной императрицы. М., 1989. С. 136—137.
- <sup>49</sup> *Экитут С. А.* «Жужу, кудрявая болонка» // Родина. 1999. № 10. С. 48—49.
- <sup>50</sup> Английская классическая эпиграмма. М., 1987. С. 137.
- <sup>51</sup> *Екатерина II.* Записки. СПб., 1907. С. 387—388. *Екатерина II.* Записки // Екатерина II. Сочинения. М., 1990. С. 89.
- <sup>52</sup> *Грибовский А. М.* Указ. соч. С. 25.
- <sup>53</sup> *Бессарабова Н. В. Е. Р.* Дашкова при дворе русских императриц // Е. Р. Дашкова. Портрет в контексте истории. М., 2004. С. 61.
- <sup>54</sup> *Пыляев М. И.* Старый Петербург. М., 1990. С. 188.
- <sup>55</sup> *Грибовский А. М.* Указ. соч. С. 49.
- <sup>56</sup> Сб. РИО. Т. XXIII. С. 440.
- <sup>57</sup> ПСЗ. Т. XVI. № 11868.
- <sup>58</sup> Письма Екатерины II к А. В. Олсуфьеву. 1762—1783. М., 1863. С. 5.
- <sup>59</sup> *Соловьев С. М.* История России с древнейших времен. М., 1965. Т. 25. С. 84.

- <sup>60</sup> *Комиссаренко А. И.* Г. Н. Теплов и секуляризационная реформа 1764 г. // *Сподвижники Великой Екатерины*. М., 1997. С. 50.
- <sup>61</sup> Сб. РИО. Т. VII. С. 75—80.
- <sup>62</sup> *Семека А. В.* Русское масонство в XVIII в. // *Масонство в его прошлом и настоящем*. М., 1991. С. 141.
- <sup>63</sup> Сб. РИО. Т. XIII. СПб., 1874. С. 238.
- <sup>64</sup> Там же. Т. VII. С. 351.
- <sup>65</sup> *Русский биографический словарь*. Т. X. СПб., 1874. С. 63.
- <sup>66</sup> Там же. С. 40.
- <sup>67</sup> *Кислягина Л. Г.* Канцелярия статс-секретарей при Екатерине II // *Государственные учреждения России XVI—XVIII вв.* М., 1991. С. 178—179.
- <sup>68</sup> ПСЗ. Т. XVI. № 11868.
- <sup>69</sup> *Храповицкий А. В.* Памятные записки. М., 1862. С. 49.
- <sup>70</sup> *Державин Г. Р.* Избранная проза. М., 1984. С. 144.
- <sup>71</sup> Сб. РИО. Т. VII. С. 316.
- <sup>72</sup> *Сумароков П. И.* Черты Екатерины Великой. СПб., 1819. С. 10.
- <sup>73</sup> Письма сестер М. и К. Вильмот из России // *Дашкова Е. Р.* Записки. М., 1987. С. 235.
- <sup>74</sup> *Радищев А. Н.* Путешествие из Петербурга в Москву // *Столетие безумно и мудро. Век XVIII*. М., 1986. С. 206.
- <sup>75</sup> *Пыляев М. И.* Старый Петербург. М., 1990. С. 183.
- <sup>76</sup> *Дашкова Е. Р.* Указ. соч. С. 174.
- <sup>77</sup> *Грибовский А. М.* Указ. соч. С. 54.
- <sup>78</sup> *Пыляев М. И.* Указ. соч. С. 192—193.
- <sup>79</sup> *Огаркова Н. А.* Церемонии, празднества, музыка русского двора. СПб., 2004. С. 8—9.
- <sup>80</sup> *Русский архив*. 1911. № 7. С. 322—327.
- <sup>81</sup> *Камер-фурьерский церемониальный журнал 1774 года*. СПб., 1864. С. 103—475.
- <sup>82</sup> *Дашкова Е. Р.* Указ. соч. С. 145.
- <sup>83</sup> *Грибовский А. М.* Указ. соч. С. 30.
- <sup>84</sup> Сб. РИО. Т. XIII. СПб., 1874. С. 266.
- <sup>85</sup> *Виже-Лебрён Э. Л.* Указ. соч. С. 39.
- <sup>86</sup> *Димсдейл Т.* Записки о пребывании в России // *Екатерина. Путь к власти*. М., 2003. С. 72.
- <sup>87</sup> *Грибовский А. М.* Указ. соч. С. 44—45.
- <sup>88</sup> Там же. С. 208.
- <sup>89</sup> Сб. РИО. Т. XIII. СПб., 1874. С. 275.
- <sup>90</sup> *Заичкин И. А., Почкаев И. Н.* Екатерининские орлы. М., 1996. С. 227.
- <sup>91</sup> *Грибовский А. М.* Указ. соч. С. 44.
- <sup>92</sup> *Щербатов М. М.* Указ. соч. С. 375.
- <sup>93</sup> *Былинин В. К., Одесский М. П.* Екатерина II: человек, государственный деятель, писатель // *Екатерина II. Сочинения*. М., 1990. С. 18.
- <sup>94</sup> Сб. РИО. Т. XIII. СПб., 1874. С. 432.
- <sup>95</sup> *Екатерина II. Записки* // *Слово*. 1988. № 8. С. 78—80.
- <sup>96</sup> Там же. С. 80.
- <sup>97</sup> *Гореликова-Голенко Е. Н.* Увлечение Екатерины II и Екатерины Дашковой драгоценными камнями и минералами // *Е. Р. Дашкова и ее современники*. М., 2002. С. 61.

- <sup>98</sup> Сб. РИО. Т. 23. С. 191.
- <sup>99</sup> *Неверов О. Я.* Геммы античного мира. М., 1983. С. 20.
- <sup>100</sup> *Гореликова-Голенко Е. Н.* Указ. соч. С. 65.
- <sup>101</sup> Сб. РИО. Т. 23. С. 329.
- <sup>102</sup> Там же. С. 637.
- <sup>103</sup> *Екатерина II.* Записки. СПб., 1907. С. 719.
- <sup>104</sup> *Гореликова-Голенко Е. Н.* Указ. соч. С. 66.
- <sup>105</sup> Письма сестер М. и К. Вильмот из России. М., 1987. С. 408.
- <sup>106</sup> *Лозинская Л. Я.* Во главе двух академий. М., 1983. С. 70.
- <sup>107</sup> Там же. С. 59.
- <sup>108</sup> Сб. РИО. Т. XIII. СПб., 1874. С. 260—261.
- <sup>109</sup> Цит. по: *Сергеев И. Н.* Царицыно. М., 1995. С. 48—49.
- <sup>110</sup> *Екатерина II.* Сочинения. М., 1990. С. 109—110.
- <sup>111</sup> *Синдаловский Н. А.* Легенды и мифы Санкт-Петербурга. СПб., 2001. С. 71.
- <sup>112</sup> *Пыляев М. И.* Указ. соч. С. 189.
- <sup>113</sup> *Храповицкий А. В.* Памятные записки. М., 1962. С. 20.
- <sup>114</sup> *Дашкова Е. Р.* Записки. Письма сестер М. и К. Вильмот из России. М., 1987. С. 304, 309.
- <sup>115</sup> *Казанова Д.* История моей жизни. М., 1990. С. 581—585.
- <sup>116</sup> Русский архив. 1870. С. 530.
- <sup>117</sup> Камер-фурьерский церемониальный журнал 1776 года. СПб., 1866. С. 251.
- <sup>118</sup> Сб. РИО. Т. XII. СПб., 1873. С. 369—371.
- <sup>119</sup> *Петинова Е.* Фрейлины ее величества. СПб., 2000. С. 20.
- <sup>120</sup> Письма Екатерины II девице Левшиной // *Дашкова Е. Р.* Записки. М., 1990. С. 333.
- <sup>121</sup> *Чернова А.* Эпоха великого арбитра элегантности // *Мода и стиль.* М., 2002. С. 162.
- <sup>122</sup> *Фукс Э.* История нравов. Галантный век. М., 1994. С. 177—178.
- <sup>123</sup> Письма Екатерины II девице Левшиной // *Дашкова Е. Р.* Записки. М., 1990. С. 334.
- <sup>124</sup> Там же. С. 332.
- <sup>125</sup> *Петинова Е.* Указ. соч. С. 17.
- <sup>126</sup> Письма Екатерины II девице Левшиной // *Дашкова Е. Р.* Записки. М., 1990. С. 333.
- <sup>127</sup> *Петинова Е.* Указ. соч. С. 44.
- <sup>128</sup> *Головина В. Н.* Мемуары // *Россия в мемуарах...* С. 95—96.
- <sup>129</sup> *Грибовский А. М.* Указ. соч. С. 31.
- <sup>130</sup> Камер-фурьерский церемониальный журнал 1786 года.
- <sup>131</sup> *Головина В. Н.* Мемуары // *Россия в мемуарах...* С. 93.
- <sup>132</sup> *Пыляев М. И.* Указ. соч. С. 205.
- <sup>133</sup> *Екатерина II.* Памятник моему самолюбию. М., 2003. С. 134—135.
- <sup>134</sup> *Екатерина II.* Сочинения. М., 1990. С. 106—107.
- <sup>135</sup> *Пыляев М. И.* Указ. соч. С. 206.
- <sup>136</sup> *Грибовский А. М.* Указ. соч. С. 32.
- <sup>137</sup> *Брикнер А. Г.* История Екатерины Второй. Т. II. СПб., 1885. С. 706.
- <sup>138</sup> *Валишевский К.* Указ. соч. С. 134.
- <sup>139</sup> *Сегюр Л., де.* Пять лет при дворе Екатерины II... С. 156.

- <sup>140</sup> *Массон Ш.* Указ. соч. М., 1996. С. 73—74.  
<sup>141</sup> *Виже-Лебрён Э. Л.* Указ. соч. С. 70.  
<sup>142</sup> *Лямина Е. Э., Пастернак Е. Е.* О «Записках» Массона // *Массон Ш.* Секретные записки о России. М., 1996. С. 5—10.  
<sup>143</sup> Империя истории. Июль-август. 2001. С. 6.  
<sup>144</sup> *Ганулич А. К.* Семейные традиции московских каруселей // *Екатерина Великая и Москва.* М., 1997. С. 17.  
<sup>145</sup> *Строев А. Ф.* Указ. соч. С. 84.  
<sup>146</sup> *Щербатов М. М.* Указ. соч. С. 345—346.  
<sup>147</sup> *Виже-Лебрён Э. Л.* Указ. соч. С. 30.  
<sup>148</sup> *Грибовский А. М.* Указ. соч. С. 47.  
<sup>149</sup> *Сегюр Л, де.* Пять лет при дворе Екатерины II... С. 214.  
<sup>150</sup> Там же. С. 194.  
<sup>151</sup> Там же. С. 215.

### *Глава третья* ПРАЗДНИКИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

- <sup>1</sup> *Понятовский С. А.* Мемуары. М., 1995. С. 43.  
<sup>2</sup> *Мессельер Г, де ла.* Записки о пребывании его в России с мая 1757 по март 1759 года // *Русский архив.* 1874. Т. I. С. 970.  
<sup>3</sup> *Виже-Лебрён Э. Л.* Указ. соч. С. 38.  
<sup>4</sup> *Воронцов А. Р.* Записки // *Русский архив.* 1883. Кн. I. С. 234.  
<sup>5</sup> *Головина В. Н.* Мемуары // *Россия в мемуарах...* С. 93.  
<sup>6</sup> *Дашкова Е. Р.* Записки. Письма сестер М. и К. Вильмот из России. М., 1987. С. 219—220.  
<sup>7</sup> *Чичагов П. В.* Записки. М., 2002. С. 34.  
<sup>8</sup> Там же. С. 164—165.  
<sup>9</sup> *Петинова Е.* Фрейлины ее величества. СПб., 2000. С. 47.  
<sup>10</sup> Письма Екатерины II девице Левшиной // *Записки княгини Е. Р. Дашковой.* М., 1990. С. 332.  
<sup>11</sup> *Дашкова Е. Р.* Записки. М., 1987. С. 123.  
<sup>12</sup> *Рассказы бабушки. Л., 1989. С. 25.*  
<sup>13</sup> Там же. С. 165.  
<sup>14</sup> *Вигель Ф. Ф.* Записки. Т. I. Ч. I. С. 172—174.  
<sup>15</sup> *Жизнь в свете, дома и при дворе.* СПб., 1890. С. 123.  
<sup>16</sup> *Рассказы бабушки. Л., 1989. С. 164—165.*  
<sup>17</sup> *Дашкова Е. Р.* Записки. Письма сестер М. и К. Вильмот из России. М., 1987. С. 240.  
<sup>18</sup> Там же. С. 270.  
<sup>19</sup> Там же. С. 309.  
<sup>20</sup> *Виже-Лебрён Э. Л.* Указ. соч. С. 106.  
<sup>21</sup> *Огаркова Н. А.* Указ. соч. СПб., 2004. С. 94.  
<sup>22</sup> *Рассказы бабушки. Л., 1989. С. 25.*  
<sup>23</sup> *Лотман Ю. М.* Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII — начало XIX века). СПб., 1996. С. 98.  
<sup>24</sup> *Слово.* 1988. № 8. С. 78.  
<sup>25</sup> *Рассказы бабушки. Л., 1989. С. 155.*

- <sup>26</sup> А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. М., 1974. Т. I. С. 47.
- <sup>27</sup> *Виже-Лебрён Э. Л.* Указ. соч. С. 17.
- <sup>28</sup> *Огаркова Н. А.* Указ. соч. С. 98.
- <sup>29</sup> *Казанова Д.* Указ. соч. С. 553—555.
- <sup>30</sup> *Екатерина II.* Сочинения. М., 1990. С. 114.
- <sup>31</sup> Опубликовано в кн.: *Анисимов Е. В.* Елизавета Петровна. М., 1999.
- <sup>32</sup> Екатерина Романовна Дашкова. Исследования и материалы. СПб., 1996. С. 175.
- <sup>33</sup> Федор Рокотов. Из собрания Государственной Третьяковской галереи. Альбом. Автор-составитель Л. А. Маркина. М., 1986. С. 37.
- <sup>34</sup> Русский архив. 1870. С. 1155.
- <sup>35</sup> *Полушкин Л. П.* Братья Орловы. М., 2003. С. 151.
- <sup>36</sup> *Долгоруков И. М.* Записки. Пг., 1916. С. 228.
- <sup>37</sup> РГАДА. Ф. 1261. Оп. 3. № 972. Л. 2.
- <sup>38</sup> Записки Бернулли // Русский архив. 1902. № 1. С. 16.
- <sup>39</sup> *Долгоруков И. М.* Указ. соч. С. 184.
- <sup>40</sup> *Дашкова Е. Р.* Записки. Письма сестер М. и К. Вильмот из России. М., 1987. С. 249.
- <sup>41</sup> Там же. С. 226.
- <sup>42</sup> *Огаркова Н. А.* Указ. соч. С. 32.
- <sup>43</sup> *Вдовина Л. Н.* Риторика праздника: Москва в дни маскарада «Торжествующая Минерва» // Екатерина Великая и Москва. Тезисы докладов научной конференции. М., 1997. С. 8—9.
- <sup>44</sup> *Карев А. А.* Образ Екатерины II. Парадный портрет и похвальная ода // Екатерина Великая и Москва. Тезисы докладов научной конференции. М., 1997. С. 5—7.
- <sup>45</sup> *Огаркова Н. А.* Указ. соч. С. 50.
- <sup>46</sup> *Виже-Лебрён Э. Л.* Указ. соч. С. 40.
- <sup>47</sup> *Дашкова Е. Р.* Записки. Письма сестер М. и К. Вильмот из России. М., 1987. С. 290.
- <sup>48</sup> *Казанова Д.* Указ. соч. С. 577.
- <sup>49</sup> Там же. С. 574.
- <sup>50</sup> *Виже-Лебрён Э. Л.* Указ. соч. С. 42.
- <sup>51</sup> *Сегюр Л, де.* Записки о пребывании в России в царствование Екатерины II // Россия XVIII в. глазами иностранцев. Л., 1989. С. 328.
- <sup>52</sup> *Виже-Лебрён Э. Л.* Указ. соч. С. 113.
- <sup>53</sup> Рассказы бабушки. Л., 1989. С. 10—11.
- <sup>54</sup> Там же. С. 25—26.
- <sup>55</sup> *Виже-Лебрён Э. Л.* Указ. соч. С. 60.
- <sup>56</sup> Там же. С. 179.
- <sup>57</sup> *Головина В. Н.* Мемуары // Россия в мемуарах... С. 106—107.
- <sup>58</sup> *Дашкова Е. Р.* Записки. Письма сестер М. и К. Вильмот из России. М., 1987. С. 237.
- <sup>59</sup> Там же. С. 239, 243.
- <sup>60</sup> *Мадариага И, де.* Указ. соч. М., 2002. С. 760—768.
- <sup>61</sup> *Дашкова Е. Р.* Записки. Письма сестер М. и К. Вильмот из России. М., 1987. С. 247.
- <sup>62</sup> *Бильбасов В. А.* Исторические монографии. СПб., 1901. Т. 3. С. 244.
- <sup>63</sup> *Мадариага И, де.* Указ. соч. С. 730—731.

- <sup>64</sup> *Радищев А. Н.* Путешествие из Петербурга в Москву // Столетие безумно и мудро. М., 1986. С. 250.
- <sup>65</sup> *Каменский А. Б.* «Под сению Екатерины». СПб., 1992. С. 251.
- <sup>66</sup> *Дашкова Е. Р.* Записки 1743—1810. Л., 1985. С. 80—81.
- <sup>67</sup> *Дашкова Е. Р.* Записки. Письма сестер М. и К. Вильмот из России. М., 1987. С. 277, 273.
- <sup>68</sup> *Фонвизин Д. И.* Собрание сочинений. В 2 т. М.; Л., 1954. Т. II. С. 441, 466.
- <sup>69</sup> *Орлов М. А.* История сношений человека с дьяволом. М., 1992. С. 36—37.
- <sup>70</sup> *Корберон М. Д.* Указ. соч. С. 174.
- <sup>71</sup> *Дашкова Е. Р.* Записки. Письма сестер М. и К. Вильмот из России. М., 1987. С. 250.
- <sup>72</sup> Там же. С. 251.
- <sup>73</sup> *Виже-Лебрён Э. Л.* Указ. соч. С. 18.
- <sup>74</sup> *Казанова Д.* Указ. соч. С. 653.
- <sup>75</sup> *Виже-Лебрён Э. Л.* Указ. соч. С. 18.
- <sup>76</sup> *Дашкова Е. Р.* Записки. Письма сестер М. и К. Вильмот из России. М., 1987. С. 264—265.
- <sup>77</sup> *Полушкин Л. П.* Братья Орловы. М., 2003. С. 100.
- <sup>78</sup> *Казанова Д.* Указ. соч. С. 569.
- <sup>79</sup> *Пыляев М. И.* Старый Петербург. М., 1990. С. 214—215.
- <sup>80</sup> *Ганулич А. К.* Семейные традиции московских каруселей // Екатерина Великая и Москва. М., 1997. С. 17.
- <sup>81</sup> *Ганулич А. К.* Сподвижники Екатерины II на придворной карусели 1766 г. // Сподвижники Великой Екатерины. Тезисы докладов и сообщений конференции. М., 1997. С. 20—23.
- <sup>82</sup> *Комелова Г. Н.* Русская миниатюра на эмали. СПб., 1995. С. 165—168.
- <sup>83</sup> Философическая и политическая переписка Екатерины II с Вольтером с 1763 по 1778. СПб., 1802. Ч. I. С. 39.
- <sup>84</sup> *Виже-Лебрён Э. Л.* Указ. соч. С. 232.
- <sup>85</sup> *Плугин В. А.* Алехан, или Человек со шрамом. Жизнеописание графа Алексея Орлова-Чесменского. М., 1996. С. 162—163.
- <sup>86</sup> *Мадариага И, де.* Указ. соч. С. 513—515.
- <sup>87</sup> *Виже-Лебрён Э. Л.* Указ. соч. С. 67.
- <sup>88</sup> Там же. С. 51—52.
- <sup>89</sup> *Корберон М. Д.* Указ. соч. С. 100.
- <sup>90</sup> *Дашкова Е. Р.* Записки. Письма сестер М. и К. Вильмот из России. М., 1987. С. 244.
- <sup>91</sup> Там же. С. 308.
- <sup>92</sup> Там же. С. 251.
- <sup>93</sup> *Пыляев М. И.* Указ. соч. С. 196.
- <sup>94</sup> *Полушкин П. Л.* Указ. соч. С. 152—153.
- <sup>95</sup> *Плугин В. А.* Указ. соч. С. 171—172.
- <sup>96</sup> Рассказы бабушки. Л., 1989. С. 42—43.
- <sup>97</sup> Там же. С. 159—160.
- <sup>98</sup> *Дашкова Е. Р.* Записки. Письма сестер М. и К. Вильмот из России. М., 1987. С. 279.
- <sup>99</sup> *Корсаков А.* Рассказы Федора Ермолаевича Секретарева // По-темкин. От вахмистра до фельдмаршала. СПб., 2002. С. 50—51.
- <sup>100</sup> *Виже-Лебрён Э. Л.* Указ. соч. С. 18.

- <sup>101</sup> *Дашкова Е. Р.* Записки. Письма сестер М. и К. Вильмот из России. М., 1987. С. 218.
- <sup>102</sup> *Вяземский П.* Старая записная книжка. М.; Л., 1935. С. 85.
- <sup>103</sup> Архив князя Воронцова. Кн. 25. С. 212.
- <sup>104</sup> Там же. Кн. 2. С. 609—610, 617—618.
- <sup>105</sup> *Михневич В. О.* История карточной игры на Руси // Мошенники и шулера XVIII в. СПб., 1992. С. 67.
- <sup>106</sup> Там же. С. 96.
- <sup>107</sup> *Казанова Д.* Указ. соч. С. 557.
- <sup>108</sup> *Державин Г. Р.* Избранная проза. М., 1984. С. 48.
- <sup>109</sup> Там же. С. 50.
- <sup>110</sup> Там же. С. 52.
- <sup>111</sup> РГВИА. Ф. 52. Оп. 1. № 54. Ч. 3. Л. 112.
- <sup>112</sup> *Энгельгардт Л. Н.* Указ. соч. С. 230.
- <sup>113</sup> Там же. С. 229.
- <sup>114</sup> Екатерина II и Г. А. Потемкин. Личная переписка. 1769—1791. М., 1997. С. 675.
- <sup>115</sup> *Лециловская И. И.* Семен Гаврилович Зорич — серб на русской службе // Е. Р. Дашкова. Портрет в контексте истории. М., 2004. С. 153—154.
- <sup>116</sup> *Лабзина А. Е.* Воспоминания // Россия в мемуарах. История жизни благородной женщины. М., 1996. С. 54.
- <sup>117</sup> *Дама Р.* Мемуары // Екатерина II и ее окружение. М., 1996. С. 253.
- <sup>118</sup> *Сегюр Л, де.* Пять лет при дворе Екатерины II... С. 156, 159, 166.
- <sup>119</sup> *Экштут С. А.* На службе российскому Левиафану. Исторические опыты. М., 1998. С. 25.
- <sup>120</sup> *Дмитриев И. И.* Взгляд на мою жизнь // Русские мемуары. XVIII век. М., 1988. С. 193—194.
- <sup>121</sup> *Огаркова Н. А.* Указ. соч. СПб., 2004. С. 118.
- <sup>122</sup> Девятнадцатый век: Исторический сборник, издаваемый по бумагам фамильного архива почетным членом археологического института князем Федором Алексеевичем Куракиным / Ред. В. Н. Смольянинов. М., 1903. Т. 1. С. XXVI.
- <sup>123</sup> *Дашкова Е. Р.* Записки. Письма сестер М. и К. Вильмот из России. М., 1987. С. 237.
- <sup>124</sup> *Комаровский Е. Ф.* Записки. СПб., 1914. С. 42.
- <sup>125</sup> *Виже-Лебрён Э. Л.* Указ. соч. С. 48.
- <sup>126</sup> *Валишевский Н.* Предисловие // Мемуары графини В. Н. Головиной, урожденной Голицыной. СПб., 1911. С. 15.
- <sup>127</sup> *Виже-Лебрён Э. Л.* Указ. соч. С. 21—22.
- <sup>128</sup> *Корберон М. Д.* Указ. соч. С. 107.
- <sup>129</sup> *Жихарев С. П.* Записки современника. Воспоминания старого театрала. В 2 т. Л., 1989. Т. 2. С. 340.
- <sup>130</sup> *Рибоьер А. И.* Записки // Русский архив. 1877. Т. I. № 4. С. 473.
- <sup>131</sup> *Долгоруков И. М.* Записки. Повесть о рождении моем, происхождении и всей жизни, писанная мной самим и начатая в Москве 1788 года в августе месяце на 25 году от рождения моего: 1764—1800. Пг., 1916. С. 164.
- <sup>132</sup> *Прянишникова М. П.* Английский предприниматель М. Меддокс



в России: новые материалы // Е. Р. Дашкова и эпоха Просвещения. М., 2005. С. 190.

<sup>143</sup> Рассказы бабушки. Л., 1989. С. 152.

<sup>144</sup> Прянишникова М. П. Указ. соч. С. 192—193.

<sup>145</sup> Рассказы бабушки. Л., 1989. С. 154.

<sup>146</sup> Дашкова Е. Р. Записки. Письма сестер М. и К. Вильмот из России. М., 1987. С. 318.

<sup>147</sup> Там же. С. 232.

<sup>148</sup> Попова Н. Н. Крепостная актриса. СПб., 2001. С. 21.

#### Глава четвертая СЕМЬЯ

<sup>1</sup> Вяземский П. А. Московское семейство старого быта // Русские мемуары. 1800—1825 гг. М., 1989. С. 537—540.

<sup>2</sup> Болотов А. Т. Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанные самим им для своих потомков // Русские мемуары. XVIII век. М., 1988. С. 97.

<sup>3</sup> Головина В. Н. Мемуары. М., 2005. С. 22, 25.

<sup>4</sup> Дашкова Е. Р. Записки. 1743—1810. Л., 1985. С. 14.

<sup>5</sup> Там же. С. 96.

<sup>6</sup> Лабзина А. Е. Указ. соч. М., 1996. С. 15, 47.

<sup>7</sup> Вересаев В. В. Пушкин в жизни. Минск, 1986. С. 256.

<sup>8</sup> Янькова Е. П. Рассказы бабушки. М., 1989. С. 41.

<sup>9</sup> Воспоминания Павла Воиновича Нашокина // Прометей. Историко-биографический альманах серии «Жизнь замечательных людей». М., 1974. Т. 10. С. 287.

<sup>10</sup> Кирсанова Р. Насильный брак // Родина. 2002. № 3. С. 90.

<sup>11</sup> Лабзина А. Е. Указ. соч. С. 27.

<sup>12</sup> Янькова Е. П. Указ. соч. С. 49.

<sup>13</sup> Сабанеева Е. А. Указ. соч. М., 1996. С. 401.

<sup>14</sup> Там же. С. 393—394.

<sup>15</sup> Фон-Брадке Е. Ф. Автобиографические записки // Русские мемуары. 1800—1825 гг. М., 1989. С. 192.

<sup>16</sup> Корберон М. Д. Указ. соч. С. 140.

<sup>17</sup> Сабанеева Е. А. Указ. соч. С. 404—411.

<sup>18</sup> Янькова Е. П. Указ. соч. С. 47—50.

<sup>19</sup> Дмитриев М. С. Мелочи из запаса моей памяти // Русские мемуары. XVIII век. М., 1988. С. 423.

<sup>20</sup> Кирсанова Р. Указ. соч. С. 90—91.

<sup>21</sup> Дашкова Е. Р. Записки. 1743—1810. С. 165—166.

<sup>22</sup> Там же. С. 3.

<sup>23</sup> Там же. С. 162.

<sup>24</sup> Там же. С. 167.

<sup>25</sup> Дашкова Е. Р. Записки. Письма сестер М. и К. Вильмот из России. М., 1987. С. 320—321.

<sup>26</sup> Сабанеева Е. А. Указ. соч. С. 368—369.

<sup>27</sup> РГАДА. Ф. 11. Оп. 1. № 946. Ч. I. Л. 84.

<sup>28</sup> Русская старина. 1903. № 10. С. 65—68.

- <sup>29</sup> РГАДА. Ф. 7. № 2410. Л. 8.
- <sup>30</sup> Там же. Л. 10.
- <sup>31</sup> Осьмнадцатый век. Исторический сборник // Под ред. П. И. Бартенева. М., 1868. Кн. 1. С. 148.
- <sup>32</sup> *Эйдельман Н. Я.* Письма Екатерины II Г. А. Потемкину // Вопросы истории. 1989. № 9. С. 102.
- <sup>33</sup> *Бантыш-Каменский Д. М.* Биографии российских генералиссимусов и генерал-фельдмаршалов. СПб., 1840. С. 244.
- <sup>34</sup> РГАДА. Ф. 1. № 54. Л. 16.
- <sup>35</sup> *Янькова Е. П.* Указ. соч. С. 50.
- <sup>36</sup> *Щербатов М. М.* Указ. соч. С. 388.
- <sup>37</sup> Архив князя Воронцова. М., 1885. Т. 31. С. 77.
- <sup>38</sup> Там же. С. 83—84.
- <sup>39</sup> *Сабанеева Е. А.* Указ. соч. С. 366—367.
- <sup>40</sup> *Янькова Е. П.* Указ. соч. С. 37.
- <sup>41</sup> *Сабанеева Е. А.* Указ. соч. С. 412—414.
- <sup>42</sup> Письма сестер М. и К. Вильмот из России // *Дашкова Е. Р.* Записки. М., 1987. С. 336.
- <sup>43</sup> Там же. С. 316.
- <sup>44</sup> Там же. С. 337—338.
- <sup>45</sup> *Виже-Лебрён Э. Л.* Указ. соч. С. 106.
- <sup>46</sup> *Болотов А. Т.* Указ. соч. С. 76.
- <sup>47</sup> Воспоминания Павла Воиновича Нащокина // Прометей. Историко-биографический альманах серии «Жизнь замечательных людей». М., 1974. Т. 10. С. 287—288.
- <sup>48</sup> *Лабзина А. Е.* Указ. соч. С. 42—43.
- <sup>49</sup> Там же. С. 30—31.
- <sup>50</sup> Там же. С. 41—42.
- <sup>51</sup> Там же. С. 32.
- <sup>52</sup> Там же. С. 37, 28.
- <sup>53</sup> Там же. С. 46—47.
- <sup>54</sup> Там же. С. 60.
- <sup>55</sup> *Фон-Брадке Е. Ф.* Указ. соч. С. 193.
- <sup>56</sup> *Янькова Е. П.* Указ. соч. С. 9.
- <sup>57</sup> *Лабзина А. Е.* Указ. соч. С. 42.
- <sup>58</sup> *Болотина Н. Ю.* Разные судьбы сестер Воронцовых: Екатерина Дашкова и Анна Строганова // Е. Р. Дашкова и А. С. Пушкин в истории России. М., 2000. С. 34—38.
- <sup>59</sup> *Колмаков Н. М.* Дом и фамилия графов Строгановых // Русская старина. 1887. № 3. С. 586.
- <sup>60</sup> Там же.
- <sup>61</sup> Архив князя Воронцова. М., 1871. Т. 4. С. 460.
- <sup>62</sup> Письма сестер М. и К. Вильмот из России // *Дашкова Е. Р.* Записки. М., 1987. С. 372.
- <sup>63</sup> Архив князя Воронцова. М., 1883. Т. 28. С. 32.
- <sup>64</sup> Там же. М., 1886. Т. 34. С. 88.
- <sup>65</sup> Там же. М., 1888. Т. 34. С. 340—341.
- <sup>66</sup> Там же. М., 1885. Т. 31. С. 349.
- <sup>67</sup> РГАДА. Ф. 1261. Оп. 2. Д. 18. Л. 11.
- <sup>68</sup> Архив князя Воронцова. М., 1886. Т. 34. С. 135.

- <sup>69</sup> Письма сестер М. и К. Вильмот из России // *Дашкова Е. Р.* Записки. М., 1987. С. 348.
- <sup>70</sup> *Суворов А. В.* Письма. М., 1987.
- <sup>71</sup> Там же. С. 63.
- <sup>72</sup> Там же. С. 66.
- <sup>73</sup> Там же. С. 64—65.
- <sup>74</sup> Там же. С. 74.
- <sup>75</sup> Вестник Европы. 1882. Кн. VI. С. 584.
- <sup>76</sup> *Щербатов М. М.* Указ. соч. С. 369—370.
- <sup>77</sup> *Пыляев М. И.* Старая Москва. М., 1996. С. 179—181.
- <sup>78</sup> *Янькова Е. П.* Указ. соч. С. 89.
- <sup>79</sup> Там же. С. 138—139.
- <sup>80</sup> *Екатерина II.* Записки // Слово. 1988. № 8. С. 84.
- <sup>81</sup> *Головина В. Н.* Мемуары. М., 2005. С. 118.
- <sup>82</sup> Там же. С. 112—118.
- <sup>83</sup> *Лабзина А. Е.* Указ. соч. С. 50—52.
- <sup>84</sup> Там же. С. 49.
- <sup>85</sup> Там же. С. 50.
- <sup>86</sup> Цит. по: *Петинова Е. Ф.* Фрейлины ее величества. СПб., 2000. С. 49—54.
- <sup>87</sup> *Иванов А. А.* Дома и люди. Из истории петербургских особняков. М., 2005. С. 398—399.
- <sup>88</sup> *Струйский Н. Е.* Еротоиды. М., 2003. С. 15.
- <sup>89</sup> *Морозова А. Г.* Из тьмы былого // *Струйский Н. Е.* Еротоиды. М., 2003. С. 17—18.
- <sup>90</sup> *Долгоруков И. М.* Капище моего сердца или словарь всех тех лиц, с коими я был в разных отношениях в течение моей жизни. М., 1890. С. 337—338.
- <sup>91</sup> *Чичагов П. В.* Записки. М., 2002. С. 33—34.
- <sup>92</sup> *Янькова Е. П.* Указ. соч. С. 39.
- <sup>93</sup> *Сабанеева Е. А.* Указ. соч. С. 365—366.
- <sup>94</sup> Знаменитые россияне XVIII—XIX веков. СПб., 1996. С. 168—169.
- <sup>95</sup> Цит. по: *Павлова Н. Н.* Крепостная актриса. СПб., 2001. С. 24—25.
- <sup>96</sup> Там же. С. 31.
- <sup>97</sup> Знаменитые россияне XVIII—XIX веков. СПб., 1996. С. 814.
- <sup>98</sup> Там же. С. 816.
- <sup>99</sup> *Чичагов П. В.* Указ. соч. С. 598.
- <sup>100</sup> Там же. С. 612.
- <sup>101</sup> Там же. С. 601—602.
- <sup>102</sup> Там же. С. 642—643.
- <sup>103</sup> Там же. С. 48—51.
- <sup>104</sup> Там же. С. 677—678.
- <sup>105</sup> Русский архив. 1879. Кн. I. С. 337.
- <sup>106</sup> *Чичагов П. В.* Указ. соч. С. 678.
- <sup>107</sup> Там же. С. 642.
- <sup>108</sup> *Болотов А. Т.* Указ. соч. С. 90.
- <sup>109</sup> *Казанова Д.* Указ. соч. С. 559.
- <sup>110</sup> *Виже-Лебрён Э. Л.* Указ. соч. С. 44.
- <sup>111</sup> *Чичагов П. В.* Указ. соч. С. 37.

- <sup>112</sup> Димсдейл Т. Указ. соч. С. 79—80.
- <sup>113</sup> Екатерина II. Записки. М., 1990. С. 154—155.
- <sup>114</sup> Болотов А. Т. Указ. соч. С. 88—89.
- <sup>115</sup> Энгельгардт Л. Н. Указ. соч. С. 218.
- <sup>116</sup> Лабзина А. Е. Указ. соч. С. 17.
- <sup>117</sup> Головина В. Н. Мемуары. М., 2005. С. 15.
- <sup>118</sup> Сабанеева Е. А. Указ. соч. С. 386.
- <sup>119</sup> Письма сестер М. и К. Вильмот из России // Дашкова Е. Р. Записки. М., 1987. С. 348.
- <sup>120</sup> Воспоминания Павла Воиновича Нащокина // Прометей. Историко-биографический альманах серии «Жизнь замечательных людей». Т. 10. М., 1974. С. 285.
- <sup>121</sup> Сабанеева Е. А. Указ. соч. С. 385—386.
- <sup>122</sup> Чичагов П. В. Указ. соч. С. 150.
- <sup>123</sup> Янькова Е. П. Указ. соч. С. 24, 32.
- <sup>124</sup> Сабанеева Е. А. Указ. соч. С. 378—379.
- <sup>125</sup> Там же. С. 361.
- <sup>126</sup> Воспоминания Павла Воиновича Нащокина // Прометей. Историко-биографический альманах серии «Жизнь замечательных людей». М., 1974. Т. 10. С. 287—288.
- <sup>127</sup> Сабанеева Е. А. Указ. соч. С. 374.
- <sup>128</sup> Там же. С. 363—364.
- <sup>129</sup> Дмитриев М. А. Указ. соч. С. 426.
- <sup>130</sup> Записки Данилова // Хрестоматия по русской истории. Пг, 1923. Т. III. С. 266.
- <sup>131</sup> Фонвизин Д. И. Записки // Хрестоматия по русской истории. Пг, 1923. Т. III. С. 270.
- <sup>132</sup> Болотов А. Т. Указ. соч. С. 105.
- <sup>133</sup> Немцова И. А. Нравственно-воспитательная функция «Словаря Академии Российской» // Е. Р. Дашкова и эпоха Просвещения. М., 2005. С. 77—82.
- <sup>134</sup> Богданович И. Ф. О воспитании юношества. М., 1807. С. 63.
- <sup>135</sup> Полное собрание законов (ПСЗ). Т. XVI. С. 668—669.
- <sup>136</sup> Там же. С. 345.
- <sup>137</sup> Заичкин И. А., Почкаев И. Н. Екатерининские орлы. М., 1996. С. 227—234.
- <sup>138</sup> ПСЗ. Т. XVIII. С. 309—310.
- <sup>139</sup> Чичагов П. В. Указ. соч. С. 30.
- <sup>140</sup> ПСЗ. Т. XVI. С. 344.
- <sup>141</sup> Там же. Т. XVII. С. 1056.
- <sup>142</sup> Лециловская И. И. Русско-сербские связи в области педагогики во второй половине XVIII в. (Ф. И. Янкович де Мириево) // Е. Р. Дашкова и эпоха Просвещения. М., 2005. С. 99—101.
- <sup>143</sup> Костяшов Ю. В. Сербы в Австрийской монархии в XVIII веке. Калининград, 1997. С. 176.
- <sup>144</sup> Смагина Г. И. Янкович де Мириево // Исторический лексикон. XVIII век. М., 1996. С. 291—292.
- <sup>145</sup> Болотов А. Т. Указ. соч. С. 90, 97.
- <sup>146</sup> Головина В. Н. Мемуары. М., 2005. С. 15—16.

*Глава пятая*  
ГОСПОДА И СЛУГИ

- <sup>1</sup> *Дашкова Е. Р.* Записки. 1743—1810. Л., 1985. С. 136.
- <sup>2</sup> Сочинения императрицы Екатерины II. СПб., 1901. Т. XII. С. 169.
- <sup>3</sup> *Гушкин А. С.* Собрание сочинений. М., 1962. Т. VI. С. 433.
- <sup>4</sup> *Екатерина II.* Мысли из тайной тетради // Памятник моему самолюбию. М., 2003. С. 67.
- <sup>5</sup> *Мадариага И, де.* Указ. соч. М., 2002. С. 880.
- <sup>6</sup> О приеме Адмиралтейской коллегии присылаемых от помещиков для смирения крепостных людей и об употреблении их в тяжкую работу // *Ковалинский М.* Хрестоматия по русской истории. Пг., 1923. Т. III. С. 98—99.
- <sup>7</sup> *Игнатович И. И.* Помещичьи крестьяне накануне освобождения. СПб., 1902. С. 24.
- <sup>8</sup> *Екатерина II.* Сочинения. М., 1990. С. 484.
- <sup>9</sup> О бытии помещичьим людям и крестьянам в повиновении и послушании у своих помещиков и о неподании челобитен в собственные ее величества руки // *Ковалинский М.* Хрестоматия по русской истории. Пг., 1923. Т. III. С. 99.
- <sup>10</sup> *Шильдер Н. К.* Император Александр Первый: его жизнь и царствование. СПб., 1897. Т. I. С. 27.
- <sup>11</sup> *Экитут С. А.* Александр I. Его сподвижники. Декабристы. СПб., 2004. С. 65.
- <sup>12</sup> Русский архив. 1890. Кн. II. С. 310.
- <sup>13</sup> *Смирнова А. О.* Записки. Ч. I. СПб., 1895. С. 72.
- <sup>14</sup> *Шелгунов Н. В.* Воспоминания. Т. I. М., 1967. С. 72.
- <sup>15</sup> Цит. по: *Высочков Л. В.* Николай I. М., 2006. С. 213.
- <sup>16</sup> *Заболоцкий-Десятовский А. П.* Граф П. Д. Киселев и его время. СПб., 1882. Т. II. С. 208.
- <sup>17</sup> Сон юности: Воспоминания великой княжны Ольги Николаевны // Николай I: Муж. Отец. Император. М., 2000. С. 286.
- <sup>18</sup> *Бунин И. А.* Окаянные дни. М., 1990. С. 74.
- <sup>19</sup> *Пайтс Р.* Россия при старом режиме. М., 1993. С. 201.
- <sup>20</sup> *Судиенкин И. Г.* Салтычиха. 1730—1801 // Русская старина. 1874. № 8. С. 498.
- <sup>21</sup> См. подробнее: *Анисимов Е. В.* Елизавета Петровна. М., 1999. С. 292—308.
- <sup>22</sup> Там же. С. 280.
- <sup>23</sup> *Судиенкин И. Г.* Указ. соч. С. 511.
- <sup>24</sup> *Экитут С. А.* Роман душегубицы // Родина. 2002. № 3. С. 52—55.
- <sup>25</sup> *Анисимов Е. В.* Указ. соч. С. 283—284.
- <sup>26</sup> Русская старина. 1874. № 8. С. 533.
- <sup>27</sup> О бытии помещичьим людям... // *Ковалинский М.* Хрестоматия по русской истории. Пг., 1923. Т. III. С. 99.
- <sup>28</sup> *Сабанеева Е. А.* Указ. соч. С. 356—357.
- <sup>29</sup> *Янькова Е. П.* Указ. соч. С. 57.
- <sup>30</sup> *Семевский В. И.* Крестьяне в царствование Екатерины II. СПб., 1881. Т. I. С. 206—212.
- <sup>31</sup> Там же.

- <sup>42</sup> См. подробнее: *Энгель С.* Рассказ о Троекурове // Прометей. Историко-биографический альманах серии «Жизнь замечательных людей». М., 1974. Т. 10. С. 106—113.
- <sup>43</sup> *Пушкин А. С.* Собрание сочинений. М., 1962. Т. VI. С. 433—434.
- <sup>44</sup> *Янькова Е. П.* Указ. соч. С. 33.
- <sup>45</sup> *Семевский В. И.* Указ. соч. С. 211.
- <sup>46</sup> См. подробнее: *Лавров А. С.* Колдовство и религия в России. 1700—1740. М., 2000.
- <sup>47</sup> *Болотов А. Т.* Записки. М.; Л., 1931. Т. III. С. 474—477.
- <sup>48</sup> *Морозов А.* Из тьмы былого // *Струйский Н. Е.* Еротоиды. М., 2003. С. 26—27.
- <sup>49</sup> Там же. С. 37—39.
- <sup>40</sup> *Пайнс Р.* Указ. соч. С. 202.
- <sup>41</sup> *Морозов А.* Указ. соч. С. 142—144.
- <sup>42</sup> Русская старина. 1907. № 79. С. 308—309.
- <sup>43</sup> *Болотов А. Т.* Записки // Столетие безумно и мудро. Век XVIII. М., 1986. С. 451.
- <sup>44</sup> Там же. С. 456—465.
- <sup>45</sup> *Лопатин В. С.* Потемкин и Суворов. М., 1992. С. 82—83.
- <sup>46</sup> *Рыбкин Н.* Генералиссимус Суворов. Жизнь его в своих вотчинах и хозяйственная деятельность. М., 1874. С. 28.
- <sup>47</sup> *Пайнс Р.* Указ. соч. С. 198.
- <sup>48</sup> Письма сестер М. и К. Вильмот из России // *Дашкова Е. Р.* Записки. М., 1987. С. 271.
- <sup>49</sup> Там же.
- <sup>50</sup> Письма сестер М. и К. Вильмот из России... С. 272.
- <sup>51</sup> Там же. С. 262.
- <sup>52</sup> *Антоновский М. И.* Новейшее повествовательное землеописание // Радищев. Материалы и исследования. М.; Л., 1936. С. 250.
- <sup>53</sup> *Димсдейл Т.* Указ. соч. М., 2003. С. 84—85.
- <sup>54</sup> *Илюха О.* Котя, котя, продай дитя... // Родина. 2004. № 11. С. 79—82.
- <sup>55</sup> Письма сестер М. и К. Вильмот из России... С. 281.
- <sup>56</sup> Там же.
- <sup>57</sup> *Коваленский М.* Указ. соч. С. 115—116.
- <sup>58</sup> Там же. С. 114.
- <sup>59</sup> *Сегюр Л, де.* Пять лет при дворе Екатерины II... С. 148—158.
- <sup>60</sup> *Cochrane J. D., captain.* Narrative of a Pedestrian Journey through Russia and Siberian Tartary. L., 1824. P. 68.
- <sup>61</sup> *Миранда Ф, де.* Путешествие по Российской империи. М., 2001. С. 214—217.
- <sup>62</sup> *Радищев А. Н.* Путешествие из Петербурга в Москву // Столетие безумно и мудро. Век XVIII. М., 1986. С. 250—251.
- <sup>63</sup> Письма сестер М. и К. Вильмот из России... С. 222, 224, 229—230.
- <sup>64</sup> *Bremner R.* Excursions in the Interior of Russia. L., 1839. V. 1. P. 154—155.
- <sup>65</sup> *Пушкин А. С.* Собрание сочинений. М., 1962. Т. VI. С. 434.
- <sup>66</sup> Письма сестер М. и К. Вильмот из России... С. 277.
- <sup>67</sup> *Пайнс Р.* Указ. соч. С. 200—201.
- <sup>68</sup> *Сабанеева Е. А.* Указ. соч. С. 345.
- <sup>69</sup> Там же. С. 390.
- <sup>70</sup> *Экштитт С. А.* Роман душегубицы // Родина. 2002. № 3. С. 55.

- <sup>71</sup> *Дмитриев М. А.* Мелочи из запаса моей памяти // Русские мемуары. XVIII век. М., 1988. С. 424.
- <sup>72</sup> *Мадариага И.*, де. Указ. соч. С. 430.
- <sup>73</sup> *Лабзина А. Е.* Воспоминания // Россия в мемуарах. История жизни благородной женщины. М., 1996. С. 21—22.
- <sup>74</sup> Русский архив. 1889. Т. I. С. 53.
- <sup>75</sup> Там же.
- <sup>76</sup> *Лабзина А. Е.* Указ. соч. С. 18—19.
- <sup>77</sup> Там же. С. 70—71.
- <sup>78</sup> Русский архив. 1889. Т. I. С. 32.
- <sup>79</sup> *Каменский А. Б.* «Под сению Екатерины...». СПб., 1992. С. 281—282.
- <sup>80</sup> Там же. С. 215, 231.
- <sup>81</sup> *Сегюр Л.*, де. Пять лет при дворе Екатерины II... С. 148—157.
- <sup>82</sup> *Виже-Лебрён Э. Л.* Указ. соч. С. 45—46.
- <sup>83</sup> Там же. С. 45.
- <sup>84</sup> *Янькова Е. П.* Указ. соч. С. 22—23.
- <sup>85</sup> *Ковалинский М.* Хрестоматия по русской истории. Т. III. М., 1923. С. 115.
- <sup>86</sup> *Янькова Е. П.* Указ. соч. С. 44.
- <sup>87</sup> Воспоминания Павла Воиновича Нащокина... С. 89—91.
- <sup>88</sup> Письма сестер М. и К. Вильмот из России... С. 227.
- <sup>89</sup> Там же. С. 222.
- <sup>90</sup> *Миранда Ф.*, де. Путешествие по Российской империи. М., 2001. С. 119.
- <sup>91</sup> *Казанова Д.* Указ. соч. С. 568.
- <sup>92</sup> *Екатерина II.* Записки // Сочинения Екатерины II. М., 1990. С. 127.
- <sup>93</sup> *Миранда Ф.*, де. Указ. соч. С. 37.
- <sup>94</sup> Николай I и его время. Документы, мемуары. Т. I. М., 2002. С. 249.
- <sup>95</sup> *Семевский М. И.* Указ. соч. С. 196, 212.
- <sup>96</sup> Там же.
- <sup>97</sup> Письма сестер М. и К. Вильмот из России... С. 232.
- <sup>98</sup> *Корберон М. Д.* Указ. соч. С. 161.
- <sup>99</sup> Письма сестер М. и К. Вильмот из России... С. 369.
- <sup>100</sup> *Янькова Е. П.* Указ. соч. С. 168, 171.
- <sup>101</sup> *Сегюр Л.*, де. Записки о пребывании в России... С. 419.
- <sup>102</sup> *Пыляев М. И.* Старая Москва. М., 1996. С. 244—246.
- <sup>103</sup> *Болотов А. Т.* Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанные самим им для своих потомков // Русские мемуары. XVIII век. М., 1988. С. 76.
- <sup>104</sup> *Вяземский П. А.* Московское семейство старого быта // Русские мемуары. 1800—1825 гг. М., 1989. С. 544.
- <sup>105</sup> Воспоминания Павла Воиновича Нащокина... С. 89—91.
- <sup>106</sup> *Сабанеева Е. А.* Указ. соч. С. 380.
- <sup>107</sup> *Пушкин А. С.* Собрание сочинений. М., 1962. Т. VI. С. 434.
- <sup>108</sup> Письма сестер М. и К. Вильмот из России... С. 257.
- <sup>109</sup> Там же. С. 363.
- <sup>110</sup> *Миранда Ф.*, де. Указ. соч. С. 219.
- <sup>111</sup> *Янькова Е. П.* Указ. соч. С. 56.
- <sup>112</sup> *Лабзина А. Е.* Указ. соч. С. 55—56.
- <sup>113</sup> Примечания на историю древняя и нынешняя России г. Лекерка, сочиненные генерал-майором Иваном Болтиным. СПб., 1788. Т. 2. С. 242—243.

- <sup>114</sup> *Виже-Лебрён Э.Л.* Указ. соч. С. 45.  
<sup>115</sup> *Memoires secretes sur la Russie pendant les regnes de Catherine II et de Paul I* par C. F. P. Masson. P., 1859. P. 170, 187.  
<sup>116</sup> *Белинский В. Г.* Письма. СПб., 1914. Т. I. С. 92.  
<sup>117</sup> Русский архив. 1885. № 10. С. 272.  
<sup>118</sup> *Болотов А. Т.* Записки. М.; Л., 1931. Т. IV. С. 1034—1038.  
<sup>119</sup> *Винский Г. И.* Указ. соч. С. 118.  
<sup>120</sup> *Винский Г. С.* Мое время. СПб., 1914. С. 118.  
<sup>121</sup> Письма сестер М. и К. Вильмот из России... С. 311.  
<sup>122</sup> *Ковалинский М.* Указ. соч. С. 69—70.  
<sup>123</sup> Там же. С. 72—74.  
<sup>124</sup> Письма сестер М. и К. Вильмот из России... С. 308.

*Глава шестая*  
СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ: ЕВРОПЕЙЦЫ В РОССИИ

- <sup>1</sup> *Виже-Лебрён Э.Л.* Указ. соч. С. 10.  
<sup>2</sup> *Казанова Д.* Указ. соч. С. 551.  
<sup>3</sup> Письма сестер М. и К. Вильмот из России // *Дашкова Е. Р.* Записки. М., 1987. С. 223.  
<sup>4</sup> *Миранда Ф., де.* Путешествие по Российской империи. М., 2001. С. 209.  
<sup>5</sup> Письма сестер М. и К. Вильмот из России... С. 222.  
<sup>6</sup> *Виже-Лебрён Э.Л.* Указ. соч. С. 102.  
<sup>7</sup> *Миранда Ф., де.* Указ. соч. С. 196.  
<sup>8</sup> Там же. С. 214.  
<sup>9</sup> Там же. С. 215—216.  
<sup>10</sup> Там же. С. 218.  
<sup>11</sup> Письма сестер М. и К. Вильмот из России... С. 274.  
<sup>12</sup> *Миранда Ф., де.* Указ. соч. С. 215.  
<sup>13</sup> Там же. С. 292.  
<sup>14</sup> Там же. С. 217.  
<sup>15</sup> Там же. С. 219.  
<sup>16</sup> Там же. С. 218.  
<sup>17</sup> *Сегюр Л., де.* Пять лет при дворе Екатерины II... С. 148—213.  
<sup>18</sup> *Димсдейл Т.* Указ. соч. С. 70.  
<sup>19</sup> Там же.  
<sup>20</sup> Там же. С. 87.  
<sup>21</sup> Письма сестер М. и К. Вильмот из России... С. 235.  
<sup>22</sup> Там же. С. 264.  
<sup>23</sup> Там же. С. 222.  
<sup>24</sup> *Казанова Д.* Указ. соч. С. 570.  
<sup>25</sup> Там же. С. 551.  
<sup>26</sup> *Сегюр Л., де.* Записки о пребывании в России... С. 351.  
<sup>27</sup> *Казанова Д.* Указ. соч. С. 556.  
<sup>28</sup> Там же. С. 570—571.  
<sup>29</sup> *Сегюр Л., де.* Пять лет при дворе Екатерины II... С. 148—154.  
<sup>30</sup> *Миранда Ф., де.* Указ. соч. С. 223.  
<sup>31</sup> *Виже-Лебрён Э.Л.* Указ. соч. С. 10.



- <sup>32</sup> *Виже-Лебрён Э.Л.* Указ. соч. С. 9.
- <sup>33</sup> Письма сестер М. и К. Вильмот из России... С. 288.
- <sup>34</sup> *Казанова Д.* Указ. соч. С. 552.
- <sup>35</sup> Письма сестер М. и К. Вильмот из России... С. 234.
- <sup>36</sup> *Янькова Е. П.* Указ. соч. С. 22.
- <sup>37</sup> *Виже-Лебрён Э.Л.* Указ. соч. С. 44.
- <sup>38</sup> Письма сестер М. и К. Вильмот из России... С. 235.
- <sup>39</sup> *Димсдейл Т.* Указ. соч. С. 74—75.
- <sup>40</sup> *Виже-Лебрён Э.Л.* Указ. соч. С. 49.
- <sup>41</sup> Письма сестер М. и К. Вильмот из России... С. 214.
- <sup>42</sup> *Виже-Лебрён Э.Л.* Указ. соч. С. 49.
- <sup>43</sup> Там же. С. 59.
- <sup>44</sup> *Корберон М.Д.* Указ. соч. С. 171—172.
- <sup>45</sup> Там же. С. 191.
- <sup>46</sup> *Кабузан В. М.* Народы России в XVIII веке. Численность и этнический состав. М., 1990. С. 151.
- <sup>47</sup> *Казанова Д.* Указ. соч. С. 552.
- <sup>48</sup> Там же. С. 556.
- <sup>49</sup> *Димсдейл Т.* Указ. соч. С. 70.
- <sup>50</sup> *Миранда Ф, де.* Указ. соч. С. 222.
- <sup>51</sup> *Виже-Лебрён Э.Л.* Указ. соч. С. 52.
- <sup>52</sup> *Казанова Д.* Указ. соч. С. 558.
- <sup>53</sup> *Корберон М.Д.* Указ. соч. С. 100.
- <sup>54</sup> *Миранда Ф, де.* Указ. соч. С. 280.
- <sup>55</sup> *Казанова Д.* Указ. соч. С. 581.
- <sup>56</sup> *Корберон М.Д.* Указ. соч. С. 128.
- <sup>57</sup> Там же. С. 116.
- <sup>58</sup> *Миранда Ф, де.* Указ. соч. С. 283.
- <sup>59</sup> Там же. С. 280.
- <sup>60</sup> Там же. С. 293.
- <sup>61</sup> Там же. С. 244.
- <sup>62</sup> Там же. С. 264—265.
- <sup>63</sup> *Казанова Д.* Указ. соч. С. 574.
- <sup>64</sup> Там же. С. 569.
- <sup>65</sup> *Корберон М.Д.* Указ. соч. С. 94.
- <sup>66</sup> *Сегюр Л, де.* Пять лет при дворе Екатерины II... С. 148—187.
- <sup>67</sup> *Виже-Лебрён Э.Л.* Указ. соч. С. 103.
- <sup>68</sup> Письма сестер М. и К. Вильмот из России... С. 305.
- <sup>69</sup> *Сегюр Л, де.* Пять лет при дворе Екатерины II... С. 148—187.
- <sup>70</sup> *Миранда Ф, де.* Указ. соч. С. 179.
- <sup>71</sup> *Виже-Лебрён Э.Л.* Указ. соч. С. 105.
- <sup>72</sup> Письма сестер М. и К. Вильмот из России... С. 308.
- <sup>73</sup> *Казанова Д.* Указ. соч. С. 573.
- <sup>74</sup> *Миранда Ф, де.* Указ. соч. С. 165.
- <sup>75</sup> Там же. С. 166.
- <sup>76</sup> Там же. С. 206.
- <sup>77</sup> *Сегюр Л, де.* Пять лет при дворе Екатерины II... С. 148—187.
- <sup>78</sup> *Казанова Д.* Указ. соч. С. 574.
- <sup>79</sup> Письма сестер М. и К. Вильмот из России... С. 309.
- <sup>80</sup> *Миранда Ф, де.* Указ. соч. С. 289.

- <sup>81</sup> Там же. С. 292.
- <sup>82</sup> *Казанова Д.* Указ. соч. С. 574.
- <sup>83</sup> *Миранда Ф, де.* Указ. соч. С. 168.
- <sup>84</sup> *Виже-Лебрён Э.Л.* Указ. соч. С. 47.
- <sup>85</sup> *Миранда Ф, де.* Указ. соч. С. 181.
- <sup>86</sup> *Янькова Е. П.* Указ. соч. С. 62.
- <sup>87</sup> *Миранда Ф, де.* Указ. соч. С. 240.
- <sup>88</sup> Письма сестер М. и К. Вильмот из России... С. 224.
- <sup>89</sup> *Виже-Лебрён Э.Л.* Указ. соч. С. 45.
- <sup>90</sup> Письма сестер М. и К. Вильмот из России... С. 221.
- <sup>91</sup> Там же. С. 227.
- <sup>92</sup> Там же. С. 238.
- <sup>93</sup> Там же. С. 227.
- <sup>94</sup> *Миранда Ф, де.* Указ. соч. С. 181.
- <sup>95</sup> *Казанова Д.* Указ. соч. С. 574.
- <sup>96</sup> Письма сестер М. и К. Вильмот из России... С. 295.
- <sup>97</sup> Там же. С. 234.
- <sup>98</sup> Там же. С. 242.
- <sup>99</sup> Там же. С. 344.
- <sup>100</sup> Там же. С. 242.
- <sup>101</sup> Там же. С. 307.
- <sup>102</sup> Там же. С. 258—259.
- <sup>103</sup> Там же. С. 296.
- <sup>104</sup> Там же. С. 247.
- <sup>105</sup> *Миранда Ф, де.* Указ. соч. С. 191.
- <sup>106</sup> Там же. С. 181.
- <sup>107</sup> Там же. С. 193.
- <sup>108</sup> *Димсдейл Т.* Указ. соч. С. 86.
- <sup>109</sup> Письма сестер М. и К. Вильмот из России... С. 310.
- <sup>110</sup> Там же. С. 229.
- <sup>111</sup> *Виже-Лебрён Э.Л.* Указ. соч. С. 20.
- <sup>112</sup> Письма сестер М. и К. Вильмот из России... С. 257.
- <sup>113</sup> Там же. С. 260.
- <sup>114</sup> Там же. С. 248.
- <sup>115</sup> Там же. С. 266.
- <sup>116</sup> Там же. С. 260.
- <sup>117</sup> *Миранда Ф, де.* Указ. соч. С. 184.
- <sup>118</sup> *Казанова Д.* Указ. соч. С. 575.
- <sup>119</sup> *Корберон М.Д.* Указ. соч. С. 101.
- <sup>120</sup> Там же. С. 150.
- <sup>121</sup> Письма сестер М. и К. Вильмот из России... С. 253.
- <sup>122</sup> Там же. С. 308.
- <sup>123</sup> Там же. С. 313.
- <sup>124</sup> Там же. С. 315.
- <sup>125</sup> *Димсдейл Т.* Указ. соч. С. 90.
- <sup>126</sup> *Корберон М.Д.* Указ. соч. С. 155.
- <sup>127</sup> Там же. С. 94.
- <sup>128</sup> Там же.
- <sup>129</sup> Там же. С. 111.
- <sup>130</sup> Там же. С. 106.

- <sup>131</sup> *Корберон М.Д.* Указ. соч. С. 162.
- <sup>132</sup> *Сегюр Л, де.* Пять лет при дворе Екатерины II... С. 148—158.
- <sup>133</sup> *Казанова Д.* Указ. соч. С. 578.
- <sup>134</sup> *Сегюр Л, де.* Пять лет при дворе Екатерины II... С. 148—159.
- <sup>135</sup> *Виже-Лебрён Э.Л.* Указ. соч. С. 16.
- <sup>136</sup> Там же. С. 130.
- <sup>137</sup> *Корберон М.Д.* Указ. соч. С. 142.
- <sup>138</sup> Записки императрицы Екатерины II. СПб., 1907. С. 376.
- <sup>139</sup> Письма сестер М. и К. Вильмот из России... С. 257.
- <sup>140</sup> Там же. С. 309.
- <sup>141</sup> Там же. С. 263.
- <sup>142</sup> Там же. С. 309.
- <sup>143</sup> Там же. С. 315.
- <sup>144</sup> Там же. С. 308.
- <sup>145</sup> *Сегюр Л, де.* Пять лет при дворе Екатерины II... С. 148—166.
- <sup>146</sup> *Кросс Э.* Введение // «Англофилия у трона». Британцы и русские в век Екатерины II. Британский совет, 1992. С. XI.
- <sup>147</sup> *Корберон М.Д.* Указ. соч. С. 151.
- <sup>148</sup> Там же. С. 145.
- <sup>149</sup> Цит. по: «Англофилия у трона». Британцы и русские в век Екатерины II. Британский совет, 1992. С. XIII.
- <sup>150</sup> Письма сестер М. и К. Вильмот из России... С. 304.
- <sup>151</sup> *Корберон М.Д.* Указ. соч. С. 101.
- <sup>152</sup> Письма сестер М. и К. Вильмот из России... С. 340.
- <sup>153</sup> Цит. по: «Англофилия у трона». Британцы и русские в век Екатерины II. Британский совет, 1992. С. XIV.
- <sup>154</sup> Письма сестер М. и К. Вильмот из России... С. 292.
- <sup>155</sup> *Вяземский П.А.* Московское семейство старого быта // Русские мемуары 1800—1825 гг. М., 1989. С. 539—540.
- <sup>156</sup> *Понятовский С.А.* Мемуары. М., 1995. С. 85—87.
- <sup>157</sup> Письма сестер М. и К. Вильмот из России... С. 355.
- <sup>158</sup> *Казанова Д.* Указ. соч. С. 581.
- <sup>159</sup> *Виже-Лебрён Э.Л.* Указ. соч. С. 29.
- <sup>160</sup> *Корберон М.Д.* Указ. соч. С. 112.
- <sup>161</sup> *Сегюр Л, де.* Записки о пребывании в России... С. 332—334.
- <sup>162</sup> *Казанова Д.* Указ. соч. С. 550.
- <sup>163</sup> Письма сестер М. и К. Вильмот из России... С. 336.
- <sup>164</sup> Там же. С. 352.
- <sup>165</sup> *Сегюр Л, де.* Записки о пребывании в России... С. 350—351.
- <sup>166</sup> *Головина В.Н.* Мемуары. М., 2005. С. 28—32.
- <sup>167</sup> *Ланжерон А.Ф.* Записки // Потемкин. Последние годы. Воспоминания. Дневники. Письма. СПб., 2003. С. 124—125.
- <sup>168</sup> *Линь Ш.Ж, де.* Письма // Потемкин. Последние годы. Воспоминания. Дневники. Письма. СПб., 2003. С. 59.
- <sup>169</sup> *Корберон М.Д.* Указ. соч. С. 114.
- <sup>170</sup> *Линь Ш.Ж, де.* Указ. соч. С. 63.
- <sup>171</sup> *Корберон М.Д.* Указ. соч. С. 115.
- <sup>172</sup> *Сегюр Л, де.* Пять лет при дворе Екатерины II... С. 148—220.
- <sup>173</sup> *Виже-Лебрён Э.Л.* Указ. соч. С. 217.
- <sup>174</sup> Там же. С. 59.

<sup>175</sup> *Гейченко С.* Поклонник Пушкина // Прометей. Историко-биографический альманах серии «Жизнь замечательных людей». М., 1974. Т. 10. С. 415.

<sup>176</sup> Письма сестер М. и К. Вильмот из России... С. 276.

<sup>177</sup> *Виже-Лебрён Э.Л.* Указ. соч. С. 105.

<sup>178</sup> *Миранда Ф, де.* Указ. соч. С. 249.

<sup>179</sup> Там же. С. 189.

<sup>180</sup> Там же. С. 206.

<sup>181</sup> *Казанова Д.* Указ. соч. С. 563.

<sup>182</sup> Там же. С. 561—562.

<sup>183</sup> Там же. С. 563.

<sup>184</sup> Там же. С. 565.

<sup>185</sup> Там же. С. 567.

<sup>186</sup> Там же. С. 592—594.

<sup>187</sup> *Вульф Л.* Изобретая Восточную Европу: карта цивилизации в сознании эпохи Просвещения. М., 2003. С. 119—120.

<sup>188</sup> Там же. С. 121.

<sup>189</sup> *Сегюр Л, де.* Записки о пребывании в России... С. 331—332.

<sup>190</sup> *Массон Ш.* Секретные записки о России времен царствования Екатерины II и Павла I // Хрестоматия по русской истории. М., 1923. Т. III. С. 103.

<sup>191</sup> *Миранда Ф, де.* Указ. соч. С. 168.

<sup>192</sup> Там же. С. 190.

<sup>193</sup> Там же. С. 188.

<sup>194</sup> Там же. С. 218.

<sup>195</sup> *Сегюр Л, де.* Записки о пребывании в России... С. 374.

<sup>196</sup> *Сегюр Л, де.* Пять лет при дворе Екатерины II... С. 148—154.

<sup>197</sup> *Корберон М.Д.* Указ. соч. С. 181.

<sup>198</sup> *Виже-Лебрён Э.Л.* Указ. соч. С. 47.

<sup>199</sup> Там же.

<sup>200</sup> Там же. С. 324.

<sup>201</sup> Письма сестер М. и К. Вильмот из России... С. 248.

<sup>202</sup> *Димсдейл Т.* Указ. соч. С. 77—78.

<sup>203</sup> *Виже-Лебрён Э.Л.* Указ. соч. С. 115.

<sup>204</sup> *Корберон М.Д.* Указ. соч. С. 101.

<sup>205</sup> Там же. С. 155.

<sup>206</sup> *Сегюр Л, де.* Пять лет при дворе Екатерины II... С. 148—238.

<sup>207</sup> *Сегюр Л, де.* Записки о пребывании в России... С. 322.

<sup>208</sup> *Кокиев Г. А.* Присоединение Грузии к России // Исторические записки. М., 1938. № 4. С. 167.

<sup>209</sup> *Казанова Д.* Указ. соч. С. 583—585.

<sup>210</sup> Там же. С. 588.

<sup>211</sup> *Сегюр Л, де.* Пять лет при дворе Екатерины II... С. 148—212.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

<sup>1</sup> *Розанов В. В.* Сочинения. М., 1990. С. 427—428.

<sup>2</sup> *Белинский В. Г.* Указ. соч. Т. I. М., 1948. С. 33—34.

## БИБЛИОГРАФИЯ

- Бессарабова Н. В.* Путешествия Екатерины II по России. М., 2005.
- Болотов А. Т.* Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанные самим им для своих потомков // Русские мемуары. XVIII век. М., 1988.
- Брикнер А. Г.* История Екатерины Второй. В 2 т. М., 1991.
- Виже-Лебрён Э. Л.* Воспоминания г-жи Виже-Лебрён о пребывании ее в Санкт-Петербурге и Москве. 1795—1801. СПб., 2004.
- Вульф Л.* Изобретая Восточную Европу. М., 2003.
- Головина В. Н.* Мемуары. М., 2005.
- Грибовский А. М.* Воспоминания и дневники // Екатерина II и ее окружение. М., 1996.
- Дама Р.* Мемуары // Екатерина II и ее окружение. М., 1996.
- Дашкова Е. Р.* Записки. М., 1987.
- Державин Г. Р.* Записки из известных всем происшествий и подлинных дел, заключающих в себе жизнь Гаврилы Романовича Державина. М., 1984.
- Дымсдейл Т.* Записки о пребывании в России // История России и Дома Романовых в мемуарах современников. XVII—XX вв. Екатерина. Путь к власти. М., 2003.
- Дмитриев М. А.* Мелочи из запасов моей памяти // Русские мемуары. XVIII век. М., 1988.
- Дмитриев И. И.* Взгляд на мою жизнь // Русские мемуары. XVIII век. М., 1988.
- Екатерина II.* Сочинения. М., 1990.
- Екатерина II и Г. А. Потемкин. Личная переписка. М., 1997.
- Есипов Г. В., Михневич В. О.* Мошенники и шулера XVIII века. СПб., 1992.
- Жизнь в свете, дома и при дворе. СПб., 1890.
- Заичкин И. А., Почкаев И. Н.* Екатерининские орлы. М., 1996.
- Кабузан В. М.* Народы России в XVIII веке. Численность и этнический состав. М., 1990.
- Казанова Д.* История моей жизни. М., 1990.
- Колесникова А. В.* Бал в России: XVIII — начало XX века. СПб., 2005.
- Корберон М. Д.* Записки // История России и Дома Романовых в мемуарах современников. XVII—XX вв. Екатерина. Путь к власти. М., 2003.
- Кросс Э.* «Англофилия у трона». М., 1992.
- Лабзина А. Е.* Воспоминания // История жизни благородной женщины. Россия в мемуарах. М., 1996.
- Линь Ш.* Портрет Екатерины II // Екатерина II и ее окружение. М., 1996.
- Львова Е. Н.* Рассказы, заметки и анекдоты из записок Елизаветы Николаевны Львовой // Русские мемуары. XVIII век. М., 1988.
- Лопатин В. С.* Потемкин и Суворов. М., 1992.
- Лотман Ю. М.* Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII — начало XIX века). СПб., 1994.
- Мадариага И, де.* Россия в эпоху Екатерины Великой. М., 2002.
- Массон Ш.* Секретные записки о России времен царствования Екатерины II и Павла I. М., 1996.

- Миранда Ф., де.* Путешествие по Российской империи. М., 2001.
- Огаркова Н. А.* Церемонии, празднества, музыка русского двора. XVIII — начало XIX века. СПб., 2004.
- Пайнс Р.* Россия при старом режиме. М., 1993.
- Письма сестер М. и К. Вильмот из России // *Дашкова Е. Р.* Записки. М., 1987.
- Плугин В. А.* Алехан, или Человек со шрамом. Жизнеописание графа Алексея Орлова-Чесменского. М., 1996.
- Понятовский С. А.* Мемуары. М., 1995.
- Пыляев М. И.* Старый Петербург. М., 1990.
- Пыляев М. И.* Старая Москва. М., 1996.
- Радищев А. Н.* Путешествие из Петербурга в Москву // Столетие безумно и мудро. Век XVIII.
- Русский литературный анекдот конца XVIII — начала XIX века. М., 1990.
- Сабанеева Е. А.* Воспоминания о былом // История жизни благородной женщины. Россия в мемуарах. М., 1996.
- Сегюр Л. Ф.* Записки о пребывании в России в царствование Екатерины II // Россия XVIII века глазами иностранцев. Л., 1989.
- Старк В. П.* Портреты и лица. СПб., 1995.
- Строев А. Ф.* «Те, кто поправляет фортуна»: Авантюристы Просвещения. М., 1998.
- Струйский Н. Е.* Еротоиды. М., 2003.
- Суворов А. В.* Письма. М., 1987.
- Черкасов П. П.* Двуглавый орел и королевские лилии. М., 1995.
- Чичагов П. В.* Записки. М., 2002.
- Шепелев Л. Е.* Титулы, мундиры, ордена. Л., 1991.
- Шматова Н. И.* Праздничная культура московского дворянства в последней трети XVIII века. М., 2006.
- Щербатов М. М.* «О повреждении нравов в России» // Столетие безумно и мудро. Век XVIII. М., 1986.
- Эжитут С. А.* На службе российскому Левиафану. Исторические опыты. М., 1998.
- Энгельгардт Л. Н.* Записки // Русские мемуары. XVIII век. М., 1988.
- Янькова Е. П.* Рассказы бабушки. Л., 1989.

## СОДЕРЖАНИЕ

<i>Вступление</i> .....	6
<i>Глава первая. «ДОБРАЯ ЖЕНЩИНА» И ЕЕ ДВОР</i> .....	10
«Бедная вдова» .....	13
Уроки «Царь-девицы» .....	22
Неприятное происшествие с девицей Эльмпт .....	31
«Два разительных примера» .....	35
«Бедный деспот» .....	39
Матушка-царица .....	49
«Честь» или «honneur» .....	55
«Государыня, вас обкрадывают!» .....	62
<i>Глава вторая. ДЕНЬ ИМПЕРАТРИЦЫ — ДЕНЬ ДВОРА</i> .....	72
«Милый дом» .....	74
«Сады Армиды» .....	78
«Жаворонки» и «совы» .....	82
Утренние часы .....	87
У кофе не дамский вкус .....	91
Табак и табакерки .....	92
Семейство Андерсон .....	95
Слушание дел .....	98
Статс-секретари .....	101
Туалет .....	107
Выход .....	110
Императорский стол .....	114
«Мешать дело с бездельем» .....	118
«Каменная лихорадка» .....	122
Прогулки .....	125
«Монастырки» .....	130
Эрмитажные собрания .....	136
Тихий вечер с оргией .....	142
<i>Глава третья. ПРАЗДНИКИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ</i> .....	152
«Танцевать, пока не отказывают ноги» .....	155
«В своем кругу» .....	162
От менюэта к вальсу .....	167
«Вся опера пошла на маскарад» .....	171
«Торжествующая Минерва» .....	179
«Блюда по чинам» .....	183
«Курица в супе» .....	194
Открытый стол и гостеприимство .....	198
Карусели .....	201
«Будто летишь по воздуху» .....	210
«Кто позволил вам рвать цветы?» .....	214
«Одна из неизбежных стихий» .....	219
«Маленькое общество друзей» .....	229
«Маска Талии» .....	236

<i>Глава четвертая. СЕМЬЯ</i> .....	246
«Пора тебя женить» .....	248
«Она вздыхала о другом» .....	257
«Ромео и Юлии» .....	263
Влюбленные кузены .....	270
«Выйти замуж — не напасть...» .....	278
«Видно, я теперь в другой школе» .....	285
«Нынче развод не в моде» .....	292
«Смесь кокетства, интриги и заблуждения» .....	303
«Ероту песни посвящаю» .....	309
«Ты родилась крестьянкой, завтра будешь госпожа» .....	321
«В России достаточно девиц» .....	330
«Мои дочери не пойдут в гувернантки!» .....	339
«Учение образует ум. Воспитание образует нравы» .....	350
«Со мною не происходило ничего особенного» .....	362
 <i>Глава пятая. ГОСПОДА И СЛУГИ</i> .....	365
Трудные вопросы .....	365
Тень Салтычихи .....	375
«Тогда была в доме бироновщина» .....	382
Уголовная хроника .....	391
«Господи, как мне было досадно!» .....	396
«Государыня не знает о том и не ведает!» .....	402
«Чтоб то мужикам было безобидно» .....	407
«Источник государственного избытка» .....	417
«Недобрые молодцы» .....	426
«Ужасающее количество слуг» .....	437
«Смесь фамильярности и гордыни» .....	444
«Татарские комнаты» .....	450
«Семейное начало» .....	454
«Проклятая страсть» .....	458
«Русская домоводка» .....	462
 <i>Глава шестая. СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ:</i>	
ЕВРОПЕЙЦЫ В РОССИИ .....	471
«Дороги и дураки» .....	472
Северная Пальмира .....	483
Первопрестольная .....	497
«Ужасные обряды и церемонии» .....	505
«Воротнички без рубашек» .....	515
Англофилия и франкофония .....	524
«Я готовился в кондиторы» .....	533
«Я здесь похож на дядьку» .....	542
Грезы о Заире .....	549
Благородный дикарь .....	559
Заключение .....	569
 Примечания .....	572
Библиография .....	594



**Елисеева О. И.**

**Е 51** Повседневная жизнь благородного сословия в золотой век Екатерины / Ольга Елисеева; предисл. авт. — М.: Молодая гвардия, 2008. — 597[11] с.: ил. — (Живая история: Повседневная жизнь человечества).

**ISBN 978-5-235-03048-0**

Новая книга известной писательницы и историка Ольги Елисеевой посвящена повседневной жизни русского дворянства золотого века Екатерины II.

Рассказывая о житье-бытье вельмож и старосветских помещиков, самой императрицы и заезжих путешественников, автор старалась показать не только их носовые платки, свечи и грязные колеса дорожных карет, но и то, как дышали, чувствовали, любили и ненавидели наши предки в то славное, уже далекое, но по-прежнему притягательное время.

Для решения подобной задачи нет способа лучше, чем дать возможность читателю самому прикоснуться к подлинным документам эпохи. Вот почему такое важное место в книге занимают тексты, созданные два столетия назад: воспоминания, корреспонденция, политические памфлеты, донесения и т. д.

**УДК 94(092)(47) "18"**

**ББК 63. 3(2)513**

**Елисеева Ольга Игоревна**  
**ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ БЛАГОРОДНОГО СОСЛОВИЯ**  
**В ЗОЛОТОЙ ВЕК ЕКАТЕРИНЫ**

Главный редактор **А. В. Петров**

Редактор **И. В. Черников**

Художественный редактор **Е. В. Кошелева**

Технический редактор **В. В. Палкова**

Корректоры **Т. И. Маляренко, Г. В. Платова, Т. В. Рахманина**

Лицензия ЛР № 040224 от 02.06.97 г.

Сдано в набор 11.05.2007. Подписано в печать 21.11.2007. Формат 84x108/32. Бумага офсетная № 1. Печать офсетная. Гарнитура «Гарамон». Усл. печ. л. 32,92+1,68 вкл. Тираж 5000 экз. Заказ 74986.

Издательство АО «Молодая гвардия». Адрес издательства: 127994, Москва, Сушевская ул., 21. Internet: <http://mg.gvardiya.ru>. E-mail: [dsej@gvardiya.ru](mailto:dsej@gvardiya.ru)

Типография АО «Молодая гвардия». Адрес типографии: 127994, Москва, Сушевская ул., 21.

**ISBN 978-5-235-03048-0**

**БИБЛИОТЕКА МЕМУАРОВ**  
**БЛИЗКОЕ ПРОШЛОЕ**

*Мемуары и эпистолярное наследие  
известных писателей, философов, художников,  
музыкантов, театральных деятелей,  
представителей творческой богемы*

Уже изданы и готовятся к печати:

Е. Герцык  
«ЛИКИ И ОБРАЗЫ»

Т. Маврина  
«ЦВЕТ ЛИКУЮЩИЙ.  
ДНЕВНИКИ 1930—1990 ГГ.»

Н. Матвеева  
«МЯЧ, ОСТАВШИЙСЯ В НЕБЕ»

М. Нестеров  
«О ПЕРЕЖИТОМ. ВОСПОМИНАНИЯ»

О. Высотский  
«НИКОЛАЙ ГУМИЛЕВ  
ГЛАЗАМИ СЫНА»

И. фон Гюнтер  
«ЖИЗНЬ НА ВОСТОЧНОМ ВЕТРУ:  
МЕЖДУ ПЕТЕРБУРГОМ  
И МЮНХЕНОМ»



Телефоны для оптовых покупателей:  
8(499) 978-21-59; 8(495) 787-63-75; 8(495) 787-63-64  
<http://mg.gvardiya.ru>. [dsel@gvardiya.ru](mailto:dsel@gvardiya.ru)

СТАРЕЙШАЯ РОССИЙСКАЯ КНИЖНАЯ СЕРИЯ

# ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

Уже изданы и готовятся к печати:

Ю. Зобнин  
«МЕРЕЖКОВСКИЙ»

Р. Скрынников  
«ЕРМАК»

К. Давид  
«КАФКА»

Г. Пржиборовская  
«ЛАРИСА РЕЙСНЕР»

А. Жидель  
«ПИКАССО»

В. Боккарди  
«ВИВАЛЬДИ»

Л. Млечин  
«БРЕЖНЕВ»

А. Пензенский  
«НОСТРАДАМУС»

Н. Будур  
«КНУТ ГАМСУН»



Телефоны для оптовых покупателей:  
8(499) 978-21-59; 8(495) 787-63-75; 8(495) 787-63-64  
<http://mg.gvardiya.ru>. [dssel@gvardiya.ru](mailto:dssel@gvardiya.ru)

СТАРЕЙШАЯ РОССИЙСКАЯ КНИЖНАЯ СЕРИЯ

# ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

Уже изданы и готовятся к печати:

А. Бондаренко  
«МИЛОРАДОВИЧ»

В. Козляков  
«ВАСИЛИЙ ШУЙСКИЙ»

Н. Павленко  
«ЦАРЕВИЧ АЛЕКСЕЙ»

К. Ковалев  
«САВВА СТОРОЖЕВСКИЙ»

А. Кудря  
«ВАЛЕНТИН СЕРОВ»

Б. Соколов  
«БУДЕННЫЙ»

Ж. Аттали  
«КАРЛ МАРКС»

А. Митрофанов  
«ГИЛЯРОВСКИЙ»

М. Гейзер  
«ЛЕОНИД УТЕСОВ»



Телефоны для оптовых покупателей:  
8(499) 978-21-59; 8(495) 787-63-75; 8(495) 787-63-64  
<http://mg.gvardiya.ru> [dsel@gvardiya.ru](mailto:dsel@gvardiya.ru)

*Что свидетельствует ныне о быте ушедших эпох? Как выглядели жившие в них люди? Как были одеты, причесаны, как развлекались и любили друг друга, чем украшали себя женщины, какие кушанья подавались к столу, что считалось приличным, а что возмутительным? На эти и множество подобных вопросов ответят книги новой серии*

## **ЖИВАЯ ИСТОРИЯ:**

# **ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА**

Уже изданы и готовятся к печати:

*В. Малявин*

**ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ  
КИТАЯ В ЭПОХУ МИН**

*У. Макдональд*

**ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ  
БРИТАНСКОГО ПАРЛАМЕНТА**

*Л. Реньё*

**ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ  
ОЦОВ-ПУСТЫННИКОВ**

*Н. Будур*

**ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ  
ВИКИНГОВ. IX-XI ВЕКА**

*Т. Диттрич*

**ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ  
ВИКТОРИАНСКОЙ АНГЛИИ**

*А. Каспи*

**ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ  
США В ЭПОХУ  
«СУХОГО ЗАКОНА»**

Телефоны для оптовых покупателей:

8(499) 978-21-59; 8(495) 787-63-75; 8(495) 787-63-64

<http://mg.gvardiya.ru>. [dse1@gvardiya.ru](mailto:dse1@gvardiya.ru)

*Что свидетельствует ныне о быте ушедших эпох? Как выглядели жившие в них люди? Как были одеты, причесаны, как развлекались и любили друг друга, чем украшали себя женщины, какие кушанья подавались к столу, что считалось приличным, а что возмутительным? На эти и множество подобных вопросов ответят книги новой серии*

## **ЖИВАЯ ИСТОРИЯ:**

# **ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА**

**Уже изданы и готовятся к печати:**

*А. Вульф*

**ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ  
РОССИЙСКИХ  
ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ**

*Ж. Сустьель*

**ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ  
АЦТЕКОВ НАКАНУНЕ  
ИСПАНСКОГО ЗАВОЕВАНИЯ**

*П. Фор*

**ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ  
АРМИИ АЛЕКСАНДРА  
МАКЕДОНСКОГО**

*Н. Никитина*

**ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ  
ЛЬВА ТОЛСТОГО  
В ЯСНОЙ ПОЛЯНЕ**

*Ж. Мартино*

**ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ  
НАПОЛЕОНА НА ОСТРОВЕ  
СВЯТОЙ ЕЛЕНЫ**

Телефоны для оптовых покупателей:

8(499) 978-21-59; 8(495) 787-63-75; 8(495) 787-63-64

<http://mg.gvardiya.ru> [dsel@gvardiya.ru](mailto:dsel@gvardiya.ru)

# СЕРИЯ «ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ»

ВЫПЛА В СВЕТ КНИГА:

**В. Боккарди**

**ВИВАЛЬДИ**

*(перевод с итальянского)*

Жизнь и творчество легендарного венецианца, рыжего священника, виртуоза-скрипача, многожанрового композитора, дирижера, педагога, импресарио отделяют от нас почти 300 лет. И несмотря на это его музыка пользуется необычайной популярностью в современном мире. Секрет прост — посланный Богом яркий мелодический дар, мощный творческий импульс, поддерживаемые самоотверженной любовью к музыке, невероятным трудолюбием и редким жизнеутверждающим началом, которым не помешал тяжелый врождённый недуг. При жизни Антонио Вивальди был очень востребованным композитором. После смерти оказался напрочь забытым. По-настоящему его открыли лишь в 50-е годы XX века. За время забвения его бытование на земле обросло великим множеством домыслов и легенд. Предлагаемая читателям книга — первая достоверная биография Вивальди, написанная его соотечественником.



Отзывы, творческие и коммерческие предложения  
ждем по адресу:

127994, Москва, Сущевская ул., 21

Телефон: 8(495) 787-63-85 Факс: 8(499) 978-12-86

Телефоны для оптовых покупателей:

8(495) 787-63-75; 8(495) 787-63-64; 8(499) 978-21-59

При издательстве работает

книжный магазин:

8(499) 972-05-41; 8(495) 787-64-77

Адрес АО «Молодая гвардия» в Internet:

<http://mg.gvardiya.ru> [dsel@gvardiya.ru](mailto:dsel@gvardiya.ru)

# СЕРИЯ «ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ»

ВЫШЛА В СВЕТ КНИГА:

**А. А. Тахо-Годи**  
**ЛОСЕВ**

Книга Азы Алибековны Тахо-Годи посвящена замечательному мыслителю нашего столетия Алексею Федоровичу Лосеву (1893—1988). В основу ее легли личные воспоминания автора, свидетеля и участника событий десятков лет, а также материалы уникального лосевского архива. Лосев предстает в книге не только как выдающийся философ, но и как православный человек, разделивший с Родиной ее судьбу. Характерен путь Лосева: религиозно-философские общества; встречи с о. П. Флоренским, о. С. Булгаковым, И. А. Ильиным и другими крупнейшими философами Серебряного века; издание в 20-е годы опасных книг, которые привели его в тюрьму; лагерь, слепота, вынужденное двадцатилетнее молчание, гибель родного дома. Рядом с ним в самые тяжелые годы — необыкновенная женщина, Валентина Михайловна Лосева. Вера и любовь помогли жить, мыслить и творить философу, по его словам, «сосланному в XX век». Второе издание книги значительно дополнено автором.



Отзывы, творческие и коммерческие предложения  
ждем по адресу:

127994, Москва, Сушевская ул., 21

Телефон: 8(495) 787-63-85 Факс: 8(499) 978-12-86

Телефоны для оптовых покупателей:

8(495) 787-63-75; 8(495) 787-63-64; 8(499) 978-21-59

При издательстве работает

книжный магазин:

8(499) 972-05-41; 8(495) 787-64-77

Адрес АО «Молодая гвардия» в Internet:

<http://mg.gvardiya.ru> [dsel@gvardiya.ru](mailto:dsel@gvardiya.ru)



# СЕРИЯ «ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ»

---

---

ВЫШЛА В СВЕТ КНИГА:

## В. Н. Козляков ВАСИЛИЙ ШУЙСКИЙ

Имя царя Василия Ивановича Шуйского связано с самыми тяжелыми страницами в истории русской Смуты начала XVII века — восстанием Болотникова, осадой Москвы Тушинским вооружением, открытой интервенцией польского короля Сигизмунда III, катастрофическим поражением русских войск под Клушином в 1610 году и, как итог, сдачей Москвы полякам. Сам царь, сверженный с престола собственными подданными, стал добычей польского короля и окончил свои дни в польском плену. Так кем же был Василий Шуйский — виновником почти окончательного уничтожения Русского государства или жертвой чудовищных обстоятельств? О трагической судьбе последнего Рюриковича на русском престоле рассказывается в этой книге.



Отзывы, творческие и коммерческие предложения  
ждем по адресу:

127994, Москва, Сушевская ул., 21

Телефон: 8(495) 787-63-85 Факс: 8(499) 978-12-86

Телефоны для оптовых покупателей:

8(495) 787-63-75; 8(495) 787-63-64; 8(499) 978-21-59

При издательстве работает

книжный магазин:

8(499) 972-05-41; 8(495) 787-64-77

Адрес АО «Молодая гвардия» в Internet:

<http://mg.gvardiya.ru> [dsel@gvardiya.ru](mailto:dsel@gvardiya.ru)

# СЕРИЯ «ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ»

ВЫШЛА В СВЕТ КНИГА:

## И. В. Кузьмина, А. В. Лубков КНЯЗЬ ШАХОВСКОЙ

Имя князя Дмитрия Ивановича Шаховского (1861—1939) было широко известно в общественных кругах России рубежа XIX—XX веков. Потомок Рюриковичей, сын боевого гвардейского генерала, внук декабриста, он являлся видным деятелем земского самоуправления, одним из создателей и лидером кадетской партии, депутатом и секретарем I Государственной думы, министром Временного правительства, а в годы гражданской войны — активным участником борьбы с большевиками. Историк и мыслитель, он внес неопенимый вклад в изучение русской философской мысли, в том числе наследия своего двоюродного деда П. Я. Чаадаева. Книга написана на основе неопубликованных документов, значительная часть которых впервые вводится в научный оборот. Авторы попытались проследить не только внешнюю событийную сторону жизни своего героя, но и внутреннюю эволюцию взглядов оригинального русского мыслителя, чьи имя, дела и идеи возвращаются сегодня к нам.



Отзывы, творческие и коммерческие предложения  
ждем по адресу:

127994, Москва, Сушевская ул., 21

Телефон: 8(495) 787-63-85 Факс: 8(499) 978-12-86

Телефоны для оптовых покупателей:

8(495) 787-63-75; 8(495) 787-63-64; 8(499) 978-21-59

При издательстве работает

книжный магазин:

8(499) 972-05-41; 8(495) 787-64-77

Адрес АО «Молодая гвардия» в Internet:

<http://mg.gvardiya.ru> [dsel@gvardiya.ru](mailto:dsel@gvardiya.ru)

Всех любителей  
гуманитарной литературы  
приглашаем посетить  
новый специализированный  
магазин-салон

# КНИЖНАЯ СЛОБОДА



открытый при издательстве «Молодая гвардия»



В продаже самый широкий ассортимент  
биографических изданий,  
книги по истории, философии, психологии  
и другим отраслям гуманитарных знаний.

Наш адрес: ул. Новослободская, 14/19, строение 4.  
Проезд до станций метро «Менделеевская» (в минуте ходьбы)  
или «Новослободская».

Телефоны: 8(499) 972-05-41, 8(495) 787-64-77.  
<http://mg.gvardiya.ru> E-mail: [mol\\_gvard@mail.ru](mailto:mol_gvard@mail.ru)







СКОРО ВЫЙДУТ В СВЕТ:

А. Каспи

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ  
США В ЭПОХУ  
«СУХОГО ЗАКОНА»  
1919–1929

А. Вульф

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ  
РОССИЙСКИХ  
ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

Ж. Мартино

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ  
НА ОСТРОВЕ СВЯТОЙ ЕЛЕНЫ  
ПРИ НАПОЛЕОНЕ

В. Матюшкин

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ  
АРЗАМАСА-16

Л. Реньё

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ  
ОТЦОВ-ПУСТЫННИКОВ

С. Ру

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ  
СРЕДНЕВЕКОВОГО ПАРИЖА

ISBN 978-5-235-03048-0



9 785235 030480 >

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ